

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 1 | 2012





Сентябрьское солнце. Триптих | 60 × 120 | 2006 | холст, масло



Дом на юге | 70 × 70 | 2008

Уроженец Приморского края, выпускник Дальневосточного института искусств и Творческих мастерских Российской академии художеств [Сергей Форостовский](#) посвятил немало времени и вдохновения театру. Он работал главным художником Красноярского тюза, стал членом Союза театральных деятелей России. Прекрасный организатор, Форостовский курирует многочисленные российские и международные творческие проекты, входит в правление Красноярской региональной организации втОО «Союз художников России». И всё же главная страсть художника — путешествия. Китай, Тибет, Крым, Испания... Отовсюду Сергей Форостовский привозит впечатляющие образы «гениев места», неповторимые, загадочные, притягательные...

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 1 | 2012

В номере

.....

ДиН ПАМЯТЬ

Виталий Пырх

- 3 Фотография,
на которой нет Астафьева

ДиН ПРОЗА

Александр Щербаков

- 9 Моя родова

ДиН ЦИТАТА

Михаил Немцев

- 42 О людях, живущих
вне какого-либо страдания

ДиН ЮБИЛЕЙ

- 28 *Дикороссы, или Десять лет феномену*

Андрей Канавщиков

- 29 Народное ополчение Слова

Юрий Беликов

- 32 ...Но выклик был берёзе

- 41 *Крылатая россыпь*

Константин Кондратьев

- 43 Образок под водой

Антон Бахарев-Чернёнок

- 45 Лосиная иордань

Ольга Исаченко

- 47 Дело старух

Константин Иванов

- 49 Остроги и засеки

Анна Павловская

- 51 Разбитая фрамуга

Александр Ёлтышев

- 53 Табак для дёсен

Сергей Кузнечихин

- 55 Приют неизвестных поэтов

Юрий Власенко

- 57 Исчезновение

Роман Мамонтов

- 60 Фоторамка на забытой стене

ДиН СТИХИ

Олег Мошников

- 59 Сегодня на субботнике...

Максим Страхов

- 139 Распродажа счастья

Татьяна Смертина

- 148 Светлость

Анатолий Чмыхало

- 151 Причал

Анатолий Третьяков

- 154 Полдень в степи

Сергей Лыткин

- 156 Лунные дети

Евгений Минин

- 158 Отпусти меня, жизнь

Александр Гиневский

- 160 Воспоминание о велосипеде

Юрий Аврех

- 171 У города Акко

Татьяна Яковлева

- 190 Былое и вещи

Дмитрий Мурзин

- 232 Музыка для...

- Сергей Круглов
235 Земною плотностью венчая неземное...
- Левченко
237 Философская лирика
- Лео Бутнару
238 По счастливой случайности

ДиН РОМАН

- Анастасия Астафьева
65 То, чего не было

**СТРАНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
СООБЩЕСТВА ПИСАТЕЛЬСКИХ СОЮЗОВ**

- Софья Оранская
105 Франция: семь лет размышлений

ДиН ПЕРЕВОД

- Азер Абдулла
140 Дождь цветов

ДиН БЕНЕФИС

- Рустам Карапетьян
162 В районе детства ещё болит...

ДиН ПУБЛИЦИСТИКА

- Лев Бердников
172 Блистательный князь

**БИБЛИОТЕКА
СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА**

- Александр Торопцев
177 Раскинулось море широко
- Игорь Харичев
183 Ненужные хлопоты
- Владимир Черенков
191 Вкус солёной горбуши
- Владимир Савич
195 Табуретка мира

ДиН АНТОЛОГИЯ

- Виктор Гюго
27 История над вами посмеётся...
- Корней Чуковский
198 Головастики

ДиН ДЕБЮТ

- Елена Басалаева
199 Десятый дождь

ДиН КРИТИКА

- Кирилл Анкудинов
216 Бег горностая

ДиН СДВИГОЛОГИЯ

- Денис Безнососов
221 Отражение

ДиН МЕГАЛИТ

- Светлана Чернышова
224 Тронешь лёгкую свирельку души...

- Юлия Елина
226 Дерево, бредущее по воде

- Мария Лихоманова
228 Отворение слова

- Андрей Сальников
230 Разговор с Сизифом

В ГОСТЯХ У «ЖЁЛТОЙ ГУСЕНИЦЫ»

- Артур Гиваргизов
240 Поликлиника
- Валерий Роньшин
242 Наша Маша и её ушедшее Детство

- Анастасия Орлова
243 Мы едем на море

- Елена Липатова
244 Шёл по городу медведь

- 245 ДиН АВТОРЫ

Виталий Пырх

Фотография, на которой нет Астафьева

Астафьев для меня начался с его знаменитой «Царь-рыбы». До сих пор помню ту лёгкую мальчишескую дрожь, охватившую меня с первых же страниц повести: а что дальше? что потом?

Но так была устроена моя тогдашняя жизнь (в школьные годы я ежесуточно «проглатывал» по одной книжке за ночь), что имя самого автора повести у меня в памяти не задержалось. Выветрилось каким-то образом.

И только когда на глаза попался «Последний поклон», когда я дошёл наконец, читая его, до рассказа «Фотография, на которой меня нет», фамилия писателя Астафьева снова всплыла в памяти, как полупочная звезда из-за туч. И вот почему.

Теперь в это трудно поверить, но я и сам сейчас не могу объяснить, почему я так страстно хотел в детстве попасть в цирк. Помню, не раз и не два упрашивал свою мать сходить вместе на цирковое представление в парк Metallургов, где и располагался городской цирк в Запорожье. Но жили мы в послевоенные годы трудно, времени ни на что, да и денег, у родителей не хватало. Отец приходил с завода уставший, а тут и по дому хлопот хватало: то забор надо было поправить, то грядки вскопать... До цирка ли?

Но тут однажды с чего-то вдруг мать расщедрилась и прямо с вечера объявила: — Всё, уговорил. Завтра едем в цирк. Отец уже и билеты купил. Так что не вздумай куда-нибудь отлучиться. Убью.

Конечно же, я пообещал. Мол, с самого утра буду готовый как штык. Тем более что поход наш в цирк намечался аж на послеобеденное время.

Но утром ко мне зашли, как всегда, уличные ребята, человек пять-шесть, и мы условились прогуляться до посадок. Это было излюбленное место для игр. А так как стояла дивная летняя погода, то я особенно не переживал: это где ещё послеобеденное время! Успею... И нагуляюсь досыта, и в цирк попаду.

Жили мы на окраине большого рабочего посёлка и называли посадками высаженные после войны лесозащитные полосы, тянувшиеся вдоль железнодорожных путей. По ним в Запорожье везли на металлургические заводы донецкий уголь и криворожскую руду, отсюда увозили куда-то на восток катанный лист и кокс.

Чтобы железнодорожные пути не переметало зимой снегом, вдоль насыпи сажали быстрорастущие

южные деревья — маслины, абрикос, акации... Они разрастались, тянулись вверх, и не было места для нас, мальчишек, приятнее, чем этот рукотворный лес.

Вокруг стоит сорокаградусная жара, высоко в небе захлабываются жаворонки, а в посадке пахнет прошлогодними листьями, и только обалдевшие от мух пауки, не переставая, плетут между веток свои смертоносные кружева. Красота!

И мало-помалу мы всё дальше и дальше удалялись от дома.

За разговорами я и не заметил, что мы уже пересекли автомобильную трассу Москва — Симферополь, а от неё до моего дома было четыре километра. Потом прошли ещё, ещё... И только тогда, когда на горизонте появились чёрные клубы дыма, изрыгаемого паровозом, я вдруг осознал, как далеко я ушёл от дома: это спешил на станцию двухчасовой рабочий поезд.

— Два часа! — вскричал я. — Да меня дома убьют!

Выходило, что мы забрались километров на семь-восемь, и преодолеть это расстояние пешком за полчаса невозможно.

И всё же я ринулся, не обращая внимания на крики ребят, обратно вдоль железнодорожной насыпи. Сначала бежал, глотая горячий воздух. Потом перешёл на шаг, слыша, как отчаянно бьётся в груди моё сердце. Потом остановился и от бессилия заплакал...

В общем, домой я вернулся только под вечер и сразу же получил предупреждение от сестры: — И где тебя только носило? Ты знаешь, сколько тебя искали? Вот вернутся мать с отцом, будет...

Но что для меня были эти угрозы, когда я так и не попал в цирк!



Та самая фотография...

И как же было мне понятно огорчение сибирского паренька Витьки Астафьева, не попавшего на школьную фотографию по причине своей болезни!

Когда много лет спустя, сидя в квартире у писателя в красноярском Академгородке, я рассказывал об этом детском эпизоде Виктору Петровичу, то тот в ответ только недоверчиво качал головой.

— Ну и сочинишь же ты, «хохол», — так он меня называл.

А потом повернулся в сторону кухни:

— Мань, ты подь сюда, послушай, что тут «хохол» сочиняет.

Но Марья Семёновна, гремевшая на кухне посудой, лишь фыркнула что-то в ответ. Что — я не расслышал...

Однако на этом история не закончилась. Уже когда ни Астафьева, ни его верной спутницы не было в живых, то волею судеб в мои руки попала та самая фотография, «на которой нет Астафьева». Изрядно потрёпанная почти за восемь десятилетий, потёртая, пожелтевшая, с наклеенным скотчем по краям...

«На фоне деревенского дома с белыми ставнями — ребятишки: кто с оторопелым лицом, кто смеётся, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит», — помните у Астафьева?

И надпись на материи справа, крепко удерживаемой детскими руками: «Овсянская нач. школа 1-й ступени».

— Откуда это у вас? — спрашиваю я, изумлённый. — А это наша семейная реликвия, — говорит владелица раритетного фотоснимка Ванда Евгеньевна

Швед, в недалёком прошлом преподаватель кафедры физической культуры Красноярского государственного медицинского университета, а нынче — комендант университетской лыжной базы. — Видите — учителя, в центре снимка сидят, о которых так тепло отозвался Виктор Петрович в своём рассказе? Это мои родители, папа и мама...

Тот, кто хорошо помнит упомянутый астафьевский рассказ, тот, конечно же, помнит и его детали. Потому что живописует писатель в нём не только о том злополучном эпизоде, когда он, загулявшись зимой на снежной горке, подхватил неожиданную простуду и не попал в объектив приехавшего из города фотографа, когда вся овсянская школа высыпала из классов «сниматься».

Не меньше места в рассказе занимают и картины жестокого лихолетья, которое он пережил, будучи подростком. Когда в угоду классовым понятиям разорвались вековые гнёзда земледельцев, когда в эпоху жестокой коллективизации сгонялись с родных мест самые трудолюбивые и предприимчивые хозяева и когда на глазах рушились вековые устои крестьянского быта.

Да что там говорить — даже эта «Овсянская начальная школа 1-й ступени» не что иное, как бывший астафьевский дом, отстроенный его прадедом, в котором проживала прежде семья.

И всё же главная тема рассказа — школьные учителя, первые его наставники.

«Я бегаю глазами по фотографии, — пишет писатель, — вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька-хохол, вот Ванька Сидоров, вот Нинка Шахматовская, её брат Саня... В гуще ребят,



Первые школьные учителя Астафьева—Е. С. и Е. Н. Городыские

в самой серёдке—учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята чего-нибудь сморозили смешное...»

Но сколько я ни вглядываюсь сейчас в фотографию—даже лёгких улыбок на сосредоточенных лицах астафьевских учителей почему-то не замечаю. Скорее, наоборот: тревожно и вдумчиво смотрят они на нас с фотографии. Как будто предчувствуют беды, которые вот-вот свалятся на них в тридцатые годы минувшего века...

Так как же всё-таки сложилась судьба у овсянских учителей?

Первый астафьевский школьный учитель, учивший его грамоте, Евгений Сигизмундович Городыкий (вскоре он стал Александровичем из-за трудности произношения отчества), родился в 1904 году в Каменец-Подольском, на Украине. Будучи по национальности поляком, он, получив среднее образование, заинтересовался своими корнями, и вскоре генеалогические поиски привели молодого паренька в Сибирь, куда в своё время царскими властями была этапирована в ссылку часть его родни. Оказавшись в Красноярске, получил приглашение пойти поработать в Овсянку учителем начальных классов, а обо всём остальном уже написано Виктором Петровичем в его рассказе.

Нет там, правда, только одной небольшой детали: в то же время, закончив в Красноярске девять классов школы с педагогическим уклоном, коренная сибирячка Евгения Юферова также получила назначение на работу учительницей начальных классов в посёлок Слизнево, что неподалёку от Овсянки. И вскоре молодые учителя познакомились.

—Папа был очень видный мужчина,—вспоминает Ванда Евгеньевна.—Высокий, стройный, красивый. Не влюбиться в него было нельзя—знал

несколько языков, играл на скрипке, часами мог читать стихи... Так что нет ничего удивительного в том, что они поженились. А вскоре родилась моя старшая сестра Людмила. В 1936 году родилась и я...

Но как нелегко бывает начитанным и образованным людям в нашей стране!

Чуть ли не каждый год семья Городыских меняла прописку, переезжая из одной деревни в другую, из одного района—в другой. Овсянка, Иланский, Канарай...

Но разве от НКВД убежишь?

И в 1938 году «карающий меч революции» настигает-таки человека, пытавшегося сеять «разумное, доброе, вечное» в сибирской глубинке, и настигает сразу же по четырём (!) увесистым статьям.

Знакомлюсь с одной из них—статья 58, пункт 6 УК РСФСР от 1926 года: «Шпионаж, то есть передача, похищение или собирание с целью передачи сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной... влечёт за собой лишение свободы на срок не ниже трёх лет с конфискацией всего или части имущества, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать тяжёлые последствия для интересов СССР, высшую меру социальной защиты—расстрел или объявление врагом трудящихся—лишение гражданства СССР и изгнание из пределов СССР навсегда с конфискацией имущества».

Читаю всё это, и мороз по коже идёт. Ну какие ещё там сведения, составляющие государственную тайну СССР, мог передавать иностранным разведкам простой школьный учитель, работающий в сельской глуши, на краю света? Обременённый двумя детьми и обучающий сибиряков редким тогда языкам?

Сообщать о количестве учеников в классах? Докладывать «за бугор» о наличии дров у истопника?

Однако одной только этой статьи вполне достаточно для того, чтобы отправить человека на тот свет, если б у следователя было такое желание.

А Городыскому инкриминировалось ещё и другое: в его «дело» вписаны статьи 58–7 (подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли и т. п.), 58–10 (пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти) и даже такая статья, как 58–11, предусматривающая наказание за всякого рода организационную деятельность, направленную на подготовку или совершение предусмотренных в настоящей главе ук преступлений.

Словом, не зря ели свой хлеб красноярские чекисты, раз сделали из обыкновенного школьного учителя настоящего резидента иностранной разведки!

Вот что такое знать языки и играть на скрипке в то суровое время!

В январе 1939 года Евгений Сигизмундович Городыский был осуждён на 15 лет исправительно-трудовых лагерей, с конфискацией личного имущества и с последующим поражением в политических правах на пять лет.

Но, видимо, там, «наверху», всё же осознали абсурдность предъявленных школьному учителю обвинений (редко, но бывало и такое!), и в «Книге памяти жертв политических репрессий Красноярского края», изданной не так давно, на странице 361 я читаю: «Приговор отменён, дело прекращено 13.02.1940 г. НКВД КЖД по реабилитирующим обстоятельствам, из-под стражи освобождён 13.03.1940 г.»

Да, но два года человек в сталинских лагерях всё же отсидел... За что?

А назавтра была война...

«Школьная фотография жива до сих пор, — пишет в своём рассказе Астафьев. — Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя — сибиряк».

Пошёл на войну и его учитель...

— Правда, отца на фронт поначалу не брали, — рассказывает Ванда Евгеньевна. — Всё-таки судимость... Перед самой войной у меня появился брат, Борис, и вскоре семья перебралась в ещё большую глушь — в село Канарай Дзержинского района. Рассчитывали, что там в войну маме с тремя детьми будет полегче. Потому что отец всё же добился своего и уехал на фронт...

В памяти Ванды Евгеньевны остался только один эпизод, связанный с этим. Было это в 1943 году, когда она уже ходила в школу. Собрались после занятий поиграть в лапту, как надо же — случилось такое: размахнувшись, она бросила самодельную битую, да так неудачно, что та влетела в окно. И вдребезги разбила стекло.

Разбить стекло в сибирской глуши в 1943 году! Да за такое можно было удавить руками без суда и следствия!

— Забилась я от страха в бане под лавку, — вспоминает она, — и знаю, что по деревне ходит в поисках меня глухонемой хозяйин избы. И только мычит от злости. Я после этого в школу боялась по улице мимо его дома ходить — обходила огородами.

И тут же, в эти дни, сообщение: с фронта приезжает на пару дней папа!

— Как его встретили, не помню, а вот хорошо помню другое: идём мы с ним по деревне, он в военной форме, с наградами, капитан медицинской службы, и идём, взявшись за руки. Как я гордо шагала мимо дома глухонемого — ничего не боялась!

Впрочем, эта семейная идиллия длилась недолго: отец вернулся на фронт, а когда война закончилась, возвращаться в Сибирь не захотел — осел на своей родине, в Каменец-Подольском. Но перевезти семью не успел: в 1946 году он скоропостижно скончался.

Оставшись одна, Евгения Алексеевна Городыская всё же поставила всех троих детей на ноги. Долгие годы учительствовала, заведовала районным отделом культуры. И даже была удостоена за свои труды весомого тогда ордена «Знак Почёта». — А почему она поименована в астафьевском рассказе как Евгения Николаевна? — спрашиваю я у своей собеседницы.

— Так ведь и отец там назван не по паспорту, — улыбается Ванда Евгеньевна. — Выветрились их имена с годами у Виктора Петровича... Мы как-то потом попросили его исправить, восстановить истину, и он пообещал. А потом — позже, правда, — говорит: «Ох и нелёгкое это дело, разошлись книжки по всему свету...» Но ведь это не самое главное, правда? Главное, что он вспомнил о них, не забыл...

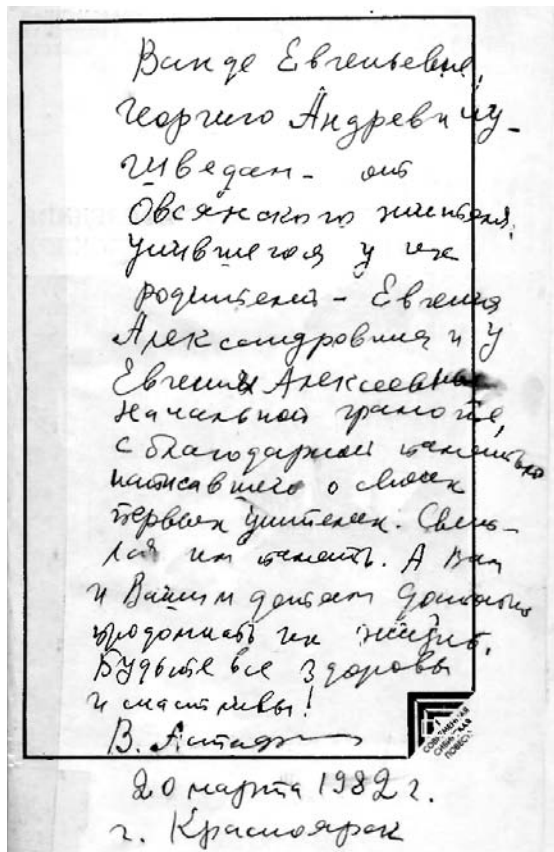
Тут она права: о своих первых школьных учителях Виктор Петрович Астафьев написал с особой нежностью.

«Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни ссыльных, ни самоходов. Ещё уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу. Пожаловаться на кого угодно: на сельсовет, на разбойника мужа, на свекровку».

И ещё:

«...Фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово «учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживёт до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтоб сделаться частицей его и навечно остаться в сердце даже таких нерадивых и непослушных людей, как я и Санька».

— А как прореагировал Виктор Петрович, когда вы вдруг объявились перед ним? — не унимаюсь я. — О, это целая история...



Астафьевский автограф

А дело было так. Закончив в деревне Курай (очередное место работы матери) семилетку, Ванда поступила, вопреки желанию отца, хотевшего видеть её медиком, в Красноярский техникум физической культуры — с детства любила спускаться с горок на лыжах. А затем, окончив техникум, закончила ещё заочно и пединститут. Там она и познакомилась с Георгием Андреевичем Шведом — тоже фанатиком горнолыжного спорта.

— Вместе мы прожили более полувека, — рассказывает Ванда Евгеньевна. — Работали тренерами в ДСО «Локомотив», воспитывали двоих детей. А затем оказались в медуниверситете — так что отцовское пожелание я выполнила: хоть и не стала медиком, но к медицине приблизилась...

По стопам своего дедушки пошла и её дочь Евгения — сейчас преподаёт иностранный язык в Сибирском федеральном университете. А сын Андрей — музыкант, живёт в Москве.

Но все они помнят тот день в начале восьмидесятых годов минувшего века, когда в их доме появился томик рассказов Астафьева «Последний поклон», — Ванда Евгеньевна была как раз на больничном. Лежит, читает... И вдруг, дойдя до рассказа «Фотография, на которой меня нет», вскакивает с кровати:

— Да это же мои родители! Папа и мама!

Быстро нашла фотографию, окропила её невольными слезами. И уже совсем по-другому стала вчитываться в ёмкие астафьевские строки.

Долго потом эта книга лежала рядом. Книга и фотография. В центре которой сидят её родители, а вокруг — около восьмидесяти деревенских мальчишек и девочек, одетых кто во что горазд. Такое тогда было время...

Видя переживания жены, Георгий Андреевич загорелся и раздобыл где-то домашний телефон писателя — Астафьевы только недавно перебрались из Вологды в Красноярск. Созвонился с ним, сообщил о том, что у него дома есть фотография, на которую тот ссылается в своем рассказе.

— Приезжай! — пригласил Астафьев.

Поехали с другом, так как Ванда Евгеньевна продолжала болеть.

Виктор Петрович их встретил в Академгородке — и встретил, как всегда он встречал своих гостей, радушно и приветливо. С интересом прослушал рассказ об истории жизни своих первых школьных учителей, посоветовал на превратности судьбы и на то, что Евгений Сигизмундович (Александрович) так рано ушёл из жизни.

Затем подписал принесённую «для автографа» книгу детских своих рассказов — для внуков первых учителей.

— Прошло ещё несколько лет, — продолжает Ванда Евгеньевна, — прежде чем мы отважились наконец пригласить его в гости. Просто так, на чай. И к большой нашей радости, он согласился! Тут же мой брат Борис доставил их на своём стареньком «Москвиче» с Академгородка на улицу Новосибирскую, где мы живём и где по такому случаю собрались все наши родственники и домочадцы. Пришло даже несколько знакомых — так хотелось познакомиться...

О том, как трудно было уговорить жену писателя — Марью Семёновну Астафьеву-Корякину — «выпустить куда-нибудь» своих домочадцев одних, знаю по себе: в начале девяностых годов минувшего века она в телефонном разговоре со мной вдруг пожаловалась:

— Расхворалась я что-то в последнее время — и то болит, и другое... А у Виктора Петровича работа пошла, с утра до вечера сидит за письменным столом. Некому с Полинкой посидеть. А мне не вмоготу...

Тут я возьми и предложи ей:

— Так давайте я на пару дней заберу её к себе. Будет с моей дочерью играть. Всё равно каникулы, в школу ходить не надо. А во дворе холодно, не погуляешь...

И Марья Семёновна неожиданно согласилась. Но это был единственный случай, когда это произошло, и, помнится, пару дней её внучка жила



Встреча с писателем и его женой

в моей квартире, вдвоём в комнате дочери. Они были почти ровесницы.

Но бабушка не унималась, и почти ежечасно я бежал к телефону.

— Как они там?

— Да всё нормально, — отвечал я ей. — Играют. И вы отдыхайте. Чего беспокоиться?

Но проходил час, второй — и снова звонок:

— Ну как?

— Да всё хорошо, Марья Семёновна, — начинал я терять терпение. — Только что попили чай и смотрят сейчас мультики. Не волнуйтесь. А как там Виктор Петрович, работает?

— Работает...

Виктор Петрович тогда приступал к написанию главного своего романа «Прокляты и убиты». Романа, который вскоре вызвал настоящий переполох в читающих кругах...

А к Шведам Астафьевы приехали с подарками — привезли книги, которые и Виктор Петрович, и Марья Семёновна подписывали с особым удовольствием.

— Я немного приболела, — ещё с порога обронила Марья Семёновна, — но одного его не пустила. Надо же и мне на детей школьных его учителей посмотреть.

А Ванда Евгеньевна, встречая гостей, места не находила себе от страха: на стенах комнат квартиры были развешаны иконы («Гоша как раз начал их собирать»), а что об этом Астафьевы подумают?

Но Виктор Петрович только посмеялся над её опасениями и, наоборот, внимательно прошёлся вдоль стен.

— Ну, это картинка, и это — картинка... А вот это ничего, намоленная икона. Видно, что старая. У меня реставратор есть знакомый: хотите, можно показать?

Накрыли стол, поставили всё, что полагается в таких случаях к чаю.

— А я опять трясусь от страха, — улыбается Ванда Евгеньевна, — ставить на стол спиртное или нет. Всё-таки у нас так принято, но ведь какие гости! Захожу в комнату и держу у себя за спиной бутылку коньяку. А ставить боюсь.

— Что это там у тебя за спиной? — спрашивает Виктор Петрович.

— Бутылка, — отвечаю я. — Коньяк.

— Так ставь на стол! Что ты её прячешь?

Выпили, потом закусили... Хозяин дома достал гитару, запели.

— И что за песни вы исполняли? — интересуюсь я у Ванды Евгеньевны.

— А я их все до одной помню. Русские народные песни. Самые наши любимые. «Позарастали стёжки-дорожки», «Отец мой был природный пахарь», «То не ветер ветку клонит», «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина»... И Виктор Петрович очень душевно пел — с чувством, старательно...

В тот день Астафьевы пробыли в гостях около часа, а потом тот же Борис отвёз их обратно в Академгородок. И стал этот приезд писателей для семьи Шведов чуть ли не самым главным событием в их жизни.

Потому и берегут они фотографии, на которых писательская чета запечатлена с детьми первых школьных учителей Астафьева.

Теперь они так и хранятся в семейном альбоме у Ванды Евгеньевны: на одной странице — пожелтевший снимок 1934 года с овсянскими учениками, «на котором нет Астафьева»; на другой — фотографии восьмидесятых годов минувшего века, на которых великий русский писатель запечатлён с детьми своих первых школьных учителей.

Учителей, которые учили его грамоте.

Александр Щербаков

Моя родова

Не однажды пытался я написать собственную биографию, не заданную официальной формой подобного документа, а более подробную, свободную, и если не «художественную», то хотя бы оснащённую живыми примерами, деталями, дающими «наглядное» представление обо мне, моих корнях, о времени, в котором я жил. Бывали и заказы на нечто подобное — от издательств, библиотек, школ, да и подталкивала внутренняя потребность, вполне понятная в мои годы. Но всё то, что я пробовал писать, получалось либо куце и сухо, либо расплзлось и так обрастало «мелочами жизни» вперемишку с «исканиями духа», что грозило вылиться в целый автобиографический роман, и я поневоле бросал затею как непосильную. Ещё одна трудность такого жизнеописания заключалась в том, что на каждом шагу я слышал внутренний голос: «Да ведь ты уже где-то писал об этом!» И зачастую выходило, что действительно писал: в повести «Свет всю ночь», по сути автобиографической, в рассказах, которые тоже в большинстве своём автобиографичны, равно как и очерки, эссе, основанные на воспоминаниях, и, конечно, как многочисленные стихи, ибо движения души, запечатлённые в них, тоже неотъемлемая часть авторской биографии. Тут я бы мог сказать вслед за Сергеем Есениным, закончившим одну из своих биографических справок словами, что, мол, остальное ищите в моих стихах...

Но уж коли ныне попросила хозяйка Каратузского краеведческого музея Любовь Борзенко (а следом Лариса Медведева, учительница минусинской школы №16, где есть музейчик, посвящённый нашему селу), попробую написать хотя бы что-то наподобие родословных заметок. К стати, однажды Любовь Николаевна, сама, наверное, не сознавая того, преподнесла мне отменно лестный комплимент, когда подчеркнула в общей беседе: «А я всем говорю, что у нас лучший краевед — это Александр Щербаков». Да ведь и в самом деле: скажите, кто ещё столько писал о Каратузе, Таскино, Сагайске, о Кужебарах, об амыльских плёсах-перекатах, о колоритных людях нашеньких, а главное — публиковал всё это годами в краевых и центральных газетах и журналах, передачах по радио и тв, во Всемирной паутине, помимо десятков книг, издаваемых в Красноярске и Москве, сколько писал

и печатал ваш покорный слуга? Увы, не найдёте такого. И во всех этих писаниях тоже ведь сквозит моя биография, верно?

Так что, повторим, задача нового, пусть и частичного её пересказа — не из лёгких. Однако всё ж попытаемся исполнить «музейный» заказ.

О своих «истоках»

Родился я в самом южном районе енисейского края — Каратузском, в селе Таскино, большом, красивом, старинном, которое искони славилось своими мастерами на все руки, особенно — пимокатами, и крепким артельным хозяйством — колхозом имени Кирова, а ещё — крупной старообрядческой общиной. Моих односельчан (и меня в том числе) жители соседних селений так и звали: таскинские староверы. Да и теперь ещё зовут. По крайней мере, когда недавним летом, будучи проездом в Черёмушке, я запугался в улицах-переулках и остановил пожилую женщину, чтобы справиться о дороге, представившись ей таскинцем, она непроизвольно воскликнула:

— А-а, значит, таскинский старовер! — и только потом стала объяснять, как лучше выехать на каратузский тракт.

Старообрядцев у нас действительно было много. И родители мои были старообрядцами. Но при мне, правду сказать, уже более по крещению, чем по истинному следованию вере и воцерковлённости. В староверскую братию, на службы в «молельню» ходили редко. Отец, в мою бытность, вообще не помню, чтобы посещал тамошние молебны, службы, но мать на церковные двенадцатые праздники обычно ходила и меня иногда брала с собой.

По словам матери, слышанным мною позднее, на свет я появился в нашем доме, в горнице, 3 января 1939 года, в шестом часу дня, точнее — вечера. Отец, понятно, решил тотчас обмыть этакое событие, несмотря на Рождественский пост. Один пировать не стал, прошёл по деревне и пригласил своих друзей-приятелей, пожелавших разделить его радость и тоже не дураков выпить по случаю. А поскольку с закуской в столь форс-мажорных обстоятельствах возникла заминка, то матери же, ещё «парной», пришлось встать с постели, наскоро запеленав меня, чтобы выйти к дорогим

гостям и поджарить на плите картошку с мясом, ну а солонину да соленья «обмыватели» нашли по казёнкам-кладовкам сами. Однако, думается мне, тут надо удивляться не бессердечию сельских мужичков, а скорее тому, насколько были крепки духом и телом наши сибирские крестьянки в недавнем прошлом. Воистину, были женщины в русских селеньях...

Далее—запомнился рассказ матери о том, как мне давали имя. С моим крещением родители не торопились. Видимо, времена были не те, чтобы отцу, бывшему красному партизану, потом колхозному активисту и первому агротехнику в селе, взять да «демонстративно» окрестить ребёнка, притом ещё и по обряду «древлего благочестия»... Однако мать всё же ходила к нашему староверскому батюшке (по корням таскинская община, наверное, поморского толка, не зря до сих пор один конец села у нас называют Поморским краем) и советовалась, какое мне лучше дать имя согласно святцам. Но когда батюшка сказал, что ближе всего подходит—Терентий, мать заплакала и сквозь слёзы стала просить: мол, нельзя ли подыскать другое, попроще, попривычней, какие ныне у людей в ходу.

Дело было ещё в том, что родившегося передо мной мальчика тоже нарекали Терентием, но он вскоре умер (нас вообще из десяти рождённых на свет выжило и выросло лишь четверо, остальных Господь прибрал во младенчестве). Батюшка жалился над матерью, полистал свои старинные фолианты и махнул рукой:—Ладно, назовите Александром. Это тоже недалеко по святцам.

Так я стал Шуркой, Санькой, Александром, и покровителем своим поныне считаю святого благоверного князя Александра Невского. Кстати, крестился я много позднее и не в древлеправославную веру, а в «обычную» православную, никонианскую. Хотя помню из детства, что мать почти каждое лето собиралась свозить меня в Минусинск, где была большая старообрядческая община и тамошний батюшка, по слухам, крестил детей прямо в енисейской протоке, но так и не собралась за вечными крестьянскими заботами, о чём я до сей поры сожалею. Как это было бы чудесно—креститься в Енисее, с полным погружением в светлые воды речные, словно те люди из библейских преданий, первыми крещённые Иоанном Предтечей в Иордане, или наши славянские предки из Киевской Руси—князем Владимиром Красное Солнышко в Днепре!

Если же коснуться собственных первых воспоминаний о себе и родне...

Многие из пишущих людей пытались восстановить и передать свои изначальные воспоминания о мире, в который пришли, первые проблески осознания его в себе и себя в нём, запечатлённые

младенческой памятью. Но сделать это чрезвычайно трудно. Ибо всплывающие картины и некогда пережитые чувства обычно отрывочны, довольно зыбки, туманны и, едва появившись, спешат ускользнуть и раствориться, воистину, «как сон, как утренний туман».

По-моему, лучше всех удалось выразить их Льву Толстому, одному из самых бесспорных гениев в нашей литературе, щедро наделённому от природы не только писательским даром, но и пронзительной памятью, и тонкой душевной организацией с необыкновенной остротой и свежестью чувств и ощущений. Недаром Антон Чехов, сам будучи художником слова, что называется, Божьей милостью, с восхищением и страхом говорил о нём: «Я его боюсь!» В толстовских воспоминаниях о том, как его, двухгодовалого ребёнка, моют в деревянном корытце со скользкими стенками, пахнущими мылом, и как он с любопытством, к которому примешано смутное чувство жалости, разглядывает своё маленькое тельце, действительно есть что-то сверхчеловеческое.

Нам с такой живостью, наверное, не дано восстановить свои первые впечатления, а тем более—описать, передать словами. Но каждый из нас носит их в себе до последнего часа.

К некоторым из своих первых воспоминаний я уже обращался в рассказах и стихотворениях. Но, честно говоря, до сих пор не уверен, были ли они первыми, да и были ли вообще воспоминаниями, а не порождениями детского воображения от услышанного из уст родных и близких. Вполне возможен и такой вариант.

Вот, к примеру, одно из подобных далёких воспоминаний, которое мне иногда кажется действительно первым.

Какое-то необыкновенно яркое солнце бьёт в окно нашего дома, обращённое во двор. Полоса света, разливанная вдоль и поперёк крестообразной тенью от рамы, сияет на подоконнике и на полу под моими ногами. Я стою на передней лавке, окрашенной жёлтой краской, а сестра Марфуша надевает на меня тёплую курточку, потом шерстяную шапочку и повязывает шею длинным шелковистым шарфиком. Мне радостно от этих светлых солнечных пятен, от голубой курточки и особенно от кашне, которое, скользя, приятно холодит шею, и я с интересом разглядываю на нём красно-синие кольчатые полосы и кисти по концам...

Теперь я не могу точно припомнить и объяснить, когда это было и куда меня наряжала старшая сестра, могу лишь предположить, что это были сборы к фотографу, который изредка наезжал в нашу деревню из райцентра. Такое предположение подкрепляется одной из фотографий в общей раме, много лет висевшей на стене в нашей горнице. Там я был запечатлён стоящим на лавке или на

табуретке именно в той курточке, в вязаной шапочке и с длинным в полоску шарфиком на шее. Правда, не синим и не красным, ибо фотография была чёрно-белой, точнее даже тускло-рыжей, выцветшей от времени.

К сожалению, та карточка не сохранилась. Я вырос, окончил десятилетку в Каратузе и уехал далее учиться в Красноярск, в педагогический институт. А потом — работать учителем на станцию Балай, в город Канск... Мать умерла, у отца появилась в доме новая хозяйка, которая, конечно, убрала горницу по своему вкусу, и старинная рама с фотографиями исчезла с протеска. Исчез навсегда и мой первый в жизни портрет. И меня до сей поры, когда вспоминаю его, посещает мысль, что может быть, именно им позднее было навеяно то отрывочное видение-воспоминание о себе, двух-трёхгодовалом мальчишке, стоявшем на лавке в светлой курточке, с красно-синим шарфиком на тоненькой шее, вытянутой навстречу Марфушиным рукам, подвизывавшим его.

Впрочем, на той фотографии уже не было никакого солнца, а мне особенно отчётливо помнятся доньне именно светящиеся солнечные полосы на полу и подоконнике с крестом внутри. Настолько отчётливо, что, например, всякий раз, как приходят на ум строки любимого мною бунинского стихотворения об осеннем шмеле: «За окном свет и зной. Подоконники яркие, безмятежны и жарки последние дни...» — неизменно вспоминается та далёкая картина из раннего детства, «схваченная» цепкой памятью ребёнка, а уж, видимо, затем, в ином интерьере, отснятая залётным фотографом. И думаю, что тот снимок был сделан тоже в «последний» солнечный день осени, где-нибудь в конце сентября (иначе зачем на мне шерстяная шапочка и шарф?), и в году, может быть, сорок первом или, скорее, сорок втором, когда отец уже был на войне, и фотографию ту делали специально для того, чтобы послать ему на фронт, напомнить, что его сын «заскрёбьш» жив и растёт наперекор всем военным лишениям. Ведь помнится мне, что с той же целью в конце почти каждого тогдашнего письма ему сёстры Марфуша или Валя прикладывали мою руку к бумаге ладошкой вниз и срисовывали, аккуратно обводя каждый палец. Вот, мол, и наследник «руку приложил»...

Подобных картин — проблесков и промельков — можно припомнить немало. И многие из них, как замечено выше, я пытался воссоздать в своих стихах, повестях и рассказах, но ещё больше ношу в памяти и, наверное, увы, унесу навеки с собой невыраженными, невысказанными. Как и до меня делали сонмы и сонмы людей, побывавших на грешной земле.

Между тем есть среди подобных «промельков» и весьма любопытные, «знаковые», почти

символические по смыслу. И, видимо, не зря именно их, при всей эпизодичности и кажущейся нелогичности, сохраняет память.

Положим, можно, сто раз меня эпитеты, называть военные годы в тылу — суровыми, глухими или кромешными, но всё равно представление о них будет менее ярким, чем то, что запечатлено и выражено в какой-нибудь одной живой «картинке». Например, в такой.

Зима. В нашем доме холодно и сумрачно. За обмёрзшими окнами — седая пелена морозного тумана. Открывается тяжёлая дверь, и в избу входит, а точнее — словно бы вливается на белёсом облаке мать; она разматывает шаль, платок, тоже густо белые, заиндевелые, сбрасывает полушубок, садится на скамью возле печки и с трудом стягивает подшитые валенки, в которые заправлены толстые «шубные» штаны. Потом погружает красные руки в тёплую печурку и через плечо говорит нам, устало вздыхая:

— Не добрались до дров-то... Вернулись... Ярмо лопнуло от мороза, дровни уж сами вместе с быком едва дотащили...

Особых пояснений, думаю, не требуется. Да, с первых лет жизни я видел, знал, как в лютые морозы, в шальные метели деревенские бабы и подростки ездили за дровами в лес, за сеном в лога и распадки, где сугробы буквально по пояс. И чаще не для своего домашнего, а для общественного, артельного хозяйства. В страдную пору пахали, сеяли и жали, не зная «ни выходных, ни проходных». И не только ради того, чтобы выжить самим, но прежде всего — «для фронта, для победы». Сами недоедали, но отправляли хлеб и картошку, мясо и масло, овчины на полушубки и кожи на сапоги и ремни для бойцов и командиров, шерсть на варежки и валенки, а сверх того отсылали в посылках те же варежки, носки и валенки собственного изготовления. Бескорыстно, с любовью, ради общего дела борьбы с вероломным врагом. Надрывались в работе, простывали, обмораживались и нередко уходили до срока...

И представьте, каково сегодня нам, знавшим и видевшим это, слышать от разных бездельников и болтунов обидные, чёрные слова об истинно жертвенном поколении? Злобные измышления о нашем воистину святом трудовом народе как о «быдле», рабе и косоруком лентяе, если когда-то и победившем, то лишь за счёт своих трупов, да ещё — дармовой американской тушёнки? Живые свидетели минувшего, мы обязаны защитить его, поведать о нём настоящую правду, раскрыть её в первую очередь детям и внукам именно в «живых картинах», не утаивая ничего — ни светлого, ни горького. Вот, допустим, и такого...

Вешнее малиновое утро. В нашей избе только что выставили рамы, и в ней разом стало необычно светло и просторно. Она наполнилась живыми

звуками двора и улицы: тележным стуком по застылым «шахрам», коровьим мычанием, по свистом первых скворцов, чириканьем воробьёв на наличниках. Я припал к прозрачному окну и жадно разглядываю, как засияли промытыми красками синее небо, рыжий косогор, бордовые стволы ранеток в широком палисаднике.

Но вот под окном, точно выросши из-под земли, явились два старика с кудельными бородами, в старинных валяных шляпах без полей, долгополых шабурах, низко по чреслам схваченных опоясками, и с батогами в руках. Спереди, под бородами, у них свисали холщовые котомки, поддерживаемые верёвками, перекинутыми через плечо, точно у сеятелей с торбами. Только котомки были тощими, как и сами старики.

Нищих и странников в ту пору бродило по селу немало. Многих я знал — от косноязычной Марии Сагайской, с вечно обветренными, шелудивыми губами, до Гриши-дурачка, который был, кажется, вполне разумным человеком, но только «блаженным», крайне наивным до простоватости и хлипким, не приспособленным к ломовой крестьянской жизни. Однако этих высоких стариков с холстяными котомками на груди ранее видеть не доводилось. Меня поразило их сходство, словно они были близнецами, и странное их поведение. Они молча стояли под окном, сложив костлявые руки на батоги и опустив глаза к земле. Казалось, раздумывали о чём-то. И только изредка, не поднимая глаз, один толкал локтем другого в бок и тихо, почти шёпотом, ронял:

— Преси...

Но тот никак не отвечал на обращение, будто оно относилось вовсе не к нему, а через некоторое время сам толкал соседа в бок и тем же тоном не то молил, не то приказывал:

— Преси...

Но первый старик тоже пропускал это слово мимо ушей, словно был глухим. Потом всё снова повторялось.

Увидев столь необычных нищих, я полетел в ограду, чтобы сообщить матери, поившей корову. — Там каких-то два деда милостыню просят! — крикнул я ещё с крылечка. Но тут же поправился: — Не просят, а только перепируются, кому первому просить. Вроде как стыдятся...

— А-а, так это братья Ивановы, — вздохнула мать. — Возьми с противня драников и подай им.

Когда я вынес за ворота тёплые лепёшки из тёртого картофеля, старики приняли их с поклонами и стали спешно, как-то даже суетливо прятать в свои тощие кошель, путаясь в складках, а потом, постукивая батожками, точно слепые, направились к соседнему дому. Один дед на миг обернулся, сказал на прощанье сиплой скороговоркой:

— Спаси тебя Бог, малец! — и перекрестил меня издали.

Позднее узнал я, что братья Ивановы, по годам почти ровесники, были когда-то крепкими крестьянами. Потом вступили в колхоз, отдав весь свой скот, лошадей, сбрую, инвентарь, и работали в одной артельной бригаде до старости. А в годы войны, овдовев и потеряв сыновей, погибших на фронте, стали жить вместе, у невестки старшего, на попечении которой осталось четверо осиротевших детей. Жили Ивановы в крайней нужде, едва сводя концы с концами, а по весне, когда кончались осенние припасы, просто голодали. Старики работать уже не могли. Пенсий колхозникам тогда не полагалось. И оставалось одно — идти по миру, просить Христа ради. Но легко сказать «просить»... Для крестьянина-хлебопашца, который искони привык жить трудами рук своих и держаться с внутренним достоинством, сознавая, что кормит он не только себя, но и ещё «семерых с ложкой», милостыня невыносимо горька. Потому, должно быть, так мучительно и давалось братьям Ивановым это сирое слово «подайте», потому-то при всеобщей голодухе мы не часто видели их под окнами, а только в самые светлые, но и в самые чёрные дни ранней весны...

Однако я, кажется, увлёкся. Пора вернуться к главной теме этих заметок — к моей родословной.

Хотя сразу должен признаться, что о роде нашем щербаковском, к стыду своему, могу сказать лишь немного. Не было такого в заводе у крестьян, чтобы подробно выстраивать своё родословное древо. Да и какое там «древо»? Все предки были «вечные» пахари — до бессчётного колена (см. стихотворения «Мой род», «Отцу» и др.). К тому же я не застал в живых ни одного деда и ни бабки, которые обычно хранят память о прошлом и рассказывают внукам о родословных корнях, о «старинке». Все они ушли в лучший мир до моего рождения...

О прадеде Григории

Согласно семейному преданию, прадед мой по отцовской линии (именем, кажется, Григорий) пришёл в Сибирь не по своей воле. Он был человеком упрямым и однажды зимою, едучи в санях на лошадке за сеном, не уступил дорогу встречной тройке полицейского чиновника — станového пристава, за что кучер, соскочивший с козел, стегнул прадеда кнутом. В ответ мой прадед схватил с розвальней бастрик (этакую жердь с оглоблю, которой притягивают сенной воз к саням) и бросился на обидчика, притом в суматохе огрел не только кучера, но и подоспевшего на шум пристава. Словом, вышла драка. И обвинили, понятно, прадеда. Он был осуждён и отправлен по этапу в сибирскую ссылку.

И ещё помню такую деталь. В Минусинске, бывшем уездном центре, на конечном пересыльном пункте, определяли каждому ссыльному

конкретное место его поселения. И поскольку паспортов, подобных нынешним — с фотографией и прочими данными, в те времена не существовало, прадед мой, чтобы попасть к единоверцам, якобы поменялся именем-фамилией со своим товарищем, который был приписан к селению, имевшему старообрядческую общину. Так мои предки появились в богохранимом селе Таскино Сагайской волости (позднее — Каратузского района) под фамилией Щербаковы, хотя родная их фамилия была Плотниковы. И в Минусинской котловине или других местах, наверное, по сии дни живут люди с этой нашей фамилией, а я вот ношу принадлежавшую их предкам и передал её своему сыну и внуку.

А ещё мне о прадеде Григории известно, что он был выходцем из Тамбовской губернии, что жил в селе, стоявшем на какой-то реке — кажется, Цне или Вороне, точно не помню, был потомственным крестьянином-пахарем и что очень любил париться. Баня у него стояла на самом берегу реки. И вот, распалив себя паром и венчиком, дубовым или берёзовым, он вылетал с полка «на простор» и бросался в реку, чтобы охладиться. Даже — зимой, предварительно выдолбив во льду прорубь навроне иордани. Эта семейная байка похожа на правду, потому что прадедова «парная» привычка передалась по наследству: позднее, уже в Сибири, отчаянно парились мой дед Григорий и отец Илларион, да и я, грешный, живя ныне в городской квартире с ванной, всё-таки нередко хожу с такими же «фанатами» в русскую баньку с доброй парилкой. Но, правда, в реку с полка не бросаюсь, хотя излюбленный мною «оздоровительный центр» расположен на острове посредине Енисея.

О деде Грише Толстом

О деде Григории, увы, тоже знаю немногим больше, чем о прадеде. Когда я появился на свет, дедушки уже не было в живых. Помню только из рассказов домашних, что звали его в деревне Гриша Толстый. Прозвище мне было понятно, ибо на единственной дедовской фотографии, висевшей в общей раме на стене, он, снятый вместе с невесткой, то есть моей матерью, и с внучкой Марфушей, выглядел действительно толстым, «корпусным» стариком с длинной белой бородой, резко выделявшейся на его чёрной «толстовке».

Вопреки распространённому мнению, что якобы в сибирских местах свободных земель было немерено: «бери — не хочу!» — своей земли не имели ни прадед (возможно, в силу статуса ссыльного поселенца), ни дед Григорий, который жил в батраках у местных кулаков. И когда у него рано умерла жена, неизвестная мне моя бабушка, то он, оставшийся один с тремя детьми — Ларионом, Липистиньей и Агриппиной, сильно нуждался, прямо сказать, нищенствовал. Старшие — Ларька

с Липкой, как их звали в семье, — даже собирали милостыню по селу. Но вскоре отец мой мальчишкой пошёл в работники по найму, о чём я уже писал в повести, в рассказах и здесь ещё раз скажу чуть позже.

По характеру дед Гриша Толстый был прям, требователен, вспылчив, хотя и отходчив. Мать, например, с грустной усмешкой вспоминала, как ей, молодой хозяйке, он порой давал указания даже по кухне, чего и сколько варить-жарить. Приходилось разными хитростями уклоняться от такого контроля, усыплять бдительность всевидящего ока. Скажем, разбивая лишнее яйцо в тесто или в селянку, она нарочно кашляла погромче, чтоб характерного стука не услышал свёкор, лежавший на печи. Такая «прижимистость» деда была вполне понятной. Наголодавшись вдовцом с ребячней на руках в пору батрачества, он и потом, при одиночной и при колхозной жизни, когда уже в семью пришёл относительный достаток, ревниво следил за экономией съестных припасов.

Умер дед неожиданно и в одночасье. Однажды по весне он чистил огород. Собрал старую ботву, подсолнечные стебли, жухлую траву в кучу и поджёг.

На густой дым примчалась пожарная команда. На тройке. С шумом, звоном пожарники распахнули ворота, влетели в огород, залили из шланга костёр и пригрозили деду штрафом за нарушение правил пожарной безопасности. Расстроенный и оскорблённый поучениями «сопляков в касках», дед круто поругался с пожарниками, зашёл, пошатываясь, в избу, сел на лавку, достал из кармана носовик и... повалился. Так и умер с платочком в руке.

На староверском кладбище над его могилой долго возвышался огромный деревянный крест, «осьмиконечный», который таскинские жители, как и самого покойного, называли «Гриша Толстый». Потом, когда нашей родни в селе почти не осталось — одни умерли, другие разъехались по белу свету, — крест одиноко сгнил и исчез. На могиле лежал только надгробный камень. Но теперь мне и его не найти. Мои родители и сёстры похоронены уже в другом месте нашего староверского кладбища. Не сохранилось у меня и фотографии с белобородым дедом Гришей Толстым.

К слову, позднее, когда я, уже «солидно» заявив о себе в журналистике и литературе, подыскивал незатёртый псевдоним (Щербаковых, как и ныне, было многовато среди авторов), то всерьёз подумывал взять в качестве такового прозвище деда. Но остановило меня то, что я, во-первых, был отнюдь не толстым, а, скорее, тощим и долговязым, и во-вторых, что это было уж слишком созвучно с фамилией классиков, и меня могли обвинить в грубой саморекламе, в желании примазаться ко всемирной славе великого Льва Толстого и его

помню), воевавшего в армии Щетинкина. И когда в ходе беседы сказал ему, что мой отец тоже воевал у Щетинкина и даже здоровался с ним за руку у некоего штаба, старик Котух вдруг оживился, хлопнул себя по коленям и воскликнул:

— Дак я ж знал твоего батю! Ларивона, таскинского старовера! А штаб тот, о коем говоришь, располагался аккурат здесь, в Ново-Троицком, а именно — в нашем доме, в котором мы с тобой сидим! Стол Петра Ефимыча стоял вот в этой комнате, в горнице...

Было чему удивиться. Воистину — мир тесен.

К слову, в моём домашнем архиве доселе хранится «Удостоверение бывшего красногвардейца и красного партизана» за номером 15, выданное отцу уже позднее, в тридцатые годы, Президиумом Каратузского райисполкома на основе Постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 13 января 1930 года «О льготах бывшим красногвардейцам и красным партизанам». Подписано председателем райисполкома Котиковым и секретарём Алиферовым. Забавно сегодня читать, что красные партизаны и члены их семей имели, например, 50-процентную скидку не только «на пользование коммунальной квартирой», но и — «коммунальной баней», «на питание в кооперативных столовых» и «на получение билета в кино, театры и прочие зрелища», а ещё располагали правом «бесплатного проезда через паромную переправу» и «снабжения продовольствием и промтоварами по нормам для рабочих производственных цехов по первой категории». Особенно впечатляет последняя строка, когда думаешь о «льготах» для нынешнего «гегемона», уже, кажется, и вообще исчезнувшего как класс.

Понятно, что, возвратившись домой из походов «на Врангеля» и «на Колчака», отец чувствовал себя героем, да и, наверное, был таковым по своим временам. В Таскино он получил наконец свой земельный надел над Пашиным озером, который старожилы до сих пор называют Щербаковской пашней, с примыкающим к ней Щербаковским же логом. Произвёл запашку клина. Женился на моей будущей матери, тогда — молоденькой девчонке Мане Кокуровой, дочери Василия Кокурова, «стольпинского» переселенца, прибывшего откуда-то «из-под Нижегороды». Потом мать нам рассказывала, что отец ходил в кожанке и папахе с красной лентой наискосок, почти в униформе тогдашних красных партизан, и был, разумеется, завидным женихом, несмотря на своё батрацкое прошлое.

При «единоличной» жизни молодая семья создала довольно крепкое хозяйство. По рассказам родителей, у них было даже несколько лошадей, не говоря о коровах, овцах и прочей живности. И работали они много и упорно — от темна до темна. В 1923 году родился первенец Иван, в 25-м — дочка Марфуша... Когда началась коллективизация, отец,

активист советской власти, естественно, стал и активистом нового колхозного движения. Не очень чётко, но запомнилось мне, что он был среди организаторов колхоза не только в своём Таскино, но и в райцентре, где счёт первых сельхозартелей приближался к десятку. И вроде бы в одном из них отец даже некоторое время председательствовал. Во всяком случае, и старейшина каратузских «летописцев» Леонтий Майков (отец нашей строгой учительницы по математике Елены Леонтьевны), тоже активный участник коллективизации, когда я, будучи корреспондентом краевого радио, газеты «Красноярский рабочий», в шестидесятые — семидесятые годы прошлого века встретился с ним, подтверждал мне это, кивая на свои объёмистые «летописи»... Хотя я не настаиваю на достоверности данного факта.

Ну а у истоков таскинского колхоза отец стоял точно. Председателем, правда, не был. Но многие годы со дней его основания входил в состав правления колхоза, избирался председателем ревизионной комиссии, работал бригадиром и даже агротехником. Да, он, познавший грамоту «самоукой» и читавший до старости «врастяжку», почти по складам, в тридцатые годы заканчивал в Минусинске агротехнические курсы и потом работал в нашем колхозе агротехником. По-нынешнему — главным агрономом! Помню, как рассказывал он о первом своём экзамене перед селянами. Посеяли зерновые под присмотром новоявленного «спеца». Но прошли сливные дожди, на земле образовалась корка, и зёрна долго не всходили на ряде полей. Учёный агротехник волновался. Над ним уже начали подтрунивать колхозники. И тогда он применил невиданный прежде в наших местах агроприём — велел пророборонить засеянное поле конными боронами. Решение оказалось верным. Следом — чуть ли не на другой день — появились дружные всходы. И урожай вышел на славу. Агротехника односельчане признали.

А у нас в доме на память от этой его службы остались ручная мельница (с бункерком и ручьяткой, похожая на мясорубку), лабораторная, для растирания, размалывания зёрен, возможно, на предмет оценки содержания клейковины, определения хлебопекарных качеств, и аккуратный, обшитый чёрным дерматином ящичек — футляр для небольшого микроскопа. И если мельничку иногда использовали в доме по прямому назначению или в качестве крупорушки, то микроскоп лежал долгие годы, всеми забытый, в дальнем углу шкафа под какими-то бумагами и тряпками, пока я случайно не наткнулся на него однажды и не заинтересовался им как редкой и чудесной штуковиной. С той поры этот нехитрый оптический прибор, с несколькими сменными окулярами-линзами разной степени увеличения, стал, наверное, самой занятой игрушкой моего детства и

отрочества. Немалый интерес проявляли к ней и мои друзья. Чего мы только не разглядывали в эту «увеличилку», подложив под смотровую трубку на стеклянный столик! И зёрнышки, и травинки, и волосы-шерстинки, и разных букашек-таракашек, и даже, простите, вошек, которые нет-нет да заводились тогда в наших ребячьих головёнках.

Ну а когда я подросток и впервые влюбился классе в шестом или седьмом, то, помню, уже в тайном одиночестве, всё увеличивая её, норовил получше рассмотреть на общеклассной фотографии одну милую мне мордашку юной «казнобы», скромно стоявшей в заднем ряду. А позднее отзвуки тех тайных любований-разглядываний невольно проявились в одном стихотворении под названием «Портрет», которое донныне мелькает в моих поэтических книжках.

О жизни отца в тридцатые годы я, понятное дело, могу говорить лишь с чужих слов, отрывочно сохранившихся в памяти. Да и в начале сороковых... Не помню даже, как он уходил на фронт. Его призвали рано, где-то в начале войны, и после краткосрочных сборов в Ачинске отправили на фронт.

Так что я впервые, можно сказать, по-настоящему, «живьём», увидел отца только осенью 1945 года. Осенью, наверное, довольно поздней, потому что, мне помнится, когда мать выскочила встречать его у ворот, то на ней была фуфайка, как я увидел, припав к окну и наблюдая эту встречу, а на отце — шинель и пилотка. Он помахал вслед грузовику, подвёзшему его, приобнял мать (объятия-поцелуи не в наших староверских нравах) и, что-то говоря, понёс в ограду вещмешок и какой-то узел. Наш Борзя встретил его радостным лаем и суелливыми поклонами. Я тоже заметался по избе, объятый радостью, смешанной со страхом, и потом взлетел по приступкам на печь и задёрнул занавеску... Позднее эту памятную сцену я описал в прозе и в стихах, так что желающие могут прочитать о ней в подробностях.

Да и о дальнейших днях и годах жизни отца мною написано немало — к стати, несравнимо больше, чем о матери, и, наверное, нет смысла здесь повторять всё это. Попробую сказать коротко и обобщённо, хотя сделать это, конечно, не просто. Как вложить целую четверть века совместной жизни под одной крышей, буквально бок о бок, с самым родным тебе после матери человеком, возле которого ты рос, открывал мир, учился, приобщался к труду, в одну-две страницы? По неволе получится лишь беглая и поверхностная характеристика личности, вроде тех, что выдают «с места работы» по казённой надобности. Но всё же попытаюсь.

Отец мой был из того первого жертвенного поколения людей, которые сгорели в боях и трудах ради мечты о лучшей доле трудового народа.

Великой мечты, вековой мечты, скажу я, не боясь, что это прозвучит слишком пафосно. Ныне, в наши подлые времена, её пытаются оболгать, затоптать, опозлить, и, к сожалению, не без успеха. Но всё же, слава Богу, остались ещё честные и трезвые люди, признающие правоту этого и следующего за ним поколений. Всем нутром ощущаю эту святую правоту и я, грешный. Ибо из самых правдивых и глубоких книг, публикаций, которые мне довелось прочитать за десятилетия, из прямых свидетельств самых умных, честных и порядочных людей, проживших и в царском «раю», и в социалистическом «аду», с которыми Господь меня сподобил свести на жизненном пути, знаю я доподлинно, что «золотого века» в досоветском прошлом не было, что вековое угнетение неимущих, «труждающихся и обременённых» слоем богатых бездельников, нагло захвативших власть над своими братьями, — это не выдумка, а чистейшая правда. И что дворянчики, со времён Бориса Годунова и Алексея Тишайшего обманом завладевшие не только землями, но и душами крестьян, жизнями их, вполне достойны были той ненависти, того возмездия, которые постигли их в годы революций.

Отец успел повоевать в окопах Первой мировой войны, уже на излёте её, и потом оказался среди тех солдат, среди той крестьянской «массы», одетой в серые шинели, которая, получив оружие в руки, закономерно повернула его против своих многолетних (многовековых!) угнетателей. Это не пропаганда, не выдумка из «краткого курса» истории вкп(б), это была. И подхваченный волной революции и Гражданской войны молодой батрак Ларион из села Таскино Сагайской волости Минусинского уезда Енисейской губернии закономерно побывал и в красногвардейцах, и в красных партизанах, и стал активистом и проводником *народной* власти, о чём уже написано выше, и защитником её в огненные годы Великой Отечественной.

И потому же, вернувшись с фронта с шестью медалями на груди, среди которых были — и «За отвагу», и «За оборону Сталинграда», и «За взятие Кёнигсберга», и «За победу над фашистской Германией», отец сразу ушёл с головой в колхозную «бучу» и вскоре добавил к ним награды «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть», работая то бригадиром-полеводом, то заведующим «сушилкой» и «Заготзерно», то начальником пожарного депо или «просто» садоводом колхозного сада, конюхом в бригаде, столяром, пимокатом в соответственных артельных мастерских.

Между прочим, боевые медали его были не «штабные» и не «обозные», он все годы войны пробыл «на передке», получая раны и контузии, не раз попадал в полевые госпитали, но снова возвращался в строй. Его воспоминания о войне, обычно застольные, под рюмку-другую, помнится,

были связаны в основном со Сталинградской битвой, в которой он участвовал самым прямым образом и, тяжело раненый, был переправлен под пулями через Волгу в военный госпиталь. Именно за проявленное мужество в тех событиях он был награждён медалью «За оборону Сталинграда», которую особо выделял среди прочих, наряду с медалью «За отвагу», полученную в то время, когда она ещё была нововведённой наградой и ставилась высоко, почти вровень с учреждённым позднее солдатским орденом Славы трёх степеней. И неслучайно он мне, мальчишке, в День Победы, помню, прицепил к рубашке именно медаль «За отвагу» — «видно, за то, что я выжил в кромешные годы войны», как я позднее написал в стихотворении «Награда», которое много раз печаталось в моих книгах, в краевых и столичных газетах и журналах, в том числе в уважаемом «Нашем современнике»...

Далее подробно распространяться об отце в этих записках, наверное, нет смысла, ибо он у меня «главный герой» множества стихотворений, рассказов, да и повесть «Свет всю ночь» — это, по существу, повествование об отце. Так что и здесь, перефразируя приведённые в начале этих заметок есенинские слова, могу сказать: остальное из отцовской биографии заинтересованные читатели могут также найти в моих писаниях, прозаических и поэтических.

Хотя, конечно, там она далеко не полная. Много, что я собирался рассказать о нём, о связанном с ним, так и осталось в чернильнице. Например, хотелось мне описать качание мёда на колхозной пасеке, вернее — пасеках, ибо их когда-то было несколько. Описать со всеми красками, запахами, звуками, с колоритными лицами пчеловодов и пчеловодок. Водились и такие.

Вы спросите: а причём тут отец? Да притом, что на этих пасеках, стоявших в разных концах артельных угодий — возле чистейшего озера Перешеек, на урочище Совхозная, за пашнями над водяной мельницей, — я бывал обычно с отцом. Он, неприменный член правления колхоза, многие годы подряд избирался председателем ревизионной комиссии. А именно председателю ревкомиссии поручалось контролировать качание мёда и доставку его на колхозный склад, расположенный во дворе правления.

При добром лете пчелиный взятки бывал обильным, мёд качали в течение нескольких дней, и каждый день я сопровождал отца, ранним утром садился с ним в телегу, с двумя-тремя стоявшими в ней деревянными кадками, и ехал на пасеку. Особенно памятна мне пасека на берегу светлого озера Перешеек, у подножия солнцепёчного склона косогора, по которому шёл сосновый бор, зелёный, чистый, пахнувший смолой, летним зноем, донником и мёдом. В прохладном амбаре возле

избушки пасечника стояла медогонка — огромный жестяной чан с вертящимися в нём «крыльями», в которые стоймя вставлялись рамки с сотами, наполненными мёдом. «Крылья» начинали вращаться, мёд стекал в основание чана, а затем через лоток — в подставляемые тазы и вёдра.

На пасеке в эти дни я бывал не единственным из сельских ребятешек. Брала с собою детей и работницы, крутившие медогонку, и пчеловод с помощником. Мы там быстро сдруживались, находили свои ребячьи дела, затевали игры. Но главным занятием для нас было наблюдение за тем, как гонят мёд, и, разумеется, проба его. Здесь доступ к нему был для всех открытым и по сути неограниченным. Ставить какие-либо ограничения просто не имело смысла. «Злоупотребления доверием» исключались уже потому, что свежего, «горячего» мёда много съесть невозможно. Он слишком сладок и приторен. И мы, ребятня, больше нажимали на медовые соты, жуя их воск вместо жвачки. И это была самая сладкая и душистая жвачка на свете.

Отец мой отнюдь не представлял собою эдакого ревизора-соглядатая, работал вместе со всеми: помогал крутить медогонку, обрезать и вставлять сотовые рамки, сливать мёд в кадки и лагуны. А вечером мы отвозили его в кладовую при колхозной конторе. Потом этот мёд частью выдавали колхозникам на трудодни натурой, а частью продавали на базаре в Каратузе или Минусинске и пополняли деньгами артельную казну.

Понятное дело, эти «лакомые» поездки с отцом были для меня желанными и радостными. Однако запомнилась и одна грустная поездка на пасеку, что располагалась на урочище Совхозная пашня, над водяной мельницей. Точнее — грустное возвращение с неё, ибо на этот раз в отцовской телеге стоял с мёдом единственный лагун, а две приготовленные кадки пустыми прыгали и погромыхивали на кочках. Медовый урожай оказался скудным. Но печалило меня не только это. Вдобавок ко всему затёк мой правый глаз от пчелиного укуса, а на темечке больно ныла огромная шишка. Пчёлы на пасеке вели себя словно сумасшедшие: кружили над ульями, жужжали, метались пулями туда-сюда, нещадно жалили кого ни попадя; не делали только одного — не приносили мёда с окрестных лугов и косогоров, густо пестревших цветами.

На вопрос отца, в чём причина такого их поведения, бывалый пчеловод Александр и его подручная Поля разводили руками:

— Видно, год такой, не медовый.

Однако пронизательные односельчане вскоре стали намекать, что «не медовый год» тут ни при чём, а всё дело в «медовом месяце» пчеловода и пчеловодки, которые «снюхались», живя и работая бок о бок вдали от села и своих семей. Пчёлы же, как утверждают знатоки, не терпят подобных

«амурных» отношений (в народе их называют прямее) у своих опекунов и выражают бурный протест всеми силами и средствами.

Председатель колхоза внял этим слухам, разлучил «сладкую парочку», и следующее качание мёда в самом деле получилось более удачным. Правда, это уже был не тот наилучший мёд с цветов раннего разнотравья, который зовут майским и считают самым целебным, а поздний, менее ценный, называемый в народе падевым.

Не написал я и оставшийся в задумках рассказ о том, почему отец ушёл из колхозного сада. Он был очень даже неплохим садоводом, любил это дело и относился к нему — впрочем, как и ко всякому другому, за которое брался, — с большим старанием и ответственностью. Именно в пору его заведования садом сборы плодов и ягод стали настолько весомыми, что, к примеру, яблоки с колхозного склада отпускались колхозникам «под роспись», за сущие копейки, в счёт будущих выплат на трудодни. Иные брали по мешку и более. У нас тоже, помнится, всю осень стоял в сенях мешок-другой с яблоками, отличными, между прочим: анисом, белым наливом, антоновкой и другими, — и я, приезжая домой из Каратуза, где учился в средней школе, хрустел ими с утра до вечера, а потом ещё набивал котомку в дорогу. Может быть, именно поэтому позднее одним из моих любимых литературных произведений стал благоуханный рассказ Ивана Бунина «Антоновские яблоки», вкус и запах которых я отчётливо помню доньне.

Однако отец проработал в саду недолго, всего несколько сезонов. Причиной ухода стал один случай, прямо-таки потрясший его. Как-то летом, в конце июля или начале августа, после обильного ливня, отец вдруг в неурочное время подкатил к дому на своём Савраске, положенном ему по штату (к слову сказать, «лошадь на руках» была для него не последним плюсом садоводческой службы), торопливо зашёл в избу, бледный, взволнованный, не снимая мокрого дождевика, сел на своё обычное место в торце стола, закурил сигаретку и выдохнул:

— Не, я больше не могу! Уйду! Хоть и жалко терять Савраску...

— Что там стряслось-то? — спросила мать.

— Да надоело быть пугалом. Садоводом бы ладно, но я же и за сторожа. А люди как одурели. Особенно эти доярки да скотники с соседней фермы. Не поверишь! Сёдни было: дождь сливной, гром грохочет, молнии огненными бичами хлещут по всему небу, а я вижу из окна садовой избушки — две девки-дойярки перемахнули через заплот, подползли на четвереньках, на коленях к яблоням и давай пластать этот белый налив — да за пазуху, да в подолы, да в трусы, прости Господи! Выскочил, крою их матюгами, а они будто

и не слышат. Только когда схватил двустволку, пальнул в воздух — струхнули, рассыпали яблоки и тягу! Подошёл, собрал с ведро. Да ведь зелёные ещё! И почти у каждого в деревне свой сад. Ну чо им дались эти колхозные яблоки? Не-е, с таким народом коммунизма не построишь. Уйду я из сада! А Савраска... поди, обойдёмся как-нибудь.

И ушёл. Сперва — в колхозную столярную мастерскую, а потом и вовсе — в «свободные художники». Оборудовал свою столярку в ограде под навесом и стал брать от бригадиров заказы на ремонт колёс, телег, на изготовление граблей, вил и прочего крестьянского инвентаря. Стал «кустарём-одиночкой без мотора», говоря языком тридцатых годов, или, как теперь бы сказали, — частным индивидуальным предпринимателем.

Хотелось мне написать и «посмертный» рассказ о нём. Точнее — о его могиле. Когда рядом с моей сестрой Валею на староверском кладбище «поселилась» и наша мама, то решил отец сделать для них общую оградку. Простую, деревянную. Заготовил штакетины, незатейливые балясины, воротца, и однажды, когда я приехал домой то ли на каникулы, учась в институте, то ли в отпуск, уже работая учителем в Канске, он попросил меня помочь ему загородить эту оградку. Я запомнил теперь, помогал ли отцу ставить её, но помню, как мы ездили с ним на лошади «в разведку», чтобы снять мерку, что называется, «привязать к местности» будущую изгородь, и как отец, обойдя могилы, тут же зачем-то прибрёл шагами расстояние за пределами их до берёзы, росшей рядом, а в ответ на мой вопросительный взгляд остановился под её кроной и словно бы между прочим заметил: — Здесь положишь меня...

Лет через десять он и вправду лёг на указанное место в оградке, сделанной «на вырост». А ещё через пяток, «потеснившись», впустил дочь Марфушу, мою старшую сестру, которую мы с её мужем Фёдором Берестовым, бывшим фронтовиком, ныне живущим в Каратузе, и сыном Ваней привезли сюда в последние мартовские морозы в алюминиевом гробу аж из Дудинки. Такова была предсмертная просьба покойной.

К тому времени оградка отцовской работы заметно поветшала, подгнила, похилилась. Её надо было срочно менять или ремонтировать. С этой целью я даже приезжал летом раза два, говорил с нашими столярами-плотниками. Они брались изготовить новую оградку «хоть сегодня», если будет на то заказ. А в «обговоре» деталей такового предлагал свои услуги дядя Егор, муж Липистины, сестры моего отца, колхозный коневод и лихой наездник (о нём и тётке Липистине я тоже писал не однажды). И как когда-то с отцом, я ездил с дядей Егором на «рекогносцировку» местности. Перед поездкой он отправился на конторский двор за лошадью и словно бы походя наказал:

— Возьми там сколь... Дело такое, помянуть надо будет...

Я взял бутылку водки, закуску. Прибыв на кладбище, дядя Егор деловито привязал коня за ближайшую оградку. Мы прошли в глубь леса, к могилам моих родителей и сестёр. Постояв над ними с картузом в руках, дядя Егор обошёл оградку по периметру, покачал головой, повздыхал, давая понять, что она уже хуже некуда, а потом сел в теньке у берёзы и кивнул мне:

— Ну, что там у тебя? Помянем...

Я вынул прихваченный запас, пластмассовые стаканчики, бутылку горькой поставил на камушек гробовой, как в той песне Исаковского о солдате, покорившем «три державы». Мы выпили за Царствие Небесное дорогих покойничков по одной, по другой. Дед Егор не отставал от меня, даже шёл с опережением, поскольку я ему выделил стаканчик посолоннее в знак уважения. Слово за слово, потекли живые воспоминания... Впрочем, после третьей язык моего прораба стал несколько заплетаться, а уж после принятия следующей я понял, что «рекогносцировку» на этом придётся закруглять. И погрузив задремавшего было родича в дрожки, сам взял вожжи в руки, чтобы править стоявшимися конторским жеребчиком.

А назавтра мне нужно было срочно возвращаться в город, и «проект» остался неосуществлённым. На следующий год я снова попытался заменить ограду на могилах. И снова — с помощью незабвенного жокея дяди Егора. Однако сценарий поездки «в разведку» на кладбище с непременно запасом для поминовения усопших родичей повторился один к одному. И тогда я осознал, что на третий раз надо действовать как-то иначе. Самому или через более крепких, надёжных посредников. И слава Господу, такой «посредник» вскоре нашёлся сам. Проблему вызвался решить племянник Ваня Берестов, инженер-речник, работавший в Дудинском морском порту (к слову сказать, прошедший путь от машиниста портального крана до зам. начальника этого громадного порта). Он сам изготовил лёгкую, ажурную оградку из алюминиевых прутьев, в разобранном виде привёз её за тысячи вёрст в Таскино, на месте собрал, покрасил серебрянкой. И она доньне стоит там как новая. И почти каждый год, навещая наше староверское кладбище, я с благодарностью вспоминаю его, живущего ныне в далёком Белгороде. Думаю, не менее благодарны ему и души покойных — его тёти Вали, матери Марфуши, бабки Марии Васильевны и деда Иллариона Григорьевича.

О матери Марии

Странно, что чаще и охотнее я почему-то писал об отце, нежели о матери, хотя больше любил, несомненно, её. Всё откладывал: мол, ещё придёт время, и расскажу о своей родимой матушке не

менее подробно и сердечно, чем о «неоднозначном» тятеньке, но так и не собрался. И теперь уж, наверное, едва ли соберусь, да простит меня её светлая душенька.

А душа у моей мамы, Марии Васильевны (Мани Ларихи, по-деревенскому), действительно была светлая, добрая и отзывчивая. За что её многие и любили, и почитали.

Как уже сказано, мать из-под Нижнего Новгорода привезли в Сибирь её родители, крестьяне-переселенцы, девчонкой лет пяти. Вместе с братьями — старшими Степаном, Яковом, Иваном и младшей сестрицей Саней. О них бы тоже стоило при случае рассказать, особенно — о колоритном и мастеровом дяде Степане, лучшем в селе портном-меховщике, работавшем отличные шубы, дохи, шапки. Да и о дяде Яше, который многие годы заведовал таскинской колхозной заезжей (так называли когда-то «ведомственные» гостиницы) в Минусинске, где мне с детства доводилось бывать довольно часто, дневать и ночевать в просторном крестовом доме по улице Скворцовской, 32. Кстати говоря, обычно ездил я туда именно с матерью, которой поручали продавать колхозный мёд на городском рынке.

О детстве, юности матери я знаю довольно мало. Остались в памяти лишь её отрывочные фразы-воспоминания. Например, о том, как ей, юной Мане, впервые купили ботинки с высокой шнуровкой, которые так шли под её мордовский сарафан, но которые она обувала редко, лишь по большим праздникам, для выхода в церковь либо на вечерний молодёжный «пяточок». Притом, возвращаясь в потёмках домой, в переулке снимала дорогие ботинки и, держа их под мышкой, бежала до ворот босиком.

Замуж, по нынешним меркам, мать вышла рано, где-то на шестнадцатом году, как уже было сказано. Вышла за вчерашнего батрака Лариона, ставшего красногвардейцем и красным партизаном. Теперешние либералы-рыночники с ядовитым напором говорят о том, что-де большевики обманули крестьян, одурачили, не дали им земли, как обещали. Но, повторю, именно при советской власти бывший батрак Ларион впервые получил свой земельный надел и стал самостоятельно крестьянствовать. Вопреки утверждениям тех же чёрных ненавистников народной власти, что-де лучшими, самыми трудолюбивыми крестьянами были кулаки, а бедноту сплошь составляли косорукие лодыри, отец мой, недавний бедняк-голодранец, оказался очень даже рачительным хозяином. По семейным рассказам помню, что он в хозяйстве держал девять лошадей, три дойных коровы, два десятка овец, несколько свиней... И пашня его была одной из самых культурных и хлебобродных в округе. Таскинские старожилы её, расположенную на добрых землях за озером Пашиным, и доньне

зовут Щербаковской. Именно в годы единоличной жизни отец, после рождения первых детей—сына Ивана и дочери Марфуши, «выделился» из тесной избы на Задней улице, купил себе ближе к центру села большой крестовый дом, почти новый, и зажил крепким крестьянином, и не каким-то кулаком-мироедом, а истинным тружеником, самостоятельным и самодостаточным.

Мне уже не раз приходилось писать о том, как работали наши отцы-матери. Ныне так, пожалуй, никто не работает. Даже среди фермеров. Ибо у них, худо-бедно, под руками техника: тракторы, комбайны, автомобили, прицепные машины, которых у вчерашних крестьян не было и в помине. Им приходилось трудиться, буквально не покладая рук и не считаясь со временем. «От светнанадцати до темнанадцати», как грустно шутили, вспоминая «старинку», мои родители. Да и когда, с образованием колхозов, появились первые тракторы—«колёсники» и «приводные» молотилки, труд крестьянский, став несколько производительней, отнюдь не стал более лёгким и менее напряжённым. Ручные работы во многом сохранились, а их интенсивность только возросла. И нам сегодня трудно даже представить, как это простой литовской женщины выкашивали за день по гектару трав или вязали по тысяче снопов ржи и пшеницы. Но именно такой «двуужильной» русской бабой была моя мать, ходившая в ударницах-«тысячницах» на жатве и в «гектарницах» на покосе. Иначе она, жена бригадира, поступать просто не могла, ибо тогда жёны начальников были не «первыми леди», щеголяющими нарядами на «тусовках», а первыми работницами, подающими пример трудовыми рекордами в поле или в цехе. По крайней мере, так водилось в рабоче-крестьянских «низах».

Впрочем, мать была отменной работницей не только на полях да лугах. Она была признанной в селе портнихой, мастерицей по шитью шапок и шуб, как и её старшие братья—Степан и Яков. А позднее стала также одной из лучших застильщиц, выучившись делать «застилы»—заготовки для валенок—у мастерицы первой руки, соседки Домны Полухиной. И об этом подробно написано мною в «Деревянном всаднике». Но вот о портном её мастерстве я писал реже, хотя всё моё детство прошло, можно сказать, в атмосфере этого ремесла. Пулемётное строчение швейной машинки в доме было привычным «бытовым шумом». И если отец, катавший катанки, пытался приобщить меня к пимокатному делу, ставя рядом с собою у верстака, то мать просто прибегала к моей помощи в процессе шитья. Во-первых, моей обязанностью было следить за швейными машинками, ручной и ножной (между прочим, старинной марки «Зингер»), подтягивать гайки и шурупчики, смазывать машинным маслом из маслёнки через специальные отверстия все рабочие, «трущиеся» части, которые

я знал наперечёт. А во-вторых, что-нибудь по-давать, поддерживать при шитье, если в работе было громоздкое изделие вроде полушубка, тулупа или собачьей дохи. Но особенно часто мать просила меня вставлять нитку в машинную иглу, накручивать нитки на шпули и сбривать шерсть с длинных лент, вырезанных из овчины на окантовку шубных бортов и подолов. Для этого служил особый складной нож, с большой деревянной ручкой и полуовальным лезвием, привезённый отцом с фронта. Он отличался изрядной остротой клинка из твёрдой стали и после правки на оселке действовал как настоящая бритва.

Неутомимая работница и мастерица, мать к тому же была разумной и доброй женщиной, уважаемой на селе. К ней шли люди не только с заказами на шубы, шапки да застилы для валенок, но и нередко за советом и помощью. При том мать отнюдь не была «добренькой». Она отличалась прямоотой, рубила правду-матку, которая не всем нравилась, и открыто выражала своё мнение, что ей порою выходило боком. К примеру, после войны, когда впервые поменялся денежный курс, она пришла в магазин и громко обратилась к продавщице и толпившимся покупателям:

— Так что, говорят, деньги наши пропали?

Кто-то капнул «куда надо». Приезжал из Каратуза какой-то чин. Мать вызывали в сельсовет «за длинный язык». Но, правда, дело кончилось «профилактической» беседой и предупреждением.

Характер матери был вспльчивый, но отходчивый. Мне частенько влетало от неё, но всё как бы понарошку. Например, хлопоча у печи, она при моей очередной провинности могла сгоряча замахнуться на меня подручной лопатой или ухватом, даже ширнуть чувствительно в бок, но тут же остывала и, рассмеявшись, сводила ссору к шутке. Всерьёз она меня никогда не била. Да и отец—тоже. Вообще не били. Может, потому, что я был младшим в семье, поздышом и заскрёбышем.

При внешней крепости и полноте, мать на моей памяти частенько сетовала на нездоровье. Наверное, давали себя знать и ломовые крестьянские работы, и бесконечные хлопоты по дому, по хозяйству, И конечно, тяготы и муки вынашивания и рождения десяти детей, шестерых из которых она схоронила младенцами. На старшего, Ивана, получила с фронта «похоронку» (точнее, даже нечто более страшное—сухое казённое сообщение: «Ваш сын пропал без вести...»), а средняя дочь, Валя, умерла у неё на руках в девятнадцать девических лет.

В последние годы жизни мать тяжело болела. Её душила сердечная астма (видимо, и стенокардия). Приступы удушья становились всё чаще. Они настигали её внезапно и в самых неподходящих местах. Помнится, я студентом пединститута был дома на зимних каникулах, и вот прибежали чьи-то

ребятишки-гонцы и сказали мне, что с тётёй Маней сделалось плохо прямо на улице. Что её едва довели до Кошчевых, до дома младшей сестры Сани, вызвали фельдшерицу, но она ничем не может помочь. Я на ходу накинул куртку и побежал к Кошчевым. Дверь у них была приоткрыта. Мать сидела посреди комнаты на полу и, ухватившись за горло, раскачивалась из стороны в сторону. На моё недоумённое восклицание: мол, зачем же открыли дверь, когда морозище на улице,—тётя Саня ответила со слезами, что мать сама попросила об этом, иначе ей вовсе дышать нечем.

Вот такая была «экстренная помощь» в тогдашней деревне. Ну а главными лекарствами для матери служили сплошь народные средства, самые доступные, но порой весьма сомнительные (тем более что никто толком не знал точного диагноза болезни, местные знахарки называли её по-своему «грудной жабой»): пиявки вокруг головы, сок редьки для приёма внутрь, муравьиный спирт, проще сказать — отвар из мурашей, собранных в сосуд с муравьиных кочек. До спасительных для астматиков аэрозолей, впрыскиваемых в гортань, она не дождалась.

Помнится, в год смерти матери я также приезжал на побывку домой (наверное, где-то в июне, перед тем как отправиться на педагогическую практику в пионерлагерь), и когда мать провожала меня в обратную дорогу, садившегося на «попутку», то с ответным пожатием руки вдруг потянулась ко мне и на секунду прижалась лбом к моей щеке в непроизвольном порыве, полном нежности и печали... Почему — «вдруг»? Да потому, что в нашей семье — должно быть, по наследству от предков-старообрядцев с их суровыми строгими нравами — не было принято ни объятия, ни поцелуи, ни прочие «нежности телячьи». Самое большее, чем дотолле мать могла выразить свою ласку ко мне, было поглаживание рукою по моим вихрам, да и то оно завершалось шутивным подзатыльником, скрашивавшим проявление ненужной сентиментальности. А со стороны отца даже и такие жесты расположения или поощрения были просто невозможны.

Мать словно почувствовала тогда, что она видит меня в последний раз. На пике того лета, в конце июля, я получил из дому печальную телеграмму. Мне её вручили во время игры в футбол с ребятами, как об этом написано в повести «Свет всю ночь». Я тут же засобиравшись домой, но на похороны матери опоздал — буквально на считанные часы. И до сих пор живёт во мне чувство вины перед нею за то, что не проводил её в последний путь. Хотя мог бы, приложив побольше усилий. У меня, конечно, нашлись самооправдания, что вот, мол, не удалось в Минусинске на автостанции сесть в переполненный автобус, а попутной машины, которую я побежал ловить за городом,

долго не было. И вроде бы так оно и произошло на самом деле, но всё же, всё же... Кажется, ту попутку я «ловил» не очень усердно, втайне страхась «успеть», увидеть мать в гробу и пройти за ним до кладбища в скорбной похоронной процессии...

Теперь мне этот страх представляется ложным, отдающим банальной чёрствостью. Однако дела, увы, уже не поправишь. Как и вообще ничего невозможно задним числом поправить в жизни, которая не имеет черновых вариантов, а пишется всегда только набело, разом — и навеки. Но, как ни кощунственно сказать, проявилась в том малодушно поступке и светлая сторона. Поскольку я не видел покойной маму мою, Марию Васильевну, то у меня в душе поныне такое ощущение, что она не умерла, а просто ушла куда-то вдоль нашего села, как тогда от попутной машины, увозившей меня, и растворилась...

И, может, если даст Господь сил, я ещё напишу о ней добрые строки сыновней благодарности и позднего покаяния.

О брате Иване

О старшем брате Иване к тому, что я рассказал о нём в упомянутой выше повести, мне, по сути, добавить почти нечего. Я очень смутно помню его. И даже описанные проводы на фронт вполне могут быть просто отголоском позднейших рассказов матери и сестёр, расцвеченных живым детским воображением. Великую вину я чувствую и перед братом, что не приложил достаточно усердия, чтобы разузнать его фронтовую судьбу. Помнится, сотрудничая в «Красноярском рабочем», я вёл в нём несколько лет военно-патриотическую полосу «Отчизны верным сыном будь!». И однажды, придя по служебной надобности в крайвоенкомат, поинтересовался у тамошних работников, нельзя ли установить, с каким формированием добровольцев и куда был направлен Иван Щербаков, тракторист из Каратузского района. Но старый офицер сказал мне, покачав головой:

— Ох, едва ли найдёте концы. От некоторых формирований не сохранилось даже списков — в такой спешке они собирались и отправлялись на передовую в те драматические годы.

Но всё это не служит мне ни утешением, ни оправданием. Поиски следов старшего брата можно было вести и по другим адресам и каналам, тогда ещё были какие-то зацепки. Например, у нас хранилось несколько писем с фронта, в том числе — последнее, с дороги, где значились три загадочных слова: «Еду ближе к дому». Без всяких дальнейших пояснений. И в семье долго гадали: почему едет, куда именно — «ближе к дому»? Высказывались предположения, что он, наверное, был тяжело ранен и отправлен в тыловой госпиталь — возможно, сибирский, даже красноярский, но где-то в дороге «затерялся», да так, что никаких сведений

не осталось. Мать и сёстры пытались подавать в розыски, но ответы приходили почти одинаковые, как под копирку: «Без вести пропал...» Однако позднее, работая журналистом, я мог бы, наверное, повторить запросы в более обстоятельной форме, однако не удосужился, считая подобные поиски безнадёжными. И единственное, что я сделал в память о брате, — посвятил ему несколько стихотворений и главу в повести.

О сестре Марфуше

В неоплатном долгу я и перед старшей сестрой, Марфой Илларионовной, по-деревенски — Марфушей, которую с детства привычно называл нянькой. Хотя, насколько помню, больше со мною нянчилась вторая сестра — Валя (кстати, многие друзья мои называли своих старших сестёр лёлками, но у нас в семье такого слова не водилось). В раннем детстве я, можно сказать, вообще редко видел Марфушу в доме. Она хоть и была на два года младше брата Ивана, но, по сути, тоже принадлежала к тому жертвенному поколению, на чьи плечи легла основная тяжесть страшной войны. Что из того, что они, пятнадцатилетние мальчишки и девчонки, оставались в тылу? Здесь тоже шла своя битва с вражеским нашествием. Узамечательного писателя-народника Фёдора Абрамова, представителя этого поколения, есть проникновенные слова о «русской бабе», которая «открыла» настоящий «второй фронт» с первых дней войны, благодаря чему и стала возможной Великая Победа. Надо бы только к этой «бабе» добавить ещё стариков и подростков, которые шли с нею в единой упряжке. Порою — в буквальном смысле этого слова, ибо известны случаи, когда они сами впрягались в конные плуги и бороны.

Но нянька моя больше работала на оставшейся в деревне технике — прицепщицей на тракторе, штурвальной на комбайне, барабанщицей на молотилке... Притом, что в «промежутках» бывала и грузчицей на зерноскладе, и стогомётчицей на покосе, и успевала на прочих «разных работах», каковых в селе не перечить. А когда затихали сенокосы, жатвы, зяблевые вспашки и техника уходила в районную МТС на ремонт, няньку вместе со сверстниками отправляли в тайгу — на лесозаготовки. Куда-то за Кужебары, Черниговку, Червизюль. Почитай, они там трудились всю зимушку: кто вальщиком, кто сучкорубом, кто возчиком и погрузчиком на бревнотаске.

Вот в нашей литературе, в кино как верх истязаний над якобы невинно пострадавшими от сталинских репрессий многие годы подаются их подневольные работы «на лесоповале». Вообще «лесоповал» стал жупелом и даже неким символом советской эпохи — сплошной каторги для людей инакомыслящих. А я часто думаю: чем же труд тех «вольных» ребят и девчонок из нашей

деревни (да разве только из нашей!) отличался от лагерного пресловутого политзэков? Тем, что за последними в ходе работ присматривал «вертухай» с автоматом? Но зато им полагалось твёрдое питание, при котором в меню значилась даже красная рыба — горбуша или кета. Да и рабочий день был нормирован. А наши-то юные колхознички горбатились в тех же сугробах, при тех же морозах «от светнадцати до темнадцати», и обычной едою их были картофельные супы, каши да сухарики с морковным чаем. И никто сегодня не вспоминает об этом их «каторжном» труде для фронта, для Победы даже на громких праздниках 9 Мая. И конечно, никто не платит им прибавок к пенсиям как участникам «второго фронта». Впрочем, их, надорвавшихся в те лихие годы, сегодня осталось немного, большинство «отдыхает» на тихих сельских погостах. Не стала исключением и моя нянька Марфуша, которую я в детстве так редко видел дома.

А если и видел, то обычно заболевшей. Такою она мне представляется чаще всего и по сей день: сидящей на печи со свешенными на приступку ногами в шерстяных чулках-самовязках и беспрестанно «бúхающей» тем простудным кашлем, который в нашей деревне называли — «с колючкой».

Но, конечно, остались от неё и светлые воспоминания. Скажем, многое из обрядов и нравов сибирской «старинки» связано в моей памяти именно с нянькой. Ведь она всё же была родом из далёких двадцатых годов, когда русская старина ещё жила в народе, несмотря на все «прогрессивные» перевороты в традиционном укладе жизни, крестьянском быте.

К примеру, мне памятны девичьи посиделки в совершенно старинном, почти сказочном духе. Это когда в долгие зимние вечера к нам приходили нянькины подруги — Стюра Смертина, сёстры Аня и Дуся Кондратьевы, дочери Кондратия Фёдоровы, правоверного старообрядца, ещё кто-нибудь. И при свете керосиновой лампы с «пузырём» или даже двух, зажжённых по такому случаю, они, принаряженные в «чистое», с цветными «косо-плётками» в косах, садились за вязанье или пряжу, да и ткацкий станок стоял тут же, в нашей избе, и, проворно орудуя кто спицами, кто веретеном, кто челноком, вели бесконечные беседы, рассказывали были и небылицы, то смешные, то печальные, даже сопровождаемые плачем. А то садились за стол и начинали гадать на картах. Причём, по бедности тех лет, карты были самодельные, нарисованные нянькой, имевшей врождённую способность к рисованию. Особенно запомнилась мне колода жёстких лощёных карт, сделанных из засвеченной фотобумаги, которую оставил ночевавший у нас заезжий фотограф. Те карты были с настоящими дамами, валетами, королями, нарисованными нянькой с помощью пера «рондо» и кисточки

разноцветными чернилами и дешёвыми красочками, которые все звали «глиняными».

Конечно, здесь же, у стола, толклись и мы с Валькой, младшей сестрой. Вальку взрослые девки даже иногда, если не было пары, принимали поиграть в карты с ними. Мне же доставалась только роль созерцателя. Притом созерцать зачастую приходилось с печки или полатей, украдкой. Особенно когда на посиделки заглядывали два-три парня, и тогда уже всякие рукоделия откладывались, а шли сплошные разговоры, игры в карты, гадания на них, либо, обычно в святочные вечера, гадалась ворожба — на петуха, вытащенного из-под кровати, где он вместе с курами коротал морозные дни и ночи, на зеркало, на кольцо в стакане с водой, на комья бумаги, сжигаемой на блюдце, которая при этом, извиваясь, отбрасывала на стену разные причудливые и загадочные тени «по заказу»: кому — похожие на силуэты дворцов, садов или дорожных повозок, а кому и, увы, что-нибудь печальное, вроде холмика или оградки. Но меня больше интересовали не гадания, а гадальщицы, похожие на царевен из сказок, особенно — сёстры Кондрагевы, красивые, чернобровые, статные, в сарафанах, с толстыми косами вдоль спин.

И когда я теперь вспоминаю о них и об этих посиделках-девичниках, то понимаю, что благодаря няньке побывал когда-то в старинной Руси, в каком-нибудь шестнадцатом веке, и даже заглянул одним глазком в девичью светёлку, ощутив всё её целомудрие и красоту. И как я тут понимаю нашего Василия Сурикова!

Или ещё, к примеру, оказался свидетелем сватовства, его неписаного народного ритуала, прошедшего, может быть, из домостроевских времён.

Это было где-то после войны. Многие детали я уже, конечно, подзабыл. Но помню, что сваты к няньке приезжали из села Курагино. В двух кошевах, украшенных коврами. Видимо, в начале зимы, в пору свадеб. Когда они подъехали к воротам, в доме начался переполох. Няньку тотчас отослали в горницу, чтобы она быстренько переоделась в «выходное». Отец пошёл открывать ворота. Мать метнулась на кухню, загремела посудой, стала настраивать самовар. А я запрыгнул на печку, переполненный волнениями.

Сваты зашли кучно, шумно, стали раздеваться у порога. Потом присели на переднюю лавку вместе с женихом. Отец уселся рядом, в торец стола. После взаимных приветствий приступили к делу. Начался предварительный торг, прямо-таки по Пушкину: «У вас товар, у нас купец, собою парень молодец...» Жених сидел и молчал. Он показался мне слишком невзрачным. Хотя и был в полувоенной форме — синих галифе, в «офицерской», тёмно-зелёной, без погон, гимнастёрке и хромовых сапогах.

Роль и поведение няньки-невесты в этой «постановке» мне до деталей, конечно, воспроизвести трудно. Но, насколько помню, когда входили сваты, нянька, уже приедтая, в белой вышитой кофте с рукавами-фонариками и красной косынке, почему-то подметала веником избу. Было ли это запоздалое желание убрать комнату перед гостями, или же такое действие предполагал неписанный ритуал сватовства (возможно, чтобы подчеркнуть хозяйственность, ловкость невесты, а заодно и «повернуть» её на смотринах всеми сторонами и достоинствами, как ныне на подиумах в ходе «конкурсов красоты»), не знаю. Но едва сваты разделись и сели на лавку, как нянька юркнула в горницу вместе с веником. И вышла только потом, к окончанию «торга», и присела на бельевой ящик напротив отца и сватов, скромно помалкивая. Лишь когда отец обратился к ней за её окончательным словом, она пробормотала в смущении нечто невнятное, навряд ли того, что, мол, пока не собирается замуж, и снова скрылась в горнице, затворив за собою дверь.

Отец развёл руками, давая понять, что он тут не властен. И гости, ещё поговорив с минуту для приличия, что-де в таком случае готовы «обождать», поднялись и стали прохладно прощаться.

Однако нянька, похоже, слукавила, сказав, что покуда не собирается замуж. Скорее всего, ей, как и мне, не особо приглянулся жених. И она через каких-нибудь полгода «выскочила» уже безо всякого сватовства за своего таскинского ровесника Фёдора Берестова, фронтового шофёра, который только что вернулся из армии. Между прочим, и — за единоверца, выросшего тоже в староверческой семье, что было, наверное, немаловажно по тем временам, несмотря на внешнее их безбожие.

И вскоре перед моими глазами во всех красках предстало ещё одно яркое действие — деревенская свадьба, сыгранная по всем старинным правилам, или — почти по всем, сохранившимся в народной традиции. С резвыми тройками в лентах, с кошевами, украшенными если не коврами, то цветными половиками, с разбитым дружкой, в роли которого выступал, конечно же, дядя Егор Сафонов, муж отцовской сестры Липистины, конторский конюх, наездник и балагур. С обязательным объездом женихом и невестой на лучшей тройке с колокольцами всех гостей по деревне, приглашаемых на свадьбу. И потом многодневные гуляния в доме и невесты, и жениха. С гармонью, песнями, плясками, подарками, пожеланиями и наказаниями.

И опять — отдельно помнится мне, как нянька на какой-то день свадьбы, в той же нарядной кофточке и красной косынке, «подметала сор» — специально натрушенные в избе солому, сено, охвостья, в которые гости бросали деньги — и бумажные, и серебряные, и медные. А ещё запомнился последний «уезд» невесты из родительского

гнезда в дом жениха: на огромных саях, в которые были поставлены сундуки, тюки, мешки разного приданого, а за пялами саней шла молодая корова или, может, нетель, дочка нашей коровы Катьки, знаменитой отменно густым и вкусным молоком...

Ну а, конечно, самым памятным для меня событием, связанным с сестрой Марфушей, был и самый печальный ритуал нашего древлеправославного обряда—похороны. Об этом я даже собирался написать отдельную повесть, много раз обдумывал детали, вплоть до заголовка, но засесть за неё так и не собрался. Повесть осталась в замыслах. Наверное, помешала мелкая суэта повседневности, вечная обаяловка журналистского строчкогонства, да и лень-матушка тоже. А может, удержали меня какие-то внутренние, психологические причины от покушения на столь непростую, можно сказать, прикровенную тему. Хотя, в принципе, и сегодня было бы не поздно вернуться к ней. И если даст Господь на то времени и сил... кто знает?

К великому прискорбию, мне и до Марфуши приходилось терять родных и близких—брата Ивана, двадцатилетним сгинувшего в военном пожарище, сестру Валю, ушедшую на девятнадцатом году, мать и отца... Но уход Марфуши был почему-то по-особому тяжело пережит мною. Наверное, потому, что с этой утратой я всею душой осознал, что остался на свете совершенно одиноким, осиротел. А остроте такого осознания, должно быть, послужило необычное прощание со старшей сестрой.

Дело в том, что, едва прилетев по срочной телеграмме в Дудинку на её похороны, я узнал от своего Фёдора Берестова, встретившего меня в порту, о наказе больной сестры обязательно по смерти отвезти её «домой», в Таскино, и положить рядом с родными на староверском кладбище. Даром что этот «дом» был за морями, за долами... Марфуша и мысли не допускала, чтобы лечь в чужую землю, в вечную мерзлоту, страшилась её и хотела быть погребённой только в родимой земельке.— А последнее желание покойной—закон,—разводил руками Фёдор.

И началась целая эпопея, горестная и хлопотная,—со сборами в дальний путь, почти в три тысячи вёрст, стоическим одолением его «на перекладных». Из Дудинки ночью—на паровозе до аэропорта Алыкель, далее—самолётом до Красноярска, затем поездом—до посёлка Курагино, и, наконец, на автобусе, «организованном» моим коллегой, жившим там,—собкором «Красноярского рабочего» Олегом Максимовым,—до нашего Таскино. Притом в сопровождении конной упряжки, «для надёжности» поданной тем же неизменным дядей Егором, бывшим дружкой на нянькиной свадьбе... Готовая драматическая повесть, рождённая самой жизнью, что всегда богаче

любых фантазий и вымыслов. Не случайно до сих пор возвращаюсь мысленно к этому «сюжету». А во время написания теперешних заметок обратился даже к племяннику Ивану Берестову, сыну Марфуши, ныне живущему в далёком Белгороде, с просьбой напомнить «канву» тех печальных событий. И он ответил мне пространным письмом, часть которого я, пожалуй, процитирую здесь:

«Попробую повспоминать события второго марта 1974 года...

В семь часов утра мама встала, включила свет и тут же упала. Мы с батей проснулись и видим, что мама на полу и дышит с хрипами. Мы её положили на диван. Я начал делать ей искусственное дыхание, а батя побежал к соседям звонить в скорую. Наша помощь маме не давала результатов, и тогда я побежал в больницу (она была рядом, в пятидесяти метрах от нашего дома), попросить врачей, чтоб помогли. Я чуть ли не кричал, прося о помощи, но они, как нынешние «секьюрити», стояли твёрдо на посту: «Не можем покинуть пост, и у нас нет свободных лекарств». Когда я вернулась домой, скорой ещё не было, а мама уже не дышала. Минут через сорок наконец объявился доктор и констатировал смерть. Я готов был броситься на него с кулаками, обвиняя его в медлительности. У них, оказывается, машина была в отъезде, хотя пешком от скорой до нашего дома пять минут ходьбы. Вот так мы потеряли маму...

Накануне мама всё переживала, что 3 марта ей надо выходить на работу (она до этого год была на инвалидности по сердечной болезни), а боли в сердце ничуть не утихали. И вот...

Бате на работе дали машину и помощников, и мы повезли покойную в морг. Но там всё было забито трупами, и нам предложили положить её в котельную, в холодный угольный склад, где тоже лежали несколько трупов. На следующий день мы её забрали оттуда домой. Обмывала маму бабушка таскинская, звать её как—не помню, но она мать одного из Гужавиных, жена которого, Аня, работала в аптеке. Они тоже родом из Таскино. А помогала бабушке тётя Маша Гужавина, жена Епифана Гужавина, который, кстати, и организовал доставку гроба в Алыкель. До сих пор в моей памяти номер грузового вагона—369 608, на котором мы в ночь увезли маму.

Меня, тогда токаря ремонтно-механического цеха Дудинского порта, на работе отпустили, даже не вспоминали ни о каких заявлениях, и по возвращении домой оказалось, что все те дни, которые я отсутствовал, проставили рабочими днями. Цинковый гроб делали тоже у нас на работе, бесплатно. И потом запаял гроб также человек с моей работы, не взяв за работу ни копейки. Деньги мне на похороны матери в коллективе собрали по тем временам немалые. Да и Вы должны помнить, как

мы с Вами ездили ко мне на работу в тогдашнее РМЦ, я ещё показывал Вам моё рабочее место, мой станок, знакомил с моими мастерами.

Хорошо помогли нам тогда и те, и другие Гужавины. Тётя Маша поехала с нами сопровождающей от коллектива швейников. Они работали с мамой в одном цехе. Маму многие знали в Дудинке как хорошую портниху. Она ведь умела шить всё, начиная от брюк, платьев и заканчивая пальто и шапками. Её научила этому ремеслу и мать, баба Маня Щербакова, и тётя Луша, жена дяди Васи Берестова, а потом по её стопам пошла и моя сестра Валя. Эта тоже может шить всё.

Я смутно помню процесс отправки печального груза самолётом из Алыкеля, но мне запомнилось, как в Красноярске, на железнодорожной станции, нас заставляли вскрывать цинк и пересыпать гроб опилками. А на станции Туба, за Курагино, нас встретил автобус и довёз до Таскино. Помню, как у деда Егора Сафонова собралась чуть ли не вся деревня — проститься с мамой, как потом на кладбище баба Липа оплакивала её, свою любимую племянницу, — аж мурашки по всему телу...

Вот так мы и простились с мамой.

Да, память у Вани оказалась свежее и крепче моей. Но мне запомнилась ещё такая деталь из рассказов его отца. Врачи больницы скорой помощи всё же не оставили Ванины мольбы без внимания. Они дали ему... ватку, смоченную в нашатырном спирте. Но когда он прибежал с нею по морозу домой, то никакой «живительной» ватки уже не потребовалось.

О сестре Валентине

О другой же моей сестре, Вале (она была младше Марфуши на восемь лет и старше меня на шесть), в этих кратких заметках я едва ли смогу поведать что-то значительное, помимо написанного о ней в повести «Свет всю ночь» и ряде рассказов — например, в «Мельнице времён». За давностью лет я уже смутновато помню её, да и прожила она на этом свете недолгие дни. Хотя, повторю, именно она, наша Валя, вынянчила меня в детстве, выпестовала в отрочестве и более всех повлияла на моё воспитание и первоначальное просвещение. Например, от неё узнал я многие песни, глубоко-народные, редкие, какими и поныне порой удивляю в застолье своих седых приятелей. Валя была певунья. Особенно почему-то запомнилась мне поющей в нашем огороде, большущем по-крестьянски, где я помогал ей поливать и полоть грядки, окучивать картофельные гнёзда, срезать и выколачивать спелые подсолнуховые шляпы.

Из толстых стеблей подсолнухов я, помню, делал балаган, покрывая его ботвой и сорной травой. Валя тоже приходила «к моему шалашу» посидеть в тенёчке и при этом непременно пела.

Пела бывшие тогда на слуху военные, послевоенные песни (и о девушках, которые «может, в Туле, а может, в Рязани», точно как в нашем Таскино, «много vareжек тёплых связали, чтоб на фронт их в подарок послать», и про молодого краснофлотца, которого «несли с разбитой головой», и про Витю Черевичного с его голубями), но больше — старинные, народные: про двух сестриц, старшая из которых, приревновав младшую к «дружку», «сманила и столкнула» в море «с крутого бережка»; и о том, как в деревне Грибовке «случилась беда — девчонка лет семнадцати погибла от ножа»; и про горемычную доченьку, которую «родимая матушка» «без ума, без разума замуж отдала»... Наверное, благодаря Вале я и до сих пор, признавая и ценя классическую музыку, оперу, романс, всё же более всего на свете люблю и ценю русские народные песни. Такие тягучие, мелодичные, задушевные, что иную из них трудно слушать без слёз: «Сронила колечко со правой руки...», «Отец мой был природный пахарь...», «По деревне ходила со стадом овец...», «Вот мчится поезд, громыхая, спешат солдатики домой...». Несть им числа, и нет им цены, и нет им замены во всей нашей музыкальной, песенной культуре.

Также благодаря Вале — по крайней мере, во многом благодаря ей, — полюбил я с детства художественное слово, приобщился к чуду литературы. И доныне, когда на встречах с читателями, особенно — юными, мне задают вопрос, как рано и почему я стал писать и кто были моими учителями в этом деле, я обязательно называю сестру Валю, мою первую, может, и произвольную, наставницу. Дело в том, что у Вали была такая особенность: готовя уроки дома, обычно — за столом в горнице, она читала вслух все тексты заданий — по истории, географии, русскому языку и, конечно, по литературе или родной речи. Читала чётко, громко, выразительно. Я же при этом, если был дома, становился невольным слушателем. Но нередко и «вольным»: когда читаемое заинтересовывало, трогало меня, я присаживался рядом на стул и жадно «внимал». И многие стихи, рассказы великих писателей впервые услышал именно от сестры. Помнится, особенно любил «Муму» Ивана Тургенева. Даже упрашивал Валю снова и снова почитать «про Муму».

Хотя всякий раз, едва она доходила до описания того, как Герасим «окутал верёвкой» кирпичи, «приделал петлю, надел её на шею Муму» и, подняв её над водой, «в последний раз посмотрел на неё...», я зажимал уши ладонями и с криком: «Не надо! Не надо!» — убегал из горницы. И возвращался лишь тогда, когда «опасное место» было Валей пройдено.

Рассказ «Муму» — до сих пор одно из самых любимых мною произведений в русской классике. Уже пожилым человеком, в две тысячи, кажись,

третьем году, в конце мая, мне довелось участвовать в работе съезда Союза писателей России, проходившего в Орле. Там, естественно, была организована поездка в Спасское-Лутовиново, родовое гнездо Тургенева. И после осмотра дома, усадьбы, великолепного парка с тенистыми аллеями, по обеим сторонам которых голубел сплошной ковёр цветущих незабудок, я попросил одну из смотрительниц показать мне тот пруд, в котором немой Герасим утопил горемычную Муму. Девушка-гид ничуть не удивилась моей просьбе: видимо, подобных пресителей, «тронутых» этой сценой из рассказа, ей встречалось немало. Правда, она деликатно заметила, что вообще-то Герасим утопил Муму в реке, у «Крымского Брода», а дом барыни стоял «в одной из отдалённых улиц Москвы», но всё же охотно повела меня к пруду. У берега даже показала, где примерно мог находиться лодочный причал, и добавила: мол, поскольку прототипом той капризной барыни считается мать Тургенева, то, возможно, реальные события, положенные в основу рассказа, могли развиться и здесь, в Спасском...

Но я понимал, что она просто щадит моё самолюбие. Мне вспомнилось, что «у Вали» о бочка лодки Герасима «поплёскивали волны», а на зелёном зеркале здешнего пруда, отражавшем могучие липы, не было ни рябинки, да и сам пруд, представший моему взору, выглядел уж слишком маленьким и невзрачным, вроде застойной лужи... Однако всё-таки заняло моё сердце от сочувствия Герасиму, от жалости к Муму. И хоть я уже не вскрикнул: «Не надо!» — когда моя проводница процитировала те самые строки классика, и не бросился бежать вон, как бывало в детстве, но невольно подумал о том, что, может, именно тогда, с Валиного голоса, я впервые ощутил всю могучую, волшебную силу живого слова, художественного образа и писательского мастерства, которым позднее тоже попытался овладеть в меру возможностей.

Любопытно заметить, что многие стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, да и советских поэтов, я знал наизусть, ещё не умея читать, просто запомнил их со слов сестры Вали. И потом, когда сам учился в школе, мне не нужно было их заучивать заново. Верно, не обходилось и без казусов. Помнится, вызванный к доске на уроке литературы, я бойко прочитал стихотворение Лермонтова «На смерть поэта» — и был обескуражен, когда учительница сказала: — Садись. Четыре с минусом. Впредь внимательнее прочитывай тексты при заучивании. Классики не нуждаются в твоих поправках и домыслах...

Дело было в том, что вместо «Пятою рабскою поправшие обломки» я выпалил: «...поправивши обломки», — как «на слух» воспринял в детстве от сестры Вали. Пришлось далее сверять по учебникам свои скороспелые познания.

Валя у нас в семье была самой способной к учению. А ещё была первой выдумщицей и пересмешницей. И конечно, мне больше всех доставалось от её острого язычка. Она любила награждать меня всякими смешными прозвищами, которые порою проникали и на улицу, что мне не особенно нравилось. К примеру, однажды прозвала Купцом и даже (позаимствовав, видимо, у братьев Губиных из некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо?») Купчиной Толстопузым, хотя вместо живота у меня был форменный провал.

А поводом послужило такое событие.

Валя явно завидовала, что меня, пусть малого, но «мужика», родители чаще, чем её, брали с собою то на пашню, то на мельницу, то на базар. И вот именно с базаром было связано это нелепое прозвище. Как-то летом я с матерью поехал в Каратуз продавать картошку. Но, кроме картошки, мать прихватила с собою несколько свежих кусков хозяйственного мыла, которое, мастерица на все руки, сама варила довольно искусно. На базаре она занялась продажей картошки, а мне поручила, так сказать, для зондирования спроса пройти по рядам с мылом и, сунув под рубаху печатку, посоветовала: — Проси пять рублей, а отдашь за три.

И вот я пошёл по базару. Довольно долго никто не замечал моего товара, оттопырившего сбоку рубашку. Но наконец одна женщина наклонилась ко мне и доверительно спросила:

— Что продаём, мужичок?

— Мыло.

— И почём?

— Прошу пять, отдам за три! — выпалил я, с радостной готовностью показывая ей самоварное изделие.

Женщина рассмеялась такому торгу и согласилась купить мой товар, но только при свидетельстве взрослых. Пришлось вести её к матери. И там они уже вдвоём принялись смеяться надо мной и моим коммерческим талантом.

Ну а когда мы вернулись домой и мать не преминула рассказать о том, как я продавал мыло, повторив злосчастную фразу: «Прошу пять, отдам за три», — разом запрыскали смехом и отец, и нянька Марфуша, а Валька прямо-таки зашлась в хохоте и стала сквозь слёзы называть меня сперва природным купчиком, потом купцом, потом купчиной и, наконец, уже под общей гогот, — купчиной толстопузым. На некоторое время ко мне даже прилипло такое прозвище, но, правда, не было поддержано моими приятелями — видимо, в силу явной нелепости, — и вскоре отстало. Да и сама пересмешница недолго носилась с ним, хотя мои слова насчёт «прошу пять, отдам за три» стали в семье крылатой фразой, почти пословицей.

Ну а ещё Валя была самой красивой в нашей родове, да и в селе, думаю, не из последних. Высокая, стройная, черноглазая, густоволосая, с тонкими и

гармоничными чертами лица. Многие женихи, очные и заочные, вздыхали по ней. Но случилось так, что Валя рано и тяжело заболела сердцем. И ушла, как уже сказано, на девятнадцатом году. Умерла дома. В горнице. В той самой, где когда-то любила готовить уроки, читая вслух учебники и художественные книги лучших мастеров словесности. Ушла молодой и красивой, горько оплаканная нами. Как это было, я написал в прощальной повести об отчем доме «Свет всю ночь» и в рассказе «Мельница времён». Здесь могу лишь подчеркнуть, что её кончина была первой виденной мною в нашей семье смертью, которую я, впечатлительный отрок, пережил непередаваемо остро. А потом покойники пошли чередой — мать, отец, сестра Марфуша... Пока я не остался на свете один-одинёшенек.

О собственной персоне мне в этих «фамильных» заметках подробно писать едва ли стоит. Тем

более что я отношусь к разряду авторов, которые пишут в основном о себе, о своей жизни, и даже в большинстве случаев — от первого лица. Так что, наверное, лучше последую уже упомянутому Сергею Есенину, который одну из кратких справок о себе закончил верными словами: «Остальное ищите в моих стихах». И лишь добавлю: а также — в повестях, рассказах, очерках. Ну а уж для самых пристальных моих читателей, проявляющих интерес не только к писаниям, но и к самому автору, могу приложить что-то вроде послужного списка и три-четыре варианта своих автобиографических справок, заметок, написанных в разные годы — по просьбам издателей, преподавателей, критиков и музейщиков тож.

(К примеру: «Мы жили духом», «Все музы педвуза», «Как я был режиссёром», «Журналистика и поэзия шли рядом»...)

210 лет со дня рождения ∴ ДиН АНТОЛОГИЯ

Виктор Гюго

История над вами посмеётся...



Вы не подумали, какой народ пред вами.
Здесь дети в грозный час становятся мужами,
Мужи — героями, а старцы — выше всех.
О, день, о, день, когда поднимут вас на смех,
И вы, разинув рты, увидите: французы
Внезапно, не спросясь, свои порвали узы, —
Когда богатство, власть, и званья, и чины,
Доходные места во всех концах страны —
Всё то, что вы своим считали слишком рано,
Разрушит первый шаг восставшего титана!
В смятенье, в бешенстве, цепляясь за куски
Того, что вдребезги разбилось, от тоски
И злобы станете кричать, грозить, бороться.
Ну что ж? История над вами посмеётся.

Перевод Е. Полонской



Пятнадцать сотен лет во мраке жил народ,
И старый мир, над ним свой утверждая гнёт,
Стоял средневековой башней.
Но возмущения поднялся грозный вал,
Железный сжав кулак, народ-титан восстал,
Удар — и рухнул мир вчерашний!

И Революция в крестьянских башмаках,
Ступая тяжело, с дубиной в руках,
Пришла, раздвинув строй столетий,
Сияя торжеством, от ран кровоточа...
Народ стряхнул ярмо с могучего плеча, —
И грянул Девяносто Третий!

Перевод И. Шафаренко

Дикороссы, или Десять лет феномену

Дикороссы — кочевое племя, обитавшее на территории России в начале XXI века.

Анна Павловская. Из частной переписки

В этом году исполняется десять лет, как на литературной карте России возникло новое поэтическое княжество, самопровозгласившее себя коротко и ёмко: «Дикороссы». У истоков создания этого территориально-духотподъёмного множества (не единицы, а именно множества) стояли поэты Юрий Беликов (Пермь), Андрей Канавщиков (Великие Луки), Сергей Кузнечихин и Александр Ёлтышев (Красноярск), Константин Иванов (Новосибирск), Анна Павловская (Минск—Москва), Геннадий Кононов (Пыталово Псковской области), Олег Балезин (Екатеринбург), Сергей Сутулов-Катеринич (Ставрополь), Владимир Монахов (Братск), Сергей Князев (Подольск). К оному княжеству-множеству за промелькнувшие годы приросло и примкнуло — земельно и словесно — немало бесприютных творцов во многом ещё, как оказалось, неисхоженной и невестребованной поэтической России.

А десятилетие назад в московском издательстве «Грааль» при поддержке газеты «Трибуна», где в то время Юрий Беликов учинил и вёл рубрику «Приют неизвестных поэтов», увидела свет книга с одноимённым названием и единственно возможным подзаголовком: «Дикороссы». В том же году в Белокаменной прошёл «собор дикороссов», как нарёк позднее это событие Константин Иванов. Из глубины России сюда съехались авторы изданной книги, чтобы, во-первых, лицезреть тех, с кем было бы пасоваться, аукаться через степь», во-вторых, явить себя и своё творчество нередко пресыщенным и надменным москвитам, а в-третьих, определить идеологические скрепы, единящие в многопоясовой стране разных по изящным и не-изящным манерам, но претендующих на общность благодаря «золотому клейму неудачи» (выражение Ахматовой) носителей жизненных и творческих судеб. Вот одна из скреп: «Дикороссы — это те, кто прорастает самосевом и не привык рассчитывать на приход Садовника и любовь Родины».

Первым это слово обронил Андрей Канавщиков. А Юрий Беликов, наткнувшись на «дикороссов», аки на самоцвет, подобрал оброненное и принял

разглядывать, а после пустил в обработку, дабы оно засияло всеми природными гранями. И оно засияло, если на сайт www.dikoross.ru стали поступать челобитные: «Прошу принять меня в дикороссы!» И прокатились, точно ополчение Минина и Пожарского во времена Смуты, по страницам газет-журналов-альманахов дикоросские волны. От «Трибуны» — до «Литературной газеты». От «Иркутского времени» — до «Ильи». От «Континента» — до «Детей Ра». От «Бийского вестника» — до «Киевской Руси». Последняя публикация была едва ли не фантастичной: в журнале «Киевская Русь», как правило, печатают украиноязычных авторов, однако дикороссам ответили здесь не только недюжинный кусок журнального пространства, но и опубликовали на великорусском, снабдив такой вот вполне понятной славянскому слуху «подорожной»: *«Про те, як життя витікає крізь пальці, пишуть і поети-дикоросси, унікальне явище в російській поезії, що майже зовсім не відоме в Україні».*

Но насколько ведомо сие «явище» в самой России? Наверное, будет уместным, если в начале нашего разговора о дикоросском феномене выскажутся его первородцы — Андрей Канавщиков и Юрий Беликов, а дальше уже — братиной по кругу — слово «дикороссы» коснётся и уст других соподвижников этого самого «явища». А кроме того, братиноверчение перенесёт нас в атмосферу 2003 года, когда отряд дикороссов предпринял марш-бросок на берега Ангары и Байкала, где радушным хозяином фестиваля поэзии и ведущим круглого стола на тему «Поэт в провинции» выступил тогда ещё живой, а ныне — легендарный поэт Анатолий Кобенков, который привёз всю прибывшую к нему честную компанию в Листвянку — во владения тоже тогда ещё жившего среди нас, но уже уходящего устроителя здешней артгалереи, архитектора и поэта Владимира Пламеневского. Сколько ещё впереди будет оплавленных пустот!.. В Перми задохнётся во время пожара в заброшенном доме дикоросс Валерий Абанькин, в Пыталово, Великих Луках и Обнинске сторгят от тяжёлых и продолжительных болезней Геннадий Кононов, Андрей Власов и Валерий Прокошин... Светлая им память!

Редакция «ДиН»

Андрей Канавщиков

Народное ополчение Слова

Разрушение Советского Союза неизбежно вело и к разрушению привычной структуры организации писателей. В идеологических баталиях 1991–1993 годов всё откровеннее вырисовывалась ситуация того, что государственный корм оказался явно не в коня. Люди с книжечками ССП вполне вольготно и комфортно паслись на тучных нивах литфондов и советских гонораров, в большинстве своём даже не озаботившись в час «X» поднять голос в защиту своих кормильцев.

Кто из трусости, кто из банальной лени промолчал, а многие вообще оказались скрытыми диссидентами, приспосабливцами, которые цитировали Ленина исключительно для домашнего комфорта. Так называемые работники идеологического фронта, которые должны были, по идее, находиться в первых рядах борцов за постулаты социализма и советской власти, не только не возглавили борьбу умов в стихийно-митинговое время, но по собственной инициативе или встали в ряды врагов системы (особенно в национальных образованиях), или, от греха подальше, отошли на обочину процесса. Союз писателей оказался в горячие времена контрреволюции девяностых в целом недееспособной структурой.

Писатели с радостью и облегчением делились, дробились, шкурничали, подписывая тем самым приговор системе ССП: было ясно, что ни одна вмняемая власть больше кормить свору подобных идеологических импотентов не станет. Зачем? Если гораздо дешевле и эффективнее прикармливать нужных людей через издательства и свои премии, зачем содержать громоздкую многотысячную структуру ССП?

Ну а когда прозвучал известный истерический клич «Раздавить гадину!», даже у самых толстокожих развеялись иллюзии насчёт возможной будущей писательской идиллии. Причём водораздел, разметавший писателей по разным тыловым обозам, пролегал даже не столько в сферах политики или стилистико-лексических пристрастий, но он стихийно определялся по сугубо человеческим качествам.

Способен ли ты предавать? Способен ли лгать? Годишься ли ты на роль инженера человеческих душ — или так, простой экспедитор транспортного цеха?

ССП кичился своим соцреализмом, своими белыми берёзками, социальным оптимизмом, а на поверку оказалось, что такими нитками шить более-менее заметный флаг для движения в будущее невозможно. Не хочу называть фамилии, но реалисты оказались реалистам рознь. ССП провалился не только идеологически, но и в ремесленном смысле тоже.

Своего рода моментом истины стало формирование в 1993 году единой право-левой оппозиции. Именно тогда звание писателя проверялось на гражданскую и нравственную чуткость, на готовность быть вместе со своей страной и своим народом, не требуя ничего взамен. Именно тогда антикоммунист Егор Летов стал петь одиозно-советский гимн «И вновь продолжается бой!», а нацбол Лимонов говорил о едином предвыборном блоке с анпиловской РКРП.

Это было отчасти формой национального и нравственного самосохранения. Впрочем, процитирую сам себя из 1993-го: «Как заболевшая собака ищет целебную травку, так от удушающих хризантем официоза, пышным цветом распускающихся в жирном навозе Переделкино, почвенники, растерявшие страну, побежали в глухие подзолистые чащи искать русские национальные дикоросы». С той лишь разницей, что сейчас речь шла не об абстрактных растениях, но уже о людях — дикороссах.

Тех, которые не были частью официальной системы, но без которых всё рушилось и теряло смысл. Тех Мининых и Пожарских, коих никогда не пустят по доброй воле в цари, но без оных любой царь — фикция и инородная марионетка. Тех, кто не слишком был силен в аппаратных играх, в философиях, обоснованиях, но очень хорошо всегда знает, что нужно делать в каждом конкретном случае.

Фактически дикороссы пришли в русскую литературу как раз новым народным ополчением, чтобы спасти звание и честь писателя от ауры предательства и стяжательства. Показать граду и миру, что писатели не только стучат и делят имущество, не только за чубы друг друга таскают, но и творят! Не только делятся по политическим признакам, но, как и прежде, готовы пробуждать лирой «чувства добрые».

Цена ведь вопроса крайне высока. Заметьте: какая сфера искусства самая честная, самая откровенная, самая безыскусственная, что ли? Литература! Поскольку именно Слово некогда из разлитого вокруг разброда и хаоса сотворило бытие. Везде можно с разной степенью ловкости хитрить, но меньше всего это удастся в литературе, особенно — в поэзии.

Если та же музыка изначально присутствует вокруг нас семью разлитыми в пространстве нотами, присутствует плеском воды, шелестом ветра, если цвет изначально сопровождает все явления жизни, то Слово непременно должно явиться Божественным образом творения. Явить себя из хаоса и ничего, явить через сознательный и целенаправленный акт созидания.

В том мутном бреде разграба, когда даже Александр Солженицын оторопел от всего цинизма и гадости ситуации, прежде всего народное опогчение дикороссов не дало связать воедино понятия «писатель» и «ССП». Чётко разделяя звание, дающееся творцу Богом, и — членский билет. Духовную сущность и — внешние формы.

Ну а дальше началось совсем неожиданное. Вдруг понятие «дикороссы» начало жить своей отдельной жизнью, наполняясь уже совсем новыми оттенками и значениями. Привязанное мной к реалиям девяностых, оно привязываться к ним не захотело.

На свет появилось историческое письмо Юрия Беликова от 29 октября 2001 года: «Заметьте: ныне по-прежнему известны те, кто приобрёл известность в 60–70-х. Имена остальных, кто начал входить в фавор в 80-е, как-то потихоньку выкрошились. А посему на сегодня в ранге неизвестных — многие... Запало мне одно словечко, оброненное Вами: дикороссы. Так запало, что на недавней пресс-конференции в Центральном Доме журналиста, где вручались книги лауреатам Илья-Премии, я — со ссылкой на Андрея Канашикова — назвал явившихся из провинции победителей дикороссами. А на фуршете поднял тост: „За тайну дикороссов!“».

Беликов тонко почувствовал, что крушение монстра под названием СПП — вопрос решённый и писательское сообщество пусть пока смутно, неясно, глухо, но требует воссоздания новой данности единства на неких новых основаниях. Уже без догм идеологии, ремесла и членских книжек. Пускай с рифмами и верлибрами, реализмом и авангардом, патриотизмом и космополитизмом, чем угодно, лишь бы было это *нравственно*. Поднимая роль писателя до уровня звания, до уровня человека, достойного собственной роли творца, побеждающего хаос.

Показательно, что на моё поздравление по случаю пятилетия интернет-альманаха «45-я параллель» его редактор и по совместительству дикоросс

первого призыва Сергей Сутулов-Катеринич подчеркнул: «Дикороссы — люди предельно искренние. Поэтому цену ваши слова!»

То есть Юрий Беликов сумел за все эти «дикоросские» годы не просто собрать некий авторский костяк по принципам таланта, дара, но и обозначить, заявить откровенно нравственный характер писательского единения. Совестьливый, искренний, без подлостей и подстав. Та же Марина Кудимова из «Литературной газеты», только прослышав, что в Новгороде создаётся памятник Дмитрию Балашову, бескорыстно и сразу берётся помочь, связывается со мной, делает хорошую публикацию.

И не говорите, что всё это некие милые пустячки! Дескать, так поступил бы каждый. Не каждый! Вспомните, например, такого члена СПП, как Лесючевский. Это тот самый, который был автором литературоведческих доносов на Бориса Корнилова и Николая Заболоцкого. Заместитель ответственного редактора журнала «Звезда», а позже директор издательства «Советский писатель», он старательно снабжал НКВД идеологическими дубинками типа «сознательная контрреволюционная деятельность автора поэмы». Причём особую подлость ситуации придавало то, что Лесючевский как консультант не фигурировал в обвинениях обруганных им поэтов, он только «обращал внимание», так сказать, «сигнализировал».

Идейные наследники Лесючевского прекрасно живут и сейчас. Стоило мне 27 февраля минувшего года выступить в псковской библиотеке со стихами «Русский шахид» и «Начальник Мценской ЧК», как уже 15 марта прокуратурой возбуждается уголовное дело по «разжиганию» и «возбуждению». Источник — донос местного стихослагателя. И что там я?! 26 мая 2011 года во Владикавказе горло в буквальном смысле этого слова перерезается народному поэту Северной Осетии семидесятилетнему Шамилю Джигкаеву. За стихи, осуждающие религиозных экстремистов, его сначала трепала прокуратура, а потом последовала физическая смерть. Смерть — за стихи!

По счастью, пакостники в дикороссы не идут. Не приживаются они там. Не близка им идея служения литературе. Помню, как с одним дикороссом мы весьма не ладили, почти не общались, но в трудной ситуации он позвонил и первым предложил помощь. Невозможно не ценить такое, не понимать важности его поступка.

Каюсь, когда вышел сборник «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)», отшумели круглый стол в редакции газеты «Трибуна» и поэтический вечер в ЦДЖ, я не до конца понимал их глубокую суть и перспективы. Вот ещё одно письмо Юрия Беликова, на сей раз от 15 августа 2002 года: «Книга «Приют неизвестных поэтов» с подзаголовком «Дикороссы» должна выйти в сентябре (стучу по дереву!), в московском издательстве. Там — 40 авторов со

всей России, свой сюжет, разумеется, свой нерв... 1 декабря исполняется 3 года, как в «Трибуне» стал выходить «Приют». Есть замысел, обговорённый на уровне главного редактора газеты, провести большой поэтический вечер в Москве с участием основных действующих лиц».

Конечно, были радость от книги, радость от общения. Многое осталось в памяти: мягкая мудрость новосибирца Константина Иванова, митьковский задор Сергея Кузнечихина, цепкий взгляд Ефима Бершина... Помню в том числе забавный спор в гостинице «Арктика» с Алексеем Шмановым из Иркутска. Он показывал мне свою книжечку члена Союза российских писателей, я ему—свою, члена Союза писателей России за подписью Валерия Ганичева. Алексей доказывал, что он самый «писателистый писатель», на что я лишь предлагал внимательнее всмотреться в очевидное. Кончилось тем, что я послал его, он послал меня, и мы пошли в разные стороны, довольные, что наш диалог не слушал некий гипотетический член Союза российских литераторов.

Думалось, честно сказать, что с той книгой дикороссы и завершатся. На крайний случай, останутся формальным обозначением какой-то локальной литературной группки. Но позже пришло настоящее понимание. Понимание того, что без вот этого совестливого, искреннего начала в русской литературе мы опять можем сорваться в пропасть рваческой гонки за привилегиями, гононарами, что без дикороссов новым Лесючевским

будет уж чересчур хорошо и вольготно воссоздавать, пусть и без личины ССП, для своего кружка новые кормушки и прикормленные места. А этого никогда и ни при каких условиях допускать нельзя!

Дикороссы могут и не знать до поры до времени, что они дикороссы. Это ровным счётом ничего не меняет. И они могут исповедовать разные политические и эстетические взгляды, но они едины в главном—в том, что вначале было Слово и это Слово нельзя обманывать. Читаю, например, с какой любовью о литературе пишет министр информации и печати Саратовской области Наталия Есипова в своём интернет-блоге, и почти уверен: это—дикоросс. Читаю, что в Общественной палате Кемеровской области прошла дискуссия «Современный литературный процесс в Кузбассе: моральные пределы свободного творчества», и чем-то дикоросским, родным веет от всего этого.

А упомянуть алтайский краевой конкурс на издание литературных произведений с его десятью победителями?! Или—известие об идее камчатского губернатора Владимира Илюхина назначать стипендии писателям?! Или—калининградская практика определения лучшего писателя года?!

Отмена государственного финансирования не уничтожила русскую литературу. ССП не похоронил под своими обломками идею писательского единства. Хороших книг не стало меньше, равно как и хороших авторов. Очевидно, что в немалой степени поспособствовала этому концепция дикороссов.

Юрий Беликов

...Но выклик был берёзе

Из апрельских записей 2003 года

1. Лица дикоросской национальности

Не знаю, существует ли в России вертикаль, но у неё есть непререкаемая горизонталь — поезд Владивосток—Москва, в котором мы едем из Иркутска вот уже вторые сутки. А надо — семь, ежели брать конечные пункты отправления и прибытия. Поезд сшивает это протяжное, неприбранное и, кажется, всё ещё нехоженое пространство, в которое со смешанным чувством опаски и надежды поглядывает вчерашняя минчанка Анна Павловская. От Москвы до Минска — ночь. Но сколько может вместиться в Сибирь Голландий, Франций и Германий? А в Урал?..

На этой самодвижущейся горизонтали свято место пусто не бывает: бумеранги станций выбрасывают и одновременно возвращают пассажиров. Слышны голоса «постоянщиков»:

— Вот доедем до Красноярска — там уж Сибирь начнётся (видимо, Иркутск для них имеет отношение к штату Аляска, что в известной исторической степени верно. — Ю. Б.)...

— А Тюмень пройдёт — там уж Урал увидим...

Такими неспешными вздохами-делениями измеряется наш путь. Что же касается вертикали, то с верхней полки, будто исполняя полномочный догляд, прыгивает бурятоглазый попутчик:

— С фестиваля, ребята, едете? Поэзии?! А в какой гостинице жили? В «Ангаре»? А о России-то, о России говорили? О патриотизме?..

— Только без слова «патриотизм», — поправляет Павловская. — Мы — лица «дикоросской» национальности...

— Кто такие?

Павловская задумывается:

— Дикороссы — это те, кто бунтует против лжи...

— Какие молодцы! Спасибо, что вы есть. Однажды в Москве у мусорных баков я встретил одного поэта и купил у него книжку. И не жалею. Поэзия — это концентрация всего: чувств, мыслей, поведения!..

— А вы, часом, не филолог?

— Да нет, строитель. Институт народного хозяйства закончил. Сейчас монастырь на Байкале поднимает. Мужской, Спасо-Преображенский.

— А мы вот приют открыли, — говорю. — Известных поэтов. Книжку с таким названием выпустили. В Иркутске было её представление.

Наш попутчик Андрей с интересом вчитывается в иркутскую вкладку газеты «Трибуна», повествующую о третьем фестивале поэзии на Байкале. На столе, точно из волшебных рукавов, начинает расти снедь: булочки, коржики, пирожки. А как же? С поэтами люди едут! Надо поэтов подкармливать. Иначе вертикаль державы обломится.

Так размышляет горизонталь.

2. Кобенковские линзы

Книга «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)» была издана в Москве на средства «Трибуны» в 2002 году. Незамеченной она не осталась: дикороссов, словно из подворотни, облаял в «Литгазете» стихотворец Широков, по ним обронил драгоценную слезинку маленький принц «Нового мира» Дима Шеваров, дикороссам с хлебосольной щедростью распахнул свои страницы когда-то парижский журнал «Континент», назвавший их нечаянное возникновение на поэтической карте России «культурным феноменом». Пространство заиграло мышцами «приютских» презентаций (последнее слово не дикоросское, но так понятней). Они прошли в Кирове, Москве, Минске, Перми, Ставрополе (здесь один из авторов книги, Сергей Сутулов-Катеринич, провёл блестящую телепередачу о проекте «Дикороссы»).

И вот — Иркутск. Родина Вампилова и Распутина. Когда на обратном пути, в поисках укрощения подсасывающего желудка, я вышел на перрон в Тюмени и узрел десятирублёвый творог, то прощёл на его крышечке-этикетке: «С родины Распутина». Вероятно (Тюмень, однако), тут имелся в виду Григорий. Всё-таки в России Распутиных до сих пор два, исключая Машу. Творог иркутского Распутина дикороссы отведали ещё раньше. Тюменскому он не уступает. А лучше копчёного байкальского омуля нет рыбыны на свете! Разве что енисейский хариус красноярского поэта Сергея Кузнечихина, сдобренный ледяной черемшой, прокрученной с салом.

А ещё в Иркутске живёт поэт Анатолий Кобенков. Автор новых оптических строчек наступившего столетия: «Ещё России нет, но выклик был берёзе...» Впрочем, Кобенков может сказать

с оглушающей простотой: «Я приехал, давайте молчать и курить!..» И—с беспощадной пронзительностью: «Прокляни меня, сын, обними меня, брат...» Это он придумал фестиваль поэзии на Байкале. На первый приезжали Евтушенко, Кушнер, Шкляревский, Кублановский, Олег Хлебников. Кроме того—поэты из Польши, Франции и США. Второй фестиваль был посвящён детской литературе и авторам, пишущим для детей. Третий—дикороссам. Вот как высказался о них Кобенков:

—Никто из сорока поэтов, выкликнутых составителями книги из самых разных уголков по всей России (в том числе и те семеро, что ушли из жизни по-настоящему не услышанными), не входил ни в большие, ни в малые наши антологии. Практически никто из них не был окликнут как поэт-певец или пророк, мудрец или воин: для советской цензуры они неверно мыслили, для цензуры нынешней, послушной массовому сознанию, неверно себя ведут. Между тем в их стихах—голос самой России, больная и вечно нацеленная на красоту её душа.

Кобенков в Иркутске фигура не менее легендарная, нежели Вампилов и Распутин. Не припомню (по крайней мере, в истории отечественной поэзии), чтобы о живом поэте в печати помещали некролог. Был такой поэт Павел Мелёхин, так он сам распространил слухи о своей кончине. На Кобенкова же, аки пасквиль, некролог накатали собратья-писатели из параллельного творческого союза. И приписку сделали: мол, будем тебя, падла, хоронить в течение года. В суд на них Кобенков не подал. Почему?

В одной из глубинных деревень Прикамья живёт одноногий и чудаковатый старик, которому добросердечные односельчане повысаживали стёкла в окнах. Он не стеклит их, хоть и зиму пересилил. «Отчего не стеклишь?»—спрашивают соседи. Отвечает: «А чтобы мои обидчики каждый раз проходили—и им стыдно становилось». Таков и Кобенков. Рифмуется.

Взял и пригласил на фестиваль неименитых: того же краснорядца Сергея Кузнечихина, новосибирца Константина Иванова, братчанина Владимира Монахова, лесогорца Вячеслава Тюрина, минчанку Анну Павловскую, выходца из архангельского белоночья Игоря Куницына и певца Евразии, а также главного редактора журнала «Сибирские огни» Владимира Берязева («Евразии—Берязева»—тоже, однако, рифма). Не забудьте про иркутян Алексея Шманова и Виталия Науменко. Ну, их-то Кобенков всяко-разно не забыл бы. А про вышеперечисленных местное телевидение даже обмолвилось: дескать, запрудили Иркутск начинающие поэты...

«Начинающие» похохатывают: хорошо бы! Поелику уж они-то, дикороссы, ведают, что такое

крест хронического поэта. А Кобенкову впору собственное четверостишие оглашать:

Там миг равнялся году, веку—час,
покуда пучеглазая наука,
надев очки, не высмотрела нас,
чтобы швырнуть под линзы Левенгука...

Кобенковская оптика покруче телевизионной будет. Он давно углядел: дикороссы известности не ищут. Она их—быть может. Но они относятся к ней снисходительно. Потому что: «Ещё России нет, но выклик был берёзе...» Мне не кажется это преувеличением.

3. Байкальский ветер—на закуску

Когда едешь по направлению к Иркутску, то где-то уже после Екатеринбурга хвойный лес заканчивается, и вас начинают ослеплять-очищать белые стволы. Что радует: зауральские берёзы московской вертлявой худосочностью, словно их только что выдавили из зубной пасты, не отличаются. Бегут за поездом все, как на подбор, молочно-налитые. Кажется, что такие могут притянуть к себе свадьбы бабочек, хмелеющих от проступающего на стволах сладкого сока...

У поэта Ильи Фоякова, связанного с Иркутском, есть образ—о том, как в пылу слепой битвы за единую Родину к берёзам одновременно припадали красные и белые. Только с разных сторон. Впрочем, такой ли уж незрячий был у той битвы пыл? Помню, ещё во времена комсомола я ошарашил евоных функционеров тем, что заявил: мол, если бы мне выпало пасть «на той единственной гражданской», то «комиссары в пыльных шлемах» уж точно «склонились молча» бы не «надо мной».

А посему первое, что сделали по прибытии в Иркутск сверх фестивальной программы дикороссы, это помянули адмирала Колчака на крутом берегу ледяной и быстротруйной Ангары, где сегодняшние казаки установили памятный крест. Предположительно здесь, уже не живой, был сброшен под лёд отважный исследователь российского Севера и возможный правитель России, чья любовь к Родине и женщине так щемяще была описана в романе «Заглянуть в бездну» основателем «Континента» Владимиром Максимовым.

Иркутск помнит не только о Колчаке, но и об Аввакуме, о первопроходцах-мореплавателях, о декабристах и их жёнах, о губернаторе Сперанском, о просветительском семействе Полевых, один из которых, Николай, будучи известным драматургом и критиком, до сих пор преподаёт нам, современникам, урок бескомпромиссного отношения к попсе, которая, как моль, существовала во все времена.

В своём «Московском телеграфе» Полевой опубликовал колкий отклик на драму Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла», после чего

был закрыт и сам журнал, да и литературное имя Николая Полевого обрело вполне дикоросскую жизнь — вне упоминаний, вне рейтингов. И когда мы выступали в Гуманитарном центре имени Полевых, мне вдруг вспомнилась эта моя давняя строфа, словно наполненная горьким опытом человека, дерзнувшего критиковать Кукольника, и уравнивающая на оси времени разные поэтические столетия:

Не гневаюсь — за что? —
на бедное родство
от Кукольника до
Неведомо Кого!

Дикороссам, конечно, ведом тот игровито-пестрящий сонм, заполонивший подиумы, а вместе с ними и умы, но зачем лишний раз обнародовать хамовитую усреднённость, тем паче — на неё гневаться? Стоит не заметить, наложить табу, заслониться оберегом.

Хотя в своих рядах дикороссы замечают многое. К примеру, начали выяснять, кто может считаться дикороссом, а кто нет. Бродский? Нет. Кушнер? Нет. А вот Рейн — чем чёрт не шутит? Пушкин — да, Есенин — да, Павел Васильев — какой разговор?!

В гостинице Константин Иванов решил было потешить собратьев доселе утаённым и монументально изданным собственным двухтомником. Первый назывался «Избранные стихотворения», а второй — «Примечания к вечности».

— Костя! — вдруг протрезвел Сергей Кузнецихин. — А ведь ты не настоящий дикоросс!..

Сообщество заволновалось, как Запорожская Сечь. Костя — тоже. Не то чтобы вскрылся некий невероятный обман, но всех взвеселило несоответствие: дикороссы — они на то и дикороссы, что могут обойтись без собственных книг, а если обойтись никак нельзя, то книжки у них, как правило, выходят тощими и неказистыми. В случае же с Константином выпячивалось вопиющее нарушение неписаного закона!

Положение спас находчивый поэт-иркутянин Алексей Шманов. Он предложил Иванову в качестве компенсации морального ущерба, нанесённого братии, за каждый оскорбительно изданный том выставить по литру водки. Каково?

— Однако, мало, — буркнул Кузнецихин.

Остаётся добавить, что лицо Константина Иванова, напоминающего на обложке двухтомника кардинала Ришелье, преисполнилось мушкетёрским прозрением:

— Один за всех?..

Когда мы подехали к Байкалу, Иванов доказал, что он настоящий дикоросс. Берег, поросший тёмными, ещё неоперившимися лиственницами, был заметно крут. К «священному морю» поначалу решили спуститься только ваш покорный слуга да закалённый таёжник Данилыч — то бишь

Сергей Кузнецихин. Глядя в сторону снежно прорисовывающихся на противоположной стороне Саян, поочерёдно запрокинули «горн от Кости». В этом случае нет ничего слаще и полезнее байкальского ветра.

— Ребята, я с вами! — послышалось с верхотуры.

В огромном зраке озера отразилась классическая троица, каковую традиционно усилил Иванов.

А его двухтомник Россия ещё одолеет. Потому что на Ивановых держится. А наш Иванов — поэт-вестник. Есть в нём что-то от Даниила Андреева:

Весь падающий мир лишь человек спасёт!
Но кто спасёт его, он в слабости не знает,
И древний глас веков по-детски презирает,
И Бога, как всегда, к распятию влечёт.

4. Конституция Пламеневского

Мы едем, дабы подпитаться отчей памятью, в Музей деревянного зодчества села Тальцы, а затем — в Листвянку. Чтобы пожать руку человеку, коего, конечно же, сопоставляют с Максом Волошиным, но пройдёт время — и, возможно, с поэтом Владимиром Пламеневским, с «капитанского» мостика которого виден Байкал, будут сравнивать какого-нибудь нового собирателя бродячего духа бесприютных творцов, юродивых с веригами этюдников, городских сумасшедших, изваянных красотой бытия и уродствами мира.

Артгалерея Пламеневского, вмещающая в себя невероятный запах стилей и мироощущений, запечатлённых в живописных полотнах, возникла намного раньше, чем в «Трибуне» рубрика «Приют неизвестных поэтов». Стало быть, мы последователи Владимира Юрьевича?..

— В этом домике жил я! — будто вывода наскальную надпись, говорит мне Анатолий Кобенков.

Домик сияет сохранившим желтизну срубом, а крыша у него — как клювик птенца, желторотая тоже.

Жил — подразумевается, писал стихи. А хоть бы и не писал! Поэт ведь часто пишет не тогда, когда он пишет, а когда, к примеру, глазеет, или, если перелистнуть назад двадцатый век, созерцает. Созерцание, как вредное и никчёмное, было перечёркнуто быстро. А ведь это целая область душевной работы. Созерцанию учат глаза Пламеневского. Печальные, но не утратившие кареокий огонёк детского удивления, они — словно живое воплощение той самой строфы Владимира Юрьевича, в которой «мальчик склонился в окошке над букварём, и загорается взгляд его русско-татарский».

Здесь есть что созерцать: и крупную близь ночного неба, и сиреневый дым зацветающего на сопках багульника, и уже перешедшие из второй реальности в первую картины художников, прибывающих в Листвянку к Пламеневскому нередко в полной физической нищете, но зато исходящих

отсюда ободрёнными и не с пустыми карманами — картины-то распродаются! Архитектор Пламеневский сам оборудовал нечто вроде артельных лежанок на чердачных подъёмах — благо, живописцы в этом смысле народ непритязательный.

Дикороссы — по кругу — читают «императору Листвянской картинной галереи» свои стихи. Этот титул, равно как и вполне римский профиль Пламеневского, обозначены на монете, крупнее достоинства которой я не знаю, — один галер. (Прошу не путать с галёрами, это — от талера и галереи.) Очевидно, как у любого государя, у хозяина сих владений есть свой Монетный двор, а стало быть, и чеканщики. На оборотной стороне одного галера — вдоль обода — написано: «Конституция. Параграф 1: любить — да. Параграф 2: ненавидеть — нет». Это единственная Конституция, текст которой можно запомнить навсегда. И придерживаться его.

Я вот думаю: если бы Россия жила по Конституции Пламеневского... Тогда бы и поэты не чувствовали себя изгоями и сумасшедшими, тогда бы их не забивали до смерти тупыми ботинками на её дорогах, тогда бы не гибли они от одиночества и пьянства — что в посёлках, что в мегаполисах, а продолжали бы творить стихи, в которых преображается мир:

Ночь бормотала невнятно, как женщина под образами.
Выгиб священного моря был в олове лунном.
Гнулся во тьме горизонт, золотую тропу обрезаю,
розовый омуль царил под водою в распаде валунном.

Эти полные восторга перед бытием строфы «императора Листвянской картинной галереи» Владимира Пламеневского звучат во мне как продолжение тех иркутско-байкальский видений, которые даровал дикороссам Господь. Сегодня я чувствую себя самым богатым на Земле человеком, сжимая в кулаке один галер, пожалованный «императором». Это единственный император, которого могут признать дикороссы.

Пермь — Иркутск — Пермь

Приговорённые к провинции

...Но давайте послушаем давний гул, шелест и скрип диктофона, побывавшего на круглом столе «Поэт в провинции», который дикороссы провели тогда же — в апреле 2003 года — в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского.

АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ. Прежде было как? «...А у нас живёт вот такой сумасшедший!» — говорил человек из села А. «А у нас сумасшедший — лучше!» — парировал человек из села Б. Теперь, мне кажется, что поэт в провинции, особенно поэт, живущий в такой глухой глубинке, как выпало, например, Вячеславу Тюрину из Лесогорска,

выглядит примерно таким вот сумасшедшим. Давным-давно наше общество занято проблемой, как выиграть миллион, как слетать на Канары, как обмануть государство и соседа, а поэты всё галдят о любви, о жизни, о смерти.

Бывают такие странные исключения: Виктор Петрович Астафьев, город Красноярск, ещё точнее — село Овсянка. Провинциальный это писатель или нет? Каково количество провинциальных литераторов в столице нашей Родины Москве? Это забавный и любопытный вопрос. Как жить поэту в провинции сегодня, когда от него практически отвернулись все газеты, телевидение, радио? Едва-едва поэт ещё получает уважение в библиотеке. Всё изменилось на этом свете, а библиотекари, тоже странные люди, не меняются — по-прежнему молятся на книжку! Вот здесь поэт уже выглядит не сумасшедшим, а желанным гостем и даже иногда пророком. И вот теперь скажите: насколько провинциален уже названный мной Вячеслав Тюрин, где его абсолютно не знают как поэта?... Сколько у вас там населения, Слава?

ВЯЧЕСЛАВ ТЮРИН. Да тысяч, наверное, двадцать.

КОБЕНКОВ. Тысяч двадцать... И никто из этих двадцати тысяч не понимает, что им повезло. Живёт поэт, которого услышали во всей стране. Слава, никому не известный, несколько лет назад взял и послал свою рукопись на конкурс «Илья-премия», о котором он узнал совершенно случайно. И оказался на этом конкурсе первым. Следом за ним пошла уже Анечка Павловская из Минска... Значит, столичные поэты могли в это время отдыхать и отдыхают... Так вот, какво живётся Славе Тюрину? Я знаю, что Славе Тюрину живётся очень плохо. Тепла ему не хватает. Он счастлив, что приехал в Иркутск. Он бесконечно восклицает: «Как здорово!»

Дикий он человек или нет? Или, наоборот, мы — дикие? Давайте, может быть, сообщим об этих вещах порассуждаем сегодня вслух. Я бы предложил первому выступить Юрию Беликову, потому что он-то, собственно, и работал на эту тему, потому что несколько лет назад в газете «Трибуна» придумал рубрику «Приют неизвестных поэтов». И под этой рубрикой подарил нам самых разных стихотворцев, а среди них есть и убедительнейшие поэты. В конце концов это стало книгой. О ней сейчас много говорят. Презентация этой книги проходит на нашем третьем фестивале «Поэзия на Байкале».

ЮРИЙ БЕЛИКОВ.

Провинциальные поэты,
Не вознесённые волной,
Чьи золотые эпюлеты —
Ладони матушки больной,

Кому не музыка рояля
 Вошла под ногти, а земля,
 О нет, вы так и не узнали,
 Как жалит зависти змея...

Эти строки принадлежат Алексею Решетову, который жил сначала в Перми, а последние годы и дни — в Екатеринбурге. Необыкновенно совестливый поэт. Его стихи были включены ещё Вадимом Кожиновым в антологию «Страницы современной лирики». Сам же Алексей Леонидович с большим сомнением относился к собственному творчеству. Как поэт глубокий, он задавал очень редкие по нынешним временам вопросы. Например: «Не даром ли хлебушко ем?» Я бы очень хотел услышать подобную фразу из уст литературных москвичей, полюбивших гастролировать по провинции. «А сколько в Москве провинциалов?» — задал вопрос Кобенков. «Провинциальный» — это хорошо или плохо? И хорошо, и плохо. То же самое, наверное, и со словом «столичный». Здесь тоже — и хорошо, и плохо. Провинциал в Москве... Мне достался такой опыт. Лет семь-восемь назад я был самым юным членом редколлегии журнала «Юность». Всем в редакции — далеко за шестьдесят, а мне тогда — тридцать три. Как говорится, возраст Христа. Провинциал пришёл в столичный журнал со своими идеями. Утвердил на его страницах рубрику «Русская провинция». Но она продержалась года полтора. Я говорил в этой рубрике о том, о чём сейчас только что сказал Анатолий Кобенков. Пытался донести мысль, чтобы читатели «Юности», в том числе и столичные, поняли, что в провинции люди живут не слабые. Во всех отношениях. В творческом — в первую очередь. Но мне долго воплощать свои помыслы не дали... «Вы наводите смуту! Приходится выбирать: или вы — или журнал». Вот сейчас в Пермь из Москвы частенько наведывается модный автор журнала «Знамя» Анатолий Королёв, бывший пермяк. Однажды, выступая в местной библиотеке и отвечая на вопрос: «Тяжело ли провинциалу в столице?» — он обмолвился, что Москва требует своих правил игры, и указал на меня, как на экспонат: «Поглядите! Среди вас находится поэт Юрий Беликов, который эти правила не принял, и потому он — в Перми».

То есть я понял: если ты остаёшься провинциалом и если под этим понятием подразумеваешь какие-то коренные качества, то, наверное, правильно, что судьба выбрасывает тебя туда, где ты и должен находиться, — на родную землю! Поэтому нечего себя искушать и страдать. Просто нужно держать позвоночник прямым! Помню, моя школьная учительница говорила: «Стой прямо! Не бойся, что у тебя тень кривая...»

У большинства авторов книги «Приют неизвестных поэтов» (а их сорок: от Норильска до Ставрополя, от Лесогорска до города Пыталово на Псковщине) — нелёгкие, я бы даже сказал — страшные судьбы. Семерых поэтов уже с нами нет. Шестеро ушли за три последних года. Либо убийства, либо — самоубийство, как это произошло с чувствянином Анатолием Култышевым, выбросившимся с одиннадцатого этажа столичной высотки. Он ведь, когда перебрался в Москву, долго жил по лимиту, потом, до конца жизни, работал котельщиком и дворником. Несколькими раз захаживал в ту же «Юность», ещё в какие-то литературные объединения и очень быстро понял, что это — не его, там скучно, туда стекается одна и та же публика, как правило, играющая в поэзию, а не живущая ею. И, как сказочный Колобок, ушёл ото всех и писал в стол. Единственно, какие у него публикации были, — это то, что я из него вытаскивал. Например, образ своей возлюбленной Култышев вызывал так:

Держу рубашку, как хоругвь:
 а вдрут на ней, как соль от пота,
 проявится лицо?! Умру
 блаженнейшим из идиотов.

Так и произошло...

В Екатеринбурге жил поэт Сергей Нохрин, в своё время выступавший с Башлачёвым в одном ансамбле и с ним же друживший. Судьба Башлачёва вам известна. Парадокс: многие из знавших этих двух поэтов сходились на том, что Нохрин талантливее Башлачёва. Но Башлачёв в силу рывка судьбы, определённой посмертной раскрутки стал знаменитым. Нохрин — нет. Однако получилось, что он в какой-то степени повторил судьбу Башлака (так называли Башлачёва в узком кругу). Два года назад Нохрин с приятелем попали в драку, один из ударов пришёлся Серёже в область сердца. Он боли терпел месяц. Наконец вызвали с женой скорую. Приехали врачи и говорят: «У вас — остеохондроз!» Жена пошла в аптеку за лекарством, вернулась, а Серёжа уже на полу. Умер ползущим к дверям. Как мощно в нём звучала тема нравственного превосходства русской провинции!

Попробовав заморское вино,
 закурит папироску и обронит
 весомо и значительно: «Говно.
 Кузьминишна гораздо крепче гонит».

Или — живший в Перми поэт Борис Гашев, который стал лауреатом премии журнала «Юность». Сейчас Гашева многие называют крупным самобытным поэтом, в том числе — главный редактор «Юности» Виктор Липатов. Вот тоже судьба... Первого мая, в день рождения своей дочери, Гашев вышел во двор собственного дома и принял

фантазмагорическую смерть—от удара в висок каблуком женской туфельки... Неизвестный поэт был убит неизвестной ему женщиной. Вот коротенькое гашевское стихотворение, хранящееся в моей памяти:

Не хватило рюмочки,
Маленькой, одной.
Не хватило умнички,
Глупенькой такой,
Чтоб сквозь наши шумные,
Дымные клубы:
«Больно все вы умные!..»—
Выдохнула бы.

И таких людей по России много! И творчество их мне интересней, нежели упражнения тех, чьи физиономии постоянно мелькают в телеэкранах. Когда-то я вывел формулу: известность—подруга таланта, но талант ей не друг. В принципе, идея этой книги—в том числе и охранительская. Мне хотелось—через публикацию—физически сохранить поэтов-дикороссов, стихи которых вошли в эту книжку.

Чем отличаются дикороссы в лучших своих проявлениях? Очень сложно писать пронзительные вещи. Потому что пронзительная нота—это нечто неуловимое. Она никакими формальными приёмами не достигается. Есть немало хорошо подкованных авторов, которые знают, когда блеснуть метафорой, сравнением, а вот пронзительности в них не сыщешь. И тут открывается обратная сторона медали. Давайте зададимся вопросом: что читают нынешние филологи? Не поверите, я сталкивался с выпускниками филфака новейшего образца, и меня поразили странные вещи, связанные с их... необразованностью. Вы только не удивляйтесь: они почти не читают Есенина, не знают его поэму «Чёрный человек» или замечательного «Пугачёва». Даже не слышали! Я уж не говорю про гениального Павла Васильева, имя которого для сегодняшних филологов вообще ничего не значит. Зато, как изо рта выпученные пузыри жевательной резинки, из их уст то и дело надуваются и лопаются новомодные литературные фамилии. Если такой флюс наблюдается у филологов, то что говорить о представителях других гуманитарных дисциплин?! Мне кажется, в нашем образовании—очень сильный перекоп в сторону определённых шаблонов и абсолютно отсутствует другое крыло поэзии. Оно—словно отрублено. Но на одном-то крыле не взлетишь! Однако печальный факт остаётся фактом: Павел Васильев, Сергей Есенин, Николай Клюев и целая плеяда принадлежащих русской истории авторов, по сути, становятся неизвестными поэтами. Теми самыми дикороссами. Поэтому издание книги «Приют неизвестных поэтов»

может иметь и дальний, расходящийся, тревожный смысл. Он заключается в том, что и классики могут стать неизвестными. И такая опасность в нашей культуре существует...

КОБЕНКОВ. Вдогон Юриным словам об Алексее Решетове и русских классиках, которые могут стать неизвестными... Понимаете, настоящее видится, наверно, везде неодинаково. Светлая память нашему Сергею Иоффе, который в своё время выпустил три книги, посвящённые «третьестепенным» поэтам. Это были этюды о разных авторах. В девятнадцатом веке—Алексей Апухтин. А в двадцатом—это как раз Алексей Решетов. Потом в серии издававшихся в Красноярске книжек «Поэты свинцового века», к которой имеет отношение Сергей Кузнечихин, вышла книжка Решетова с предисловием не кого-нибудь, а Виктора Астафьева. Астафьев безумно ценил этого поэта. Другое дело, что принято говорить, насколько кто знаменит или насколько кто поэт. На сей счёт хорошо сказал Твардовский: «В своём краю, какой хочу, такой и знаменитый». А что думает по этому поводу Кузнечихин?

СЕРГЕЙ КУЗНЕЧИХИН. Многие из поэтов, возвращённых в провинции, немало времени проводили в столице. Почему-то все говорят, что Рубцов—поэт вологодский. А ведь он всю свою поэтическую жизнь прожил всё-таки в Москве. Просто потом нашлись люди, раздувшие сапогом этот самовар. В городе Владивостоке жил, на мой взгляд, великолепнейший поэт, один из лучших поэтов конца прошлого века Геннадий Лысенко. Гена погиб в тридцать семь лет, скандально, абсолютно один к одному как Рубцов, но сапога, раздувающего самовар, на Гену Лысенко не нашлось. Как, впрочем, и на других, не менее талантливых. Я согласен с Кобенковым и Беликовым, что читательская провинция жестока к автору. Потому что, с её точки зрения, если этот поэт в Москве неизвестен—значит, и поэт-то он неполноценный. Я вот что хотел бы сказать: ребята (как в дурацком мультике), давайте жить дружно! Если мы не будем как-то помогать друг другу, никто за нас этого не сделает. У нас очень любят цитировать Булгакова: дескать, рукописи не горят. Горят. Горят по-чёрному! И никому до этого дела нет. И спасибо Юре Беликову, который взял и придумал эту книжку. Потому что чаще всего поэт, перебравшийся в Москву, начинает усиленно отбрыкиваться от своей провинции.

АННА ПАВЛОВСКАЯ. Провинция—это информационный голод и отсутствие роста. Это я на своей шкуре узнала. Как человек, проживший двадцать четыре года в Белоруссии, я хочу заявить, что положение поэта там трагично.

Когда я уезжала из Минска в Москву, главный редактор единственного выходящего в Минске на русском языке литературного журнала «Немига» мне сказал: «Надо умереть или уехать отсюда, для того чтобы тебя заметили». Но это неверно. Потому что ты можешь умереть, ты можешь уехать — тебя всё равно не заметят. И поэты умирают... Умирали и мои друзья. Они умирают — и всё. Про них сразу же забывают! В Минске жил такой поэт Вениамин Блаженный, которого знали и печатали в России, а в Белоруссии его первую книжку издали, когда ему было уже семьдесят лет. Там его не знали и не знают до сих пор. Несчастный журнал «Немига» не в состоянии восполнить этого голода. В Минске существует ещё конфронтация между русскоязычными и белорусскоязычными изданиями. И никто тебя не пропустит — ни в какое издательство, никуда! Тем более, как в шутку белорусы говорят, там до сих пор ещё военный коммунизм. Да, есть Интернет. Но, во-первых, он не всем доступен. Во-вторых, может только усугубить одиночество или растворить поэта как личность. Я хочу согласиться с Кузнечихиным и подчеркнуть ту мысль (в принципе, это основная мысль нашего круглого стола), что если сами поэты не будут поддерживать друг друга — ни провинция, ни столица им не помогут.

КОБЕНКОВ. На сибирской земле бытует самое известное стихотворение, которое, наверное, все знают: «Ах ты, сука-романтика, ах ты, Братская ГЭС, я приехала с бантиком, а уехала — без». Но никто не знает автора. Это — Петя Пиница, который учился в нашем университете, потом мы с ним учились в Литературном институте, автор нескольких поэм, до сих пор, увы, не изданных. Самого Пети, как уверяют мои сокурсники, уже нет в живых. Но... эти четыре строчки — они существуют, и на них реагируют одинаково в равной мере, с улыбкой, все поколения читателей и не читателей. Конечно, можно сказать: «Я живу во Вселенной». Но Бог с ней, Вселенной. Вы знаете, я живу в провинции, имя которой Иркутск. Где не так давно умер очень хороший поэт Борис Архипкин, светлая ему память. Необласканный ушёл, практически никому не нужный. И каждый из нас, кто его знал, живёт с виной перед ним и перед его памятью. Я живу в провинции, где совсем недавно прошёл творческий вечер поэтессы, которую вы вряд ли знаете. Но она пришла в наш Союз и сказала: «Анатолий Иванович, у меня прошёл творческий вечер, на нём было триста человек. Иркутские композиторы написали восемнадцать песен на мои стихи». И подарила мне — сразу! — три томика ужасно, естественно, изданных своих стихотворений.

А следом преподнесла ксерокопию статьи о своём творчестве, которая была опубликована в газете «Восточно-Сибирская правда». Поверьте мне, нет такого поэта, не было и не будет, потому что, читая даже названия этих книг, ужасаешься безвкусице автора. А глядя, как эти книги нарисованы, ужасаешься их провинциальности. Это и есть провинция. Потому что, когда на непоэта приходят как на поэта триста человек (а там были люди, которые называются интеллигентами города Иркутска), и авторша вся засыпана цветами, а в это время в Иркутске умирает голодный, холодный Борис Архипкин, поэт истинный, то это и есть провинция! Это наше провинциальное мышление. Поэтому я и говорю: Юра прав, когда он сделал эту книгу! Понимаете, истинного-то поэта мы и не видим.

Два года назад в нашем академическом театре появилась огромная афиша. На ней красовалось имя человека, которого, наверное, в Иркутске многие знают, но не как поэта. Однако он подавался как поэт. И зал был переполнен! Ни одна актриса академического театра не получала столько букетов, сколько получил этот человек, выдававший себя за поэта. Люди подсчитали: было больше ста сорока букетов! Имя это я не произношу. Оно довольно уважаемое, но в другой области. К литературе никакого отношения не имеет. К слову поэтическому — абсолютно. Но в зале сидели люди, которые — опять-таки — представляют цвет нашей культуры! И воспринимали непоэта-убожество как поэта. Вот это и есть провинция... Почему здесь тяжело жить? Почему тяжело жить в городе Иркутске? Я знаю, что в посёлок Лесогорск приезжают ребята, выдающие себя за поэтов, и тоже в местном клубе собираются люди, которые им аплодируют. А в это время там сидит Слава Тюрин, которого знают в Москве, ценят в Перми и Минске, остающийся на своей малой родине в полной безвестности. Меня безумно волнует провинциальность нашего мышления и поведения, потому что она часто оборачивается трагически, как это случилось с недавно ушедшим от нас Борисом Архипкиным...

ВЕЛИКОВ. В Перми была ещё похлеще история. Тоже женщина, у которой выходит в год не по одной книжке стихотворных текстов, предисловия ей пишет губернатор Пермской области, тут же — мэр. А дальше — дипломированные врачи делают такую аннотацию: что, прочитав эти стихи, вы излечитесь (держитесь за ступля, а то упадёте!) от СПИДА и онкологических заболеваний. Это — тоже провинция!..

АЛЕКСЕЙ ШМАНОВ. Если говорить о провинции как месте жительства, то в этом смысле мы, конечно, провинциальны. Но если речь

о мироощущении и отношении к тому, что ты делаешь и что за этим следует,— тут, по-моему, всё зависит от самого человека, самого поэта. Значит, надо так устроить свою жизнь, чтобы не было ощущения, что ты живёшь, извините, где-нибудь в заднице... Мол, настоящая жизнь происходит где-то там, за тридевять земель. Нет, как ты будешь к этому относиться, так оно и пойдёт. Ну не люблю я Москву! И я отсюда уехал. Я там жил несколько лет, учился. Но меня туда не тянет. Так что я остаюсь...

КОБЕНКОВ (*напевая строчку Михаила Исаковского на музыку Матвея Блантера*). «А я остаюсь с тобою, родная моя сторона...»

ШМАНОВ. Я отсюда никуда не уеду. Мне здесь хорошо!

КОБЕНКОВ. Город Новосибирск! Патриот и поэт Владимир Берязев!

ВЛАДИМИР БЕРЯЗЕВ. Я не могу сказать, что я патриот Новосибирска. Я наверное, патриот вся Сибири и даже шире— Азии и России. Евразии... Тут Кобенков много чего наговорил, хочется просто вцепиться ему в горло и ответить! Недавно я узнал, что, оказывается, в Голландии все поэты вымерли. Как мамонты. И вот чего я думаю: видимо, стихи на планете Земля только по-русски и пишутся. И хочется спросить: хотим ли мы, чтобы всё это прекратилось и больше не было поэтов, не было городских сумасшедших? Не было Кутилова, Рубцова? Это очень важный вопрос. Если— да, то давайте двигаться туда, о чём говорил ещё Платон— о государстве идеальном. Очевидно, это Европа, где живут чётко по распорядку: утром— на работу, вечером— пиво, телевизор... С другой стороны, я много путешествовал по Азии и заметил: совершенно иное дело в азиатских республиках, где ещё сохранилось, я бы так сказал, эпическое, древнее отношение к поэтам как к сказителям. И когда мне приходилось там выступать, я чувствовал огромный отклик. Видел, что я нужен этим людям. И это удивительное чувство! И в нём сокрыто зерно той трагедии, которая рождается как раз от не востребованности. И Рубцов, и Кутилов, и Маковский, и многие мои друзья, и многие друзья моих друзей погибают в России или уже погибли. Станислав Золотцев недавно опубликовал в журнале «Сибирские огни» статью «Гибель поэтов», где он рисует жуткую картину: девяностые годы— это время их гибели, которое сравнимо с тридцатыми годами. Потому что в стране обрушилось всё, оборвав этот контакт, эту востребованность, эту необходимость поэтического слова.

Анатолий Иванович Кобенков переживает по поводу провинциалов. Но, по-моему, он

путает понятия провинции— и черни, толпы, о которой писал ещё Пушкин. Под чернью он как раз понимал непросвещённое общество, плебс. Если таковой существует (а он был всегда), то зачем на него обращать внимание? «Поэт, не дорожи любовью народной». У тебя есть другой читатель. Если— нет, то он найдётся, если разрешить некоторые основополагающие проблемы, существующие на сегодняшний момент. Это, прежде всего, возрождение библиотечной системы. Без полноценного возрождения библиотек мы не сохраним ни сегодняшнюю русскую литературу, ни сегодняшнюю поэзию, потому что именно в этой, сложившейся ещё раньше, системе и могло происходить общение поэта и читателя— через книги и через творчество. Сегодня такая встреча происходит, и я вижу, что она будет плодотворной.

Есть ещё одна сторона деятельности поэта. На мой взгляд, это его непубличность. То есть надо наладить не только издание книг, но и общение с деятелями власти. Тоже немаловажно— выступление в средствах массовой информации. Тогда поэт будет не городским сумасшедшим, а действующим лицом. Пусть он будет даже шутком при государе, как Балакирев, но это была влиятельнейшая фигура, ибо он мог говорить правду. И этот древнейший элемент русского мироустройства нам надо сохранить.

КОБЕНКОВ. Вы знаете, поэт, к горькому опыту которого мы все обращались (а я говорю о Вячеславе Тюрине), на нашем круглом столе решил промолчать. И я думаю, что это, по сути, очень серьёзное выступление! Мы больше задали вопросов, чем ответили на них. Но я не могу не вспомнить Валентина Яковлевича Курбатова. Есть такой замечательный критик в Пскове. В одной из своих работ он меня удивил. Курбатов— человек глубоко верующий и живущий по правде, как глубоко верующий человек. И вдруг он написал (доношу его мысль): «Мне даже представляется, что в провинции существование и возрождение новых храмов не так важно, как важна жизнь в провинции поэтов». И далее Валентин Яковлевич обращается к властям, к людям, которые живут рядом с поэтами: «Обратите внимание на этих чудаков, с которыми вам, может быть, очень даже неудобно жить. Это— единственные личности, которые воспели каждый камушек и каждую травинку на вашей родине. Я не хочу у вас вызвать жалость к себе и своим друзьям— ни в коем случае. Я просто хочу, чтобы вы были более внимательны к тем людям, которые говорят, как наши праотцы. Говорят стихами. Говорят высоко, говорят о том, о чём вы бы сами хотели сказать. Говорят о своей любви, а значит, и о вашей любви. О своей печали. А значит, о вашей печали».

Я выбираю провинцию. Почему? Потому что провинция теплее. Потому что в провинции живут старомодные люди. Старомодные—это значит, думающие о вечных ценностях. Вот отчего поэты, живущие в провинции, так иногда налетают на столицу. Я, по правде, люблю столицу. Я учился в столице. Я люблю туда приезжать. Люблю общаться с поэтами столицы, с художниками, с киношниками. Но я заведён на провинцию, я, зная прелесть столицы, приговорён, светло приговорён к провинции. И думаю, так же—и мои друзья. Мы приговорены к провинции, а следовательно, и к вам, её жителям и поэтам.

(Участники круглого стола просят почитать Вячеслава Тюрин стихи.)

КОБЕНКОВ. Видите, как он обрадовался! Стихи почитать? Он не верит, что есть люди, которые могут слушать стихи.

ВЯЧЕСЛАВ ТЮРИН.

Безнадёжно садиться к бумаге,
когда на сердце нет ничего,
кроме слёз, этой клятвенной влаги,
сознавая с другими родство.

Безнадёжно таращиться в окна,
мерить комнату шагом, как зверь.
Тянет в рубище выйти на стогна
только русскую душу, поверь.

Доска почёта дикороссов

На рубеже тысячелетий Евгений Евтушенко издал собранные им «Строфы века», двух кирпичей тяжелее. Казалось бы—исчерпывающая полнота! Но явился Юрий Беликов, ещё пошарил по литературной карте России: мол, не всё высмотрел Евгений,—издал книгу «Приют неизвестных поэтов». Кому интересны поэты «известные»? Если известны, то ничего вроде бы и не ждёшь от них. А «неизвестные»—на то они и неизвестные, чтобы нести в себе нечто: потаённое, скрытое, сокровенное. «Неизвестное» манит. Второе название книги, что в скобках: «Дикороссы». И это было: «Да, скифы мы...», «Панмонголизм...», «Имя дико...». Край России—это когда всё хочется начать сначала. Когда возврат в культуру, в цивилизацию—смерти подобен... И не понять: хочется ли мне, чтобы каждый Неизвестный стал Известным? Боюсь. Потаённое знание—на то оно и потаённое. Если Господь не попустил, то сохрани втуне. Сбереги. Так мало этого тайного духовного делания. Когда всё на распыл пошло, когда все по горло—в «поводье чувств», сожмись, соберись, озябший, затепли свой огонёк, помолись стихом...

*Иосиф Тимофеев,
«Провинциальный альманах», Латвия*

...Сборник «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)» вдруг предстаёт не книгой, а явлением. «Приют» говорит о том, что поэт ныне—имя собирательное и даже, извините, соборное, а не тусовочное. Ибо тусовку может вдохновлять только мода, поветрие на очередной термин или имя, лучше собственное. Соборность же понятие уже не архитектурное, но архитектурное, размером с Россию. Скифы-дикороссы на меньшее и не согласны: они потому и часто бездомны и бескнижны, что понятия дома и книги для них вопрос не уюта, прюта или рейтинга продаж, а духовных скреп... Казалось бы, маргиналы, бомжи, «урка-частицы» «межмировых» культурных пространств, способные разве что на «особую патетику очистки языка» (А. Люсый), но, объединённые Ю. Беликовым воедино, они уже не просто А. Канавщиков и С. Лузан, И. Воробьёв и Н. Герман (всего 21), С. Нохрин и А. Кутилов (всего 7), В. Тюрин и А. Павловская (всего 12), а «сорок сороков» (21 + 7 + 12) русской поэзии, три ипостаси Единого. Воистину перекрестишься, когда прочтёшь признание составителя книги, что «не сеятель взращивал книгу, но книга взращивала сеятеля». Вот тогда поймёшь все размеры этого набатного явления по имени «поэтическая соборность», подступившего прямо под стены Москвы-тусовочной.

*Владимир Яранцев,
«Литературная газета»*

...Другие—как пермяк Юрий Беликов, например,—пробуют, назвавшись, предположим, «дикороссами», выгородить собственное малое (а там, глядишь, и великое!) княжество на противопоставлении всему «столичному», в том числе «столичным» святыням и ориентирам...

*Сергей Чупринин,
журнал «Знамя»*

Стратегическая задача «ЛГ»—показать литературную жизнь в максимальном её объёме и, что называется, сломать стереотип абсолютизированного существования озвученных поэтов, которые кочуют с фестиваля на фестиваль, с одной книжной ярмарки на другую, из альманаха—в альманах, по сути, не представляя тех реальных глубинных национальных процессов, которые происходят в поэзии. И в данном случае дикороссы—это тот проект, который позволяет вернуть российскому и общемировому читателю имена крупных русских поэтов, которые по той или иной причине были оттеснены со столбовой дороги русской словесности и насильственно маргинализированы...

*Юрий Поляков,
журнал «Киевская Русь» (Украина)*

Крылатая россыпь

За десятилетие товарищеской переклички у дикороссов не мог не возникнуть собственный код, свои метрические опознавательные знаки, «строфы по случаю», кочующие из уст в уста и ставшие достоянием не только самих дикороссов, но и их читателей-почитателей. Вот только малая россыпь.



Этот город похож на татарскую дань
С монастырскою сонной округой.
Здесь когда-то построили Тмутаракань
И назвали зачем-то Калугой.
Сколько славных имён в эту глушь полегло.
Но воскресло в иной субкультуре:
Константин Эдуардович... как там его—
Евтушенко сегодня, в натуре...

Валерий Прокошин



Мы, ненавидя и любя,
на сотни вёрст окрест
Крест подгоняем под себя,
А не себя—под Крест.
Из года в год несём свой Крест,
работаем, едим...
А Крест для всех времён и мест
далёк, высок, един.

Сергей Нохрин



У нас в посёлке жили весело:
Два—застрелилось, семь—повесилось.
Да взять хоть Юрку Воронцова.
Красивой смерть его была:
Рубаха белая багрова,
И кудри чёрны, как смола...

Николай Бурашников



...Петух красиво лёг на плаху,
Допев своё «кукареку»...
И каплю крови на рубаху
Брезгливо бросил мужику.

Аркадий Кутилов



Аптека—старая жидовка,
Ты снова бьёшь мне прямо в дых,
Нутро обшаривая ловко
Карманов штопаных моих.
Но денег нет у человека...
И я стою белей стены...
Чего ты ждёшь? Снимай, Аптека,
С меня последние штаны.

Владимир Болдырев



Поэты сидели в овраге
и пили плохое вино.
Они набирались отваги,
они опускались на дно.
Они набрались, будто свиньи.
Они поднялись на бугор.
И дно поднялось вместе с ними,
как город и как приговор.

Анатолий Субботин



Смотреть, как тают журавли
в пустой безрадостной дали—
забитый в тучу клин...
И прекратить считать нули,
и пить за линии Дали,
за лилии долин...

Геннадий Кононов



У меня братан—бандит,
в пермском лагере сидит
и перо стальное точит—
погубить кого-то хочет...

Юрий Асланьян



Я скитаюсь в округе Китая,
 Стал уже вполовину седым,
 И, окурок зубами катая,
 Выпускаю задумчиво дым.
 Моим думам табак не помеха.
 Дым табачный, мне душу латай!
 Я когда-то в Испанию ехал,
 Ну а там оказался Китай...

Валерий Абанькин



Дело близится к концу,
 но, пускай тебе фигово,
 не с руки и не к лицу
 выживать за счёт другого.
 Стой на правиле простом
 аж до самого отбоя:
 не делись своим крестом,
 не обременяй собою.

Андрей Власов

ДиН ЦИТАТА

Михаил Немцев

О людях, живущих вне какого-либо страдания

<...> Не является ли основным жанром массового искусства комедия страданий от нехватки? Она переходит в жизнь повседневную. В жизни повседневной своих нехваток достаточно (сил, времени, места, денег, свободы, близости, дружбы и пр.), но благодаря искусству эти нехватки превращаются в источники хотелок, часто пожизненных — ну, так и назовём их: «хватки». «Хватка» как то, что заполняет собой, источая блеск, сияние и искры, верхние уровни повседневности. <...> Понятно, почему какой-нибудь сценарист, или постановщик, или журналист применяет сюжеты, взятые из всё тех же учебников, в надежде и расчёте на зрителя. И они находят друг друга, меняются «хватками»... И вот наблюдаешь вокруг себя людей, равнодушных к страданию, пугающихся страдания, при этом занятых этой своей «хваткой», восполняющих её всеми силами. И почитающих тех, кто выстроил вокруг этого свою жизнь, потому что люди любят успешных и потому что эта любовь к успешности и комедия страданий нехватки взаимосвязаны, как чётное и нечётное.

Как подумаешь об этой любви и субъектах её — так вспоминается интернет-мем «небыдло». Хорошие люди, в общем (ну, как минимум, чтобы вместе культурненько — выпить, шашлык-машлык, закутить). Опора нации. Такое... метафизическое небыдло. «Они» любят чемпионов «хватки».

Они потому — те, у кого всё в порядке с «хваткой». Какими надо быть хотеть. Сколько ярких журнальных издательских проектов состоялось на этом культе, о!

<...> Потом идёшь дальше... приходишь куда-то, хоть в гости, и встречаешь ещё и других людей. Не небыдло, другую породу. Наверное, массово встречаемую исключительно в больших городах, где уже три поколения не носят воду из колонки. Тех, кто родился и вырос в мире, настолько устроенном для них и для их употребления, что никакого страдания в этом мире не может быть. Если творчество — то в радость. Дружба — чтобы делиться секретами и вообще «делиться». А Бог — это любовь, и никак иначе. Жизнь их радостна и продолжается как увлекательное приключение самопознания. <...> Вот здесь корни настоящей благотворительности, она радуется как любовь и как спонтанное благо: высшая форма «хватки» — суперхватка, так сказать, — это деятельная, искренняя, настоящая любовь к человеку. Т. е. гуманизм. Человек, рождённый в большом городе в мир-без-страдания, — гуманист. И уже тем более гуманистка.

Смерть удивлённо обходит их дома, потому что искренняя радость не пускает её-к-ним-в-дом. (Ну... до поры до времени). Она уходит в те дома, где живут люди, переживающие нехватку как личную несостоятельность или как социальную несостоятельность, и где о ней знают и потому её боятся. Туда же потом медленно бредёшь и ты, чей мир со страдания начинается и к страданию направляется, немного ошалев от общения с гуманистами и гуманистками. Ну а ты — не гуманист, ты хочешь сверхчеловеческого... Тому ли учили тысячи лет все эти, так сказать, неудачники «хватки», чтобы теперь мы забывали об отчаянии, о страдании, о пустоте? Нет. <...>

Константин Кондратьев

Образок под водой

Землянка

Верстах в пяти, а может, и поближе,
В лесу, в логу, есть заповедный схрон.
Там волк мне руку дружелюбно лижет
И жадно рад кастрюльке макарон.

Там мы с косым—точнее, с длинноухим,—
Бывает, выпьем грамм по пятьдесят,
А там—ещё по сто—и чешем брюхи
Чересполосных диких поросят.

А иногда—комически напыщен—
К нам прилетает царственный снегирь
За сухарём... Но врётся!— Не из-за пищи
Мы здесь сошлись вдали державных гирь.



«В соседнем доме окна жёлты...»

Нелепая декабрьская погода:
ни грамма солнца, но крошечный плюс...
Соседний дом построен был три года
уж как назад. И я не тороплюсь...

Но изо всех окон—процентов десять
иль, может, двадцать—светятся во мгле...
Я не о том, чтоб взвесить и повесить,
и не о тех—в уюте и тепле...

Я всё о нас—о нашей лепой доле,
рассыпавшейся по чужим углам...
Об избах без окон на белом поле,
вмещающих весь наш житейский хлам.



«А старуха пряла свою пряжу...»

Разбрехались нынче псы на подворьях.
Вот и как-то на душе беспокойно.
И топчу я рыхлый снег лукоморья.
И плюю под сапоги: мол, на кой нам

сдался этот на безрыбье рачиний,
пучеглазый и клешнястый Воронеж?..
Вот и ворон свистнул вслед: «Дурачина!
Простофиля: где ж таких щё схоронишь?..»



На самом деле я прозрачнее, чем призрак—
жилец туманный пустырей и подворотен.
Я постоянен вечерами, будто признак
дурной погоды. Я бесповоротен,

как наступление последних дней веселья
с губами жадными и кислыми от сока,
не добродившего ещё в хмельное зелье—
уже пьянящего предчувствием порока...

Я безыскусен, как осиный сладкий танец,
И, как укусы осы, почти безвреден,
и невесом—как потерявший глянец
осины лист, что осенью изъеден.

Я—беспризорен... Я почти неподнадзорен.
И солнечным лучом так точно схвачен,
что, несомненно, был бы подзаборен,
когда бы не был призрачно-прозрачен...

Художник

За окном на крышах снег раскисший.
Галки над извёсткой колоколен.
Вот тебе и сам ты—суд свой высший.
Ну-ка, руку на сердце: доволен?..

Присмотрись: не твой ли холст за рамой?
Не твоё ли это сочиненье?
Не твоя ли постановка драмы?
Не в твоём ли полном подчиненье

Этот захолустный зимний мирик,
Этот серенький денёк январский?..
Что же ты пришиблен, тихий лирик?
Что же так растерян не по-царски?

Путь старушке с тяжкою поклажей
По буграм да ямам взглядом мерить...
Вон каких нашёлкал персонажей,
Так что сам себе уже не веришь.

Сам с собой, пожизненный острожник,
Споришь да бранишься, на трофейный—
Чей-то—кем-то вздуманный треножник
Ладя прокопчённый свой кофейник...



Говорят, до войны (до Второй мировой) тут стояли теплицы, и теперь хоть бы где ни копнёшь—всё сплошное стекло. Потому поутру неохота копать—тянет опохмелиться: вот такое теперь предпочтительней здесь ремесло.

В этом деле, опять же, своя, с позволения, наука: здесь и знанья, и опыт—и дерзкие гении есть!.. А потом закопаешь отца, потетешкаешь внука—и гвоздишь до зари по стропилам гремучую жесьть.

Народное гулянье на Пасху в Воронежской губернии

«Разливы рек её, подобные морям...»

От воды ещё тянет простуженным льдом.
Так о чём ещё, как не о русской природе?..
Вот мой город на выселках, вот он—мой дом,
вот он я—да при всём при честном при народе...

Вот река—как бродяга со ржавью оков.
Вот корявые ветлы, плакучие ивы...
Вот лихие дымки выходных костерков
и широкой души озорные разливы...

Вон заречной церквушки горит фитилёк.
Вон вороны слетаются важно с амвона...
и ломающий зубы кристальный глоток
тёплой водки со льдом колокольного звона.

Вот расхристанной пустоши полный разор.
Вон за ней горизонт. А за ним—вот он, светлый,
вот он, ясный, и трезвый, и любящий взор
на плакучие ивы, корявые ветлы...



Я—Довлатов, не уехавший в Америку.
(У меня на тот момент жены и не было.)
А была бы—закатила б мне истерику
И в Америку б валить со мной погребовала...



«Что ищет он в краю...»

Горит закат чертогом брачным,
Сквозя стропилами сквозь тучи...
По пустырям старик невзрачный
Клюкою разгребает кучи

Дерьма и хлама. По канавам
Блеснёт то банка, то бутылка.
И равно лжёт мирская слава,
Как тяжесть в области затылка.

И равно маловероятно
Здесь повстречать единоверца,
Как вынуть из груди разъятой
Трепещущее жизнью сердце.

И лишь огромные рекламы
Над окружную пламенеют.
И мреет образ юной мамы,
И реют ангелы над нею...

<...>

Бредёт по кромке моря нищий.
Шипя, накатывают волны.
Увы, он счастья не ищет—
Он пережил его по полной.



Ртуть реки. И золото осинника.
Серебро трепещущей ольхи.
Интересно, верят ли в Алхимика
Искорки пугливые—мальки?..

Непроглядна синь небесной колбы.
И дрожит хрусталик... и уже
Обкатали жизненные волны
Философский камушек в душе.

Антон Бахарев-Чернёнок

Лосиная иордань

Джексон

Хочу быть певцом— чтобы меня в золотом гробу,
Как Джексона, по городу промчали на катафалке.
А кругом— плачущие васильки и рыдающие фиалки,
И бледные пальчики прижимают прокушенную губу...

Так нет же; деревня, ещё не зима, июль.
Плыву по цветочному полю, и всё похоже:
Синее море глаз, капельки земляники, белая кожа...
И драгоценное солнце! И не держаться за руль.

О вечном

Глаз выколи— густая ночь. Задворки
Барачные: сарайки, гаражи...
Стремительно в недвижимой глуши
Вершатся молчаливые разборки.
Нечаянно во тьме попали в глаз
Отвёрткой. Но на фоне дырки в рёбрах—
Всё пустяки. Тем более— для мёртвых.

Какая жизнь проходит мимо нас!
Пока мусолим книжное Добро,
Оно встаёт в дремучем капюшоне
Среди бараков этих, как на зоне,
По голенищу шлёпнув топором...

А утром в трупе разглядят бандита:
«Ну, слава Господи, намаялись с козлом...»

Любовь— над смертью, а добро— над злом.
И шлюха местная рыдает над убитым.

Рыбы

Снилось мне, что я иду ко дну,
Что вдыхаю пасмурную воду,
Как туман в октябрьскую погоду,
На земле, которой не верну.

Озираясь в поиске людей,
Вижу рыб, скрывающих зевоту.
Будто знают рыбы: никого тут,—
Им вода в две стороны видней.

И они не плавают за мной,
И из рук моих не ускользают.
Будто рыбы всё на свете знают,
Будто я им тоже не впервой.

Алмазный лёд

По мутной речке с севера плывёт,
Теряя чистоту, алмазный лёд.
Живёт у речки северный народ.
А северней никто уж не живёт.

Стирается водой за гранью грань:
Лосиная, без формы, иордань—
И волчий гон под яшмовой луной,
Где кровь перемешалась со слюной;

Как слайд за слайдом, листики слюды,
Теряет лёд последние следы:
Закатом отутюженной горы,
Вмороженных жемчужинок икры—

Заполненный до слёз, но чистый лёд!
...Народ на речке плачет, но живёт—
На мутной речке северный народ.
А с севера плывёт алмазный лёд.

История народа такова,
Что радугой взорвётся голова:
Там вьюго-человеческая вязь,
Там кровь и кости, втоптаные в грязь;

Там светлые глаза и небеса,
А между ними— чёрные леса,
И газовые свечи над тайгой,
Закатные кресты и звон тугой...

И, глядя с берегов на ледоход,
Неволью ювелирами народ
Становится, сокровища убрав
Своими самоцветами оправ.

О, страшный гений! В солнечные дни
Ещё черней людские польньи,
А вой людской под сколотой луной
Звериный гон обходит стороной,

И ярче самородка купола,
И сумрачней сентябрьская мгла,
И нет истошней крови на снегу
И скошенных дымов на берегу!

...Садится солнце. Мутная вода
Вздывается. И северного льда
Алмазы— и соцветия оправ—
Теряются из виду, дна достав.

Свирели

Ни разу не слышал свирели.
Свирели
как будто бы в небе весеннем дрожали,
как будто свирели нас разоружали,
а мы как по нотам—
зверели...

Зверели
в бессильной тоске по покою,
зверели как следствие собственной смерти;
свирели срывались, сверлили как смерчи;
я верил во что-то такое—
такое,

что тоже зверел, поднимаясь по нотам
к весеннему небу, как будто впервые...
Стараясь меж выдохами в перерыве
вцепиться хотя бы в кого-то,
в кого-то.

Грамофон

Стану я, как алмаз, твёрдый,
Как игла, острый, как труба—гласный.

И пойду—по земле тёртой,
По воде чёрной, по судьбе—разной.

Это как патефон, что ли,
Грамофон, что ли,—и пластинка:

Подо мной города с горем,
И гора с полем, и глубинка.

Как они поползут вместе,
Закружив смыслы, разметав дали,—

Из трубы заскрипит песня—

Далеко
полетит песня!—

Если сором иглу не завалит.



Я куплю себе всё купе—
И поеду вот так на юг.
Чтоб в вагонной не преть толпе,
Не бояться детей и вору.

Попрошу у хозяйки чай,
И не буду спиртное пить,
Буду просто в окно молчать
И «за жизнь» не говорить.

И меня назовут: «Буржуй»,—
А скорее: «Такой урод!»
А я даже в сортир не схожу—
Не хочу я ходить в народ.

Всё равно человек—один.
Хоть обнимется весь вагон,
Хоть всё дальше край холодин—
С перегона на перегон.



Я помню, хариус коптился—
И белый дым лежал огромно,
А с облаков срывались птицы,
А из реки кивали брёвна,
И лето, в скомканной зевоте,
На крыши прыскало из нёба,
И люди в сонном самолёте
На рыбный дым глядели в оба,
Твердя в тревоге и печали:
«Горят, горят леса отчизны!»
Но, засыпая, улетали;
И оставались тропки, избы,
А из реки кивали брёвна,
А с облаков срывались птицы—
И продолжался мир укромный,
В котором хариус коптился.

Ольга Исаченко

Дело старух



На полотнах пространства распущены петли,
И в прорехи такие сквозят времена
С разудалым припевом—державу проветри,
Залежалась, точней—застоялась она.

И жрецы-пришлецы заклинают—поможем,
Обеспечим инструктором—поводырём,
Закачалось—толкнём, застоялось—положим,
Что положено плохо—к рукам приберём.

Ты чего ж, обыватель, угрюм и не веришь
В золотые галушки на блюде с каймой
Голубой, в изобилие хлеба и зрелищ,
Бочкарёвского пива прибой, милый мой,

И чего не спешишь на молочные реки
(Нефтяные? Пускай—скорректируешь сам),
Путь держащие то ль из варягов во греки,
То ль с восхода на запад—по нашим усам?



Ещё немного. Скоро двадцать лет,
И не собрать ли скудный скарб в дорогу?
Теперь с отбывших ссылку снят запрет
На жительство в столицах, слава Богу.

Но возвращаться можно и нельзя—
На все законы есть свои резоны.
Меня забыли деньги—и друзья.
(У них своя, особая стезя—
Растут чины и молодеют жены).

Проситель, в европейский кабинет
Вползу, как азиат, чуть-чуть не тылом—
Мол, вам от блудной юности привет?
Обратных лет, как рек обратных, нет.
Останусь здесь, в изгнании постылом

(Как требует сказать высокий стиль,
Хоть я краям суровым предан сердцем
И местным злопахателям простил
Насмешки над юродивым пришельцем).

Куда деваться—истинно таков!
Меня недаром тянут лес и поле—
Блаженному не тяжек груз оков,
Затем, что он всегда душой на воле.



Наших гор и урочищ заглавья—
Заклинанья дремучей Югры,
Жилы речек в бетонной оправе,
Трубы, домны, градири, копры,

Параллелей железнодорожных
В дальний путь зазывающий блеск
И угрюмый, как вечный острожник,
Но на деле целительный лес,

И плотина пруда городского,
И вокзал, и потёртый перрон—
Повторятся, наверное, снова,
Но с поправкой на разность времён.

И, внезапно, постигнув отличья,
Обновлённое тело круша,
Заболит—человечья ли, птичья,
Но моя, как и прежде, душа.



В подобающий горести миг
Из-под тронутой просинью кожи
Неожиданный облик возник—
Попримечнее и помоложе,

Будто разом осела на дно
С испареньем бессмертного духа
Вся нелепица и нескладуха,
Завладевшая жизнью давно.

И лежал перед верной женой
Он, обряжен в костюмчик облезлый,
Виноватый, безмолвный и трезвый
До того, что почти не родной...



Детьми, стариками, ветвями
И мошками в гуще травы
Когда-то мы числились с вами,
Да только забыли, увы!

Мы были—то камни, то птицы,
То брызги волны по камням,
И тщетно пытались присниться,
Пробиться к сегодняшним нам...



«Да, скифы мы, да, азиаты мы...»

Звезда, одушевляющая тьму,—
Пылинка в пересчёте на проценты.
Провинция—не ссылка потому,
Что заняла вакансию плаценты.

Клубком в утробе, семечком в горсти,
Покуда не исторгнутые в родах—
Ухабы века легче нам снести
В смирительных околоплодных водах.

Какие гены в нашем багаже,
Какие звёзды в нашем гороскопе—
Одной ногой мы в Азии уже
Или другой ногой уже в Европе?

Философы, не мне о том судить,
Когда в сезоне лиственном и кратком
Положено картошку посадить
Строжайше утверждённым распорядком.

Ступайте к нам узнать из первых рук
Про заработки наши и загулы,
Прозреть в тайге и юг, и Петербург,
И крестный путь из веймаров в вогулы.

Идите все—по Блоку—на Урал!
Ушкуйничьим нахрапом иль этапом
Сюда за веком век людей швырял,
От прапрапап перебираясь к папам.

И, кстати, проживи подольше Блок
(Но кости не на тот манер метали),
Как полунемец, он бы тоже мог
Отправиться в означенные дали.

...Через Урал гуляют сквозняки
И, подхватив панельной складки стены,
В Краснотурьинск несут Березники—
Абориген не ведает подмены.

Не устарел провидческий призыв,
Он—на орбите, и, в лихом кульбите
Мне не в укор его перехватив,
Как тёщу, Пермь приветствовал Кальпиди,

А может, Раков—«Прима» и пимы,
Конспекты лекций: «Есть ли жизнь на Каме?»
Да, скифы мы, да, азиаты мы
Упрямые—на том стоим веками.

.....
Мне снится колея большой зимы—
И пятисотрублёвка с Соловками
Как логотип истории российской.
Там, между прочим, дочь моя живёт,
И внучка Женька, как за мышью кот,
Охотится за материнской сиськой...



Как вольно дышится на поселковой свалке,
Где мирно догнивают ёлки-палки,
А леспромхоз практически догнил
И тем посёлок как бы упразднил,

Хотя он упраздняться не желает—
Три года без зарплаты выживает,
По Дарвину естественный отбор
Претерпевает, как сосновый бор,
Как царский кедр, как редкостный черничник—
Бесчисленный прищур мансийских глаз,
Как некогда кустарь-единоличник—
Марксистом аннулированный класс...



Поэзия—дело мужское, кровавое.

Г. Русаков

Поэзия, может быть, дело старух,
Чей палец под вдовьим колечком опух,
И зубы железные слово
Жуют вместо праха мясного.
И прошлое с будущим путает дух—
И жизнь возвращается снова.

Им, как пролетариям, не фиг терять—
Приблудную кошку, очки да тетрадь,
И нет с них казённого взыска,
И внука заботит прописка,
И перья мусолит старушечья рать,
И Муза склоняется низко.



...Две ящерицы сквозят из-под полы
Поношенного земляного платя
И застывают, бронзово-смуглы.
Как наконечник варварской стрелы,
Одна. Другая—крестное распятые.



Мой работающий Север
Камней по полям насеял.
Камни растут ночами—
Толкают траву плечами.
Спят на дневном припёке—
Жёсткие греют щёки.
Каменный день-эпоха.
Время не стебля—бога.
Значит, и впрямь веками
Все мы близки с богами.
Все мы дерзки с богами,
Спящими под ногами.

Константин Иванов

Остроги и засеки

Из города в степь

Андрею Канавицикову

1.

Это всё прошлого тени на быстрой воде,
Как верно сказал ты о перелистнутой странице.
Тьма опять надвигает. Но в новой Орде
Не отличить кизяка от пиццы,
Кольца в губе и пупке—от креста,
Христа—от куста,
Чума—от цума, от саранчи—туриста.
Степь к океану стелется, так же, как он, пуста,
Ветер венчает их нищим разбойным свистом!..

2.

С юга, из Тартара, крепнет косматый рёв.
Злоба хтонических чудищ опять возрастает,
И перед Троей уже не выкопать ров,
Гнев тектонических плит нас убийцами быть не заставит
Или мишенями—это уже всё равно,
Ибо, как с собственной тенью, с врагом ты связан.
Здесь не бывает победы, лишь вечное крутят кино
Пессимизм диалектики, путь дракона, спор дуба с вязом.
А вековых стихий неустрашимый гнёт
Дикое поле колышет, как и во время оно.
Вновь половецкая гарь русских юношей ждёт,
Чтобы они прикрыли братьев своих—тевтонов.
В спину балтийский меч, в грудь из степи стрела—
Вот оно, наше пред Богом бодрое самостоянье!
На перекрёстке миров вахту судьба дала:
Стой, россиянин, здесь и не стыдись призванья!
Веруй, что Промысл есть—в степь слабака не шлюют.
Снова рубить острог, делать засеки надо.
Хаос азийский вновь не укротить кремлю,
Если в душе твоей не воспоёт отрада!



Старость планеты? Декартова мёртвая даль?
Или простая одышка эпикурейца-века?
Нет воздуха. Глубины нет. Деталь
Поглощает внимание человека
Целиком. Все силы. Он замирает, как жук,
Напорившийся на устрашающую находку.
И душа выводит первый попавшийся звук,
И дыханья хватает едва на хокку.

Нечто зимнее

Безлунная, чёрная ночи плева,
 Когда промерзает река до камня,
 Когда от мороза трещат деревья,
 Как будто бы в печке полярной поленья.
 Когда ледяная слюда шелестит,
 Пылают сугробы, скрипит под ногою,
 И звёздное небо угасшее спит,
 Пугая миры чернотою нагою,—
 Тогда торжество выползает из нор
 Немого, слепого и бьющего насмерть,
 И нечто вершит над тобой приговор,
 Как будто ты штрих, нацарапанный наспех,
 Как будто ты зряшная малость во мгле,
 Нечаянный вывих безглазого вихря,
 Как будто тебя во вселенской золе
 Песчинкой втоптал мимоходом антихрист...
 И ты вспоминаешь Иова и зов
 Всех тех безмянных, насытивших почву,
 Воздетые руки почивших отцов,
 Веками кровавый зияющий прочерк
 На нашей странице из книги судеб;
 Их головы—нищих миров мостовая!
 И наша незрячесть их держит в узде,
 Всеобщей незрячести потакая...
 Так зимняя сила вызывает ко мне,
 И морок теснится к душе человеческой,
 И дух, отражаясь от холодных камней,
 Страдая, сгущается чистою речью.
 Безмолвие этих жестоких полей,
 Наскучив собою и призрачной властью,
 Однажды отступит от воли своей
 И сдастся навек человеческому счастью.



Творец, косноязычие прости—
 Мною правит страх, и путь к Тебе неведом...
 Я не пойду за клобуками следом,
 Тебя люблю, но нет к Тебе пути.
 Прости, что я талдычу об одном—
 Бьёт по рукам и режет сердце смертность,
 Не радуют индийская инертность
 И европейский инвалидный дом.
 Прости меня, что некуда идти—
 Ведь я родился снова до потопы,
 И праязык газетного Эзопа
 Повытоптал душевные пути...
 Дикарь, я, первобытствуя, глазел
 На отблески божественного света,
 В истории мелькавшие, и это
 Культурой называл, благоговел,
 Творя кумир... Но медленная Лета
 Облизывала ржавым языком
 Мой идол, оставляя жалкий ком
 Исходных чувств в моём пещерном соло,
 Распята Бога, человека гола
 И неизменно разорённый дом.



Легко вообразить себя творцом,
 Кусочком света в стынущей округе,
 Когда она вселенной подо льдом
 Мерещится сквозь мельтешенье вьюги.
 Но по весне, когда уходит лёд
 И сложность жизни ближе и виднее,
 То смерть в обнимку с нею предстаёт
 Неотвратимей, проще и страшнее.

И тяжесть знания, как свинец крыла,
 Грозит полёту, с волей в бой вступаю,—
 Так залитая солнцем повела
 Тропа в горах, над скалами, по краю...
 И времени безжалостный контекст,
 Тебя вбирая безмянной строчкой,
 Как паводок влечёт, и твой протест—
 Бессилье предложенья перед точкой...

А жизнь уже набросана вчерне,
 Но груз тоски, усталости и страха
 Препятствует почувствовать вполне
 Наивное величье патриарха...
 Не жалуйся, на судьбы не грехи:
 Ты на секунду задержал паденье
 До мёртвой точки, гибели души,
 И этот миг был мигом сотворенья.

И Бог—Он разве от тебя далёк?
 Ведь Он дождался чистоты звучанья,
 С тех пор как голос твой Его привлёк
 Из бездны нестерпимого молчанья...
 Он первый чтец того, что в глубине
 Твоей души до звука созревает:
 Она, как жизнь, написана вчерне—
 А Он на эти всходы проливает

Последний свет, садовник и отец,
 К последней встрече, к выходу готова,
 Когда спадёт завеса наконец
 И возвестит иное голос крови,
 Когда поймёшь, что жизнь—впереди,
 А то, что было,—только обработка...
 И ты прильнёшь доверчиво к груди
 Вселенной, улыбающейся кротко...

Мы и они

Ровный Запад! Для нас ты загадка:
 У тебя и в колдобинах гладко,
 И в руинах—осанка порядка.
 Отчего твоя жизнь хороша?

На Руси ж и богатой—не сладко,
 Будто жизнь, пробиваясь украдкой,
 Всё не сладит с каким-то осадком.
 Не его ль называют—душа?

Анна Павловская

Разбитая фрамуга



Боже мой невозможно дышать без оглядки
убежать навсегда повалиться в траву
то ли стыд то ли дикая радость живу
жизнь ничтожная страшная грязная сладкая

Мне приснилось что бог со стрекозным лицом
и за ним я гоняюсь с лиловым сачком
и дрожащими пальцами перебираю
сетку в жёлтой пылице и пыли
пусто в сетке я голову вверх задираю
там плывут облака как большие нули

Липы липы цветут как с ума не сойти
что-то было такое мелькнуло почти
я поймала казалось рукой удержала
что-то билось в ладони шуршало сияло
что-то было сияло и гасло в горсти



...Тот город, пригороды эти,
и эта жизнь, что после той,
и женщина, что на рассвете
захлопнет двери за собой.
И вот тогда во тьме похмельной,
когда уже ни в чём ни зги,
ты видишь песни колыбельной
животворящие круги.

Седлает скакуна валлиец
и скачет прямо к королю.
И ни одной герой-строптивец
не говорит: «Я вас люблю».
Счастливчик, он из многих избран
и подан с «Божоле нуво».
Вертинский, Башлачёв и Визбор
слагают песни про него.

Курлы-мурлы, иди за звуком,
никем на свете не любим.
Твоё хождение по мукам
давно написано другим.
Сидишь, полуночная птица,
клюёшь по зёрнышку печаль.
Всё, больше нигде приютиться.
И не дописан «Парсиваль».



Наступает такая минута—
проясняется пласт за пластом,
обращается ночи цикута
евхаристии сладким глотком.

Поднимается купол рассвета—
вдохновенный Иаков утра
вертикальную лестницу света
опускает в колодец двора.

И тогда просыпаются птицы,
и поют с тополиных вершин,
и проходит живая граница
между пенем и шумом машин.

Завивается трелью спиральной,
выпрямляется в ломкий пунктир,
проникает сквозняк музыкальный
в коридоры замлевших квартир.

Невесомой покорные теме,
вспоминают своё ремесло,
оживают пространство и время
и опять излучают тепло.



На дороге дачной новой
мой отец нашёл подкову
и принёс её домой.
Говорил он: «Вот удача,
скоро мы достроим дачу,
это знак счастливый мой».

Он прибил её на двери;
видно, был он суверен.
Только года под конец—
перевёрнутая чаша—
мы продали дачу нашу,
так как умер мой отец.

Постарела я, наверно,
и сама я суверенна—
вечно думаю о том,
что висит себе подкова
у хозяина другого
и приносит счастье в дом.

Баллада о прахе

Скелет съедает законный обед,
скелет в кино идёт,
но возвращает кассиру билет
и в баре коньяк берёт.

Он пьёт коньяк и думает так,
он пьёт и думает так:
скелет ли я или не скелет,
скелет или не скелет?
с большой ли буквы я скелет,
или меня как личности нет,
или меня нет?

Он пьёт коньяк и думает так,
он пьёт и думает так:
у меня тридцать три кости,
тридцать три сухожилия,
тридцать три твёрдые кости,
тридцать три сухожилия,
крепкая лобовая кость—
прекрасная кость,
круглые пустые глазницы—
прекрасные глазницы.

Дивный взор—пустой разговор,
мрак, пустой разговор.
Есть ли сердце, в конце концов,—
или это наивный вздор
выдумки мертвецов?

Иногда фантомная боль,
так фантомная боль
под ребро проникает: коль—
и опять тишина, ноль.
Фактов нет, подтверждений
ноль—
это всё алкоголь.

Ребёнок не умеет врать—
краснеет и глаза отводит.
Его отчитывает мать,
винит в испорченной породе.

И, вытирая на ходу
глаза кухонным полотенцем,
сулит великую беду
ему, возвращённому под сердцем.

Ей не понять, что это матч,
что не пристало нить герою,
и он стоит, качая мяч
под виноватую стопую.

Он выбил этот угловой,
он молодец, а не бандюга,
и у него над головой
стучит разбитая фрамуга.

● ● ●
Потеря речи чавканье и хруст
прости меня что я не златоуст
Помилуешь ли Господи скота
Я вся твоя до кончика хвоста
.....

Я вижу сны эпохи неолит
обсасываю косточки молитв
ищу коренья высекаю пламя
Отец мой Камень

Ты ночью заполняешь всё собой
и словно дичь перегоняешь звёзды
и только человек один живой
был мною создан
.....

Молитва перекатана веками
как гладкий камень волнами реки
и хоть бы раз канону вопреки
Тебя простыми вызвала словами
как могут дети или старики
взойти на холм и крикнуть
помоги

● ● ●
В бессонной болтанке луны,
бессменной сырой душегубке
ни тяжесть, ни боль не равны
бессмысленной массе поступков.

Болезненным краем ума,
где смерть перевесила веру,
я вижу, что жизнь—это тьма,
надежда—бацилла холеры.

Под суммой подводят черту
и пишут, итог округлая:
не верю, не знаю, не жду,
ложусь на постель, умираю.

● ● ●
Градусник, платок на шее,
на губе горит пятно.
Как же я давно болею
и на жизнь смотрю в окно.

Пролетает белый ветер,
проплывают облака,
раскрасневшиеся дети
мучают снеговика.

Будто что-то вправду было,
отсияло и прошло.
Только и хватает силы
тронуть пальцами стекло.

Александр Ёлтышев

Табак для дёсен

Родриго

Зловещая пустыня океана,
надменных звёзд застывший хоровод
над парусом Родриго де Триана,
пассатом увлекаемый, плывёт.

Уже тоска всё сердце исколола,
качалась мачта — сон одолевал,
но родину грядущей кока-колы
он раньше Христофора увидал.

Исполнил «Гьерра!» в стиле а капелла
и ощутил сквозь радостную боль:
за ним — три дерзновенных каравеллы,
Севилья, Изабелла и король.

Над «Пинтой» закружили альбатросы,
вождь инков Виракочу призывал,
а выкрик ошалевшего матроса
Колумбом вписан в судовой журнал.

Но Христофор схитрил одновременно,
в журнале нужный росчерк произвёл:
от короля пожизненная рента
и мелкий бонус — шёлковый камзол.

Родриго не перечил адмиралу,
и без того в испанских кабаках
лихого парня-первооткрывалу
поили и носили на руках.

Несложно жить, познав секрет ремёсел,
и он корпел во славу мастерству,
до боли сжав в тисках беззубых дёсен
трофейную табачную листву.



С детства запомнились эти слова:
хлеб береги — он всему голова!

В омут мучительных дум погружён,
замер над хлебницей с острым ножом
и испытал оглушительный стресс:
как, неужели я головорез?



Пропал внезапно человек,
изволил как бы испариться;
его искали пять коллег,
родные и майор полиции.

Куда он подеваться мог?
Как всё туманно и зловеще;
не посылают и намёк
его разбросанные вещи.

Вдруг за обшарпанным трюмом
искусным бдением майора
находится его письмо:
«Ушёл в себя, вернусь не скоро».

И вопрошают все, скорбя:
когда ж он выйдет из себя?



С. К.

Радушно потчевал писатель
двух типографских работяг —
бутылку горькую поставил
на остывающий верстак,

где незадолго до радушья
старательно, как птицу влёт,
его растраченную душу
упаковали в переплёт.

Хмельным огурчиком похрумкав
под говор тостов проходных,
тираж по рюкзакам и сумкам
сообразили на троих.

Упал в пакет остаток пира,
под грузом пыжится спина...
Проспект, автобус, лифт, квартира.
Усталость. Дальше — тишина.



Морской залив я гладил мерным брассом,
ленивый вал созвездия качал—
тогда я кóмпас называл компáсом
и километры в мили обращал.

Удобно под одной стандартной схемой—
на клеточки расчерчена земля,
но не в ладу с метрической системой
овраги, перелески и поля.

Мы так легко всё лишнее забыли,
но держит память, видно, неспроста,
чему равны взволнованная миля
и рваная российская верста.

Капельница

В палате гнусно пахло вечностью,
висок пульсировал с утра,
но, нежно вспыхнув белой свечкою,
ко мне явилась медсестра.

Так незаметно и по-доброму,
улыбкой горести прикрыв,
бахчисарайское подобие
перевернула на штатив.

И сердобольно, и играючи
она склонилась надо мной
и слёз фонтан непрорыхающий
вонзила в вену мне иглой.

Спасение и наказание
я в одночасье испытал—
чужие беды и страдания
сквозь сердце с кровью пропускал.

Потом лениво на поправку
пошёл, минуя ад и рай...
А капельницу на заправку
отправили в Бахчисарай.

Татарка

Из платья— словно из шатра,
и не бывает слаще мига,
когда сдаюсь я до утра
в твоё пленительное иго.

И ненасытна, и чиста
грудь, не познавшая креста.

Как выдержать твои глаза?
Молчат столетия об этом...
Знать, до сих пор Темир-мурза
летит на гибель с Пересветом.

Чукча

Я чукча, я живу в яранге
и вытворяю чудеса:
я сполохи, как бумеранги,
завихриваю в небеса.

Я упорядочил движенье
пяти блуждающих комет,
я увеличил напряженье
того, чего в природе нет.

Я в гости к белому топтыге
полярной ночью прихожу
и вековую мудрость Книги
на зверский рык перевожу.

Я опроверг мудрёным утром
всем надоевший постулат,
Тунгуску ослепил салютом
мой мыслетронный агрегат.

Когда в команде нашей, «Челси»,
вратарь был списан за газон,
то это я, невольник чести,
держал ворота весь сезон.

Потом по тундре на оленях
пронёсся с кубком УЕФА—
как ликовали население,
земля и пятая графа!

Чукотский дух могуч, как крепость,
бодрит, ядрёный, как зима,
и наш национальный эпос
едва вмещается в тома.

А в первенстве по анекдотам
мы честно выбились в финал
и соревнуемся с народом,
что прежде лидерство держал.

Врагом пленённый Абрамович
мне крикнул: «Кореш, выручай!»—
и в обречённом этом зове
такой был тягостный отчай,

что вмиг оленем беспантовым
я в части воинской возник,
где на штыке у часового
дымил дурманящий шашлык.

Спасён Роман, кругом подлодки
спят, эхолоты отключив...
И лишь дрожит кадык Чукотки,
когда она всей мощью глотки
лакает Берингов пролив.

Сергей Кузнецихин

Приют неизвестных поэтов

Памяти Николая Рябеченкова

Солдатский юморок судьбы,—
 Не надо, тётя, не язвите,—
 Порой уходишь по грибы,
 А попадаешь в вытрезвитель.
 Когда-то раньше стригли там.
 Теперь щадят людишек скромных.
 И всё же вынужден ментам
 Отстёгивать от самых кровных;
 Дай сердцу волю, и на штраф
 Напорешься у нас в России—
 Не потому, что ты неправ,
 А потому, что ты бессилён.
 Не расположенный к такой
 Душеспасительной беседе,
 Когда с нахрапистой тоской
 Начальники или соседи
 Тебе стараются внушить,
 Забыв, что и тебе—не двадцать,
 Свой опыт и умение жить,
 Немудрено с цепи сорваться
 И прорычать в ответ, что ты
 Не нанимался к ним в шуты.

Памяти Аркадия Кутилова

1.
 За то, что рано выбрал верный след,
 За лёгкую отточенную строчку
 Он должен был погибнуть в двадцать лет,
 Но Некто в чёрном выдумал отсрочку.
 Отравлен был лирический герой,
 А сам поэт разжалован из строя,
 И между первой смертью и второй
 Нёс на себе он мёртвого героя,
 Которого не мог и не хотел
 Оставить или тихо спрятать где-то.
 И запах обречённости густел,
 Бежал за ним, опережал поэта.
 Экзотикой всегда увлечены,
 Но устают эстет и обыватель.
 Друзья редели. Морщились чины.
 Шарахался испуганный издатель.
 Замками дружно лязгали дома...
 Искал подвал, чердак или сарайку.
 И лишь гостеприимная тюрьма,
 Как милостыню, подавала пайку.

2.

А вы представьте:
 Милиционер
 Брезгливо озирает сонный сквер.
 Труп на скамье.
 Не жалко и не жутко.
 И всё-таки испорчено дежурство.
 И разве мог подумать омский мент,
 Что этот бомж взойдёт на постамент?

Памяти Геннадия Лысенко

Пускай диктует мода
 Удобный цвет чернил,
 Но правила ухода
 Никто не сочинил.
 Он тёмён, как реактор,
 Поэта белый лист.
 Ни трезвенький редактор,
 Ни чинный моралист,
 Ни внутренних рецензий
 Лихие мастера,
 Ни злоискатель цензор,
 Ни генерал пера—
 При их большом умении
 Заставить не дышать,
 Молчать...
 Но, тем не менее,
 Не в силах помешать
 Бесправному поэту
 Подняться и уйти,
 Не шаркнув по паркету,
 Спаситься и дар спасти.
 Чтобы не стать холопом
 У скользких туш и душ—
 И, дверью громко хлопнув,
 Перепугав чинуш,
 Не к выходу, не к входу,
 А за предел земли—
 В жестокую свободу
 Спасительной петли.

Памяти Валерия Прокошина

Городские квартиры и сельские избы
Далеки, но значительно дальше от них
Низкорослые русские анахронизмы—
Засыпные бараки окраин глухих.

Точно так же, как дети, рождённые в браке,
От нагулянных (я не касаюсь тюрьмы—
Повезло), но, рождённые в шумном бараке,
От рождённых в домах отличаемся мы.

Пусть не только у нас тараканы с клопами—
Светлым будущим жить не легко никому.
Но особая, чисто барачная память
Выдаёт невозможность побыть одному.

Слишком тесная близость чужого дыханья.
Узость комнат скрывает большой коридор.
И распаханность, и отчуждённость глухая
В наших душах ведут изнурительный спор.

Обнажённость развешанных стиранных тряпок
И бесстыдство скандалов...
А после того—
Постоянность желания спрятаться, спрятать—
Не конфетку в карман, а себя самого.

Памяти Геннадия Кононова

Посредине больного, усталого
Века, где молчаливы приметы,
Это надо же выбрать Пыталово
Местом для появления поэта.
Где заглавное Слово с рождения
Изощрённо и хитро пытается.
Не везде прорастает растение.
И поэт не везде прорастает.
Но нелишне напомнить: под пытками
Разглашаются главные тайны.
Обезболивающими напитками
Увлеченья отнюдь не случайны.
Человеку нормальному видится,
Что излишен эмоций избыток,
А Пыталово— просто провинция,
Никакая не камера пыток.
Будто не о чем больше печалиться
На Руси, где полполя— полова.
Чем поэт от других отличается—
Он не может ослушаться Слова.
Потому и бежать не пытается,
Понимая: себе же в убыток.
Обречённю в Пыталове мается,
Чтоб однажды не выдержать пыток.

Памяти Валерия Абанькина

Неразбавленный спирт без закуски,
Полагаю, не всем по нутру.
Две сестры знаменитых Тунгуски
Мало знают про третью сестру.
О Подкаменной с Нижней повсюду
И статьи, и труды на века.
А Сухая Тунгуска? Откуда?
Не бывает сухою река!
Если имя на карте не сыщешь—
Значит, кто-то забрёл не туда.
Объяснять, что целебней и чище
В неизвестной речушке вода,
Очевидец не хочет— накладно
Унижаться ему задарма.
Не поверили— значит, не надо.
Он сумеет культурно весьма
Поддержать разговор про «Титаник»,
Про Диану, которую жаль.
Из куста машинально достанет
Спирт с певучим названьем «Рояль».
Не поверили. С ними всё ясно.
А с собою?
Хоть— вой, хоть— ори...
Сочинительство огнеопасно,
Если рукопись тлеет внутри.

Памяти Николая Бурашникова

Всегда найдётся, кто срывает
Сто раз отложенный дебют.
И слово в горле застревает,
И меркнет свет...
Но убивают
Не те, которые добьют.
Они, как правило, приличны,
На вид усталые слегка,
Но монотонно, методично,
Расчётливо, издалека,
Следы стирая и улики,
Загонят в тёмные углы...
Презрительнейшие улыбки,
Надменнейшие похвалы.
Припомнят даже Пастернака,
Есенинские кутежи...
Обчистят так, что ставить на кон
Придётся собственную жизнь.
И, взвинченный, полубезумный,
Он сам покорно забредёт
Туда, где выродок угрюмый
Очередную жертву ждёт.

Юрий Власенко

Исчезновение

Этот рассказ, по сути, стал кодом судьбы автора. В 2003 году Юрий Власенко вышел из дома и не вернулся. Считается, что он пропал без вести. ● Редакция «ДиН»

*«Не кантовать!»—слабо разбираться
в классической немецкой философии.*

Из Очень толкового словаря

— Ну-ну! Дальше-то что?

— А вот этого я не знаю.

Я выпил ещё рюмку, и меня не стало...

Из разговоров

С утра Юра соображал плохо. Особенно с похмелья. Только опрокинув стаканчик, он смог сообразить, что хорошо бы принять душ. Под душем он стал припоминать, чем же они вчера занимались. Когда у Бори всё кончилось, пошли к нему. Потом Боря... Потом они выпили, конечно. Потом они, естественно, обсуждали мировые проблемы... Ну конечно! Классический вариант? Врубили маг и, пока не вырубались, обсуждали на него эти самые проблемы. О чём там бишь? Ну ладно, поглядим и, некоторым образом, послушаем... Юра вылез из-под душа, кое-как обтёрся и уже почти бодро занялся поисками Бори. Но не нашёл. Ну и фиг с ним, подумал Юра, выпил ещё рюмочку и поставил ленту на перематку. Пока лента перематывалась, он позвонил Боре домой. Но Боря не отвечал. Юра ещё походил по квартире со смутной надеждой, что Боря куда-нибудь залился. Вместо Бори он неожиданно обнаружил всю его амуницию: пальто, шапку, пиджак и даже ботинки. Впрочем, ничего оригинального: Боря уже уходил от него в одних носках. Повторяться стал... Правда, в прошлый раз лето было. Нда... Юра ещё раз позвонил, ещё раз обошёл квартиру, развёл перед зеркалом руками и, прихватив бутылку и сигареты, устроился перед магнитофоном.

«Ещё?»—спросил Борин голос.

«Полстакана»,—ответил голос Юры.

«Ладно... пусть это, вертится!»

«Кто?»

«Она, она самая. Как её?... Мироздание!»

«Пусть!»

«И вообще...»

«Правильно! Брось-ка спички... вообще...»

«Обрати внимание, Юрик. Наблюдая ихний полёт, ты полностью убедишься в моей правоте».

«Я уже... И не ихний, а евонный».

«Улетаю!!!»—заорал Боря.

Это он спички бросает, вычислил Юра. Несколько минут магнитофон крутился вхолостую.

«Мыслишь...»—раздался наконец Юрин голос.

«...следовательно, существую»,—отозвался Боря и начал хохотать.

Хохотал он долго. Потом Юра стал различать и свои подвизгивания. Вдруг оба одновременно замолчали, что-то звякнуло, и голос Бори общил:

«Поехали,—и через некоторое время добавил:— Хорошо-о-о...»

«Ну и дрянь»,—не без удовольствия заметил Юра.

«Сейчас мы начнём изрекать истины,—сказал Боря,—я чувствую, как они шевелятся у меня в животе».

«Ты опять будешь крякать».

«Главное—делать всё по порядку. Сначала я покрякаю, а потом буду изрекать истины».

Через минуту магнитофон голосом Бори уверенно сказал:

«Мда... кря-кря...»

«На него, то есть на магнитофон, с тоскою не смотри ты. Так, как ты, не может крякать он!»

«Потрясающе!»—сказал Боря.

«Техника!»—сказал Юра.

«Идиот»,—поправил его Боря.

«Мы знаем, кто у нас идиот!»

Они уверенно вошли в отработанное многочисленными бдениями русло.

«Идиот у нас—один»,—продолжал Боря.

«И нам ли его не знать»,—заклучил Юра.

Поскольку отработанная часть на этом заканчивалась, они помолчали.

«Жизнь,—сказал Боря и постучал по магнитофону,—требуется истин».

«Ну хорошо,—сказал задумчиво Юра,—я понимаю, что она жаждет истин, но зачем она так жужжит?»

«Она отлично жужжит...»

«...Остаётся только расшифровать, что же она сказать хочет».

«Ну конечно! Находясь на более высокой ступени интеллектуального развития, она, то есть жизнь, сообразила, что мыслящие существа могут находиться внутри неё, и пытается наладить с ними, то есть с нами, этот самый, который...»

«Сейчас будем расшифровывать?» — перебил Юра.

«Я подумаю», — отозвался Боря.

«Весь юмор в другом», — назидательно говорит Юра.

«В где?»

«Где в где? Ясно же говорю — в другом, — Юра понизил голос. — Вот она жужжит, а ты её записывай. На самой большой скорости. Потом мы пустим запись на самой маленькой... может, и расшифровать не надо, может, она там по-русски говорит...»

«По-китайски... нда».

«Что же оно из себя представляет?» — спросил Юра.

«Кто?»

«Мироздание, естественно».

«Его истинное лицо нам недоступно, — с пафосом сказал Боря, — поскольку время, например, субъективно...»

«...постольку мы видим мироздание в искажённой форме!»

Они помолчали.

«И пространство», — задумчиво сказал Боря.

«И пространство», — согласился Юра.

«Значит, его нет?»

«Кого?»

«Мироздания».

«Почему?»

«Ну как? Если я выну из него время и пространство, где ж ему, бедному, находиться?»

«Глупый, — сочувственно сказал Юра, — форма — это форма, ухватываешь? Не путай калий с кальцием. Форма — формой, а сущность, как и полагается, сущностью. Форма тебе, глупому, нужна, чтобы ухватывать. А мироздание — оно того, сущность».

«Ну и где она?»

«Кто?»

«Сущность».

«Как — где?»

«Ну в чём она?»

«А зачем ей в чём-то быть? Ей и так хорошо».

«Ей плохо. Без пространства. Тяжело».

«Зачем?»

«Ну как? — Боря задумался. — Места мало. Атомы некуда складывать».

«Родной ты мой! Зачем ей место? Ей и так хорошо! Это тебе нужно место, чтобы её рассматривать. Дошло?»

«Начинает».

«Что?»

«Дохожу».

«Ну и как?»

«Тогда, значит, никакого пространства — нет?»

«Козе понятно. И времени».

«Бог с ним, со временем. Пространства нет, вот что хорошо! Я давно это подозревал... Тогда, значит, все предметы находятся друг в дружке и все точки суть одна».

«Див-ствительно, — одобрительно икнул Юра. — Следовательно, из любой точки можно попасть в любую другую. Что может быть проще, если их всего — одна!»

«Ничего! — решительно согласился Боря. — А что для этого нужно?»

«Чтобы — что?»

«Чтобы это, перемещаться».

«Сейчас подумаем».

«Поторопился бы, а то уже спать хочется».

«А что?»

«Люблю перед сном подышать свежим воздухом. Особенно — горным. Успокаивает и отвлекает».

«Холодно».

«Тебе?»

«Да нет. Мне жарко. В горах холодно».

«Что ты, я всегда тепло одеваюсь».

«А магнитофон всё записывает!» — фаталистически выкрикнул Юра.

«Завтра слушать будем...» — мечтательно протянул Боря.

«А ты крикай, крикай», — посоветовал Юра.

«Кря», — неохотно крикнул Боря.

«Видишь ли, — сказал Юра, — если я и так нахожусь во всех точках, то мне никакой энергии прилагать не надо, чтобы из этой, которая, гм... Натурализации в другую пере... хм... нестись. Просто нужно немного по-другому развернуть сущность... Как надо развернул и, естественно, где надо и оказался. И перемещений — никаких!»

«Я попробую».

«Подыши горным воздухом. У тебя усталый вид».

«Обязательно».

«Ты уже улетаешь?»

«Я полетел».

«Ты забыл одеться».

«Я ненадолго».

«Смотри, простудишься. Резкий перепад температуры...»

«Резкий перепад, говоришь? Верно, верно. То-то я никак не могу сообразить...»

«Что?»

«Ну, это, улетать».

«Конечно, как же ты полетишь без перепадов?»

«Не мешай, дай вникнуть».

«Наливать?»

«Что?»

«Пить — будешь?»

«Наливай».

Забулькало вино по стаканам.

«Какая картина!—сказал Юра.—Какое напряжение интеллекта! Какая духовная мощь! Сколько экспрессии, сколько артистизма!»

«Отличная погодка»,—прошептал голос Бори.

Юра долго слушал, как перематывается лента.

«О-го-го,—сказал наконец магнитофон его голосом,—как заносит на поворотах!»

Ещё несколько секунд шипения перематывающейся ленты—и почти неразборчиво, еле слышно:

«Бо-о-оря-а...»

Юра долго сидел и ждал продолжения, минут десять, пока не обнаружил перед собой бутылку. Он очень обрадовался, выпил подряд две рюмки и снова усталился на магнитофон. Время от времени слышался какой-то неопределённый шум. Потом шум прекратился, раздалось продолжительное бульканье, после которого он услышал свой голос:

«Бори нет. По всей вероятности, он дышит сейчас горным воздухом. Если, конечно, не оказался между вершинами. Бедный Борик!»

Юра закурил. Когда сигарета кончилась, его голос заявил:

«Нужно не забыть записать на большой скорости и потом прослушать на маленькой!»

Последнее, что услышал Юра, было:

«Ладно!»

Минут пять он сидел в пьяной задумчивости, даже и не ожидая продолжения. Потом он вспомнил, что вчера шёл снег, который кончился, когда они с Борей подходили к его дому. Ещё не отдавая себе отчёта, зачем он это делает, Юра встал, пошёл к окну и выглянул на крыльцо. К дверям тянулись две цепочки следов. Ага, подумал Юра, значит, снег больше не шёл...

ДиН стихи

Олег Мошников

Сегодня на субботнике...



Висит плакат на гвóздице:

«Рабочие, колхозники!

Сегодня на субботнике—

Да будет облик чист!—

Все скотники и плотники,

Попа-Балда-работники,

На теле, до исподнего,

Порвём капитализм!»

Звучали песни бодрые,

Душевные, народные.

Шли шатким строем рóдные

В подсобку да в подъезд.

Вооружившись воблюю,

Крепили пиво водкою,

Страной советской гордые

По горлышко, под срез...

Надули щёки впалые,

Счастливые, усталые,—

В накладе не оставили

Творцов рабочих мест—

Великие и малые,

Наивные, бывалые,

Поверх—фуфайки старые,

И матюги окрест...

Считалка

Три старушки на крыльце

Рассуждают о яйце:

Что вторично,

Что первично,

И надёжно ли в свинце?

Три старушки на крыльце

Говорят о молодце:

Нос кавказский,

В кучу глазки...

Не новозеландец це?

Три старушки на крыльце

Сокрушались о конце

Света, Сталина, Джавдета,

Витаминов А, В, С.

Сделав по двору кружок,

Без какой особой цели,

Коротая вечерок,

На крыльце они сидели.

Роман Мамонтов

Фоторамка на забытой стене

Всё лучшее впереди

Начало сентября. По сухим грядкам разбросана картофельная ботва. Потом её сожгут, и запах костра вперемешку с белым дымом расплзётся по полю. Лёгкий ветерок. Бабушка Нина стоит у раскрытого мешка картошки, что-то говорит. Пыльная телогрейка сливается с полем. Бабушка говорит и улыбается мне. Её волосы крепко схвачены на затылке гребнем, но она то и дело приглаживает их ладонью. В лучах солнца мелко пульсирует лес. Верхушки елей и жёлтых осин замирают на миг, потом вздрагивают. В лесу, наверное, много грибов, но нам не до них — мы «на картошке». Вся улица, все соседи и родственники с утра в поле. На дворе конец семидесятых. Говорят, застойное время. Я не понимаю слова «застойное», лично у меня жизнь движется и впечатления меняются одно за другим. «Застояться» может только кровь в известном месте на уроке математики, и то — если не сечёшь темы или, к примеру, не успеваешь слизать контрольную работу у Гульки-отличницы...

Наша улица — бревенчатый островок среди многоэтажек, вернее, полуостров, вклинивающийся в бетонное море советской цивилизации. Тут всё по-другому: вроде бы и не деревня, а тропинки, огороды, крики петухов — всё напоминает о сельской местности; вроде и не город, однако со всех сторон поджимают панельные дома, асфальт и гул машин. Через десять-пятнадцать лет снесут правую сторону улицы, в суматохе разъедутся грузовики с пожитками новосёлов, левую сторону так и не тронут, оставят с огородами да латаными крышами, оставят ещё водоразборную колонку, которой постоянно будут обрывать ручку прохожие. А впереди ещё будет перестройка, дирижёрская палочка Бориса Ельцина и позорная чеченская кампания, но пока мы всей улицей «на картошке». Я, с растрёпанными волосами, в оранжевой куртке и стареньком свитере, мельтешу среди взрослых, откладывая свои «картохи», чтобы сделать из них «печёнки». «Рано ещё», — грозит пальцем бабушка. Ну и пусть себе грозит, я буду собирать и несмышлёным щенком носиться по полю вместе с Сашкой. Его брат Серёга кантует полный мешок картошки. Он старший брат, ему положено. Серёга сплёвывает сквозь выбитый зуб, по-взрослому кряхтит и снисходительно смотрит

на нас с Сашкой. Мы для него мелочь. Это потом Серёга сопьётся, заглянет раза два к нам в гости, весь жёлтый, в мятой одежде и ужасно худой. Мне будет неловко, говорить нам не о чем, да и зачем? Всё и так ясно. В тридцать лет он умрёт — точнее, его убьют. Мама долго будет обдумывать, как рассказать мне о его дурацкой смерти: Серёгу найдут голым в квартире, без брюк и рубахи. Экспертиза покажет, что смерть наступила от переизбытка спиртного, но перед тем, как ему отдать Богу душу, Серёгу изнасилуют трое сапожников... Но пока мы «на картошке», и ветер ласковый, и сентябрь тёплый, и самолёт жужжит в небе — живи себе не хочу. Всё лучшее впереди!

Место, где мы копаем картошку, называется «Аэропорт Бахаревка». Чуть поодаль, за кустарником антенн, мачт, проводов и заумных приспособлений, стоят самолёты Ан-2. Их насмешливо прозвали «кукурузниками». Бетонка плюс несколько грунтовых дорожек для взлёта — вот и вся навигационная канитель местной линии сообщений. Деревянное здание аэропорта выкрашено в зелёный цвет и со всех сторон прикрыто хвойниками. Оно несколько приземисто, в коридорах особенный запах, на всю жизнь запоминается. Ба-ха-рев-ка. Там работает Мотя, бабка Сашки и Серёги. Она повариха. Мы пристрастились покупать в буфете пирожки с рисом и мясом. Она частенько ругает нас: «Не ядите их. Оне из остатков каши рисовой да котлет». А нам плевать на это — они вкусные, горячие и дешёвые. Шесть копеек за штуку, как билет в рейсовом автобусе.

Я поднимаю голову и смотрю на «кукурузник». Он, покачиваясь, садится. Сашка ворует мою картошку. Я догоняю его и подсекаю. Он с криком валится на перекопанную землю. Пылища. Мы боремся. И слышно только женский голос: «Рейс... номер... к сведению пассажиров...» Солнце слепит глаза. Приземляется ещё один самолёт, и вновь женский голос: «Рейс... номер... к сведению пассажиров...»

Аэропорт продали со всеми потрохами. Авиацию похерили. Теперь там оптовые базы, склады и автосервисы. Ах да... ещё развлекательный комплекс «Альпийские бани». Каждое лето на бетонке проходят Rock-line'ы — совместные выступления

неизвестных, но интересных своей неизвестностью рок-групп из разных уголков страны. И пусть себе проходят, только вот чувствуется какая-то запущенность везде. Завхозы повымирили, лётчики улетели, дворники изменили квалификацию, а гитаристов — пруд пруди: «We will, we will rock you!»

...Сашка встаёт, смахивает с одежды пыль и обиженно фыркает. Но это показное. На самом деле он доволен собой — умыкнул-таки картошку. Зимой Сашка любит ходить на гору по прозвищу Слонова, за отвесный спуск. Лыжня начинается прямо от аэропорта, петляет с километр между ёлок и сосен, несколько оврагов, подъёмов, и... резкий спуск к реке Мулянка. Дух захватывает лучше всякой драки за школьными мастерскими. Краснощёкие и раззадоренные морозом, мы с Сашкой часто околачиваемся в буфете: и пирожки по шесть копеек, и чай по три в гранёном стакане. Две пары лыж мирно стоят в углу, только на пол капает вода: плям-плям-плям...

Бабушка шлёпает меня, и это забавляет. Совсем не больно, а даже смешно, ведь я просыпал ведро картошки. Дядька ругается, морщась от боли в спине. По другую сторону нашего поля возвышаются белые здания военного училища, со своим прудом и целой вереницей огромных самолётов. Это военные самолёты, с кабинами, пушками и ракетами. Вокруг них постоянно возятся люди. «Курсанты — будущие офицеры!» — объяснила нам Алёна. Она старше меня на шесть лет и поэтому вызывает некоторое доверие. Она как-то быстро выскочит замуж за военного. Они уедут в другую область, Алёна родит двух детей — девочку и мальчика. Она разведётся с мужем, переживёт автомобильную катастрофу, разменяет жильё и вернётся к матери. И ничего такого особенного в её жизни более не произойдёт. Ну а пока для нас с Сашкой «курсанты» — недостижимая величина: они сильные, умные и с голубыми погонами, на которых красуется жёлтая буква «К».

Сквозь березняк, что на краю поля, проблёскивает колючая проволока ограждений военного училища. Кто-то привязал несколько консервных банок к ней, они то и дело брякают. Сашка прицеливается и бросает кусок сухой земли. Она не долетает, он берёт новый и опять метится в банки. «Мазепа!» — кричит ему Серёга. Сашка кидает...

Хорошо дышать полной грудью. Ветер лёгкий, с еле уловимым вкусом плодов диких яблонь, что волнуются на отшибе училища, впритык к железной дороге, созревших и упавших на землю, местами розовеющих. Какое-то неясное и радостное чувство охватывает нас, и нет тому объяснения. Просто хорошо, и всё. Каждую зиму я и Сашка на уроках физкультуры бегаем на лыжах вдоль этой железной дороги. Боб (кличка физрука) ругается, что медленно, мол, нормативы ему «ломаем». Обидно, конечно, но мы подтянемся. У меня ещё

будет второй взрослый разряд. Железная дорога проходит в ложбине, по обе стороны от неё возвышенность, будто картофельная грядка после окучевания, только дачи и сараи по краям вместо ботвы сухой. Боб всегда с секундомером, орёт на всех — ему нужен результат. На районе блеснуть командой — первое дело; золотые и серебряные медали — как пропуск в счастливую педагогическую жизнь и, видимо, дополнительная премия физруку. А Боб заслуживает её, несмотря на крутой нрав и матерный язык. Жаль, что в пятьдесят лет он умрёт... Мне стукнет тридцать шесть, и рядом с тем местом, где, будто крышка секундомера, сверкала лысина Боба, упадёт пассажирский самолёт «Боинг-737», прямо в ложбинку, вспахав шпалы и рельсы. Место крушения оцепит омон, останки пассажиров увезут к патологоанатомам, откатают панихиду по убившимся и в память о трагедии установят часовню с мемориалом. Всё по-людски. И опять нас привяжет к себе это место, и «картоха» останется где-то далеко — в другой жизни, ведь придёт иное время, и оно не спросит: «Хочется тебе того или нет?» В дождливое утро по центральному каналу телевидения прозвучит фраза: «...крушение борта «Боинг-737» в районе Бахаревки». Скупое сообщение, а для меня целый мир втянут временной воронкой этого места и остановлен...

После урока физкультуры, с лыжами и палками наперевес, как разведчики времён Второй мировой войны, мы семеним до школы по закуткам двухэтажных немецких барачков, посреди разлапистых тополей и холодных уборных. За деревянными барачками, отделёнными друг от друга низким заборчиком, в тупике накренившихся сарайчиков, случались серьёзные драки, порою — с печальным исходом. То цепью кого отходят, то ножом подрежут. Если верить бабушке, строения эти складывали военнопленные, ссыльные солдаты вермахта, вот и прижилось название — «немецкие барачки». Кто-то из той самой «немчуры» тихонько обрусел, кто-то умер, а кто-то вернулся в Германию. Но название осталось, и драки остались: место тихое, удалённое, безлюдное. Недавно барачки снесли, фундаменты порушили, не тронули только тополя и дикий кустарник... Ну а пока, разгорячённые и потные, мы бежим в школьную столовую, из-за дверей которой вкусно пахнет борщом, пюре и незабвенным шницелем. За столпотворением в коридоре, как обычно, хладнокровно наблюдают со стен портреты пионеров-героев. Во что верили они? Во что верили мы? Нас это не интересовало, потому что следующий урок — это урок литературы, который ведёт Надежда Александровна, или просто тётя Надя, как прозвал её второгодник Чипа. Тётя Надя никогда не шутит, любит только Николая Васильевича Гоголя и презирает военрука Дамира Хасановича за неправильное склонение

падежей и выцветший лётный китель. Между тем, как только запах борща переполнил весь коридор, Боб уходит к себе в каморку и напивается. И на улице морозно, и разрывается звонок...

Вспомнит ли Сашка потом наше картофельное поле, школьные передраги и мою бабушку? Возможно, нет, хотя человеку свойственно оставлять в памяти лучшее и доброе. А если так, то Сашка должен вспомнить. И тогда он улыбнётся и закурит. Он взглянет на костёр у мусорных баков, которые встречаются каждый день на пути к автостоянке, и на свору бомжей в таких же куртках, свитерах, как у нас с Сашкой «на картошке». Ему вдруг захочется «печёнок», но он упрямо сядет в автомобиль, припаркуется у первого суши-бара и перекусит. Затем двинет на работу, будет кричать в телефон, копать в бумагах и с кем-то спорить. И только вечером, глядя в окно, он всё-таки припомнит наши «печёнки», которые мы не доели тогда, на картофельном поле за аэропортом Бахаревка. И мотнёт головой, усомнившись: «Всё лучшее впереди?» И скользнёт взглядом куда-то под ноги: «Или — спереди?»

И зашторит окно.

Ясырев

Весна — время хлопотное. Всюду — ручьи, переливаются, пузыряются на изломах асфальта или вылупившегося из талой грязи щебня, галечника. То тут, то там вскрываются проталины, даже повседневный шум вокруг тебя особенный, весенний, что ли. Лёшка Ясырев, мой друг и одноклассник (а ходим мы уже в седьмой класс), — человек прямолинейный и непоседливый. С учителями у него отношения плохие, о чём даёт красноречивые показания школьный дневник. Учебку лучше не трогать. Лёшка не монстр какой, просто он искренний в своих поступках, но и горячий, конечно же. Два балла — усреднённый результат познаний мира, особенно — алгебры, что никоим образом Лёшку не задевает, поскольку жизнь — штука длинная, интересная и остроумная. К такому решению мы пришли ещё в шестом классе. К примеру, на рейсовых автобусах можно ведь не только передвигаться, но и хорошо зарабатывать. Главное, чтобы левое запястье у тебя всегда было обмотано бинтом, а место у кассы — коробки с прозрачным верхом, отвергнем под мелочь и ручкой сбоку — оказалось свободным. В итоге из шести копеек, передаваемых по салону, что являлось стоимостью билета, одну-две копейки всегда можно загнать под бинт, и на конечной остановке ты превращаешься в состоятельного человека: копеек пятнадцать-двадцать — хорошая прибыль за маршрут, если водитель не даст по ушам или контролёры не выволокут за шкуру из салона. Впрочем, дело выгодное, а не повезёт — так не повезёт! Боль — оправдывает средства...

Этой весной нам надоедает путешествовать в своём районе, где всё изучено, любой закоулок вымерен, с кем требовалось драться — уже подрались. В общем, пора думать о чём-то большем, и этим большим (после бурных обсуждений) оказывается городской вокзал с пригородными электричками. Тут главное — быть внимательным: во-первых, не наткнуться на шпану, во-вторых, благополучно избежать встречи с нарядом милиции. Какое зло из двух хуже? Трудный вопрос, хотя и решаемый. А солнце режет глаза, а ветер лезет за ворот, а девчонки улыбаются — в поездку, в путешествие, вперёд... до Лёвшино. Скорее всего, нас интересовал находящийся там речной порт с огромными кранами, а может быть, просто удалённость места, ведь Лёвшино — почти другой город. Езды — минут сорок, девять остановок на маршруте и одна кондукторская проверка. Азарт, молодость, весна.

Лёшка не глупый, но упорный, или, как говорит моя бабушка, настырный. Ему всегда чего-то не хватает. Младшая сестра достала, отец непременно пьяный, у матери своя жизнь. Она гордится собой, потому что работает на мясокомбинате. Её домашний холодильник всегда набит под завязку всякими деликатесами. Лично меня в Лёшке устраивает всё, кроме беспорядка в его жилище. Это скверное дело; если добавить ещё и рыжих тараканов на кухне, то лучше в гости к нему не заглядывать. Зато у Лёшки есть своя отдельная комната и магнитофон-бобинник «Нота» с новыми записями, которые мы совместно приобретаем у Федоса-химика. Последний раз выгодно обменяли учебник химии за десятый класс на третий альбом группы «Модерн Токинг» и один поход с Федосом на пустырь для запуска самодельной ракеты с начинкой из нитроглицерина. Федос — гений, его комната представляет собой тайную лабораторию по смешиванию всякой дряни. Единственная промашка Федоса — ошибка в расчёте сопла, поэтому ракета взорвалась в метре от земли, причём образовался большой огненный шар, который до смерти перепугал местных алкоголиков. Они пили на пустыре под одиноким кустом и не ждали такого поворота событий. Мы ржём долго; впрочем, и бежим от них тоже долго...

Лёшкино упорство подводит нас частенько. И этот раз — не исключение. Лёшка, видимо, чувствует себя средневековым рыцарем и настаивает на благородном поединке с ветряными мельницами в вязаных шапочках и засаленных пуховиках из посёлка Лёвшино. Я человек настойчивый, но Лёшка красноречивее... В итоге нас обчищают, от души попинав, и отпускают с Богом на все четыре стороны без всяких копий, щитов и прочих доспехов благородных крестоносцев. Весеннее настроение мгновенно перетекает в какую-то октябрьскую грязь. И пусть штаны порваны, и пусть синяки под глазами, но деньги — двигатель весёлой

жизни — улетучиваются. Лёвшино — не родной двор или район. В общем, добираемся обратно на автобусах. Продемонстрировать своё мастерство не удаётся: ни бинтов тебе на запястье, ни свободного места у заветной кассы, только — злое лицо водителя, ушлые контролёры и раздражённые бабки. Раза три нас высаживают на грязный асфальт остановок с обещанием привода в детскую комнату милиции. Добираемся мы домой поздно вечером. Учитывая наш вид и час прибытия, ждать благосклонности от родителей — всё равно что требовать отмены контрольной работы у нашей глупеющей физички. Сочувствие нам выказывает лишь Федос-химик...

Лёшке нравится девочка из шестого класса «Б» Иринка Мальцева, но она больше всего на свете любит свою немецкую овчарку Эста Керри. Я принимаю к Иринке: не пахнет ли от неё собачатиной? Оказывается, нет. Не мог же предмет обожания моего друга пахнуть чем-то иным, кроме запаха самой хозяйки. Иринка — три в одном. От неё пахнет загадочными духами, учебником литературы и кассетами группы «Ласковый май». Ради любви Лёшка терпит всё, в том числе и отсутствие взаимности. Я теряюсь в догадках, иногда мне кажется, что Иринке нравлюсь я, но Лёшке об этом не говорю. Дружба выше бантиков и заколок. Лёшка живёт с Иринкой в одной высотке, только в разных подъездах. Иринка нравится не только мне и Лёшке — многим. Особенно — Насеке, гадливому существу в кроссовках фирмы «Адидас» и с сигаретой в руке на заднем дворе школы. Он занимается самбо, любит «зажимать» старшеклассниц в раздевалке и бить морды «очкарикам». Иногда приходилось уходить от Насеки через окна кабинета физики. Лёшка просит Федоса изобрести бомбу для уничтожения Насеки. Федос-химик задумывается, но к действиям не приступает, потому что увлечён созданием очередной дряни из органики и усовершенствованием синтезатора на самодельных полупроводниках. Единственное, в чём с огромным удовольствием он соглашается участвовать, так это в снятии железной двери спортзала и тайном переносе её в тир. После чего физрук Боб шипит, орёт и хлопает себя по лысине в течение часа, оставшуюся же неделю проводит в поисках «настоящих подонков», которые могли сотворить такое. Но более всего Лёшку недолюбливает наш классный руководитель, учитель географии Владимир Михайлович. Впоследствии он избавится от своего ученика, подписав в девятом классе бумагу с нехорошей характеристикой Лёшки, который по глупости постоит на стрёме во время кражи и узнает об этом в самый последний момент. Отблеск синих мигалок милицейских «уазиков» заморозит Лёшку... Он сядет в тюрьму; а ведь могло быть всё иначе, надо уметь человеку давать шанс и запирать в дальний ящик все свои

антипатии или обиды. Но Владимир Михайлович оказывается педагогом принципиальным и правильным, а Лёшка — человеком настырным. Теперь у него, говорят, уже третья ходка, и никаких вестей «оттуда», и жив ли он, я не знаю. Известно одно, что Насека душевно подсядет на «кокс», поучаствует в изнасиловании двоюродной сестры, но дело до суда не дойдёт, родственники обернутся стоворчивыми людьми. Через пару лет в подъезде заброшенного барака наткнутся на скрюченное тело Насеки, а Иринка выскочит замуж за капитана дальнего плавания, и шлейф её загадочных духов растворится в солёных ветрах Тихого океана под заунывные гудки сухогрузного флота. Федос переедет в другой город, там закончит химико-технологический институт, высадится луноходом на кафедру не то зоологии, не то биологии и угодит в психиатрическую больницу с непонятным диагнозом...

Я сижу за письменным столом и листаю фотоальбом. Что-то накатывает; вроде бы не сентиментальный, и за окном — не осенняя слякоть... Где ты теперь, Лёшка Ясырев, маленький герой большого города и утонувшей в собственных иллюзиях эпохи социализма? Тишина...

Идти, идти, идти...

Величественный вид реки с холма. Моросит. Слякоть. В такую погоду редкие деревья вдоль изъезженной дороги особенно одиноки, и отсыревшие поленицы дров у полуразрушенных бревенчатых домов оккупированы воронами. Разбитая и покореженная сельхозтехника прорастает из поникших густых трав и чем-то напоминает поле боя. Тревожный гудок парама догоняет мотоциклиста у колодца. На берегу, высунув язык, дремлет рыжая собака, над ней — раздавшаяся виришь ива стряхивает с ветвей капли уползающего на восток дождя. Влага пробирает до костей. Волна неторопливо набегает на отмель, на миг застывает и, тихо ухнув, растворяется в холодном тумане.

Золотые купола, резные окна, строгие кресты — это церковь на холме, усеянном старыми могилами. Высокая трава, как редкий частокот памяти, охраняет надгробные камни и плиты с давно истёршимися именами, датами и надписями. Справа от церкви — добротное срубленное дома, надворные постройки, разгуливающие гуси. Поодаль — несколько стогов сена, перетянутых бечёвкой. Два мужика в промасленной одежде возятся у колёсного трактора, перебрасываясь короткими фразами; то и дело поглядывают на небо, каждый раз сплёвывая под ноги. Неподальку от них на скамейке, покачивая ногами, сидит маленькая девочка: длинные волосы убраны под белый платок, рукава плаща закатаны по локоть, а на коленях кемарит чёрный кот. Девочка что-то нежно и тихо напевает, покачивая кота...

Выйди на холм — и увидишь полземли, услышишь ещё не родившиеся песни, глотнёшь свежего ветра и будешь долго-долго смотреть вдаль: туда, где ночь высыпает из мешка звёзды; туда, откуда, если раздвинуть напластования времён, летят половецкие стрелы, насквозь дырявя сдавленные кольчугой лёгкие; туда, где наперебой трещат сороки и шумят неосквернённые леса. Как молния отрезвляет небо, так и взгляд высвечивает пространство, запоминает крик. Утолить бы жажду, забыть хоть на миг о веке своём.

По дороге идут старухи. Дорога жмётся к обрыву, шикает под ногами галькой. Старые платья, холодные губы, крупные морщины и по-детски светлые глаза. Сгорбленные старухи — бывшие матери и невесты, жёны и любовницы, куда улетели ваши лучшие годы? какие песни вы забыли? какие сказки не дослушали? Идёте, идёте, опираясь на свою жизнь, нагруженные котомками, сумками и авоськами; простуженные станциями, улицами, городами; согретые пеплом былого счастья. Откроется ли вам эта церковь на холме? Запыляет ли новым светом алтарь? Какой ваш Бог — с бородой или без, седой, юный, добрый, мудрый, великий? Сидит ли он на облаке, смотрит ли с иконы или живёт прямо в сердце? Говорит ли он с вами, слушает, помогает? Жалеет ли он ваших детей, и помнят ли внуки о нём? Идёте, идёте, идёте, слабо заглатывая свежесть утренней влаги, задевая подолом колючую траву, прощая обиды. Подслеповатые глаза ищут полоску горизонта, впитывают краски и оттенки безжалостно уходящего времени. Стисни губы до крови, странник! Остановись и прислушайся к тиканью часов, всемогущий хозяин жизни! Господи, прикрой тёплым светом дряблые ноги и руки идущих старух, спаси девочку в белом

платке и отпусти терпения двум нерадивым мужикам, трактор их всё равно заведётся, не в нём суть, отпусти им только терпения. Идти, идти, идти. . .

Одинокий звук сирены причалившего катера, всполошивший чаек. Несколько грибников, чавкая резиновыми сапогами по ракушечнику и гальке, выползают на мокрый берег. Самый высокий из них поднимает капюшон дождевика, разминает слежавшуюся папиросу и, не оглядываясь, шагает на дорогу. Мужик у трактора отбрасывает в сторону шестерню, недовольно смотрит туда, где пристал катер, и хриплым голосом обращается к соседу: «Смотри-ка, за холм двинули! А год-то, Семёныч, не грибной. Совсем не грибной». Тот на мгновение прикрывает глаза и устало произносит: «Может, оно и к лучшему. . . Поддай-ка мне зубило. . .»

Я докуриваю сигарету. Лёгкий ветерок раскатывает остатки пепла по земле. В такую пору ощущения обретают остроту, тело сливается с природой, становится причастным ко всему, впитывает каждый звук, даже шорох. С реки опять тянет влагой, ракушечником и отцветшими водорослями. Дрожь пробегает по позвоночнику. И не холод тому причиной, а спокойствие и равновесие осеннего мира. Сердце бьётся ровней, его почти не слышно. Я смотрю с холма и вижу остывшие поля, размазанные дороги и серые точки стогов. Как точно подметил поэт Сергей Нохрин: «В России всё готово для зимы». Да, природа готова, она подстёгивает и нас, прижимает ветер к редкой траве, лугам и склонам, и всюду слышится равномерное: «У-у-у-х-ш-ш. . . у-у-у-х-ш-ш. . .»

Катер отходит от берега, за катером в дымке выхлопных газов вьются чайки, они дико кричат, и в этом отчаянном крике я слышу себя, своих друзей и медленно повторяю: «Всё лучшее впереди».

Анастасия Астафьева

То, чего не было¹

В человеке заложена способность к мифотворчеству. Поэтому люди, алчно впитывая в себя ошеломляющие или таинственные рассказы о жизни тех, кто выделились из среды себе подобных, творят легенду и сами же проникаются фанатической верой в неё.

Сомерсет Моэм. «Луна и грош»

Глава 1

Неповторимое

Тогда Алексей ещё не умел носить костюмы. Даже на собственную студенческую свадьбу, помнится, нарядился в обычную клетчатую рубашку и единственные чёрные брюки. Но не мог же он в подобном виде прийти знакомиться с Философом? Поэтому жарким июльским днём 1987 года в дорогом сером костюме с чужого плеча, чувствуя себя спеленатым по рукам и ногам, он шёл от станции метро «Библиотека имени Ленина» в удивительно тихий — для центра Москвы — переулок. Тогда Алексей ещё был худым, поджарым двадцатипятилетним парнем. Пиджак на его узких плечах болтался, но рукава были коротковаты, и их хотелось вытянуть, и брючины, тоже казавшиеся короткими, всё время хотелось одёрнуть. И он останавливался и одёргивал. Но при следующем же шаге вновь раздражался на свой неуютный нелепый наряд.

Алексей здорово нервничал перед предстоящей встречей. Ещё бы! И мечтать не смел о том, что когда-нибудь сможет войти в дом Философа. Он лишь зачитывался его книжками, но то были не толстые тома в твёрдых обложках с золотым тиснением, а подпольные перепечатки, полуслепые копии, которые удавалось достать, выпросить на день, на ночь... Учился по ним жизни, спорил, не соглашался, возмущался, благоговел, смирялся. И всё копилось в душе его глобальные «вечные» вопросы, которые он мысленно задавал Философу, уже считая его своим Учителем, Духовным Отцом.

Энциклопедический словарь сухо сообщал: «Быков Георгий Семёнович (28 октября 1894, Новореченск), советский философ и филолог, профессор, доктор филологических наук. В 1916 окончил историко-филологический факультет Московского

университета. В 1930–1935 гг. необоснованно репрессирован. С 1944 г. профессор МГПИ им. Ленина. В работах 20-х гг. под влиянием Платона, неоплатоников, Гегеля, Шеллинга и Гуссерля стремился построить методами идеалистической диалектики универсальные модели бытия и мышления, а также художественного творчества. В эти же годы исследует античное восприятие мира в его структурной целостности. В дальнейшем Быков переходит на марксистские позиции...»

Словарь был 1986 года издания, до развала Союза и отказа от коммунистической идеологии оставалась ещё целая пятилетка, и, конечно, без перехода на «марксистские позиции» обойтись было нельзя. На самом деле главнейшим направлением философии Быкова было христианство, православная религия. В миру он оставался обычным институтским преподавателем латыни, вёл семинары по античности, зарубежной и русской литературе. И студенты даже не подозревали, кто читает им лекции, посмеивались над тем, что он, престарелый, словно бы дремлет на занятиях, странно держит под пиджачком руку. Это потому они говорили: «Если бы мы знали, кто этот тихий полуслепой старик!» Под пиджачком у неофициального философа были приколоты крохотные яшмовые чётки; во время лекций, на учёных советах, на заседаниях он непрестанно мысленно читал Иисусову молитву...

В хрущёвские годы за посещение храма могли не только погнать с кафедры, а устроить настоящую травлю. Тогда ведь даже при крещении детей паспорт требовали, а потом, случалось, и доносили... И Быков ужасно страдал от того, что не может открыто ходить в церковь. Даже от родных он многое скрывал — что общается с монахами, старцами... Он никогда ничего лишнего не показывал, никаких бесед ни с кем не вёл, никому не навязывал своего мировоззрения. Только немногие самые близкие люди потом, уже после его смерти, говорили, что Георгий Семёнович сам был как старец, потому что давал такие советы, что невозможно было не послушаться.

.....

1. В произведении использованы цитаты из интервью и документальных фильмов российских и зарубежных кинематографистов.

Изучив историю мировых религий, общаясь с представителями других конфессий, Быков всю жизнь оставался строго православным человеком. Дед его был протоиереем, настоятелем Троицкого храма. В конце двадцатых, в страшное для русского православия время, когда разгоняли монастыри, закрывали храмы, когда тысячи монахов и монахинь отправляли в ссылки, когда мало кто спокойно мог умереть в своей постели,— именно в это время Георгий Семёнович и его молодая супруга приняли тайный монашеский постриг. С тех пор и всю жизнь Быков носил чёрную шапочку, которая считалась академическим атрибутом, но на самом деле являлась иноческой скуфейкой.

В тридцатом его арестовали по делу, в котором он фигурировал как «идеолог церковников». Со слали в лагеря, запретили заниматься философией. Но разве можно запретить человеку мыслить, молиться? Только одному Богу известно, какими молитвами он выжил, каким чудом его выпустили. Но именно в ссылке у него повредилось зрение. И к чёрной иноческой шапочке прибавились круглые очки с толстыми линзами, сделавшие образ философа Быкова таким, каким его будут знать и помнить в двадцать первом веке...

В том числе и благодаря Алексею. Но сейчас он стоял в ожидании зелёного сигнала светофора среди десятка людей на раскалённом июльском солнцем перекрёстке, глядя на несущийся мимо поток машин. И в эти недолгие минуты он вдруг взглянул со стороны на себя, на свой четверть-вековой жизненный путь, который и привёл его к этой встрече.

Ленинградец по рождению, но по сути выросший в провинции, Алексей обитал в Москве временно. Решил получить второе высшее образование и поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссёров. Это был далеко не случайный выбор. Ещё мальчишкой он страстно увлёкся фотографией. Особенно любил выслеживать в лесу животных: ежи, белки, зайцы, лисицы, глухари получались на снимках совершенно живые, естественные в привычных условиях обитания. На всю жизнь запомнился случай, когда они с приятелем решили выследить лосей. Стащили с фермы коровьи лизунцы, разбили помельче и раскидали их на поляне в глухом лесу, через которую, по словам местных охотников, и проходила звериная тропа. Соорудили неподалёку шалаш, залегли и стали терпеливо ждать. Солнечный день сменился звёздной чернотой, хотелось есть, донимали комары. Страх вперемежку с ночной прохладой забирался под рубашки, щекотал спину между острыми мальчишескими лопатками, но пацаны лежали без сна, перешёптывались, напряжённо прислушиваясь к лесным шорохам и крикам. Уже на рассвете их сморило. И как раз в этот утренний час, роняя на седую от росы траву прозрачные

капли с листьев деревьев, вышла из леса на поляну лосиха с лосёнком. Матка настороженно понюхала воздух, учуяла соль, несколько раз лизнула угощение. Лосёнок, неотступно следовавший за ней, тоже попробовал белые холодные камешки на вкус. Но лосиху что-то необъяснимо тревожило на этой поляне, и она поспешила увести слабое дитя своё от неведомой опасности. Проснувшись часов в восемь, по следам мальчишки поняли, что упустили чудесную встречу с животными и все старания пропали даром. Дома обоим досталось за безрассудную затею: если бы лосиха встретила с мальчишками, как говорится, нос к носу, то, защищая лосёнка, она могла бы их покалечить, а то и убить. Но, наверное, именно после той несостоявшейся встречи Алексей впервые понял: в жизни всегда есть то, что неповторимо, какой-то миг, который упустил сейчас, проспал, не сохранил на фотоплёнке, и его больше никто никогда не увидит...

Всё свободное время Алексей стал проводить в кинотеатрах на Невском— благо, от дома до Ленинграда на электричке ехать всего полчаса. По двадцать, тридцать раз смотрел понравившиеся фильмы. Денег едва хватало на дорогу и на один сеанс, и он перед концом картины прятался в тёмном зале под кресла, пережидая перерыв. А когда фильм начинался снова, выбирался из-под сидений и смотрел, смотрел, стараясь понять, почему его так покоряет эта игра света и тени, творящаяся на экране.

Дома ему влетало за безделье, он молча сносил крики и затрецины, а назавтра опять мчался в кино...

Неудивительно, что после школы он пошёл работать на Ленинградскую студию документальных фильмов и сразу стал жить отдельно от родителей. Понятно, что просто так мальчишку с улицы не взяли бы, помогли занятия в фотокружке при Дворце пионеров, точнее— преподаватель, оператор с этой самой студии. Трудиться Алексей начал в «высокой» должности мальчика на побегушках: принеси, подай, оттащи, подними, поддержи, налей, выкинь, посвети, не мешайся! Постепенно осваивал и операторскую науку, и монтаж, и азы режиссуры. В семидесятых на ЛСДФ снимали кино такие люди, одно присутствие которых вызывало у мальчишки-ассистента трепет. Сами же режиссёры называли худенького, пытливого и немного странного юношу, говорившего детским, не сломавшимся голосом, «сыном полка». Очень скоро Алексей своей жизни без кино уже не мыслил. Поступил в институт киноинженеров на операторский факультет, и ему стали доверять на студии уже более сложную работу— самостоятельный монтаж, вторую камеру... Семейная пара именитых режиссёров особенно опекала его— своих детей у них не было. Они видели, что Алексей

нередко ходит голодным, легко одетым — это при ленинградской-то погоде... Отечественную заботу режиссёров юноша принимал с осторожной благодарностью. Привязчивый и как-то по-девчоночьи сентиментальный, в житейских вопросах он всячески старался оставаться независимым от своих опекунов. Но до профессиональных отношений был жаден, буквально глотал любое слово, следил за каждым жестом, иногда осмеливался спорить и всегда убедительно отстаивал свою точку зрения. Всё чаще слышал он от них совет попробовать себя в самостоятельной режиссуре. Алексей и сам подумывал об этом, но со свойственным всякому молодому человеку максимализмом мечтал сделать что-то особенное. Он не мог ещё до конца понять, что именно, но просто снимать социалистическую действительность, как она есть, ему было неинтересно. Что-то неосознанное мучило его, бродило в душе до поры до времени, пока не попали к нему потрёпанные многими руками книги Философа. И тогда он понял, что хочет сказать этому миру о себе, о своём взгляде на жизнь, на мир, как если бы это был взгляд любого из нас, всегда одинокого и беспомощного перед злом и смертью. Тогда-то он и решил поступать на режиссёрское отделение.

Курсы славились своей свободой. Там говорили о вещах, которые ещё были официально запрещены. Лекции читали совсем недавно опальные режиссёры и сценаристы, чьи фильмы лежали на полках по двадцать и больше лет, и лишь перестройка открыла их зрителям. Только на курсах можно было увидеть отечественные и зарубежные картины — и классику, и современные, восемьдесят процентов из которых рядовые зрители не увидели бы никогда. Там Алексей и сдружился с одноклассником, оказавшимся племянником жены Философа.

Сошлись они странно, почти анекдотично. В свободный от занятий зимний день гуляли по городу небольшой компанией — четверо молодых амбициозных мужчин. Один позднее станет известным кинематографистом. Второй через три года погибнет в автомобильной катастрофе. Третий снимет пару хороших фильмов, попробует писать сценарии, но потом сопьётся и исчезнет — если не с лица земли, то из памяти своих более успешных коллег. Четвёртый, поняв, что творческая удача — дама весьма капризная и разборчивая, займётся бизнесом, имеющим к кино самое отдалённое отношение, у него будет крепкая многодетная семья. Через много-много лет после той прогулки Алексей задумается о судьбах своих одноклассников, о себе и в отчаянную минуту решит, что тот, четвёртый, оказался самым счастливым из них.

А тогда они, подвыпившие, заспорили о классиках мирового кинематографа — прекрасная тема для компании начинающих режиссёров, в которой каждый — конечно, втайне от товарищей, — уверен

в своём великом предназначении. Яростный спор мог быть бесконечным — каждый отстаивал взгляд любимого творца, считая его гениальным, и фыркал в ответ на восторженные высказывания приятелей об иных. Племянник неосторожно прошёлся по Тарковскому, точнее, по его «Андрею Рублёву», и Алексей так вспылел, защищая своего кумира, что первый и последний раз в жизни ударил человека. Он, который не мог раздавить мухи, который плакал над умершей кошкой, не ел мяса из соображений защиты животных... Замкнутый, молчаливый, нервический, не переносивший домашних скандалов и агрессивно-пьяных людей... Он, который однозначно струсил бы перед бугаём с кулаками и вряд ли смог защитить девушку, внутренне томящийся своей позорной немужской слабостью, но никогда не желавший её преодолеть, вдруг шархнул кулаком в нос человеку за резкое высказывание.

Их быстро растащили, заставили выпить мировую. А через пару дней одноклассник уже в трезвом виде извинился перед Алексеем и отчасти признал свою неправоту. До этого случая они общались только потому, что вместе ходили на лекции, а тут сблизились, подружились. Узнав о страстном увлечении друга трудами Философа, племянник пообещал при удобном случае познакомить их лично.

Боясь даже думать о таком невероятном подарке судьбы, Алексей всё-таки терпеливо ждал исполнения обещанного. Ждал долго. В свои девяносто три года Философ был в абсолютно ясном уме, но совершенно слеп. Практически не выходил на улицу. Даже в церковь. Причащался и исповедовался на дому. Мало кого допускал до себя. Только избранных людей...

И вот вчера — какой подарок ко дню рождения! — друг сообщил, что их будут ждать в доме Философа к обеду...

Алексей зашёл в просторный двор, затенённый густыми кронами серебристых тополей, увидел сидящего на лавочке товарища, помахал ему.

Они вошли в подъезд, в котором благодаря толстым каменным стенам сохранялась прохлада. Уподножия широкой беломраморной лестницы, за стилом, покрытым зелёным сукном, освещённым лампой под стеклянным абажуром, сидела старинная московская дама. Ей было лет восемьдесят, но, собираясь на работу, она не позабыла припудрить носик и кривенько подмазать усохшие губы.

Консьержка спросила посетителей о цели визита и согласно закивала, услышав знакомую фамилию. Алексей был совершенно очарован этим эпизодом и, поднимаясь по лестнице, подумал, что старушка вполне могла бы стать героиней курсовика — десятиминутного фильма, который требовалось снять по окончании первого года обучения. Но вот уже открылась высокая дверь

заветной квартиры, на пороге возникла хозяйка, и он отложил эту мысль на потом, а точнее — навсегда...

Супруга и главный помощник Георгия Семёновича — сильная, крупная шестидесятипятилетняя женщина с яркой, броской внешностью, доставшейся ей от отца-грека, — принимала гостей в просторной светлой кухне.

Они довольно долго разговаривали, пили чай. Быков к ним не выходил, сидел в кабинете. Потом неожиданно пригласил ребят, попросил племянника познакомиться с другом, а затем оставить их вдвоём. Философ взял руку Алексея, долго держал её в своей сухой, с пергаментной кожей и мелкими старческими пигментными пятнами ладони. И тихо сказал:

— Вы можете приходить, молодой человек...

Алексей приходил, помогал жене Быкова разбирать архив, читал бесценные книги, замечательные книги, с дарственными надписями авторов: «Гера, дорогой мой Гера...», «Другу моему, Георгию-Победоносцу...», «Милый Гера...». Эти автографы близких Философу людей вызывали в Алексее трепет. Иногда он просто тихо сидел в кабинете рядом с Георгием Семёновичем, просто дышал с ним одним воздухом, словно пытался надышаться его вековой мудростью. Он понимал, что его допустили до чего-то высшего, что дано единицам на этой земле, что он не сможет после этого жить как раньше, оставаться прежним.

До смерти Философа оставалось два года. Всё, что видел и слышал Алексей, было неповторимо и невозвратно. Молодой режиссёр понимал, что он должен сохранить всё это на плёнке, но Георгий Семёнович категорически не хотел сниматься, даже просто фотографироваться.

— Ты можешь приходить, читать, вот книжки, можешь бывать здесь, но кино снимать не будешь.

Алексей ходил год. Второй...

Они разговаривали очень мало и кратко. Алексей был ещё слишком молод, и, конечно, его мучили глобальные философские вопросы. Например, почему Бог допускает существование зла, зачем Богу нужна смерть. Тогда Алексей понимал зло как войну, как человеческие страдания, а физическое небытие — как вопиющую несправедливость. Георгий Семёнович объяснял смерть как естественный переход к иной жизни, как благо, как вечное движение. Всё к лучшему в этом мире. Незрелая душа Алексея протестовала. Но он понимал, что в этих философских формулах нет пошлого самодовольства, вся жизнь этого человека есть трагическое христианство, подвижничество.

Однажды Алексей, зная, что Георгий Семёнович сластен, привёз какие-то невероятные конфеты. То было время повального дефицита. Они вошли в кабинет вместе с супругой Философа, и та радостно сообщила мужу:

— Алексей привёз конфеты. Халва в шоколаде, очень много!

Георгий Семёнович улыбнулся и весело ответил: — Халвы много не бывает!

И замурлыкал мотивчик из какой-то оперетки. Живой, по-настоящему живой человек...

Супруга Философа понимала и разделяла желание Алексея снять фильм о её муже. И в тот вечер они всё-таки уговорили Георгия Семёновича на десятиминутный разговор перед камерой. Это было чудо.

«Судьба... Я живу, страдаю, мучаюсь. Почему? Судьба! С понятием судьбы расстаться невозможно. Оно есть ещё с античности, но без понятия личности. Личность — это признак нового времени. Единое в античности личности не имеет. Что-то существует вне человеческой личности. А судьба — она и есть момент первоединства...»

«Судьба. Суд Божий. Ты не знаешь намерений Божьих. Потому что ты — дурак. А раз дурак — значит, не смеешь рассуждать о том, что что-то в этом мире устроено не так...»

«Я знаю, когда умру. Четвёртого декабря. Я верю, что Бог пошлёт мне эту радость... Смерть всегда рядом. Я уже вижу её. Мы с ней давно знакомы. Смерть рождается вместе с человеком... Как можно бояться того, кого ты знаешь всю жизнь? Смерть бережёт человека. Она знает свой час и никогда не даст ему уйти раньше...»

Ему было девяносто пять. Он уже мог не бояться смерти. Никогда больше человек так не боится смерти, как в юности. Он мог не бояться, но иногда Алексей, тихо читающий в кабинете книгу, слышал, как Философ разговаривает с Ней, как шепчет: — Я уже не выйду... иди от меня. Иди от меня. Покинь меня. Покинь меня, ах, Господи...

Предчувствие и уже присутствие инобытия. Первоединство жизни и смерти.

Он умер, как и сказал, четвёртого декабря. На Введение Пресвятой Богородицы во храм...

Алексей снимал похороны. Когда гроб опустили в могилу и мёрзлые комья посыпались вниз, он встал у края с камерой и сквозь неудержимо струящиеся слёзы смотрел, как постепенно закрывается землёй крышка, заполняется яма. Комья падали, отскакивали, рассыпались, словно это был какой-то странный танец земли. Пляска смерти. Всё быстрее заполняется могила, всё ближе и ближе земля, вот — вровень с краями, вот — холмик. Человек девяносто пять лет жил — и вдруг за какие-то две минуты сравнялся с землёй. И уже земля осыпается с холмика, скатываются мелкие камушки, как слёзы...

«Почему вы, Алексей, думаете, что я могу ответить на все эти вопросы?... Даже если я отвечу. Разве это уберёжет вас от ошибок? Всё равно вам придётся всё постигать самому. Жизнь, любовь, Бога... Вы хотите подобрать один ключ ко всем

премудростям... Думаете, я его подобрал? Нет... Вы будете его всю жизнь вытаскивать... Да так и не успеете... Жизнь всегда слишком коротка... даже если ты от неё устал... Знаете, давайте выпьем чаю. Мне привезли отличный индийский чай...»

Режиссёрские курсы были давно позади. Алексей вернулся в Ленинград, на студию, но иногда навещал вдову Философа. Добывая по частям киноплёнку, подснял недостающие кусочки для будущего дипломного фильма, сдачу которого он затянул уже до предела. Тихий московский двор в хлопьях тополиного снега. Пустой тёмный кабинет и бесконечные полки с запылёнными книгами. Старое кожаное кресло с навечно впечатавшимся в промятую спинку очертанием спины Философа—будто только что сидел, но вот вышел на минутку... Десятиминутный монолог вырос в картину об уходе великого старца.

Это был дебютный фильм молодого режиссёра-документалиста Алексея Данилова. Он принёс ему несколько призов на международных фестивалях, подогрел интерес критиков. Это был первый успех, с которого началось восхождение воспитанника Ленинградской студии документальных фильмов на кинематографический олимп.

Но после «Философа» Алексей дал себе слово никогда больше не снимать человека столь огромного масштаба, как Быков. Оказалось, что справиться с таким материалом невероятно трудно. Всё время в душе молодого режиссёра жила неуверенность, ему казалось, что он услышал, почувствовал, понял совсем не то, что говорил ему мудрый человек. Перед ним впервые стояла непосильная задача—не навредить, не испортить, не упустить главное и не выбросить то, что, кажется, выбросить можно. Или оставить всё, что снято, просто потому, что это уже история и не принадлежит ему. Да ещё умудриться создать иллюзию художественного произведения. Алексей всерьёз испугался такой ответственности. Долгие годы после он досадовал на свою первую работу и мечтал всё переснять, перемотировать. Увы, это было невозможно, бессмысленно.

Он впервые столкнулся с проблемой, которую ему часто придётся потом решать: что и о ком снимать? Есть ли в окружающем мире люди, о которых он мог сказать, что действительно до дна понимает их? Если и себя порой было очень непросто понять и принять.

Три года Алексей не мог взяться за следующую картину. За это время развалился Союз. Родной Ленинград стал Санкт-Петербургом. В стране, собравшейся строить капитализм, не было денег ни на что, тем более на кино. У Алексея родился сын, нужно было как-то содержать разросшуюся семью, поэтому он хватался за любую работу. Платили мало и нерегулярно. В какие-то совсем уж чёрные осенние дни он поехал к родственникам

в деревню за картошкой. А вернувшись, на следующий же день написал и подал на студию заявку на свою новую картину. Вымолил у своих учителей несколько коробок плёнки в долг и, не дождавшись утверждения, уговорив под личную ответственность свободную съёмочную группу, отправился снимать фильм про самую обычную деревенскую семью.

О чём был этот фильм? О пожилых брате и сестре, которые доживали свой век в заброшенной деревне. Изработавшаяся женщина трудилась на огороде и обихаживала скотину. Брат её—горький пьяница и запойный бездельник—не делал ничего, но любил под хмельком порассуждать об устройстве мира, поболеть душой о его несовершенстве. Не стеснясь понаехавших киношников, он задибался на сестру, привычно грозил убить... Но оба они так давно жили в этих кошмарных обстоятельствах, что вовсе не замечали убогости и ужаса своего существования. Дети их осели в городах. И связь с ними поддерживали лишь редкие письма да приезжавший на лето внук. Какую чернуху можно было склеить из подобного материала!

Алексей сделал потрясающе светлый фильм о крестьянском долготерпении, о прощении, об умении жить дальше даже тогда, когда жить, кажется, невозможно. Радость и полнота бытия в единении с природой, с родной землёй, домашней и лесной живностью, друг с другом, с Богом наполняли его картину. В ней были и влажный воздух, и запахи прелой осенней травы, и предзимняя лесная тишина, и сонные крики птиц, и твёрдая морщинистая кора старого дерева, и тёплое дыхание коровы, и печной дым, и слёзы, и крики, и мат, и частушки...

Долго потом восторженные критики пытались понять, как удалось режиссёру так приручить своих героев, приучить их не бояться камеры, вести себя перед ней совершенно естественно, так, что у зрителя создавалось полное ощущение личного присутствия там, в этом деревенском доме.

Алексей таинственно улыбался и, скромно потупив глаза, уповал на профессиональные секреты. Его учителя в ответ на чьи-то очередные восторги уверенно, спокойно и беззлобно говорили: «Просто Лёша очень внимательно смотрел наше кино». И в этом была немалая доля правды. Алексей Данилов вырос достойным продолжателем ленинградской школы кинодокументалистики. Тем, кто знает, что это была за школа, больше ничего объяснять не нужно.

Но были и те, кто впервые обвинил молодого режиссёра в провокативности, в вынуждении героев к «душевному стриптизу», в неумолимости и высокомерии авторского взгляда, в повествовании на грани болевого порога. Обвинения эти будут сопровождать все его последующие работы и создавать бесчисленные мифы вокруг его фигуры. Но это всё потом.

Возможно, и поклонникам фильма «Ковалёвы», и противникам было бы интересно узнать, что ближайшие родственники режиссёра, впервые увидев себя со стороны, на экране, были шокированы. Они-то точно не разделили восторгов большей части публики и критики, посчитав, что Алексей их просто опозорил. По-деревенски прямодушные люди — они бурно высказали обиду и пожелали больше не знаться со своим киношным родственником.

О, сколько творцов, осмелившихся снимать или писать о близком, кровном, реальном, испытали гнев родных или земляков на себе!

Но, несмотря ни на что, для режиссёра, которому только-только исполнился тридцать один год, наступил звёздный час. Призы различных мировых фестивалей, в том числе и самых престижных, посыпались на него словно из рога изобилия. За несколько лет триумфального шествия «Ковалёвых» по мировым экранам их набралось более тридцати. Эта документальная картина заняла своё достойное место в списке величайших кинематографических достижений, наряду с фильмами Чаплина, Эйзенштейна и Флаэрти. Алексея приглашали работать за рубеж, обещали поддерживать все его новые проекты, знакомства с ним искали многие именитые режиссёры. Он давал бесчисленные интервью, читал лекции в киноинститутах. Заработанных средств хватило на то, чтобы раздать долги и безбедно жить с семьёй пару лет, но главное — Алексей теперь мог смело приступать к съёмкам нового фильма, совершенно самостоятельно, независимо от пожеланий и требований Госкино или директора студии. Но...

Следующую картину он снял лишь через два года.

Глава 2

Жизнь — это кино без названия

На днях Алексей Кириллович Данилов получил очередную престижную кинематографическую премию. Это была вторая премия за его последний фильм «Без слов», не считая десятка уже полученных фестивальных призов. Алексей Данилов давно превратился из начинающего режиссёра в мэтра российского документального кино, а из худого длинного парня — в солидного мужчину. Летом ему исполнилось сорок два года, он располнел, но тщательно и умело скрывал проявившиеся вдруг недостатки внешности: носил длинные, до плеч, волосы, лёгкую бороду, дорогие, подогнанные по фигуре костюмы.

Алексей должен был бы привыкнуть к фестивальным наградам и премиям, но всякий раз сомневался, волновался и почти по-детски радовался очередной удаче. Кроме известности и престижа, это приносило солидные суммы, которые

позволяли кормить семью какое-то время, а главное, спокойно снимать и монтировать своё кино. С некоторого времени он ценил полную независимость. А на последних двух картинах отказался даже от услуг оператора — всё делал сам, от начала до конца.

Снимал Алексей трудно. Хотя каждые два-три года старался выпускать в свет новый фильм, но кто бы знал, что это были за два года! Депрессия, страх, сомнения, ощущение, что больше никогда он не сможет создать ничего стоящего, и мысли, мысли, постоянно, круглые сутки, месяцами; даже во сне он словно из гудящего пчелиного роя пытался выхватить ту единственно верную плу-идею, которая ужалит его, с которой начнёт расти его новый фильм. Лишь бы началось! Но не приходило, и он проводил долгие нудные дни один в своей квартирке-кабинете, расположенной на тишайшей старинной петербургской улочке. Эту квартирку он специально купил и оборудовал под творческую мастерскую, где мог на безотказном компьютере днями и неделями неторопливо монтировать, бесконечно перекраивать новую картину. Но киномуза, эта сумасбродная крылатая дама, прилетать никак не хотела, и он тупо лежал на диване, щёлкая пультом от телевизора.

Собираясь как на работу — да, в общем-то, и в самом деле на работу — в свой кабинет, он давал ЦУ старшему сыну, целовал в душистую макушку младшего, говорил жене, чтобы не ждали к обе-ду, садился в свой новый тёмно-синий «Форд», махал им, наблюдающим в окно, — счастливый, красивый, благополучный. Он и сам каждое утро верил, или, по крайней мере, старался верить, что сегодня у него всё всё случится. Ведь невозможно было предсказать день, когда и при каких обстоятельствах вдруг сложится в голове остов нового фильма, и он сразу поймёт, что это оно, то самое! Так, наверное, оперному певцу нужно было взять верно и безупречно чисто первую ноту, чтобы от неё оттолкнулись, потянулись друг за другом следующие прекрасные звуки. Так и в кино: кадр рождал кадр, за частью следовала часть... Нет, он не думал в такие дни о будущем признании, премиях, беседах на телевидении, интервью в газетах. Он наслаждался процессом, взахлёб, наркотически пьянея от вида возникающих на экране компьютера кадриков будущего фильма, впадая в транс, в краткое помешательство. В голове звучали голоса героев, на разный лад, с актёрскими интонациями, плач, хохот, стоны, ссоры, взрывы, крики, скрип тормозов, лай собак, завывание ветра, скрежет железной двери... И музыка, музыка, которой ещё не существовало в мире нигде, кроме как в его душе. Он забывал о еде, сне. Ставил на автоответчик телефон. Занавешивал плотными гардинами окна. Не появлялся дома неделями. Это был самый настоящий творческий запой. И хорошо, если

всё обходилось одним эпизодом—то есть зараз отстрелялся, отснял, смонтировал целиком то, что задумал. Тогда он приходит домой, в семью, тихий, худой, с синяками под глазами, но умиротворённый. Молча забирается в горячую ванну и спит в ней часа три. Потом съедает всё, что есть в доме, и на сутки ложится в постель. Проснувшись, начинает возиться с младшим, играет с ним, гуляет, нередко вывозит всю семью куда-нибудь. В общем—папа вернулся!

Гораздо хуже, если...

Алексей ненавидел дни, когда фильм неожиданно застревал. Непредсказуемая муза могла отвлечься на дамские бирюльки и позабыть о своём несчастном рабе напрочь! А он корчился, словно от внезапно нахлынувшей боли. Слово самая любимая, самая бесценная женщина бросила его, а он без неё не то что жить—дышать не может. И самое страшное, он не знал, даже не мог угадать момент, когда она вернётся. Может, через час, а захочет, так и через полгода. Что ей, бесплотной, до наших ли земных забот и страстей! Жди, терпи, надейся.

«Это непрофессионально!», «Ни дня без строчки!»—давили на психику менее успешные киноколлеги, когда он пробовал поделиться с ними переживаниями. После их советов и вовсе становилось тошно. Они-то не страдали от недостатка материала, снимали кино на злобу дня: инвалидов, бомжей, наркоманов, брошенных детей.

Во время работы над последним фильмом надменная муза покидала его раз пять. И Алексей вдруг панически подумал, что с каждой новой картиной этот разрыв только увеличивается, и растёт количество провалов в процессе.

«Старею...»

А впереди ещё был своеобразный юбилей—десятилетие «Ковалёвых». На него надела директор кинотеатра на Невском—они давно сотрудничают: мол, надо устроить ретроспективу. Это была почти обязателька. С такой влиятельной дамой нельзя ссориться. Организация показа—дело не столько напряжное, сколько затратное и скучное. Алексей слишком хорошо знал, что из ста пришедших в лучшем случае десять искренне расположены к нему. Из десятка похвал хорошо, если одна имеет под собой серьёзную профессиональную оценку. Большинство же давно и терпеливо ждёт, когда Данилов поскользнётся. Когда же, наконец, пятнадцатилетнему триумфальному шествию его фильмов по мировым экранам наступит конец. Ведь спад должен быть у любого художника. Тем более такого расчётливого провокатора, как Данилов.

Полгода назад он снова взбаламутил общественность. «Без слов» называли «роскошной халтурой»: мол, режиссёр смонтировал материал, снятый из окна собственной квартиры. Полтора часа ремонтных работ. У каждого третьего под

окнами творится то же самое. Но только Данилов умудрился слепить из российского разгильдяйства, из двух бед—дураков и дорог—произведение искусства. Точный, безошибочный расчёт на границу! Там любят видеть нас в дерьме... И это в год трёхсотлетия Санкт-Петербурга!

Собираясь на свой творческий вечер, Алексей морщился от этих навязчивых чёрных мыслей, словно от зубной боли. Но мероприятие нужно было пережить, а значит, он должен быть бодрым, уверенным, спокойным, безупречно одетым, аккуратно причёсанным, в общем—успешным и благостным. Ведь были и те, кто хотел видеть его именно таким.

На юбилейный показ «Ковалёвых» пришло много и знакомых, и чужих людей. То и дело к режиссёру подходили коллеги—поздравить, с кем-то он обнимался, благодарил, с кем-то официально здоровался за руку. В фойе перед зрительным залом дирекция кинотеатра с его согласия организовала продажу дисков с юбилейным фильмом, и режиссёр по желанию зрителей раздавал автографы: красиво и широко расплывался на обложке. — Как вас зовут? Леночка... Леночке от автора... в память о встрече... Вы обворожительны,—Алексей протянул стройной юной блондинке диск и, передавая его, как будто бы случайно коснулся руки девушки. Пальцы её оказались холодными. — Ах, Алексей Кириллович, я уже несколько лет нахожусь под впечатлением от вашего фильма «Понедельник. Утро». Это неподражаемо! Я была в шоке после премьеры, не спала несколько ночей, у меня мигрень разыгралась,—экзальтированная дама в чёрном насадала на режиссёра.

— Вы хотите сказать, что все предыдущие мои произведения кому-то подражают?—язвительно спросил Данилов.

— Ну что вы! Я совсем не то хотела сказать! Я имела в виду, что у вас свой, совершенно особый стиль...

— Давайте подпишу... Как ваше имя?

— Лилия Казимировна!

«Если бы этого не было на самом деле, решил бы, что это дурно сочинённый эпизод из дешёвой книжонки...»—подумал он, подписывая даме диск. — Алексей Кириллович, там журналисты с «сотки» приехали,—отвлекли режиссёра от рдачки автографов.—Надо бы им уделить три минутки.

Добросовестный оператор с телевидения уже продрался сквозь толпу жаждущих подписанного диска и запечатлевал процесс общения живого классика со зрителями. Девушка с микрофоном сунулась было к Данилову с вопросами, но возня около стола мешала нормальной беседе.

— Друзья мои!—поднялся со своего места Алексей и громко, чтобы перекрыть гул, стоящий в фойе, повторил:—Друзья мои! Я прошу всех проходить в зал! Обещаю, что после встречи я подпишу всё, что вы захотите! А сейчас я должен дать интервью.

Толпа послушно стала просачиваться в зал, а он повернулся к девушке с микрофоном:

— Пойдёмте вон туда, за колонны... Я вас знаю. Евгения, кажется? Мне нравятся ваши репортажи...

Пока он отвечал на вопросы журналистки, люди всё прибывали и прибывали. То и дело Алексею приходилось кивать кому-то. Он сказал несколько дежурных тёплых слов в адрес тех, кто организовал эту творческую встречу. Соврал о том, что уже приступил к съёмкам новой картины, тему которой держит пока в тайне. В конце интервью жеманно поцеловал журналистке ручку, совершенно случайно и неприятно отметив, что у неё облезший розовый лак на ногтях.

Прозвенел звонок, Алексей двинулся к залу, но его снова задержала журналистка, на этот раз из газеты. Он отвечал на вопросы уже коротко, отрывисто, нервничая перед предстоящим выступлением, автоматически высматривая кого-то в редущей толпе, ловя себя на мысли, что очень хотел бы оказаться сейчас в своём кабинете на тихой петербургской улочке...

Ксения Кузнецова пришла одной из последних. Алексей зорким взглядом выхватил её из толпы: эмоционально размахивая руками, она разговаривала с каким-то тщедушным парнем у входа в зал. Впрочем, парень, может, и нормальный, средний, но Ксения была девушкой дородной, крупной, русской. Ей бы, несомненно, пошла длинная русая коса, но это Данилов домывливал — когда они познакомились, она уже была коротко стриженной, в джинсах и водолазке, обтягивающих её крупногабаритные прелести. Алексей улыбнулся, припомнив трагикомические обстоятельства, при которых они встретились.

«Зачем она тогда не переждала этот дождь, дуручка!» — с нежностью подумал он, вполуха слушающая бесконечное щебетание журналистки, кивая невпопад, а сам думал о том, что Ксения могла бы быть очень красива, если бы не была так помальчишески резка и несдержанна, если бы немного похудела, если бы была чуть женственней, чуть таинственней, если бы... Ещё он подумал, что она очень похожа на своего отца — знаменитого и недавно умершего поэта Сергея Кузнецова. Похожа даже в этих вот манерах, но, неосознанно копируя их, она забывала о своей женской сущности. Из чужих сплетен и домыслов Алексей знал непростую историю их семьи, что Кузнецов оставил жену с малолетней дочерью, что Ксения росла как трава во поле, рано проявила унаследованный от отца литературный талант. Хотя — что там может пописывать молодая девица? Так, какие-нибудь любовные историйки... Отец мало интересовался судьбой дочери, а уж над её творческими попытками и вовсе откровенно посмеивался. Пик его славы пришёл на семидесятые-восьмидесятые. Как многие российские поэты, он часто заглядывал

в бутылку, отчего и семейная жизнь не ладилась, и писалось всё хуже. В последние годы Кузнецов печатался скорее по инерции, пил всё больше и в конце концов три года назад отдал Богу душу.

Алексей извинился, оставил надоедливую журналистку и как бы невзначай прошёл мимо Ксении. Он быстро и цепко рассмотрел её, примечая все детали: посверкивающую в ухе серёжку, линию стрижки по шейке, просвечивающую сквозь вязаный узор джемпера салатную блузку, чуть забрызганные сзади понизу чёрные брюки — на улице осенняя слякоть, сапожки под ними на невысоком удобном квадратном каблучке. Всё устойчивое, добротное, сильное, молодое. Что с ней рядом делает этот полумёртвый бледный студент? Учатся вместе? Живут?..

Ксения вдруг перехватила взгляд Данилова и коротко кивнула ему. Как никак — давние знакомые. Его ответная улыбка и ленивый кивок головой показали ей снисходительными.

«Чеширский кот! — фыркнула она про себя. — Такое ощущение, что постанывает от осознания собственного величия. Стоит как мраморное изваяние. Белый, гладкий, с благородными прожилками. Ах, Алексей Кириллович, пиджачок-то на спинке помялся! Ах, батюшка, не доглядели...»

Она никак не могла забыть Данилову дурацкой истории их знакомства и всякий раз при виде благостного сытого режиссёра погружалась в поток внутреннего ёрничанья.

Несколько лет назад ей повезло стать координатором одного из питерских международных кинофестивалей — его президент был близким другом её отца и после смерти Сергея Кузнецова взялся опекать осиротевшую девчонку. Работа была сезонная — подготовка фестиваля длилась с февраля по июнь, и с приближением дня открытия заботы по организации нарастали, как снежный ком. Фильмы — документальные, анимационные и игровые короткометражки — прилетали в город на Неве со всего мира. Каждый год в отборе участвовали картины из пятидесяти-шестидесяти стран. Вся Европа, Южная и Северная Америка, Австралия... Разве что из Антарктиды не прибывали экспресс-почтой диски и кассеты. Все работы, а их бывало около полутора-двух тысяч, нужно было зарегистрировать, отсмотреть, отобрать конкурсную и специальные программы, связаться с авторами, сверстать и напечатать каталог, программку, организовать выдачу виз и проезд участников, размещение их в гостиницах, доставку кинокопий. Долгое время фестиваль показывал фильмы, снятые исключительно на плёнке, и порой в офис привозили по пятнадцать огромных коробок с бобинами одного полнометражного документального фильма. Одна коробка — одна

часть, десять минут. А если фильм длится полтора часа? Всё это стоило серьёзных денег и больших нервных затрат организаторов фестиваля. А основная команда состояла из пяти человек. Президент, он же генеральный директор, добытчик, обиватель всевозможных порогов, в прошлом известный питерский режиссёр-документалист, лауреат Госпремии СССР — Виктор Лиговцев. Исполнительный директор Яков Борисович — шумный, упрямый, ленивый, стопроцентный гедонист, добиться от которого чёткого и быстрого исполнения чего-либо было довольно сложно. Чем ближе подходил день открытия фестиваля, тем громче орала генеральный и исполнительный директоры. Они запирались в кабинете шефа и самозабвенно драли глотки часы напролёт, что-то бесконечно и безрезультатно доказывая друг другу. Казалось бы, давно должны были разбежаться в разные стороны, однако вот уже десять лет с горем пополам делали этот кинофестиваль, и окружающим давно было понятно, что два директора срослись, словно сиамские близнецы.

Были ещё три координатора. Резкая, крикливая, много курившая Машка, которая с утра до вечера всех строила и впадала в полное отчаяние от самой незначительной неудачи. Тихая, трудолюбивая, терпеливая Вера, которой приходилось разгребать бесчисленную документацию, приходившую вместе с фильмами, заказывать визы, гостиницы, потому что этой ругиной никто заниматься не хотел. Машка в совершенстве владела английским и французским языками, Вера прекрасно знала английский, а в свободное время ещё и учила испанский. Ксения, на крепкую четвёрку владевшая только русским, с восхищением слушала иностранно-словесный щебет девочек по телефону и краснела от стыда, мечтая когда-нибудь научиться хотя бы бегло читать по-английски. Впрочем, она заняла на фестивале свою нишу — место координатора российских программ. И довольно быстро освоилась. С каждым годом ей доверяли всё более ответственные задания и последний год даже допустили к отбору конкурсных фильмов, что было уж совсем почётно.

У Лиговцева был сын, который давно жил с семьёй в Италии. Один за другим у того рождались дети, было уже двое мальчишек трёх и пяти лет и семилетняя дочь. Но отношения между отцом и сыном как-то не сложились, и бедный седобородый дед, самозабвенно любивший внуков, видел их раз, в лучшем случае два в год, когда сын приглашал его на неделю в гости. Лиговцев рассказывал о своих внуках, сетуя, что они не хотят разговаривать по-русски и от приезда до приезда забывают дедушку, что подарки, которые он им привозит, родители прячут от ребятшек до Рождества, и глаза его округлялись совершенно детским отчаянием и потерянностью.

Наверное, фестиваль, который зачастую приходилось пестовать, как капризного своенравного ребёнка, относительно восполнял Лиговцеву недостаток общения с далёкими сыном и внуками. Это киношное детище требовало такой заботы, терпения, физических и душевных сил, что думать о чём-то другом, особенно весной, просто было некогда. Живи внуки рядом — скорее всего, он посвятил бы себя им и был бы потрясающим дедушкой.

Лиговцеву, пережившему пик своей славы ещё при советской власти, трудно приходилось в новейших капиталистических условиях. По этому фестиваль, который он волок на себе с 1989 года, последнее время хромал на обе ноги. Выделяемых Госкино денег катастрофически не хватало, а спонсоры находиться не спешили. Лиговцев рассылал бесчисленные письма в самые разнообразные учреждения, обивал порог мэрии Санкт-Петербурга, передавал через тайные лазейки письменные просьбы о поддержке президенту, но всё безрезультатно. Каждый год фестиваль разгул заканчивался, и на память о нём оставались лишь пяти-шестизначные цифры долгов: за гостиницу, за банкет, за кораблик, за доставку-отсыл кинокопий и прочее.

Бросить всю эту затею организаторам не давала только бесконечная любовь к кино и осознание того, что фестиваль кому-то всё-таки нужен. Нужен студентам киношкол и просто дебютантам, которые рассылают свои первые работы по кинофорумам в надежде быть отобранными и оценёнными. Нужен профессионалам и простым горожанам, которые любят документальное и анимационное кино. Ведь из двух сотен картин, показываемых за фестивальную неделю, на российские телевизионные экраны попадали буквально один-два фильма. Нужен бедным российским режиссёрам-документалистам, которые работали, словно в подполье. Их фильмы кочевали с фестиваля на фестиваль, но никогда не шли широким экраном, не демонстрировались по тв. В России нет ни одного кинотеатра, где крутили бы документалистику. Только во время кинофестивалей и выпадала возможность авторам показать, а зрителям увидеть, что искусство кино в стране ещё существует.

Ну а если уж быть совсем объективными, то кинофестивали, наверное, делают одержимые люди, готовые работать за идею. А идея фестиваля, над организацией которого трудилась в том числе и Ксения, состояла в противостоянии насилию на экране, в пропаганде добра и человечности. В конкурс и для спецпрограмм отбирались фильмы, которые должны были пробуждать в зрителях сострадание, стыд, любовь, заставляли задуматься.

Конечно, впятером повернуть такую махину работы было совершенно нереально, и ближе к событию фестивальная команда начинала

разрастаться: приходили переводчики, художники-оформители, пиарщики, водители и студентки-волонтеры, которые уж и вовсе работали просто за возможность «круто потусоваться». Были они большей частью бестолковы, безответственны, чрезмерно веселы и кокетливы. Вечно озабоченные координаторши ворчали и раздражались на них за пустую болтовню и невнимательность, но неделя-другая муштры превращала девиц во вполне сносных работниц службы аккредитации или видеотеки.

Вот благодаря таким «тёркам-волонтеркам», как называли они с Машкой и Верой между собой горе-помощниц, и было омрачено знакомство Ксении с культовым питерским режиссёром Алексеем Даниловым.

То, что это какая-то особая фигура в документальном кино, Ксения поняла сразу: имя Данилова и названия снятых им картин постоянно всплывали в разговорах, в обсуждениях и сопровождалась раздражёнными репликами, усмешками, восторженным закатыванием глаз, влюблённым щебетанием, хмурой завистью, дружеской улыбкой. Ни один человек, близкий к кино, не оставался равнодушным, если заговаривали об Алексее Данилове. Кто-то рассуждал, что молодому режиссёру повезло с первым фильмом «Философ», такой герой — просто подарок судьбы. Другие шептались, что на «Ковалёвых» у него был волшебник-оператор, а без лирического взгляда камеры фильм получился бы полной чернухой. Картина «Понедельник. Утро» вообще вызывала какой-то невероятный всплеск эмоций: мол, Данилов рассчитывал шокировать зрителя и сыграл на низших нотах. Физиологические роды, смерть, какие-то пьяницы, сумасшедшие, маргиналы, какие-то чёрные дома, подъезды, судьбы. Будто он один такой получил позолоченный на фоне всех этих несчастных людей. Про «Понедельник...» даже какие-то жуткие вещи говорили: что Алексей денег давал центральной героине — наркоманке, чтобы та не делала аборт, оставила ребёнка, якобы надеялся, что урод родится. Да ещё и мать свою умершую, даже неостывшую, снял. Ни один здравомыслящий человек не пошёл бы на такое... а для Данилова люди, даже родные, — игрушка, материал, на котором он может прославиться и заработать. Примерно за то же ругали и «Неаполитанское танго»: дескать, снял ещё и своего умирающего учителя и не поперхнулся. Теперь вот «Без слов», чистейшая халтура. Данилова «кинули» с каким-то мощным проектом голландские продюсеры, и от безделья он решил снять кино из окна!

Ксения на тот момент никак не могла поучаствовать в этих спорах, так как не знала режиссёра и не видела ни одной его картины. И вот настал день, когда Лиговцев прибежал в фестивальнoй офис с горящими глазами и кассетой Betacam в руках:

— «Без слов» включаем в национальный конкурс! Жаль, что на видео, а то бы ему самое место в международном!

Ксения скептически пожала плечами, а Машка, барабанившая по клавиатуре компьютера со скоростью и силой отбойного молотка, косо посмотрела на шефа — Виктор Михайлович, в силу своей эмоциональности, любил преувеличивать. К тому же шеф в своё время тоже работал на ЛСДФ и тоже опекал юного Данилова, относился к нему как к сыну, как к ученику. Ученик давно перерос своих учителей, Лиговцев благоговел перед ним и искренне любил.

— Я договорился с телевидением, — продолжал шеф, — они сегодня в четыре пускают первую рекламную нарезку. Отбери там несколько игровых кассет из конкурса, анимацию, может, что-то короткое документальное. И обязательно «Без слов»! — Он положил Betacam на стол Ксении. — Надо всё отнести к двенадцати на Чапыгина.

— Ой, у меня такой завал! — воскликнула она. — Отобрать-то я отберу, но идти некогда.

— А девочки отнесут, — тут же ухватился Лиговцев за двух волонтерок, которые в углу заваленной коробками комнаты клеили на кассеты регистрационные номера. — Только дождитесь, пока смонтируют, и всё принесите обратно. Данилов вечером придёт за кассетой.

— Блин! — шваркнула Машка о стол тяжёлой металлической зажигалкой и прокуренно захрипела: — Виктор Михалыч! Ну что это такое! Пападопулос пишет, что тоже не может! До фестиваля три недели, а мы без двух членов жюри! Давайте идите звоните своему итальянцу, некем больше дырки затыкать!

Шеф побежал в кабинет — звонить, уговаривать, обещать. Ксения быстро собрала кассеты и отправила девчонок на телевидение.

Пришла припозднившаяся Вера и сказала, что на улице жуткий ливень. Никто не придал этому значения: дождь в Питере, да ещё весной, — обычное дело. Машка сразу вывалила на второго координатора известия о проблемах с жюри, к тому же режиссёры-конкурсанты — швед и румын — до сих пор не получили вызовы для визы, хотя им их уже дважды посылали факсом; ещё нужно было выяснять, откуда повезут копию голландского документального фильма — со студии или с испанского фестиваля. Координаторы с головой зарылись в работу и не заметили, как пролетело несколько часов. Вернулись с телевидения промокшие с ног до головы волонтеры — полоротые, ушли без зонтов, и...

— Мама моя! — воскликнула Ксения, увидев, в каком виде были конкурсные фильмы, особенно большой Betacam Данилова, которым девицы догадались накрыть остальные кассеты в пакете. Красиво напечатанная на двух языках обложка раскисла и расплзлась от воды, прочитать на ней

что-то было невозможно. Да и внутрь наверняка тоже попало. В общем, копия была испорчена.— Чего делать-то, Маш?

— Я не знаю!— не глядя на Ксению, безапелляционно ответила главный координатор.— Сама разбирайся. Придёт этот сахарный крендель Данилов, будет тут истерики закатывать. Мне только их и не хватало! Твои «тёрки», ты за них и отдувайся. А вы, козы,— накинулась она на перепуганных волонтеров,— совсем без мозгов?! Не понимаете, что вам доверили? Сами хоть растворитесь, мне по фиг! А кассеты должны быть сухими!..

Но даже увлечённо ругая девок, Машка успевала параллельно читать электронные письма. И она снова шваркнула зажигалкой о стол и заорала шефу, сидящему в соседнем кабинете:

— Виктор Михалы-ы-ыч! Свенсон, гад, не хочет везти копию! Что дела-а-ать?!

— Что, что,— растерянно отозвался тот,— сами доставим...

Воздух наэлектризовался. Ксения мрачно сидела перед компьютером в ожидании визита классика и недовольно косилась то на испорченный Betacam, то на притихших мокрых волонтеров.

Данилов прибыл через два часа. Мягким шагом, с блуждающей полуулыбкой на губах, он вошёл в комнату, где три координатора напряжённо смотрели в экраны компьютеров и дружно барабанили по клавиатурам.

— Здравствуйте, красавицы,— произнёс он нежно. — Здравствуй, Лёшечка,— проворковала в ответ Машка и подставила подошедшему к ней режиссёру щёку для поцелуя.— Как жизнь?

Данилов изящно присел на низкий подоконник и неторопливо проговорил:

— А как лучше ответить? «Нормально» или «никак»?

— Ну, у тебя-то должно быть всё только отлично!— не уловив иронии, возразила Машка.

— Значит, так и есть,— натянуто улыбнулся Данилов.

— Кофе? Чай?— дежурно предложила она.

— Потанцуем?— продолжал игру гость.

— Всё на фестивале, Лёшечка. До фестиваля мы все недоступны!— и резко добавила:— Кассета у Ксени.

Тут только Данилов обратил своё царственное внимание на сжавшуюся в углу девушку и расплылся в сладкой улыбке:

— Рад познакомиться.

— Здравствуйте,— выдавила Ксения, взяла со стола Betacam и подошла к режиссёру с видом провинившейся школьницы.— Тут, понимаете... так получилось... дождь, а девочки без зонтов... они бежали. В общем... тут промокло, этикетка вот...

Данилов смотрел на краснеющую девушку и улыбался своей оборотистой улыбкой.

— Что вы там лопочете, Ксения?— ласково спросил он и взял из её рук кассету.

Едва уловимая тень скользнула по его челу при виде раскисшей наклейки.

— Ну что ж, это поправимо. Машуля, можно, я возьму?

Данилов вынул из пачки наклеек, валявшихся на Машкином столе, одну, протянул Ксени и пригласил:

— Присаживайтесь... Берём наклеечку,— весело подсказывал режиссёр порядок действий,— наклеиваем... вот так, правильно. Теперь берём фломастер... нет, лучше вот этот, потолще. Пишем. Кавычки открыли... «Без слов»...

Ксения не понимала, что от неё хочет этот человек, простил бы уже и отпустил, ведь извинилась. Наверняка у него это не последняя копия, и для режиссёра такого ранга стоит она копейки. Ксения мысленно ругала подставившую её Машку, злилась на занудство Данилова, но подчинялась. К тому же он всё время так хитро улыбался и смотрел на неё, что она не могла понять, сердится он или нет.— Алексей Данилов. Так, прекрасно. Нет, это ещё не всё,— возразил он, увидев, что Ксения отложила фломастер.— Теперь пишем то же самое по-английски. «Without words». Alexey Danilov... Ксения, вы что, не знаете английского языка?

Она готова была заплакать. А Данилов всё улыбался, и ей казалось, что он наслаждается её унижением. Стиснув зубы, Ксения усиленно оживляла в памяти школьные познания в английском и упрямо писала: «Without worlds».

— «World» — означает «мир», а нам надо «word» — «слово». Закрасьте аккуратненько «l»... Вот так. Прекрасно. Получилось даже лучше, чем было.

Ксения облегчённо вздохнула, поднялась и протянула кассету автору.

— А теперь можете отвести это себе. На память!— сказал тот по-прежнему ласково, но уже без улыбки и быстро вышел из комнаты, бросив на ходу:— Пока-пока.

Ксени показалось, что ей дали пощёчину. Она зашвырнула Betacam на шкаф с папками, и та, никому не нужная, валялась там много-много лет, попадаясь на глаза лишь при уборке и переездах, всякий раз неприятно напоминая о первой встрече с живым классиком.

В тот год Ксени предстояло ещё неоднократно видаться с Даниловым на фестивале, ведь фильм был в координируемом ею российском конкурсе. Но она старалась максимально избегать общения с ним. Вдобавок ко всему Данилов, получив золотой приз, не соизволил явиться на вручение. А это торжественность церемонии всегда снижает, если автор не выходит на сцену за призом. Председатель жюри шипел на Ксению за нерасторопность, а она-то знала, что звонила Данилову, что он в Питере и обещал прийти, но так и не снизошёл...

С той первой встречи прошло уже полгода, а Ксения всё носила в своей душе упрямое глухое

раздражение на этого самонадеянного, избалованного человека. Потому и ёрничала сейчас, и не рада была, что он её заметил. Так хотела потихоньку проскользнуть в зал, но задержалась вот на входе со знакомым по фестивалю художником.

Алексей бодро взбежал на сцену под аплодисменты зрительного зала. Поклонился, и началось...

Он никак не мог решить для себя — любит он такие моменты или нет. Как нередко бывает с творческими людьми, ему было трудно говорить грамотно и красиво, он экал, мёкал, повторялся, держал долгие паузы. Что можно говорить о фильме? Его нужно смотреть. Сегодня не было даже съёмочной группы, которую он мог бы представить. Един во всех лицах.

Ксения наблюдала за выступлением Данилова из дальнего угла зрительного зала. Следить за спектаклем одного актёра, который он разыгрывал, было довольно забавно. Алексей Кириллович вёл разговор робко, словно бы стеснительно, голос его то вспыхивал, то вовсе затихал. Он старался не смотреть в глаза слушателей, всё больше в пол или поверх голов. Но при этом едва уловимо светился всей своей фигурой — новеньким чёрным костюмом, небрежно расстёгнутым воротом белой рубашки, уложенными волосами, аккуратной бородой, и не бородой даже, а так, стильной небритостью, холёными руками.

— Меня часто упрекают, что мои документальные фильмы — как игровые. Но я не снимаю игровое кино и не говорю: «Вы должны сделать то-то, сказать то-то». Перед камерой люди ведут себя и говорят так, как считают нужным. Я только пытаюсь ничего не упустить...

— Почему я редко снимаю... Иногда по несколько лет приходится разрабатывать одну и ту же тему. Четыре года я искал героев для «Понедельника...». Было снято почти сто часов, но в фильм вошла только одна восьмая часть... а то и меньше...

— Документальный фильм рождается за монтажным столом, и я пытаюсь сложить материал как художественную картину. Есть только время и плёнка, из которой надо сложить историю, чтобы высказать то, в чём... сомневаешься...

— Не было ни дня, когда бы не пришлось пожалеть, что нет камеры. Постоянно думаешь: «Вот был бы фильм! Вот был бы кадр!» Кадр, о котором можно сказать: «Ну надо же, как придумано в мире! И прекрасно, и ужасно одновременно — удивительно, а тебе повезло, что ты увидел это...»

— В конце концов, жизнь — это фильм без названия. Пока она длится, её нельзя как-то назвать. Иногда она начинается как мелодрама, а заканчивается как трагедия, иногда начинается как героический эпос, а завершается как фарс...

Данилов замолчал, замер на минуту, будто вслушивался, всматривался внутрь себя, в свою

прожитую жизнь, потом встряхнулся, вернулся мыслями в зал и весело подвёл итог:

— А вообще-то я говорить не умею, да и бессмысленно рассказывать кино, его надо смотреть... Давайте будем смотреть кино!

Домой Ксения шла как в тумане. «Ковалёвы» и Данилов были вещи несовместимые, но она вынуждена была их соединять.

Это случилось лет семь или восемь назад. Она тогда ещё плотно жила в своём провинциальном городе, работала секретарём при областном уВД, была озабочена сложной личной жизнью. Кино её всегда интересовало, но художественное, особенно — мультипликация. Она даже пробовала поступать во ВГИК на сценарный факультет, так как уже тогда изредка писала рассказы, а спектакль по её повести поставили на областном радио. Но от документального кино была очень далека. И если бы кто-то сказал, что ей суждено перебраться жить в Питер и что она будет работать на кинофестивале, она бы решила, что над ней смеются. Устоявшаяся схема жизни в северной провинции не предполагала «души прекрасных порывов», и Ксения привыкла быть белой вороной — в детском саду, в школе, на работе...

Так вот, это было тогда, кажется летом, она включила телевизор, канал «Культура». Шёл какой-то документальный фильм, и первым желанием было — переключить. Но очень смешной эпизод — бабка отбирала у оглушительно лающей собачонки перепуганного ёжика — увлёк Ксению, и она досмотрела до конца. И была потрясена. И долгое время ходила под впечатлением. И спрашивала всех: не видели ли, не знают ли, что это был за фильм, как называется. Ксения даже представить не могла, что документальное кино может быть *таким!* Словно она шагнула за экран, прямо в жизнь этих людей, в жизнь такую известную, понятную, такую трагическую и комическую одновременно. И как это было красиво и больно...

Но никто не знал, не смотрел.

И вот сегодня, через много-много лет, ей открылись наконец и название, и имя автора того фильма. Да они ещё и знакомы! Все эти годы она внутренне благоговела перед неизвестным режиссёром и в самых смелых фантазиях не могла бы предположить встречу с ним... И этим человеком оказался Алексей Данилов?! И она должна была теперь примирить в своей смутившейся душе неприязнь к нему как к человеку и свою любовь к его картине! Неужели так верно утверждение, что никогда нельзя путать автора и его произведение? Что чаще всего это приносит лишь разочарование? Но вдруг это утверждение всё-таки не совсем верно? Что, если она просто ошиблась в оценке Алексея? Просто не знает его? Ведь и в самом деле — не знает!

Глава 3

Открытие

Фильм открытия застрял на таможне. Ну и что такого? — подумает обычный человек. Но для организаторов международного кинофестиваля эта фраза была равна катастрофе.

Замученная бледно-зелёная Вера, отмахиваясь, как от назойливых мух, от обступивших её коллег, гостей, директоров, кричала в мобильник посылному:

— Тебе надо пойти прямо к ним в офис... Ты где сейчас стоишь?.. Видишь там слева здание двухэтажное? Вот это их офис... всё уже решили! Им из Смольного факс послали... ну да, да! Шеф лично с этим мужиком договорился, и он распорядился, чтобы выдали... Ты иди к ним и скажи, что факс пришёл. Идешь?.. Ну, удачи... Без фильма не возвращайся!

Фильм Мите выдали, но когда они с шофёром ехали обратно, машина плотно застряла в пробке на Московском шоссе. Шоссе просто стояло! Хорошо, что это случилось уже почти у самого метро, и Митя на тележке пёр шесть необъятных коробок с плёнкой по ступенькам в подземный переход к станции «Московская», потом по эскалаторам вверх-вниз как минимум раза четыре, по переходам, по Невскому, по Малой Садовой... А счётчик в его голове стучал: час десять до начала сеанса, сорок пять минут осталось, тридцать, двадцать две, одиннадцать... Ровно за пять минут до сеанса коробки затащили в будку к Соне. Та, возмущённо крича, что на этом фестивале всё время какая-то неразбериха и она за плёнку не отвечает, бухнула первую часть на свой стол, быстро что-то перемотала, что-то отрезала, что-то подклеила.

Когда проекционный аппарат победно затрещал, пунцовый и насквозь мокрый от пота Митя полулежал на полу у двери и счастливо улыбался.

Показ фильма открытия начался в срок.

Первый фестивальный день — это всегда полное сумасшествие. Телефоны раскаляются от звонков, батарейки в мобильных садятся за пару часов, прибывающие участники и гости требуют постоянного напряжённого внимания, многие непременно хотят познакомиться с координаторами, с которыми состояли в переписке последние пару месяцев. И взбаламученным, не выспавшимся Вере и Ксении приходится откладывать сиюминутные дела и радостно улыбаться, и мило беседовать, и предлагать кофе... а в голове в это время щёлкают безвозвратно уходящие бесценные минуты, а парень, который должен был встречать с поезда иностранного участника, обрывает телефон, чтобы сообщить, что швед потерялся в Волховстрое — вышел за пивом и отстал. При попытке вызволить полоротого иностранца выясняется, что находится он в милиции,

что его обчистили местные жулики, украли всё — паспорт, деньги... Упрямый волховстроевский законник утверждает, что не может отпустить иностранца без документов, поэтому пусть организаторы приезжают за ним лично, с бумагой из комитета...

— А-а-а! Ужас! — отчаянно кричит Вера, бросив мобильник на стол, а над ней уже стоит начальник службы встреч и проводов, требуя список приезжающих на два дня. Но не выдержавший напряжения компьютер намертво зависает. Все присутствующие бросаются искать Игоря — специалиста по оргтехнике, телефон у него почему-то «вне зоны».

— У тебя кофе совсем остыл, — в который раз говорит Ксения, стоя за Верой спиной и пытаясь отправить факс по вечно занятому номеру.

В отведённом для координаторов кабинете Дома кино тесно и двоим, а тут ещё всё время толпятся люди.

— Да... да... — машинально отвечает Вера и начинает рыться в папках. — Сбегай на четвёртый этаж, посмотри, сколько человек на пресс-конференции. И вообще, что там... везде...

А по коридору, чуть прихрамывая, ходит туда-сюда Лиговцев и даёт по мобильному телефону интервью какой-то газете:

— ...это единственный фестиваль категории «А» на территории России, объединивший три основных жанра — документальное, короткое игровое кино и анимацию. В нынешнем году на отбор было прислано около двух тысяч работ из пятидесяти двух стран мира...

Прибегают люди, искавшие и не нашедшие Игоря.

Ура! Вера оживляет компьютер сама. Жужжит принтер, звонят сразу три телефона, шеф что-то кричит из коридора — кажется, уточняет, сколько фильмов в конкурсах.

— Сто двадцать семь! — отрететированно отвечает Ксения.

И во всём этом бедламе сидя дремлет на кожаном диване исполнительный директор — как и всегда, всю ночь перед открытием он вместе с сыном печатал на ксероксе тысячу программ...

Правильно сделала Машка — ушла в прошлом году с фестиваля, занимается рекламой, деньги хорошие получает...

От невероятного напряжения, работы без выходных, нервотрёпки и самых непредсказуемых накладок Ксения в фестивальную неделю обязательно заболела — словно пробежала сорок километров марафона, а на последних двух расслаблялась раньше времени и падала.

Вот и сейчас она с болью глотала тёплый чай и трогала припухшие на шее желёзки. Температуры не было, только слабость. Ладно, завтра начнутся конкурсные показы, и всё постепенно войдёт в

ровную колею. У неё даже будет время увидеть фильмы на большом экране, ведь в телевизоре, при отборе, они смотрятся иначе.

— Мы так ничего и не поели за весь день... — устало проговорила Вера, распрямляя затёкшую спину, и осмотрела висящий на плечиках праздничный наряд. — Надеть платье или нет?

— Надень, банкет всё-таки...

— Надо идти, а то автобусы уедут.

— Все уже давно внизу.

Вера выключила компьютер. Ксения закрыла окно и стояла в коридоре, побрякивая ключами, ожидая, пока подруга переоденется.

Первый день был позади.

Лиговцев пригласил Данилова в жюри в самый последний момент. Так бывало нередко: если за неделю-две до фестиваля кто-нибудь из иностранных членов по какой-то причине «отваливался», шеф начинал обзванивать именитых друзей и коллег. Алексей согласился сразу. Никакой срочной работы у него не было, а проект, над которым он работал последние полгода, не клеился в буквальном смысле. Он сидел над монтажом днями и ночами, перекраивая и перекраивая материал. А фильму всё равно чего-то не доставало. Был красивый видеоряд, славный герой, но глубинная идея, которую пытался донести режиссёр до будущего зрителя, никак не проступала. Слишком давняя была затея и, видимо, уже пережила себя. Скорее всего, Алексею мешало то, что он не мог быть до конца объективным: героем нового фильма был его младший сын. Бойкий двухлетний мальчишка под пристальным наблюдением камеры знакомился с... зеркалом. Но главное — с собой. Это была многолетняя кинематографическая авантюра. Четырнадцать лет назад старшему сыну Данилова Георгию (он назвал его в честь Философа) тоже было чуть больше двух лет. Жили они тогда бедно, мотались по съёмным углам, в доме не хватало самой обыкновенной мебели, посуды, самых привычных вещей. И вот кто-то отдал им старый шкаф с большим зеркалом на внешней стороне дверки. Алексей с приятелем втащили шкаф в комнату, поставили в угол и сели перекусить. Маленький Егорка, игравший рядом, вдруг встал и пошёл к шкафу — и впервые увидел своё отражение. Он испугался незнакомого мальчишки, отбежал, спрятался в противоположный угол. Но минут через пятнадцать потихоньку подошёл снова и стал здороваться с отражением, протягивать ему игрушки, разговаривать по-своему...

Алексей был потрясён увиденным. Он схватил любительскую камеру, в которой, как на грех, оставалось плёнки минуты на две. Он снял крохотный кусочек, где Егорка просто стоял и смотрел на себя. Всё самое интересное осталось за кадром. Он упустил неповторимое...

Поэтому, когда у него через много-много лет родился младший сын, он уже осознанно не позволял ему раньше времени увидеть своё отражение. Он готовился к этому моменту два года. Два года они с женой оберегали Дениску от любых отражений — даже от витрин, от глянцевых поверхностей, от блестящей посуды. Родственники предостерегали Алексея от невиданной затеи, беспокоились за психику ребёнка, но профессионал-режиссёр оказался сильнее и упрямее любящего отца.

Он заказал специальное огромное небьющееся зеркало в тяжёлой раме, оно отражало с наружной стороны и оставалось идеально прозрачным с внутренней. Сквозь него можно было снимать, и Алексей уже в мыслях видел эти мощные кадры: в фильме ребёнок будет биться ладошками словно бы прямо в экран, в зрительный зал...

Снял за несколько часов. Не учёл, что дети всё-таки разные. Дениска вёл себя иначе, чем когда-то Егорка. Был смелее, агрессивнее... Никогда ещё Алексей не снимал так легко, но в этом-то и был подвох. Отсмотрев материал, он понял, что сделать из него то, что он мечтал, не получится. Снова было упущено что-то неповторимое. А переснять, переиграть встречу ребёнка и его отражения было невозможно. Разве что родить ещё одного сына...

Потому и бился режиссёр над тем, что получилось, мучительно пытаясь вытянуть, приподнять смысл будущего фильма над просто милой историей. Шанс, несомненно, был — композитор писал по заказу музыку, детскую песенку, к которой можно было придумать стихи с подтекстом. К тому же Алексей ещё собирался доснимать несколько сцен в любимом им Павловском парке: вполне можно было обыграть отражения в воде прудов — это опрокинутое небо, эти преломленные деревья, эти двойные мосты, ныряющих уток...

После звонка Лиговцева он решил отдохнуть от фильма. Через неделю посмотрит на то, что сделал, свежим взглядом. Может, появится мыслишка...

Приезжающие на фестиваль гости — это особая категория людей. Тем более — иностранцы. Они беспомощны и легкомысленны, как дети. Их могут обворовать в гостинице или на Невском, они могут закрутить роман с русской девушкой (не догадываясь, что это валютная проститутка) или выпить в ресторане с приветливыми незнакомцами (не догадываясь, что это щипачи), они могут заблудиться, заболеть, им может не понравиться гостиничный номер, они могут захотеть экскурсию по Эрмитажу или Петергофу, они могут забыть привезти с собой копию собственного фильма, они могут устроить скандал из-за опечатки в каталоге — перепутана буква в имени, а могут не обратить внимания даже на перевернутое в спешке название картины, они редко привозят координаторам и дирекции подарки, а если и привозят,

то спиртное или конфеты, но на банкетах старательно поедают бутерброды с икрой и хлещут «russian vodka», они могут быть страшно болтливыми и утомительными, а могут пробродить весь фестиваль в байроновской тоске. Главное, что удовлетворять их потребности или расхлёбывать их истории будут всё те же организаторы.

Шведа привезли из Волховстроя только на второй день фестиваля. Несмотря на приключение и проведённую в «обезьяннике» ночь, он был бодр, весел и долго показывал Вере цифровые снимки в своём фотоаппарате, восхищённо прищёлкивая при этом языком. На фотографиях, помимо волховстроевских красот, были запечатлены развалившиеся бараки, поломанные заборы, ямы и ухабы на дорогах, бродячие собаки, помойки и бомжи. Поделившись всеми радостями, швед прочно уселся на кожаном диване в кабинете координаторов и пробыл там весь день, выпив чашек пятнадцать кофе. Он ужасно мешал и отвлекал дурацкими вопросами Веру, которая настойчиво пыталась отправить его в зрительный зал. Вместе с обоими директорами ей предстоял душераздирающий процесс восстановления паспорта и визы любителя русского пива. Исполнительный директор, самолично доставивший иностранного гостя из Ленинградской области в самый центр Петербурга, теперь поехал в Смольный, чтобы побыстрее решить проблему его пребывания на российской земле.

С русскими гостями было, конечно, несравненно проще. Не избалованные европейским уровнем обслуживания, они были непритязательны к еде и гостиницам, были знакомы друг с другом, потому что кочевали с фестивалем примерно в одной и той же компании и последовательности, и хорошо знали город, так как большая часть приезжала на питерский кинофорум ежегодно. У них было два серьёзных недостатка: мужчины много пили, а женщины с пеной у рта готовы были защищать свои произведения.

— Ксения, почему такая безобразная проекция? Каждый год одно и то же!

— Почему мой фильм передвинули с вечера на утро?! Я пригласила родных и друзей, они же могут только после работы!

— Знаете, я привезла другую копию, вот она. Та, что вам дали на студии, — бракованная. А это моя личная копия. Отнесите её киномеханикам, а то показ через три минуты.

— У меня монозвук! А ваши мастера не переключили со стерео! Вы идите послушайте, какой кошмар!

— Скажите, пожалуйста, неужели мой фильм не достоин международного конкурса?

— Все вопросы к отборочной комиссии. И вы же знаете — в международный конкурс берут только плёнку, а ваш фильм снят на видео, — как можно мягче возражала Ксения.

Несмотря ни на что, она должна была оставаться гостеприимной хозяйкой. К тому же она понимала, как издёрганы все эти режиссёры безденежьем, крохотными бюджетами своих картин, деланием кино «на коленке». Когда-то крепкие, стабильные студии разваливались и закрывались, проекты то и дело замирали, заявки рассматривались годами, и за это время возможные герои могли просто умереть. Полученный на каком-нибудь фестивале приз в пару-тройку тысяч долларов давал этим режиссёрам возможность выжить и работать дальше.

На тот момент в России было только три режиссёра-документалиста, которые могли позволить себе снимать кино с многомиллионным бюджетом. Один из них — Данилов.

Ксения с досадой вспомнила, что он не пришёл вчера на пресс-конференцию и председатель жюри теребил её:

— Where is Mr. Danilov? I want to meet him since long time ago!

— Чего он хочет? — спросила она высокого обязательного молодого человека Валеру, который в этом году «пас» жюри.

— Спрашивает, почему не пришёл Данилов.

— Ты звонил ему?

— Конечно. Не отвечает.

— Господи, хоть бы на открытие явился, — поморщилась Ксения.

Вот не зря она и Вера спорили с шефом насчёт кандидатуры Данилова в жюри. Даже поругались. Никогда не знаешь, чего от него ожидать.

На церемонию открытия к пяти часам Алексей Кириллович всё же соизволил придти. Как ни в чём не бывало — оживлённый, весёлый, в роскошном белом льняном костюме, — он порхал среди коллег, приветливо здоровался, обнимал кого-то. Ксения отметила его присутствие на сцене, успокоилась — все на своих местах — и забыла. Хватало других забот.

— Где фильмы на семь часов?

Перед присевшей отдохнуть в фойе у зрительного зала Ксенией возникла Соня — старейший киномеханик питерского Дома кино. Широкая, шумная, скандальная, получившая за своё непрезойдённое мастерство прозвище «Сонька — золотые ручки», она требовательно тыкала пальцем в раскрашенную разными фломастерами программку — у неё была своя, никому не ведомая система работы. Перед каждым показом Соня проверяла пришедшие копии на предмет брака, царапин, присутствия титров, субтитров и прочих специфических вещей. Причём всё это она делала на ощупь, молниеносно прогоняя между большим и указательным пальцами бобину плёнки самого огромного размера. Организаторы фестиваля отвечали за качество копий своей головой и в случае

порчи или утери должны были выложить крупную сумму. К счастью, подобное случилось крайне редко и улаживалось мирным путём. Независимо от своего отношения к человеку, а Ксению она любила, разговаривала Соня криком.

— Если опять принесёте фильмы за пять минут, я задержу показ хоть на час, пока всё не проверю. Мне наплевать!

— Сейчас выясним, — направились Ксения к дверям с надписью «Кинопоказ», там хранились все прошедшие на фестиваль копии.

Комната оказалась закрыта. Она стала звонить Мите по мобильному и случайно заметила, как пулей выскочили из ресторана встревоженный Валера и его помощница, у которой в руке был пакетик со льдом. Они пробежали через фойе в зрительный зал — там, за залом, располагалась комната отдыха жюри.

Ксения поговорила с Митей. Меньше чем через пятнадцать минут он принёс в Сонину будку копии. Конфликт был исчерпан, но тут к Ксении подошёл хмурый Валера. Его тёмный костюм был забрызган с ног до головы.

— Представляешь, у меня сейчас Данилов обварился. Наташка не уследила, он сам себе кипятком наливал и опрокинул чайник. На брюки, руку всю ошпарил.

— Да разве можно! Я своих никогда близко к чайнику не подпускала!

— Да я уж её поругал... — возбуждённо частил Валера. — Брюки горячие, снять бы надо, а там женщины — как снимешь? Ужас!.. На руку лёд приложили, а ноги в туалете холодной водой... вот я и сырой весь. Отправили в больницу, сказал, сам доедет... не знаю.

— Досталось тебе, наверное... — неуклюже посочувствовала ему Ксения.

— В каком смысле? — не понял тот.

— Ну, Данилов, поди, орал на вас с Наташкой...

— Не-ет! Что ты! Он даже извинялся. Что подвёл. Говорит, почти не спал ночью, работал. Потому и рассеянный... Да, — остановился пошедший было Валера, — он просил ему привезти кассеты сегодняшнего вечернего конкурса и завтрашние. Ну, чтоб не пропускать. А как станет лучше, он сразу придёт...

Ксении вдруг стало очень стыдно. Она нахмурилась, рассердившись сама на себя и подумав, что всё-таки зря так взъелась на Данилова. В конце концов, ничего плохого лично ей он не сделал.

Забинтованная рука ныла нудно и отвратительно. Обожжённая нога тоже давала о себе знать, но всё-таки ей досталось меньше... Грустный и усталый, Данилов потерянно валялся на диване в своём кабинете. Как всякий мужчина, он не умел и терпеть не мог болеть. На него сразу напала ужающая хандра, мрачные мысли,

тёмные фантомы из прошлого... И как у него выскользнул этот чёртов чайник? Зачем он к нему сунулся? Приспичило... Вот и отдохнул на фестивале. Если завтра к обеду станет легче, он снова пойдёт в Дом кино... Хотя... Почему-то среди большого количества людей — казалось бы, единомышленников, — ему всегда становилось невыносимо одиноко. Разговоры были одни и те же, рожи одни и те же... Перетекают с фестиваля на фестиваль, из ресторана в ресторан, с семинара на симпозиум, с юбилея на похороны... Мало кто из них серьёзно работал. Раз, два и обчёлся. Может быть, где-то в провинции и зреют молодые чистые таланты, которые когда-нибудь создадут что-то доброе и вечное. В столицах давно у всех в мозгах бензин вместо серого вещества. Вот и на этом фестивале тех, с кем он мог бы серьёзно, вдумчиво поговорить, с кем было не противно выпить, тоже можно сосчитать по пальцам. Но к нему-то лезли все без исключения — рюмочкой чокнуться, автограф получить, сунуть диск, в глазки заглянуть, глупость сказать, пошлость предложить... То и дело он спотыкался о Ларису Вересову, которая совершенно случайно постоянно оказывалась там же, где был он. Вроде бы в этом не было ничего странного: он — знаменитый кинорежиссёр, она — известный кинокритик. И его, и её приглашают на одни и те же мероприятия, фестивали... Лариса умна, проницательна, остра на язычок, пишет отличные критические статьи, они дружат уже сто лет, но... она иногда очень его утомляет. Потому что...

Причём тут Лариса? Надо работать. Надо снимать кино, Кино с большой буквы, а не таскаться по фестивалям. Надо делать что-то серьёзное, большое, важное. Это «что-то» его мучает всё время. Требуется выхода. Но никак не может сформироваться, громко и чётко заявить о себе. Он это «что-то» чувствовал на уровне солнечного сплетения. Иногда от этого становилось очень тепло, иногда знобило. Порой от этого хотелось выть, порой орать от восторга. Алексей иногда думал, что, наверное, женщины так ощущают ещё не ставшую им известной беременность. Что-то в них уже есть, уже живёт, растёт, питается их соками. А они и не знают ещё, но уже прислушиваются к изменившимся ощущениям... Или так люди чувствуют угнездившуюся в них смертельную болезнь, о которой тоже до поры до времени не хотят знать... Или это простой невроз...

Уже два года как ему перевалило за сорок, а он только-только начинает понимать, о чём говорил Георгий Семёнович. Только теперь он мог вдруг остановиться посреди какого-то дела, какой-то ситуации, в каких-то отношениях с каким-то человеком и озарённо понять: вот оно! Так вот про что говорил тогда Быков! Пятнадцать лет должно было пройти, чтобы я это понял. Сколько же ещё

должно пройти, чтобы достигнуть хотя бы малой части той мудрости, которой был осенён Учитель.

Ещё при этой жизни человек рождается и умирает несколько раз. Он меняется так же неизбежно, как у ребёнка меняются молочные зубы на коренные. Не смертельно, но болезненно. Вот они прорезались, боль позади, а человек-то уже другой. Для кого-то эти перемены так и остаются только физиологическими: ребёнок, взрослый, старик. Но для того, кто растёт не только телесно, этих этапов, этих человек в человеке значительно больше.

Сегодня ты юноша, и тебе кажется, что умнее тебя никого нет на свете, ты пишешь претенциозные стихи, ведёшь дневник, в котором рассуждаешь об устройстве мира. А через десяток лет, при переезде с квартиры на квартиру, ты находишь на антресолях общую тетрадь в синей обложке, открываешь её и понимаешь, какой ты был болван! Да и не ты это был. Ты настоящий—это вот сейчас, когда ты мужчина, у тебя семья, трёхлетний сын, ты всемирно известен. Ты нравишься себе, ты влюблён в эту жизнь, в эту женщину, в этот город... Кто там? Что? Буду ли отмечать юбилей? Какой юбилей? Мне уже сорок? Сорок лет не отмечают. Но это повод для того, чтобы вспомнить о сделанном, устроить юбилейные показы. Ты оглядываешься назад, пересматриваешь прежние фильмы и то в одном, то в другом натыкаешься на такую бредятину! Как я мог так снять?! Так смонтировать?! А здесь? Ну это же просто позор! Ты каким местом думал, когда это делал? Тем, на котором сидел? Не-ет, это всё никуда не годится. Я другой, давно уже не тот ход мыслей в моей голове. Или надо всё перемонтировать, или просто никому ничего не показывать. Звонишь директору кинотеатра, пробуешь отказаться, но шестерёнки уже запущены, афиши напечатаны, реклама дана...

«Мне уже почти сорок три. Когда мне будет пятьдесят три, я оглянусь на себя сегодняшнего и скажу: «Это что это за прыщ на лысине? Охальник и надутый индюк! Шёл бы ты, парень, не мешал прозревать...» Шестьдесят пять, семьдесят, даст Бог—восемьдесят. Не скоро я ещё познакомлюсь с этим дряхлым стариканом. Каким-то он будет? Не впадёт ли в маразм, не будет ли ходить под себя и обременять детей? Доживу ли?»

Так, тишина. Мне пока только сорок два. И меня преследует необъяснимая тревога, мне всё время чего-то не хватает—или кого-то... Господи, как я хочу покоя...»

Алексей выпил вторую таблетку обезболивающего и уснул.

Известная московская кинокритикесса Лариса Вересова—яркая сексапильная дама, всегда стильно и дорого одетая, носившая очки в лёгкой изящной оправе, очень образованная, влиятельная и остроумная—никогда не приезжала на фестиваль

без своей маленькой, серой, всё время загадочно молчащей спутницы. Кажется, та тоже была кинокритиком, киноведом, но коллега и приятельница затмевала её по всем статьям. Кто, кому и что был должен в этом странном союзе—Ксения не знала и не интересовалась, но видела их на фестивале всегда и везде только вдвоём. Лариса старалась казаться простой и доступной. Каждый год в общении с Верой и Ксенией она переходила на «ты». Несмотря на более чем десятилетнюю разницу в возрасте, они дружились, сплетничали, но длилось это ровно неделю. После никто никому не писал письма, не поздравлял с праздниками. А через год игра в дружбу повторялась. И всех это устраивало. Лариса была профессиональным фестивальщиком и знала, как нужно себя вести. А координаторы на время работы, в принципе, были позитивно настроены на всех гостей, ну разве что кроме двух-трёх, в разное время попавших в чёрный список за хамское поведение.

Ксении Лариса нравилась, но, считая её дамой из бомонда, она как-то стеснялась лишний раз навязываться с общением. Вересова иногда советовалась с ней по поводу того, какие российские картины заслуживают внимания, и большую часть времени просиживала в видеотеке, отбирая отечественные фильмы для иностранных кинофестивалей, в том числе для престижнейшего голландского IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam), и её мнение в этом вопросе было решающим. Амстердамский документальный кинофорум по уровню равнялся Каннам. Для любого режиссёра попасть на IDFA было мечтой, поскольку туда съезжались продюсеры со всего мира, и если картина нравилась, а уж тем более получала приз, они тут же осаждали лауреата, наперебой засыпая его самыми заманчивыми предложениями.

Когда-то попав с «Ковалёвыми» на IDFA и получив там гран-при, Данилов и пошёл вверх, поддерживаемый самыми известными мировыми кинокомпаниями. Впрочем, это ничуть не умаляет таланта автора, скорее наоборот. Жёстким условием IDFA была премьера, то есть фильм нигде ни при каких обстоятельствах не должен быть показан до того, как его увидят на экране зрители и жюри голландского кинофорума. Поэтому раскрученные режиссёры или берегли новую картину до ноября, когда и проходил документальный смотр в Амстердаме, или старались закончить работу к этому сроку. Данилов строго придерживался этого правила, поскольку все его фильмы стопроцентно попадали на IDFA и практически всегда получали ту или иную награду. Ждали его новое произведение и в этом году, и Вересова кокетливо насадала на режиссёра, торопя с окончанием работы. Их связывала давняя тёплая дружба: как говорила сама Лариса, они познакомились ещё тогда, когда

Лёша Данилов был никому не известным, нервно-худым, неуверенным в себе мальчиком. Но этот образ был настолько незнаком Ксении и так не подходил к нынешнему вальяжному Алексею Кирилловичу, что она принимала слова критикессы за шутку. Так или иначе, но эти трое — Вересова, её спутница и Данилов — постоянно тусовались вместе. Стоило встретить одного, как тут же поблизости оказывались и двое других. И так — из года в год, из фестиваля в фестиваль. Однако на этот раз Данилов сидел в жюри, и Лариса и её спутница ходили какие-то потерянные. Если бы Ксения была хоть чуть-чуть наблюдательнее и любопытнее к чужим отношениям, она бы сделала однозначный вывод: знаменитых критикессу и режиссёра связывают более тесные, чем дружба, отношения.

— Ну пойдём поедим, — канючила голодная Ксения, стоя у Веры над душой, — третий раз зовут.

— Ничего, похудеешь, — ответила любящая подруга и снова уткнулась в компьютер.

— Ты достала, всё остынет!

— Там опять какая-нибудь вонючая котлета, — сморщилась та, привыкшая питаться правильно.

— Нет, Ольга Феликсовна сказала — сегодня рыба...

В ресторане они сели за стол, зарезервированный для дирекции. За соседними расположились Лариса со спутницей, двое режиссёров-иностранцев, журналистка из крупной питерской газеты и ещё какая-то незнакомая молодая пара. В соседнем зале обедало жюри международного и национального конкурсов. Их всегда кормили отдельно и по-другому. Ксения знала это точно, поскольку четыре года «пасла» своё русское жюри, пока не выскалась хорошая замена.

Девушки попробовали принесённый официантом суп и дружно принялись его подсаживать. — Вообще-то соли достаточно. Я пробовала. Это вы от стресса, — прокомментировала «кормящая мать» фестиваля Ольга Феликсовна, которая всё всегда замечала и не могла промолчать. — Организм соли требует.

Вера картинно закатила глаза.

— Он правда недосолённый, — возразила Ксения. — Это вам кажется. От нервного напряжения, от усталости, — с улыбкой, но твёрдо повторила Ольга Феликсовна. — Приятного аппетита.

Это была мать исполнительного директора — крупная, фигуристая гордая женщина, довольно красивая даже в свои шестьдесят с хвостиком лет. Из года в год она организовывала фестивальное питание и банкеты, и кандидатура её не подлежала обсуждению. Ольга Феликсовна была неплохой тёткой, но у неё имелись свои чёткие представления о жизни и поведении. Она хорошо относилась к координаторам и прочим работникам фестиваля, но если ей что-то не нравилось, немедленно это

высказывала. Впрочем, уже через пять минут она могла шутить с этим человеком как ни в чём не бывало. Вера периодически потихоньку шипела на Феликсовну за то, что она покупает дешёвое дрянное вино на оптовых базах и фестиваль позорится на банкетах. Но Ксения ничего в сухом вине не понимала, предпочитая проверенный веками русский сорокаградусный продукт, поэтому в ответ на недовольства подруги лишь пожимала плечами.

— Надо в «Аврору» гарантийное письмо написать и Йохансону факс отправить. Не забыла?

— Да ешь ты спокойно, — ответила Ксения, помешивая суп, который, несмотря на её опасения, остыть не успел.

— У меня после обеда курьер DHL, и швед опять колебать придёт. Как бы от него отвязаться? — от постоянного думанья на Верином лбу сложились длинные тоненькие морщинки. — Как в зале? Народ есть?

— Пока мало. Но на семь-то часов набегут...

В ресторан кто-то вошёл, Ксения подняла глаза и увидела Данилова: правая рука забинтована, улыбка до ушей. Он остановился у дверей и что-то кому-то договаривал в коридор, то и дело озорно поглядывая на Ксению. Простое человеческое сочувствие дрогнуло в ней при виде белоснежной повязки на его руке, и, совершенно неожиданно для себя, она вдруг громко и жалостливо сказала: — Бедный Лёшечка! Как ты себя чувствуешь?

Сказала это так, будто они самые закадычные друзья, будто всегда были друг с другом на «ты». Сказала и испугалась сама себя. Но отступить было уже некуда. Данилов в ту же секунду оказался около их стола, весело поздоровался и пожелал приятного аппетита.

— Как она? — продолжая разыгрывать из себя «своего в доску», кивнула Ксения на забинтованную руку. — А, ерунда, — махнул тот большой ладонью. — Всё в норме. До свадьбы заживёт!

— Если до моей, то точно, — хохотнула Ксения.

Данилов направился в соседний зал ресторана. Она поднесла ко рту ложку с супом. И в этот же момент отошедший было Алексей вдруг резко развернулся, в два шага снова оказался около стола, за которым обедали девочки, и у всех на глазах одарил Ксению благодарным поцелуем в щёку. Она так и застыла с ложкой у рта. Ольга Феликсовна неодобрительно покачала головой. Лариса хитро и многообещающе прищурила за очками умные глаза. Её спутница выпила воды. По губам Веры скользнула усмешка. Данилов почти вприпрыжку умчался в обеденный зал, где его радостно поприветствовало ставшее вновь полновесным жюри. — И что это было? — спросила Ксения, опустив так и не съеденный суп обратно в тарелку.

— Резвится, — спокойно ответила Вера. — Чего покраснела?

— Покраснела?! Кошмар...

Она снова взялась за еду, но вкуса почти не чувствовала. Сердце билось словно сумасшедшее.

Лариса чинно поднялась со своего места и неспешно вошла к обедающему жюри. В открытые двери Ксения краем глаза видела, как председатель-грек предложил ей место, но она не села, с улыбкой приняла от официанта бокал вина и направилась прямо к Данилову.

— Господа, давайте выпьем за здоровье Алексея. Его руки — достояние российского кинематографа. Я думаю, в Европе эти руки и гениальная голова, — она попробовала погладить его по волосам, но Данилов увернулся от неуместной ласки, — давно были бы застрахованы на несколько миллионов евро.

Выслушавшее переводчика жюри одобрительно зашумело и сдвинуло бокалы с красным вином.

Ксения потом долго пыталась понять, зачем Лариса говорила так громко и по-русски, ведь тут же, рядом, сидели члены национального жюри — не менее заслуженные, уважаемые российские режиссёры... может быть, им просто чуть меньше повезло, чем Алексею. Её слова были просто неприличны и унизительны. В том числе и для самого Данилова... Тогда Ксения даже не могла допустить мысли, что в этой сильной, красивой, умной женщине могла так внезапно и безрассудно разыграть ревность.

Русский язык бесконечно богат. Это не требует доказательств. Но у прекрасного часто есть и обратная, тёмная сторона; так и у русского языка — его ругательства тоже разнообразны и красочны. Существует миф, что самый матерящийся народ — венгры: мол, в страсти украшать свою речь крепкими словечками они обходят даже жителей великой России. Англоговорящие народы со своим затасканным и многовариативным словом на букву «f» вообще плетутся где-то в хвосте. Поэтому перевод фильма, изобилующего всем известным английским ругательством, дело тонкое...

Шеф решил посетить дневной конкурсный показ. Он сел на ряд жюри около Ксении, надел наушник синхронного перевода и приготовился наслаждаться.

Английский фильм «Оса» Ксения запомнила на всю оставшуюся жизнь. Одинокая многодетная, но ещё очень молодая женщина, потерявшая надежду устроить личную жизнь, зарабатывает на жизнь проституцией. Она таскается со своей малышняй, в возрасте от четырёх лет до года, по дешёвым кафе и ресторанам, по ночным заведениям и при знакомстве с парнями выдаёт себя за няню. Дети, грязные и голодные, в основном предоставлены сами себе. Старшая девочка подбирает у какой-то забегаловки недоодевшую пиццу и по-матерински заботливо делит её между младшими

братьями. Когда годовалый малыш мусолит заляпанной томатной пастой кусок теста, на его губки садится оса. Ещё секунда — она окажется у него в ротике, ужалит и... Но в самый опасный момент к детям возвращается незадачливая мамаша, поругавшаяся с очередным клиентом. Сын спасён. Всё семейство, обнявшись, рыдает. Парень — грузчик из ресторана быстрого питания, давно симпатизирующий и сочувствующий несчастной женщине, — приносит всем еды и отвозит домой на своей машине. Зрителю очень хочется, чтобы у них что-то получилось. Почти happy end...

Это был действительно хороший, сильный, безупречно сделанный фильм. Кстати, жюри высоко оценило его, особо отметив игру актрисы. Позднее «Оса» даже номинировалась на «Оскар» в категории короткого метра.

Но Ксения запомнила его не только поэтому...

Дело в том, что молодая мамаша разговаривала со своими детьми в основном отборными ругательствами. Вообще-то переводчики фестиваля были предупреждены о том, что если в фильме попадается крепкое словцо, его следует смягчать или вовсе опускать. Толмачи из года в год были одни и те же, и правило соблюдалось.

Но на этот раз, по недосмотру начальницы службы переводчиков, диалоговые листы «Осы» достались опальному Максу. Несколько лет назад он уже попался на нарушении негласного правила и был отстранён от работы. И вот...

«Британская ассоциация независимых продюсеров представляет, — прозвучал в наушнике густой твёрдый бас Макса, — «Оса»... Дэни, заткни ему пасть!.. нечего жрать, пусть он закроет свой е... Не получит эта старая горбатая сука от меня ни цента... Драная б... такая же, как её е... мамаша...»

Ксения вжалась в кресло, чувствуя, что волосы на голове зашевелились. Шеф заёрзал на своём месте и пару раз напряжённо взглянул на неё.

«...быстрее, вы, чтоб вас в рот... ах, ё... колесо... Дэни, вези коляску!..»

После двух минут фильма при каждом выкрике переводчика шеф пребольно тыкал Ксению локтем в область печени:

— Вы чего наотбирали? Тут же сплошной мат! Это что же получается? Я со сцены говорю, что мы не показываем крови, насилия, что на нашем фестивале нет места мату. Круглые столы устраиваем по этому поводу. А на деле — люди смотрят отборную чернуху?!

Она готова была провалиться сквозь землю. Влажными от волнения пальцами набрала номер начальницы службы переводчиков, но ей ответили, что «абонент вне зоны действия сети». В следующую минуту Ксения уже выскочила из начавшего гудеть, как осиное гнездо, зрительного зала. Молодёжь хихикала. К счастью, тут же, в фойе, и сидела на диванчике Марина, просматривая

диалоговые листы и готовясь переводить следующий фильм лично.

— Ты только послушай, чего он несёт! — закричала ей Ксения. — Кто-нибудь проверял его перевод?! Это такой ужас! Нас же шеф сожрёт!

Побледневшая Марина вскочила с диванчика и пулей полетела в зал, в переводческую кабинку. Ксения зашла следом и услышала в наушнике, как резко оборвался бодрый голос разошедшегося Макса, затем было несколько секунд тишины, пропущенные непереверждённые фразы — и вновь его голос, притихший, вялый, разочарованный:

«...Ах ты, противная девчонка, что ты дала ему? Идиотка...»

Ксения вернулась на своё место. Хмурый шеф встретил её грозным молчанием.

Он даже не остался смотреть следующий зрелищный документальный фильм про индийские поезда, который точно примирил бы его со слушавшимся.

— Через пять минут в дирекции... — проговорил он строго и ушёл.

Марина дождалась окончания «Осы», забрала у Макса оба варианта диалоговых листов — на английском и русском — и приказала явиться для разговора. Но переводчик «на ковёр» не пришёл. Попросту сбежал.

Шеф, заметно прихрамывая, как всегда происходило при сильном волнении (несколько лет назад он попал в автомобильную аварию, ногу собирали по частям), ходил по кабинету туда-сюда. Марина сидела на краешке стула и, нервно переминая пальцы на руках, быстро говорила:

— Я его предупредила. Он обещал... он сказал, что всё понимает. Я поверила ему, я ведь помню прошлый раз... Вы же знаете — переводчиков всегда не хватает. Мы же мало платим... они не идут. Я его предупредила...

Вера пролистывала английский текст. Ксения стояла у окна и в тоске смотрела на каскад мокрых от дождя питерских крыш: в центре города дома невысокие, а они здесь — на шестом этаже... Яков Борисович курил в коридоре, поглядывая на происходящее через открытые двери, — дым тянуло в комнату, и Вера досадливо морщилась: возможно — от запаха, возможно — от раздражения на выходку Макса.

— Вы мне только объясните: это можно перевести как-то иначе? — спросил Виктор Михайлович.

— Да конечно можно, — отложила Вера распечатку, — можно сказать «отстань», «отвали», «пошёл в баню», наконец... тут многое зависит от фантазии переводчика. Мы же с Ксюхой вместе смотрели, я отлично помню этот фильм. Фильм-то хороший, даже очень...

— Да я не говорю, что плохой! — взвился шеф. — Но надо было как-то отследить этот процесс, отрегулировать...

— Пусть Марина после сеанса поднимется на сцену и извинится за переводчика, — встрял в разговор Яков.

— Ой, не надо вот этого всего! — оборвала его Ксения. — Позорище. Наоборот, лишнее внимание привлекать.

— Нет, надо! Надо! — выпучил глаза шеф. — Ты, Марина, проморгала. Извиняйся теперь за подчинённого.

— Да я не против... — опустила та взгляд. — Я выйду...

— И этого гадёныша чтоб нашла, и чтоб пришёл, — продолжал заводиться Лиговцев.

— И никакого ему гонорара. Ещё с него надо штраф взять, — снова вставил своё слово исполнительный директор. — Это он нам за тот раз решил отомстить! Неуловимый мститель. Хе!..

После сеанса Марина поднялась на сцену и извинилась. Кажется, зрители так и не поняли, что произошло. Макса отловили через два дня, отчитали и с позором выгнали. Теперь — навсегда, без возможности реабилитироваться. До конца фестиваля все переводчики ходили подавленные.

На семичасовой сеанс Ксения опоздала — разбиралась на аккредитации с гостями, которых почему-то не оказалось в списке. Поэтому пробиравась к ряду жюри, где — знала — с краю всегда есть свободные места, уже по тёмному залу, через сидящих на полу студентов. Как назло, на экране шёл какой-то уж очень продолжительный ночной эпизод, и в зале было просто ни зги. Она еле нашарила пустое кресло у прохода и поскорее села.

В зале было душно, да ещё на сиденье рядом кто-то широко развалился. От его плеча тоже было горячо.

В фильме наконец-то случился белый день. Ксения взглянула на соседа и... натолкнулась на светящиеся в темноте улыбкой глаза Данилова. — Хорошо, что ты пришла, — прошептал он ей интимно.

Она лишь кивнула в ответ и попыталась смотреть фильм. Но следить за сюжетом было не просто, потому что жаркий Данилов всё плотнее прижимался к ней своим плечом, возился рядом, ёрзал, громко шмыгал носом и всё время порывался что-то ей сказать. Боковым зрением она то и дело отмечала, что смотрит он в основном на неё, а не на экран. Но главное...

Она ещё никогда наяву не испытывала такого, чтобы вокруг закачался, запылился воздух, чтобы он стал раскалённым и осезаемым, чтобы флюиды мужского желания так реально обволокли её и ласкали, будто тёплый июльский ветер. У неё закружилась голова, поплыл куда-то пол, экран, люди вокруг...

Как от него пахло! Не одеколоном, не потом и не табачищем, боже упаси, — ничем, по сути. Но как

от него пахло! Именно так, как не мог пахнуть надменный, противный, раздражающий её Данилов! Он источал какое-то невыносимо родное, мягкое, уютное тепло, почти неуловимый аромат, от которого у неё вдруг зануло под ложечкой, и она невероятным усилием воли сдержала себя от непреодолимого желания вот прямо сейчас, прямо в этом зале забраться к нему на колени и на глазах у изумлённой публики начать его целовать, целовать, целовать!!! Её как будто опоили чем-то, одурманили. Затылок отяжелел, дыхание стало прерывистым, щёки и губы горели огнём, а ладони сделались ледяными.

В этом кинозале, под этот проблемный документальный фильм между ними происходило что-то невероятное. Что-то сверхъестественное.

С ними?..

С ней!

Ксения заставила себя отодвинуться. Но далеко ли можно двинуться в кресле, привинченном к полу? Надо было уйти, но она не могла...

Так и сидела до конца сеанса, прокручивая в голове свой фильм из цикла «мужчина и женщина»: она у него на коленях — жаркая, распалённая, сумасшедшая, жадно целует его лицо, его глаза, его губы, его руки, и ей наплевать на всех тех, кто уже смотрит не на экран, а следит за разворачивающимся наяву спектаклем...

Вера плакала. Первый раз в жизни Ксения видела, чтобы её спокойная выносливая подруга так расстроилась. Видимо, усталость и нервное напряжение подкосили и её.

— Понимаешь, так хочется, чтобы всё прошло хорошо, без накладок. Стараешься, думаешь, все концы подобрал. И всегда что-нибудь случается. Всё равно каждый год проблемы, каждый год что-то срывается, сыплется... Главное, самый хороший мультик. Лучший! Почему именно он?! — Вера достала бумажный платочек, успокаиваясь, вытирала подтёкшую тушь на веках.

На диванчике сидела Соня, притихшая — дело невиданное.

— В паспорте чётко написано: первая категория, — начала объяснять она, — я катушку на стол, поехали, смотрю — толстенная царапина через всю ленту! Какая же это первая категория? Первая — это когда новёхонькая копия, нетронутая! А тут не больше третьей! Я же знаю! Вижу же!.. Так что надо решать — снимаем с показа или нет. И нужно составлять акт вскрытия. Чтобы не было к нам претензий.

— Нельзя его снимать с показа! — снова заплакала Вера. — Такой фильм! Да он приз возьмёт, вот увидите.

— Да какой хоть фильм-то, скажите! — спросила наконец Ксения.

— «Jam Session»!

Она присвистнула: «Jam Session» — потрясающая пластилиновая польская анимация, полюбившаяся им всем и сразу! Пожилая пара живёт над ночным кафе, где иногда играет джазовый оркестрик. В такие ночи они не могут спать, раздражаются на шум, друг на друга. Они тысячу лет вместе, и чувства их давно уснули. Но однажды стародавняя мелодия заставляет их вспомнить молодость и снова влюбиться. И всё в этой работе было безупречно: пластилиновые куклы, вся обстановка квартиры и ночного кафе вылеплены с любовной тщательностью, а какая музыка, какая озвучка! Всё живое! Такие фильмы — редкость и удача для отборщиков.

— Пойдём, я посмотрю, — предложила Ксения Соне. — Может, всё не так страшно.

Они спустились в кинобудку. Соня достала из коробки небольшую катушку с плёнкой — всего-то семь минут — и показала паспорт:

— Вот, первая категория. Я ничего не путаю.

Она лихо надела бобину на специальный штыр на своём рабочем столе, закрепила свободный конец плёнки на катушке перемотки, включила свет и не очень быстро стала её крутить.

— Вот, смотри, идёт царапина.

Ксения наклонилась и увидела на глянцевой поверхности тонкую, как волос, царапину, будто иголкой провели.

— И так весь фильм.

— Такая тоненькая. Разве её будет видно?

Соня взвилась:

— На экране это будет чёрная полоса толщиной с палец! Расстояние-то какое! Увеличение!

— А откуда она могла взяться?

— Ну, — пожалала Соня плечами, — похоже, фильм прогнали на очень старом аппарате. Плёнка неплотно зажалась, попала соринка. Песчиночки достаточно...

— Но ведь в паспорте написано, что она новая.

— То-то и оно. Поэтому я и говорю — надо составлять акт. А то вкатят нам сумму!

— Да какие к нам-то претензии? Какую прислали! — возмутилась Ксения.

— А-а, не скажи. Может, там испортили и решили за наш счёт брак покрыть!

— Чуть какая-то... Ладно, сейчас Вера до них дозвонится. Решим...

— Это её дело. А я составляю акт...

Через полчаса в Польшу отправили акт и письмо с просьбой разрешить показ. Но ни в этот день, ни в другой, ни до конца фестиваля польская студия так и не отозвалась. Демонстрацию несчастного анимационного фильма откладывали до последнего. Потом, посоветовавшись, всё-таки приняли общее твёрдое решение: фильм показывать. И не зря. «Jam Session» получил приз за лучшую анимацию. Никакого счёта фестивалю выставлено не было.

Как хорошо было бы знать всё наперёд. Сколько бы нервных клеток сохранилось! А пока заплаканная Вера набирала горестное письмо на польскую студию.

— Кофейку?—спросила её Ксения.

— Застрелиться,—мрачно ответила подруга.

Что-то происходило между ними. Алексей уже не мог спокойно на неё смотреть. Как только он встречал Ксению, то тут же хотел её обнимать. Она была такая тёплая, такая мягкая, такая родная, такая нужная... Ему хотелось сесть с ней куда-нибудь в тихое место, положить голову ей на колени, и чтобы она гладила его по волосам. А она тусовалась со своими друзьями-подружками и постоянно куда-то исчезала, едва появившись. Он высматривал её на пресс-конференциях, на круглых столах, искал её в зале, в фойе, в дирекции, но она будто специально ускользала или садилась так, чтобы он не мог её видеть: за здоровенного парня, за колонну. Или упорно не хотела смотреть на него. Как его ломало!

«Ну почему ты не смотришь? Ну, девочка моя, я же нравлюсь тебе. Ведь нравлюсь! Нравлюсь, не притворяйся. Поэтому ты и прячешь свои чудесные зелёные глаза! Я заставлю тебя! Смотри на меня! Я требую! Ну прошу тебя. Ну пожалуйста...»

Ксения встала и вышла из комнаты, где проходил круглый стол.

Ему сразу стало тоскливо и скучно.

Ксения всюду натыкалась на его взгляд, на его руки. Он ловил её посреди коридора и, как ребёнок, брал обеими ладонями за голову и целовал то в лоб, то в щёчку, рискованно близко к уголку губ. На мероприятиях выразительно строил ей глазки, дожидаясь у дверей, чтобы тронуть за руку. Встревал в её разговоры с друзьями. Мог просто встать в фойе напротив диванчика, где она сидела и беседовала с кем-нибудь, и стоять так, дожидаясь, пока она его заметит.

Ксения давилась смехом от одного его глупого вида и подкалывала:

— Что, Алёша? Что, дорогой? Что любимый?

— Ничего!—счастливо восклицал он и убегал.

В какой-то момент она не выдержала и, заметив его, идущего к ней с распростёртыми объятьями, выставила вперёд руки и вскрикнула:

— Лёша, не трогай меня! Ты меня смущаешь!

Он опустил крылья, завял, прошёл мимо. Но потом дождался у входа в зрительный зал и, в упор глядя ей в глаза, спросил:

— Почему ты так сказала?

— Что сказала?—вдохнула Ксения.

— Ты знаешь!

— Что? Не знаю!

— Что я тебя смущаю. Ты ведь не просто так это сказала!

— Господи, Лёша, ну что ты меня хватаешь при всех? Они же смотрят, смеются!

— Вот ещё!—обиженно надулся он.—Это фестиваль! Здесь все друг друга знают, и всем совершенно наплевать, кто кого обнимает!

И, рассерженный, ушёл.

Но, конечно, ей всё это нравилось, она не хотела себе в этом признаваться, но приходилось. И ей было страшно. Потому что она понимала, что попадает—да уже попала—в какую-то ловушку. Если он просто смеётся над ней, развлекается, то зачем это ему? Тут полно длинноногих девиц, мог бы выбрать себе жертву покрасивее.

Ещё Лариса сверлит недобрый многопонимающим взглядом. Надо наживать такого врага?! Вера подкалывает: мол, не теряйся. Дурдом...

И всё-таки—как он хорош, этот подлец Данилов! Ну как перед таким устоять? Как не увлечься?

Шёл пятый день фестиваля. Как и каждый день, Ксения следила за показом конкурсной программы. Когда она, ещё при свете, подошла к ряду жюри, Алексей с готовностью откинул сиденье рядом с собой, но она специально села через два кресла от него, пытаясь таким образом продемонстрировать свою независимость. Однако в темноте уже на первом фильме он пересел к ней сам.

— Всё хочу спросить тебя: кто в этом году отбирал программу?

Ксения сжалась от ужаса—в основном это делала она. Шеф только утверждал в конце отбора.

— А что, все так плохо?

— Наоборот! Практически нет проходных фильмов. В прошлые годы было гораздо слабее.

— Я старалась.

Алексей быстро повернул голову и внимательно посмотрел на неё:

— Молодец...

— Знаешь, мне важно, чтобы была и режиссура крепкая, и сценарий качественный—история интересная, с подтекстом, и актёры чтоб не фальшивили, и картинка красивая. Я искала фильмы, где бы всё это сходилось...

Алексей, мягко улыбаясь, согласно кивал в ответ на её слова.

— Вот к этому фильму,—указала она на экран,—я три раза возвращалась. В нём много слов, французы любят пустую болтовню в кино. А потом Марина мне перевела подробно, о чём они говорят... Это такая литература! Диалоги—фантастика! И тема вечная—отношения отцов и детей. Но это такой фильм, который очень трудно разглядеть с первого раза. Жюри его не оценит. Я знаю...

Звук вдруг запищал карликом, и Ксения рванулась в кинобудку, перепрыгивая в темноте через канатное ограждение с табличкой «Жюри»; в юбке это было неудобно и вряд ли грациозно. Проекция остановилась, в зале зажгётся свет.

— Руки у них из одного места! — упревил кулаки в округлые бока, разорялась Соня на киномехаников, пытавшихся исправить поломку. — Импортная плёнка, а они своими корявыми пальцами! Подложи вот сюда бумажку! А здесь скотчем закрепи! Аппарат старый, головка износилась!

— Да иди ты... — послали её мужики.

— Испортили плёнку? — осторожно спросила их Ксения.

— Не, заело просто, — хмуро ответили те.

— Может, следующий фильм дать? Хотя этот так жалко!

— Да щас наладим...

Она вернулась в зал. Показ продолжился.

Они ещё много говорили с Алексеем в тот вечер — о кино, о жизни, шутили. Он открылся с неожиданной стороны и очень понравился Ксении: не кривлялся, не жеманничал, как обычно, не говорил пошлости, был такой спокойный, доступный, с ним было так интересно, так уютно, так тепло.

Но на следующий же день Данилова подменили. Он опять бóльшую часть сеанса пялился на неё, точнее, на её профиль, потому что она заставляла себя не реагировать. У Ксении болела голова и на нервной почве снова драло горло. Она то и дело машинально потирала пальцами виски, щупала железки. Но Алексей не замечал и то и дело громко, не стесняясь сидящих рядом людей, повторял в её адрес реплики героев.

— Улыбнись! — это когда на экране любовник пытался развеселить огорчённую подругу.

— У тебя красивые глаза, — соответственно то же звучало в фильме.

— Я буду скучать по тебе...

— У тебя дети есть?

Ксения удивлённо посмотрела на Алексея — таких слов в фильме не было.

— Что?

— У тебя дети есть?

— Нет.

— Жаль. У тебя были бы очень красивые дети.

Какое-то время он молчал и смотрел на экран. Там начали целоваться. Ксении уже не нужно было оборачиваться, она и так знала, что он, улыбаясь, пялится на неё.

— Ты знаешь... — проговорил он тихо и серьёзно и замолчал.

— Что?

— Нет. Ничего, — он вздохнул.

«Клоун».

— Послушай... — и опять молчание. И опять долгий взгляд.

— Ну что, Лёша? Что?

— Нет. Не скажу...

— Тогда смотри фильм.

Он поёрзал в кресле, потом протянул руку к её руке, крепко сжал и проговорил дрогнувшим голосом:

— Я хочу сказать тебе... Ты... ты очень хорошая...

Ксения проглотила комок и выдавила, натужно посмеиваясь:

— Ну хоть хорошая, и то слава Богу.

Она не знала, как ещё на это отвечать.

Данилов убрал руку, уселся в кресле прямо и больше с разговорами не приставал. Потом вдруг встал, не дождавшись окончания конкурсного блока, и, пошатываясь, ушёл.

«Да он пьяный!» — разочарованно догадалась Ксения.

Назавтра, когда они встретились в фойе, он прошёл мимо с абсолютно каменным лицом и даже не поздоровался.

«Да ради Бога! — возмутилась про себя Ксения. — Была нужда!»

И надо же ему было устроить это именно в день закрытия! И так нервы на пределе. Что она ему плохого сделала?! Не так сказала? Не так отреагировала? А как ещё можно реагировать на его дешёвые приёмчики, рассчитанные на тупых малолетних девиц! Ей скоро тридцатник стукнет, и она заслуживает хотя бы минимального уважения. Если не как женщина, то как коллега! Хотя — какая она ему коллега? Так, мелюзга с претензиями.

И снова весь день беготня по этажам Дома кино, протоколы решения жюри, дипломы, рамочки для них, программа фильмов-призёров, улыбки, вопросы, советы... снова весь день они с Верой ничего не ели. Завтра всё будет позади и — Ксения уже знает это — вместо ожидаемой радости отдыха придёт полное опустошение. Потому что всё прошло, потому что разьедутся гости, потому что останется только как разгребать, рассыпать, дodelывать, потому что опять надо искать работу на полгода, потому что она не будет больше сидеть в тёмном зале плечом к плечу с Алексеем, не будет разговаривать с ним, а он и этот последний день испортил. И она виновата? В чём?

Ксения присела на диванчик к пожилой приятельнице, которая любила кино и исправно каждый год ходила по её приглашению на фестиваль. Та стала восхищаться увиденными фильмами. Ксения устало улыбалась ей, благодарила за добрые слова, а сама думала про то, что на сцену за призами выйдут опять два-три режиссёра. Фестиваль давно не в состоянии оплачивать участникам дорогу до Питера и обратно. Мало кто может себе позволить такое путешествие. Ладно европейцы. А если, например, режиссёр из Австралии? Хорошо хоть гостиницу предоставляют, и то на три дня. Поэтому и выходят на сцену за статуэткой представители посольств самых разных стран, благодарят, улыбаются, говорят формальные слова. Но ничто не может заменить радостный пробег обладателя озвученных в микрофон имени и фамилии из зала до сцены, его сияющие глаза, сбивчивую речь...

Кто-то беспардонно уселся рядом с Ксенией на самый край диванчика, и она, не глядя на хам, толкнувшего её и влезшего в разговор, подо двинулась. Но непрошенный беспокойный сосед раздражал, и она оглянулась. Данилов смотрел на неё очень серьёзно, на лице не было и тени его сладкой улыбочки.

— О, Лёша! — воскликнула Ксения, почти забывшая обиду. — Ты чего не здороваешься, мимо проходишь?

— Разве? — сказал он рассеянно. — Дай лапку...

Ксения протянула Алексею руку, он нежно погладил её и поцеловал в ладошку.

Воспитанная приятельница, поняв, что разговор закончен, поднялась:

— Я пойду, выпью кофе.

— Да, извините, — смущённо пожала плечами Ксения и внимательно посмотрела на Данилова. — Ты чего такой грустный? Случилось чего-нибудь?

— Нет. Ничего не случилось... Совсем ничего...

— Да я же вижу. Глаза потухшие.

— Да?... Видишь?... Я не грустный. Я просто сегодня романтически настроен, — ласково проговорил он, прямо глядя ей в глаза, выдержал паузу и добавил: — Как ты на это смотришь?

Ксения была готова отдать полжизни за то, чтобы не покраснеть от его слов, но щёки тут же заалели. И она ответила чересчур бойко и насмешливо, выдавая своё волнение:

— Ну как я на это смотрю? Вот пойдём на банкет, выпьем водки, а там посмотрим. Ты же пойдёшь на банкет?

— Конечно.

— Ну вот! Выпьем водки, а там... Романтическое настроение — это... это всегда приветствуется...

— Ладно. Увидимся.

И он оставил её, распалённую недвусмысленным предложением.

И, как это ни отвратительно, как ни глупо, она повелась, она увлеклась. Да какое там! Втрескалась по уши за пять дней! По крови уже всю нёсся бешеный гормональный поезд, и сквозь нарастающий стук его колёс и позывные свистки паровоза слышать доводы разума было невыносимо! Она ненавидела себя за то, что ей льстило его внимание. Но оно ей льстило! Она презирала себя за то, что уже представляла себе, как всё произойдёт. Но ведь представляла! Она корила себя за то, что готова довериться человеку, для которого она всего лишь очередная-проходная. Но она была не просто готова, а хотела этого сама, хотела быть использованной! Какой бред! Опомнись, Ксюха! Ты не получишь ничего, кроме разочарования и слёз! — Ксения! Ты идёшь на банкет? — позвала её Вера. — На банкет? Да! Конечно!!!

Алексей действительно хотел пойти, но чёрт же послал ему этого Бражникова! Сто лет не виделись!

Пока шёл показ фильмов-призёров, в ожидании банкета они зависали в баре, и Алексей сам не заметил, как набрался до икоты и, конечно, никуда пойти не смог просто физически.

Когда он, расхристанный, в задравшейся рубашке, лежал поперёк домашней кровати, задавая в потолок сонные пьяные рулады, в кармане его брюк вдруг переливчато булькнул мобильный телефон. На большом цветном экране высветилась фраза: «Получено 1 сообщение». Если бы мертвецки пьяный Данилов был способен его открыть, то он прочёл бы всего два слова: «Москва-Динамо».

Глава 4

На том бы всё и закончилось

Весь конец июня Алексея мучили звонками. Опять звали в жюри какого-то фестиваля, на семинар, в телевизионные шоу, просили интервью, творческую встречу...

Он всё отказывался, отказывался. И там, наверное, думали, что классик возгордился. А он снова монтировал, кроил и перекраивал свой новый фильм. Он занимался тем, что должен был только себе и небесам. Он работал! И даже не думал размениваться по пустякам.

Если бы они только знали, сколько лет он вынашивал эту вещь! Он должен наконец прыгнуть выше собственной головы, чтобы перестали всё время возвращаться к его «Ковалёвым», которые уже как укор, как бревно в глазу. Дескать, вот она, твоя вершина, тебе и повезло, и не повезло, парень, что ты слишком рано взял её, с первого броска. Чем раньше, тем труднее потом удерживаться на скользком, облизанном ледяными ветрами-завистниками эльбрусом пике славы. Алексей словно слышал эти постоянные шепотки вокруг своего имени. С каждой новой картиной они всё крепчали, всё смелели, и уже насмешливый гул чудился ему: «Иссяк Данилов»... «вторично, надуманно, претенциозно»... «халтура, на что он рассчитывал?..» Но премии, звания эти же шептуньи ему и раздавали, коньячок пили и не давились. Они-то прекрасно знали, что самый слабый фильм Данилова всегда будет на три головы выше их «шедевров».

Ему пора было сдавать экзамен середины жизни. Даже если больше ничего, никогда. Пусть это будет ещё одна точка невозвращения. Как «Ковалёвы» были точкой невозвращения к прошлой жизни. Если ему удастся сделать этот фильм так, как задумано, то после можно будет смело надеть халат и дремать в соломенном кресле под абрикосовыми деревьями у тещы в гостях, радуя старика тем, что в кои веки приехали все вместе!

Но фильм не шёл. Кто был в этом виноват? Алексей давно работает сам по себе, и ему приходится в одиночку постигать законы кинематографа. Он

и до сих пор их до конца не постиг. Это действительно труд всей жизни. Учишься от первого кадра до последнего, от младенческого вдоха до старческого хриплого выдоха. Он с самого начала понимал, что только искренность, сшибающая с ног, полная душевная распахнутость, желание рассказать историю не просто ради красного словца, а для того, чтобы уберечь кого-то от ошибок, чтобы поделиться красотой, чтобы научить чувствовать, видеть, слышать, понимать, думать,— а зачем ещё снимать?!— открывает двери творческой удаче. Понимал, но по-настоящему получилось это у него только один раз. Да и не у него, не сам ведь...

Он всё больше убеждался, что идеи не приходят просто так, из ниоткуда. Ведь за день в человеческой голове созревают и тают без следа миллионы мыслей, так почему же только одна миллионная вдруг становится такой навязчивой, требовательной, разрастается, как злокачественная опухоль, заставляет работать на себя?..

«Стоп! Почему— злокачественная?.. Конечно, никакая не муза приносит на своих крыльях сюжеты для творчества, это уж так, кокетство... Идеи приходят от гораздо более влиятельных сил... и всегда ли светлых? То, что непоборимых,— это точно... Значит, и мысль, если она всё-таки материальна, может быть злокачественной или доброкачественной, в зависимости от того, кто её внушает... Лёха, ты чего?! Что за шизофрения? Термины какие-то медицинские... Эти-то вот мысли кто тебе насылает? Доктор Сидоров из районной поликлиники?.. Книжки, стотысячные тиражи, фильмы, миллионы зрителей— это всё метастазы, которые проникают в головы других людей... месяц-другой— и уже эпидемия... Тьфу, что тебя сегодня на болячки тянет? Бред какой-то... И из чего выросла такая цепочка? Из безобидного фильма...»

Ему всегда было странно отслеживать обратный путь мыслей. Чаще всего выходил из мухи слон: заметишь чайнику в чашке, а через десять минут размышлений, глядишь, додумался до вселенской катастрофы. Интересно, это у всех так?.. Искренность... Доверие к миру... это то, чего ему так не хватает сейчас... Сейчас? А может, всегда? Но как можно доверять этой жизни, которая каждую минуту готова подставить подножку, да ещё и гомерически хохотать, глядя на тебя, распластанного на земле, в грязи... Злая старуха!

И злая старуха подкинула, и связались воедино мысли о болезнях, о творчестве, о высших силах... Они собирались поехать к тестю, на юг, отдохнуть, поесть фруктов, поплескаться в море. Дед видел младшего внука только на фотографии, а тому уже два года... И тут маленький вдруг заболел.

Они с женой бегали с ним по частным больницам, по самым дорогим врачам. Притихший

мальш ничего не ел, его рвало, он худел, слабел, его и без того прозрачная кожица стала словно мраморной, с сеточкой синеватых прожилок. Держалась температура. Невысокая, но самая плохая, воспалительная. Вроде бы ничего не болело, но иногда, совершенно внезапно, мальчик вскрикивал, плакал, жаловался на животик. Через пару минут приступ проходил.

Врачи не торопились, только выписывали направления на анализы. Эти слишком долгие обследования выматывали Алексею душу. Сын таял на глазах. Обеспокоенный дед звонил, обижался. Приходилось ему врать, что срочная работа, что приедут позже. Но тот своим стариковским сердцем, уже перенёсшим один инфаркт, всё равно что-то чувствовал и настойчиво спрашивал: «Что случилось? У вас всё в порядке?»— «Да ты что, дед! С чего взял? Не придумывай!»— Алексей был в таком напряжении, что его деланно весёлый голос предательски подрагивал.

Наконец, произнеся какой-то не выговариваемый диагноз, врач предложил операцию.

Боже! Что там можно в этом тельце резать?! Да ребёнок и весь-то размером с две ладони хирурга! У них всегда такие лапищи— волосатые, широкие. И он разрежет скальпелем его круглый розовый животик с пупочком-пуговкой, полезет этими лапищами в его тоненькие нежные кишочки. Там же всё так рядом, так плотно! Это должна быть ювелирная работа! Одно неловкое движение, просто дрогнувшие пальцы— и всё! Всё?!

Хирургом оказалась невысокая, стройная, очень приятная женщина с тихим синим взглядом. Алексей сразу поверил в неё и чуть расслабился. Пока шла операция, у него внутри было пусто. Словно ему, как и сыну, дали наркоз. Он только медленно думал о том, что жена ни разу не заплакала, это хорошо... или плохо, потому что она всё держит в себе.

Жена зарыдала, когда всё было позади.

Маленький улыбался устало и светло.

Алексей дал себе слово никогда больше не снимать родных.

Ксения сидела в своей узенькой, как пенал, коммунальной комнатке и тупо смотрела в телевизор. Шёл сто раз виденный фильм. В чашке остывал чай. В голове рефреном вспыхивала фраза: «На том бы всё и закончилось...»

Но Ксения не была бы собой, если бы оставила всё как есть. Значит, они бы встретились через полгода на какой-нибудь очередной киношной тусовке. Она бы к тому времени уже успокоилась. Данилов совсем забыл о ней. Они бы кивали друг другу, как в добрые старые времена... Или он бы вообще сделал вид, что впервые её видит.

Как ни была она взбешена его неприходом на фуршет, как ни злилась, разозлилась насовсем у неё так и не получилось. По законам драматургии,

эта история не могла закончиться сейчас. Должен быть какой-то высший смысл у этого странного общения. Какой-то вывод. Какой-то результат. Для чего были все эти даниловские пляски с выходом из-за печки? Допустим, он элементарно пофлиртовал, поприкалывался над ней, как над бесхитростной наивной дурочкой. Развлёкся. А что получила от этого она? Ночную маету и изжогу от мысли, что отношения с мужчинами ничему её не учат. Что она всё-таки повелась. Повелась! Повелась!! Прекра-а-асно зная, что как раз этого допускать и нельзя. Но раз уж допустила, то теперь не допустит, чтобы всё окончилось в стиле «Москва-Динамо».

Тогда, на банкете, со злости Ксения крепко выпила и отправила ему эту смс-ку. Знакомая актриса, которой она по пьянке сболтнула о причине своего отвратительного настроения, пыталась её утешать, но выходили нравоучения:

— Ксения, да ты с ума сошла! Зачем тебе этот павлин, этот гусар? Да, он роскошный, лакомый кусочек. Может быть, может быть! Он запал на тебя. Допустим! Но с ним не будет ничего хорошего. Никогда! Он выбрал тебя, как очередную жертву. Ты останешься выжатая, как лимон. Он просто использует тебя и выбросит. Ты же сама это знаешь!.. Это яма! Вот ты сама себя трезво спроси: что ты хочешь от него?

— Теперь я хочу, чтобы он попросил, а я не дала! — совсем нетрезво прорычала Ксения.

— Этого никогда не будет! — с убийственным спокойствием сказала актриса. — Перестань. Вон, на Ларису посмотри. Она же только о нём и говорит. Как бредит! Ты тоже так хочешь? Тебя Бог уберёт сегодня. Пусть и дальше бережёт... Беги от него, даже от мыслей о нём!.. Да я вообще не понимаю, почему должна тебе это объяснять.

А Ксения не могла бы объяснить ни актрисе, ни тактично молчавшей Вере, никому, что это за состояние, когда вокруг тебя шатается и плавится воздух... и только ты знаешь, что всё это не просто так.

Разве что потерянная Лариса могла бы её понять. Она ходила от стола к столу с приклеенной на лице улыбкой и саркастически вопрошала:

— А кто знает, где член жюри господин Данилов? Всё жюри?

Лето уже приближалось к своей середине, но никак не желало одарить жителей Санкт-Петербурга теплом. Три недели в какой-то почти осенней серой тоске Ксения ходила вокруг мобильного телефона, так и не решаясь набрать номер Данилова. Она даже повод придумала — точнее, два повода: один сокровенный, для себя, другой серьёзный, убедительный для него.

Для неё: прошло уже достаточно времени. Она позвонит Алексею по делу — и сразу по его интонациям станет ясно, рад он её слышать или нет.

А там уж как пойдёт. Проигрывать в голове возможные варианты разговора и его реакции можно до бесконечности. Хватит, надо действовать.

Для него: её подруге до ужаса захотелось иметь диски знаменитого режиссёра. Разумеется, с автографом. Их ведь нигде не достать... Он должен согласиться. Они где-нибудь встретятся, выпьют кофе, она посмотрит в его глаза и всё поймёт — будет что-то дальше или нет.

И вот настал день, когда Ксения решительно взяла телефон. Ладонь, как всегда от волнения, вспотела. Данилов вот хватал её за руки всё время, а она стеснялась до смерти. Это же так противно, когда руки потные, да ещё у девушки. Героиня, тоже, любовница...

Простое нажатие трёх кнопок равнодушной электроники — и вот уже горит на экране его фамилия. Невидимый сигнал несётся от антенны к антенне сквозь дома, рекламные щиты, листву деревьев, морозящий дождь, пронизывает идущие по рельсам трамваи, стоящие в пробках автомобили, смешивается с сотнями тысяч чужих разговоров... Вот он прошёл сквозь крышу дома в тихом переулке на левом берегу Невы, четвёртый этаж, третий... Лежащий на широком подоконнике мобильный телефон принял сигнал и проснулся.

«Всё, Ксюха, отступать поздно...»

Алексей нехотя отложил книгу, лениво поднялся с тёплого уютного кресла, взял поющий телефон, взглянул на экран — номер был незнакомый. Отвечать — не отвечать?.. Он зевнул. Дождь всё идёт... Похоже, не кончится никогда. В квартире холодно, сыро, сумрачно... Кто это решил его достать? Настойчивый какой...

— Да... — тишина. — Алё!

— Здравствуйте, — сказал кто-то где-то.

— Здравствуйте, — ответил он.

— Не помешаю?

— Нет. Кто это? — хмуро спросил Алексей.

— Лёша! Не узнал? Это Ксения.

— Это ты-ы-ы?! — Данилов присел на подоконник. — Вот так сюрприз! Ты где?

— Да зашла тут на работу...

— Ты всё ещё работаешь? Ксе-е-ения... — проговорил он её имя, словно впервые пробуя его на вкус.

— Так получилось... У меня тут дело к тебе...

— Какое? А где ты взяла мой телефон?

— «Кальве»! — она засмеялась.

— Что? — не понял он.

— В том смысле, что у женщин свои секреты.

— А-а... У тебя красивый голос... Так что ты хотела?

Алексей встал с подоконника, прошёлся по комнате, щёлкнул выключателем. Стало светло и как будто теплее... Что она там говорит про подружку?

— А она красивая?

— Кто?

— Подружка...

— А что, некрасивые не могут смотреть твои фильмы?

— Могут, конечно. Но если красивые, то интереснее, — он сам засмеялся над сказанной глупостью.

И Ксения где-то там, у себя, смеялась. Где она живёт? Он её не спросил... Диски... Вон они, стоят на полке, осталось несколько экземпляров. Для Ксении не жалко. А какой-то там подружке... ладно.

— Хорошо, солнышко, — и добавил интимным шёпотом: — Я тебя найду. Жди...

— Спасибо. Буду ждать с нетерпением! — воскликнул её голос в трубке и пропал.

Данилов задумчиво положил телефон обратно на подоконник. Неожиданный звонок. Странная просьба. Слишком убедительный тон...

«Маленький мой...»

Ксения сидела перед компьютером в затихшем, опустевшем фестивальном офисе, рассматривала фотографии закончившегося недельного праздника. Попадались и снимки Данилова: красивый, уверенный, на губах улыбка властителя человеческих душ и женских сердец. Она смотрела в его глаза и решала, хороший у них получился разговор или нет. Сразу он её никуда не позвал, не подорвался, не полетел навстречу. Паузу выдерживает. Позвонит он теперь через неделю, не раньше. Но так-то лучше.

«Я тебя найду...» — мысленно передразнила она его интимный тон. — Вот никак не может без этих своих штук! Звонит девушка по делу, а он всё к одному гнёт... Ага, по делу, — хихикнула она. — Кому рассказываешь?»

Да. Да! Да!! У неё был к нему свой вечный женский интерес, но не только. Не только! Ей очень хотелось разгадать формулу успеха — не именно успеха Алексея Данилова, а вообще. Понять, чем отличается обласканный жизнью человек от неудачника. Как он действует, думает, живёт... Почему судьба вдруг выбирает из тысяч своих подданных одного-единственного и возносит его к небесам? Всё ли так гладко и просто внутри этой, внешне благополучной, жизни? Конечно, нет! Вселенское одиночество творческого человека было ей ой как знакомо! И резиновая тягучесть однообразных бессмысленных дней, когда ничего не писалось. А таких дней было много, очень много... И постоянная неудовлетворённость. Даже если всё хорошо, даже если взяли рассказ в толстый журнал, даже если написали похвальную рецензию... И тупое нежелание вставать по утрам, разговаривать, идти куда-то. И вечное несовпадение твоих чувств и желаний с эмоциями и мыслями твоего избранника. И бессилие от невозможности поменять ход событий... Через месяц ей будет тридцать. А что имеем? Ни семьи, ни детей, ни нормальной работы,

ни почёта, ни любви... Сколько? Пять лет? Да, почти пять лет прошло после разрыва последних отношений. И так там всё было непросто, так больно, что она всерьёз думала: больше никогда, ни с кем. Лучше уж одной. Она слишком долго и мучительно отрывается от любимых людей. И она никак не думала, что так легко вяпается вновь. Но разве можно было не обратить внимания на такого яркого, неординарного человека, как Алексей! Особенно на фоне тех, кто вокруг...

Ксения ехала с работы в трамвае и всматривалась в угрюмые плоские лица мужчин. Неопрятные, пахнущие перегаром, табаком, потом, давно не стираной одеждой, они лезли в двери, расталкивая женщин и детей, плюхались на сиденья и засыпали или втыкали плеер в уши. Им даже в голову не приходило пропустить, уступить, защититься, улыбнуться, сострить, сказать комплимент. Они вызывали в ней смертельную тоску, от которой выть хотелось.

Случалось, что на неё находило романтическое настроение. Она одевалась красиво, подкрашивалась, прихорашивалась и шла гулять по городу, улыбаясь всем и вся. Но через десять-пятнадцать минут тускнела, вяла. Потенциальные кавалеры шли навстречу с пивом наперевес, над ними стояло облако мата, они могли толкнуть плечом, наступить на ногу, закрыть перед носом дверь, отпихнуть от прилавка, попросить: «Жэнщина-а, дес-с-сяточку... не хвата-ат нам...» С юным поколением всё обстояло ещё хуже: парни скандалили с девицами прямо посреди улицы, на остановках, в метро, посылая друг друга на равных. И после таких сцен она уже не могла верить в чистого влюблённого юношу, ждущего свою единственную с букетом цветов. Вон он стоит, этот юноша, держит розы, как веник, нервно посматривает на часы, курит в глубокий затяг. К нему подбегает девушка — стройная, лёгкая, он выдыхает прямо ей в лицо табачный дым и тут же прилипает к её губам. А она ничего, улыбается, терпит. А может, не замечает... Или это она, Ксения, зацепившаяся за свои неудачи, не замечает хорошего?

Если мужчины влюблялись в неё, то мгновенно. И начинался обратный отсчёт. У неё в этом тоже была какая-то своя дурацкая философия. Она слишком не доверяла мужчинам, и на то у неё были свои веские причины. Она считала, что нужно проявить сначала свои худшие стороны, все свои закидоны, и если человек стерпит её всякой, тогда только он будет вознаграждён нежностью, верностью и всепрощением. А то как обычно выходит: «Она была такая хорошая, такая добрая, такая весёлая, а после свадьбы вдруг стала такая невыносимая!» Если близкий человек вытерпит — значит, любит по-настоящему, значит, ему можно довериться, можно с ним расслабиться и спокойно плыть по течению жизни.

И никогда не влюбляться в красавцев. В случае с Даниловым она эту заповедь нарушила впервые...

Ещё в юности поставила себе такой ультиматум. Ей тогда казалось, что в невзрачных мужчинах меньше амбиций, меньше мужского шовинизма. Жизненный опыт показал, что она ошибалась. Впрочем, что она, воспитанная женщиной в женском окружении, могла знать и понимать в мужчинах?!

А дети... она сама росла практически без отца и не желала такой же судьбы своему ребёнку. Она мечтала родить от своего предыдущего мужчины, но не случилось, а больше желания не возникало.

Да и насчёт детей у неё была своя философия. Ещё лет в шестнадцать, ужаснувшись вдруг этим миром, она решила жёстко и бесповоротно: приводить в этот мир детей — преступление. Пока взрослые сами не повзрослеют, пока не перестанут разрушать, убивать, унижать, ненавидеть, уничтожать, засорять, губить, они не имеют права на детей. Второй отчаявшейся мыслью было, что, рождая детей, родители обрекают их на неизбежную смерть. Первая минута жизни — это первый шаг на пути к смерти. Как же можно смотреть на ребёнка и понимать, что вот ты его произвёл на свет, и теперь когда-нибудь он должен будет умирать?! Если бы ты его не родил, он бы не умирал! Но и не жил...

Со временем эти ещё совсем детские максималистские мысли покинули её, но и теперь она боялась неподъёмной ответственности за другую, пусть родную, маленькую жизнь. Сама неустроенна, куда ещё... Если бы полюбить, если бы её по-настоящему полюбили — может быть, исчез бы этот страх. Была бы счастлива.

Ксения разогрела ужин. Быстро поклевала спагетти и салат, проглотила чай и завалилась с книжкой на диван. Глаза автоматически скользили по строкам, но вместо читаемого текста в голове звучал совершенно иной:

«У тебя красивый голос...»

Врёшь, Лёшенька! Она знала, что голос у неё грубоватый, мальчишеский, с лёгкой картавостью, которая как раз по телефону становится очень заметна. Да и он разговаривает не как звезда Голливуда. Голос у него высокий, ломкий, порой с фальцетными нотками. При его-то росте и сложенности. Люди, которые впервые слышат его, даже удивляются такому несоответствию. Этот голос, при всём кажущемся спокойствию и флегматичности Алексея, предательски выдаёт натуру нервную, эмоциональную, противоречивую. Не всё у тебя так благобно, Лёша. Воистину, в каждой избушке свои погремушки. А иногда так хочется верить в чужое благополучие, в его устойчивость.

Ведь почему люди всё-таки способны радоваться чужому счастью? Почему плачут чистыми светлыми слезами на свадьбах? На юбилеях?

Почему так жадно следят за шикарной жизнью звёзд? Глянцевые журнальчики листают? Потому что хоть ненадолго это подтверждает, что красивая жизнь и счастье есть. А если всё это действительно существует — может быть, и им однажды повезёт, ведь они-то достойны этого как никто...

Данилов удивился звонку. Кажется, всё-таки обрадовался. Теперь он её помаринует недельку и... А если «кинет»? Что она будет делать? Как жить теперь, когда в сердце снова пришла непрощенная весна?

Ксения не заметила, как задремала над книгой. Разбудил её мобильный. Он лежал где-то и звал хозяйку. Но где? Она соскочила с дивана, искала его на столе, на окне, в сумке... он оказался в кармане куртки... ну да, подружка звонила, пока она ехала в трамвае... Номер засекречен; что за странная манера у людей?

— Да...

Тишина.

— Алё!

Тишина.

— Алё-о-о!

— Слушай, маленький, не нужны тебе никакие диски. Ты просто хотела что-то мне сказать...

Ксения даже не сразу поняла, что этот тихий, спокойный голос принадлежит Данилову.

— Во всяком случае, мне так показалось. Ты так позвонила... Так не звонят по делу. И я подумал, что ты хотела мне что-то сказать.

— Нет, Лёша. Я тебе ничего не хотела сказать, — усмехнулась Ксения.

— Ты уверена?

— А что ты хочешь от меня услышать? — засмеялась она уже откровенно.

— Ну-у... я не знаю. Тебе видней.

— Всё, что я хотела сказать, я уже сказала!

— Н-н-да? Ну, ты так позвонила. Вдруг. Мне показалось, что ты звонила, чтобы кое-что мне сказать, но побоялась. И вот я звоню тебе сам. Чтобы ты могла сказать.

— Я не понимаю тебя! Что ты хочешь от меня услышать, Лёша?! Я позвонила тебе попросить фильмы...

— Не нужны тебе никакие фильмы...

— Нужны, Лёша, нужны! У меня есть подружка... — она никогда так не смеялась.

— Ты уже рассказывала про подружку. Это всё враньё.

— Я никогда не вру.

— Так не бывает. Все люди врут... Ты зря не хочешь мне этого сказать. Ты же не знаешь, что я отвечу.

— Я не понимаю тебя... Я не понимаю, что ты хочешь от меня услышать.

— Значит, диски... — в его голосе появилась беспомощность. — Значит, ты ничего не хочешь мне сказать?

— Ничего, Лёша.

— Точно?

— Точно.

— Окончательно?..

— Абсолютно

— Ну хорошо. Ты получишь эти фильмы,— проговорил он злобно.

И отключился.

Ксения скорчилась на диване от гомерического хохота.

«Вздорная девчонка,— отбросил Алексей телефон,— она же всё время надо мной смеётся!»

«Какова наглость, люди добрые!— приступ велься быстро проходил.— Десять часов. Мужик звонит, ожидая, что девица упадёт в обморок от счастья, и согласится на всё, и развлекательная программа на вечер обеспечена».

«Эта постоянная усмешка в её глазах. Она же меня ни во что не ставит!— он быстро налил рюмку, огненная жидкость обожгла желудок и мгновенно разлилась по венам.— Ну вот что с ней, такой, делать? Что с тобой, такой, делать?!— спрашивал он настенный кухонный шкафчик.— А-а?!»

Романтическая беседа продолжалась...

«Налетел, словно петух! Какая похабщина, Лёша! Ну, если всё понял, поддержал бы игру! Позвонил бы днём, пригласил на обед или прогуляться, то, сё...»— Ксения всё чиркала спичкой, пытаясь зажечь газ под чайником, но хрупкие светлые палочки ломались одна за другой.

«Маленький мой, ну откуда в тебе эта холодность, эта грубость? Лёд просто, острый колотый лёд... ты же вся такая мягкая, уютная, тёплая...— алкоголь по-разному действовал на Алексея, сейчас он совсем не взбодрил его, как он того ожидал, а придавил.— Господи, как хочется, чтобы... чтобы всё мирно, спокойно... сколько можно этих итальянских страстей? Маленький мой, я от этого так устал...»

«Ты что же, ожидал, что я разрыдаюсь и скажу: «Какое счастье, что ты позвонил, милый. Я твоя! Приходи и бери меня!»? Не-е-ет, Лёша. Не на ты напал!»

«Что-то вы, Алексей Кириллович, расклеились...— ползли в голове ленивые мысли.— Глупостей не надо делать даже от скуки...»

«А может, зря я его так... обломала?... потом сама же жалеть буду... но как же можно вот так, в кирзовых сапогах... Лёша, Лёша...»

«А не пошла бы ты к чёрту?»

Прошла неделя. Обещание «созвонимся» приобрело всё более неясные временные очертания. Каждый день Ксения жестоко корила себя и одновременно оправдывала. Сказала бы: «Скучая, хочу видеть»,—убыло бы от неё, что ли? Но он точно так же мог обсмеять её. Где гарантия, что он не издевается? Она никак не могла забыть ему

«Москва-Динамо». Она не могла так рисковать своим душевным равновесием. Лучше уж выгладеть четырежды идиоткой, чем показать ему, что всерьёз увлечена... Этот его барственный тон: мол, «сдавайся, девочка!» Он сразу отпугивал её, заставлял ошетиниваться, защищаться.

«Лёша, милый, дорогой Лёша, ну зачем ты такой непростой?... Не надо со мной так. Как со всеми. Мне не нужен знаменитый Алексей Данилов. Мне нужен родной человек, близкий, понятный... ну пожалуйста...»— так думала Ксения под перестук колёс электрички, уносившей её подальше от Питера. После дождей и простудного ветра июль набирал обороты, раскалялся с каждым днём. Она отправилась на дачу к Вере.

Вот он пропал теперь, и она чувствует себя виноватой. И драматургия отношений опять зашла в тупик. И она совершенно, пронзительно одна, как последнее осеннее яблоко на облетевшем дереве. Другие давно опали, их собрали, сварили из них вкусные компоты и повидло... А это перегордило. Вот и висит теперь в морозы, пусть тебя клюют вороны... Морозы! Где ты нашла морозы?! В набитой битком электричке жара и духота, как в сауне. Из раскрытых окон тянет всё тем же раскалённым воздухом. Измученные люди, в панاماх, майках, с веерами, с газетами, с лимонадом, с пивом, с кошками-собаками, с велосипедами-рюкзачками, с детьми-внуками ехали спасаться от пыли и плавящегося асфальта на свои дачи.

Навёрстывая упущенное летнее время, когда природа испуганно застыла, обморочно замерла, теперь, под безуданно льющимися с небес густо-жёлтыми, словно растительное масло, лучами солнца, всё поспешно расплывалось, развратно и самозабвенно цвело, пульсировало соками и нектаром, благоухало и расточало, звало и манило, страстно отдавалось и с наслаждением принимало...

Они с Верой будут лежать на берегу большого лесного озера, под высоченными соснами с искривлёнными ветвями, дурачась, кидаться опавшими прошлогодними шишками, плавать в чёрной воде, любясь на белые, словно бы искусно созданные виртуозом-стеклодувом водяные лилии, по пути от озера домой есть фантастически ароматную землянику, рвать ромашки и шуточно гадать... и Ксения, смеясь, будет рассказывать ей, что гадают на Данилова, и выходит, что он то «ждёт свидания», то «плюнет». Но мудрая подруга сквозь её напускное веселье сразу разглядит смятение и потерянность. Она не станет фыркать и обвинять её в глупости и наивности, а постарается понять и помочь. Вера, верная Вера... Пять лет назад на её глазах, и только опираясь на её хрупкое плечо, смертельно раненная Ксения восставала из любовного пепла.

И сейчас она боялась такого же исхода. Слишком очевиден был конец ещё толком не начавшихся отношений с очередным семейным мужчиной...

Душистые июльские вечера не приносили облегчения от дневной жары. Каждый день Ксения с Верой ходили на озеро, но дорога была неблизкой, и вся прохлада тёмной воды капля за каплей расплёскивалась на этом пути.

Верина мама кормила их холодным борщом и окрошкой с домашним квасом, лакомила клубникой. Они приносили ей пёстрые полевые букеты, землянику в крохотном кулёчке из листа мать-и-мачехи, один раз нашли несколько подберёзовиков-колосовиков.

Из-за сырого июня в огороде развелось страшное количество улиток. Днём они прятались в лопухах, в зарослях малины, под перевёрнутыми тазами и ведрами, на колодезной крышке. Вечером и уж тем более ночью у них начинался разгуляй! Улитки выползали отовсюду — крупные, как клубничины, чуть больше вишни, с горошину, с булавочную головку. Маленькие особенно умилили Ксению. Она рассматривала их и восхищалась, как в таком крохотном исполнении безупречно точно выточены их тёмно-коричневые раковинки с беловатыми полосочками, их липкие, похожие на отваренные маслята тельца, их рожки, глазки. Милые создания за ночь могли сожрать куст настурций. Утром, выходя к колодцу за водой, Ксения с воплями вытряхивала их из ведер, смахивала с крышки. Жара опять и опять прогоняла улиток искать убежище в тени, но вечером они гурьбой неизменно стояли на дорожке перед дверью и помахивали своими рожками. Это было какое-то весёлое сумасшествие!

Правда, соседи-огородники такую точку зрения не разделяли. Они заставляли приехавших на каникулы внуков собирать улиток в детские ведёрки, выносить за калитку и давить на дороге. Дети рыдали, но давили. И когда Ксения с Верой шли в магазин, то натыкались на кучки пустых растерзанных раковин. Под лучами солнца не раздавленные детскими сандалиями улитки издавали, а от чужих навевало зловоние.

Через неделю на дачу приехали в отпуск Верин муж и сестра с выводком. В маленьком доме стало тесно, и Ксения засобиравшись в город.

Глава 5

Мифотворчество

Маленький эпизод из большого художественного фильма: женщина пасёт в поле козу, и вдруг в один момент мирное пастбище превращается в поле брани. Налетают, сталкиваются две армии — белая и красная. Кровь, крики, стоны. И женщина по-матерински инстинктивно закрывает животному ладонями глаза, чтобы оно не видело этого мужского безумия. А сама смотрит, смотрит расширившимися от ужаса зрачками, чтобы запомнить, чтобы с кровью, с грудным молоком передать

будущим поколениям отвращение к войне. В Великую Отечественную фашисты гоняли жителей оккупированных деревень и городов смотреть на казни. Многие отворачивались, матери заслоняли детей. Лет двадцать назад дикторы Центрального телевидения перед показом сцен катастроф или других ужасных моментов просили увести от телевизора детей и людей впечатлительных. Мальши сами зажмурились, если в кино показывали страшный момент, и просили маму сказать, когда закончится.

Прошло совсем немного лет, и дети глядят на то, как режет дядя горло, замерев, не моргая, с каким-то садистским интересом. Каждый день мы под вечерний чай смотрим новости о том, как что-то где-то взорвалось, кто-то сгорел, кто-то утонул. Нам показывают оторванные части тел, рваные раны, искажённые страхом и болью лица, перемежая их рекламой пива, духов и дорожных машин. И никто не предупреждает, не просит с экрана: уйдите, если вы не в силах на это смотреть. Мы привыкли. Мы пьём свой чай и не давимся. Ещё немного, и мы пойдём на центральную площадь смотреть на публичную казнь, заплатив за входной билет, так же, как сейчас ходим в кинотеатр. Кажется, когда-то подобное уже происходило...

Кто-то снимает это всё и показывает нам, часто даже не задумываясь об авторском взгляде. И это стало нормой. Противостоять этому может только истинное документальное кино, которое, как и всякое искусство, изначально призвано давать происходящим на экране событиям чёткую оценку. За этой оценкой стоит автор — режиссёр, и главное решение он принимает даже не тогда, когда снимает, а когда решает снять показывать другим. А то, как он нам это покажет, в каком ракурсе, с какими мыслями, уже зависит от личности автора. Будет ли трепетать наша душа от увиденного, заплачем ли мы от красоты этого мира или ужаснёмся ему, зависит от режиссёра — живого человека, а ему, как и нам всем, свойственны слабости, он имеет право на ошибку. Вот только ошибки художников иногда очень дорого стоят человечеству. Поэтому и ответственность на их плечи ложится колоссальная.

Хотите проверить себя, узнать, смогли бы вы стать режиссёром-документалистом? Ответьте на пять вопросов, только совершенно честно.

1. Несколько старух катят тяжёлый вагон с хлебом (бывает и такое) и просят вас помочь. Но у вас в руках камера. Вы будете это снимать или поможете? В конце концов, через неделю вас не будет рядом, а они опять покатают свой вагон...
2. Абсолютно слепой человек уронил трость и пытается нашарить её рукой на земле. Делает шаг, другой. Сейчас он упадёт с поребрика, разобьёт лицо. Но у вас в руках камера. Вы будете

это снимать или поддержите старика? Неужели у несчастного инвалида нет родственников? Пусть им будет стыдно...

3. Тонет ребёнок. Но у вас в руках камера. Вы будете снимать его гибель или вытащите? Да и что там, вон к полынье уже кто-то бежит...
4. Человек приговорён к смертной казни за жуткое двойное убийство. Многие годы он ждёт в одиночной камере исполнения приговора. Это не маргинал, не пьянчужка, а образованный, умный человек. Завтра его казнят. Он держится перед камерой, говорит о том, что многое понял, осознал. И вдруг срывается на истерику, уродливая гримаса вместо лица, животный страх перед смертью. Вы сможете это снимать?
5. Умирает ваша жена, умирает от рака. С каждым днём родное лицо становится всё более незнакомым, уже потусторонним. Наступает момент, когда становится понятно, что исход близок. Вы сможете несколько месяцев снимать медленную мучительную агонию любимого человека?

Конечно, это крайние ситуации. И скорее всего, вы с возмущением ответите, что однозначно попытаетесь помочь всем этим людям или хотя бы не отягчать их страдания. Это значит, что вы никогда не сможете стать режиссёром-документалистом. Потому что иногда вам придётся забыть о человеке в себе и поставить на первое место профессию. Все перечисленные сюжеты реально существуют на киноплёнке...

Говорят, солдатами не рождаются. А кинорежиссёрами? А писателями? Чем же литература лучше?! Только тем, что можно поменять имена и лиц не видно!?

Вот сидит перед камерой женщина. Она переводик производства, уважаемый человек, она весело рассказывает о своей жизни, о своей семье, о сыне. А режиссёр как бы случайно спрашивает, нет ли у неё ещё детей. «Нет,—удивлённо отвечает женщина.—Один сын». Но что-то едва заметно напрягается в ней. Режиссёр повторяет свой вопрос: может быть, раньше, в другой жизни. «Не понимаю, не понимаю,—говорит женщина.—Один сын...» Улыбка застывает на её губах. Добрый внимательный режиссёр вдруг кладёт перед ней потрёпанные документы—метрики из роддома—и вкрадчивым голосом говорит: «А вот здесь написано, что в тысяча девятьсот шестьдесят четвёртом году вы оставили в роддоме ребёнка...» Женщина бледнеет, потом плачет, говорит о трудностях, винится... Справедливость восторжествовала. А как же христианское всепрощение? Человечность где? Далеко ли ушла профессия режиссёра от дела тех, кто приводит в исполнение приговор? Только одни расстреливают человека физически, а другие морально. Или в этом случае

цинизм режиссёрского ремесла уравнивает ханжеством общества? Мы посмотрим и не видим, не хотим видеть грязь и мерзость, нищету и несчастья, ложь и предательство, боль и смерть, мы отмахиваемся на бегу от всего этого, существующего рядом с нами. Мы закрываем глаза на саму жизнь, как напуганные дети, и ждём, когда страшное закончится, не понимая, что этот сеанс бесконечен. Так не лучше ли смотреть во все глаза, чтобы знать и помнить о первоединстве Добра и Зла? Как помнили об этом фронтовые операторы и те, кто, с каждым днём слабея от голода, снимал ленинградскую блокадную хронику. Эти люди оставались верны своей профессии до последнего дыхания. Это они показали нам, что даже на войне каждый умирает в одиночку, это они сохранили для нас лица погибших, это они донесли до нас их застывшую в глазах и на остывающих устах мольбу, вторящую главной Христовой заповеди: «Да любите друг друга».

Есть, есть, конечно, и другое документальное кино. Оно не лезет под кожу, не заставляет вас страдать и задаваться этическими вопросами. Многие режиссёры идут более светлым и, может быть, лёгким путём, снимают известных людей, актёров, писателей; праздники, парады, лубочную крестьянскую жизнь. Делают свою работу качественно и в срок. И тоже получают призы на фестивалях, Государственные премии. Видимо, «долг перед искусством» у каждого творца свой...

«Я часто думаю, что если бы я был действительно хорошим человеком, я не был бы режиссёром. Я был бы воспитателем в детском саду, доктором, священником... Потому что когда человеку по-настоящему хорошо, к нему нельзя идти с камерой. И когда по-настоящему плохо—тоже нельзя. Есть какая-то граница: или ты разрешаешь себе что-то, или не разрешаешь. По крайней мере, хорошим людям я бы не посоветовал снимать кино. Если человек начинает снимать кино потому, что хочет изменить мир к лучшему, сеять разумное, доброе, вечное,—он не в ту дверь постучался. Режиссёры снимают кино не потому, что хотят что-то сказать. Люди должны снимать кино, когда хотят что-то показать. Поэтому я хотел бы в разговоре о документальном кино снять с повестки дня моральную проблематику. Это глупая ересь, когда мы говорим об этом ремесле».

«Люди, когда соглашаются сниматься у тебя, они совершают поступок. Они знают, что это станет общественным достоянием. Моя профессия как раз в том, чтобы убедить их, что вот то, что происходит с ними, может быть, имеет отношение к смыслу жизни вообще, может быть, это будет полезно другим людям увидеть... В принципе, они делают невероятное. Потом, когда всё заканчивается, они говорят: неужели я мог сказать тебе это? Я даже близким этого не говорю. В какой-то

степени наш талант заключается в том, чтобы, не обманывая, убедить человека в том, что стоит иногда открываться миру...»

«Один режиссёр пригласил меня, как оператора, на съёмки фильма про катастрофы в Америке. Я прилетел к нему в Нью-Йорк на разговор, и он предложил мне год пожить у него. Мы должны были ждать, пока где-нибудь случится катастрофа или наводнение. А я сказал ему: «Спасибо, я не буду снимать этот фильм. И тебе не советую». Вот представляешь, мы сидим в Нью-Йорке, в шикарной квартире с видом на статую Свободы, и вдруг слышим, что во Флориде — торнадо. Мы летим туда и видим: только два дома разрушено. И думаем: «Чёрт побери! Почему только два? Почему не сто?» Жить с таким чувством я не хочу».

«Мой учитель Пётр Радулов как-то рассказал мне историю. Он снимал испытание автомобиля. И гонщик ему сказал: «Вы поставите камеру сюда, я поеду, и на этом вираже вы меня заснимете, будет очень красиво». Поставили камеру, разгоняется автомобиль, и на повороте происходит авария. Все — вся группа — подбегают, открывают дверцу машины. А он сидит, жив-здоров, смотрит на них и спрашивает: «Ну, вы сняли?» — «Нет, мы побежали тебя спасать». — «Идиоты, ваше дело снимать».

«У меня много такого материала, который я не могу показать. Один из тех, кого я снимал, рассказал: «Как-то я жил-жил, у меня всё было хорошо, была жена и две подружки, и это тянулось пять лет. И вдруг в одну и ту же неделю все трое сказали мне, что они забеременели». Я даже снял этот сюжет, и к фильму он имел самое прямое отношение, ведь «Понедельник...» о том, что человека ещё нет, но за него уже решают, быть или не быть, жить ему или не жить. Но показывать это нельзя».

Другой мой герой говорит мне: «Вот я, например, хочу покончить с собой, но ведь мои родители этого не перенесут». Я снял этот эпизод, но вставить его в картину не могу, потому что они увидят и тоже не перенесут».

«У Леонардо да Винчи в трактате об искусстве есть мысль: во власти художника показать вещи прекрасными или ужасными. Но во власти зрителя увидеть показанное либо ужасным, либо прекрасным. Художнику же оскорбительно слышать, что он, например, очерняет действительность. Художник творит потому, что видит весь объём, гармонию мира. Зачем мне снимать кино, если заранее знать, что предмет съёмки ужасен? Или, наоборот, — прекрасен?!»

«Документальное кино — как красивая женщина: хочется начать роман, но неизвестно, каким он будет. Вообще, кино делать — это как любовь. Режиссёр — это мужчина, а зритель — это женщина. Хорошо, если лучшие мгновения мы переживём вместе, а обычно так получается, что режиссёр получил удовольствие, а зритель уже давно уснул».

«Данилов вступает с реальностью в, так сказать, мужские отношения. Она ему по-настоящему нравится. Он её тайный любовник. Лишь его пассия знает, что нравится ему. Поэтому камеры его — а он снимает сам — не боится и не стесняется. И подбрасывает ему скромные знаки внимания».

«В каком-то смысле фильм нельзя даже придумать. Его можно вырастить из увиденного. Такова природа кино: ты увидел что-то и решил запечатлеть. Причём нельзя ничего повторить в жизни. Что-то случилось, а ты не снял — извини, поезд ушёл. Ты не можешь сказать жизни: давай, жизнь, ещё раз проиграем эту ситуацию! Идеальное документальное кино — кино без дублей».

«Я не думаю, что я такой уж умный. И навряд ли я кому-то скажу своими фильмами что-то новое. По-моему, я довольно средний человек. Может быть, единственное, что я могу, — это не упустить. Как сито, которое задерживает драгоценный камешек. То есть люди, сидящие в той же комнате, не заметят, а я замечу».

«„Без слов“ я снимал не потому, что роют. А потому, что синий асфальт, люди в оранжевых жилетах... приходят и занимают десять квадратных метров какой-то геометрии, начинается движение фигур... В основном они танцуют. Они всё делают ногами. Они закатывают асфальт ногами. Это же красиво, как танец. Постепенно реалистическая картинка превращается в сюрреализм, в чёрный квадрат асфальта. Попутно и случайно удалось показать историю живописи и наш российский менталитет».

«А зритель что, безгрешен? Одно дело то, что ты можешь снять, другое дело то, что согласен увидеть тот, кто снимался, и третье — что согласен увидеть зритель. Например, ты открываешь дверь и видишь, что там люди занимаются любовью. Ты извинишься и закроешь дверь... или просто закроешь дверь. А когда это показывают в кино, ты не отворачиваешься. Почему же ты позволяешь себе смотреть на половой акт на экране и не позволяешь себе смотреть на него в реальной жизни? Что с тобой происходит?»

«У меня всегда есть как бы три фильма: тот, который я показал... тот, который я бы мог показать... и тот, который я не снял... Понимаешь, если я тебя сейчас сниму, тебе это не понравится... Вот я себя видеть не могу, мне кажется, что я толстый неприятный человек. Лет пятнадцать назад на углу Владимирского и Невского сидел сапожник, я к нему часто заходил ботинки почистить. Он мне говорил: «Ты неправильно себя чувствуешь. Ты думаешь, что ты некрасивый, глупый, тебе не нравится твой голос... Всё наоборот: ты нормальный парень, немножко идиот, хотя ничего страшного. Но нельзя же так себя не любить!» Ещё этот сапожник мне говорил: «Посмотри, как ты неправильно износил ботинки...» Он по сношенному

ботинку мог всё рассказать о человеке. А в других областях совершенно тёмный был человек. Но по туфлям судил, как Бог—о душе, о Вселенной, о человечестве...»

«Вопрос о тройном соотношении неснятого материала к снятому и снятого к вошедшему в картину остаётся открытым. Данилов рассказывает поразительные вещи о том, что он мог бы снять, но не снял, и о том, что снял, да не отважился включить в фильм. Послушать его, так этические соображения взяли верх над художественными. Но похожие на оправдания рассказы начинают казаться то ли продолжением картины, то ли попыткой нарастить на неё мифологию. Взять хотя бы пронзительную историю об астрологическом близнеце, который появился на свет буквально вслед за ним в том же родильном отделении, а через тридцать пять лет был найден режиссёром и якобы сказал ему: „Вот меня мать в роддоме бросила, и живу я в дурдоме, а ты на машине, с девушкой и с кинокамерой. А ведь могло быть наоборот... ты был бы дурачком, а я бы к тебе кино снимать приехал...“»

«Алексей Данилов—самый известный в мире российский документалист. Его фильмы увенчаны многочисленными призами, общим числом более сотни. Что же касается репутации господина Данилова в России, то он постоянно «под подозрением» у коллег и критиков. Дело в том, что главный аргумент его фильмов—ставка на «жизнь как она есть»: угасание великого старца в «Философе», колготня деревенских мужиков в «Ковалёвых», мелкий дребезг то банальных, то страшноватых судеб людей, родившихся в один день с режиссёром, складывающийся не в «портрет поколения», а в некую «человеческую комедию» в «Понедельнике. Утро». Подтверждая безжалостную бесстрастность отношений с миром, он пошёл на то, что, по всеобщему разумению, за гранью этики-эстетики: заснял агонию своего учителя, режиссёра Петра Радулова. После «Неаполитанского танго» большая часть тех, кому не нравится эстетика господина Данилова, получили финальный аргумент в подтверждение своей правоты: да он же вуайер, порнограф смерти, чего о нём говорить. Более терпеливые до сих пор пытаются поймать его за руку, найти подтверждение тому, что реальность не сама поддаётся ему, а подвергается насилию, то бишь режиссёрской манипуляции».

«— То есть ты не можешь показать ничего интимного из жизни твоих героев, при этом интимное из своей жизни ты вставляешь в картину? Ведь тебя упрекают в том, что ты снял свою мать в гробу... — Раздевать ты можешь только себя. Это был единственный случай, когда я мог... Я же не думал, что буду снимать смерть собственной матери, но так случилось... и я сказал ребятам нажать на

кнопку. Ты можешь сказать, что я безнравственный человек, но это профессия...»

«Вот я смотрю в камеру, что-то вижу и от этого становлюсь счастливым. Может быть, самым счастливым на свете. Потому что перед моими глазами, когда я снимал, что-то произошло. И дело не в том, что я это «что-то» придумал, а в том, что я даже придумать такого не мог. Например. Я снимал свой первый фильм, о Быкове. Доктора прописали ему упражнения для лёгких: раздувать игрушку. И вот, когда я однажды был у него дома, он взял игрушку и начал дуть в неё. А моя камера лежала у него под диваном, заряженная. И я хватаю камеру, начинаю снимать... За полчаса до этого он сказал мне, что скоро умрёт. Так что, может быть, это его последнее дыхание. И я просто вижу это дыхание, я снимаю и не верю своим глазам, оно становится всё больше и больше... Потом он берёт эту игрушку и выдавливая. Конец мая, у него на столе пух тополиный. И этот пух взлетает со стола. Я это видел, прямо в кадре. Последнее дыхание такого человека. Это же нельзя придумать. Рыдаешь от счастья».

«Каждую секунду мы чуть-чуть меняемся. Становимся чуть-чуть старше. Если удастся заметить это «чуть-чуть», получится кино. Ведь кино, собственно говоря, занимается как раз тем, что фиксирует мельчайшие изменения фактуры. С частотой двадцать четыре кадра в секунду. Была такая кожа, стала—на одну двадцать четвёртую секунды старше. И суть кино как искусства, суть режиссуры как профессии заключается в том, чтобы суметь уловить связь этих микроизменений со смыслом жизни».

«Спустя месяц после событий одиннадцатого сентября я приехал в Нью-Йорк. Там у меня неподалёку друг от друга живут двое хороших знакомых. Башни-близнецы были видны прямо из их окон. И я спросил у одного из них: «Что ты делал в этот момент? Где ты был?!»—«Я был дома. Смотрел телевизор». Чёрт знает что! По моему, это надо написать в рамочке и повесить на какую-нибудь одну большую всемирную стену глупости, чтобы всё человечество задумалось. Он мог смотреть в окно. Он мог всё это видеть. Но он не смотрел. Он смотрел телевизор. Вот именно это я и называю «поворотным моментом в истории человечества»: когда реальность на экране становится более реальной, чем та, настоящая, «объективная». А второй мой друг, известный режиссёр, ответил так: „Я выбежал на крышу и стал снимать. Очень уж красиво...“»

«„Ковалёвы“—это история моей семьи, это мои родственники. Это именно тот случай, когда что-то ты можешь позволить себе сказать. Кто-то считает, что это неэтично. Но я не могу снимать потаённое в постороннем человеке—могу только о себе и своих близких, если они мне доверяют,

что-то такое откровенное сказать, не осуждая. Ты можешь распоряжаться только своим сокровенным, только своей жизнью.

Не знаю, может быть, это всё грешно... Конечно, грешно. Дилемма заключается в том, что, с одной стороны, ты пытаешься быть абсолютно искренним, с другой — приходится признать, что мы занимаемся несправедливым делом. То терзаешься, то оправдываешь сам себя...»

«Искусство рождается в том момент, когда тебе не ясно, что происходит. Когда тебе ясно, что то, что случается, — хорошо, то не стоит об этом снимать или писать книги. Вот когда ты не понимаешь, что творится, тогда и возникает предмет для творчества».

«Как гласит питерская легенда, Данилов после «Философа» и Высших режиссёрских курсов скитался с семьёй по съёмным углам, болел и бедствовал. И тогда один известнейший режиссёр пришёл на приём к тогдашнему мэру города и сказал: «У нас на студии есть один парень, очень талантливый, если не поможете ему — уедет». Так якобы у Данилова появилась квартира с видом чуть ли не на Мариинку. Всё это — сильное преувеличение. Мариинка далеко, мэр тоже. Да и ходил ли кто-то к нему — неясно. Но факт остаётся фактом: фигура Данилова провоцирует к мифотворчеству вокруг неё...»

Глава 6

Такой человек

«Искусство рождается в тот момент, когда тебе не ясно, что происходит...» — интересная мысль... Ксении приходилось познавать возлюбленного самостоятельно — ведь он до себя пока не допускал. Не звонил сам, и его телефон отвечал долгими гудками. Но ведь обещал — значит, объявится. Наверное, занят, уехал, работает... Она рыскала по Интернету в поисках информации о нём, читала и смотрела интервью, статьи, рецензии. Вспоминала, сравнивала, анализировала сплетни и слухи, пытаясь распутать всю эту мифологию. И чем больше она открывала для себя Алексея, как оказалось, человека тонко чувствующего, мыслящего, довольно замкнутого, осторожного, внимательного, ответственного, а в чём-то даже опасного, тем притягательнее и таинственней становился его образ. И тем дальше отодвигался на задний план чисто плотский интерес к нему. И она думала: слава Богу, что ничего между ними не произошло месяц назад, на фестивале. Теперь в ней росла уверенность, что они встретились вовсе не затем, чтобы банально переспать и разбежаться. Теперь ей казалось, что жизнь послала ей этого человека для глубоких духовных отношений. Ведь ей так нужен был Отец, гуру. Так же много лет назад судьба привела Алексея в дом к Быкову. Прямо

в руки вложила ему шанс стать особенным человеком, только сумей правильно распорядиться бесценным даром. Ксении даже лет почти столько же, сколько было Алексею тогда. И если считать, что их знакомство началось ещё восемь лет назад, с того показа «Ковалёвых» по телевизору, то она вполне созрела для встречи со своим Учителем. Они ходили вокруг да около почти два года из этих восьми. И если бы Данилов не вылил на себя тот злополучный чайник, так бы — из-за её гордости — и не приблизились. А тут она пожалела его, отнеслась наконец по-человечески, и глаза открылись. Просто ткнули носом: вот он!

Но тогда зачем все эти его ужимки и прыжки? Все эти пошловатые намёки? Наверное, она как-то не так повела себя, наверное, дала повод. Хотя когда? Где?... Теперь она постарается быть осторожнее, лишь бы он отозвался, лишь бы вместо этих равнодушных гудков в трубке послышался его мальчишеский голос...

— Да... Алё!..

— !!!! Лёша, здравствуй... — сердце подпрыгнуло и забилось в горле.

— А-а, здравствуй, маленький. Как ты живёшь?

— Я — очень хорошо. А ты?

— Я?... Не знаю... у меня фильм не получается.

— А я звоню тебе уже неделю, и всё гудки, гудки... Хотела поздравить тебя с днём рождения.

— Я не люблю свой день рождения. Я его не справляю, прячусь от людей, телефон отключаю.

— Почему?

— Ну-у... я такой человек...

— А вообще-то ты сам обещал позвонить! — Ксения старалась говорить весело и независимо, но выходило это у неё неважно.

— Я соврал. Я вообще всегда вру. А ты очень молода и неопытна, если не знаешь, что мужчины иногда врут... Кстати, сколько тебе лет?

— Скоро юбилей.

— Двадцать пять?

— Ты мне льстишь!

— Тогда-а-а... Ну, если юбилей — значит, двадцать шесть!

Алексей понимал, что шутка получилась довольно тупая, но Ксения так смеялась. А он на другом краю города слушал её и думал: «Она так задорно смеётся! Когда я последний раз так смеялся?...»

— Ты мне кое-что обещал, помнишь?

— Разве?

— Ну ты что?! А диски?

— Ты опять?! Это уже не смешно! — выкрикнул Алексей с отчаянностью.

— Но они мне правда нужны, — озадаченная такой его реакцией, взмолилась Ксения. — Не сердись на меня. Не сердисься?

— Нет... Когда у тебя день рождения?

— Через три дня... — весёлый настрой угасал, вместо него приходила непонятная тревога.

— Я позвоню.

— Опять обманешь? Просто чтоб я была готова.

— Не знаю... Пока...

Ксения улыбалась сама себе идиотской виноватой улыбкой. В голове царил сумбур. Она опять не понимала, хорошо они поговорили или плохо... будет что-то дальше или нет... на душе было ветрено.

Алексей приготовил для Ксении диски в фирменной упаковке, купил бутылку вина и возил всё это с собой в машине три дня. Ксения настойчиво стучалась в двери его жизни, и почему бы нет? Давно он никем не увлекался.

Он позвонил Ксении в день её рождения около обеда, но именинница весело сообщила, что уехала с друзьями на Финский залив, предложила присоединиться. Алексей резко отказался: сценарий вечера рассыпался, и это вызвало в нём досаду. Всё-таки день рождения хорошее оправдание для встречи, а теперь нужно придумывать что-то новенькое. Он оставил диски в бардачке машины, а дорогое испанское вино выпил в одиночестве. И совсем некстати вдруг затосковал по Саманте.

Они познакомились почти десять лет назад на IDFA. Немолодая, в общем-то некрасивая, сухая и по-английски внешне холодная женщина-продюсер подошла к нему и сказала, что готова поддержать любой его проект. И он тут же выложил ей свою безумную затею — разыскать *всех* своих абсолютных сверстников, людей, родившихся с ним в один день, и снять фильм о том, как они живут. Саманта удивлённо повела бровью — видимо, решая для себя, здоров ли человек, стоящий перед ней. Но потом расспросила подробнее, как он представляет себе воплощение этой затеи. Оказывается, это не были просто слова: у Алексея был чёткий план, уже были собраны некоторые сведения и кое-что поднято. Саманта твёрдо сказала, что будет работать с ним. В ту неделю на IDFA они много гуляли по Амстердаму, разговаривали, спорили, пили кофе, смотрели вместе фильмы и обсуждали увиденное, и Алексей поражался тому, как сходны их мысли, видение мира, взгляды на кино и искусство вообще. Может быть, Саманта и есть та единственная предназначенная ему женщина, та, которая способна до дна понять его и принять безоговорочно. Они были так близки духовно, что просто не могли не стать близкими телесно. В ночь перед отлётом домой Алексей остался у Саманты в номере... Она провожала его в аэропорт, мудро молчала, изо всех сил улыбалась и смотрела на него влажными чайного цвета глазами. Он тронул эти глаза губами, желая их осушить, а они пролились слезами.

Через полтора месяца Алексей улетел из Питера в Лондон и несколько лет метался между Великобританией и Россией. На чужбине была совместная студия, средства на съёмку фильма

и любимая женщина. В России оставались семья, маленький сын, старая мать и, главное, те, о ком он снимал фильм, — люди, родившиеся в один из июльских понедельников начала шестидесятых годов двадцатого века... Фильм так и назвали: «Понедельник. Утро». Он с триумфом прошёл по многочисленным мировым кинофестивалям, принёс режиссёру на родине Государственную премию и окончательно закрепил за ним звание ведущего российского документалиста.

Фильм был закончен, и как только Алексея и Саманту перестала связывать совместная работа, в их личных отношениях наметился раскол. Любящая женщина ещё пыталась удерживать дорогого человека, уговорила поработать на другом проекте. Алексей снимал для неё как оператор, делал это добросовестно, даже увлечённо, пока вдруг в один момент не осознал, что потерял самого себя, что у него почти не осталось своих мыслей, что его российское обломовское лежание на диване для совершенствования и роста души даёт куда больше, чем бег за чужими идеями.

Саманта провожала его в аэропорт, молчала, не улыбалась, раздражалась на задержку рейса и в гнев своём была невероятно хороша. Она совсем не смотрела на него своими сухими глазами цвета спитого чая. Он обещал вернуться. Она понимала, что он не вернётся никогда. Алексей поцеловал её в плотно сжатые губы, и когда самолёт взмыл в небеса, облегчённо вздохнул и заказал у стюардессы рюмку коньяка. Если бы всё так просто решалось...

Прошло ещё несколько лет, прежде чем он смог забыть Саманту, прежде чем жена смогла до конца простить его. Именно после всех этих сердечных треволнений, в знак примирения и всепрощения, у них родился младший сын. За спиной шептались, что раз у Данилова маленький ребёнок, то, видно, он второй раз женился. Но жена была всё та же. Всё та же девочка, с которой он познакомился на первом курсе, которую знал — страшно подумать — двадцать пять лет! Четверть века. А уж она-то его и подавно изучила насквозь. И любила таким, какой есть, потому что ничто так не сближает людей, как совместно пережитые трудности. А этих трудностей в их жизни было предостаточно. Это теперь она являлась женой успешного кинорежиссёра, но ведь когда-то выходила замуж за безвестного робкого студента, и жили они по углам, и ели не каждый день, и даже после первой удачи, после «Философа», в их быту мало что изменилось. Наоборот, испытания посыпались одно за одним: он тогда сильно заболел и совсем не мог работать, нужны были дорогие лекарства, нужно было платить за жильё, что-то есть, да ещё маленький ребёнок... Тогда она пошла и втайне от него продала своё единственное, доставшееся по наследству от прабабушки, очень дорогое, но, главное, очень ценное для неё, для её

памяти кольцо с сапфиром. Оно было ей велико, и она не носила его из боязни случайно потерять, поэтому он узнал об этом лишь через пару лет и теперь хранил в своей душе несказанную и не высказанную до конца благодарность, и после того случая его маленькая жена стала ему совсем родной, совсем близкой...

И всё-таки иногда ему начинало казаться, что он теряет рядом с ней свою индивидуальность, что её преданность произрастает исключительно из житейской зависимости от него, что между ними давно нет не только любви, но и взаимного искреннего интереса. Он ушёл далеко вперёд, а она так и осталась милой студенточкой. И тогда он начинал метаться, искать, торопился узнать, испытать что-то новое, уезжал надолго, писал редко или прятался в кабинете и проваливался в воспоминания.

И тогда к нему возвращалась из прошлого Саманта, тревожила его, как сегодня. А вместе с ней всегда приходило тяжёлое давящее томление бессонной ночи...

О, как светило для Ксении в эти августовские дни солнце, как свеж и ароматен был воздух продуваемого ветром с Финского залива Васильевского острова! Всё шло прекрасно. Она даже радовалась, что в её день рождения они не встретились с Алексеем. По правилам любовной игры, сорвавшееся свидание должно было подогреть интерес мужчины. И расчёт оказался верен! Сегодня он позвонил и задал неожиданный вопрос:

— А ты стихи пишешь?

— Нет. Я прозаик... Хотя баловалась, конечно, в ранней юности, когда влюблялась.

— Значит, ты пишешь про заек. А мне надо про лисок! — весело проговорил Алексей. — Понимаешь, я сейчас делаю новый фильм. Мой друг написал к нему детскую песенку. И теперь к ней нужен текст. Такой, чтобы он помог зрителям понять мой замысел... Там ребёнок первый раз в жизни видит себя в зеркале. Зрелища не лишку, сюжет слабенький, и затея моя пока не прорисовывается. Скажут, вот папа показывает любимого сыночка... да, я опять снимаю родных! Ну, я такой человек... А смысл фильма совсем не в этом. Я бы хотел, чтобы люди что-то поняли о жизни, о любви... даже о Боге. Вот, послушай!

После недолгой паузы и шорохов в трубке слышалась исполняемая на пианино мелодия. Простая и сложная одновременно. Алексей включил песенку два раза, но даже после этого обладавшая прекрасным музыкальным слухом Ксения не смогла её запомнить.

— Фильм немного этически скользкий. Я это и сам осознаю, — вернулся в телефонный эфир его высокий голос. — И надо, чтобы зритель понял; да, пусть я плохой папа, но, может быть, этот фильм поможет им разобраться в себе...

— Я понимаю, Лёша. Ничего тебе не обещаю, но я попробую. Как скоро это нужно? — по-деловому спрашивала Ксения.

— Ну, я уже полгода его делаю... надо вчера, как говорится.

— Видишь ли, я завтра уезжаю...

— Куда? — почему-то испуганно спросил Алексей.

— Да к маме, в деревню. Чтобы написать текст, надо мелодию всё время в голове проигрывать, а я её не запомнила. Ты запиши песенку на диск. Буду ходить с плеером по лесу и сочинять. Только как передать?... Оставь его на вахте Дома кино, я завтра успею заехать забрать...

— Зачем? Я привезу! — возбуждённо перебил он её. — Давай... сейчас сколько? Три? Давай в семь. Где ты живёшь?

Ксения назвала адрес.

— Да это совсем рядом!

— А где твой дом? — она старалась говорить спокойно, но это давалось ей с трудом.

— Много будешь знать — скоро состаришься! — весело выкрикнул Алексей. — Всё! Иди готовься!

Ксения положила трубку, по-детски взвизгнула от восторга и заматалась по квартире: вымыть голову — чёрт, ванна, как всегда, занята! Так, спокойно. Ещё уйма времени. Что надеть? Что надеть?! А-а, нечего надеть!!!

Она принялась выкидывать на диван вещи из шкафа. Так, вот блузка... нет, слишком обтягивающая. Буду сидеть, будет видно складки на животе... Эта... болтается, как на... да и тёплая слишком. На улице жарича! Ага, вот то, что надо! Яркая, лёгкая. Бусики к ней янтарные. Красотища неописуемая!

Она выбирала наряд и мысленно прихлопывала свой поднимающийся, словно на опаре, плещущий через край восторг, как если бы стряпуха обивала ладонями разгулявшееся, вылезавшее из посуды тесто.

«Господи, — присела Ксения на диван с выбранной цветастой, словно клумба, блузкой в руках. — Ну что с тобой? Что за эйфория? Это всего лишь деловое свидание. Деловое! Возьмите себя в руки, Ксения Сергеевна!»

На перекрёсток улиц, где они договорились встретиться, она вышла ровно в семь. И тут же поняла, что не знает, какая у Алексея машина. Утротуаров стояли самые разнообразные иномарки. Она всмотрелась в одну, в другую... и пошла вдоль тротуара, набирая номер Алексея. Но тут же спиной почувствовала: он едет, — оглянулась и увидела в начале улицы, на которой жила, тёмно-синий «Форд». Лица водителя было не разглядеть на таком расстоянии, а она точно знала — это едет милый, и дала телефону отбой.

«Форд» подъехал ближе. Что-то в облике Алексея было непривычным, но Ксения осознала перемену, только когда села в машину.

— Что ты наделал?!— вскричала она вместо «здравствуй». — Ты сбрил мою самую любимую часть тела!

— Дальше поедем или сразу расстанемся? — спросил он чуть обиженно, но тут же смягчился. — Странно, что ты меня узнала. Меня сейчас никто не узнаёт. Я шестнадцать лет не брился. А тут решил: изменю что-нибудь — может, фильм пойдёт. Застрял фильм...

«Форд» вырулил на Большой проспект. Алексей нажал кнопку на магнитоле, и салон автомобиля заволочило туманом нежной, тихой, почти интимной музыки.

— Ну, здравствуй, Ксения! — бархатно произнёс он и одарил её одной из своих обворожительных улыбок.

— Здравствуй, Лёша! — ответила она низким голосом ему в тон и тут же по-детски простодушно выложила: — У меня был человек, ему очень шла борода. Без бороды — так, ничего особенного, а с ней — м-м-м, красавец.

По губам Алексея скользнула тонкая усмешка. — Что ты мне ещё про себя расскажешь? — промурлыкал он, и вконец смутившаяся Ксения почувствовала, что по её спине поползли мурашки. — Куда поедем?

— Не знаю! — излишне бодро ответила она. — Может, кофе выпьем?

Снова она плыла куда-то, слабела от столь близкого присутствия Алексея. А ведь надеялась, ну самую малость, что тогда, в зрительном зале, это состояние было случайным. Нет, этот мужчина действовал на неё наркотически.

Алексей вёл машину легко, играючи, как бы между прочим. Она словно бы ехала сама, а он лишь изредка тихонько подталкивал её. По тому, как мужчина ведёт автомобиль, можно очень многое сказать о его характере. С этим водителем Ксения поехала бы на край света, так с ним было уютно и спокойно.

Она скользнула взглядом по его рукам: закатанные рукава тёмно-бордовой идеально отглаженной рубашки обнажали их до локтя. Ворот сорочки, по традиции Данилова, был расстёгнут довольно низко, и в нём виднелся островок мощной груди с воинственно торчащими волосками. Ксении до изнеможения захотелось нырнуть туда, под рубашку, рукой, в эту обжигающую жаром тела тень, к его сердцу. Роскошный мужчина! От Алексея едва ощутимо навевало ароматом дорогого парфюма и ещё тем особенным, необъяснимым его запахом... Этот запах доводил её до полного бессилия.

Ксения с трудом отвела глаза от соблазнительного зрелища открытой мужской груди и заскользила взглядом по мягким, едва заметно посеребрённым редкой сединой волосам, по тёмным длинным ресницам, безупречно чистой гладкой

коже лица, по довольно крупному, но правильной формы носу, полным, чуть выпяченным губам, которые выдавали в нём чувственную, даже сладострастную натуру. Было в его лице что-то порочное, было. Но ей так не хотелось признаваться себе в этом... «А бороду он всё-таки зря сбрил, вон и крохотная царапинка от пореза на подбородке, разучился бриться, дурачок...» Боже, как хотелось всё это ласкать, целовать...

Алексей, конечно, чувствовал её взгляд, но позволял себя рассматривать, делая вид, что внимательно следит за дорогой.

Ксения отвернулась и, что-то рассказывая, слишком упорно стала смотреть на исчезающий под капотом машины асфальт. Настал черёд Алексея любоваться ею. Он посматривал на неё жадно, крупными кусками глотая особо притягательные детали её внешности. Он взглядом выхватывал то её по-детски круглое большеглазое лицо, то её мягкие губы, длинную шею, то богатую грудь, полные руки и колени и думал, глядя на дорогу: какое всё это молодое, упругое, красивое. И рядом сидит он — старый перец, распустился, отрастил живот, второй подбородок, скоро зубы повалятся и песок посыплется. Ведь она чего-то ждёт от него. А чего можно ждать от такого кавалера?

Алексей протянул руку и, скользнув пальцами сзади по шейке, зарылся всей пятернёй в её каштановые волосы на затылке.

«Господи, что же он делает...» — внутренне простонала Ксения, а весёлый до этого голос её предательски дрогнул.

Алексей заметил её напряжение, нехотя убрал руку и остановил машину у «Идеальной чашки». Они неспешно вышли. Он открыл перед Ксенией дверь. В этом кафе были уютные маленькие столики на двоих. На стене — художественное панно с видом Петропавловки. Улыбчивые девушки за барной стойкой.

— Ты что будешь? — спросил Алексей у Ксении, взял из вазочки на стойке маленькую бесплатную шоколадку и протянул ей.

Она отказалась, и тогда он, озорно поглядывая, снял золотистую обёртку с шоколадного медальона, подбросил сладкий кружочек вверх и ловко поймал его на язык.

— Как хочешь!

Ксения присела за столик в уголке. Алексей принёс кофе. Но её «глисе» оказался слишком сладким, и она отпивала маленькими глотками, щедро разбавляя угощение болтовнёй. Она села на своего любимого конька: разговор о литературе, о кино, об искусстве... Но всё время замечала, что Алексей как будто бы её не слушает, смотрит то на руки, то на губы, то воровски зацепляется взглядом за смелое декольте её новой яркой блузки. И как раз когда она хотела спросить: «Ты не слушаешь меня?» — он вставлял реплики в тему; значит, слушал

и смотрел одновременно. В какой-то момент он уж совсем прилип взглядом к её груди, а оторвавшись, прищуренно впился в её глаза и ввернул: — А ты красивая.

Ксения даже не прервала ровное течение своего повествования, хотя почувствовала, что лицо снова подло полыхнуло краской. Хорошо, что успела загореть на отдыхе. Не так заметно.

— Я тебя не утомила? — сверкнула она улыбкой.

— Я же слушаю тебя, если ты заметила... Где ты так загорела? — Алексей осторожно провёл пальцами по её руке, лежащей на столике.

Укороченный рукав блузки обнажал её до локтя. На смуглой коже поблёскивали бесцветные тонкие волоски. Кожа была чуть прохладная, бархатистая...

— Две недели у друзей была на даче.

— Какая у тебя гладкая кожа...

«Ну чего ты добиваешься? — опять простонала про себя Ксения. — Ну чего ты хочешь? Зачем? Всё же так хорошо...»

Он как будто всё время пытался поймать её, загнать в угол этими своими откровенными намёками. И ему доставляло огромное удовольствие наблюдать за её реакциями. А её задача была спрятаться от них, как от выстрелов в жестокой игре «кукушка». И вот она металась от свистящих пуль по тесной комнате своего неустойчивого целомудрия, чувствуя, что выбивается из сил...

— Пойдём прогуляемся, — резко встал Алексей из-за стола.

Они вышли из тихого кафе на шумную улицу. И просто пошли, не обсуждая — куда.

Ксения пару секунд подумала и решила, что может себе позволить взять его под руку. Он не стряхнул, наоборот, чуть прижал к себе её локоть, как будто нёс ответственность за её безопасность. И они шли по узкому тротуару, и встречные прохожие с восхищением смотрели на двух высоких красивых улыбающихся людей, идущих вместе. Ей так это нравилось! Нравилось!! Шла бы и шла, куда угодно... Это и есть: «на край света»...

— Ой! Мы машину прошли!

— А мы разве не гуляем?

— Кто же пешком гуляет? — засмеялся Алексей.

Ксения снова оказалась в мягком удобном кресле тёмно-синего «Форда». Снова они ехали куда-то.

— Сто лет не был на Васильевском. Покажу тебе любимое место, — доверчиво сказал Алексей и надел тёмные большие — в пол-лица — очки, потому что лучи солнца, клонящегося за крыши домов, к городскому горизонту, вдруг ударили в глаза. Для Ксении он заботливо опустил козырёк.

Меньше чем через двадцать минут они приехали на самую окраину острова, за высотные новостройки, откуда открывался вид на залив. Над белёсой волнистой поверхностью залива в

тончайшей туманной дымке висело оранжевое, в волнистом же ореоле, догорающее закатное солнце.

Видимо, это место полюбили не только Алексею. На берегу было полно машин. А в одной иномарке, около которой встал их «Форд», откровенно обнималась парочка. Сидела она необычно — не в салоне, а сзади, в широком открытом багажнике, подняв, словно козырёк, его дверцу.

— Хорошо устроились, — Алексей посмотрел на парочку с завистью, а потом с робким трогательным желанием взглянул на Ксению. Даже непроницаемые очки не помешали ей ощутить этот взгляд. — Мне кажется, песенка вытянула бы фильм.

Он вытащил из магнитолы диск, вставил другой, и Ксения услышала уже знакомую мелодию. — Понимаешь, этот мальчик, по сути, одинок. Папа весь в своём кино, мама в заботах, и ему самому приходится познавать мир, открывать его. И это его жизнь, которую плохой папа превращает в предмет... не знаю чего. Попробуй. У тебя должно получиться.

— Почему ты так уверен?

— Не знаю. Мне так кажется. Мне кажется, ты способна это почувствовать.

Алексей отдал диск Ксении. Она убрала его в сумочку и взамен достала дискету.

— Я тут тебе принесла... раз уж у нас обмен любезностями... Тут повесть, пьеса и несколько рассказов...

— Интересно, интересно, — оживился Алексей. — Сегодня же прочитаю. А о чём ты вообще пишешь?

— Обо всём... сам увидишь, — пыталась говорить Ксения, но ей так мешали его очень модные и, наверное, дорогие очки в пол-лица. Ей казалось, что он прячет за ними усмешку, и она не выдержала: — Сними, пожалуйста, очки. Мне нужны твои глаза. Я не могу разговаривать со стрекозой.

Алексей очень медленно снял очки. В глазах его не было ни искорки от убежавшей усмешки. Он смотрел серьёзно и немного раздражённо. Казалось, сейчас пойдёт далеко-далеко, но вместо этого ласково проговорил:

— Открой бардачок. Там подарок для тебя.

Ксения выполнила просьбу. В бардачке лежали фонарик, отвёртка, какая-то брошюра.

— А что из этого подарок? — спросила она ехидно.

— Там лежат диски, которые ты просила.

— Их нет!

— Где же? — взглянул Алексей в бардачок и воскликнул растерянно и виновато: — Наверное, сын выложил! — но тут же тон его снова сменился на обворожительный: — Видно, судьба нам с тобой ещё встретиться...

И он завёл мотор машины.

Они ещё долго катались по улицам, и Алексей опять пытался её атаковать.

— Что ты будешь вспоминать после этой нашей встречи? — спросил он елейным голосом, наверное, думая, что это звучит очень трогательно.

— Не знаю, — смутилась она, — впрочем, есть кое-что... Можно, я оставлю это при себе?

— А я буду вспоминать твою гладкую загорелую кожу...

«Боже, как романтично... Он считает, что я должна от этого упасть лапками кверху?»

Она начала уставать от его манеры ухаживания и, чтобы немного охладить Алексея, рубанула:

— Не хотела говорить, но скажу. Я тебе как-то не доверяла прежде. А нынче на фестивале изменила к тебе отношение на сто восемьдесят градусов.

— Почему? — кокетливо спросил он. — Люди, наоборот, говорят, что я вызываю у них доверие.

— Про тебя говорят очень много неприятных вещей, даже гадостей...

— Ну-ка, ну-ка! Это интересно! — воскликнул Алексей, резко отвернул машину к тротуару и вдавил педаль тормоза в пол. — Что именно про меня говорят?

— Я обязана это повторять?

— Говори уж, раз начала! — потребовал он и тут же добавил сладко: — Мы же друзья? Ты должна мне это рассказать!

— Да ну, Лёш, я теперь знаю, что всё это лишь сплетни...

— Говори быстро! Я же не прошу называть имён. Что говорят?

— Говорят, что ты... гусар, павлин... — тихо произнесла Ксения.

— Гусар?! Это как?

— ...что ты избалованный, капризный, высокомерный, истеричный...

— Истеричный?! — Алексей взял очки и стал нервно кусать дужку.

— ...люди для тебя... ну-у, ты ни во что их не ставишь... они как подопытный материал.

Ксения подняла на него взгляд и испугалась произошедшей с сидящим рядом человеком перемены. Он был бледен, лицо вытянулось и осунулось, глаза сузились и потемнели. Куда только делась недавняя благостная маска, вся его мягкость, спокойствие? Наконец-то он сделался самим собой, перестал ёрзать перед ней, перестал показывать все эти ужимки и прыжки.

— Знаешь, это всё ерунда. Вот я пообщалась с тобой и поняла, что ты вовсе не такой... Ты строился?

— Нет, обрадовался! — рявкнул Алексей и кинул очки на приборную доску.

— Почему ты так реагируешь? Мне вот совершенно наплевать, что про меня говорят. Я бы просто посмеялась и сказала, что все ослы. Главное — самому знать, какой ты есть. Ты же знаешь, что ты хороший? И вообще, тебе важно моё отношение к тебе? Или чьё-то?

— Мне важно моё отношение ко мне! — истерично и высокомерно огрызнулся собеседник.

— Если бы я знала, что ты так на это отреагируешь, я бы никогда тебе этого не сказала, — пытаюсь исправить непоправимое, говорила Ксения. — Если бы я могла взять свои слова обратно, я бы взяла. — Да уж, дорогая, слово не воробей, — Алексей нервно постукивал пальцами по рулю.

Вся радость Ксении улетучилась, вечер был испорчен напрочь. В горле закипали слёзы. Она, отвернувшись, смотрела в окно, на стоящий неподалёку памятник адмиралу Крузенштерну, на гуляющих по набережной людей, на огромный белоснежный морской лайнер, приткнувшийся у противоположного берега Невы. Он был выше всех домов, прорисованных неровной линией на фоне прозрачного неба.

— Ну прости меня, пожалуйста... Я теперь десять лет буду об этом помнить... Прости.

— Ладно. Мы же друзья, — справился с собой Алексей.

Он тронул машину с места, что-то начал уже говорить. Но Ксения всё ещё была расстроена.

— Ну что ты, Ксюха? — осторожно и нежно потрепал он её по волосам.

Лучше бы этого не делал. Или не делал сейчас... Когда она в таком настроении...

— Скажи мне тоже какую-нибудь гадость! Чтобы мы были квиты!

Алексей подумал, улыбнулся и проворковал:

— Ты очень аппетитно выглядишь... так бы и съел тебя...

— Это гадость?! — засмеялась Ксения.

Он тоже рассмеялся:

— Ну-у-у, это сальность... Знаешь... Это в завершение нашей маленькой ссоры. Урок тебе... — потечески заговорил Алексей. — Однажды я снимал, и был уже вечер, и шофёр психовал — домой хотел. А я упрашивал его подождать ещё пятнадцать минут. Говорю: «Вот сейчас солнышко за эту тучку зайдёт, я сниму, и поедем». Всего пятнадцать минут. А этот водила и говорит: «Да пошёл ты со своим солнышком! Жрать охота!..» Знаешь, я после этих его слов три месяца камеру в руки не мог взять... Наверное, так нельзя реагировать, но я такой человек. Поняла?

Алексей пристально посмотрел на неё. Хотя он снова был спокоен, оттенок глубокого огорчения всё ещё сохранялся в его карих глазах.

— Поняла... — тихо ответила Ксения.

«Форд» подъехал к арке, ведущей во двор её дома. Ксения весело глянула на Алексея и выпалила смело:

— Целоваться будем?

— Конечно, будем! — с готовностью ответил кавалер. — Давай руку.

— Руку?! — озадаченно вскинула Ксения брови.

— Да, руку, — загадочно улыбаясь, подтвердил тот.

Она протянула ему левую ладонь. Он мягко взял её в свою и поднёс тыльной стороной к открытым губам.

Это был настоящий поцелуй. Долгий, влажный... Ксения даже ощутила лёгкое прикосновение языка... Алексей отстранился и ещё несколько секунд смотрел на оставшийся, чуть заметно поблёскивающий на коже след от поцелуя. Словно оценивал и старался запомнить ощущения. Потом поднял на Ксению призывный взгляд. Она не осталась в долгу. Быстро наклонилась к его лицу, губам...

Ей показалось, что она поцеловала мраморную статую. Во всяком случае, лицо Алексея осталось бесстрастным, как у изваяния, твёрдые губы даже не дрогнули, только в глазах вдруг сверкнула такая злоба, почти ненависть, что она отшатнулась. Или... или это был страх?

— Пока! — с беззаботной улыбкой бросила Ксения, быстро выскочила из машины и бойко пошагала в арку, слыша за спиной удаляющийся звук отъехавшего автомобиля.

Окончание следует

ДиН РЕВЮ



Евгений Чигрин Погонщик

Москва: «Время», 2012 г.

Серия «Поэтическая библиотека»

● ● ●
Мифическому сыну? Простаку? —
Поверившему в дар нескучных строчек —
Придумываю вольную строку,
Вдыхаю жизнь в пробившийся росточек
Стихотворенья! — только своего,
Да в колдовство, которого негусто, —

Какого цвета это волшебство,
С которым обнимается искусство?
С которым бы вино перемешать
И — шась в кровать — в блукающие грёзы:
Смотреть в себя да музыкой дышать,
А смахивать невидимые слёзы.

Из цикла «Stare miasto»

● ● ●
Сказать бы что-то славное, но что? —
Всё Пушкин да Мицкевич расстарались!
Смеётся мим в раскрашенном пальто
(В облике с чёртом самое родство),
Два голубя в полёте приобнялись
И — стали рифмой? Музыкой на грош —
Стихом, в котором что-то узнаёшь,
Да синевой, в которой расписались.

«Читая и перечитывая стихи Евгения Чигрина, сталкиваешься с особым, только ему присущим поэтическим миром. Чигрин — поэт подробный и очень внимательный. Любые суждения о данном поэте я бы начал с языка его стихов. Это язык живой, богатый, пластичный и очень разнообразный. У поэта Евгения Чигрина в стихах лицо, а не маска. Талант его несомненен». ● *Евгений Рейн*

Софья Оранская

Франция: семь лет размышлений

Экстракт из эссе в двух частях

*Париж! Париж! К какой плывёт судьбе
ладья Озириса в твоём гербе...*

М. Волошин

Если попытаться дать определение существующему положению вещей, то я бы назвал его состоянием после оргии. Оргия—это любой взрывной элемент современности, момент освобождения во всех областях. Политическое освобождение, сексуальное освобождение, освобождение производительных сил, освобождение разрушительных сил, освобождение женщины, ребёнка, бессознательных импульсов, освобождение искусства... Это была всеобщая оргия—реального, рационального, сексуального, критики и антикритики, экономического роста и его кризиса. Мы прошли все пути виртуального производства и сверхпроизводства объектов, знаков, содержаний, идеологий, удовольствий. Сегодня всё—свободно, ставки уже сделаны, и мы все вместе оказались перед роковым вопросом: что делать после оргии?

Жан Бодрийар. Прозрачность зла

За что боролись, на то и напоролись
Франция: эмиграция

Франция... Первое, что сразу приходит на ум, когда мы это имя произносим,—это «Красавица-Франция» и, конечно, Республика—«неделимая и демократическая». Как это и было записано в Конституции от 4 октября 1958 года (вспомним: в 1958 году родилась в Республика Франции), в статье 2, пункте 1: «Франция—это Республика, неделимая, лаичская, демократическая и социальная. Она обеспечивает равенство перед законом всех граждан, без различия происхождения, расы или религии. Она уважает верования». А что, собственно, нового в этом определении Франции как Республики в Конституции 1958 года по сравнению с провозглашёнными Великой революцией 1789 года «Свободой, Равенством и Братством»? А разница в небольшом, но таком важном дополнении: «...без различия происхождения, расы или религии». <...>

Как-то раз автору этих строк понадобились данные о проживающих на территории Франции русских: сколько же здесь их, моих соотечественников? Я обратилась в Статистический центр Франции (в Париже), где мне ответили, что «Франция—антирасистская страна, и подобные данные запрещено собирать...» (?!). Я поинтересовалась: мол, а что, собственно, в этом расистского, если писатель хочет узнать, сколько его соотечественников проживает во Франции, просто хотя бы для того, чтобы знать, на какую публику он здесь может рассчитывать, и в каких количествах издавать книгу на русском языке во Франции, и стоит ли вообще это делать?.. Работница Статистического центра несколько смутилась, затем сказала, что всё это не её вина, а её миссия—приём посетителей и их регистрация, и показала мне брошюры, книги и сборники статистических данных, где я могла бы найти для себя «хоть какие-нибудь приближительные данные». Искать пришлось долго, и точное количество русских во Франции так мне и не удалось установить. Также вы не найдёте, сколько же во Франции поляков, итальянцев, португальцев, китайцев, турок или выходцев с африканского континента. В чём же здесь дело? Франция буквально «наводнена» лицами иного происхождения, расы или иной, чем католическая, религии, а учёт этих лиц не ведётся? Не верьте глазам своим. Ведётся, ещё как. Как только вы поселяетесь на территории Франции (легально, разумеется), на вас в префектуре заводятся целое досье, которое запускается в огромную машину—Систему Информационного Учёта. И какие бы телодвижения во Франции вы ни совершали, то бишь выход замуж или развод, появление детей, попадание в разряд безработных или изменение места работы, покупка дома или банкротство, выигрыш огромной суммы в лото или большой долг в банковском кредите, скрывание от налогов или заполнение бумаг в мэрии для приглашения ваших друзей пожить у вас месяц-другой,— всё это (незаметно для вас!) будет вписываться в ваше досье. Другое дело, что вы сами не имеете права доступа к вашему собственному досье (дабы вы не смогли что-либо изменить в нём—в вашу пользу).

И с другой стороны, граждане Франции не имеют права доступа к точной, конкретной информации о том, сколько же их, иного происхождения или религии, проживает на территории Франции, поскольку, как это философски объясняется, — мы все равны перед законом, и происхождение не имеет никакого значения для демократического общества; главное, чтобы гражданин был честным тружеником, ну и прочее-прочее... Но... читайте между строк: дабы не возмущался общественный порядок. А возмущению коренного француза не было бы конца, если бы он узнал правду. А так — говорят везде: эмигрантов во Франции стабильно 6% населения, в 1928 году было 6% и сейчас <...> 6%, нет причин для волнений, «в Багдаде всё спокойно». Но так ли уж всё спокойно?

Обратимся же к истории эмиграции во Францию.

Исторически эмиграционный процесс во Франции можно разбить на три периода:

1. С 1850 года до Первой мировой войны. В основном это так называемые здесь *mains d'œuvre* — «рабочие руки». На том этапе — в основном бельгийцы и итальянцы.
2. С 1918 года по 1939 год. В этот период самой большой была волна в 20-е годы. Эта эмиграция делилась на всё те же «рабочие руки» (экономическая эмиграция) и, с другой стороны, на «беженцев» (политическая эмиграция: русские, испанцы, португальцы, немецкие евреи).
3. С 1945 года до наших дней. В этот период самой большой была волна в 60-е годы, и опять же в основном «рабочие руки» (с африканского континента и Ближнего Востока).

Заметим между строк, белоручкам-французам периодически не хватало чернорабочих рук, которые они и нанимали со стороны — за ничтожную плату, аж до середины 70-х годов, когда было наконец решено приоткрыть так называемую экономическую эмиграцию, и для тех, кто хотел попасть во Францию, остались лишь иные каналы, существующие и поныне: политическое убежище, воссоединение семьи, учёба в университете, временная работа по контракту или... замужество.

По поводу чернорабочих и прочих специальностей эмигрантов: есть на этот счёт статистические данные (ура, открытые для публики!). Так, известно, например, что в настоящее время:

- около 45% работающей эмиграции — это неквалифицированные рабочие;
- около 25% — малоквалифицированные служащие;
- около 12% — средние служащие;

- около 10% — кадры, функционеры, преподаватели вузов;
- и около 8% — коммерсанты и мелкие ремесленники.

<...> Ну а что насчёт зарплаты? Оказывается, что она ниже, чем у француза при идентичной работе: у мужчин — на 10%, у женщин — на 13%. <...> А вы говорите: «равенство перед законом... независимо от происхождения». Кто, я говорю?! Вы, вы — французская Конституция.

Но сколько же их, эмигрантов во Франции? И каков он, прошлый и настоящий профиль французской эмиграции? Каковы пропорции между выходцами из Западной и Восточной Европы, с африканского континента, с Ближнего Востока? Это, как оказывается на поверку, самый сложный и довольно щепетильный вопрос. Смотри хотя бы по тому, что конкретные и точные данные отсутствуют. С другой стороны, подсчитать, оказывается, не так-то просто. Прежде всего потому, что эмиграция всегда находится в подвижном состоянии. Приведу пример для ясности.

Например, вы приезжаете учиться в университете. Вам выдают в префектуре карту — вид на жительство на год как студенту. Вы становитесь временно проживающим на территории Франции. Но ваша «временность» может растянуться на годы: сначала вы учитесь, потом вы, например, находите работу или женитесь (выходите замуж), потом вы подаёте на французское подданство и его получаете. И через это вы выбываете из числа эмигрантов. Вы становитесь французом через натурализацию. Вас больше не учитывают в статистике как эмигранта. Но разве вы не остаётесь, после того как получили французский паспорт, всё тем же русским, поляком, китайцем или турком? Теперь — что касается ваших детей. У вас в браке рождается ребёнок. Ваш(а) супруг(а) — коренной француз (француженка), вы — через натурализацию. Кто ваш ребёнок? Правильно, по закону (см. выше в первой части) ваш ребёнок — француз. И также, по французскому закону, вообще нигде не имеют права указывать на его иное происхождение (по принципу: рождён на территории Франции в законном браке, в котором хотя бы один из родителей — француз). Однако в Статистическом центре мне пришлось увидеть потрясающие данные: оказывается, эти дети учитываются в статистике как дети «смешанных браков»! Получается вроде того: он француз, но... не совсем француз (один из родителей — поляк, русский, итальянец или марокканец). Тем более это касается детей, рождённых в браке, где оба родителя — не коренные французы, а в результате натурализации. Но в общие данные об эмиграции эти данные не включаются. В результате и получается та самая абракадабра, с которой столкнулись в настоящее время французы. Так,

официальные данные гласят: во Франции всего лишь 6% населения — эмигранты, то бишь около 4 миллионов человек (на 60 миллионов населения). Граждане, откуда паника — мол, слишком много эмигрантов? слишком много арабов (63% французов так думает)? И в 1928 году столько же было, и даже в 1911 году (1 миллион на 39 миллионов населения). Нет причин для беспокойства. (Странно вот только, откуда во Франции — по другим источникам — около 20% населения — мусульмане?..) А может, эти официальные данные — фальшивые? Нет, самые что ни на есть достоверные. Только не надо забывать, что эти данные — лишь о настоящих новопривбывших эмигрантах. А те, кто получил французское подданство? А дети в смешанных браках, «не совсем французы»? Они уже не учитываются как эмигранты (учитываются в секретных документах, но в глобальную официальную — для народа — статистику не входят). А потом, даже эти 6% ни о чём не говорят. Так, известно (из данных Статистического центра), что, например, в 1928 году около 90% всей эмиграции составляли выходцы из Западной и частично Восточной Европы и лишь около 10% — выходцы из Азии и Северной Африки, тогда как профиль современной эмиграции изменился: лишь 18% — это выходцы из Европы, 45% — с африканского континента и 37% — из Азии! Правда, данные эти особенно не афишируются (так, находятся иногда такие любопытные, вроде русской писательницы, которой не лень было это раскапывать в пыльных талмудах Статистического центра, да и то верно — случайно она это и раскопала, т. к. искала данные по отдельно взятой нации — русские — на территории Франции, а «раскопки» оказались удивительно интересными, т. к. открыли совершенно невиданные вещи...).

Вообще, Франция — по-своему парадоксальная страна. С одной стороны, французов традиционно обвиняют в «ментальной закрытости», в задыхании в рамках собственной культуры; с другой стороны, всего за сто лет Франция превратилась в мультинациональную страну (если сейчас здесь насчитывается около 20% мусульман, то с полной уверенностью можно сказать, что 40–45% населения Франции — некоренные французы). Где же логика? А логика есть — внутренняя, железная: именно это «задыхание в собственной культуре» и привело к мультинациональности современной Франции, в этом смысле XX век был для Франции «взрывным» — «всё смешалось в доме Облонских». И опять же, как всегда (вот же лёгкий французский характер!), в соединении полезного (всю тяжёлую работу спихнуть на эмигрантов) с приятным (привнесение свежей культурной волны, точнее даже — многочисленных волн). Но нет дыма без огня: так, «польза» и «приятность» грозят обернуться настоящим пожаром... то бишь изжогой и язвой желудка... Это я к тому, что

мультинациональность хороша в определённых пределах и пропорциях, при потере которых возникает... раздражение, трение, конфликт... бунт, удар исподтишка, поножовщина. Последнее уже не от взаимного обогащения, а от полного отсутствия какой-либо культуры.

Как же все эти многочисленные национальности сосуществуют во Франции: каждый в своей диаспоре? рядом с другими национальностями? рядом с коренными французами? Как принимают французские «правила игры», и все ли принимают? Как смотрят сами французы на тех, иных по происхождению? Существует ли во Франции дискриминация по расовому и национальному признаку, и вообще... кто виноват? Начнём с конца: никто не виноват — так сложилось. Потому что... «хотелось как лучше, а получилось как всегда». <...>

По волнам океана...

Париж: эмиграция

Волны, волны... В начале XX века во Францию приезжают итальянцы и бельгийцы. В 20-е годы — испанцы, поляки, русские... В 60-е годы — алжирцы, африканцы, португальцы, затем тунисцы и марокканцы... В 70-е годы — выходцы из Азии: Индии, Пакистана, Ливана, Турции, Китая и особенно Вьетнама. А кроме этого, живут во Франции выходцы из Латинской Америки (особенно из Бразилии и Мексики) и Кубы; Греции, Германии, Ирландии; Индонезии и Филиппин; Японии и... всех стран бывшего соцлагеря.

В 1986 году уже 20% французов имеют хотя бы одного из родителей иностранного происхождения...

Расселение по стране всех этих многочисленных наций далеко неоднозначно и неравномерно. Так, например, немцев больше всего в районе Эльзас (т. к. на границе с Германией, а потом, и сами эльзасцы и по характеру, и по темпераменту близки немцам, немецкому духу Порядка). Итальянцев и всех наций — любителей солнца и жары более всего по побережью Средиземного моря. Русские в основном живут в Париже и пригороде Парижа, частью на Средиземном море (Марсель и Ницца)...

Ну и, конечно, Париж. Столица Франции фактически «поделена» между различными «национальными объединениями», диаспорами: в 3-м, 13-м, 19-м и 20-м округах Парижа эмигрантов (или «по происхождению») — около 15%, во 2-м, 10-м и 17-м — около 20–25% парижан составляют эти диаспоры. Давайте ещё раз заглянем в Париж, но теперь уже в Париж «экзотический».

Африканцы в Париже (около 200 тысяч человек): кто они? чем занимаются? где живут? 85–90% из них работает на совсем не лёгких производствах: тяжёлая металлургия, автомобильные заводы («Рено» и «Ситроен»), химическая

индустрия. Живут в основном «колониями» в 11-м, 19-м и 20-м районах. Здесь же есть специфические африканские магазины-бутики (ткани, бижутерия, «всё для дома» — на африканский стиль и т. п.), рестораны и продуктовые магазины (где вы можете купить специи, свежие экзотические овощи и фрукты, сушёную рыбу и даже пальмовое вино). Есть у африканской «коммуны» свои книжные магазины (всё о прошлом и настоящем Африки), свой журнал («Ревю Нуар»), своё радио («Африка 1»). Работа у этих парижан — тяжёлая, но хватает этому жизнелюбивому народу сил на песни и танцы, да и вообще — трудно представить его без музыки. Так, выделились из «массы» в 80-е годы талантливые музыканты, тогда же был создан ими «Африканский праздник» — серия концертов... Жили музыканты в основном в 18-м округе, но многие из них уехали на родину или в США (особенно в конце 90-х годов), т. к. не нашли поддержки среди французской администрации...

Париж считают второй... латиноамериканской столицей (после Мадрида) в Европе. Так много в Париже выходцев из Латинской Америки — Аргентины, Чили, Колумбии, Бразилии, Мексики, Перу и Кубы? Но дело, оказывается, не в количестве (в три раза меньше, чем африканцев), а в качестве, т. к. «латино» ярко выделяются на фоне «экзотического» Парижа: во-первых, тем, что в основном это политическая эмиграция (писатели, как Пабло Неруда и Габриэль Гарсиа Маркес, как и многие другие, жили в Париже), и, во-вторых, своей «заразительной» (в том числе и музыкальной) культурой. «Латино» живут в основном в 7-м и 16-м округах. <...>

Интересно, сколько во Франции китайцев (в основном все они живут в Париже)? Трудно сказать. По одним из данных, около 300 тысяч. Но, по всей видимости, намного больше. Всем в Париже известен 13-й округ, Чайнатаун (т. к. 80% здесь живущих — китайцы), с его китайской спецификой — бутиками, китайскими супермаркетами и, конечно, ресторанами. В 20-м округе китайцы мирно соседствуют с греками, армянами и африканцами. И наконец, во 2-м и 3-м округах есть также китайская диаспора, которая не смешивается с остальными (работают в основном в коммерции, сапожные мастерские, работа с кожей и т. п.).

Чем отличается китайская диаспора от других? чем славится здесь? В отличие от «латино», например, эта диаспора не имеет здесь интеллектуальных звёзд и имён. Вообще, эта нация здесь звёзд с неба не хватает, зато трудятся они как муравьи (или пчёлы), живут мирно, в конфликте ни с другими нациями, ни с французами не вступают. Диаспора их динамическая и сильная, хотя и закрытая в себе: хорошо держатся друг друга, передают «дела» свои по наследству, не теряют родной язык, браки устраивают между собой,

поддерживают огонь своей культуры: например, праздник Дракона в феврале вы можете наблюдать в виде «драконьего шествия» по улицам родного им 13-го округа — так парижане-китайцы вступают в Новый год по китайскому календарю. Есть, правда, и мелкие грешки у здешних китайцев (у кого их нет?) — любовь к азартным играм, где проигрываются (а кому-то наоборот!) целые рестораны и прочее имущество. Но французы в это не посвящаются: так, можете вы только заметить, что сменился вдруг декор и персонал в вашем любимом китайском ресторане. Знайте — это неспроста! Но с другой стороны, китайцы — верующие буддисты, и есть у них здесь буддийский храм. А также, для сохранения исторической памяти, четыре китайских музея и — для нынешнего поколения молодых — свой книжный магазин.

Страна восходящего солнца... Оказывается, парижанам совсем не обязательно ехать в такую даль, чтобы узнать, что такое настоящая Япония, потому что Япония — со всеми своими древними традициями и новейшими изобретениями — присутствует в самом Париже. Около 40 тысяч японцев живёт в Париже, в основном «интелло» — студенты, артисты, модельеры, архитекторы, а также «высшие кадры» в совместных франко-японских предприятиях, тренеры и спортсмены (выступающие за Францию в бойцовых видах спорта — карате, дзюдо...), а также директора и шеф-повары японских ресторанов. В 1997 году открылся шикарный Культурный центр Японии (недалеко от Эйфелевой башни), где проводятся (естественно, японские) концерты и выставки, здесь же есть библиотека «Всё о Японии» и даже салон чая, где раз в неделю вы можете участвовать в настоящей церемонии чая... Есть в Париже и японские парки (как, например, парк при ЮНЕСКО), с характерной для Японии архитектурой камней — привезённых специально из Японии — и росписью... каллиграфией даже на самом фонтане. Живут в Париже и японские стилисты (и пользуются огромным успехом!): кому не известны стили Кензо, Ямамото или Мияке? Одно, правда: путешествие в саму Страну восходящего солнца может обойтись вам дешевле, чем костюмчик от Кензо...

А рядом сосуществует по-буддистски мирная небольшая микродиаспора Индии. Вернее, в неё входят разные выходцы: из Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки и самой Индии. Индусы также вносят свою свежую струю: всё большее распространение во Франции получают... курсы йоги (особенно так называемой «нежной» — дыхательной йоги). И неспроста: стрессовая жизнь в огромном городе, где, по выражению известного российского героя эпохи застоя, «приходится рвать когти», в конце концов самым плачевным образом отражается на... организме парижанина — его сердечно-сосудистой и нервной системе. И очень многие, для

восстановления жизненного эквilibра, обращаются к медитации. А кто лучше самого индуса-специалиста может вам объяснить все необходимые этапы медитации, во избежание возможных негативных эффектов?.. Есть у индусов в Париже свой храм, исполняют они и свои обряды, и даже в определённое время года вы можете увидеть религиозное праздничное шествие к храму в честь почитаемого живущими здесь индусами божества...

В отличие от интеллектуальной японской и «спиритической» индийской, живой, «молодёжной» и артистической латиноамериканской, работорящей и спокойной китайской, ливанская микродиаспора «входит» в культуру Франции и Парижа... своей неоспоримой культурой восточной (и не менее, как оказывается, утончённой, чем французская!) кухни. Ливанские рестораны в Париже (вечером танец живота!) заняли себе прочное место на фоне поистине интернациональной кухни Парижа. А ведь ливанская диаспора вначале представляла собой жалкое зрелище: в основном это были люди, получившие политическое убежище во Франции (вспомните длительную войну в Ливане с 1975 года), и далеко не все из них были лица с состоянием. Но постепенно (а сказать ли — довольно быстро!) ливанская диаспора нашла своё лицо здесь, в стране, её принявшей, но совершенно чуждой по обычаям, традициям, нравам...

Иные нравы и у т. н. магрибинцев — выходцев из Туниса, Марокко и Алжира, но и этим более чем большим диаспорам во Франции пришлось ассимилироваться здесь... приспособливаться, не теряя при этом своих корней. Эмиграция во Францию из Северной Африки началась не сегодня, а... в период Первой мировой войны. Но самая мощная волна приходится на послевоенный период (особенно 60-е годы — «рабочие руки»). На сегодняшний день насчитывается в Париже около 100 тысяч выходцев из Северной Африки (Тунис, Марокко и Алжир), и в Парижской области — около 360 тысяч, хотя, как и понятно, в эти подсчёты не входят второе и тем более третье поколения этих эмигрантов, а также и те «новоприбывшие», которые получили французское подданство в результате натурализации... В Париже семь мечетей (первая построена в 1920 году), арабские книжные магазины и бутики, бани-хаммам, кафе-шансон, курсы танца живота, рестораны <...> и... арабское радио, которое передаёт свои программы не только на территорию Франции, но и на Алжир...

Ближе к французским нравам и обычаям, конечно, европейцы, которых также здесь предостаточно: итальянцы, испанцы, немцы, англичане... поляки, болгары, русские... греки...

Немцев и австрийцев в Париже около 80 тысяч. В основном это «высшие кадры» на совместных предприятиях, профессора вузов, представители т. н. свободных профессий, дипломаты, — в общем,

«интелло». «Волн» у немцев во Франции никаких не было (если не считать немцев, в основном евреев, бежавших из Германии перед Второй мировой войной... о чём многие из них, будучи выданными «гостеприимной» Францией гестапо, сильно пожалели). Коммерцией и ресторацией современные немцы в Париже не занимаются. Многие женаты на французках (т. к. это в основном мужская эмиграция, в отличие, например, от русской эмиграции четвёртой волны, где 70% — это женщины). Вообще, немцев в экзотическом Париже как-то совсем не «видно»...

Чего не скажешь, например, об ирландцах. Выходцев из Ирландии в Париже всего около 15 тысяч. Но кто хоть раз не был здесь в ирландском баре — пабе, которые нынче так же модны во Франции, как и (совершенно другие по своему принципу) латиноамериканские? Кроме того, ирландцы — музыканты, художники, писатели, танцоры ирландского фольклора, артисты разного рода. Это мы вас уже «отправляем» в Культурный центр Ирландии и Ирландскую ассоциацию... А сказать ли в двух словах: ирландская диаспора в Париже — это диаспора артистическая, «молодёжная» и удивительно открытая для общения (друг с другом, с французами и со всеми нациями, здесь живущими)...

Англичане как-то намного меньше заметны в экзотическом Париже. И дело не только в количестве (всего около 9 тысяч), а в том, что ни с точки зрения культуры, ни в области «уикенда» англичан здесь как-то особенно не видно. Сказывается ли древняя «война» между англосаксами и французами? Или англичане чувствуют себя настолько недостаточными у себя дома (как и немцы), что «на чужбине» никак себя не выражают? Где бы мы ни искали ответа, но факт остаётся налицо: английская культура, досуг «по-английски» — конечно, и это вы при большом желании найдёте в Париже, но искать придётся долго...

Страна солнца и... столь же горячей гитары. У испанской эмиграции было здесь две волны: политическая эмиграция в 1939–40 году — и в основном интеллектуальная (спасение от диктатуры Франко), и в 60-е годы — экономическая эмиграция (спасение от нищеты). Испанцев в Париже и области около 120 тысяч, живут они довольно рассеянно по городу, выделяется Испания на фоне экзотического Парижа своими всем парижанам известными барами «а тапа» (чаще всего с испанской гитарой и песнями), несколькими деликатесными ресторанами и танцами фламенко (курсы для всех желающих). Есть у испанцев и свой культурный центр — Институт Сервантеса, где проводятся выставки, концерты, конкурсы, где вы можете посмотреть испанские фильмы, где есть курсы испанского языка, танца и гитары... Но, вообще говоря, испанская диаспора (несколько

разрозненная и «постаревшая») в настоящее время сильно потеснена латиноамериканской...

Больше в Париже португальцев (около 400 тысяч!), но... их меньше заметно, т. к. португальцы, во-первых, быстрее ассимилируются во Франции и, во-вторых, не выделяются на культурном небосклоне экзотического Парижа. Зато отличаются большой работоспособностью и умением ладить с людьми, и, может быть, поэтому три четверти из них работает как... консьержки и уборщицы в домах и на предприятиях... Несмотря на то, что эти простые трудяги быстро приспосабливаются к французским обычаям и нравам, ностальгия по родной Португалии у них сильна. Поэтому многие из них после нескольких лет жизни и тяжёлой работы во Франции покупают себе дом у себя на родине, где и проводят все свои отпуска в кругу любимого семейного «клана»...

Греческие кафе (очень популярные в Париже!) вы можете увидеть чуть ли не на каждом «углу» в Латинском квартале (и не только там). Но не одним хлебом единым, как оказывается... Так, известны всем парижанам и культовые места греков-православных: собор Сент-Этьен (основная церковь Греческого Патриархата во Франции) и церковь Сент-Константин-и-Элен. Работают же греки (кроме ресторанного дела) в Париже по большей части в сапожных мастерских, химчистках и занимаются всем, что касается работы с кожей.

Итальянцы в Париже... До появления магрибинцев эта была самая многочисленная диаспора. Даже сейчас это четвёртая (после магрибинцев, испанцев-португальцев и китайцев) по численности «коммуна»: более 350 тысяч в одном Париже! Итальянцы прошли через все возможные и невозможные стадии эмиграции — волна после Первой мировой, волна «между двух войн», волны 50-х и 60-х, волна политических в начале 80-х годов... Итальянская диаспора более чем смешанная по социальному составу: от крестьянина до крупного банкира, от чернорабочего до знаменитого артиста или модельера... Итальянцы в Париже «оккупировали» район около Лионского вокзала (куда и приходят поезда из Италии), 11-й, 12-й и 14-й округа... Хотя в каком из округов нет своей пиццерии (более 300 в Париже!) или своего более или менее шикарного итальянского ресторана? Кроме того, работают итальянцы в областях, касающихся дома: квартирные агентства (и конечно, дела передаются по наследству), квартирный уход, отопление, домашний дизайн... Парадоксальная нация, живая и уважаемая одновременно, живущая в Париже своей жизнью, но не столь закрытой в себе, как, например, у китайцев или магрибинцев, у поляков или русских первой и третьей волн...

У поляков в Париже длинная история эмиграции: первые эмигранты попали сюда в начале

XIX века — в основном польские аристократы, артисты (вспомните Шопена), политические деятели. В начале XX века — в 1905–1910 годы — сюда хлынула волна поляков-революционеров, поляков-евреев (бегство от погромов). Затем волна начала 20-х годов — в основном крестьяне и рабочие. Третья волна относится к началу 80-х годов (приход к власти Ярузельского) — интеллектуалы. В настоящее время в Париже живёт много поляков нового поколения: одни из них учатся в вузах (и многие из них подрабатывают), другие... работают по чёткому (недекларированно)... Но надо заметить: большинство из этих новоприбывших поляков изъявляет желание вернуться на родину (что они и делают, заработав начальный капитал, с которого и можно начать своё дело в Польше). По официальным данным, в Париже насчитывается около 20 тысяч поляков, но полагаю, что в несколько раз больше. Поляки стараются здесь держаться друг друга, но «колониями» они не живут, поэтому нет у них и «своих» округов в столице. Но есть у поляков свой польский Институт (где есть библиотека, где проводятся концерты и выставки...), свой книжный магазин и своя католическая церковь в 1-м округе, куда приходят поляки не только помолиться, но и, может быть, даже больше для того, чтобы встретиться со своими сородичами...

И это не всё! А ещё болгары, чехи, румыны, русские; выходцы из Скандинавии (Норвегия, Швеция, Дания), из Нидерландов и Бельгии; американцы, канадцы; австралийцы; выходцы из Индонезии, Камбоджи, Вьетнама, Кореи... Все части света, все континенты! И всё это здесь, в Париже (и во многих районах Франции, особенно на Средиземноморье), — сосуществует под одной «крышей» единого для всей Франции (а значит, всех живущих здесь наций!) закона — Конституции: «...без различия происхождения, расы или религии».

Везде лучше, где нас нет...

Русские во Франции: три «волны» XX века

Среди великого народа, чрезвычайно деятельного и более занятого своими собственными делами, чем интересующегося чужими, я мог жить так же одиноко и уединённо, как в самой далёкой пустыне.

Декарт (о своей жизни в Амстердаме)

«— Это вы смеётесь, а вот послушайте, я вам расскажу. Подходит ко мне жином. Садится в ватуру. О ла-ла, думаю. Ну, везу, значит. Везу час целый, оглянулся: на счётчике двадцать семь франков. Остановился я, он ничего. Я значит, его за манишку: плати, сукин сын. А он мне русским голосом отвечает: «Я братишечка, вовсе застрелиться хочу, да всё духу не хватает»... Плачет, и револьвер при

нём. Ну, я значит, револьвер арестовал, а его в бистро. Ну, значит, выпили, то, другое...

<...>

— Давайте лучше споём...

<...>

Пой, светик, не стыдись, бодрый эмигрантский шофёр. Офицер, пролетарий, христианин, мистик, большевик...

<...>

Наглая и добродушная, добрая и свирепая, лихая Россия, шофёрская, зарубежная...

<...>

И снова шумит граммофон, и, мягко шевеля ногами, народ богоносец и роконосец поднимается с диванов, а ты, железная шофёрская лошадка, спокойно стой и не фыркай под дождём, ибо и до половины ещё не дошло танцевалище, не допилося выпивалище, не доспело игрище, не дозудело блудилище... Ещё трезвы все, хоть и пьяны, веселы, хоть и грустны, добры, хоть и злы, социалисты, хоть и монархисты, богомилы, хоть и Писаревы, и шумит вино, и льются голоса, и консьержка поминутно прибегает, а вот и консьержку умудрились напоить, и она, пьяная, кричит: „Вив ля Сэнт Рюсси!“»

Так писал в своём романе «Аполлон Безобразов» живший здесь, в Париже, и трагически погибший поэт Борис Поплавский, относящийся к младшему поколению первой русской волны, поколению «незамеченных». Причём одинаково не замеченных как своей родиной, так и... прекрасной мачехой — гостеприимной Францией, приютившей такую разношёрстную, «бежавшую» от самоё себя Россию, грустную и свирепую, пьяную и богомольную, всех цветов и оттенков, от белых до красных, от социалистов до монархистов, от большевиков до... новых русских; от пролетария до аристократа... политиков, философов, мистиков, художников, поэтов, музыкантов, балетмейстеров, актёров театра и кино... И всё это для того, чтобы написать в конце XX века о «французской» России как о странных русских, понастроивших по всей Франции невиданное (ни для какой иной нации здесь) количество церквей — затем, чтобы было русским где общаться друг с другом! — или как о нищей аристократии, крутившей ради пропитания баранку такси...

Писать вообще о своих соотечественниках за границей крайне трудно. Ещё тяжелее — о сложных взаимоотношениях между ними. Так же, как и крайне непросто говорить об отношениях Франция — эмигрантская Россия... И странным образом, верно, подсказывает автору интуиция, что наживёт он немало «идейных» врагов среди всех поколений русских эмигрантов, так же как и среди самих французов. Но «правда выше жалости».

Начнём с конца: где она, правда о взаимоотношениях давшей «прибежище» изгнанным или

самим убежавшим из России россиянам Франции — с одной стороны, и живших здесь и живущих нынче русских — с другой?

А дадим слово хотя бы Ходасевичу, который писал об упомянутом выше Поплавском:

«За столиками Монпарнаса сидят люди, из которых многие днём не обедали, а вечером затрудняются спросить чашку кофе. На Монпарнасе порой сидят до утра, потому что ночевать негде... Надо быть полным невеждой либо не иметь совести, чтобы сравнивать нужду Монпарнаса с нуждой прежних писателей. Дневной бюджет Поплавского равнялся семи франкам, из которых три отдавал он приятелю. Достоевский рядом с Поплавским был то, что Рокфеллер рядом со мной. Настолько же богаче Монпарнаса эмигрантские писатели старшего поколения».

Богема Монпарнаса, где собирались в кафе поэты и художники младшего «незамеченного» поколения русских эмигрантов первой волны, была всем в русском Париже известна. Богема и нищета. Которые и укорачивали жизнь многим артистам той, предвоенной эпохи. Так, «трагически погибли молодыми Новосадов, Шарнипольский, Гронский, Диксон, покончил с собой талантливый Болдырев... умер в больнице от истощения Буткевич, умер от чахотки Штейгер, тяжёлая жизнь доконала Ирину Кнорринг, Веру Булич, Гершельмана, Савина...». А позже «были расстреляны немцами... Борис Вильде, Раиса Блох, Михаил Горлин, Юрий Мандельштам, Юрий Фельзен, Мать Мария...» (из книги Б. Носика «Привет эмигранта, свободный Париж». — С. О.). «Трагически погибли», «расстреляны» — в общем, канули в Лету в подземном царстве великой Франции...

Но Ходасевич неправ. Может быть, многие из корифеев первой волны жили материально и лучше их «незамеченных» «детей», но и им досталось сполна: всё их огромное и поистине великое наследие до сих пор остаётся во Франции... уделом специалистов. Вы спросите среднего француза о «вкладе русских эмигрантов» во французскую культуру! Уверю вас, он найдёт три-пять имён «у всех на слуху», вроде Нуриева, Ростроповича, Дягилева, Шагала или Солженицына (последний и не жил вовсе во Франции, он здесь печатался в русском издательстве «ИМКА-Пресс»).

Напомним же хотя бы некоторые из имён, живших (и страдавших) здесь, гений, талант, труд которых до сих пор Францией по-настоящему не оценён.

Из первой волны (1917–1923 годы):

- писатели, поэты, критики — Иван Бунин, Марина Цветаева, Д. Мережковский, И. Шмелёв, Б. Зайцев, Надежда Тэффи, Саша Чёрный, Нина Берберова, М. Осоргин, К. Бальмонт, Георгий Иванов и Ирина Одоевцева (его жена

и писатель), В. Ходасевич, М. Алданов, Г. Адамович, Г. Газданов, А. Куприн, А. Ремизов, Марк Слоним, Зинаида Шаховская (редактор «Русской мысли» в 1968–78 годах)...

- философы, теологи, религиозные деятели— Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Вл. Ильин, Владимир и Николай Лосские, Елизавета Скобцова (Мать Мария, погибшая в 1945 году в концлагере), Г. Гурджиев...
- художники, театральные декораторы, историки и критики искусства— Л. Бакст, Ю. Анненков, Александр Бенуа, Марк Шагал, М. Добужинский, В. Кандинский, Н. Гончарова и А. Ларионов, К. Коровин, Г. Крут, Ш. Лифшиц, Зинаида Серебрякова, С. Судейкин, Ольга Глебова-Судейкина, Ш. Сутин, О. Задкин (скульптор)...
- творцы в области музыки, балета, театра— Ф. Шаляпин, А. Глазунов, Матильда Кшесинская, А. Балашова, Анна Павлова, Ольга Преображенская, Ида Рубинштейн, Ольга Спесивцева, Игорь Стравинский...

Среди «потерянных детей» первой волны можно отметить наиболее крупные имена, и все они поэты,— такие, как Борис Поплавский, Николай Оцуп, Довид Кнут, Вадим Андреев, Юрий Одарченко...

И каждый из перечисленных (и многих-многих не упомянутых выше!)— сам по себе большой айсберг. И все вместе— это лишь верхняя часть другого, *огромного* айсберга— такой поистине цветущей эмиграции русских во Франции в первой половине XX века!

Вторая волна русской эмиграции не дала имён, т. к. это были беженцы периода Второй мировой войны: простые люди, бежавшие от сталинского режима, а частью и послевоенные пленные, которые не желали вернуться на родину. Сколько их здесь «осело»— на Западе (а многие устремились в Америку, подальше от страшных щупалец тоталитарного спрута)? Никто конкретно этого не знает. Есть цифра в миллион советских граждан. Другие утверждают (как Никита Струве в своей книге «70 лет русской эмиграции»), что всё-таки, вероятно, намного— на треть или наполовину— меньше. Сколько из них попало— и «спряталось» от КГБ— во Францию? Этого тоже никто сказать теперь уже не может. Люди эти по большей части быстро «растворялись» в массе: «вытягивать» шею и выставлять голову над толпой было, по понятным причинам, не в их интересах...

А потом пришли 70-е годы. Евреям было решено покинуть страну. Других «выпихнули»— в основном всяких недовольных режимом «интелю». Иные сами уехали, не в силах продолжать борьбу, как многие художники, не могущие по причинам не вписывания в рамки соцреализма выставляться. А разве может художник по-настоящему

существовать, когда все его детища-картины томятся годами на чердаке? Многих подвигла к бегству и знаменитая «бульдозерная выставка» в 1974 году в Измайлово: не дают художникам залы, так они решили выставить свои работы... в парке, на свежем воздухе. Ан нет, и тут кто-то уже подсуетился— доложил инстанциям. И... пригнали бульдозеры со стройки, разогнали толпу и смяли в кучу весь этот «мусор»— «непристойную мазню»...

Третья волна дала свои имена русской эмиграции во Франции, хотя их, конечно, намного меньше, и, вероятно, всё-таки по значимости они «меньше» предыдущего поколения. Хотя кто знает... потомки разберутся.

Среди них можно назвать такие имена, и все они художники, как Олег Целков, Оскар Рабин и его жена, художница Валентина Кропивницкая, Михаил Шемякин... Борис Заборов, Юрий Купер, Лидия Мастеркова, Владимир Титов, Виталий Стацинский...

Среди писателей третьей волны можно отметить таких, как Владимир Максимов, Анатолий Гладиллин, Василий Аксёнов, Василий Бетаки, Николай Боков, Юрий Мамлеев, Дмитрий Савицкий...

Жил здесь и Андрей Синяевский (лит. псевдоним Абрам Терц), известный писатель и литературный критик, отсидевший в России семь лет за свои «выкрутасы» с изданием «неположенных» в то время своих произведений за границей и через два года после выхода на свободу эмигрировавший из России (в 1971 году). Во Франции он издавал известный здесь русским журнал «Синтаксис», который внёс свою лепту... в «домашние» склоки между самими русскими эмигрантами.

По-прежнему существует двуязычный журнал, под редакцией Кристины Белоус-Зейтунян, который печатает на русском и французском языках произведения русских поэтов и писателей. <...>

Жив ещё и другой «курилка»— журнал «Русская мысль»...

В общем, вывод напрашивается сам: и третья волна тонет в зыбучих песках великой Франции. Но ей на смену бежит четвёртая!...

И кто они, четвёртые? И одновременно первые— ибо кончилось в России царство Тьмы, народилось новое невиданное царство (сумерек?). А посему новая волна— вроде как и первая: в Новом Времени нарождающейся в муках России. Что же она из себя представляет? Какой след оставит после себя (прежде чем утонуть, как все предыдущие) в культуре красавицы-Франции? А главное... что внесёт она в большую Книгу «Святой Расеи»... в главу её, посвящённую «Расее заграничной»? А там, в той Книге, никто не пропал зря. Всё считано и всё пошло в копилку великого блага России, давшей (и продолжающей давать, будьте уверены!) столько имён этому миру. И нам ли, художникам, обращать внимание на то, что кто-то наш народный гений

по-настоящему не оценил? И всё-таки... вернёмся к вопросу: кто они, эти первые? А ответить пока оказывается крайне сложно. Потому что... в тихом омуте, как известно... идёт своя, невидимая снаружи, подводная жизнь. И так, словно затихла культурная русская жизнь в Париже — а более всего, потеряла своё былое единство, — но что-то творится в её недрах... словно что-то готовится — к новому ли божественному Прыжку (безумного) Гения?

Давай поговорим...

Первичные впечатления новоприбывшего «эмигранта» о Франции и французах

Так, добрались мы с вами... до середины второй части нашей книги. Впереди, конечно, ещё много вопросов, которых мы ещё не касались или касались вскользь: наука и научные применения, правосудие, современные кино, искусство, литература Франции, медиа, искусство жить (типично французское понятие), социальные классы, деньги и конфликты, табу и пропаганда... моральные ценности французов, проблемы глобализации. Обо всём этом мы и поговорим дальше. Но в этой главе мне хотелось бы сделать небольшую паузу и... рассказать о своих личных — и, стало быть, субъективных — впечатлениях в первые годы пребывания во Франции. А у этих впечатлений есть своя несомненная положительная сторона: их свежесть, заострённость взгляда, как у новичка-разведчика, который порой замечает некоторые вещи лучше, чем опытный, у которого, по выражению Шарапова, взгляд порой «замыливается». Но есть, несомненно, и отрицательная: «новоприбывший» видит очень многое поверхностно, и чтобы понять многое в чуждой ему системе, ему придётся съесть ещё не один пуд соли. И потом, «новоприбывший» — он ведь в некотором смысле как новорождённый, всё ему здесь непонятно, и многое ему, конечно, в этом новом мире не нравится: и свет слишком ярок, и пелёнки мокрые, и никто не меняет до положенного часа, и живот болит, а кричишь — никто не подходит, потому что все новорождённые кричат, у всех у них что-нибудь болит, стало быть, так должно быть — терпи и не хнычь. В общем, у новоприбывшего часто совсем всё наоборот, чем у туриста: последний видит сверкающие витрины, а первому как-то всё чаще встречаются помойки (на которые выходят окна собственной квартиры). Всё как в известном анекдоте с известным заключением: «А ты не путай туризм с эмиграцией...» И всё-таки хотелось бы мне мимоходом, в виде паузы, вспомнить некоторые из тех первичных впечатлений о Франции — о Франции, которую я ещё так хорошо не знала, как несколько лет спустя: ни истории её, ни культуры, ни законов, ни просто каждодневного быта... Всему надо было заново учиться.

Сначала меня поразил... аэропорт. Я сразу почувствовала себя... свободным человеком. Аэропорт — это визитная карточка страны, и поэтому наблюдательному человеку он может сказать многое о том, куда тот прилетел. Мне потом приходилось летать разными авиакомпаниями и видеть разные европейские аэропорты — Лондона, Цюриха, Амстердама, Милана, Рима... и все они, в общем-то, между собой похожи, несмотря на ряд характерных национальных черт, в которые мы здесь вдаваться не будем. Но что я увидела во французском аэропорту в первый свой прилёт (и каждый раз потом это впечатление подтверждалось)? И почему я почувствовала себя комфортно? Потому что на паспортном контроле на вас не смотрят как на возможного врага народа, багаж всегда приходит в целостности и сохранности, и, выйдя на улицу, вы всегда найдёте на чём доехать до вашего места пребывания, не опасаясь за свою жизнь и свой кошелёк. В общем, как многие уже поняли, — всё обратное тому, что вы можете наблюдать в Шереметьево-2. <...>

Префектура! Посещение её для новоприбывшего — неизбежность. Приезжать надо рано, чтобы успеть пройти очередь до двенадцати (в это время чиновники идут обедать). Когда вы стоите в очереди, то невольно вам приходят в голову мысли вроде того: «Экономическую эмиграцию французы прекратили в середине семидесятых годов. Так что же все эти люди делают здесь?» «Эти люди» — это те самые, которых в своё время Франция приглашала на работы: из Северной Африки и Азии. Тот же вопрос, вероятно, задаёт себе ежедневно мадам с суровым выражением лица у окошечка... с суровым потому, что каждый день для этой работницы префектуры — битва на жизнь, а на смерть. Вы, новорождённый русский эмигрант, мирно ожидающий своей очереди, как правило, не знаете всего того, что знают «эти люди» и мадам у окошечка. Например, того, что у префектуры есть свои классификации по эмиграции: зелёный свет для эмигрантов из Восточной Европы — и... красный свет для всех «желающих» из Северной Африки и Ближнего Востока. Не знаете вы, как правило, и всех ходов и выходов, которые уже успели изучить стоящие с вами рядом «эти люди». Вообще, многое от вас в этот момент ускользает. Но остаётся странный осадок от поверхностного наблюдения, вне знания всех этих подводных течений и рифов: вы были один (или одна) белый в очереди, так же как и последующие разы, и вам это почему-то не очень нравится.

А дальше посыпалось как горох.

Если вы женщина и, например, вышли замуж за француза — не удивляйтесь, если ваш муж не будет есть ваши супы, котлеты, блины, пельмени и каши. Всё это слишком калорийное и тяжёлое для него. Поэтому вам придётся переучиваться.

На это уйдут годы. Так как французская кухня требует меньшего количества времени, чем русская, но большей ловкости рук. И оказывается, не все русские женщины способны понять эти премудрости. Поэтому кормят своих мужей... полуфабрикатами (что может, кстати, послужить поводом для развода!).

А вот вы вышли на улицу. Улицы чистые, вымытые, кроме... одной важной детали. Осторожно: собаке дерьмо! И это не смешно: в одном Париже специальная организация собирает ежедневно около 8 тонн этих «отходов»! А всё потому, что во Франции — в отличие от Бельгии и Германии, например, — хозяева выгуливают собак где им вздумается, а зелёных зон в городах очень мало, поэтому все дороги усыпаны... деньгами (есть такая примета: если случайно наступить на... будет вам прибыль; но во Франции эта примета, по понятным причинам слишком больших шансов такой случайности, к сожалению, не действует). <...>

Так что же можно сказать о французской женщине? Первое впечатление совершенно не лестное: все такие гордые, все такие независимые... в общем, ходят по улицам какие-то ободренные кошки. И надо заметить, с годами это впечатление не меняется. Зато французские мужчины выглядят (на фоне русских) намного более импозантно и... свежо: русские мужчины в России — какие-то в большинстве своём потёртые, прокуренные и пропитые, грубые и неотёсанные... Какой из этого делать вывод, трудно сказать. Как сказал кто-то: мужчины и женщины — это как две нации. Сравнивая эти две нации в России и во Франции, невольно приходишь к заключению, что в России женская нация процветает, а мужская хиреет, а во Франции наоборот. <...>

Вежливость французов! Вас это первое время поражает (после российского хамства на каждом шагу!). Потом вы начинаете привыкать к этому. И замечать нюансы. Например, то, что стоит за этой вежливостью: любезный отказ в чём-то чаще всего. С другой стороны, вы вдруг начинаете понимать, что эта вежливость — выборочная (в зависимости от цвета кожи, например, или от веса вашего кошелька). Но в любом случае любой русский человек, живущий здесь, может констатировать факт: французы более терпимы (а отсюда и более вежливы), чем русские.

Но вот звонить после 10 часов вечера во Франции не принято (стало быть, не терпимо). А для многих русских в это время жизнь только начинается...

Приходить в гости без приглашения также вы здесь не можете. Но если уж вас пригласили, принесите с собой бутылку хорошего вина (это здесь принято), а также цветы хозяйке дома.

Неприлично во Франции занимать у соседки соль, спички, яйцо для блинов или луковичу...

Но засиживаться в гостях, если только это очень близкие друзья, вы можете до полуночи.

Вообще, многие рамки во взаимоотношениях между французами вас сначала сильно раздражают. До тех пор, пока вы не научитесь новым правилам игры. А если не научитесь — что нередко и случается среди русских — «тем хуже» для вас, как говорят французы. Потому что под вашу дудку француз плясать не станет.

А вот вам ещё из новинок и поражающих факторов, которые вы в России не наблюдали.

<...> Автомобилисты на заснеженных дорогах (а снег в Париже — большая редкость) — спасайся кто может: по гололёду французы водить машину не умеют!

А в хорошую погоду в обед бизнесмены жуют сэндвичи, а потом сидят в кафе за чашкой кофе, обсуждают свой бизнес. И там же вы можете увидеть приличных дамочек из приличных семей (и не всегда пенсионерок) с болонками или шпиками. Не то чтобы у неё не было домохозяйки-кухарки, но обед среди людей как-то веселее...

А вот вам ваш ребёнок принёс фото класса: дети на фоне родной школы. Приглядевшись внимательно, вы замечаете, что половина учеников — не такие уж французы. И так из года в год, из класса в класс (а классы меняются каждый год, что тоже вас немало раздражает, т. к. ваш ребёнок не может по-настоящему найти друзей: только к одним привыкнешь — уже класс расформировали...).

А вечером вы включаете тв: сначала новости, потом какой-нибудь очередной боевик или не вполне приличная дискуссия о том, как правильно пользоваться презервативами... всё как в России. С разницей, что французы, великие болтуны, по сравнению с русскими — настоящие ораторы. Владение речью у французов просто потрясающее для русского человека. И причина здесь в том, что француз — крайний экстраверт, тогда как русский — в большинстве своём интроверт. И сколько раз мне приходилось это замечать: красноречие даже самого малообразованного француза и косноязычие русского, порой и политического деятеля или даже деятеля культуры...

А ещё деньги! Всё в них упирается. В это зло индустриальной эпохи. Так что сказать? Первое впечатление по поводу всем известной французской скупости ничуть не изменилось с годами. И даже если он будет платить дважды, всё равно истинный француз своей «политики» в отношении денег не изменит...

А напоследок вам скажу... каждый раз, улетая из аэропорта «Шарль де Голль» в Москву, я с ужасом думаю о том, что по каким-то не от меня зависящим причинам я могу сюда не вернуться. И в первые же дни в России меня начинает мучить ностальгия по Франции. И дело не в деньгах. Просто... это — любовь.

Нет худа без добра...

О моральных ценностях французов

Где правда? Наша честь насилем разбита,
 В нарядах женщины, в сутане иезуита—
 Одно и то же зло;
 Закон пьёт нашу кровь, алтарь благословенье
 Даёт преступникам, а истина в смяченье
 Потупила чело.
 <...>
 В душе моей бурлит клочущее пламя,
 И стаи чёрных туч шуршащими крылами
 Мне застыт небосклон.
 Я чую смерть и гниль! Везде—её угрозу!
 Повсюду зло царит! Но вот я вижу розу—
 Я умиротворён...

Так писал полтора века назад Виктор Гюго. И как это напоминает другого романтика, «но с русской душой»,—М. Ю. Лермонтова. И как изменилась жизнь за столь короткий срок... всего за 0,2 секунды эволюции Земли! Но так ли уж изменился человек? Изменились декорации, антураж. А человек, как и прежде, ищет правды, покоя, красоты, умиротворения. А романтик видит повсюду нагнетание чёрных туч, угрозу гибели... Только к поэтической «братии»—братии «интуитов», звонящей в колокола, будящей спящих, в нынешнюю эпоху прибавилась «армия логиков»—специалистов в области социологии, психологии, писателей-фантасов, «зелёных»... И многие из них тоже пишут. И когда их работы читаешь, то нередко возникает ощущение... что грядёт не только конец истории, но вообще конец света. Да так ли уж страшен чёрт, как его малюют? Вероятно, страшен. Но ведь главное—не эти страхи, а победа над ними. Но... спустимся на землю. Французскую опять же. И поговорим в общем, но более конкретно—о французских духовных ценностях.

Русские, которые только начинают жить во Франции, ничего в этих ценностях—поначалу—не понимают. Родители носятся как оголтелые, дети «беспризорные», бабушка заводит собачку, с которой возится как с малым дитём, а внуков не видит годами. Соседи строят из себя порядочных буржуа, а у каждого по любовнице (любовнице) в шкафу. Подростки не имеют никакого уважения к учителям и при желании могут неполюбившегося учителя придушить или прирезать. Вокруг пропагандируется секс в неумеренных количествах, а потом взрослые спрашивают, почему нынче столько изнасилований. Личная жизнь каждого охраняется надписью «Осторожно, злая собака!», а если этому одиноличнику вдруг станет плохо—ему некуда податься, так как... у соседа точно такая же надпись. На работе из тебя выжимают все соки, но и запросто могут выгнать в шею... только потому, что патрону нужно пристроить мордатую

дочку, безмозглую курицу, в своё предприятие. Стариков (помимо их желания!) собственные дети отправляют в дома престарелых, а потом грызутся из-за раздела родительского имущества. Медиа пропагандирует красивую жизнь, красивых женщин и красивые миллионы (в виде выигрыша в суперигре или лото), а все табу общества так и остаются табу. Медики могут вас угробить, и никто им слова не скажет. Мирные пастыри занимаются педофилией. Политики «работают» по принципу «кто не успел, тот опоздал», и коррупция процветает во всех её формах. Правосудие выдаёт вердикты, которые противоречат всем статьям прав человека. А главное—всё подаётся под соусом истинной законности: «Свободы, Равенства и Братства»... Вот вам все очертания размалёванного чёрта во всех его аспектах: семья, работа, личная и общественная жизнь, любовь, честь, деньги, вера, клятва Гиппократ и клятва перед судом на Библии («Клянусь говорить правду, одну правду и только одну правду»)... И что же здесь видно? Какие современные деформации французской морали? И на чём основана эта деформация? Начнём с конца. На обратной стороне медали индивидуализма, того самого главного принципа тех самых провозглашённых Великой революцией прав человека, начертано: каждый человек имеет право... на всё. Прежде всего—на личную жизнь, на свой «секретный сад», как говорят французы. Двести лет бились французы за эти права. «Строили-строили и наконец построили!» Дом с личным садом, куда никто не имеет права без спроса сунуть свой нос. А если вам плохо? Оставляйтесь так же наедине с вашими проблемами. Если вы не разрешаете разделять ваши радости, почему кто-то обязан разделять ваши горести? В результате французское общество из «общества содействия за двести лет превратилось—к сегодняшнему дню—в общество индивидуальной ответственности». Каждый имеет в таком обществе право на всё. И каждый отвечает лишь за себя. И в этом есть своя положительная сторона—и огромная. Вы больше не зависите от вашего «клана». Вы не обязаны отдавать отчёт за каждое ваше решение и каждый ваш поступок перед кем бы то ни было. Ваша судьба—в ваших руках! Но... такая свобода, как оказывается, накладывает на человека слишком много ответственности. И далеко не каждый может вынести (и нести на себе всю жизнь) этот не виданный в былые времена груз. А с другой стороны, общественные институты—государство, школа, здравоохранение, система правосудия—в таком обществе снимают с себя ответственность за духовное, моральное и физическое здоровье своих граждан. Граждане, мол, судьба нынче в ваших руках, так что самовоспитывайтесь, саморегулируйтесь и самосовершенствуйтесь—каждый на свой вкус и по своим склонностям! И в этом

есть опять же своя положительная сторона! Потому что даётся зелёный свет разнообразию, разноцветию и вообще гигантскому развитию самых различных творческих способностей. Казалось бы: общество с такой концепцией должно бы уже процветать, построить рай на земле. Оно и процветает. С экономической, материальной точки зрения. Но тут же не забудем социальное неравенство, о котором мы уже столько говорили. Процветание общества в целом (не забудем, обогащение одних его членов и обеднение других) зиждется на «хищении»... того самого, более драгоценного, вишнёвого сада—сада Души. «Ребёнок растёт на асфальте и будет жестоким, как он»,—как писала прожившая 14 лет в Париже и его окрестностях М. Цветаева. И всё-таки...

Многие французы уже давно пришли к выводу, что, например, наука и научные применения в быту не влияют на улучшение качества жизни. Как бы вам это ни казалось парадоксальным! <...> И при этом развитие техники сегодня идёт семимильными шагами. Но почему же нет бывшего «столбняка» перед наукой и техникой? Что, «зажралась» французы? С жиру бесятся? А вот и нет. И дело здесь в том, что эта техника во многом не улучшает жизнь индивидуума, а наоборот... начинает выжимать из него все соки. И душу, естественно. Машина становится выше человеческого. Не он ею управляет, а она его ведёт по жизни. Парадоксально, но факт. Ведь цель бытовой и индустриальной техники первоначально была в том, чтобы облегчить тяжёлый ручной труд (не только в быту, но и на работе). Чтобы у человека было больше свободного времени на саморазвитие и самосовершенствование. На отдых. На путешествия. На занятия с детьми. На помощь другим, близким или нуждающимся... Вот утопия! Нереализованная, как всегда. Потому что опять же «хотелось как лучше, а получилось как всегда». А что получилось? Ручной труд уменьшился, а машинный—увеличился! Потому что человеку всегда мало, ему надо больше и больше. Лучше и лучше. Жажда материального обогащения, оканчивается, сильнее в человеке, чем жажда самосовершенствования, помощи близким, любовь и простые человеческие чувства. Всё приносится в жертву новому вампиру эпохи—машине, высоким технологиям. И конца и края этому нет.

Многие сейчас говорят во Франции, что француз уже этим истощён, и... всё больше и больше оборачивается он к древним, как мир, ценностям. Вновь идёт возврат «блудного сына» в семью... больше оборачиваются матери к материнству, в школе начинают всё больше заниматься воспитанием, а не просто вталкиванием информации в и так уже набитые неизвестно чем головы. Медиа начинает всё больше уделять внимание проблемам подростков, наркомании, проституции,

этническим конфликтам, возрождению веры, вообще поднятию на свет различных табу... Наконец, изгнанные было из обихода такие понятия и слова, как «добродетель», «нравственность», «этика», «честность» и «порядочность», «любовь», «солидарность», вновь получают в современном французском обществе своё естественное место. И не центральное ли?... И так хочется верить, что народятся скоро новые французские дети, с новой этикой—этикой после оргии. И может быть, новая французская мама, которая не будет больше куда-нибудь мчаться, вручая двухмесячного ребёнка сомнительной кормилице, тихо напоёт своему малышу «Песню над колыбелью»—того же В. Гюго:

Не бойся. Засни. Я на страже с великой любовью,
Уже над тобою склоняются добрые гении.
Я здесь. Не посмеют припасть к твоему изголовью
Дурные видения.

Когда ты сжимаешь мне руку своими руками,
Пусть яростный ветер нежнейшею сменится скрипкою,
Пусть тёмная ночь над твоими безгрешными снами
Зардеет улыбкою...

Красиво жить не запретишь...

Франция: богатые, средний класс, предметы категории «люкс»

*Урыбы не бывает первого и второго сорта.
Рыба бывает только свежая.*

М. Булгаков. Мастер и Маргарита

«— Ты вот всё жалуешься—муж у тебя жадный. А я смотрю, у тебя ванная комната вся заставлена самой лучшей косметикой, дочь—ещё сопливая, а вещи все «фирменные». Да вон и сумку новую приобрела, такая как минимум на триста «потянет».

— Да, «потянет». Хорошо бы, если бы меня муж так всё время одаривал: эту сумку мой муж взял в магазине у своего клиента. Тот не расплачивался за предоставленные ему в агентстве услуги, так он пришёл к нему в магазин, выбрал что подороже и ушёл. А дочь не он одевает, а его мамочка—у неё какие-то свои каналы, связи в сфере «от-кутюр». Вот она и старается. А потом таскает внучку на всякие дефиле, пытается пропихнуть в сферу... Да и вообще, у него как будто дела хуже стали идти, так что скоро мы с этой четырёхкомнатной квартиры съедем в двухкомнатную. И дом загородный он продаёт...

— Ну, тебе-то что-нибудь с этого дома перепадёт?
— Нет, конечно. У нас ведь «контракт о разделении имущества». И вообще, это иллюзия, что мы шикарно живём: у меня так вообще ничего, кроме детей, нет. А у него если и есть, то тоже вечно как на иголках—того и гляди, всё с молотка пойдёт».

«— Ну, как свадьба кузена твоего мужа? — Шикарно! Больше всего понравилась мне квартира: в одном из лучших районов Парижа, на последнем этаже, двести пятьдесят квадратных метров, с огромной террасой, на террасе — бассейн. Муж мой, конечно, не мог скрыть зависти: ведь кузен моложе лет на пятнадцать, а уровень жизни — выше. И представить только, что ещё их родители в молодости вообще ничего не имели, всё с нуля начинали — никаких аристократических или буржуазных корней. Из самой что ни на есть рабоче-крестьянской среды, но с большими амбициями, хитростью, жадностью, умением обвести вокруг пальца — прежде всего, конечно, закон... А то как же: «не обманешь — не проживёшь». Так родители что-то к пятидесяти годам заимели, накопили и детям кое-что дали. Правда, яблоко от яблони недалеко падает: мой муж, например, своего же собственного папочку не постеснялся потеснить. Сначала отец взял его в своё дело, научил, потом сделал «компаньоном»... А потом, когда появился вопрос о дележе прибыли, тут и началось... А кузен вовремя понял, что надо ехать работать в Америку. С его специальностью, с хорошим образованием он и здесь неплохо устроился (не у родителей, те не взяли его в «долю» — думаю, опыт моего свёкра их напугал, — но сына хорошо пристроили). Но ему хотелось — больше. Вообще, он любитель красиво пожить. Поэтому и женился поздно... Но чего им всем не хватает, так это настоящей культуры: все разговоры о сигарах, о вине, о женщинах, ну и, первым делом, о бизнесе. А в глазах вместо зрачков — калькуляторы...»

«— А зачем вы купили место в Спортивном клубе здесь, недалеко от Сант-Тропез¹?

— Чтобы видеть, как другие живут.

— Кто — другие?

— Знаменитости. Они же здесь вторичные резиденции, яхты понакупили. А знаете, как это интересно — сидеть в припортовых кафе и наблюдать: как они на яхты приезжают, как развлекаются, как дерутся, ругаются... А сколько автографов мы с женой уже насобирали! И вы не представляете, сколько это может стоить... лет через десять, двадцать.

— А вы эти автографы собираетесь продавать?

— А как же. Только у нас останутся «дубли». Ведь когда мы берём автографы, то обязательно по два: один — жена берёт, другой — я. А на эти деньги можно потом будет безбедно прожить остаток нашей брэнной жизни: яхты нам, конечно, никогда не купить, ни даже «мерседеса»... Так хоть посмотреть, как другие живут».

Сколько же этих других во Франции? То есть тех, которые могут позволить себе... многое, если не всё. Надо сказать, этих других не так уж и много.

Всего 6,2% активного населения (считая активный возраст с 18 лет).

Сколько нужно зарабатывать во Франции, чтобы попасть в категорию «богатых»? Считается, что более 54 000 евро в год на семью.

По тем же данным, среди семей, имеющих доходы более 54 000 евро в год (то есть среди этих 6,2% активного населения):

- 64% имеют доход от 54 000 до 70 000 евро в год,
- 27% — от 70 000 до 120 000 евро в год,
- и 9% — более 120 000 евро в год.

По тем же данным выходит, что только примерно 233 000 человек (или примерно 100 000 семей) имеют доход более 120 000 евро в год. То есть... 0,6% всего активного населения Франции. То есть это те, которых мы находим в последнем из приведённых выше примеров. То есть это те, которые могут позволить себе яхты, «кадиллаки», дома-зámки... и вообще всё лучшее.

Второй пример относится ко второй категории «богатых» (которые составляют всего 1,6% от всего активного населения Франции). То есть те, которые могут позволить себе покупку шикарного жилья — большого дома или большой квартиры в лучшем округе Парижа или районе Франции (но не зámка), «мерседес» (но не кабриолет или «кадиллак»), покупку произведений искусства (картин, скульптур... но всё-таки не Малевича, проданного за несколько миллионов долларов в Америке), снимать в отпуск отель высшего класса (но не иметь яхты) и т. д.

Первый пример — более «популярный». Эта категория «богатых» составляет около 4% активного населения Франции. Это лица, которые могут позволить себе... многое из того, что называется «люксом»: покупка вторичной резиденции (дом за городом), дорогая мебель, дорогие фирменные вещи типа «класс» не только себе, но и детям, посещение престижных мест, дорогая машина (но не «мерседес», не кабриолет и тем более не «кадиллак»). О зámках и яхтах этот «богатый» может, впрочем, только мечтать... так же, как и о квартире с бассейном на террасе. И при всём своём «богатстве» он может спать как на гвоздях и видеть страшные сны, в которых страшные кредиторы описывают имущество, а потом продают его с молотка.

Напомним, что во Франции, с другой стороны, 12% активного населения являются безработными (около трёх с половиной миллионов человек). Кроме того, примерно три миллиона работающих

1. Сант-Тропез — курортное место на Средиземном море, ставшее популярным после того, как там купила свою первую квартиру Бриджит Бардо. За ней потянулись сюда другие знаменитости — которые и собираются летом на собственных яхтах.

имеет низкий заработок, который причисляет их к числу «бедных»... В общем, к 12% безработных можно добавить ещё 12% живущих более чем скромно. Остальные—входят в разрез среднего класса (классы здесь имеются в виду по уровню жизни, конечно, а не по социальной принадлежности). То есть—около 70% активного населения Франции. И естественно, здесь тоже есть градации: одни категории приближаются к уровню «богатые», другие—к уровню «бедные».

Таким образом, выстраивается следующая лестница:

- 0,6% — «богатые»;
- 1,6% — средние «богатые»;
- 4% — ниже среднего «богатые»;
- 70% — средний уровень жизни;
- 20% (примерно)— «бедные»;
- 4% (примерно)— «бедные за уровнем прожиточного минимума».

В общем, выходит, что каждый четвёртый француз активного возраста—бедный, и каждый двухсотый—очень богатый. <...>

И всё-таки, несмотря на то что, казалось бы, немногие могут использовать услуги и предметы люкса, бизнес услуг категории «люкс» и предметов класса «люкс» во Франции процветает. Около 45 миллиардов евро в год составляют в данном бизнесе так называемые «деловые цифры» (*chiffres d'affaires*)! <...> Кто же всё это покупает? Ну, половина продукции уходит за границу, но надо заметить, всё больше Францию теснят другие страны, США и Япония прежде всего: пятнадцать лет назад Франция поставляла на международный рынок 75% продукции класса «люкс», сейчас—меньше 50%... Сильнее всего французы в областях: мода, от-кутюр, прет-а-порте, женское бельё, парфюмерия и косметика, хрусталь, бижутерия, сыры, шампанское и вина. А остальное? Кто же всё это приобретает, если средний класс работает только на нужды, а «люкс»—это то, что их уже превышает. И всё-таки... желание совершенного и прекрасного в человеке настолько сильно, что время от времени и средний француз попадает в категорию «богатых»: например, хоть раз в жизни он сходит в Гранд Опера... хоть через пятнадцать лет совместной жизни, но купит любимой жене дорогое украшение, хоть к пятидесяти годам, но приобретёт хорошую «крышу над головой» (а его дети уже купят недвижимость класса «люкс»)... В общем, конечно, и средний класс пользуется «роскошными» услугами и покупает «роскошные» предметы. Разница между ними и «богатыми» лишь в том, что, во-первых, в намного меньшем количестве (так, иногда можно себя «побаловать», тогда как у «богатого» это «в порядке вещей»—у него не может эклектично соседствовать «банальное» и «оригинальное»... свежая рыба и—второго

сорта»). И во-вторых, многие услуги и предметы «люкс» для среднего француза навсегда останутся недоступными—яхты, «кадиллаки», частные самолёты, замки, дорогие отели... <...>

Честь обязывает

Франция: буржуазия и аристократия

Мы все между собой кузены...

Известное среди французской аристократии и крупной буржуазии выражение

Они давно меня томили...

А. Блок. Сытые, 1905 г.

Но сытый, как известно, голодного не разумеет. Да и живут сытые (как и в прежние времена) своей клановой жизнью: за высокими заборами со злыми собачками (а порой и телохранителями), в своих кварталах, окружённые такими же сытыми и довольными; дети ходят в свои школы, где дружат с такими же детьми из тех же красивых кварталов; взрослые развлекаются (и по ходу ведут свой бизнес) в своих клубах, вступить в которые простые смертные не могут, на своих коктейлях, где собирается опять же свой бомонд, на своих же лыжных базах, куда стекаются всё те же сливки общества, и на своих пляжах на принадлежащих всё тому же бомонду островах... В метро этот народ не спускается, в дешёвые рестораны не ходит, а день у этих людей расписан по минутам: работают они, как и прочие граждане Франции, но больше, чем остальные, уделяют внимание всему тому, что выходит за рамки работы, что порой даже в большей степени, чем первое, влияет на... преумножение капитала, т. е. связям и всему тому, что им способствует, будь то покер, спорт, ипподром, приём в посольстве или коктейль на вилле, дефиле мод или конкурс красоты... И где же ему, вечно занятому (делами и интригами, в конечном счёте—преумножением богатства) и отгороженному (нередко с самого раннего детства) от прочего мира высокой стеной собственной виллы, видеть этот иной мир и тех... за счёт которых он, собственно, и живёт?... Но... попробуем заглянуть за забор, без зависти и любопытства, а с целью понять: что же это за мир современной французской аристократии и буржуазии (которые в сегодняшней Франции имеют тенденцию объединяться—через браки, и тем самым—через объединение и преумножение капитала)?

<...> В виде общего замечания скажем: на сегодняшний день в мире насчитывается около трёхсот самых богатых людей планеты, капитал двухсот из них равен заработку 2,3 миллиарда наиболее бедных людей планеты, а состояние трёх из них равно национальному богатству тридцати пяти

наиболее бедных стран, в которых проживает около 600 миллионов человек. Различие между самой высокой зарплатой в мире и самой низкой считается в 74 единицы (в 1960 году—было лишь 30). И огромную роль сейчас играют знания высоких технологий, программирования: «Не открытие золота, новых земель или управление машинами дают сегодня экономическую власть, а способность писать информатические программы и расшифровывать генетические коды» (из Мирового рапорта о развитии человечества, 1999). Впрочем, говоря о последнем, мы затрагиваем тему всё той же инфо-революции... которая породила собой появление новых богатых. Частью они выходят всё из той же среды буржуа—крупной или средней. Но большей частью поднимаются из «низов»: мелкой буржуазии, мелких служащих, коммерсантов... К этим нуворишам мы ещё вернёмся. Поговорим же для начала о старых власть держащих: аристократии и крупной буржуазии, которая уже насчитывает в себе не одно поколение.

Во-первых, чем определяется принадлежность француза к этим категориям? И это важный вопрос, т. к. сегодня наблюдается размытость классовых границ, об этом мы уже говорили в одной из глав второй части книги. Тем не менее, у вышеуказанных категорий есть ярко выраженные характеристики, которые можно было бы разбить на три группы—всё того же капитала:

1. капитал материальный (финансовый);
2. капитал социальный (связи);
3. капитал культурный (общий культурный уровень).

В одной из телепередач приводилась подобная анкета, по которой каждый телезритель мог определить, относится он к классу буржуа, а точнее было бы сказать, к классу крупного буржуа, или нет. А вопросы были следующие:

Капитал экономический:

- Имеете ли вы «портфель» ценностей движимости (акции...)?
- Имеете ли вы хотя бы одного человека домашней прислуги?
- Имеете ли вы, кроме вашей основной резиденции, хотя бы две другие вторичные (дом в деревне или студия в городе)?
- Входите ли в разряд людей, которые платят налог на имущество?
- Имеете ли вы собственность за границей?

Капитал культурный:

- Вы студент или бывший студент высшей школы, которая позволяет войти в состав государства

(имеются в виду высокие посты в правительстве, системе юстиции и т. п.)?

- Когда вы были ребёнком, ваши родители вас постоянно водили в музей?
- Ходите ли вы в театр, на концерт, в оперу как минимум раз в месяц?
- Покупаете ли предметы искусства и антиквариата?
- Говорите как минимум на двух иностранных языках?

Капитал семейный и социальный:

- Знаете ли вы имена ваших прапрабабушек?
- В детстве проводили ли вы ваши каникулы с вашими кузинами и кузенами в семейном доме?
- Участвуете ли вы в обедах как минимум два раза в неделю?
- Являетесь ли членом клуба?
- Есть ли у вас родственники иностранного происхождения?

Капитал символический

(дополнительный, но не обязательный):

- Ваше имя есть в журнале «Ботан Мондэн» (журнал специально для «высшего света»)?
- Улица(ы), в Париже или в другом месте, носит имя члена вашей семьи?
- Ваша семья имеет фамильный дом в деревне?
- Вы член каритативного общества?
- Вы член Легиона чести?»

Если француз ответил почти на все вопросы положительно, значит... он настоящий буржуа. Но уверены, что ответить положительно почти на все вопросы смогло лишь не более 6% населения Франции. Начнём с первого и, увы, как оказывается, для подобного определения наиболее важного: с капитала экономического, т. е. с денег. Именно они здесь определяют собой... всё остальное (капитал культурный, семейный, социальный и символический). Сколько нужно иметь денег (не говорим—«зарабатывать», потому что француз может родиться и уже иметь—от своих родителей), чтобы считать себя богатым? Оказывается, такой планки не существует, но, по одному из опросов, сами французы интуитивно определили эту планку в 300 000 евро. Т. е., как считает большинство из них, нужно столько иметь, чтобы начать входить в мир богатых. Но это ещё не говорит о том, что вы буржуа. Далее—для налоговой инспекции есть другие определения богатства: налог на имущество

вы начинаете платить, когда ваше состояние превышает 720 000 евро (в любом виде собственности — жилья, акций, личного предприятия...). Таких во Франции насчитывается на сегодняшний день около 200 000 человек. Среди них три четверти имеют состояние на сумму более 1 500 000 евро, 800 человек — более 15 000 000 евро, и несколько человек — миллиардеры. И «дискриминация» среди миллионеров тоже ярко выражена: так, самая богатая женщина во Франции (имеющая прямое отношение к известной всем русским женщинам марке «Л'Ореаль») является обладательницей состояния в более чем 10 миллиардов евро, а на пятьсот ступенек ниже находится, например, другая семья (и во главе — опять же женщина), обладающая «лишь» 21 миллионом евро. Что уж говорить о почти «нищих» богатых, обладающих своими несчастными 300 тысячами?..

Но почему денежный капитал «тянет» за собой все остальные виды капитала? Потому что всё неизбежно развивается в единой системе, одно притягивает другое. Так, все буржуа, старые или новорождённые (инфо-революцией), кучкуются в одних и тех же районах, округах, кварталах (в Париже, например, среди прочего, в 5-м, 8-м, 16-м, вокруг парка Мансо и т. д.). Туда же стекаются люксовая коммерция, люксовые рестораны, богатые банки, агентства, клубы... Наконец, именно там лучшие школы. Вспомним, во Франции в школьной системе наблюдается полная демократия: школа публичная, и родителям запрещено выбирать школу — ребёнок должен ходить в ту, к которой относится район, в котором живёт семья. Но всё это... иллюзия демократии. Потому что как только у француза появляются лучшие деньги, он покупает собственность в лучшем квартале, и его дети автоматически попадают в государственную, конечно, школу, но... в которой и высокий уровень преподавания, и дети из таких же культурных (и богатых) семей. Что уж говорить о семьях старых буржуа — для них это вообще отлаженная и привычная, устоявшаяся и вполне нормальная система.

Кроме того, есть для «особо одарённых» (то бишь особо богатых) специальные школы-пансионы. И здесь учащиеся не только обучают обычным наукам самой обычной школьной программы, но и, что не менее важно, правилам поведения. Есть, например, во Франции такой шикарный пансион — в Нормандии, где, даже если родители и заплатили за обучение огромные суммы, подростки подчиняются внутренним правилам учёбы и распорядка дня: так, запрещены потёртые и порванные джинсы, серьги в ушах у мальчиков и слишком короткие юбки у девочек. А на обед учащиеся должны переодеться, чтобы красиво выглядеть (цель — обучение поведению за столом). Уроки же французского языка отличаются

от обычного курса и тем, что учащиеся обучают... ораторскому искусству, если хотите: так, например, ответы учащихся записываются на плёнку, а затем обсуждаются вместе с учителем, который указывает на недостатки конструирования фразы, присутствие монотонности в голосе и даже некрасивое произношение отдельных звуков. После занятий дети занимаются самыми различными видами спорта... И всё направлено на развитие... коллективизма. Да, да, именно! Так как, выйдя в свет, эти дети должны будут прежде всего научиться налаживать связи: большое значение придаётся развитию у детей коммуникативных способностей, даже в ущерб глубине и интеллектуализму. Последнее в этой среде и необязательно: главное — быть в курсе всех событий (этого света) и иметь подвешенный язык.

Связи. Ребёнок уже с детства привыкает к этому: дома дружат с домами, матери водят группами детей в музеи и прочие культурные места. Боссы-мужчины объединяются в клубах самой различной деятельности — от покера до гольфа, где также продолжают... развитие своего бизнеса. Кстате, о женщине и её роли в среде буржуа. Многие (если не большинство) из них работаю. Но основная роль женщины в этой среде всё-таки не добывание денег, а... коммуникация и роль матери (опять же — с целью увеличения своего клана). Это она устраивает коктейли, это она служит «сексуальной» приманкой в любых аферах, это она занимается передачей семейного капитала детям и внукам, рассказывая с самого детства о замечательных предках и тем самым воспитывая уже в ребёнке сознание коренной принадлежности к роду и сознание... обязанностей и долга перед родом и живущим кланом. Наконец, это она «про-воцирует» полезные браки своих детей. Говорят, что браки по расчёту ушли в прошлое. Как бы не так. Потому что в этой среде... всё просчитано. Так, матери тщательно выбирают друзей своим детям (избегая приглашать в гости нежелательных родителей с их детьми, которые, по их понятиям, не входят в нужные круги, а позже «засовывая» своих чад в престижные колледжи и лицеи и пристально следя за тем, с кем дружит подросток дочь или выходящий из повиновения сын). Выводят их в свет опять же в нужные места, вроде посольств или свадеб знаменитостей, где молодая девушка (или юноша) и знакомится с будущим претендентом на руку. Она-то думает, что выходит замуж по любви. Что нередко и бывает. Правда, не знает она, сколько трудов за этим браком стояло — прежде всего её горячо любимой мамашки... В общем, у женщины этой среды забот полон рот: не надо забывать и то, что, как правило, это мать большого семейства. Парадоксально, но факт: на дальних точках какие-то процессы мистически сходятся. Так, самое большое количество детей

наблюдается в этом обществе у класса пролетариата (продолжающего деградировать) и у класса буржуазии (продолжающего процветать). Только причины этого совершенно разные: у первых — от безысходности и желания хоть в этом найти «счастье», у вторых — с целью преумножения и укрепления клана и его верховных позиций в обществе. Но как преумножить материальный достаток, когда ещё Наполеон в 1804 году изменил права наследования, и с тех пор каждый ребёнок имеет равные права на семейный капитал (до этого — только старший, остальные практически ничего не получали, и через это сохранялось, а не дробилось родовое добро)? Ведь получается тогда: чем больше детей в буржуазной семье, тем больше шансов раздробить начальный капитал? Поэтому... и говорят в этой среде: «Мы все здесь кузены». Чувство самосохранения подсказывает этим людям: чтобы сохранить (и преумножить) накопленное, надо... жениться на близких родственниках, тогда всё добро будет сохраняться в общем клане. И во Франции не запрещены браки между двоюродными-троюродными братьями и сёстрами. Вдумайтесь: кому этот закон нужен, кроме буржуа? А потом кузены следующей ступени женятся на кузинах следующей и т. д. и т. п. В результате оказывается... что все они какие-нибудь родственники между собой, хоть седьмая вода на киселе.

А далее... опять же связи. И чем они дальше, тем лучше. То есть дальше в смысле их интернационального расширения. И здесь стоит упомянуть о... записных книжках. Тех самых, с адресами и телефонами. Большинство людей их имеют — во всяком случае, те, кто живёт в городах. Но записные книжки буржуа (и аристо) очень отличаются от записных книжек простых смертных. Во-первых, своим объёмом — порой это настоящие книги-талмуды в нескольких «томах». (Так, в «Социологии буржуазии» авторы приводят характерный пример: один французский аристо имел четыре таких книжки, каждая форматом в школьную тетрадь и объёмом в сто страниц. Одна посвящена Парижу, Лондону и Нью-Йорку, вторая — с адресами-телефонами в Италии, Испании и Греции, третья объединяла связи в Германии, Швеции, Швейцарии и Бельгии, и четвёртая — страны Восточной Африки.) И во-вторых, тем, что эти книжки передаются по наследству, и поэтому в глазах иного буржуа, получающего в наследство дела своего папочки, они могут являться большей ценностью, чем тот же переданный по наследству антиквариат или предметы искусства. Кстати, о последнем. Буржуа (и аристо) — первые покупатели антиквариата, картин, скульптур и прочих редкостей. Но не думайте, что все они такие уж большие специалисты в этой области. Да и когда им изучать предметы старины и историю искусства:

мужчины ведут бизнес, женщины занимаются воспитанием и расширением клана. Поэтому, дабы не лопухнуться при покупке редкостей и предметов искусства, нанимают они экспертов... в общем, и здесь всё схвачено. Но в виде ремарки скажем: не все буржуа это делают, и напрасно. Потому что жадность ведь, как известно, губительна (а эксперту надо платить, и недёшево): и так порой придёшь к таким людям домой, помотришь на стены, увешанные малоценной или даже дорогой, но всё равно пошlostью, и станет как-то грустно. Но сам этот буржуа порой понятия не имеет, что он повесил на стену: ему нравится, и баста! Кто в доме хозяин?.. Так что, говоря о культуре в среде буржуа (и аристо), необходимо сделать оговорку: эта особая культура, очень отличная от культуры так называемой интеллигенции, и в ней свои, отличные от последней этические и эстетические ценности.

Упор в ней делается не на интеллектуализм и прочую научную «заумь», не на поиски справедливости, добра и сострадания, а на некий средний, но хороший общий культурный уровень, когда молодой человек или девушка, вступающие в жизнь, должны всё-таки знать культурные минимумы в области истории, географии, литературы, законодательства и права, чтобы не выглядеть при каком-нибудь очередном приёме в посольстве полным идиотом... Второе: ценится знание языков (опять же с грядущей целью поддержания и расширения международных связей). Так, ребёнок ещё только родился, а к нему уже приставляют няню и позже гувернантку, говорящих на английском и немецком (или итальянском) языках, причём желательно, чтобы этот язык был для неё родным. Третьим и, пожалуй, самым важным в этой культуре является умение чётко, правильно и красиво излагать свои мысли. Большое внимание уделяется владению речью. Кроме того, ценится умение вовремя вставить в разговор шутки-прибаутки и невульгарные анекдоты, вовремя перескочить с одной темы на другую и вовремя повернуть ход беседы в нужное вам направление. Ну и, наконец, манеры. Те самые, которые так не любил известный Шариков: «Всё у вас пардон да мерси, нет бы по-простому, по-нашему». И как вам ни покажется это странным, но в его словах есть доля правды. Потому что нередко за этими манерами французского буржуа (и аристо) стоит внутренняя пустота или безразличие к вам и вообще ко всему, что находится за стенами родного замка. «Свет не прощает заблуждений, но тайны требует для них». И сколько раз обращался к этой теме манерности высшего света французский кинематограф, сколько раз жестоко иронизировал! Самым интересным режиссёром, работавшим над темой буржуазии во Франции, является, конечно, Клод Шаброль, сам выросший

в этой среде и хорошо знающий все положительные и отрицательные её стороны. В том числе — и её мораль. Мораль клановости (а все «чужаки» отторгаются). А это значит, что человек в этой среде всегда на виду и всегда как бы отдаёт отчёт перед предками и перед кланом. То самое — «честь обязывает». И это, конечно, уже с детства накладывает на буржуа ряд обязанностей перед этой средой. Ответственность за судьбу клановых денег и прочих, в том числе культурных и социальных, ценностей. Но тут же мы обнаруживаем, что это мир цинизма, в котором уже подростки видят свою «исключительность» и презрительно относятся ко всему остальному миру, считая порой, что им принадлежит управление судьбами людей и вообще они всё могут купить, вплоть до женщины и любви. Наконец, амбивалентное у этих людей отношение к работе: с одной стороны, презрительное отношение к труду, а с другой, уже с детства развивается чувство долга и отношение к работе как к необходимому грузу, который наследник вынужден — нравится ему это или нет — нести на своих плечах; поэтому настоящий буржуа — это человек, у которого нет ни одной свободной минуты, он постоянно занимается «делами»... даже тогда, когда, как это может казаться, он отдыхает — в часы досуга или на приёмах. Увы! И в бассейне, и на горных лыжах, и на коктейле — везде он работает. Это, несомненно, утомительно. Поэтому... многие из них сбрасывают негатив, либо удаляясь в дурман наркотиков, либо углубляясь в постельные игры с очередной подиумной красоткой... А вместе с тем нет более религиозной среды, чем среда буржуазная! И это уже без всякой манерности. Правда, эту сторону морали берут на себя не вечно занятые мужчины-боссы, а женщины — матери большого семейства, которые обучают детей катехизису и водят их по воскресеньям в церковь. Они же нередко входят в различные гуманитарные и прочие каритативные ассоциации по помощи бедным. А и те, и другие время от времени участвуют в различных благотворительных акциях. Самой знаменитой из них является Бал Розы в Монако: собираются туда «избранные», веселятся-гуляют (здесь же обсуждают свой очередной бизнес или просто кто к кому приедет на виллу под Ниццей), а Красный Крест собирает с Бала благотворительные миллионы... Заметим же, по ходу: щедрость эта не всегда идёт от души, а нередко... от простых расчётов. Дело в том, что чем больше «избранный» участвует в различной благотворительности, тем меньше он платит госналогов, и случается, что более выгодно отдать в какую-нибудь каритативную ассоциацию «лишний» миллион, чем платить госналог на имущество, который может оказаться значительно больше. В общем, всё едино: всё равно эти деньги «отбурт», так пусть лучше... где-нибудь напишут,

что мадам или месье Икс пожертвовали средства для униженных и оскорблённых.

Ну а аристо? Чем он отличается от современного буржуа? И вообще, существует ли она в реальности — французская аристократия? Аристократия во Франции была упразднена во время Великой революции 1789 года, и в современной Франции юридически аристократия как класс не существует. Это не значит, что всех их во время той революции перестреляли и перевешали, — просто... отняли все привилегии и имущество. Но не у всех. Часть смогла приспособиться, перейдя в клан буржуазии, то есть прогрессивных в тот период людей, которые переводили страну на новые рельсы индустрии и банковской системы. В общем, кто мог спастись, тот избежал печальной участи гильотины. Сегодня во Франции насчитывается около 4 000 семей аристо (до Великой революции было 17 000). А если к этому прибавить тех французских, которые имеют типично аристократические фамилии (но, увы, не имеют материальных средств своих знаменитых предков), то в этом случае во Франции насчитывается около 10 000 таких семей. И в общем-то, это немало. Другое дело, что у них сегодня нет никаких привилегий, разве что эти привилегии возникают сами собой, как естественные следствия всё тех же вышеуказанных естественных причин (т. е. материальных средств). Хотя странным образом даже сейчас сохраняется в народе какое-то особое почтение к этой высшей «касте». Например, приезжает аристо (который так же, как и буржуа, занимается сегодня каким-нибудь делом) в свой полузаброшенный замок, заходит в булочную, а его пожилой булочник приветствует: «Бонжур, месье маркиз. Давно мы вас не видели. Добро пожаловать...» И маркиз (или барон, или граф — все эти титулы ещё сохраняются во Франции) не станет махать руками: бросьте, мол, какой я вам маркиз... Так, одному приятно носить фантомный, ничего не значащий ныне титул, другому — лобызать руки. Но надо заметить, что титулы умело использует буржуазия: так, например, существуют различные клубы, в которых девяносто процентов буржуа и несколько членов аристо, но в президенты клуба обязательно выдвигают аристо с титулом. Вроде дать лицу клуба больше престижа. Кроме того, любят буржуа соединяться с аристо браками: да так, ни за чем, опять же ради благородства и фамилии, которая, может, перейдёт к детям и внукам, — ведь с материальной точки зрения нередко этот аристо даже намного ниже буржуа, так что с него взять — с точки зрения материального капитала? Зато он обладатель символического капитала, что может поднять престиж семьи и клана. И вообще, говоря об аристо и буржуа, хочется сказать, что вот ведь как всё странно повторяется в истории: отобрали у аристо его привилегии — и всё для того, чтобы через двести лет самим (то есть классу

буржуа) превратиться в таких же новых аристократах с теми же (отобранными у бывших избранных) привилегиями! И ведь как эти семьи и кланы буржуа теперь держатся за свои корни, свои такие молодые (всего-то двести лет) генеалогические древа! Как презрительно относятся к чужакам. И понятно — почему: они разрушают привычный ход событий. Эти нувориши врываются в их мир, и — неясно, как на их появление реагировать. А старая буржуазия, вся целиком построившая своё состояние на индустриальной революции, индустрии и банковской системе, теперь теряется перед новой угрозой нового века — угрозой информатики. А там творят, действуют и злодействуют какие-то новые люди, вышедшие из каких-то «низов», которые уже явно «грозятся» «догнать и обогнать». А почему бы самому этому буржуа из старых индустриальных семей не конвертировать себя в новую веру и не занять побыстрее места этих «пришельцев»? Тем более что всё, казалось бы, у них для этого есть — материальные средства, лучшие школы, лучшие вузы, связи. А у «тех», казалось бы, ничего этого нет, и ан поди ж ты! А дело-то здесь всё... в Духе. И когда он коррумпирован и (или) находится в состоянии застоя, то никакие связи и лучшие школы не помогут. Ведь в какой-то момент наступает деградация рода — всё идёт как по маслу, сыну не нужно думать (самому!) о своём будущем: когда надо, его засунут в лучший колледж, потом — будет надо — в лучший вуз, потом найдут ему лучшее место в банке, коммерции, системе правосудия... За него уже всё решили. У старой буржуазии старые, хорошо отлаженные каналы, и чтобы перестроиться, ей нужны годы, может быть, десятилетия. А время не ждёт. Что же касается среднего класса, то у него, в отличие от класса крупной буржуазии, сильно развитое *ego* (индивидуализм) — в ущерб клановому коллективизму, и такой человек (среднего класса) никому ни в чём не отдаёт отчёта, он понятия не имеет, что такое «честь обязывает», но зато он полагается лишь на себя и свои личные способности и таланты. Поэтому он и не может работать кое-как, вразвалочку, что нередко может себе позволить молодой буржуа, который знает, что всё равно он не пропадёт — за его спиной состоятельные родители и вообще все эти «тёти» и «кузены». Так, приход информатики открыл дорогу не для дальнейшего обогащения буржуа, привыкшему к старым методам организации жизни своего клана, а новому поколению, выходящему из средних слоёв французского общества, которое — за счёт своих технических знаний, талантов, умений и способности много работать — резко вырывается сегодня вперёд. Интересно, между прочим, что эти люди так много времени отдают работе, что забывают о пресловутых связях: они намного меньше времени уделяют внерабочим контактам,

но это лишь говорит о том, что они находятся сегодня... на первичной стадии обогащения — им пока не до беготни по коктейлям, они вкладывают максимум энергии и даже настоящей страсти в информатические поиски. В общем, что сказать: новый гениальный ребёнок родился на свет, но не все в этом обществе могут приветствовать его появление!

Но неужели это общество высшего света такое закрытое в себе? Неужели нет людей, которые богатеют и попадают в конце концов в этот круг? Есть, конечно, такие люди, и проникнуть туда можно и самому обычному простому французу. Например, став большим спортсменом и чемпионом. Или как Софи Марсо или Сандрин Боннер (известная российскому зрителю по фильму «Восток-Запад»), которые вышли из бедных рабочих семей и стали известными актрисами. Или став популярным певцом (певицей), известным архитектором, телеведущим, модным писателем или модельером. Но даже и тогда такой француз не становится настоящим буржуа, с характерными для этого класса моральными ценностями. Поэтому многие из этих людей чувствуют себя рядом с окружающими его буржуа явно не в своей тарелке. Именно поэтому можно услышать здесь совершенно неувидительные истории вроде этой: супружеская пара (около 45–50 лет) выиграла в лото несколько миллионов (кажется, около 5 миллионов евро), но не изменила ни своей жизни, ни своих привычек: по-прежнему оба ходят на работу, живут скромно, как и прежде, только больше стали путешествовать, лучше питаться и одеваться, купили небольшой домик с садом... Ненормальные! — скажет иной читатель. — Да и бы на эти деньги... Не знаю, как бы использовал эти деньги читатель, но причины поведения этой пары вполне понятны: всю жизнь, до 50 лет, они прожили простой жизнью, и как в таком возрасте вдруг изменить... социальный статус? Ну, купят они шикарный дом в шикарном квартале, а дальше что? Весь квартал будет их существование игнорировать, а старые связи (с простыми людьми) будут утеряны. И вся их жизнь превратится в кошмар: нужными манерами, знаниями и привычками буржуа они не обладают, а научиться этому в таком возрасте просто невозможно. Открыть своё предприятие они также не захотели, т. к. не имели никакого представления ни о том, в какой области работать, ни вообще как такой машиной управлять. А главное, зачем?! Зачем тратить на это столько сил и энергии, когда знаний нет, пенсия на носу, а денег хватит и детям, и внукам, и ещё останется... А в другой раз выиграла одна дама тоже большую сумму в лото, но решила иначе распорядиться деньгами: купила себе шикарный дом (в таком же квартале, надо полагать) и... наняла себе учителя музыки,

который обучает её игре на фортепиано и даже петь. Это была мечта моего детства, сказала она в одной из телепередач. Ну, что сделаешь, у богатых свои капризы. Только отрезвление от первичной эйфории придёт, несомненно, позже, тогда, когда она наконец поймёт, что является в этой среде (которая не желает её принимать в свои ряды) просто белой вороной... Впрочем, может быть, она купила себе небольшой замок с парком или даже лесом— всё подальше от загазованной цивилизации. А замки время от времени продаются: аристократией идут на такую жертву. Потому что приходится платить большой налог на имущество и на землю, а содержать такие дома и поддерживать в чистоте и порядке— очень дорого, и случается, что никто в них уже давно и не живёт. И таких запущенных замков во Франции немало, замков-фантомов. Замков, которые между тем продают, а сердце кровью обливается. Потому что такой замок или фамильный дом— это, в некотором смысле, символ. Символ данного рода, в нём жива история его, и многие так и предпочитают платить налоги за дом-фантом, чем предавать эту память земле. Однако не всегда; чаще фамильные дома продаются всё с той же целью получения своей части счастья— пусть и маленького, но своего куса пирога, как в подобной, довольно классической, истории:

«— У нас был фамильный дом на берегу Атлантики, в котором когда-то мы все, тогда ещё дети, кузены и кузины, собирались.

— И где же этот дом сейчас?

— Продан.

— Почему?

— Потому что когда бабушка и дедушка, которые там жили, умерли, то их дети и внуки не знали, как этим домом распорядиться и как всем им теперь за него платить (налоги, ремонт...). И продали, а деньги поделили— получилось каждому «по евро». Зато поровну. Глупо. И многие потом об этом пожалели. Потому что нет больше места, где все могли бы собираться, хотя бы два раза в год, как это было раньше,— на Рождество и летом, на каникулы или в отпуск. Да и вообще этот дом нас как-то связывал, а после его продажи словно что-то случилось: все родственные связи постепенно распались.

— Да... После драки кулаками не машут.

— Да, конечно. Но это было нашей общей ошибкой».

Ну а другие замки-фантомы стоят, как, например, заброшенный дом известного всем российским телезрителям «Фанфана-тюльпана» (Жерара Филиппа), и не продаются— может быть, ещё и потому, что... страшно жить в доме человека, уже давно ставшего легендой мирового кинематографа.

А дальше— тишина

*Франция: русское кладбище,
поминки по-французски и по-русски*

Если француз, несмотря ни на что, всё-таки твёрдо стоит на своей горизонтали, то у русских почему-то наблюдается странная тяга к вертикали. Это замечал, например, Иван Бунин, которого, так же как и многих других русских писателей и поэтов, вдохновляли... кладбища. «Страсть к кладбищам— специфически русская черта»,— говорил он Ирине Одоевцевой. И характерно, например, что практически все русские туристы в Париже желают посетить знаменитые парижские кладбища (Монмартр, Монпарнас и Пер-Лашез) и русское кладбище, которое находится за пределами Парижа,— Сент-Женевьев-де-Буа. Помнится даже и мне, как моя собственная мама, пожилая уже женщина, с трудом и одышкой ходила по душному и жаркому Парижу (дело было в августе), музеям, а подняться на Эйфелеву вообще было для неё целым подвигом... Но как всё изменилось, когда мы приехали с ней на кладбище Монмартра! Она могла ходить-бродить здесь часами и не жаловаться ни на боли в спине, ни на усталость... В общем, такой мистической страсти к кладбищам действительно не наблюдается ни у каких иных гостей столицы.

Всех русских тянет, конечно, съездить на русское кладбище— Сент-Женевьев-де-Буа. Здесь более 10 000 русских захоронений (а в каждом захоронении случается и по несколько мест). Напомним, впрочем, что, среди многих других известных имён, здесь похоронены: писатель, лауреат Нобелевской премии Иван Бунин (1870–1953), художники Сергей Шаршун (1888–1975) и Константин Коровин (1861–1939), писатели Иван Шмелёв (1873–1950), Борис Зайцев (1881–1972), Дмитрий Мережковский (1866–1941) и Алексей Ремизов (1877–1957), бард Александр Галич (1919–1977), поэты Георгий Иванов (1894–1958) и Борис Поплавский (1903–1935), балетмейстер Сергей Лифар (1905–1986), философ Николай Лосский (1870–1965), критик искусства Сергей Маковский (1877–1962), актёр немого кино Иван Мозжухин (1887–1939), приёмный сын М. Горького и брат Якова Свердловца Зиновий Пешков (1884–1966), балерина Ольга Преображенская (1871–1962), великий князь Андрей Владимирович (1879–1956) и его жена, бывшая балерина Императорского театра (и любовница Николая I до его вступления на престол и венчания) Матильда Кшесинская (1872–1971), художница Зинаида Серебрякова (1884–1967), экономист Пётр Струве (1870–1944), писательница Надежда Тэффи (1875–1952), кинорежиссёр Андрей Тарковский (1932–1986), один из главных участников заговора и убийства Распутина 30 декабря 1916 года князь Феликс Юсупов (1887–1967), отец Василий

Зеньковский (1881–1962), балетмейстер Нуриев... А рядом князья, принцессы, офицеры, казаки, наконец... В общем, есть о чём по ночам им вести беседы, спорить... и под утро мириться.

Но много русских, в том числе и известных, разбросано по другим кладбищам — в Париже и в других городах Франции. Так, на Монпарнасе нашли своё последнее пристанище публицист и социолог Пётр Лавров (1823–1900), князь Иван Гагарин (который первый напечатал «Философские письма» Чаадаева в 1862 году за границей, в России они были запрещены до 1905 года; 1814–1882), убитый в Париже Семён Петлюра (1879–1926), художник, друживший с Модильяни, Шаим Сутин (1894–1943), скульптор Осип Задкин (1890–1967).

На парижском кладбище Пер-Лашез покоятся знаменитая оперная певица Фелия Литвина (1860–1936), декабрист Николай Тургенев (1789–1871), государственный советник, друг Пушкина Иван Яковлев (1804–1882), графиня Софья Трубецкая (1838–1896), украинский анархист Нестор Махно (1899–1934)...

На кладбище Монмартра находится могила генерального балетмейстера (проведшего последние годы своей жизни в психиатрической клинике) Вацлава Нижинского (1890–1950).

А далее — «разбросаны» наши соотечественники по всей Франции.

На кладбище Булонь-Билланкур (92-й департамент, недалеко от Парижа) мы найдём захоронение писателя и философа Льва Шестова (1866–1938), на кладбище Батиньоля (Париж, 17-й округ) покоятся художники Лев Бакст (1866–1924) и Александр Бенуа (1870–1960). Здесь же было захоронение Фёдора Шалапина (1873–1938), останки которого позже были перевезены в Москву, на Новодевичье.

Художники Михаил Ларионов (1881–1964) и Наталья Гончарова (1881–1962) упокоены в Иври-сюр-Сен (район Валь-де-Марн). На кладбище в Нёи находятся могилы композитора Александра Глазунова (1865–1936) и художника Василия Кандинского (1866–1941). В Гамбэ (район Ивлин) — художницы Сони Делонэ (1885–1979). На кладбище Тиэ (Валь-де-Марн) — писателя Евгения Замятина (1884–1937) и сына Льва Троцкого Льва Седова (1906–1938), погибшего за два года до убийства своего отца (20 августа 1940 года).

В Каннах, на кладбище Гран-Жа, покоится Ольга Риц Пикассо (урождённая Хохлова), балерина дягилевской труппы и первая жена художника Пикассо.

На кладбище в Сульце одиноко, вдали от своих соотечественников, спит вечным сном сестра Натальи Николаевны Гончаровой, жены Пушкина, Екатерина Гончарова (1811–1847) и муж её Жорж-Шарль де Геккерен д'Антес, смертельно ранивший Пушкина на дуэли, переживший свою жену на 48 лет...

И многих известных мы, конечно, выпустили из виду, да простят они нас. А сколько простых русских покоится под французским небом!..

Вероятно, более приятно представить свои останки среди всё-таки своих же. Но если вы русский во Франции, это ещё совершенно не значит, что по (неизбежной рано или поздно) вашей смерти вас тут же упокоят на Сент-Женевьев-де-Буа. Потому что... добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён! И хоронят нынче на том кладбище всё больше французов, чем русских. У русских же есть шанс попасть в знаменитую компанию лишь по трём каналам: 1) если у него уже есть там захоронения близких родственников; 2) если он сам знаменитый (а у близких покойного есть достаточно средств, чтобы купить там место); 3) если этот русский в течении длительного времени живёт... в Сент-Женевьев-де-Буа. Поэтому многие русские, подходящие к вопросу смерти одновременно философски и прагматически, переселяются к концу дней своих (то есть к старости) в Сент-Женевьев-де-Буа. Правда, и этого недостаточно. Нужны ещё и достаточные материальные средства. Потому что всё в этой французской жизни подвергается страхованию — начиная от здоровья и кончая имуществом, кроме... вашего окончательного ухода. Поэтому проводы к последнему пристанищу проводятся в таком обществе за свой счёт. И стоит это «удовольствие» достаточно дорого. Конечно, как пел Высоцкий, самого покойника квартирный вопрос больше не трогает, но это... как сказать. Ведь кто его знает, как он себя чувствует, лёжа во французской земле, но окружённый своими, или на каком-нибудь никоме из его живущих соотечественников неизвестном кладбище в каком-нибудь Сульце, куда народная тропа давно заросла...

Но вернёмся к жизни. Сколько? Сколько нужно накопить, чтобы по смерти вашей всё было «как надо», как говорят французы, и чтобы оказаться там, где вам всё-таки больше по сердцу?

Чтобы было «как надо», нужно примерно 10 тысяч евро. Это затраты, которые идут на, простите за подробности, обмывание и одевание, гроб, венки и памятник (небольшой, скажем прямо). Прибавьте к этому собственно поминки (русские предпочитают дома, французы в ресторане, и эти расчёты зависят от количества «приглашённых», но меньше чем 1000 евро здесь не обойтись). В расходы эти не входит оплата услуг катафалка, за съём автомобилей (при необходимости), а также за отпевание в церкви. В расходы эти также не входит... собственно место. И здесь всё зависит от ваших желаний. И самого места (где оно находится). Так, например, если вам хочется упокоиться на Пер-Лашез, приготовьте от 12 до 70 тысяч евро (в зависимости от типа места и типа «контракта»: то есть чем длительнее, например,

купленный срок захоронения, тем это дороже; если предусматривается, что это будет семейное захоронение—о себе ведь тоже надо подумать близким родственникам,—то это опять же стоит дополнительных средств и т. д.). Кроме того, если вы не живёте в прилегающем к Пер-Лашезу округе, то вам нет и соответствующих для «окруженцев» скидок, и такое захоронение будет стоить опять же намного дороже...

В общем, умирать, конечно, француз (или живущий во Франции русский или другой иностранец) может, когда ему заблагорассудится, но при такой беспечности он также знает, что всё «как надо» может в самый ответственный момент и не быть... если, конечно, он не безумный гений Нижинский, за которого побеспокоились любящие близкие.

Вообще, у современных французских наблюдается странное отношение к смерти. Вернее, не просто у французского общества, а у целого французского общества. Такое ощущение, что это общество пытается её... не замечать. Словно это что-то ненормальное, опасное, стыдное—в общем, неприемлемое для общества, где пропагандируется процветание и так и верится, что всё вокруг цветёт и пахнет... Но ведь даже цветы на балконе приходится менять каждую весну, потому что они живут-цветут лишь один сезон. И этот баланс рождения-смерти наблюдается во всех сферах жизни: одни предприятия банкротятся, другие нарождаются; новые технологии приходят на смену старым поколениям, выходящим из строя, снимаемым с производства; города сотни раз перестраиваются, одни дома разрушают, на их месте возводят новые или устраивают парки; одни модные тенденции сменяют другие; одни газеты и журналы умирают, съеденные конкуренцией медиа, другие тут же нарастают, как грибы; наконец, в самом человеческом организме одни клетки умирают, другие освежают собой кровь, организм, мозг... Смерть постоянно присутствует в жизни, и если бы этого не было, сама жизнь была бы похожа на перманентный застой. И тем не менее, что касается человеческой смерти, то французское общество продолжает делать вид, будто её нет. Поэтому, например, показывать свою боль по поводу потери близкого, любимого человека в таком обществе оказывается... неприлично! И каждый такой француз вынужден переживать потерю в одиночку. Не все такое испытание могут выдержать, потому что, как оказывается, простое человеческое сочувствие и настоящее, а не показное соучастие облегчает такому человеку страдания. Именно поэтому в былые времена провожали человека в последний путь «хором», всей «деревней», и все вольно или невольно участвовали в этом, гласно или негласно, зримо или незримо, помогая родным и близким этой мистической поддержкой. Сегодня же такие проводы (с шествием через селение или город,

музыкой и плачем) во Франции везде запрещены. Дабы не возмущать общественный порядок и вообще... не портить людям, которые не имеют к вашему горю никакого отношения, настроение. А может, всё-таки имеют?..

Случается, что такие французы, преждевременно потерявшие очень близких людей (молодых родителей, супруга(у), ребёнка), просто... психологически ломаются. Потому что вдруг открывают совершенно иной мир вокруг себя: они вдруг видят, что никого—ни знакомых, ни коллег—их горе не интересует и не волнует. Не находится порой ни одного из ближнего окружения, кто оказался бы способен взять на себя часть этой потери в виде простой человеческой поддержки. У всех сразу появляется куча неотложных дел, куча, которая, конечно, до завтра подождать никак не может. Некоторые из таких «бедных родственников» идут за помощью... к психологу! Да, да, именно. Платят деньги за «сеансы психического восстановления», на которых они, собственно говоря, просто-напросто изливают душу (тем и «вылечиваются»). Но есть и такие, которые... решают отправить вслед за безвременно ушедшим. Другие месяцами не вылезают с кладбища, сидят у плит и разговаривают с покойным, как с живым... В общем, все эти люди в той или иной степени приближаются к пропасти безумия.

Надо заметить, сами кладбища во Франции всё менее и менее «мистичны» и сакральны. И в этом тоже своеобразное веяние эпохи: развенчаем смерть и вообще весь потусторонний мир! Так, развенчание это выражается, например, в том, что не отводится больше для него особое место, тихое и вдали от населённого пункта. А нередко теперь находятся они и в черте города, и, что очень характерно для Франции, например, у железнодорожных полотен! День и ночь несутся-грохочут мимо поезда: спите с миром, дорогие предки! Нет на самих кладбищах (особенно современных) деревьев, всё как-то голо, пусто, гулко, открыто (на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа целые рощи—и тишина неопишущая...). И что также характерно для современного захоронения, так это его... бетонность. То есть останки опускаются не в могилу собственно, а в выложенный бетонными плитами могильный домик! И до чего только атеисты не додумаются! В общем, не в землю, из которой человек вышел, француз возвращается, а в бетонный тюремный ящик.

И лишь 51% французских желает быть похороненным по церковному обряду; так, стало быть, в половине случаев он не совершается!

Ну а проводы и поминки? А это ещё одна история. Приведу пример из жизни: проводы по-французски и проводы по-русски (во Франции). И надо сказать, разница здесь большая, да и вообще сами проводы, как лакмусовая бумажка,

высвечивают человека со всеми его достоинствами и недостатками, а также являются ярким выражением человеческого менталитета и эмоциональности.

Вот вам первый пример. Проводы пожилой женщины, у которой остался, также пожилой, муж, но детей у них не было, однако родственников предостаточно. Так как же, вкратце, происходят проводы по-французски?

В двенадцать (или в другой указанный момент) все родственники собираются у церкви, где должно пройти отпевание. Все к данному часу собираются (каждый приезжает на своей машине). Потом приезжает катафалк, все следуют в церковь, рассаживаются (т. к. это католическая церковь, там принято сидеть), слушают слово пастыря. . . в конце каждый должен подойти к гробу (закрытому, конечно) и плеснуть на него святой водой в виде креста. . . затем процессия, так же тихо и со скорбным видом, медленно движется на кладбище: все едут на своих машинах вслед за катафалком! Здесь происходит прощание. Затем гроб опускается в бетонную клетку. Все проходят рядком; кто хочет, может остановиться над могилой, прочесть молитву (подходящую для данного случая). Последним отходит муж покойной.

Затем все разъезжаются по домам родственников, которые живут поблизости, т. к. до ужина в ресторане ещё часа два. Вот где наконец можно увидеть друг друга (ведь большинство приехало из разных городов), узнать «клановые» новости, о детях—смериться (у кого больше, кто быстрее растёт)—и даже поиграть на компьютере! В назначенный час все собираются в ресторане, где. . . время, даже и для поминока, конечно, ограничено. На втором часу ужина все уже, понятное дело, забыли о покойной, зато сколько за этот вечер узнали друг о друге! В конце все, пожав руку «бедному родственнику» и пожелав «бон кураж», мирно разбредаются по домам (или отелям).

В общем, что сказать? Всё в таких проводах продумано, чинно, гладко и. . . без эксцессов. Горевать французам о потере бездетной тётки некогда: завтра утром ему на работу.

Но у русских, как известно, всё не как у нормальных людей, всё на ушах. И вот вам другой характерный пример—теперь уже русских проводов в том же Париже. Тоже пожилой женщины. Только, в отличие от первой, у неё остался не муж, а сын (уже сам далеко не мальчик). Родственников, по понятным причинам, у неё во Франции не было, зато было много друзей и знакомых, т. к. вела она долгие годы свой литературный кружок и, главное, была необыкновенно радушным человеком, любившим людей.

В назначенный час все стали собираться на квартире (гроб же находился в это время в морге, а все, кто хотел попрощаться, мог сделать это

накануне). В квартире уже были накрыты столы с яствами, которые готовили накануне и утром те, кто помоложе, из бывшего «кружка» покойной. Стояли здесь и приготовленные для проводов венки.

Но, в отличие от аккуратных французов, сборы стали затягиваться, т. к. у русских есть странная привычка опаздывать (даже на такие «мероприятия»!). Правда, многие, опять же в отличие от французов, прибывали на проводы без машины (вряд ли это может служить оправданием). Тогда, по ходу, было решено отвести первую партию (тех, кто помоложе) на кладбище (Пер-Лашез) со «скарбом» (т. е. с венками, цветами). А затем—отвести тех, кто постарше (и тоже без машины). Так, те, кто моложе, стали ждать под дождём тех, кто постарше, а также и собственно катафалк. Ну, пока ждали (и мёрзли, т. к. было холодно-промогло, многие тут вспоминали оставленную на квартире водку)—перезнакомились. Поговорили и о покойной. Наконец прибыли остальные. Кто-то вышел из машин, чтобы поздороваться с присутствующими, а кто-то так и остался сидеть в машине, ожидая следующих «указаний» (надо заметить по ходу, что среди французов подобное поведение было бы «присутствующими» воспринято за оскорбление). Далее опять стали решать: идти за катафалком пешком до места или всё-таки ехать на машинах? Наконец решили, что молодёжь пойдёт пешком, а старички поедут. В общем, катафалк уехал вперёд, молодёжь пошла своей дорогой, пожилые—поехали другим путём. Пока шли, было у молодёжи время поговорить, поразмышлять на философские темы. Наконец добрались до места назначения. Здесь был установлен гроб. После чего началось прощание. Совсем иначе, чем у французов—закомплексованных. Для такого случая приготовили даже аппаратуру с микрофоном—чтобы всем было слышно. А слово брали многие (заранее подготовленное). Одна молодая певица даже спела романс. . . И так это было душевно, искренне, глубоко, сердечно, что даже и люди, мало знавшие покойную, почувствовали себя настоящими соучастниками какого-то великого священнодействия, мистерии, если хотите.

Когда все, кто хотел, таким образом попрощались, работники кладбища взяли гроб и понесли к могиле. . . затем каждый мог пройти, бросив ветку цветка, мимо неё, отдав свой последний долг.

Затем те, кто постарше, уехали на машинах, а те, кто помоложе, пошли домой пешком. Здесь было самое время. . . помянуть.

Ну, так и выпили, и закусили, кто сидя, кто стоя, потому, что сидячих мест на всех не хватало. Но горевать русским не хотелось. А вернее, хотелось сделать что-то хорошее для покойной, которая, вероятно, как многие, бравшие и здесь слово, говорили, «сейчас с нами». И нужно было

развеселить покойную. Так начались народные пения. И надо сказать, необыкновенно душевные. Пели сначала лишь профессионалы (певец-бард с гитарой, затем всё та же певица, аккомпанировавшая себе на пианино, затем полупрофессиональная бардша опять же с гитарой), а затем и другие стали подключаться (заодно и потому, что пьяному, как известно, море по колено). И опять же всё это было душевно. Между тем кто-то брал слово. Говорили, конечно, о той, кто здесь тайно присутствует. Но не только об этом. Кто-то уже предложил... тут же, не отходя от кассы, выбрать нового президента «кружка» и решить, где же они теперь будут собираться. Кто-то тут же подкасал новую кандидатуру, и чуть было не начали голосовать, да кандидатура замяла вопрос. Потом молодая симпатичная поэтесса выступила со своими стихами, душевно выступила, искренне. Сын покойной (на вид ещё вполне трезвый) «обозвал» её «большим поэтом нашей эпохи» и расцеловал, не глядя на лица. Певица же, которая так замечательно ещё недавно пела, вышла в центр и заявила, что покойная любила только двоих — сына и её, а к остальным она просто хорошо относилась... И никто не хотел вступать с ней в споры, потому что, как сказал мой знакомый, который стоял тут же рядом, «это уже вызов». И никому не хотелось отвечать на «провокацию»... В общем, уже темнело, а люди расходиться не собирались (неизвестно почему: то ли хотелось побольше пообщаться, то ли подольше погрузить, то ли всё, что было на столах, доест и допить, а, в отличие от прагматичных французов, где даже на поминках вам не дадут объедаться и обпиваться, здесь было яств и питья немерено)... И вообще, в воздухе уже висел дух скандала — по той самой известной и мудрой русской поговорке: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, — а собравшихся русских хлебом не корми, дай им отношения выяснять. В общем, я ушла (прихватив с собой своего знакомого) — по-английски, не попрощавшись. Но позже я узнала, что вечер, который становился томным, всё-таки разразился к концу скандалом, с оскорблениями, петушиными разборками, остановить которые могла лишь вызванная кем-то полиция.

Вот так всегда у русских: начнём за здоровье, кончим за упокой. Невероятная глубина эмоций и эксцентричность русского человека, который даже на проводах имеет место для самовыражения — через искреннее участие, соучастие и глубокую любовь и столь же искреннее «озверение» и растаптывание ближнего... А у француза что? У француза на тех же проводах видны искреннее и истинное уважение к личности другого (подобных скандалов с оскорблениями и побоищами на французских «мероприятиях» просто представить невозможно), но и тут же — отсутствие глубокого интереса и соучастия в происходящем. Вроде как

пришёл, долг исполнил, «честь обязывает», но исполнил — словно галочку поставил, а большего от меня не просите. И что лучше? Какой идеал выбрать? А никакой. Потому что человек — это двуликий Янус, примирить две гримасы которого может, как известно, лишь Она.

Несколько интервью по личным и неличным вопросам

Похоже, настал для автора момент временной паузы. К тому же в августе (когда пишутся эти строки) в Париже «мёртвый сезон» — время отпусков. Но лежать на пляже даже и Лазурного берега в полном бездействии настоящему писателю, скажем прямо, нелегко. Так не лучше ли сесть в шезлонг под тентом, взяться за стило и... отойдя от нудных цифр, запрограммированных тем, пыльных исторических справок — просто попробовать представить себя на месте... интервьюируемого. Представим: вы журналист и задаёте вопросы, а я отвечаю — коротко и внятно. Без статистических подтверждений (их нет под рукой), но... с полным «знанием дела». Ну а насколько объективно, судить не автору. Итак...

— На чём помешаны французы?

— На правах. В школе уже с третьего класса начинают изучать право и права человека. Дети и особенно подростки помешаны на правах детей (законодательно установленных). Бедные — на правах бедных (особенно что касается того, как можно безбедно прожить, не облагаясь налогами), разведённые женщины-матери — на правах матери и бывшей жены, коммерсанты — на правах коммерческой деятельности (как расширяться и при этом обойти налоговую инспекцию), партии — на правах свободы слова (и коррупции предвыборных кампаний), религиозные секты — на правах свободы вероисповедания и так далее. Такое ощущение, что всё во Франции начинается с «имею право». Об обязанностях здесь как-то никто не говорит, они саморегулируются стихийно.

— А Ефим Эткинд как-то сказал, что вот, мол, в России всё начинается с поэзии, а во Франции — с песни...

— И он прав. Петь французы любят. Ещё больше — слушать музыку.

— А литература? Что читают: поэзию? рассказы? романы?

— В современной Франции необыкновенно популярны романы. Причём современные бестселлеры двух видов — полицейские и мелодрамы. Но в транспорте здесь очень редко читают.

— Это правда, что французы — нация, не способная к изучению других языков?

— Правда. Интересно заметить, что сами французы о себе такого мнения. И с другой стороны, они часто замечают, что русские необыкновенно способны к языкам. Хотелось бы заметить также,

что самые лучшие языковые методики — у русских и у англичан, но никак не у французов.

— А без чего невозможно представить Францию и француза?

— Без французских вин, сыров, парфюмерии, прет-а-порте, от-кутюр и «шерше ля фам». Без прекрасной французской кухни и ресторанов. А среднего француза — без машин «рено» и «пежо».

— Назовите наилучшие качества французов.

— Как писал А. Чехов: «Если хотите от кого-нибудь избавиться, попросите у него займы». Так вот, у французов есть три отличных качества: они никогда никому не плачутся в жилетку, не лезут вам в душу и не просят займы. Вообще не навешивают свои проблемы на других. И всегда ищут выход из любого самого скверного положения — свет в конце туннеля. Это не значит, что во Франции нет понятия солидарности. Есть! Но всё-таки каждый в первую очередь полагается на самого себя. И вообще, француз — это великий оптимист. Ну и, конечно, всем известная французская вежливость.

— И каковы отрицательные черты французов, на ваш взгляд?

— Всем известный французский дилетантизм. Настоящий француз сам никогда не перейдёт «душевную границу», но и вам не даст «влезть к нему в душу». Всегда остаётся чувство недосказанности, ограниченности в отношениях. Многие русские тяжело это переносят, дружить русскому с французом по этой причине весьма трудно. Но если вы принимаете «правила игры», то есть стараетесь не требовать от француза больше того, что он в состоянии вам дать, то... вы начинаете быстро обрывать французами-друзьями. Они к вам начинают стягиваться, как иголки на магнит. Далее: француз не отличается «масштабностью мышления». Сильный в анализе, француз крайне слаб в синтезе. Но сила «секуляризации» приводит француза к тому, что каждый силён в своей, пусть очень маленькой, области деятельности. Зато своё дело он знает глубоко.

— Нередко от русских можно услышать: французы совершенно не умеют работать, они ленивы и тому подобное. Правда ли это?

— Это приходилось не раз слышать и мне. Но, по правде сказать, от таких русских, которые сами были бы не прочь пожить за чужой счёт. И если данное утверждение правдиво, то остаётся тайной, каким образом Франция остаётся одной из самых сильных, высокоразвитых стран мира.

— А как относятся средние французы к другим нациям, живущим на территории Франции?

— По-разному. Больше всего проблем вызывают во Франции, конечно, выходцы из Азии и Северной Африки. Проблемы преступности и наркомании. Это крайне сложный и запутанный вопрос. <...>

— А как относятся французы к русским?

— <...> Что касается русских во Франции, то к ним двойственное отношение. Так как здесь проживают две категории русских: русские-интеллигенция и... «новые русские». К первым отношение спокойное: в общем и целом эта категория вписывается во французскую систему общежития и, кроме того, привносит нечто новое с точки зрения культурного обогащения. Ко вторым — настороженное. Что эти «лица» делают во Франции? Скупают дорогое жильё, проводят различные махинации по отмыванию денег... вносят дисбаланс во французскую экономику. Правда, что касается среднего француза, то отношение его к этим русским крайне абстрактное: просто потому, что он знает об их существовании лишь понаслышке. Да и правда: где ему, бедному французу со своим «рено» или «пежо» и купленной в кредит трёхкомнатной, видеть этих новых русских дам, жён русских «бизнесменов», покупающих платья от-кутюр за двадцать тысяч евро за штуку, или самих этих «бизнесменов» на их виллах (и «всего-то» за трёшку-пятерку миллионов евро) между Ниццей и Монако?..

— А всё-таки — что такое «средний француз»? В чём его отличие от «ниже среднего» и «выше»?

Имеет ли это отношение к социальному статусу? — Трудно охарактеризовать среднего француза во всех его аспектах. К социальному статусу это понятие имеет самое непосредственное отношение. Средний француз — это как бы «средний» класс, который, в свою очередь, делится на несколько ступеней — от среднего материального достатка до значительного... за которым уже начинается «элиты», аристократия. Элиты во Франции примерно шесть процентов населения. Бедных — примерно двадцать — двадцать пять процентов. Остальные вписываются в средний уровень — то есть примерно семьдесят процентов французов. И вы знаете, именно средний класс является настоящей основой общества. Потому что это «движущий» класс. Бедности, как пел Джо Дассен, «подчас не хватает шарма», и вообще, бедный человек не заинтересован ни в чём: он знает, что в обществе потребления у него никогда не будет достаточно средств для развития своих идей, это гасит его инициативы, амбиции. А без амбиций и денежных средств в таком обществе никакое развитие невозможно. Поэтому бедный класс — это класс «застоя». А элита на восемьдесят процентов — это прожигатели капитала: сплошная беготня с одного «коктейля» на другой, с одной яхты на другую, из одной постели в другую. Смысл элиты как голубой крови и, главное, как источника идей — давно утерян. Остаётся средний класс. Повторяю: этот средний класс очень разнообразен — и в материальном плане, и в интеллектуальном, и тем он интересен. В нём тоже присутствуют моменты «стагнации» и «прожигания» жизни. Но в меньшей степени, чем у тех, кто «ниже», и у тех, кто «выше».

— А какое отношение во Франции к богатству? Существует ли зависть?

— Я думаю, что от этого чувства—чувства зависти—человек не избавится до тех пор, пока будет существовать социальное неравенство. Но во Франции роскошь и бедность так сильно не противопоставляются и так сильно не видны, как, например, в Нью-Йорке, Москве или странах Востока (например, в Дели или Бейруте). И дело здесь не в том, что Франция пытается как-то скрыть «вопиющую» роскошь одних и пусть и не вопиющую, но порой крайнюю бедность других. Просто во Франции нет этого желания шокировать, позировать и даже нарочито вызывать зависть других, как это можно видеть у многих других выше перечисленных народов. Поэтому «сливки» общества живут где-то в своём закрытом мире и бедных своим присутствием никак не беспокоят. А тем, в свою очередь, нет дела до первых, потому что они их только по телевизору видят время от времени в репортажах «о богатых» или на набережной в Сент-Тропезе, куда специально приезжают на «богатых людей» посмотреть издали. <...>

— Во что же верит француз?

— Сложный вопрос. Если говорить о вере религиозной, то во Франции эта вера становится всё более и более размытой. Религиозная вера подразумевает соблюдение неких установленных нравственных норм, посещение церкви, соблюдение обрядов и постов и так далее. Если не регулярно, то хотя бы время от времени. И конечно, выстраивание своего поведения по каким-то религиозным меркам. И конечно, способность раскаяния и покаяния (ведь все мы грешны и способны на «потерю ориентира», заходы в тупики). Но то, что происходит с современным французом с этой точки зрения,—по-моему, просто ужасно. Ведь, как сказал Достоевский, «если нет Бога, то всё дозволено». Однако во французском обществе не всё дозволено. То есть это общество, в котором регламентированы права и обязанности членов этого общества. Это действительно есть и очень развито. А Бога нет. Парадокс. Но факт. Общество, которое варится в собственном соку прав и обязанностей, словно больше не нуждается в Боге. Здесь какой-то страшный и ещё не осознанный до конца Западом корень зла. Потому что в обществе вне Бога всё становится утилитарным, партнёрским: издатель считает прибыль с шедевра, музей—с туристов, макро—с проститутки; молодые люди, вступая в брак, уже пишут контракт о разделении имущества, словно не собираются пройти рука об руку до конца жизни, а уже думают о возможности будущего развода (и разделении имущества—вот оно: «Дивиза и ампера!»—«Разделяй и властвуй!»); а дети ещё при жизни родителей решают вопрос о том, как поделить ещё не принадлежащую им недвижимость... Так во что же верит современный

француз? В разум. И смешно сказать, в прогресс. А многие живут по принципу: «Будет день—будет пища... А после меня—хоть потоп».

— Так что же такое «мораль по-французски»? Существует ли она вообще для француз?

— Существует. Но она так сильно отличается от русского понятия морали, что нередко русским, которые начинают здесь жить, вообще кажется, что морали здесь нет. А мораль по-французски—это значит: во-первых, никому не читать морали, то есть осуждение поведения другого члена общества нехарактерно для француз; во-вторых, стараться действовать в пределах установленных обществом границ. Это касается общественной жизни. Но здесь много всяческих лазеек, по принципу «не обманешь—не проживёшь», вроде обхода налоговой инспекции или всяческих обманок категории бедных и так далее. И третий принцип французской морали: «Всё к лучшему в этом лучшем из миров».

— То есть?

— То есть что бы с ним ни случилось, француз остаётся оптимистом. Обманет ли его издатель, работодатель или собственный(ая) супруг(а). И это помогает ему выжить.

— Ну а что же такое «любовь по-французски»?

— Трудно сказать. Для этого надо знать, что такое любовь по-английски, по-немецки, по-испански, по-американски... Чтобы можно было сравнить. А у меня лично такого опыта нет. Могу сравнить только с «любовью по-русски». Если сравнивать эти два вида любви, то можно сказать, что любовь для русских больше определяется сутью, а для француз—формой. То есть для русского человека важна человеческая сторона любви и чувства, а для француз—внешний вид и социальный статус. Француз (и француженка) сентиментален в любви, но всё-таки неглубок. Русский (и русская) страстен, но может быть и жесток, и груб. Интересно заметить, что французы крайне редко дарят своим возлюбленным цветы, это как-то «не принято», тогда как в России это первый жест обожания. Кто-нибудь уже подумал: «Ну да, там цветы не дарят, там дарят возлюбленным машины». Ошибаетесь. Машины тоже не дарят. <...> Кстати, Восьмое марта во Франции не отмечается, и подарков (и цветов) в этот день женщинам не предусмотрено.

— Что же, у французской женщины нет своего дня в году?

— А французы-мужчины не видят причины, почему он должен быть. Что она—«замучена тяжкой неволей», чтобы ей праздник устраивать? Есть День мамы и День папы. А Дня женщины—нет (вернее, он есть—Восьмое марта, но во Франции этот праздник вообще не замечают, не отмечают). Но «шерше ля фам» было, есть и будет.

— А какие вообще официальные праздники во Франции, и отмечают ли они?

— Во Франции одиннадцать официальных праздничных дней в году: первое января—Новый год, затем Пасха весной, первое мая—День труда, восьмое мая (во Франции—восьмое мая, а не девятое, как у нас)—День Победы тысяча девятьсот сорок пятого года, в мае или июне (в зависимости от Пасхи)—День Вознесения и День Троицы, четырнадцатое июля—национальный праздник (День взятия Бастилии), пятнадцатое августа—Преображение, первое ноября—День Всех Святых, одиннадцатое ноября—Перемирие тысяча девятьсот четырнадцатого года, и двадцать пятое декабря—Рождество Христово. Фактически же французы по-настоящему отмечают только четыре праздника: Рождество, Новый год, четырнадцатое июля (салют во всех городах) и... собственный день рождения. Пасха тоже отмечается, но значительно «в меньших размерах», чем у русских. Причём даже у русских за границей: вы придите в пасхальную ночь в собор Невского или на Сергиево подворье—если запоздаете, в церковь уже не войдёте, так как она уже будет полна... Что касается Дня Победы, то во Франции этот день долгие годы как-то очень скромно отмечался. Можно даже сказать, совсем... французами не отмечался. Да и понятно почему. Что им было отмечать—свою капитуляцию? или выдачу евреев нацистам? Правда, в последние годы праздник этот отмечается всё больше. Дело в том, что Франция нашла в себе силы признаться в своих ошибках во Второй мировой войне. А потом, ведь не все были подлецы. Было и Соппротивление. Были и просто люди, которые скрывали, например, у себя евреев, спасали от выдачи детей-евреев, рискуя при этом и положением, и даже жизнью. А раскаяние и даже покаяние французам было просто необходимо. И они этот шаг сделали—в девяностые годы. Очень поздно, правда, слишком много воды утекло, многих уже нет на свете. Но лучше поздно, чем никогда. Ну а католические праздники в большинстве своём во Франции не отмечаются (кроме Рождества и Пасхи).

— Ясно: с верой у французов не всё в порядке. А страдают ли французы манией величия?

— На первый взгляд—нет. А вообще национальная гордость французам присуща. Ярko это выражается, например, во время... спортивных соревнований на кубок Европы и мира. <...> Вот где можно было видеть французский патриотизм во всей своей красе. И вообще, я думаю, национальная гордость нужна народу, она даёт возможность нации сохранить своё лицо. А мания величия—это нечто болезненное. Это желание власти, подавления. И для современной Франции это нехарактерно. <...>

— Несколько слов о ностальгии: скажите, правда ли, что ностальгия—типично русское чувство? Существует ли она для французов?

— Ностальгия, как я выяснила опытным путём, присуща всем народам. И французам, и итальянцам, и выходцам с африканского континента, и из Латинской Америки. Париж—ведь это настоящий перекрёсток, здесь живут многочисленные народы мира, и со многими из них мне приходилось встречаться и разговаривать. И о ностальгии в том числе. Все эти люди, живущие в Париже,—поверьте!—так же, как и русские, страдают от отсутствия родных мест, родной речи. Но к счастью, здесь много возможностей «кучковаться», собираться. И каждый находит свои места: кубинцы—кубинские «сборища», бразильцы—бразильские, тунисцы—тунисские, у африканцев—свои бутики и даже найт-клубы. О китайцах вообще говорить не приходится: они живут здесь настоящими колониями... И самим французам ностальгия также присуща. Приведу пример. Как-то раз мы с мужем ездили в Нью-Йорк и остановились на неделю у брата моего мужа. Брат работал по контракту, а его жена сидела дома с грудным ребёнком. Вот уже год как они жили в Нью-Йорке, и за год они нашли себе много новых друзей... французов, с которыми и проводили всё своё время по выходным. Через два года брату предложили продлить контракт ещё на несколько лет, но он отказался, так как его жена больше не могла жить в Америке и хотела вернуться во Францию. Вообще было видно, что она очень страдает от отсутствия всего французского—французских продуктов и кухни, французской манеры общения, французского языка... Так что русские напрасно думают, что ностальгия—типично русское чувство. Другое дело, что сама «ностальгия» как «ощущение», должно быть, очень различается. И как её чувствуют французы, немцы, итальянцы, поляки, чехи, марокканцы, бразильцы или вьетнамцы (перечисляю те нации, с которыми мне приходилось говорить на эту тему), в какие цвета она «окрашена»,—всё это совершенно невозможно понять. Для этого нужно буквально «влезть в чужую шкуру». У русского, я думаю, ностальгия отличается не только особой «болезненностью» и «интенсивностью», но и, как бы это сказать, большей окрашенностью в тёмные тона. <...>

— А вы лично страдаете ностальгией?

— Да. Но надо сказать, что чем дольше здесь живёшь, тем реже и реже испытываешь это чувство. Во всяком случае, так у меня. Но первые два-три года жизни за границей всем в этом смысле даются тяжело: большинство страдает ностальгией—в скрытой или открытой форме.

— Что это значит?

— Это значит, что одни открыто об этом говорят, другие скрывают, а есть и такие, которые вообще заявляют, что ничего подобного не испытывают. И порой даже, на первый взгляд, так оно и есть. Но это иллюзия, поверьте. Просто эти люди пытаются

скрыть это даже от самих себя, тем более от окружающих, им очень хочется «быть французами более, чем сами французы», забыть всё русское, особенно всё негативное, что связано с русским. Этот тип людей даже и с русскими во Франции никак не общается—не нуждается в этом общении. Ну а что касается самого чувства ностальгии, то оно в наше время имеет иной оттенок, чем, например, у эмигрантов первой волны: сейчас нет «железного занавеса», многие периодически ездят в Россию, причём не просто чтобы навестить родные места, родных и близких, но у многих там различные «дела», у одних—коммерческие, у других—культурные (художники устраивают свои выставки, писатели издают свои книги...). Поэтому «современная» русская ностальгия для этих людей не носит отпечаток болезненности, которая рождается при полной оторванности от родного.

— И всё-таки скажите: русский человек, многие годы проживший во Франции,—как он себя чувствует, где его родина? Является ли Франция его второй родиной?

— Родина у нас у всех, как и мать, одна. <...> Франция даёт многим то, что не смогла дать Россия-мать. Очень хорошо сказал в своё время об этом Шагал: «Мои корни—в России, а ветви распустились во Франции». А вообще говоря... вы меня утомили. Идёмте-ка обедать, а продолжим с вами завтра.

Ещё несколько интервью...

— Известно, что во Франции существует так называемый «культ еды». Что это означает, и как это сочетается с традиционным представлением о французах как о нации, не страдающей проблемами лишнего веса?

— Это правда—во Франции настоящий культ еды. Трапеза для француза—это не просто «лишь бы было чем набить...». Трапеза для француза—это церемония. Как, например, церемония чая для японца. То есть француз не поглощает всё, что попало, он «распробует». Причём здесь всё важно: не только «что», но и «как». Сервировка стола имеет большое значение—чтобы «радовало глаз». Затем запахи. Здесь тоже всё продумано. Есть запахи, которые возбуждают аппетит, а другие—заглушают. А запахи сыров! А винный «букет»! Ну и, конечно, вкус. В общем, что говорить, француз—эстет. Даже в еде. Без этого настоящего француза просто невозможно представить. Правда, иногда здесь проявляется негативная сторона: за всем этим порой теряется главное—само общение. То, что «пробуется» во время званого вечера, становится важнее самой встречи. Но справедливости ради надо заметить: так происходит редко. Потому что француз настолько к этому культу еды привыкает (с детства), что достаточно быстро в любой обстановке находит баланс между «полезным» и

«приятным». А что касается второй части вашего вопроса, то здесь надо сказать, что культ еды никоим образом не влияет на появление лишнего веса. Культ еды—это не обжорство. Это искусство эквипроба, сбалансированности и, конечно, вкуса. Искусство правильного и красивого, иначе не скажешь, питания.

— Так, значит, верно, что у француза развитый вкус?

— Неверно. Француз—эстет. Но это ещё не говорит о развитом вкусе. Эстетизм нередко переходит у француза в «эстетство». Знаете ли, француз помешан на «красивом». Но далеко не всегда он способен отличить «красивое» от «красивенького». В результате рождается пошлость «красивенького»: все эти канарейки, пошлые репродукции на стенах—что очень здесь в моде, пепельницы с отпечатанной на дне... Моной Лизой, герань на балконах (знаете, ухода особого не требует, а красная и «пышная», видно издалека... в общем, красивенько так получается, заманчиво даже как-то), а в туалетах, простите за столь интимную подробность, вешают репродукции... ну, например, Ван Гога или... какую-нибудь вырезку из журнала со стихами известного французского поэта... В магазинах—музыка, под которую хочется «отключиться от мира сего» или плакать, а вы под неё покупаете курицу, минералку и туалетную бумагу. А в воскресенье вы пойдёте с детьми в кино, так там фильм не начнётся, пока ползала не накупит себе всякой снеди—конфет, мороженого, попкорна и кока-колы... чем в конце фильма и «загажен» весь зрительный зал. А вечером вас пригласят в гости, и ужинать вы будете при свечах и уплетать деликатесы под музыку Вивальди, а то и самого Баха... В общем, наипошлейшее соединение «полезного с приятным», «хлеба и зрелища». Причём, надо сказать, эта пошлость «красивенького» имеет здесь как бы разные уровни, в зависимости от социального уровня: у бедных—пошлые репродукции, у среднего француза—ужин под Баха, у элиты—пошлые картины и пошлые взаимоотношения. А суть-то от этого не меняется. Знаете, а ведь во французском языке нет самого слова «пошлость». То есть это говорит о том, что само понятие этого для француза не существует. Слова-эквиваленты русского слова «пошлость» не передают главного, что есть в этом понятии. Ну, говорят по-французски «тривиальность» или «банальность». Или «мелкобуржуазность» (то есть «мещанство»). Во всех этих понятиях во французском понимании сквозит одно: подчёркивание некоей «серости», «обычности», «застоя», «консервации». Но во французском менталитете отсутствует понятие пошлости в русском понимании: не в смысле серости, а в смысле безвкусицы. Поэтому они и не понимают, почему нельзя вешать репродукцию Ван Гога в туалете и ужинать под

Баха. У них размыты границы между истинным и ложным эстетизмом. Интересно заметить, между прочим, что многие русские художники — и временно выставяющие свои работы во Франции, и те, кто здесь давно живёт, — все они, как в один голос, говорят о той безвкусице и отвратительной пошлости, которая выставляется в большинстве французских галерей; а ведь, кажется, кто-кто, а галерейщик должен что-то понимать в искусстве. А он в массе своей подчиняется конъюнктуре. Отсюда напрашивается вывод о вкусах публики.

— Но, может, русские художники так говорят от зависти: кого-то выставляют, а ему всё никак не удаётся найти своего «галерейщика»?

— Не думаю, что от зависти. Я сама посещала много выставок и галерей. И полностью с этим мнением согласна, а я, как вы понимаете, в этой области человек незаинтересованный.

— А как у французов с чувством юмора?

— В порядке. Но знаете, русскому человеку, даже очень долго прожившему во Франции, многое во французском юморе так и остаётся непонятным. Я например, поэтому в театр на комедии не хожу: все вокруг смеются, а мне не смешно. Причём французским языком я владею очень хорошо. Юмор, он по сути, как оказывается, очень специфически-национальный. Французы, например, также совершенно не понимают русский юмор. Мне с этим приходилось не раз сталкиваться. <...> А потом, вы знаете, французы помешаны на сексе. И девяносто процентов французского юмора сводится всё к одной и той же теме. А русскому человеку это быстро надоедает. Ему нужен разговор «про жизнь».

— Кстати, о русских женщинах. Почему французы-мужчины буквально ринулись в страны Восточной Европы, в том числе и в Россию, в поисках своей второй половины? Что это — мода? поиск экзотического? желание «обновить кровь»?

— Думаю, что всё вместе. Нередко приходилось мне слышать от французов-мужчин: «Русские девушки, женщины — очень красивые...»

— Но где же они этих красивых женщин видят? Из чего родилось подобное мнение?

— «От рта к ушам», — как говорят французы. Одни видят «вживую» — например, бизнесмены, имеющие свои «дела» в России. Они рассказывают другим. А потом, много русских женщин живёт во Франции, и не все, между прочим, замужем, многие приезжают на учёбу или временную работу. В общем, источников информации более чем достаточно. Но красота — это лишь четверть дела. Красивых китайок, японок, негритянок и метисок тоже достаточно... Но французы интуитивно больше склоняются к красивым женщинам из Восточной Европы, особенно из Польши и России. Вот вам ответ на вопрос об «обновлении крови» и «улучшении породы». И ничего вульгарного

в этом нет. Никакой чистоты нации, придуманной нацистами, нет и быть не может, даже наоборот: как только нация закрывается в себе, она быстро начинает склоняться к своему неизбежному закату, как бы «самоистощается». Но знаете, кроме «моды», «экзотики» и «обновления крови», есть здесь и другие моменты. Увы, далеко не романтические. Дело в том, что активное мужское начало в личной жизни у французов сильно подавлено ярко выраженной эмансипацией и независимостью французской женщины. И это характерно для всего Запада: идёт неизбежное разложение патриархальной системы. Француза-мужчину, конечно, всё это злит, вот он и бросается в поисках утраченного рая «вовне», к тем женщинам, которые, по его представлениям, более «традиционны». А потом, ведь не забывайте: женщина из Восточной Европы — это женщина из другой «системы», и ни языка французского часто она не знает, ни тем более французских законов, а значит, доминирующее положение в семье мужчине хотя бы на несколько лет обеспечено. Интересно, кстати, заметить, что многие французские брачные агентства, почувствовав золотую жилу, также ринулись в крупные города России. Но вот что за всем этим стоит... Для агентства, конечно, обогащение. А за поведение «клиентов» оно не отвечает.

— Что вы этим хотите сказать?

— Приведу пример. Как-то раз одна моя подруга приехала по своим делам в Париж и остановилась у меня. Однажды она попросила меня об одной услуге. В Москве она нашла какой-то филиал французского брачного агентства, куда и отослала свои данные. Но раз она уж сама в Париже, то решила сходить в это агентство, но всё-таки ей необходима моя помощь как переводчика, так как она неважно говорит по-французски. Я позвонила в агентство, объяснила ситуацию и попросила о randevu. Мне сначала ответили, что вообще-то женщин в агентстве они не принимают (женщины присылают свои данные по почте и потом ждуг... своего «желанного»), но в виде исключения... В назначенный день мы пришли. Директор агентства сначала нашёл досье моей подруги, затем долго, но очень деликатно и любезно расспрашивал о её жизни, то есть, скажем так, дополнял досье. Потом задумался. Принёс три каталога и обратился уже ко мне, и между строк, как обычно и бывает у французов, потому что в лоб они таких вещей не говорят, читалось: дело вашей знакомой — швах, вряд ли мы можем ей дать телефоны подходящих кандидатов. А тем временем я перелистывала каталоги. В первом были досье молодых, примерно до двадцати семи лет, девушек с письмами о себе и фото, и все, одна к одной, скажем так, девушки первого сорта: очень красивые, с высшим образованием, никогда не были замужем, детей не имеют, знание языков, из хорошей семьи, без проблем

со здоровьем, но с многочисленными хобби и интересами (типа пианино или конного спорта и тому подобного). Во втором каталоге были сгруппированы девушки и женщины постарше и уже с некоторыми «проблемами»: либо уже были раз замужем, либо о происхождении, то есть о семье, в которой она родилась, ничего неизвестно, либо профессия более чем стандартная и так далее. И в третьем каталоге — девушки и женщины «третьей категории»... Быстро просмотрев эти досье, я так же быстро расстроилась, так как поняла, что моя подруга не имеет никаких шансов: женщина с тремя детьми (первый ребёнок, сын, правда, уже женился и живёт отдельно), разведена, за сорок, с явно увядающей внешностью, без высшего образования, французского языка почти не знает, работа нестабильная... Затем директор сел за компьютер и стал искать «подходящие» для данного случая кандидатуры. Я только краем глаза посмотрела на то, что он нашёл, и сразу поняла, что вообще не стоит этим людям звонить.

— Почему?

— Потому что уже по их адресам было ясно, какой это социальный уровень. Ведь каждый округ Парижа имеет своё характерное лицо. Есть округа очень богатые, есть средние, есть бедные. И никакого социального смешения здесь нет. Так что уже по адресу можно догадаться, в каких условиях этот мужчина живёт и сколько он зарабатывает. Затем директор распечатал на принтере телефоны (но не адреса). И мы распрощались.

— А потом?

— А потом, как я и предполагала, — тишина. Мы в этот же вечер обзвонили все «кандидатуры», и так же быстро выяснилось, что всё это бессмысленно: то один — бывший моряк с серьгой в ухе, то музыкант, который вечно в разъездах, то хромой, то кривой... Но на что могла рассчитывать женщина за сорок с тремя детьми? А за кулисами всего этого — никакого романтизма. Я потом выяснила, как, за счёт чего существуют (и расширяются!) эти брачные агентства. Ведь с женщин они денег не берут. Но берут с мужчин. Причём есть определённые «расценки», а есть нечто «сверху». И чем больше мужчина платит, тем более высоки его требования. Поэтому директор данного агентства и не мог дать «ценные» адреса: женщина не подходила к этим требованиям.

— И всё-таки много русских женщин живёт во Франции. И как им живётся с мужьями-французами?

— По-разному. Но я бы сказала, прикидывая так, на глаз, из личных многолетних наблюдений, что на десять таких франко-русских браков — два счастливых, два «так себе» и шесть... разводов. Конечно, никакой статистики на этот счёт вы нигде не найдёте. Всё это лишь мои личные наблюдения, повторы. Но думаю, что они не ошибочны.

— И в чём же причина «несчастья»?

— Шкала жизненных ценностей слишком разная. Разные нравственные установки. Француз для русской слишком поверхностен, прагматичен (не менее, чем немец, между прочим) и слишком... «неглобален». В общем, «мелковат» — если говорить о духовной и душевной стороне брака. А русская для француза порой слишком... серьёзна. Да, да, именно так. Так, например, муж-француз одной моей русской знакомой говорит: «У вас, у русских, вечный Шекспир: «Быть или не быть?» Какая-нибудь заковыка-проблема превращается у вас в грандиозный вопрос жизни и смерти. Из искры вы раздуваете пламя, из комара делаете слона. И вечно боретесь с ветряными мельницами. А в жизни всё намного проще. Жизнь — это как учебник по математике: есть однотипные задачи, необходимо их научиться решать — спокойно, без паники и без всяких философских рефлексий по поводу. Решил и дальше пошёл. Дальше — следующая задачка: может, сложнее, может, проще. И так далее. Но у русских всё не так. Всё на ушах». И знаете, он по-своему, вероятно, прав. Просто он вырос в своей системе ценностей, а мы — в своей. У нас во многом разные духовные и нравственные корни. И чем сильнее личность, тем труднее ей от этих корней отказаться во имя сохранения спокойствия в семье. Конечно, без компромисса не прожить. Но нередко наступает момент, когда одна из сторон — а часто и обе стороны — просто больше не в состоянии этот эквilibр сохранять.

— Но что же всё-таки конкретно больше всего русских женщин в мужьях-французах раздражает? Какие качества вызывают негативную реакцию?

— В каждой семье всё по-разному, но из разговоров и наблюдений я могу сделать следующее заключение. Раздражают и являются причиной конфликта такие качества, как жадность, прагматичность, изворотливость мужа-француза, а также пользовательское отношение к женщине. <...>

— Но если вернуться к вопросу о смешанных браках, то хотелось бы узнать: а как дети — говорят ли они по-русски, знают ли что-либо о России?

— Это большой вопрос для всех смешанных браков. Дети, рождённые в таких браках, очень плохо говорят по-русски. Ещё меньше знают о России. Она для них — чужая страна. Конечно, многое зависит от родителей, прежде всего от мамы. Многие пытаются как-то развивать русское: читают детям русские книжки (сказки, позже художественную литературу), покупают в русских магазинах или в Москве (те, кто периодически ездит) кассеты с русскими детскими фильмами, пытаются самостоятельно учить читать и писать. Но всё это уходит в песок, как только ребёнок идёт во французскую школу. А потом, ведь многие дети ходят ещё в различные спортивные или художественные секции, то есть у них весь день до вечера расписан,

а если мама работает, то с ребёнком сидит до её прихода какая-нибудь француженка-студентка, которая таким образом немного подрабатывает. В общем, у ребёнка сплошь и рядом французская речь. И бороться с этим оказывается настолько сложно... А потом, не забывайте: современная русская диаспора во Франции очень разбросана и эклектична, нет того единства, которое было присуще русской эмиграции первой волны. Русские между собой здесь редко встречаются, собираются — слишком мы все разные: русским третьей волны трудно найти общие точки соприкосновения с русскими четвёртой, нет ничего общего между русскими-интеллигенцией и «новыми русскими», замужние женщины нередко живут замкнутой жизнью, другие так вписываются во французскую систему, что им вообще русские не нужны... Всё это накладывает негативный отпечаток на сохранение корней русского языка и русской культуры у нового поколения в смешанных браках.

— А мужья-французы, у которых русские жёны, — говорят ли они по-русски?

— По большей части не говорят, даже и прожив многие годы с русской женой. Один раз только я видела такое «чудо»: муж одной русской знакомой прекрасно говорил по-русски. А потом выяснилось, что он наполовину немец (мама у него француженка, а отец — немец), и сам он до двадцати трёх лет жил в Германии, затем в Америке, и только несколько лет назад он со своей русской женой и детьми приехал жить во Францию. Вообще у них очень интересная, забавная семья — семья, в которой и дети (четверо!), и родители говорят... на четырёх языках (немецкий, французский, русский и английский в американском варианте)! Но вообще мужья-французы как-то никогда не стремятся изучить русский язык. <...> А солнце сегодня такое мягкое. Идёмте-ка с вами искупаемся. А потом продолжим.

...По личным и неличным вопросам

— Вот вы уже многие годы живёте во Франции. Вам и Россия, и русские там уже, вероятно, видятся как-то со стороны. Что вы замечаете в русских людях, что, может быть, вас удивляет или поражает, — то, что особенно бросается в глаза? Ваш взгляд со стороны?

— Из отрицательных черт: русская угрюмость и русское хамство. Это поражает, иначе просто не скажешь. Причём поражает... прямо с аэропорта, как только прилетаешь в Шереметьево-2. Подходишь, например, к окошечку «Информация» и говоришь: «Дайте, пожалуйста, адрес и номер телефона в Москве авиакомпании „Lufthansa“». А вам отвечают: «Звоните по ноль-девять, вам скажут». А я вижу, что у неё на стене вывешен лист с номерами телефонов всех авиакомпаний. Вообще, как это хамство объяснить? Зачем она

вообще здесь сидит, в «Информации», на «блатном», простите, месте, деньги зарабатывает?... И дальше — «понеслось». Вообще, вы знаете, первые три-четыре дня, когда я приезжаю в Россию, я нахожусь... в нокауте. Меня словно молотком по голове шарахнули — или, лучше сказать, со всех сторон шарахают, — так надо несколько дней, чтобы прийти в себя от шока... И знаете, что интересно: ведь русский человек может быть и улыбчивым, и приветливым, и вежливым, и, вообще говоря, очень хорошо работать — без всякого хамства и угрюмости. Приведу простой пример. Я например, вот уже несколько лет как «Аэрофлотом» не летаю. Скажу почему. Часто мне приходится задерживаться в России и менять билет. И каждый раз, когда так происходит, я знаю, что никакие проблемы, хамство и нервотрёпка меня не ждут — ни в самой процедуре смены билета, ни в обслуживании, скажем так, будь это авиакомпания «Lufthansa», «Airsuisse» или «British Airway». <...> А ведь, заметьте, работают там всё те же русские. Но не по-русски работают, по-западному. А значит, быстрота, чёткость, вежливость и «беспроблематичность» вам обеспечены. И там уж вам не скажут: «Звоните по ноль-девять...» С другой стороны, меня каждый раз удивляет высокомерие русского человека. И это более чем поразительно. <...> Сталкиваться с этим приходится часто, но приведу пример, свежий на памяти. Как-то раз я проводила беседы со студентами в разных гуманитарных институтах. Не свои поэтические вечера, а беседы о Франции. И каждый раз меня в начале таких встреч поражало... отсутствие настоящего интереса. Знаете, в глазах у большинства студентов было: «Ну что нам ещё могут рассказать о жизни на Западе! У нас здесь столько всякой информации, мы уже знаем столько — словно уже сами жили в Париже». Вот вам пример высокомерия: мол, мы сами с усами. Но знаете, студент всё-таки не ленив и любопытен, и это его спасает от окончательной деградации. Так, уже через десять-пятнадцать минут творческой встречи глаза начинают загораться, внимание обостряется, а через полчаса меня начинают засыпать вопросами. И здесь выясняется, что ничего-то, по существу, они не знают, а если что-то и знают (из российских средств массовой информации), то эта информация во многом и неточная, и даже ложная.

— Но неужели всё так мрачно, что касается русского человека?..

— Нет, конечно. Просто отрицательное сразу — резко — бросается в глаза после длительного отсутствия. Но у русских есть то положительное, чего нет у французов, и это тоже со стороны очень видно. Это русская простота. То есть в смысле отсутствия «манерности». И это меня всегда, когда я приезжаю в Россию, радует. Русский человек — он «раскомплексованный», а правильное было

бы сказать—бескомплексный. Это его выгодно отличает от закомплексованных французов. У французов везде рамки, границы в отношениях. У русских эти границы сильно размыты, стёрты. Это и хорошо, и плохо (о хамстве мы уже говорили). Чтобы было понятно, приведу пример. Русское застолье очень характерно в этом смысле. Во-первых, собраться можно в любое время дня и ночи (то, что у французов невозможно представить). Во-вторых, что вы едите—в общем-то неважно, главное—общение (то, что у французов также невозможно представить: сначала надо «распробовать» и «обнюхать», а потом «пообщаться», причём не имеет значения, о чём разговор—так, «обо всём и ни о чём», как говорят французы). В-третьих, сидеть вы за столом (и общаться!) можете сколько вам угодно—в общем, пока под стол не упадёте от пьянки или от усталости (то, что у французов невозможно... надо же и меру знать!). Французы говорят: русские, вы меры не знаете. Неправда. Просто у русского другие меры. Простота выражается и в том, что русский человек, если он о чём-то говорит или подходит к какой-то проблеме, делает это по существу. То есть без всяких окольных путей, прямо, в лоб. Это укорачивает путь, и иногда так, знаете ли, и лучше—без лишней витиеватости и «припудренности» (что очень характерно для француза). Хотя у этой русской черты есть своя оборотная—отрицательная—сторона, особенно в том, что касается отношения полов. И это, конечно, раздражает.

— Не совсем понятно...

— Ну да, вот и у меня уже появилась эта витиеватость. Ну, это вреде того: «Вы привлекательны. Я чертовски привлекателен. Что зря время терять?» Это коробит. <...>

— А вот интересно, как со стороны вам видится взгляд русских, живущих в России, на Францию? Ведь вы видите эту страну «изнутри», а россияне «извне». Это, должно быть, разные взгляды? В чём разница?

— Разница огромная. А основное различие в том, что для большинства русских в России Франция (как и многие другие западные страны)—это некий райский уголок, где, вероятно, и есть проблемы, но с нашими-то, российскими, не сравнишь. А для тех, кто здесь живёт, это... если и не ад, то—поле бесконечных боевых учений и уж, во всяком случае, не райский уголок. Вообще, во взгляде русских, живущих в России, на Францию (и Запад) есть много иллюзорного. Посмотрите хотя бы новые русские фильмы, в которых присутствует Запад: по ним можно подумать, что люди здесь живут в полном достатке, а проблемы создают себе сами, так, чтобы не скучно было жить,—в общем, с жиру бесятся. Вообще, эти средства массовой информации—как кривые зеркала. По ним, например, можно представить, что во Франции все

женщины одеваются... как это можно видеть в журналах мод, которыми переполнены русские киоски в Москве и других городах. То есть либо от-кутюр, либо прет-а-порте, но тоже дорого и... исключительно элегантно. А на самом деле всё куда проще и прозаичнее! <...> А дело здесь в том, что... как это ни странно звучит, но человеку нужна мечта. Миф. И как во всяком мифе, всё здесь преувеличено, гипертрофировано. Но в мечте-мифе преувеличено всё лучшее, а всё, что может как-то этот миф очернить, принизить, просто не замечается, «проходит сквозь пальцы».

— Но вернёмся во Францию. Интересно, знают ли французы русскую литературу? Что читают и предпочитают из русской классики? из русской литературы двадцатого века?

— Удивительно, но факт: французы практически ничего из русской литературы не знают. Я говорю о так называемом среднем французе, а не о тех, кто преподаёт русский язык в Сорбонне, и вообще, не об интеллектуальной элите, имеющей какое-либо отношение или к России, или к издательскому делу. Более всего знают такие имена, как Лев Толстой, Достоевский и Чехов. Некоторые «слышали» имена—Пушкин, Пастернак... ещё меньше знают о существовании Лермонтова, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Блока. Более всего известны здесь А. Солженицын и И. Бродский. Странным образом имена И. Тургенева и И. Бунина мало кому что-либо говорят, а ведь оба долгие годы жили во Франции. Если же говорить о том, что читают, то... круг этих французов ещё более сужается. Но можно сказать, что более всего читают Достоевского и Чехова. А русских поэтов знает и читает очень узкий круг... А вообще нынешний книжный рынок во Франции переполнен самой различной литературой—если говорить хотя бы о художественной литературе—всех стран и народов и самых различных эпох. В этом море не так легко «вести свой корабль». Найти на этом рынке можно всё что угодно, но не всегда француз знает, что ему нужно. Масса легко поддаётся веяниям моды. И я с полной уверенностью могу сказать, что массы нашу гигантскую русскую литературу не знают (или, правильнее сказать, знают о её существовании, но никогда к ней не обращались, не читали). <...>

— Ну, предположим, читает француз мало. Но фильмы-то смотрит. Что он знает о русском кино?

— В этой области, по-моему, больше осведомлённости. Во всяком случае, можно сказать, что если француз говорит: я знаю такого-то режиссёра,—то это значит, что его фильмы он видел. Знают (и видели!) таких режиссёров, как Сергей Эйзенштейн, С. Бондарчук, А. Тарковский, М. Калатозов (его фильм «Летят журавли»), А. Кончаловский и Н. Михалков, П. Лунгин. В общем, эти познания, конечно, достаточно «тощи», как выражаются французы. Но дело здесь... скорее, в том, что,

во-первых, французы слишком закрыты в себе, в своей культуре, они плохо восприимчивы к другому типу мышления, и, во-вторых, на две трети «отданы» во власть американской кинокультуры. В результате кинотеатры перезаполнены американскими кинолентами (причём всё более и более сомнительного качества), а голубые экраны — полицейскими сериалами, мелодрамами и сериалами — мыльными операми французского происхождения (и всё это более чем сомнительного качества). Нет-нет и увидишь где-нибудь к полуночи русский фильм по одной из центральных программ. Но французы, повторяю, с трудом эти фильмы воспринимают — им непонятен русский менталитет. Вспоминается эпизод из моей жизни. Одна моя подруга-француженка, достаточно хорошо знающая русский язык, попросила дать ей кассеты DVD с русскими фильмами, желательно такими, которые в России являются популярными кинолентами, массово известными (но этих кинокартин никогда не увидишь ни во французском кинопрокате, ни по ТВ). Возвращая кассеты, подруга сказала, что одни фильмы она хорошо поняла, а другие — плохо. Так, например, история фильма «Белое солнце пустыни» ей осталась совершенно непонятна, так же как и не вполне ясна для неё (как для француженки, заметим) история фильма «Свой среди чужих...» или фильма «Гараж». Более всего ей понравились фильмы «Вокзал для двоих» и «Бриллиантовая рука»: первый потому, что история... не типично русская, она могла произойти и во Франции, с несколько другими нюансами, то есть она приближена к французскому менталитету, а второй потому, что показывает нечто типично советское, что нехарактерно для Запада, и это вызывало у неё особенный интерес, типа: «Руссо туристо. Облик морале», — или: «А если не будут брать (лотерейные билеты) — отключим газ». <...>

— Скажите, как вам видятся русские туристы во Франции? Вообще, они чем-то отличаются от других туристов — немцев или американцев, например?

— Конечно, отличаются.

— Чем же?

— Во-первых, тем, что более, чем другие туристы, посещают магазины. Во-вторых, тем, что, встретив своего сородича где-нибудь в близлежащем пространстве, не идут ему навстречу, а наоборот, пытаются «исчезнуть» из поля зрения. Это очень характерно для русских туристов. И я это так часто наблюдала, что как-то к этому привыкла и вообще перестала при случае себя «выдавать», то есть идти этим людям навстречу.

— Вы можете привести примеры характерного поведения русских туристов за границей?

— Да сколько угодно. Однажды, например, мы с подругой пошли в ресторан. Что мы решили отметить, сейчас уже не помню. Но помню, что дело

было летом и терраса ресторана была открыта. Когда мы уже заказали, недалеко от нас сели русские. Так что вы думаете? Когда они услышали русскую речь поблизости, они почувствовали себя как-то ужасно неуютно, а когда к ним подошёл официант, чтобы взять заказ, они попросили его пересадить их... в другой конец зала. Неважно куда, главное — подальше от «своих». Думаю, впрочем, что старания их были напрасны, потому что русских летом в Париже так много, что и в другом конце ресторана кто-нибудь наверняка из «наших» уже сидел. Другой пример. Четырнадцатого июля, как вы знаете, во Франции национальный праздник. В Париже в этот день устраивается фейерверк, как правило, около Эйфелевой башни. Как-то раз мы с мужем ходили смотреть. После представления мы зашли в какое-то кафе поблизости, а потом решили вернуться домой. Было уже около часа ночи, но народ на улице всю гулял. Когда мы шли по одной из улиц, медленно направляясь к своей машине, муж заметил впереди двух элегантно одетых девушек и сказал шутя: «Хочешь, поспорим... что это русские мадмуазели?» Спорить ни на что мы не стали, но, прибавив шаг, мы в конце концов услышали русскую речь. Прислушавшись, я поняла, что девушки что-то искали. В общем, было ясно, что они потерялись. Но метро в час ночи закрывается. Я подошла к ним и спросила, не метро ли они ищут. На что мне ответили: «Да нет, мы здесь машину поставили, на авеню. Но не помним где». — «А на какой улице?» — «Да мы не записали название, но это была авеню». — «Так отсюда пять авеню расходится». Их это, между прочим, не обескуражило, и они, ничего не сказав, пошли дальше — искать на неизвестной авеню свою машину. Мы свернули на одну из улиц, сели в машину и выехали на авеню. Девушки фланировали в обратную сторону, уже в явной растерянности. На улице — никого, кроме них. Мой муж сказал что-то типа: «Знаешь, они так до утра ведь здесь могут ходить, давай, что ли, их подбросим до их машины». Так мы их провезли по всей этой авеню, и нигде их машины и в помине не было. В общем, минут через десять-пятнадцать, уже совершенно на другой авеню, они увидели свою машину. Муж потом, между прочим, заметил: «А машина («BMW») с итальянскими номерами».

— А как он догадался, что это были русские девушки?

— По одежке, как известно, встречают. Они одеты были... как с обложки журнала мод: в элегантных чёрных костюмчиках, в туфельках, с вечерними сумочками... Здесь так только на «коктейль» ходят или в очень дорогой ресторан. Ни одной француженке или туристке — немке или американке — не придёт в голову так одеться вечером четырнадцатого июля: она наденет джинсы и футболку, кроссовки, возьмёт с собой «на случай»

шерстяную кофту или джинсовую блузу—ведь представление проходит у Марсова поля, где многие и сидят прямо на траве... И кстати, хочу заметить, раз уж мы об одежде заговорили: в самолёте и в заграничных аэропортах я уже научилась различать тех русских, которые летят как туристы, от тех, кто живёт за границей, и определяется это по одежде и по тому, что «написано» на лице. И я ещё никогда не ошибалась.

— Неужели это так сильно различает русских-эмигрантов и русских-туристов?

— Да. Одеваются эти люди по-разному. И ещё на лице у «западных» русских есть специфически западный отпечаток. У русского туриста из России лицо... мягче, что ли, и вместе с тем высокомернее. И глаза совершенно другие. Всё это очень трудно объяснить. Но те, кому с этим приходится часто сталкиваться, уже видят эту разницу.

— Вы вот сказали выше, что русские туристы чаще, чем другие, посещают магазины. Но неужели одни только магазины?

— Нет, конечно. Посещают и музеи, и выставки. Помню, как-то раз мы с русской подругой и нашими детьми ходили в Салон шоколада. Это такая временная выставка, где вы можете не только увидеть многочисленные сорта и марки, самые известные фирмы французского и бельгийского шоколада, но и «пробовать» (правда, не бесплатно), и, конечно, можете покупать—коробки «ассорти» по вашему выбору. Там было целое столпотворение, и мы с подругой растерялись. <...> Но там я случайно увидела у одного из стендов русскую туристку—даму с ребёнком. Так как она стояла возле меня, я с ней заговорила. Спросила её, как ей нравится Салон. На что дама ответила: «Да что Салон? Ничего особенного. У нас российский шоколад не хуже». В общем, дальше было всё ясно. И ведь самое удивительное, что она не одинока в своей позиции. А тянется это с советского периода и ведь как живуче в людях: у нас всё лучшее—шоколад, часы, балет, ракеты...

— А вы с этим не согласны?

— Честно признаюсь—не согласна. Пусть балет лучший русский. Но часы—швейцарские, а шоколад—бельгийский. Сыр, вино и от-кютюр—французские, высокие технологии—японские, обувь и мебель—итальянские, пиво—немецкое, зелёный чай—китайский, чёрный чай—индийский, хрусталь—чешский, джинсы—американские. Зачем спорить с тем, что очевидно? А гордость эта русская—как мыльный пузырь. Мы, русские, ещё долго будем за эту высокомерность и гордыню расплачиваться. — Ну хорошо, шоколад лучший бельгийский. Признаем факт. Но что же лучшее русское во Франции можно найти?

— Лучшее русское для француза?... Водка. Чёрная икра. Расписные подносы и палех. Павлово-посадские платки (но их здесь сейчас никто не носит).

Что касается водки, то польская водка становится так же популярна. А чёрная икра высшего качества считается всё-таки не из России, а из Ирана. Хотя и русская по ценам массам просто недоступна.

— Вы хотите сказать...

— Вот именно. Большинство французов вкуса икры вообще не знает. <...>

— Вы счастливы во Франции? Вообще, что вам дала Франция? Как повлияла на вас? на ваш характер?

— Счастлива ли? Это слишком серьёзно. Но я очень рада, что так сложилась моя судьба. Хотя отрыв от России мне лично очень долго давался с трудом. Но Францию я очень люблю. Вообще люблю всё больше и больше. Может, ещё потому, что всегда, с самого начала своей здесь жизни, пыталась узнать эту страну лучше. Много путешествовала по Франции, исколесила её вдоль и поперёк и могу с полной уверенностью сказать, что знаю её лучше, чем многие французы и, конечно, русские. — Лучше, чем сами французы? Уж не русское ли это высокомерие?

— Нет,нисколько. Просто мне часто приходилось встречать французов в разных районах Франции и общаться с ними. И вы знаете, ведь многие никогда и никуда не ездили, всю жизнь свою живут в своём регионе и даже в Париже никогда не были. — Никогда?!

— Никогда.

— А вот интересно, что вы видели, какие регионы, города?

— Из регионов первое, что я увидела (после Парижа, конечно),—это Эльзас (и была там потом несколько раз). Затем была в Нормандии. Потом в Бретани (несколько раз и там, и там в разных местах). Затем на Средиземном море (также в разных местах, наверное, раз восемь). Ещё—Жиронд. Замки Луары... Из районов, не имеющих выхода к морю или океану,—Турэн, Рон, Шампань, Пикарди, Лоррэн... Была я во многих городах Франции: из крупных—Бордо, Лион, Гренобль, Страсбург, Ницца, Канны, Реймс, из меньших по значению и размерам—Орлеан, Тур, Мюлюз, Кольмар, Бельфор, Довиль, Дьепп, Онфлёр, Амьен, Нант, Сент-Троpez, Монпелье, Гримо, Сент-Поль-де-Ванс, Кап-Ферра, Метц, Берр-лез-Альп... И кроме того, множество виллажей—в окрестностях Парижа, в Бретани, в Альпах... И вы знаете, Франция прекрасна своим невероятным разнообразием. Она как бы вмещает в себя множество стран—так сильно один район отличается от другого: своим климатом, географическим расположением, архитектурой городов, обычаями и нравами и, конечно, спецификой кухни. В общем, всё это меня невероятно обогатило. Влияет Франция и на характер. Я думаю, что в положительном смысле это проявляется, во-первых, в умении найти границы в отношениях с людьми—научиться не лезть другому в душу,

не навешивать своих проблем, но и не давать другому «заглядывать в замочную скважину»,— всё это крайне полезное влияние Франции на русских. Из этого рождается—дипломатичность (тоже влияние Франции). А отсюда вежливость и умение «обходить рифы». Всё это, я считаю, положительное влияние Франции на (необузданный, резкий и хаотичный!) характер русского человека. Научиться уважать другую личность и считаться с ней—русскому оказывается не так-то просто. Но время делает своё дело.

— И последний вопрос. Как вам видится будущее Франции?

— Это очень глобально. Отвечая на этот вопрос, можно было бы написать целую отдельную книгу—

«Будущее Франции». Могу лишь сказать: одно из центральных мест в будущем Франции (в недалёком, замечу) будет занимать... национальный вопрос. Вдумайтесь: с одной стороны, Европа объединяется, а значит, постепенно стираются всяческие границы; с другой стороны, полным ходом идёт наступление «религиозного фанатизма» с Востока. Вот и думайте, как в этих условиях нации (в данном случае—французской) сохранить своё лицо.

— И что же вам провидится как поэту?

— Как известно, «сказано—сделано». Поэтому... я о своих предчувствиях лучше умолчу (и тем самым даётся надежда на возможный—лучший—исход событий).

ДиН стихи

Максим Страхов

Распродажа счастья



В гастрономе распродажа счастья.
Встал в длинную очередь.
Третий час толкусь на одном месте—
кто-то всё время норовит
проскочить вперёд:
пенсионеры, инвалиды,
матери-одиночки,
ветераны труда,
военные...

Строгий продавец
методично отказывает
всем льготникам.
Они же трясут документами,
звенят медалями и
бьют себя в грудь—
никак не поймут:
чтобы стать первым,
нужно обязательно
встать в очередь...



Третью ночь не могу заснуть—
читаю хорошие стихи.
Озорные симпатичные строчки
сбиваются в стайки,
забегают в моё подсознание
и неистово верещат:
«Укради нас!..»
А я их, бесстыжих,— по буквам, по буквам...



Незрячего напрасно
называют слепым,
ибо слепы те, кто
смотрит людям в глаза
и не видит
вокруг себя
льстецов,
лгунов и
изменников.
Незрячий с рождения мальчик
апрельским вечером
грозит кулаком небу.
Дело к дождю...



Ты просила
не ставить
восклицательных знаков
в моих ответах
на твой
единственный вопрос:
«Будем ли мы вместе?»
Трижды
я отвечал «нет»
и утвердительно ставил точку.
Но тебя не обманешь—
три точки
не зря
называют многоточием...

Азер Абдулла

ДОЖДЬ ЦВЕТОВ

Перевод С. Мамедзаде

Он одержимо верил, что если кому-нибудь из миллионов, миллиардов людей и суждено воскреснуть после смерти, причём не тогда, когда покойника, омытого на помосте, облачённого в саван, доставленного в колыхающемся на ухабистой дороге гробу под плач и причитания на кладбище, опущенного в могилу и уложенного на правый бок, пошевеливают при каждом упоминании имени усопшего в заупокойной молитве, а после того, как могила будет засыпана землёй, зацементирована, забетонирована наглухо...

Мрачное, жуткое предчувствие, закравшееся в сердце с недавних пор, усугублялось изо дня в день ежечасно, изводило, изматывало. Всякий раз при перебоях сердца, одышке, испугавшись, что дыхание оборвётся навсегда, он панически вскакивал с постели, садился за письменный стол и принимался заново писать завещание, которое растягивалось то на десяток, а то и на дюжину пунктов. С одной стороны, он опасался, что завещание, смахивающее на перечень требуемых базарных покупок, преданное огласке ещё при жизни или же после смерти завещателя, станет объектом зубоскальства; с другой стороны, не было надежды, что найдётся человек, который бы исполнил его последнюю волю.

Он-то хорошо понимал, что вот уже сколько лет никому ничем не помог, не удружил, не услужил. Рассчитывать на престарелую, выжившую из ума мать не приходилось—старушка смеялась по всякому поводу, даже весть о кончине близкого человека вызывала у неё хохот. Один из сыновей учился в России; он знал, что узнай сын о кончине отца, матери или бабушки—не успеет приехать. Младшего сына за хорошую учёбу институт премировал десятидневной поездкой в Турцию. В день отъезда сына в Турцию, вспомнив вдруг двадцатилетней давности печальные слова, сказанные отцом летним днём, на веранде с распахнутыми окнами, на втором этаже сельского дома, утопавшего в зелени: «В нашем роду никогда при смерти отцов сыновья не оказывались рядом»,—он ещё раз уверовал в то, что дни его сочтены.

Когда умер дед, сын был на фронте, а весть о кончине отца застала его в Баку.

Один из друзей, кому бы он мог довериться, отбывал срок заключения, а другой жил в посёлке Бина, и все мировые новости доходили до него в последнюю очередь. Он предвидел, что сей поселковый отшельник, которому не было дела ни до всесветных тревог, ни до житья-бытья Бины и который никогда не упускал время намаза и мусульманского поста—оруджа, не узнает о его смерти ни в тот же день, ни на третий, ни на седьмой... Если хватится и придёт на сороковины—и то великое дело.

При виде тоненьких, прозрачных, как стрекозиные крылышки, капроновых ленточек-тесёмок, вошедших в обиход в последнее время, он ощущал боль в теле, будто от прикосновения бритвенного лезвия. Ему чудилось, что такой же противной, мерзкой лентой обвязаны большие пальцы его ног... там, в холодной тьме небытия... И он не может приподняться в тесной яме с низким покрытием, не может подобрать ступни ног с перевязанными пальцами... он нашаривает во тьме холодные металлические предметы: кажется, это стамеска, отвёртка... и нож-хлебoreзка... он пытается дотянуться хлебoreзкой до этой поганой тесёмки, опутавшей ступни. Не будь этих пут, согнув ногу и уперев её в плиту, он смог бы, напрягшись, расширить тесное пространство... Всю ночь, преследуемый кошмарным видением, он потирал ступни ног, подошвы, подушечки пальцев о каменную кладку, растёр в кровь... Всё пытался нащупать ступнями какой-нибудь острый выступ, бугорочек в кладке, чтобы перетереть, перервать опутавшую пальцы ненавистную ленту, да вот, поди же, не рвалась, зараза, а напротив, алмазным резцом вонзалась в мясо, до костей доставала... Всю ночь он ворочался, бился в постели—и, очнувшись, лихорадочно стал думать, в каких углах и закоулках их жилья завелась эта капроновая дрянь.

Рано утром его жена должна была прибыть из сельского района, до её приезда он должен был отыскать все эти капроновые штучки и изничтожить их, чтобы предотвратить свой будущий загробный плен... Он встал засветло, прошёл в комнату, где спали дети, подошёл к свёрнутому

в рулон ковра, перехваченному в трёх местах капроном, развязал; пройдя на балкон, разрезал округлую, сплетённую из грубых нитей бельевую верёвку, обрывки её внёс в гостиную, искромсал ножницами на мелкие кусочки и, высыпая их в мусорное ведро в ванной, вдруг увидел ненавистную капроновую бечеву, на которой держалась целлофановая ширма, изрезал и эту капроновую мерзость; но, всё ещё не остудив свою ярость, ринулся на кухню, выпотрошил всю дребедень из углов, из духовки газовой плиты, затем из-под тюфяков в комнатах, из гардероба, из ящиков серванта, из недр книжных полок с запяльшимися книгами и папками. Тесёмки, обнаруженные им в ящиках, алые и зелёные, при всём изяществе, блеске и приглядности, были в его глазах всё той же поганой, отвратительной капроновой напастью, заполнившей в последнее время города и веси...

Зелёная тесьма украшала преподнесённый им гостинец — шоколадную коробку, а алая осталась от букета в целлофановой цветистой обёртке, подаренного его сестрой золовке восьмого марта. — Нет, вы слишком хороши, чтоб я вас искромсал... я лучше вас хорошенько подпалю...

Он даже вздрогнул от своего голоса. И направился на кухню, чиркнул спичкой, поднёс огонь к зелёной ленте, и лента, как живая, скорчилась, изогнулась змейёй, закачалась, и дымно запылавший её кончик, взвившись, пристал к среднему пальцу его левой руки — будто змея ужалила; он замахал рукой, но расплавившаяся лента не отставала; он пытался смахнуть её указательным пальцем правой руки, но и к ней пристал кусочек обжигающего месива; в одно мгновение оба пальца опалились и вздулись; от боли и злости он отшвырнул ленты на пол, сгрёб их, положил на обломанное блюдо и поджёг. Ленты вновь заизвивались змейками.

— Горите огнём, проклятые, дотла сгорите! Эка невидаль! Куда вам до шерстяного ворса, хлопкового волокна... верёвка, бечева из козьей шерсти — век храни — не сгниёт... По мне, пусть хоть проволока, хоть медная нитка, только не эта синтетическая дрянь!

Выбрав из груды рассыпанной по всей квартире мелочи алые, чёрные, жёлтые, зелёные тесёмки, он завернул их в газету и запихнул в пустое пространство за книгами на стеллажах. А клубок шерстяной пряжи водрузил посредине письменного стола и, чтоб выделялось, переложил книги, бумаги, ручку на подоконник.

То ли дело обычная верёвка — не то что эта гнилая синтетика. Верёвку, если поднатужиться, можно запросто перетереть, разорвать, и никакой такой рези, боли в пальцах... «До того, как придёт мой последний час, мне надо обо всём позаботиться...»

Он поуспокоился, очистив дом от этих капроновых штучек, в последнее время мозоливших глаза и видевшихся опутавшими его змеями, гадюками... Но, войдя в ванную и намереваясь вымыть замызганные руки, он заметил картонный короб, набитый бумагами, и представил себе, что завтра среди привезённого женой барахла непременно окажется некий узелок, перехваченный вездесущим капроновым поганым шнурком, и его успокоение улетучилось. Он почувствовал с досадой, что его долгие усилия, весь затеянный им труд напрасны, что никогда ему не избавиться от этих капроновых пут...

Меж тем никак не рассветало, он озяб и нырнул под одеяло, выпрямил тело, сомкнул ступни и повернулся на правый бок, воображая себя в могиле...

Одно мгновение он пребывал в такой покойничьей позе, а когда очнулся, вернее, воскрес, то почувствовал удущье и стал хватать ртом воздух, но смог лишь едва разжать губы, дыша с трудом... Проведя рукой под саваном, скинул повязку с головы, вынул ватки, воткнутые в ноздри, продрал саван, и когда уже намеревался изорвать покрывало поверх савана, его рука упёрлась в плиту.

На каком-то из черновиков завещания должен был лежать коробок спичек. Он поелозил руками и нашарил спички у себя на груди. Сбросив с себя саван, чиркнул спичкой и... зашёлся кашлем... сразу осознал свою гибельную оплошность: огонь пожирал, ежесекундно уменьшал воздух, животворный кислород, который сейчас был дороже хлеба, воды...

Он ранее пытался подсчитать количество, объём воздуха в тесном пространстве могилы, допытывался у знакомых учителей химии и физики, сколько воздуха в среднем пропускает человек через лёгкие ежесекундно, сколько поглощает кислорода, однако никто ему не дал точного ответа. После долгих прикидок, уразумев, что тело, опущенное в могилу высотой в два «кубика», вытеснит из неё добрую половину кислорода, он пришёл в ужас, понимая, что значит для него — воскресшего — каждый глоток воздуха.

Он сжал в пальцах горящую спичку. Его тлевшая спичка, упав на пуп, обожгла кожу. Но сейчас его больше всего тревожило оскудение воздуха. И он решил вычеркнуть спички из списка предметов, которые, по завещанию, надлежало положить в могилу...

Если бы забыли положить при нём нож или сочли бы эту последнюю волю никому не нужного старика причудой, ему там оставалось надеяться только на свои зубы, которыми он мог бы перегрызть, изорвать саван и покрывало. Но дело не исчерпывалось только этим. Конечно, длинный нож-хлебобрезка был куда нужнее, чем спички... Он уже видел себя изорвавшим саван и выковыривающим

лезвием ножа ещё не засохший раствор с цементом на стыках камней и бетонных плит. И молил Аллаха о том, чтобы Всевышний вернул ему жизнь, после засыпки могилы землёй и ухода людей, через пару-другую часов или хотя бы через день, пока цементно-глинистый капкан не отвердел, не окаменел. Тогда бы сгодились и стамеска, и отвёртка; впрочем, нет, это были бы слишком грубые орудия, даже ножом вряд ли удалось бы расширить зазор между плотно подогнанными плитами и проделать лаз... Он-то хорошо представлял своих будущих могильщиков. Видывал, насмотрелся на многих похоронах на их справную работёнку.

Они тщательно отберут бетонные плиты, выищут те, что целы, без отбитых краёв, а человек, который будет укладывать их рядком, явит всю свою сноровку, усердие, умение, подгоняя плиты так плотно, чтоб и волос между ними не прошёл, и воздух не проник...

А погляди на приготовителя раствора! Уж как старается, как старается — будто тесто замешивает! В ином случае, может, и скупился бы, а тут гляди как расщедрился, вместо двух-трёх лопат с цементом вывалит на песок целое ведро. Ловкачи, прохиндеи, нечистые на руку, сплавляющие «налево» половину отпущенного на стройки цемента, тут станут работать на совесть, чистенько. Да хоть был бы и цемент поплосше, не российский, а свой, никудышный. Эти могильные штукатуры с таким увлечением и смаком заделывают стыки и щели, заляпывая густым раствором, что можно подумать — нет занятия милее их душе.

Ну, тут внесут свою лепту и мой двоюродный братец-контрабасист, вовек не бравший в руки лопату, и сосед-счетовод с белыми бабьими руками; отдавая, видишь ли, последний долг, соскребнут с краешка горсть земли, будто мало её накидали, и бухнут на мой последний приют... Мерзавцы! Вы ещё подвезите вдобавок грузовик с землёй, ссыпьте на меня! Метлой поднимите ошметки, с ботинок смахните налипшую грязь, валите на меня! Ещё и бороздку проложили на холмике земли, арык, так сказать; льют воду, окатывают и лопату ведут по бороздке туда-сюда; ишь какие мастаки, искусники, аккуратные какие! А воду будет таскать соседский подросток из чана на отшибе кладбища, бегом, влопыхах, как на пожаре. Он под стать родителям — плут, прохвост, хитрюга. Сколько раз я посылал его за хлебом, за сигаретами — и всякий раз уклонялся, отбрыкивался под разными предлогами. А теперь он, видишь, покладистый. Ведро воды на меня сверху опрокинул, а тут какой-нибудь «заботник» скажет: «Ещё давай!» — и этот неслух, сын Махада, подхватит ведро и за водой припустит. Ну вот, вторым ведром окатили. Будто поле поливают; ждите, зелеными взойду! Олухи! Придумали «обычай». И сами не знают, ради чего столько воды переводят... И ведь расспрашивал

у мулл, у аксакалов: какой прок в этом водоизлиянии? Один сказал: дескать, капелька этой воды просачивается и падает на голову покойника, и если тот очнётся и вздумает приподняться, то головой стукнется об плиту... Да какая капелька просочится сквозь такую толщу земли и бетона? Другой объяснил: мол, воду льют, чтоб облегчить душу покойника. Ничего себе облегчение...

Да, двоюродный мой братец переберёт камни, которые надлежит поставить в изголовье и изножье, так и сяк перевернёт, отберёт самый гладкий, приглядный, увесистый и возложит в головах у меня.

Бережно, чтоб дух мой не потревожить. Да уж, трогательная чуткость! А ещё напоследок, уходя, подберёт камушек и постучит по надгробью, нащёптывая что-то печальное. Гляди, какая у него участливая, горестная, сердобольная рожа! А ведь ровно семь лет как он к нам в двери не стучался. Сколько раз просил его: телевизор у нас барахлит, картинка бежит, зайди, почини, — а он, телемастер чёртовый, не удосужился.

Да и на других положиться нельзя. Что такое семь лет? Есть люди, с которыми я не виделся десять, двадцать, тридцать лет. Чёрта с два придут! Ну, дело не в них, кто не придёт — пусть. Я о тех, кто придёт. Когда хлынул поток беженцев, пять сёл нашего района всем миром устремились в Баку. Из них по крайней мере сотни три, наверное, придут... Я ещё не говорю о местных знакомых, приятелях. Каждый пожертвует пятью-шестью часами времени, запишет свой взнос в список — по паре «ширванов» в среднем. Это, считай, за тысячу двести долларов в сумме. А мне-то ведь тысчонка зелёныхких требовалась на ремонт кровли, накупил жести, черепицы, досок, семь лет пылились во дворе, часть пообломилась, заржавела, часть — стащили, разворовали. Семь лет крыша протекает... и весной, и осенью, и зимой... Ни у кого на свете, наверно, таких хлябей небесных в домашних условиях нет. Бывало, подставляли под струи и ванну, и ведра, и посуду, даже бокалы. Куда там! То тут капает, то там протекает, подставишь посуду в одном месте, а через пять минут, смотришь, в другом месте крыша прохудилась. Так и ходи с посудой по квартире, крутись, пляши...

Как-то мать укорила сына: «И в кого ты таким нелюдимым уродился? Ни с кем не знаешься, не дружишь, сидишь бирюком!» А мальчик в ответ показал рукой на потолок: «Да кого можно привести в такую хибару?..»

Вот ведь горе: сын отшельником растёт, ни с кем не общается, никто не ходит к нему... «Я не в обиде... если при жизни моей не навещали меня... Но, Аллах знает, сколько ещё крыша будет протекать после меня?..»

Надо было в завещании указать и место будущего захоронения. Когда-то, погожим весенним

днём, ему довелось провожать в последний путь покойника— на кладбище посёлка Мехтиабад. Ему пришлось по душе зелёная трава, развесистые деревья, осенявшие могилы, окрестные зелёные нивы, простор, ясные голубые дали...

Но ему больше нравились не красоты кладбищенского пейзажа, а рыхлость почвы, то, что она отваливалась кусками, ошмётками под ломом и лопатой. Холмик земли, выросший над могилой, должен был быть легче, чем песчаник, и пропускать воздух сквозь себя. Но пара вёдер воды превратит этот холмик в месиво, растворит, как куски сахара. А ещё если польёт дождь, то уж во все всё превратится в кашу, жижу. Когда верхний слой осядет, то он отвердеет, прикипит к кладбищенскому грунту, как приваренное железо. Тогда, думал он, не то что мои тощие обессилевшие ноги, но даже и слоновьи стопы заправского штангиста не смогли бы поднять эту толщу отвердевшей земли... Грянет дождь— это место станет таким же непролазным, как Бинагадинское кладбище... Вспомнив Бинагадинское кладбище, где на чьих-то похоронах в дождливый осенний день ему пришлось пробираться, увязая в слякоти, ощущая свинцовые гири на ногах, он поневоле остановил свой выбор на кладбище за «Волчьими воротами», откуда, при взгляде с перевала, открывалась бескрайняя прорва серой, безжизненной, бесплодной пустоши, напоминавшей врата ада. Мрачный вид кладбища, от которого оторопь брала, наводил мистический страх, не оставляющий места никакой надежде; там была песчаная земля.

Кроме того, после долгих размышлений он пришёл к выводу, что на этом кладбище, находящемся ниже уровня моря, и плотность воздуха должна быть выше. Он всё соотносил со своим непременно воскресением. И если, вопреки его последней воле, его не «снабдят» в могиле ножом, шилом или каким ещё инструментом, то, на худой конец, он надеялся разрыть песчаную оболочку руками, ногтями...

Он ощущал свои ногти. Три дня назад навесившая средняя сестра удивилась длине его ногтей и хотела было подрезать их ножницами, но он не позволил.

— Лучше уж ножницы положите со мной в могилу, больше мне ничего и не надо.

Но в своём кошмарном видении он не обнаружил ножниц при себе в последнем приюте. И стал с барсучьей прытью, с рьяностью гиены, с лисьим проворством подрывать землю под кладкой, выгребать песок и отшвыривать его под ноги. Камень уже шатался, оставалось расширить зазор ещё на палец, чтобы оторвать от стенки, но он никак не поддавался. Он продолжал, не теряя ни минуты, усилия; на сей раз, вырыв под собой лунку и оторвав кубик из кладки, уложил туда, извлёк ещё камень, запихнул под ноги, подкопал под ними, но,

ещё не пробив маломальской щели, засыпанной комьями земли, щебнем, он не мог найти место для вновь отрытого грунта... Он задыхался и, Аллах знает, в который уже раз сбрасывал с себя одеяло; вскоре, однако, ему становилось зябко, и он вновь накрывался и продолжал воображаемую дикую возню в воображаемой могиле.

Он силился— ножом ли, ногтями ли— подрывать землю под собой, высвободить пространство, чтобы подогнуть наконец ноги— пусть через день, через два,— упереться в плиту и оторвать её от ещё не отвердевшей цементно-глинистой спайки. Сколько раз он ни пытался вжаться в вырытую ямку и подобрать ноги, колени неизменно упирались в низкое перекрытие.

Могилы за «Волчьими воротами» тянулись до болота, по краям заросшего камышами. Он слышал, что в последнее время в свежерытых могилах проступала вода. И воображал себя похороненным здесь и очнувшимся, воскресшим в воде, затопившей его... И вновь пытался подняться. Не будь воды, воздуха хватило бы часа на четыре, пять, может, даже на день-другой. Опершись о локти, он тянулся лицом к перекрытию, хватая ртом воздух... И вновь, вскричав от страха, проснувшись, он скинул одеяло с себя, привскочил, жадно вдыхая воздух, протянув руку, включил ночник, встал, включил и люстру, подошёл к окну, с которого вчера сорвал и сбросил занавеску.

На последнем этаже девятиэтажки вдалеке горел свет. «Похоже, и там кто-то вроде меня переживает свой последний срок... Должно быть, неспроста говорят: сто раз умирать и воскресать... О Аллах, ни о чём не молю тебя, хоть укороти мою жизнь, отними жизнь до отпущенного срока, насколько не посетую, только воскрес после того, как предадут меня земле... Ни о чём больше не молю, великий Аллах...»

Была половина пятого, его прохватил озноб. Не гася света, он лёг в постель, накрылся одеялом. И едва смежив глаза, вновь ощутил себя в тёмной, безмолвной, а самое страшное— удушливой и тесной могиле; больше всего его мучило и терзало то, что его хоронили ещё не умершего, не испутившего дух. После многочасового метания, пытки, трепыхания его дух и плоть оказывались узниками в мерзкой клетке. И, как птица в клетке, он бился об углы, и напоследок, вцепившись в низ подгробной плиты, он цепенел и замирал, ощущая кишмя кишущих, набившихся под саван червей. И издыхал, околевал среди этого смердящего кошмара...

Когда ему на ум пришло это слово— «околевал», он подумал, что грешит на себя. Ему казалось, что какой бы кары, зла, пытки он ни заслуживал, его душа непорочна и безвинна. Хотя он слышался о способности души проникать сквозь стены, он не надеялся, что его душа сможет проникнуть

сквозь несметные преграды, плотно уложенные, оштукатуренные и после забетонированные плиты, сквозь толщу насыпанной сверху земли. В такие мгновения он жалел свою душу, видевшуюся прекрасной, хрупкой, бессильной и безвинной птицей, бившейся в клетке. Чем воскреснуть там, лучше уж стать поживой воронью, лисе, шакалу, волку, или утонуть в море, или сгореть на костре, как у индусов сжигают покойников, или быть кремированным, как делают в больших городах.

Неделей раньше он проведаль мать—вернее, сходил не проведать, а осторожно поделиться своими страхами, услышать от матери, умевшей найти средство от любой напасти, какой-то совет, узнать, в чём же выход.

Там был и младший брат. Ударились в воспоминания, и все трое расчувствовались, стали как бы роднее друг другу. Когда мать с горечью посетовала, что все её знакомые, ровесники, ровесницы поумирали и она осталась в одиночестве, он, вместо того чтобы утешить и ободрить её, как бы шутя (всерьёз признаться в этом при младшем брате он счёл зазорным), со смехом сказал, что боится своего воскресения после смерти и захоронения. Мать покадилась со смеху. И вдруг перестала смеяться.

— Беда на мою голову! Так же вот и ваш отец изводился страхами. За день до смерти собрал нас возле себя и твёрдо велел: мол, после моих похорон неделю ходите на могилу и прислушивайтесь. Если услышите голос, не теряйтесь, не поднимайте шума, никого не оповещайте, ночью вскройте могилу мою. А дальше—я сам знаю, как быть...

Мать не раз говорила, что ловкость, проворство, остроумие,—все, в общем, достоинства младший брат унаследовал от отца.

И теперь он осознал, что единственное, что унаследовал он, старший сын, от отца, умершего в возрасте сорока лет (теперь он был старше отца на семнадцать лет),—это страх перед своим воскресением. В те времена, должно быть, выбраться из могилы было куда легче. Тогда могилы не бетонировали, не цементировали, как сейчас... Стенки из самой земли, сверху переключают досками, палками, наложат на них куст держидерева и, чтоб ветром не сдуло, камнем прижмут.

Мать ещё не договорила, как в разговор встрял младший брат:

— Я вложу трубку для доступа воздуха, три дня буду ходить на твою могилу, окликать... А воскреснешь позже—пеняй на себя.

В иной раз младший брат напридумал бы десяток путей выхода из положения, один другого смешнее, лучше, потешнее, и по мере разговора подсказывал бы всё новые, немислимые, но убедительные решения.

Но он понял, что младший брат сказал это просто так, для разрядки.

Опасаясь, что разговор переменит русло, он с деланным смехом, со скрытой безнадёжностью уцепился за слово:

— Как же при всём честном народе трубку просунешь в могилу? Если случится дело летом, обложите льдом, формалин введите, подержите хотя бы день, а уж после хороните...

— Да что там один день! Могу и на неделю в морт положить, не разорюсь—за полсотни долларов, или хоть десять дней! И одеяло передам, чтобы накрыли. В случае, если ещё окажешься живым, чтобы не простудился.

Он хорошо знал: захоти младший брат взяться за это дело, пожелай исполнить последнюю волю, то обставил бы все эти приготовления, далёкие от обычаев и традиции, так, что комар носа не подточит, придумал бы тысячу предлогов, и на глазах у всех—муллы, стариков, официальных лиц, участников похорон—закопал бы в могилу всё: и нож, и топорик, и лом, хоть спортивную форму, хоть костюм, накрахмаленную сорочку, галстук, дабы воскресший и восставший из могилы не напугал бы своим саваном окружающих.

Младший брат, согласись он на эту затею, мог бы и заранее столкнуться с гробокопателями, ублажить деньгой, чтобы загодя к могиле построили бы и нечто вроде кладовки или подпола, все надлежащие инструменты собрать туда, замаскировать и, отличив от других могил, сделать кладку каменную повыше на два ряда, да ещё позаботился бы о недельном жизнеобеспечении мнимого покойника, предусмотрев и питание, и воду, и кислородную подушку, и карманный фонарик...

«Но ничему не бывать,—думал он,—во всём виноват я сам. За семь лет ни в чём ему не подсобил, не подставил плечо. Не помог—это ещё полбеды, так ведь обузой был для него все семь лет: каждый месяц, не задерживая ни на день, приносит мне пачку. Прежде я приличия ради отнекивался: «Да зачем ты?..» А в последнее время и этого не в силах сказать, даже поблагодарить невдогад. Будто трудовые, заработанные деньги беру.

«Беру»—не то слово: хватаю—и в карман. Сам себе противен, как вспомню об этом. Ну если я сам себе противен, то ему-то каково? Ну почему я дошёл до жизни такой? Ведь брат и сыну моему за границу деньги посылает, ежемесячно, в дни рождения подарки-гостинцы дарит, да ещё и обеда с собой приносит, о сёстрах, о родне печётся, о нищих радеет... Встаёт чуть свет и допоздна кружится, вкалывает... Машаллах! Да что это я? Как бы не сглазить! За семь лет я матери родной ничегошеньки не купил, а он все расходы взял на себя, нянчится с ней. Иногда и в машину посадит, по городу час-другой покатаются, к морю возит, чтоб настроение поднять... Недавно меня распекал: «Ах ты, такой-сякой, мне и голову некогда

почесать, дел по горло, так ты бы хоть на траурные обряды ходил, раньше ни одного не упустил, а в последнее время не знаю, что с тобой стало. Ну хоть мать в день на часок води гулять. Я ведь и машиной тебя снабдил, дело же нетрудное!»

Верно говорит, перейму его печаль, верно. Мало того, что машину подарил,—ещё и бензин покупает, и когда барахлит—ремонт берёт на себя.

Прежде мать всегда клялась мной. Говорила: мол, у нас в роду не было такого заботника, радетеля. А в последнее время, зовя меня, путает моё имя с братниным, клянётся его именем... Почему я стал таким? И сам не знаю... Те, которых сняли с должности, не могут, как я, выходить на люди, чахнут дома от безделья, подышают с тоски. А у меня и должности особой не было. Может, старший брат—потому и считаю, что младший мне не указ?

Иногда, бывает, песочит меня при сыне, пожурит, в краску вгонит, а потом хватится, хочет загладить обиду. «Меня вывел в люди твой дядя,—говорит сыну.—И ты, и я всем, что у нас есть, обязаны твоему дяде».

Нет, журишь—корить он стал не вдруг, семь лет пёкса обо мне. Только от матери и видел я подобную ласку—заботу. А я ему ничем не отплатил. Когда он заболел—и навестить не удосужился, даже по телефону не позвонил.

Как-то он посетовал: «Вам и дела нет до меня... Вот комиссия нагрязнула ко мне, десять дней копалась, мытарилась, а ты ни разу не поинтересовался: как, мол, закончилось? Если меня упекут или сыграю в ящик от разрыва сердца—уж не знаю, что с вами станет без меня. Никто ни капельки не интересуется, не любит меня...»

Верно говорит: не интересовался, когда он хворал,—считал, видишь ли, лишним проведать, спросить о здоровье, самочувствии. Нет, видно, я таким уродился. Когда болела мать, или жена, или дети—и тогда у меня не находилось добрых слов, невдогад было подойти, утешить, приласкать...

Никогда не умел я этого. В детстве, случалось, мать занедужит, свалится в постель—терялся, переживал; учил ли уроки, колол ли дрова, приглядывал ли за животинкой—всё время помнил о ней, денно и ночью молил Аллаха об исцелении матери, а вот подойти к родимой, приглубить, сказать ласковое слово—ни-ни...

Вот таким вот сухарём, чурбаном, ледышкой и держался. Лишь украдкой, уйдя в сторонку или накрывшись одеялом с головой, давал волю слезам, объятый страхом.

Да, и я, и мои дети—обуза брату, ведь я никакой не больной, попросту нахлебник для него—живой труп; он-то, наверно, давно махнул на меня рукой. И не надеется, что впредь пригожусь в чём-то.

Это ему придётся взять на себя все расходы. Повезти меня в мечеть для обмытия бранных останков, взять напрокат мафэ—похоронные носилки,

привезти домой, получить справки от врача, от похоронного бюро, нанять автобус для доставки людей на кладбище и обратно, купить участок, оплатить труд могильщиков, оплатить прокатную посуду, поминальные угощения—эхсан, и ещё много чего... И всё это в один день. У младшего брата не останется ни времени, ни сил, ни возможности, чтобы прочесть и исполнить завещание. С какой стати, угрохав столько денег, выбившийся из сил, потрясённый утратой, он пожелал бы воскресения такого, как я, покойника, чурбана, ледышки?

Он же сам говорит, что печётся о живых—не о мёртвых.

Нет, если не напишу завещания, ничего не получится. Не надо ни кладбище выбирать, ни могилы громоздить как саркофаг, ни всякие инструменты класть, брюки, сорочку... к чёрту. Потом пойдут чесать языками—не остановишь. Вместо всей этой затеи лучше уж сжечь электрическим током, или же пусть тело моё... Нет, слово «тело» не напишу, оторопь берёт. Пусть сделают мне укол, в руку ли, в ногу ли, отраву какую-нибудь. Но укол—это верная смерть. Лучше бы током... Ток может оказаться не смертельным. Даже если от высокого напряжения отключусь, всё же есть надежда... очнуться после похорон...»

...Он вновь откинул с себя одеяло. Вскочил с постели, в трусах и майке устремился на балкон, который начал ремонтировать года три тому назад, но так и не закончил. Нашёл в хламе гвоздодёр, смахнул пыль детскими трусами, снёс в ванную и промыл, вытер насухо и положил на письменный стол рядом с шерстяным клубком, потом принялся было за завещание, но, продрогнув, предпочёл лечь в постель и уже стал сочинять текст завещания в уме.

«Дорогой мой брат! В последние годы я причинил тебе немыслимые хлопоты. Меня охватывает ужас при мысли, как ты один возьмёшь на себя бремя моих проводов в последний путь. Но если ты запасёшься терпением дня на три, всё, хорошо ли, плохо ли, образуется, до сих пор ничей покойник ещё не оставался без призора. Если ты исполнишь мою последнюю волю, то я не буду в обиде, клянусь духом наших усопших, даже если не справишь поминования на седьмой день, по четвергам и сороковины. Первая моя воля: пусть мои ноги обвяжут шерстяными нитями—с клубка, это оставляю на письменном столе. Вторая просьба: пусть положат рядом со мной гвоздодёр (он тоже на моём столе). Да поможет тебе Аллах».

Ему пришло на ум, что пока брат доберётся до их дома в роковой день, пока узнает о завещании, пока прочтёт, жена и дети могут ненароком убраться со стола гвоздодёр, а брат может сменить его плоскогубцами или клещами. Потому решил приписать к «мисмарчыхаран» русское слово «гвоздодёр».

Лёжа в постели, трясясь в ознобе, он ощущал радость. Выискивая гвоздодёр, он почувствовал облегчение. Теперь он воображал себя покоящимся там, в будущем мраке, уверенный в том, что сможет без труда гвоздодёром расковырять цементные швы плотно уложенных плит и раздвинуть их. Не было уже нужды и в мягкой шерстяной нити.

Потому он мысленно убрал из завещания просьбу о шерстяном клубке, протянув руку, убрал с письменного стола клубок и запихнул под край матраца.

...Едва автобус остановился у ворот кладбища, он сошёл раньше всех и с не подобающей его возрасту резвостью ринулся вперёд, будто распоряжаться похоронным ритуалом было доверено ему. Торопливо пройдя по тропам между могильными оградами, он направился в сторону двух свежерытых, расположенных поодаль друг от друга могил, осмотрел каменную кладку внутри них и, цепляясь за колючки, сорную траву, дошёл до свежерытой могилы своего земляка, которого и в лицо не видел, не знал, сколько тому лет, кому доводится родней. Посетил он могилу не с целью благословить память покойного, выразить кому-то соболезнование — нет, он хотел напоследок уточнить обычные габариты могилы, определить степень плотности и прочности штукатурки, где над могилой слой земли потолще, где потоньше, какой камень в изножии, какой — в головах, который полетче, который потяжелее; пока у него оставалось время в этом бренном мире, где он никому не помог и никому, в сущности, не был нужен, где никому не доверял, ему оставалось самому искать утешительную иллюзию, искорку надежды...

Когда тело покойника опустили на землю, он подошёл к изножию могилы и, опережая толпу, занял место в сторонке; обнаружив, что две предыдущие свежерытые могилы и эта, ждущая покойного земляка, имеют стенки высотой в три кубика, он возрадовался: «Вот это что надо!» И поискал глазами могильщиков. Когда тело опустили и уложили набок, он прикинул объём могилы и, убедившись в её просторности, ощутил некую умиротворённую радость. Невзирая на почти тельную тишину, в которой лилась монотонная молитва муллы, он громко спросил у стоявшего рядом незнакомца:

— Все ли могилы роют столь вольготными, просторными?

Сосед, видя прикованные к ним взоры, раздражённо пожал плечами. Но он и бровью не повёл, хотя и вопрос остался без ответа. «В такой могиле воздуха — навалом».

Ему стало ещё спокойнее при виде мягкой утрамбованной земли вокруг ямы. «Можно гвоздодёр принести заранее на могилу и присыпать землёй, никто, кроме могильщика, не будет знать. Всё, оказывается, проще простого...»

Но когда тонкие широкие плиты легли на зев могилы и раздался чей-то голос: «Ставь ноги дальше, эти плиты хрупкие, могут враз обломиться!» — его недавнее воодушевлённо-умиротворённое настроение улетучилось. Его взгляд скользнул от плит до груды земли: ему надлежало засыпать плиты ни мало ни много — слоем в восемьдесят сантиметров.

После того как люди разойдутся, на этот холмик могла забрести животина, которую пасли на кладбище, мог и сам пастух наступить. И вот... каменные хрупкие плиты ломаются, рушатся, острые осколки падают ему на голову, на ноги, на живот, он не может шевельнуться, вернуться... Уже и проку в его ломе и прочем нет. Уж лучше железобетон...

Пришлось ему добавить в завещание и этот пункт. Безнадёжно оглядевшись, он подозвал кивком стоящего поодаль Баладжа-киши, отошёл, чтобы тот смог увидеть проём могилы, и показал на каменные перекрытия:

— Могут ли треснуть?

— Враз! — не раздумывая, ответил тот. — Всё это — подлый материал...

Когда, уложив последнюю плиту, заляпали её раствором, он, не сводя взора с могилы, шёпотом спросил у Баладжа-киши:

— А оттуда никак нельзя выбраться?

Не услышав ответа, он несколько раз встревоженно взглянул на собеседника. Когда на могиле вырос холм земли, Баладжа-киши, неотрывно глядя на могилу, ответил безжалостно и твёрдо: — Нет.

И, взяв под руку, отвёл в сторонку.

Баладжа-киши устремил взор на холм вдалеке и проговорил:

— На всё воля Аллаха... — поковырял пальцем в ухе и вдруг, обернувшись к нему, тихо поведал: — Одного молодого парня, из христиан, ударило током. Считали — насмерть. Они хоронят покойника на третий день, положили ему в карман костюма серебряный портсигар, изящную зажигалку, уложили в гроб, заколотили гвоздями и похоронили. Ночью двое прохвостов, позарившиеся на портсигар и зажигалку, решили вскрыть могилу. Отомкнули крышку гроба — и тут покойник глубоко вздохнул. Мародёры дали стрекача. Это всё сам парень воскресший мне рассказывал, приезжал в наше село. Об этом случае писали все газеты в семидесятых годах. Тот парень в селе трусил орехи с деревьев. Был худющий такой, но шустрый, забирался на такие деревья, куда никому не удавалось. Птицей перепархивал с ветки на ветку. С каждых десяти килограммов орехов один килограмм брал себе. Так вот, увёз с собой сотню килограммов. Да, когда он очухался в могиле, то сообразил, что к чему... Не знал, куда идти. Потом решил к тестю податься. Подобрался ко двору, перемахнул через забор. Только-только светало. Постучался в дверь раз,

другой, третий. Тесть проснулся — оказывается, он был дома один, — вышел на веранду, протирая глаза, спрашивает, кто там. Отодвинув занавеску, видит зятя, которого вчера сам похоронил... Чуть с ума не сошёл, кинулся в комнату, хватить двустволку и — бах! — в зятя. Пуля только лизнула макушку «вурдалака»... Тесть потерял сознание и шмяк на пол...

После рассказа Баладжа-киши он почувствовал внезапное облегчение и по пути с кладбища не остановил машину поближе к дому, как намеревался, а поехал вновь в дом, где был траур. И в автобусе, и в палатке во дворе, где мулла читал заупокойную молитву, и уминая с аппетитом поминальную снедь, он не отставал от Баладжа-киши, донимая вопросами о том самом воскресшем парне.

Вернулся домой поздно. Жена ещё не приехала. Он убрал гвоздоёр со стола, бросил на балконе, разделся, погасил свет, лёг в постель. И ему представился гроб, заколоченный четырьмя гвоздями. «Хорошо, что у нас опускают в могилу не в гробу. Куда лучше просто могильная яма, будь хоть высотой в два «кубика». Из заколоченного гроба никому не выбраться. Но то, что они, иноверцы, хоронят в одежде, — это хорошо... Надо же — портсигар... В армии премировали... Могло бы случиться и иначе: деньги вручили бы или ещё что, мог бы потом продать... потерять или подарить... Сохранил до самого конца... Кому же пришлось в голову снабдить его в последний путь этими штучками? А не позарься эти воришки или не заметь? Или, когда уже вскрыли гроб, если бы покойник задышал на пять минут позже?... Случайно ли это сцепление событий, совпадение, последовательность?»

«На всё воля Аллаха...» — вспомнились слова Баладжа-киши.

Спал ли он, бодрствовал ли — не мог уяснить. Приложив руку к лицу, он почувствовал аромат гюлаба¹, не улечившийся с полудня.

Ясным июньским утром, неведомо друг от друга, они набрели на кустарник дикой розы, взвившейся фонтаном у края поля, замкнутого насыпью щебня. С тех пор как цветы раскрылись, сюда ещё никто не успел заглянуть, кроме парня в белой рубашке и

девушки в жёлтой кофте, и поэтому ещё ни одного цветка не было сорвано, никто не вдохнул их аромата, ничей взор не коснулся нежных лепестков. Об этом говорили искрящиеся на них росинки.

Они забрели сюда в поисках полевых цветов, чтобы преподнести их учителю на сегодняшнем экзамене.

В народе говорили, что под этой осыпью, под грудой камней, обитал дракон. Но дрожь в голосах и парня, и девушки объяснялась не волнением перед экзаменом, не пьянящим запахом цветущих роз, не страхом перед драконом, которого никто не видел.

Срезав перочинным ножиком полуоткрытые розы с росинками на лепестках, он передал их девушке, торопливо вскочив на осыпь. О Боже! Камни под ногами казались мягкими, как бархат. Он пригнул ветви только-только зардевшейся черешни, сорвал несколько веточек и бросил к ногам девушки в зелёную траву, достававшую до колен.

При взгляде сверху розовый куст напомнил большой венец.

Лучи взошедшего из-за гор солнца касались её розовеющих щёк, губ. Она щурилась от света. Он позвал её дрожащим голосом:

— Отсюда всё видится иначе! Поднимись и ты!

Она с той же дрожью в голосе отозвалась:

— Опаздываем. Пошли. Всё равно девушки никогда не могут глядеть глазами парней...

Он интуитивно почувствовал, что эта нежная красавица пронзительнее, чем он, и волнение его усилилось. Нагнувшись, он насобирав полные горсти лепестков роз, достававших до каменной кручи.

Перескакивая по-птичьи с уступа на уступ, приблизился к девушке.

— Пошли?

Она улыбнулась и ответила кивком. Он разжал горсти, одну, другую, рассыпая лепестки у неё над головой. Она зажмурилась и подставила улыбающееся лицо под падающие лепестки, как под дождь...

И этот миг тянулся до бесконечности. И далёкое мгновение казалось человеку, лежавшему в постели, не осознающему грани между явью и сном, длиннее и сластнее, чем сорок три года, оставшиеся позади.

1. Гюлаб — розовая вода, которой окропляют руки во время траурных отправлениях.

Татьяна Смертина

СВЕТЛОСТЬ

Колокольчики

В депрессии — мир виртуалом казался:
Не видеть бы всех! никого! никогда!
В мобиле звонок твой в тот миг не раздался,
И даже луч солнца упал не туда.

Потом колокольчики падали в душу
И синью рыдали средь трав и веков.
А дуб на поляне ветрá свои слушал —
Прозрачные стоны в кольчуге листов.

Мобильная связь, как сердечные связи,
Разорвана вновь, каждый в чём-то палач.
Резной колокольчик, да что там? Да разве
Услышат твой нежный и ангельский плач?

Вот здесь и засну я, как в поле метельном.
И остро сомкнётся концами осот.
Всё вечно по сути и сутью — мгновенно,
И лишь колокольчик прощанье поймёт.

Нилыч

Он был бесстрашен, славен в околотке,
Копал колодцы, плотничать любил.
Он печи клал, выделявал и лодки,
И на медведя в тёмный бор ходил.

Но вот в ту ночь, когда земля застыла
И первый снег порхал в полях слепых,
Его от страха до утра знобило,
Бросало в дрожь от шорохов любых.

Тому виной — медведица шальная,
Чья шкура распростёрлась тихо в ночь...
Как будто на полу она вздыхала!
Как будто ей — лежать было невмочь.

И понял он, что за избою, рядом,
Медвежий и подросший бродит сын,
Что это он — дверь выломал в ограде,
С размаху пса зашиб шлепком одним...

Давно он лапой оскребает двери:
Он чует шкуру, призывает мать...

И верил в это Нилыч, и не верил —
И каялся в содеянном опять...



Зной звенит, и двоятся кусты,
здесь шиповник в цветении рдян,
и мерещатся в даях мосты,
там я вижу себя сквозь туман:

я бегу, не касаясь перил,
в пустоту этих длинных мостов,
словно кто предо мною раскрыл
бледный файл параллельных миров.

И какие-то тени за мной
тянут руки, а может, крыла.
Слышу крик свой и Времени вой,
и сквозь белое — локоном мгла...

Безысходно! И страшен мой бег!
Обрываются Время и мост...
Я лечу, как цветок или снег,
вниз к земле — или в прорези звёзд...

Подымаю ресницы — жара.
Словно нимбы, летят лепестки...
В белом платье сижу у стола,
туфля птицей слетела с ноги.



Ночь изрезали наважденья.
Тишина — непонятней всех.
Я — в рубашке: намёк виденья.
Тьма густая, как волчий мех.

Всплеск запястья — включаю лампу,
копья света пронзают мрак.
Тень от столика тянет лапу
и вихляется, словно флаг.

Биополе создало образ,
он в мою завернулся шаль.
Виртуально возникший голос
предрекает событий даль.

Снова вижу цветок нездешний,
снова мучают в лунозвон:
ностальгия по всем ушедшим,
я — во Времени не моём.



Вот это одиночеством зовётся,
Монашеством средь бала,—каждый вор!—
Где зависть лютая за мной по следу вьётся,
Где я перо меняю на топор,
Которым так владею грациозно,
Как нежным кружевом вокруг бедра...

Вот так тебя я жду! Жемчужно! Слёзно!
И в лезвие гляжусь у топора.

Чёрный карлик

Чёрный карлик по кругу ходит,
он завистлив и злобен так,
что любой для него—дурак,
что и Солнце—темнит на восходе.

Он не в силах понять, что рядом
есть пространство, где круга нет,
где иначе раскрылен свет,
где сирени владеют садом.

Так бродил он, вздымая плечи!
Но однажды, в сплошной туман,
чёрт ему подарил наган,
чтоб стрелял, если кто перечит.

За неделю, а может, меньше,
всех друзей расстрелял, убил,
даже тех, кто его любил!
И поверил, что в том безгрешен.

Налетела такая вьюга
мелких бесов и бесенят—
по кускам был утащен в ад!

Новый карлик
бредёт вдоль круга...



Овалы гнул речной туман,
реал вещей ушёл в обман,
и перевозчик—очень странно!—
был так похож на Челентано
и так смотрел—почти в упор!—
что я смущаюсь до сих пор.

И мы молчали целый час
средь отуманенной реки;
плескались вёсла, что зверьки;
из вольных волн, почти на нас,
метался жемчуг белой стаей,
и тихий вечер таял, таял...

Потом мы лодку вброд тащили
и расставались тоже странно:
«Прощай, хозяин! Как туманно...»
«Прощай, однако! Вместе плыли...»

Мои следы замёл туман,
и наш закончился роман.



Вновь толпа, колыхаясь, течёт,
у метро—целый рой.
Исчезает уставший народ,
словно чудь, под землёй.

«Менделеевской» шум и шары.
Гул подземный и стук.
В электричку вхожу—все правы.
И высок мой каблук.

Сжаты душами! Мчимся в тоннель.
Тыщи дум—в тот проём.
Так же в небе—толпою теней!—
мы на свет поплывём.

Все молчим. Я надменная вновь.
Стон вагонный и всхлип.
Перерезал мне чёрную бровь
чёрной шляпы изгиб.



Из трёх Времени да с трёх сторон
Идут худые вести!
А на руке тройным огнём—
Сияет Божий перстень.

Моя рука—узкая, легка.
А путь—под вой волчихи.
И серп блистает у виска,
Безумных прядей—вихри...

А на Руси—глухая ночь!
Но перстень—кажет дали.
И я, крестьян убитых дочь,
Не сплю! Стекают шали...

Секирой маятник летит...
Строка спешит и плачет...
И чем сильнее душа болит—
Тем перстень светит ярче.



Странно мчатся эти кони:
То ли к свету, то ль в огонь?
Не пойму в малинном стоне:
То ль гвоздика на ладони?
То ли гвозди сквозь ладонь?

Вихрь сумятицы, и страха,
И видений, и молвы!
И Луна кругла, как плаха:
Ой, для чьей же головы?

Словно пущены с откоса—
Далеко, в девятисотом...
Вихрем вьются вдоль версты—
Судьбы, звёзды и кресты...

Словно кто пролил легко
В чёрный космос молоко...



Полынь лунной гривой мерцает:
что мрак поглотил — не зови.
Жестокость — врагов порождает.
Продажность — лишает любви.

Едва лишь взойдёт победитель,
и снова — какой-то делёж.
Есть в каждом — губитель, спаситель
и что-то ещё, не поймёшь...

Мелькают вокруг лжеидеи
о том, как нам быть и не быть.
Мне их бы росой в орхидеи
на тёмной заре утопить!

Мне кажется, нечто случится
с землянами, коль не поймём:
кому и зачем нам молиться,
и что там... когда мы умрём?

Всё это — как боль, донимает...
Изломаны нимбы осок...
Всё ясно, и всё уплывает...
И дождь ударяет в висок.



Вы мне не нравитесь совсем,
и даже с вьюгой хризантем,
и мармелад я Ваш не ем!
Поймите, всё — напрасно.
Вы мне — не тот,
я Вам — не та,
но Вы всё ждёте у моста,
а там стоять опасно.

Вчера купили мне билет
на «Клеопатру», на балет,
чтоб изучать сквозь полусвет
мой профиль Клеопатры.
Портрет мой — в сотовом у Вас,
но ничего не сблизит нас,
и биты Ваши карты.

Мне с Вами — лютая тоска,
я в том призналась Вам слегка,
мои не трогайте шелка,
побойтесь суицида.
Прошу, не надо так мечтать,
меня глазами измерять,
для Вас я — Антарктида!



Похищена забытым полем вновь,
отрезана от перелеска.
И анемоны белые снегов —
заманы в виртуальность блеска.

Легонько мёрзнут слабые персты,
дыхание танцует в стыни.
Себя порою вижу с высоты:
былинка тонет средь белыни.

Потом — очарование кустом:
как молний ледяных изломы!
Весь оторочен тонко серебром
и нежен иньем до истомы.

Потом — следы волчицы молодой:
свои переплетаю с ними!
И чую лунный холод за спиной
и новорожденные сини.

Не превзойти морозную красу —
мерцает анемонно и тревожно.
Я это всё с собою унесу,
хоть говорят, что невозможно.



Лилово-тёмно-буйная,
пышная, безумная!
Мохнато-сластно-томная,
девы-свеже-сонная,
та, пред которой пал плетень, —
сирень:

гроздь поцелуев воздушных моих —
лёгкая марь-ненасыть! —
что не успела тебе подарить
перед разлукой,
что бьёт, словно плеть...

Десять деньков?!
Я боюсь умереть.

Чёрные волосы — вихрь до колен...
Вот и Луна —
как сиреневый плен,
жаждет меня одурманить и — в сеть!

Вечный обман? Недоверия бредь?
Всё поняла...
Легче мне — умереть.

Анатолий Чмыхало

Причал



Когда-то нам тесной казалась земля,
Теперь перед нами другая задача:
Не сделать бы грозные стены Кремля
Российской стеной всенародного плача.



А небо то синее, то голубое,
То в белых подтёках — совсем никакое.
А солнце играет в пятнашки и прятки —
Такие творятся у нас беспорядки...



Статистика часто меня удивляет,
Большая она шутиха:
Британцы валюту на фунты считают,
У нас измеряется фунтами лихо.

Успокойся

Писатель, не терзайся зря
Над созиданием житейских идеалов.
С читателей довольно букваря,
А телезрителям хватает сериалов.

Бродяга

Он проник в чей-то дом заключенный,
Чтоб найти здесь еду и приют,
А потом ему дали пощёчину:
Хорошо, что хоть что-то дают.

Чекист

Он не был героем и не был святым,
И не было в нём ничего от юрода.
Он просто расстреливал лишние рты —
А значит, трудился на благо народа.

Не тот

Россия не очень-то любит поэтов,
За них невысокую цену даёт.
Весь мир восклицает: он именно этот!
А мы возражаем: Федот, да не тот.

Убили

Жил тревожно, в тоске и печали, —
Непростая досталась судьба!
Так в меня коммунисты стреляли,
Что убили во мне раба.

В гости

С книжной полки бережно снимаю
И кладу тяжёлый том на стол.
Извини, подружка дорогая!
Не сердись! Я к Пушкину пошёл.

Удаль

Что за удаль запорожца-казака!
За тобой, как шлейф, она волочится:
Эх, сплясать бы под бандуру гопака!
Да Бандеру ублажать не хочется.

Гость

Как всё-таки в России хорошо!
И как чиста любовь к родному краю!
Куда бы ни поехал, ни пошёл,
Себя я гостем Пушкина считаю.

Сибирь

Неласковая, дикая, чужая,
С характером разбойной стороны.
Обычно из Сибири уезжают,
А я живу в Сибири — хоть бы хны.

Академики

В благороднейшей сей обители
Пребывают, на веру легки,
Наши мудрые просветители,
А присмотришься — дураки.

Старость

Поэту силы придаёт
Не шумная поддержка нации,
А скромный Пенсионный фонд
Российской Федерации.

Шоу-звёзды

Шоу-звёзды—разбитные
И вальяжные на вид.
До чего ж они пустые:
Стукнешь в лоб—и зазвенит.



Сгорела юность на огне войны.
А что осталось?
Одни несбывшиеся сны.
И старость.



Бездарные, как лапоть, души
Без перерывов бьют баклуши,
И это публикою-дурой
Считается литературой.

Киты

Год за годом, день за днём
В неизвестное плывём.
Нам опорой три кита:
Глупость, подлость, нищета.

Прогноз

И на этот раз мы с вами
В Думу изберём
Тех, кто с острыми локтями,
Но с тупым умом.

Нищий

Жизнь его— что дар святой:
Без подвоха.
Хорошо, что он живой,
Остальное плохо.

Уйду

Житьё—такая благодать,
Что не захочешь помирать.
Но взял да и подумал:
А всё-таки умру, мол.

Лето

На город дождь идёт опять
С окраин.
И гром стремится показать,
Кто тут хозяин.

Писателю

Даже если что-то пишешь
На фарси,
Делай всё возможно тише,
Не форси!

Диета

Не ешьте, люди, того,
Что вам принесёт ущерб.
А лучше не есть ничего,
Совсем ничего вообще.

Прогулка

Ходит денежка по кругу.
Ищет денежка подругу,
Чтоб на праведном пути
На бутылку наскрести.

Демократы

Есть у нас свобода слова—
Демократии основа.
От зари и до зари
Кого хочешь матери.

Завтра

Особой радости не ведай
От совершенства бытия.
Сегодня высекли соседа,
А завтра— очередь твоя.

Богачи

У россиян ума палата,
И их полёт в науке лих.
Мы так идеями богаты,
Что спотыкаемся о них.

У телевизора

Народ, как полагается,
Сидит и глух, и нем.
Смеяться разрешается,
Но было бы над чем.

Примета

Если с утра мужику
Что-то легко даётся—
Женщина, будь начеку:
К вечеру он напьётся.

Шум

В зоопарке было тихо.
Шум устроила слониха:
Непоседа-муравей
Наступил на ногу ей.

Науки

Дед учил меня когда-то,
Что науки нележки:
Плачут умные ребята,
А смеются дураки.

Не вернусь!

Такое случалось нередко
 Со мной наяву и во сне,
 Что тени потерянных предков
 Не раз приходили ко мне.
 И звали к левадам и хатам,
 В вишнёвую благодать:
 — Там станут тебе дивчата
 Казацкие песни спивать.
 Ты будешь и в холе, и в мире,
 Взовьёшься в небесную высь!
 Вернись из холодной Сибири,
 На ридну Украину вернись!
 Вернись в приднепровские дали,
 В казацкую древнюю Русь,
 Где предки твои пировали!..
 А я отвечал: — Не вернусь!

Расплата

Я за грехи земные наши
 Любую вынесу беду.
 И даже ад. Мне ад не страшен —
 Вся жизнь моя прошла в аду.

Новатор

Пора финансы и продукцию
 Делить на «наше» и «моё».
 И объявить войну коррупции —
 Модернизировать её.

Бомонд

Один единовластью рад,
 Другой безмерно любит славу.
 И оба очень жить хотят —
 Не просто жить, а на халяву.

Пусть

Пусть ветер развеет мой прах.
 Пусть имя моё умрёт.
 Я не был звеном в цепях,
 Опутавших мой народ.

Ливень

Навалилась туча
 На село.
 Брызнул дождь колючий —
 И пошло!

Передряга

Такая была передряга
 У нас до рассветной поры!
 То ветер, бездомный бродяга,
 Обшаривал наши дворы.
 Сто раз принимался за дело,
 Пока в нём задор не иссяк.
 И где-то уныло скрипела
 Калитка на ржавых гвоздях.

Наши

За особые заслуги
 (Рок-н-ролл и буги-вуги)
 Дураки набитые
 Сделались элитой.

Идея

Я от горечи балдею:
 Ну к чему ему она?!
 Кто-то взял мою идею,
 А идея мне нужна.

Люди

Ой вы, люди, люди!
 Что же с вами будет?!
 — А не будет ничего!
 Мы навиделись всего.

Правнук

Маленькие ручки,
 Тоненькие ножки:
 Словно солнца лучики
 На моей дорожке.

Как все

Знаю, немало их,
 Кто, покорясь судьбе,
 Видит себя в других,
 А не других в себе.

Рандеву

И во сне, и наяву
 Ранит всё сильней
 Ожиданье рандеву
 С совестью своей.

Анатолий Третьяков

Полдень в степи

В изостудии

Алексею Ломакину

Художники — как оркестранты,
 Но вместо нот у них мольберты.
 Все — нераскрытые таланты,
 Бессмертные, пока что смертны.
 Они ещё прилежно учатся:
 Играют с линией и светом.
 А в кресле бархатном натурщица,
 Как и положено, раздетая.
 Её всё клонит в сон, ей хочется
 Встать и, зевая, потянуться,
 Но надо всё ж сосредоточиться
 И вдруг Венерой обернуться
 Или Психеей... Выше голову!
 Она — источник вдохновения!
 И видят в ней не бабу голую,
 А, может быть, венец творения!

Случайный луч

Как будто небо протекло!
 И дождик продолжает литься.
 Но ослепила вдруг стеклом,
 Случайный луч поймав, теплица.
 Сомкнулись тучи в тот же миг —
 И всё опять в завесе серой.
 И вновь тоска меня томит...
 И воздала мне полной мерой:
 За каждый мой неверный шаг,
 За все ошибки и просчёты.
 Ты уходила не спеша —
 Я проводил тебя с почётом!
 И где теперь ты? На вопрос
 Такой не надо ждать ответа.
 Однажды дальний стук колёс
 Напомнит мне, что было лето!
 Где каждый поцелуй был жгуч
 И каждый взгляд таким был нежным...
 Не для меня ли этот луч
 Блеснул на миг, как луч надежды?



Осенний день проходит бестолково,
 Без радости полезного труда.
 Не происходит ничего такого,
 Что б в памяти осталось навсегда.

В окне давно привычные картины.
 Дома угрюмы. Каждый скверик жёлт.
 Не оживляют улицу витрины,
 А влажный воздух от машин тяжёл.

Деревья облетают. Птицы редки.
 Пожалуй, чаще самолётов гул.
 Здесь веселее жили наши предки —
 Хоть и входили, как и мы, в загул.

Они лечились баней и работой...
 Им капельниц не ставили врачи.
 Мой телевизор выключен. Я что-то
 От ужасов устал. Пусть помолчит.

Осенний день. Поля домами скрыты.
 И там теперь — лишь холод и тоска...
 Не в корабле под парусом — в корыте —
 Несёт меня забвения река.

Причастие

Анжеле

Сколько их, надежд и сожалений,
 Выпало на долю нам двоим!
 Как легко признаться: я — не гений.
 Но зато уж точно был любим!
 Но за все паденья и страдания,
 Что прожитой жизнью не избыть, —
 Умереть, не приходя в сознание:
 Что ещё прекрасней может быть?
 Но, пожалуй, это не награда,
 Чтобы так закончить путь земной...
 Всё-таки родиться было надо
 Для любви, лишь для тебя одной!

Полдень в степи

Татьяне Пивоваровой

Степь, где полдень уставшим кочевником спит,
Где веками и птица, и зверь выживали.
А какие цветы полыхают в степи!
Словно их мастерицы ковров вышивали.

Ветер быстрый начнёт пригибать ковыли.
Вздрагнет лошадь, задумчивый всадник очнётся...
Ходит коршун кругами, но так высоко от земли,
Словно в небе и вправду скорее добыча найдётся.

Полдень. Лето. И птицы невидимой трель.
И предаться мечтаньям такая возможность!
Небо, степь и цветы— чуть ли не акварель!
Но, чтоб это запомнилось, нужен художник!

«Полупочтенный»

Я, может, одурел уже от чтенья...
И встретиться мне в дверях швейцар-ворчун,
Ещё скажи он мне: «Полупочтенный»,—
То я не удивился бы ничуть.
Как будто я москвич иль петербуржец
Давно забытых лет— не то что дней!—
В шинели николаевской я в стужу,
Да и в жару гуляю только в ней.
Шатаюсь днём по рынкам и бульварам
И папиросы штучные курю.
С торговками торгуюсь... Их товаром
Интересуюсь меньше, чем корю
За жадность! В холостяцкую берлогу
Плетусь и грею ужин при свече.
И хоть от жизни надо мне не много...
Полупочтенный— оскорбляет честь!
Ну что ж, пора вернуться в двадцать первый,
В кошмарный век глобальных катастроф.
«Полупочтенный» мне не портит нервы—
Теперь уже не знают этих слов...
Года, года... Но я с нравоученьем
Не попадаю больше в переплёт...
И называть меня полупочтенным—
Почтенный возраст права не даёт!

Одиночество

Горечь одиночества бескрайняя,
Как молчанье на устах, горька.
И пустыня кажется мне раем,
Если в ней оазисы пока...
Гордость одиночества бесплодна,
Если и дожил ты до седин.
Просто ты живёшь, как дух бесплотный,—
Потому что ты всегда один!
Горше нет, наверное, печали:
Если вдруг такого же найти...
Встретились, недолго помолчали—
И опять расходятся пути.

Герб

Хоть давно, а всё это было...
Стадион.
На трибунах— шабаш.
Все кричали: судью на мыло!—
Это после возникло: шайбу!
Все кричали в кино: сапожник!
А на площади: Сталину слава!
И свой час ожидал, возможно,
Терпеливый орёл двуглавый...
Сколько было послевоенных
Пятилеток—
Да всё ударных!
Сколько было «шпионов» вредных.
Сколько было стихов бездарных.
...А звезда иль орёл державней,
И насколько всё это прочно?
Одного только очень жаль мне:
Что вожди— не орлы— уж точно!

Реквием

На дне морей и океанов
Лежат флотилии судов...
Сквозь слой воды к ним свет заглянет,
Как будто бы сквозь слой годов!
От первых парусных посудин
До современных субмарин—
Весь этот флот стоять там будет,
Где рок тонуть приговорил.
Их илом и песком заносит.
Пусть их найти всё тяжелей—
На Страшный суд всплывут матросы
И капитаны кораблей!
И только Бог один рассудит:
Врата какие отворить?
Им— с первых парусных посудин,
Им— с современных субмарин...
С каким-нибудь из экипажей
И я на дне лежать бы мог,
Пусть не матросом— юнгой даже!
И не жалел бы— видит Бог...

Монолог

А вдруг ещё не всё потеряно—
Да разве было что терять?
А может, было? Не уверен я...
Не повернуть нам время вспять!
Вот если б снова счастье встретили
Вдвоём с тобой... Но в те года
Я был совсем глухим, как тетерев,
Я был слепым, как крот, тогда!
Что ж, позабуду о сравнениях,
Теперь всё слышу! И, прозрев,
Я вижу: ты венцом творения
Осталась, не помолодев.

Сергей Лыткин

Лунные дети



Я оставил тебя в тишине неуютного дома,
где не греет камин, лишь дымит, поедая дрова,
где калитка скрипит, и сыреет в овине солома,
да корова мычит, не умея связать свои мысли в слова.

Я оставил тебя перед выбором нового друга
и со шлейфом обид на печально-томительный быт.
В одиночестве страха не выйти из белого круга,
не войти в тишину благодатных молитв.

Я оставил тебя исповедовать боль как причину
неудавшейся жизни, в которой один виноват,
да ещё у крыльца черноплодную нашу рябину,
от которой в настойках чудесный такой аромат.



Этот колокол звонкий,
словно плач младенца распятого,
разбудил моё сердце
в половине пятого.
Это время страстей Господних
особенно тяжело сегодня.
Почему? Не сказать словами,
лишь душа, наполняясь слезами,
горько плачет перед образами
святых угодников с печальными глазами.
А Господь говорил: радуйтесь.
Отчего же тогда тоска?
Не осталось в реке золотого песка,
Вот и в крестном знаменье застыла рука.



Снова осень. Терпеть холода
Собирается город. Ненастье
Каждый день. Под ногами вода.
И случайное солнце на счастье.

Кто-то рад, что уходит жара,
Кто-то рад в ожидании снега.
А кому-то по сердцу хандра
И невнятная поступь разбега.

Улететь бы сейчас в облака
И умыться осеннею влагой,
Чтобы строчка на сердце легла
Судьбоносной и редкой наградой.



Зачем мелодия звучала
И отражаясь от луны
Летела и преображалась
В раскаянье чужой вины

И тихо как снежинок пенёк
Входила женщина домой
Любви и сказок вдохновенье
Веда блаженно за собой

В семь нот мелодия звучала
Потом затихла умерла
Не став рождением начала
Преображённая в слова

А слово не скупясь на звуки
Что у мелодии взяло
Всего достигло только сути
Понять Вселенной не смогло

Луна не помнила обиды
И излучая жёлтый свет
Плыла с улыбкой Афродиты
Средь опечаленных планет

В необъяснимых смыслах тая
Снежинок вихрь обледенел
И только волк к луне зывая
О чём-то вечном миру пел



Молю тебя, Господи вечный,
Охраняй мою женщину
От соблазнов мирских,
От слов торопливых,
От наветов людских,
От глаз похотливых,
От болезней и скуки,
От печали и лжи,
От душевной муки,
От жалоб на жизнь,
От предательств любимых,
От завистливых слов,
Пусть проходит всё мимо,
Только дай ей Любовь!
Я молю Тебя, Господи!



Призраки ночи, лунные дети.
Голос их тонок, взгляд их прозрачен,
Смотрят, как звёзды плетут свои сети,
И потихоньку о чём-нибудь плачут.

Тучи метались небом полночным,
Ангелы спали, укрывшись крылами,
Ветер терзался сплошным многоточьем,
И непонятно кого они ждали.

Где-то едва уловимо рыдала
Фея, которую бросил волшебник.
На безутешных перронах вокзала
Так простодушно возник понедельник.

В шёпоте сонных, унылых кварталов
Редкий огонь от блуждающих фар.
А для души ведь действительно мало
Сладко-томительных звуков фанфар.



Утренняя молитва
необходима, как бритва,
как щётка зубная.
Я знаю.

Но редко молюсь,
потому что ленюсь,
лишь когда приспичит.
У вас нет спичек?

Стою под душем,
отмачиваю душу.
Станет мягче,
вместе поплачем.

Курить хочется
от одиночества
или по привычке.
Так где же спички?



Торопливо осень отпылала
Красками мятущейся тоски.
Ты давным-давно отгоревала
На чужих пирах, а я раскис,
И доверчиво выслушиваю звуки
Перечёркнутых дождями дней,
И тоскую, что не эти руки
Головы касаются моей.
Я уйду—туда, где одичало
Задувает ветер из щелей,
Брошу всё, но вот начать сначала
Как смогу без нежности твоей?



Пилигрим, усталый вестник
Тайны первого причастья,
Подарил мне медный крестик,
Пожелал в дорогу счастья...

Солнце нежно грело спину.
Осень тихая, скупая
Под дождём месила глину,
Боль и страхи отпевая...

И невнятным бормотаньем
Из души стремились строки—
Поминальным ожиданьем
Оправдать мои пороки...

И спустилась ночь на город,
И зажглась звезда Святая,
Только двери на запорах,
Ставни свет не пропускают.

Где-то здесь вчера лишь ждали,
А сегодня как мне быть?
Попроцаться ли с грехами,
Или грешным дальше жить?

Евгений Минин

Отпусти меня, жизнь



Если б ведала только, как холодно мне без тебя.
 Даже северный ветер не кажется злым и суровым,
 Незаметною осенью, первым листком сентября
 Начался листопад—жёлтым, серым и ярко-багровым.
 Оглянись на меня, это я поднимаю листок—
 Черновик этой осени, словно пустую страницу.
 И увидишь во мне неуклюжую чёрную птицу—
 Занесённую стаей на Ближний, но дальний Восток.

Эльгрегор

Возле дома растёт родное дерево—пальма.
 Что стерильно кругом—не скажу, но всегда юдофильно.
 Чужая страна была—а теперича мать-альма,
 А та, откуда сюда,—иногда лишь в кадриках фильма.
 Вот смотрю по тв: когда горько, когда прикольно.
 Ностальгия ко мне не приходит, не мучает, шельма.
 Ни Нью-Йорка не надо мне, ни тем паче Стокгольма,
 Только память мерцает огнями святого Эльма.

У врача

Что наше сердце, друг,—беспомощная мышца,
 Сам чёрт не разберёт, как лечится она.
 Не разорвать ей круг, чем издавна томишься,
 И не нащупать брод там, где не видно дна...
 Приподнимает жизнь таинственный свой полог,
 Сердечко-то она вручила напрокат.
 И смотрит на меня печально кардиолог,
 А я гляжу в окно, где плавится закат.



Двенадцатый месяц уже на исходе, дружок,
 Вот-вот—и зарубкою станет на дереве жизни.
 Останется только баланс подвести в укоризне,
 С трудом вспоминая, за кем запылится должок.
 И, вновь оживая, как высохший чертополох,
 Для новых обманов январь рассыпает мякину.
 Ты не оставляй меня только,

Давай не спешить: а я уж тебя не покину,
 тот лишь глуп, кто считает до трёх...

Поэт

Поэт—неповторим,
 он так подобен чуду,
 Беспомощный порой,
 порою—едкий шут.
 Порой настолько мал,
 что виден отовсюду,
 Порой настолько тих,
 что слышен там и тут.
 Не требуй от него
 геройства и отваги,
 Он плачет по себе,
 и плач летит во тьму.
 Чужую боль несёт
 на листике бумаги,
 Необходимый всем,
 не нужный никому.



Мы от поэзии в убытке,
 где от неё дохода ждать!
 Порой разденешься до нитки,
 чтоб книжку тощую издать.
 Сидим,
 неизвестные кликуши
 литературного труда,
 и в строках раскрываем души,
 чтоб каждый
 плюнуть мог туда.

Осеннее

Как-то незаметно станет тяжело.
 Вроде изменений зримых нет.
 Кажется иной многоэтажка,
 Где живу я столько долгих лет.
 Ни запала нет в душе, ни пыла
 В ожиданье завтрашнего дня.
 Это значит—осень наступила,
 Наступила прямо на меня...

Остроумие

Конечно, остроумие—талант,
Которым нужно пользоваться гибко,
Не уколоть, как шпагой дуэлянт,
А просто осветить лицо улыбкой.
Мы всех не помним, павших от острот,
Молчит порой история немая...

А всё же по таланту выше тот,
Кто хохотать умеет,
понимая...



Всё живу—
и трачу,
трачу,
трачу...

Не коплю на день последний свой.

Даже не надеясь на удачу,
Знаю—всё окупится с лихвой.

Где ни спишь—
в постели,
на скамейке,

как живёшь—достойно ли,
греша,

если в жизнь не вложишь ни копейки,
то она не стоит ни гроша!

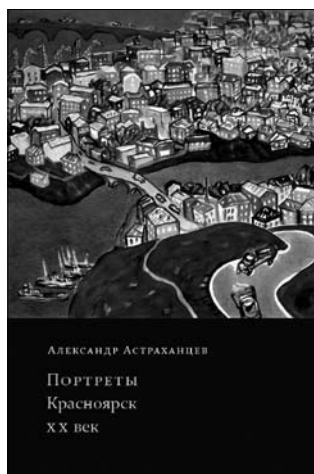
Non c'è pace tra gli ulivi

Сижу под густой и зелёной оливой.
Не ждите, товарищи, рифму «счастливый»—
Нет счастья пока что от этих олив
Для тех, кто воинственен и тороплив.
Оливки не ем в маринованном виде,
Хотя на оливу совсем не в обиде,
И воет над нею в полёте фугас,
Поскольку нет мира давненько у нас.
Сижу под густой и зелёной оливой,
Жду рифму, товарищи...
Я—терпеливый...



Отпусти меня, жизнь, на свободу,
заверши незаметно мой путь.
И с ладони позволь к небосводу
мотыльком безмятежным вспорхнуть
высоко над песчаной пылью,
отрешившись от бремени дел.
И пока не рассыпались крылья,
улететь за бескрайний предел...

ДиН РЕВЮ



Александр Астраханцев

Портреты. Красноярск, XX век

Красноярск: ипц «Касс», 2011

Новая книга красноярского писателя Александра Астраханцева «Портреты. Красноярск, XX век» состоит из цикла очерков, герои которых—писатели, художники, учёные, инженеры, книголюбы, спортсмены, просто люди с интересными судьбами; в результате собрание этих очерков представляет собой широкую панораму духовно-интеллектуальной жизни г. Красноярска во второй половине XX века.

Александр Гиневский

Воспоминание о велосипеде



Дверь подалась. Открылась в Осень,
В Сентябрь—просторную светлицу,
Где начинал собой светиться
Осинник меж высоких сосен;

Где каждый куст был прорисован
Отчётливой скупой тушью.
О, тот художник... что задушит,
Не мысля ничего худого.

И он подвержен вдохновенью,
Рисую мастерски, рискует:
Не хочет видеть золотую,
Подчёркивая утомленье.

И пусть. Но кисти на рябине
Густеют, наливаясь кровью,
И над лесной пустою кровлей
Гореть намерены сквозь иней.



Деревенские ласточки в небе,
распластавшись,
чертили круги,
и невольно
гасились шаги
тишиною вечерних
молебн.

Наступил
этот сказочный час,
тот желанный—
умиротворенья,
и печатью
душевного зренья
отмечался
внимательный глаз.

Этот час
примерял и с собой:
часто ль знали
в своей простоте
о таящейся в нас
чистоте
под невичною
нашей звездой?



Стакан гранёный на окне.
И вербы веточку в стакане
Слегка придерживают грани
И влагу держат ей на дне,

А почек белые шмели
Топорщат мягкие щетинки,
Как будто выгибают спинки,
Где крылья хрупкие росли.

И мы опять удивлены
При виде тех шмелей пушистых:
Какой бы снег ни выпал чистый,
Теплей не будет белизны!



По глади озёрной воды
Холодные капли стучали,
И жёлтые листья печали
Теряли запас высоты;

Любимые ветви теряли,
Теряли распахнутость далей;
Теряли... но что обретали
Невольники грусти паденья?..

Безжизненных черт отраженье.



О недалёкость человечья...
Твои удары—
тяжелы!
И наносимые увечья
конкретных форм
не обрели.
..Вот он. Встаёт,
напившись чая.
Идёт.
Кивает тем и тем,
и сам себе
не признаваясь
в том,
что раздавлен
и...
совсем.



На всех предчувствиях—клеймо
того, что нами пережито.
Там и разбитое корыто,
и счастье редкое само.

Двух полюсов полутона
сиюминутных катаклизмов,
и в наших бранных организмах
не скоро всходят семена.

Но от удачи к неудаче
они—подспудные—растут,
и стебли их—подобьем пут,
когда смеёмся или плачем.

Казалось, мы понаторели
в предвиденьях, на первый взгляд,
и всё ж предчувствия томят
среди осени,
среди весны,
среди месяца,
среди недели.



Запустенье и холод в саду.
Снег сошёл. Захлебнулся ручей.
Чёрный лист прошлогодний—ничей—
Я прутком с сапога отведу.

Посмотрю на осевшие грядки
Со стоячей водой по бокам,
По которой плывут облака,
Как и там—надо мной—
Без оглядки.

Отчего ж... догадайся поди,
Так, как прежде, не верится слепо
В невесёлое низкое небо,
У которого всё впереди?..

Глаза

Я видел: тихо поднимали
Ресниц тяжёлые крыла
Над хаосом Добра и Зла
Два лёгких ангела печали.

Воспоминание о велосипеде

У меня не было тогда велосипеда.
Зато были, подаренные мне,
двенадцать лет.
И когда мне удавалось выпросить
у приятеля велосипед,
я забывал о том,
что он не мой.
Однажды, догоняя ветер,
я увидел знакомую девочку,
которую любил.
Правда, это я понял
далеко, далеко потом.
Она сказала: «Прокати».
Как говорят:
«Вчера по талонам давали мыло,
и нам хватило...»

...Она тряслась на раме,
вцепившись руками в руль.
Я подвинул свои кулаки
вплотную к её кулачкам,
оправдывая себя тем,
что так надёжнее управлять.
Но между локтями моими
и её телом
оставалось пространство.
И если б кто-то
сказал мне в тот миг,
что её можно обнять,
я бы набросился на него
с кулаками...

...Велосипед мотало
из стороны в сторону.

Мы чуть не падали,
когда мой взгляд
останавливался на
её щеке,
на розовой мочке
уха—
впервые так близко
к моим губам.
А она—
она не жаловалась на тряску.
Она была занята дорогой
и тем,
чтобы сохранять равновесие.

...Я, очевидно,
был тогда счастлив.
Даже сделал открытия.
Для себя, конечно.
И вот какие:
Земля, оказывается,
круглая. Иначе
почему мы всё время летим
вниз, словно под гору?
И ещё: если не устанут ноги,
мы будем так мчаться без конца.
Но разве устают ноги у людей,
когда они парят?..

Рустам Карапетьян

В районе детства ещё болит...

Дорогие друзья!

Новую рубрику «ДиН-бенефис», призванную, так сказать, «одномоментно» формировать у читателей более или менее исчерпывающее представление о разных гранях таланта наших постоянных авторов, мы открываем страницами, посвящёнными творчеству красноярского поэта Рустама Карапетьяна. Я познакомилась с его уникальным дарованием, кажется, лет пятнадцать назад, когда меня попросили написать короткую рецензию на стихи тогда ещё никому не известного молодого стихотворца. Помню, меня поразила тончайшая, непередаваемая ориентальная интонация этой поэзии — именно «ориентальная», как у немецких и английских романтиков девятнадцатого века. Об этом я и написала, пожелав поэту доброго пути и славного будущего. Сегодня можно констатировать: путь состоялся, слава пришла! Рустам Карапетьян — «король поэтов» Красноярского края, лауреат, призёр и дипломант всевозможных литературных конкурсов, автор заметных публикаций в литературных журналах России и зарубежья — и, наконец... наш первый бенефициант! Встречайте!

Марина Саввиных, главный редактор «ДиН»



Хоть в районе детства ещё болит,
Только выдох легче уже, чем вдох.
Город мой — смеркающийся полип,
Я в него костями и мясом влип —
И уже уйти никуда не смог.

И на разнорыбье, но не у дел,
Я пытался вытянуть свой мотив,
И в районе детства ещё болел.
Только выдох крошится, словно мел,
И сдирает кожу с костей прилив.



Вдруг со всех зелёных ног
Побежал с окна цветок.

На пол спрыгнули, спеша,
Два цветных карандаша.

Даже люстра надо мной
Закрутила головой.

И, мигнув мне светом,
Дом качнулся следом.

— Что случилось?! — мы вопросы
Службе шлём спасения.

— Не кричите. Это просто
Городотрясение!



То ли солнечною цедрой
Небо обожжёт,
То ли захлебнусь от ветра,
Что во мне поёт,
То ли влага дождевая
Целится из глаз,
То ли жизнь я доживаю
В самый первый раз,
То ли снова неумело
Душу я прибил
На листок, от крика белый,
Тяжестью чернил.



Вечно мама утром тужит
И кричит на всех подряд:
— Опоздаю я на службу!
Ох, живьём меня съедят!

Позову я маме лошадь,
Ту, что Сивкой-Буркой звать,
И тогда она не сможет
На работу опоздать.

Если ж мама на лошадке
Опоздает на часок,
Дам ей невидимку-шапку,
Чтоб её начальник гадкий
Укусить уже не смог.



Руки— для того, чтобы их заламывать,
Зубы— чтоб тоску меж них перемалывать,
Перетрётся— значит, будет мука,
Белоснежная, словно бы облака.
Из неё испеку я хлеба немного.
Вот тебе, дорогой, захвати в дорогу.
Перекусишь где-нибудь с горьким луком.
Ты бери, у меня ещё много муки.
Чтоб молоть и в слёзы свои бросать.
Руки чтоб заламывать. Локти кусать.



Несмотря на грязь, и сырость,
И простуду на губе,
К пункту А пешком пустилась
Мышка в путь из пункта Б.

А навстречу ей, в пижаме,
Страшно выпучив глаза,
Резво курица бежала
Прямо в Б из пункта А.

И вдали от мокрых улиц
И дождём залитых крыш
С мокрой курицей столкнулась
Мышка мокрая, как мышь.

И когда заныли рёбра
И завыли голоса,
И когда на месте мокрым
Оказались их глаза,

То пошли такие лужи,
Что ни мне и ни тебе
Не дойти теперь по суше
Больше в пункты А и Б.



Пока ветра над нами воют,
Небес осколками дрожа,
Ты дай мне знамя полковое
И покажи— куда бежать,
Так, чтобы «тьфу» мне на опасность,
На пуль светящийся курсив,
И чтобы сгинуть не напрасно,
А всё на свете искушив...



Если небо взять рукою
И немножко соли взять,
Кинуть всё в стакан с водою,
Хорошо перемешать,
Если взять на кухне блюдо,
Вылить в блюдо весь стакан,
То у вас, конечно, будет
Самый синий океан!



Весь изорван, избит, измят,
Снег устало зияет ранами.
Захлебнувшись слезами пьяными,
В стёкла грязные смотрит март.
Ну, давай, наливай в стакан
Солнце с ветром весенним поровну.
Мне открыты все света стороны,
Потому что весною пьян.
Потому что само собой
Всё течёт непременно к лучшему.
Я опять доверяю случаю,
Что однажды нас свёл с тобой.



Стояла горка на горе,
А на вершине горки
В просторно вырытой норе
Жила простая норка.

Но как-то горочка с горы
Однажды вдруг свалилась,
И норка вышла из норы
И очень удивилась.



Ах, как же весело, друзья,
С азартом думал я,
Когда шестёрка бьёт туза,
А пешка— короля.

Но всё тошнее на земле,
Изгаженной, как хлев,
Где бьют шестёрки королей,
А пешки— королев.



Солнце чиркнуло синичкой
И зарылось в творожок.
День короткий, словно спичка,
Пальцы холодом обжог,
Задымился и угаснул.
И опять темно, темно.
И стучится кто— неясно—
В индевелое окно.



Если только на Луне
Жили бы собаки,
То они бы, спору нет,
Затевали драки,
Кости грызли бы в пыли,
Кошек бы ловили,
Но уже бы, как с Земли,
На Луну не выли.

Имена

С именами у нас в семье всё в порядке. Хотя и были разные казусы. Вот взять, к примеру, меня. Лет до пятнадцати я был в полной уверенности, что имя мне дали мои дражайшие родители. Зря так думал. Однажды отец отозвал меня в сторону и сказал: — Сын мой, сейчас я должен тебе открыть страшную тайну...

Впрочем, нет... Это я уже расфантазировался что-то... В общем, точно не помню, да это и неважно — когда и как, но вдруг выяснилось, что имя мне дал в роддоме какой-то неизвестный студент-практикант. Просто посмотрел на меня и предложил:

— А назовите его Рустамом.

Теперь я очень благодарен этому студенту, потому что он мог же предложить что-нибудь и совсем экзотическое: Нгебана, например, или Маврикий. А так — живу и радуюсь.

А вот бабушка моя покойная, папина мама, была Клара Сергеевна. Это по её линии я армянских кровей. На четверть, естественно. Так вот, только после её смерти я узнал, что никакая вовсе она не Клара Сергеевна. А совсем даже — Кнара Сероповна. Это я в паспорте прочёл. Как-то в детстве просить бабушку показать мне паспорт я не догадался ни разу. Да и соседи наши тоже не догадались. Так и ходила она под этим именем, и даже, будучи политически активной, в газетах местных под ним «светилась». А оно — вишь как на самом-то деле.

С другой стороны (в смысле — с маминой) у нас тоже не легче. Мой дедушка был чистокровным китайцем. И в паспорте даже было написано: китаец, мол. А зовут — Ти Тин Ян. Проживал он в деревушке под Канском, и звали его все — попробуйте угадать: да, точно, правильно, естественно, — Иваном. Соответственно, и мама у меня получилась Ивановна. Хотя паспортистка теоретически могла «возбухнуть» и правдиво записать маму в Титиньяновны.

Кстати, отец у меня тоже Иванович. Но здесь уже совсем непонятно, кому спасибо говорить. Замужем моя армянская бабушка никогда не была. А папа мой родился аккурат после Великой Отечественной. Родился он в Кзыл-Орде и по внешности больше на казаха, чем на армянина, похож. Так что, может, и не Иванович он совсем, а какой-нибудь Нурсултанович или ещё кто. Впрочем, теперь ведь и не узнаешь. Бабушка была тверда, как камень, и тайны никому даже перед смертью не выдала.

А нашего сына мы с женой назвали Яном. Во-первых, я, как стихоплёт, не мог, конечно, пройти мимо такой хорошей рифмы, как «Ян — Карапетьян». Во-вторых, это имя нам мозолило глаза на каждом шагу. Сначала мы его выбрали сами. Ну, не совсем конкретно его, а просто попало оно в наш шорт-лист имён. А что? Очень даже хорошее имя для ребёнка с восточными и западными корнями.

Жена-то у меня — Эвелина, родилась в Вильнюсе, а кто-то там из её предков вообще из каких-то шведских цыган (уж не знаю, бывают такие или нет, но семейная легенда гласит именно так). Так что имя Ян как компромисс между Западом и Востоком вполне подошло бы. К тому же и на дату рождения ангел-хранитель Иоанн попался. Да и тёща моя, исходя из каких-то своих соображений, именно это имя предложила.

Но последней каплей было мнение заглянувшего на огонёк друга семьи:

— Назовите Яном, — веско предложил он.

— Почему? — поразились мы.

Ведь то, что это имя у нас уже в коротком списке, он знать не мог.

— Ну, понимаете, в первых классах в школе я очень мучился, когда писал на тетрадке своё имя: Констан-тин. Длинно так. Пока напишешь, намажешь чего-нибудь или ошибёшься сто раз. А учительница злая была, орать начинала. И я своей соседке по парте очень завидовал. Её Яна звали. И писалось у неё имя: раз! — и готово. Вот и вы Яном назовите, он вам ещё спасибо скажет.

Назвали. Теперь ждём, когда скажет спасибо.

Заглянув в глаза твои серые,
Я подумал: если б индейцами
Мы родились и по заслугам
Имена выбирали нам,
То тогда бы тебя, наверно,
Называли — Большое Сердце,
Ну а я, чтоб другим наука,
Оставался бы безымян.

Мой китайский дедушка

Лошадь весит примерно полтонны. Говорят, что мой дедушка мог поднять лошадь. Я сам не видел, врать не буду. Но говорят, что мог. Сам дед говорил мало, а то, что он говорил, я не понимал и очень этого стеснялся. Дед же стеснялся своего произношения, поэтому и не разговаривал почти. А говорил он по-русски плохо, потому что был китайцем.

Когда-то он жил на севере Китая, в провинции Хэйлунцзян. Дело было после Второй мировой. А потом то ли на заработки его вербанили, то ли за красивой русской невестой сманили — но перешёл он северо-восточную границу Китая и оказался на юго-восточной границе России. А там таких недотёп, как он, тут же отлавливали, объявляли шпионами и целыми вагонами отправляли в глубь России. Странно, да? Сейчас китайцев-нелегалов ловят и отправляют назад в Китай, а тогда, наоборот, сюда загоняли. Наверное, мужиков после войны мало было, а китайцев на Дальнем Востоке много, вот их ловили и сюда засылали.

Привезли деда в Сибирь и поселили в лагере где-то под Канском, вместе с другими такими же,

как и он, бедолагами. И стали они вместе дружно восстанавливать народное хозяйство. Лагерь, я так понял, скорее и не лагерь был вовсе, а поселение. Всё равно деваться китайцам было некуда. Русского языка не знают, куда привезли — тоже. Знай себе работай в своё удовольствие.

А в это время где-то не очень далеко моя деревенская бабушка маялась с детьми и без мужа. Потому что муж погиб на войне. А детей было трое. И ещё хозяйство. И работа в колхозе. Поэтому старшая дочка пошла в поселение к китайцам, присмотрела там самого работающего, взяла его за руку и привела к бабушке. И бабушка вскоре вышла замуж за дедушку. И стали они с тех пор жить-поживать да добра наживать.

Добра они нажили не очень-то и много. Так, немного, как и в любой другой деревенской семье. Но хозяйство было хорошее. И детей всех на ноги поставили. И даже ещё одного ребёнка завели — это моя мама оказалась. Стало быть, мама — наполовину китаяночка. А я, значит, на четверть. А дед был чистокровный китаец и прожил в России более полувека. Но по-русски он так разговаривать хорошо и не научился. И поэтому стеснялся. А я его не понимал и тоже стеснялся.

Я помню, как дедушка брал в руки яблоко и начинал быстро-быстро тереть его о голое тело. Заканчивался этот процесс где-то под мышкой. Потом дед протягивал яблоко мне и внимательно смотрел, как я его беру и откусываю. А я совсем не хотел есть яблоко, тем более вытасченное из дедовской подмышки. Но я был стеснительный и воспитанный и поэтому ел. А потом ещё долго не переносил даже вида яблок.

Но зато дед часто катал меня на мотоцикле с коляской. Он сажал меня впереди себя, и я держался за руль и иногда даже рулил, когда мы ехали по ровной дороге. Мне казалось, что я бы вот так ехал и ехал, пока не кончится дорога. И было совсем нестрашно, потому что рядом с моими руками на руле лежали крепкие дедовские руки.

В конце концов, деду выдали советский паспорт. Наверное, чтобы он не очень хотел сбежать назад в Китай. И когда дедушка умер, я в первый раз этот паспорт увидел. В нём было написано, что дедушку звали — Ти Тин Ян. А я всю жизнь думал, что его зовут Иван. И мама у меня — Ивановна.

Я иногда пытаюсь представить себе, как бы я чувствовал себя, если бы меня увезли далеко-далеко от дома и заставили жить среди людей, которые разговаривают на чужом языке, который я не могу выучить. И мне становится очень грустно.

А ещё я представляю себе, как я поднимаю лошадь весом в полтонны. Лошадь жалобно ржёт. Совсем как в Китае. Потому что лошади везде ржут одинаково. А я осторожно опускаю её на землю и иду домой. Потому что у каждого человека должен быть дом. Даже если он и живёт на чужбине.



Пройдя весь путь длиною в тыщи ли,
Нашёл земли я краешек неблизкий,
Где даже корабли — не корабли,
А люди — безголовые сосиски.
И так легко сомненьями истечь,
Давясь тоской вдали от Поднебесной,
Где неизвестна правильная речь
И ритуалы тоже неизвестны,
Где мало слов и столь же мало нот,
И меч скользит, не попадая в ножны,
И если даже Вечное мелькнёт,
То лишь к тому, чтоб стало безнадёжней.

«Мы старших за то презираем»

«Мы старших за то презираем, что скучны и просты их дни», — сказала поэтесса, знающая, о чём говорит.

Ну а я, честно признаться, взрослых ненавижу. Очень редко, конечно, но зато очень сильно. В каком-то случайном интернетовском словаре сказано, что презрение связано с чувством превосходства. А какое же может быть чувство превосходства у ребёнка над взрослыми?

Так что я их просто искренне ненавижу. Надо сказать, что дни моих взрослых вовсе не были «скучны и просты». Скорее наоборот: они могли вволю допоздна смотреть телевизор, они могли купить что-нибудь вкусное или интересное, они ходили на работу, звонили по телефону и делали ещё многое из того, что было недостижимо мне. К тому же изредка, когда мой день не был скучен, а переливался всеми цветами радуги, взрослые имели дурную привычку вмешиваться и всё разрушать.

Как сейчас помню, полдня я строил фортификационные укрепления по всей комнате. По всему периметру были натянуты нитки-канаты, позволяющие личному составу игрушечной армии

мобильно перемещаться по воздуху. В противоположных углах комнаты возвышалось несколько мощных башен-фортов, сложенных из книг. Кроме того, из разных подручных средств были наведены разнообразнейшие мосты со стола на книжные полки, подоконник и куда только можно. В общем, всё было готово для начала величайшей в истории квартиры битвы. Но тут вошла мама и потребовала всё убрать и ложиться спать.

В тот момент я был готов, ни секунды не раздумывая, повернуть штыки моей армии против неё. Я кричал какие-то гадости и бил об стенку кулаком. Но получилось только хуже. Убраться пришлось всё равно. А потом меня лишили просмотра мультиков и поставили в угол, где я стоял, шмыгая носом и тихо про себя ненавидя всё вокруг, а маму в особенности.

Отца ненавидеть было сложнее, потому что он мог и ремнём протянуть. И хотя я не помню, чтобы такое случилось хоть раз, но ремень-то у него был всё равно!..

Так что сентенция «от любви до ненависти один шаг» в детстве особенно актуальна. Пока прошёл несколько шагов — несколько раз перепрыгнул из одного в другое.

«Вы плохие! Я не буду с вами дружить!» — орёт иногда на нас сынулька из-за какой-нибудь дурацкой мелочи. И изредка моё терпение лопаётся. И как же хорошо, что в этот момент у меня вовремя всплывают эти картинки из моего детства.

А ещё просто замечательно, что у меня есть ремень. Правда, вряд ли я смогу им воспользоваться. Но ведь сынок-то про это не знает!

Я стою в углу, обижен,
Громко шёпотом ворчу:
«Вот как вырасту повыше,
Буду делать что хочу!

Съем батончики из вазы,
Все мультфильмы погляжу,
И ещё, конечно, сразу
Строго папу накажу.

Пусть, за шалости наказан,
Постоит в углу полдня,
И поймёт он, что напрасно
Так наказывал меня!»

Пора-пора-пора на своём веку

Как и у большинства пацанов, «Три мушкетёра» были у нас, как сейчас принято говорить, культовой вещью. Книгу, может быть, читал и не каждый, но уж фильм режиссёра с плохо выговариваемой фамилией Юнгвальд видели по несколько раз все. И шпагами или хотя бы кулаками тоже помахать ну очень хотелось. Поэтому разделились по справедливости, то есть как всегда: белая кость класса стала мушкетёрами короля,

а аутсайдеры автоматически попали в гвардейцы кардинала.

Могу гордо признаться, что я попал к мушкетёрам. Правда, плаща мне не досталось. Это и понятно: количество плащей было ограничено. Четыре всего, насколько я помню. Зато один из плащей соизволил взять меня в слуги. Таким образом, я стал Рустамом-Гримо в услужении у Жеки-Атоса. Женька был отличником и спортсменом. И книжку он читал, поэтому был в курсе и сюжета, и всех тонкостей «тримушкетёрских» взаимоотношений. Что было для меня не совсем кстати. Потому что долгое время Женька пытался сделать из меня полноценного Гримо — то есть исполнительного и немного, как и записано в великом первоисточнике. И использовал он при этом методы Атоса — то есть «бил нещадно». Ну, не бил, конечно, но подзатыльники ставил. Меня спасло то, что общего игрового энтузиазма хватило на несколько месяцев, потом сюжет начал постепенно отходить от книжного и стал приближаться к школьным реалиям.

Гвардейцы кардинала тоже, как мне кажется, были вполне довольны. Хотя их и гоняли и в хвост, и в гриву, но их тем самым впервые признали за определённую силу, с которой надо считаться. И пусть они были жалкими гвардейцами, но звание кардинала или графа Рошфора всё равно заставляло остальных пересматривать своё отношение к аутсайдеру. Ну и, к тому же, мы вступали в такой возраст, когда хотелось быть не только хорошим, но и плохим. Поэтому отдельные, причём не самые слабые, товарищи постепенно переходили на сторону товарища кардинала. А уж всяческие двоечники-хулиганы вливались в ряды гвардейцев пачками. Им это было выгодно тем, что они могли теперь щипать девчонок не просто так, а идейно — сообразно своей роли. А идея — она ж всегда лучше, чем её отсутствие.

И так на протяжении нескольких лет шла постоянная ротация кадров, с войнами, перемириями, предательствами и «мстиями». А «мсти» были страшны. Потому что сражались-то мы идейно. Морды, правда, до крови не били (тут соображаловка всё-таки включалась), но подлянки разные — точнее, интриги и операции, — затевались всё время. В основном, конечно, страдала кардинальская сторона.

Результат такого постоянного прессинга был неожидан. Кардинал вдруг начал сочинять рассказы и делать книжки-малышки (гармошечкой такой), в которых, по всем законам современной мятущейся историографии, он и его сторонники были все в белом, а мушкетёры — соответственно. И тут я первый раз реально ощутил великую силу искусства: написанное вдруг становилось реальным фактом. Ну, понятно, что всякая чисто идеологическая шняга типа обзывательств в расчёт не идёт. Но литературные факты — становились как бы новыми условиями нашей детской игры.

Например, вводился новый персонаж—одноклассница в качестве миледи, и вокруг неё тут же начиналась реальная возня, приятная и ей, и нам. Или же как-то была ни с того ни с сего описана замена одного из мушкетёрских сторонников и даже его переход в клан кардинала. И в конце концов этому однокласснику так и пришлось поступить в жизни, потому что: а) написанное пером не вырежешь автогеном; б) дыма без огня не бывает; в) порядок превыше всего. А возникший внезапно диссонанс между жизнью и текстом должен быть как-то разрешён. Закалённый в боях кардинал переписывать историю наотрез отказывался, и всем пришлось в конце концов подчиниться.

Впоследствии подобную механику я встречал в жизни довольно часто. Некое изменение в мозгах меняло реальность не только в обычной жизни, но и в масштабах страны и земного шара. Но к мушкетёрам это уже не имеет никакого отношения.

С воплями
по коридорам—
Так, что
чечёткой сердце.
Каждый хотел—
мушкетёром,
Никто не хотел—
гвардейцем.
Дружба чтоб
побеждала,
Хотелось
достойной битвы нам.
Лупили
в углу кардинала—
Самого
беззащитного.

«Ум-мнях-нах»,
или «You're in the army now»

Я стоял в прострации и пытался понять, каким образом и за что судьба забросила меня в этот глухой уютный уголок с гордым названием «армия». Солдат, стоящий в прострации,—это потенциальная опасность как для окружающих, так и для самого себя. Он может напиться, наестся, накуриться и вообще—сотворить всё что угодно. Солдат не должен стоять в прострации, он должен стоять на защите своей Родины.

Но об этом я узнал чуть позднее. А пока меня вдруг заметил маленький седлоусый колобок-прапорщик, подкатился ко мне и оглушил срывающимся на фальцет басом:

— Ум-мня-мня-нах возьми мня-мнях-мня и уех ня-ня-на мнях!!!!

Моя бледная прострация перешла в остолбенение. Я-то думал, что прапорщички только в анекдотах и по телевизору такие, а тут—взаправдашний,

живой. И, судя по всему, настроенный вполне серьёзно.

— Товарищ прапорщик, повторите, пожалуйста, я не расслышал...

— Ум-мня-мня-нах возьми мня-мнях-мня и уех ня-ня-на мнях!!!!!!!

Ещё раз переспрашивать я не решился, козырнул и убежал за угол. Там я чуть не расплакался, но сдержал слёзы и стал размышлять о том, как же мне теперь жить дальше, ведь приказ я выполнить не мог. А солдат, не выполнивший приказ,—это же практически предатель. А предателей, как известно, в военное время расстреливают. И хоть время сейчас не совсем военное, но что-нибудь плохое со мной сотворят, это точно.

Через пятнадцать минут прапорщик, видимо сжалившись надо мной, отыскал моё дрожащее тело, взял его за руку и подвёл к бетонной бровке, лежащей в раздолбанной канавке глубиной примерно сантиметров тридцать:

— Ум-мня-мня-нах возьми мня-мнях-мня и уех ня-ня-на мнях.

— ???

— Ум-мня-мня-нах возьми мня-мнях-мня и уех ня-ня-на мнях!!!!

Прапорщик сопровождал свою речь неоднозначными жестами, которые сначала привели меня в неопишуемый ужас. Я подумал, что все эти действия прапорщик собирается в ближайшем будущем проделать со мной.

Но тут меня внезапно осенило! Добросердечный прапорщик показывал мне, что он от меня хочет!!!

— Нужно вытащить вот эту бровку из канавки?— уточнил я.

— Ум-мня-мня-нах,—кивнул головой прапорщик.

— Есть!!!

И я, радостный, принялся за дело. Дело состояло в том, чтобы придумать, как я, великовозрастный, но слабосильный остолоп, подтягивающийся только два раза за два подхода, смогу вытащить из этой многометровой канавищи эту многокилограммовую бетонину.

— Ум-мня-мня-нах?—спросил прапорщик.

— А как?

— Ум-мня-мня-нах возьми мня-мнях-мня и уех ня-ня-на мнях!—начал закипать прапорщик, но всё-таки показал, что я должен взять лом и с его помощью вытащить бровку.

«Ага,—уважительно подумал я,—не совсем, оказывается, дураки они в этой армии. Лом, закон рычага, физика там, соображают...»

И я принялся за дело. Теперь дело состояло в том, чтобы придумать, где в «этой армии» раздобыть лом. Свой личный лом я оставил на гражданке, а другие здесь мне на глаза пока ещё не попадались.

— Ум-мня-мня-нах?

— А где взять лом, товарищ прапорщик?

И он мне уже почти по-отечески объяснил, что лом надо взять у шоферов в гараже в десяти метрах от нас, где он висит и терпеливо ждёт меня на пожарном щите.

Я рванул в гараж. В гараже висел пожарный щит. Рядом то ли на топчане, то ли на скамейке валялись два шофёра-срочника. Пять минут они с любопытством наблюдали, как я пытаюсь оторвать лом от щита, потом сжалились надо мной: — Зря стараешься, придурок!

— Почему?

— Мы его намертво прибили, не оторвать.

— А зачем?

— Да потому что @&\$#ят его всё время, а нас за это завгар @&\$#ит почём зря. Вот и приказал всё намертво @&\$#уячить.

Я задумался.

— Ум-мня-мня-нах возьми мня-мнях-мня и уех ня-ня-на мнях,— донеслось откуда-то снаружи.

Видимо, прапорщик начинал терять терпение.

Кстати или некстати, служить я попал после института, а поскольку служили выпускники год, то мне оставалось париться в армии где-то ещё примерно столько же. Портить отношения с прапором было ну никак нельзя. Я выскочил из гаража, подбежал к прапорщику, козырнул и доложил: — Товарищ прапорщик, ум-мня-мня-нах мня-мнях-мня и уех ня-ня-нах мнях!

Прапорщик задумался, потом махнул рукой и пошёл своей дорогой. И действительно, что он мог поделывать, если шоферá—сплошные ум-мня-мня-нах, то есть, конечно, они не сами—их так завгар ум-мня-мня-нах. Но и он ведь не сам это придумал.

You're in the army now, ум-мнях-нах.

Не носят мужчины колготки,
Не носят шиньоны и косы,
А носят мужчины пилотки,
Лопатки сапёрные носят.

Мужчина—он сильный и зоркий,
Не прячется в юбке у мамки,
Он долго потел в гимнастёрке,
Носил не носки, а портянки.

Теперь он мужик без вопросов,
Повсюду его уважают.
А косы пусть женщины носят
И разных младенцев рожают!

Отрывки

Ну, то, что в детстве большинство из нас помнит себя очень отрывочно, это всем известно и понятно. Хотя, наверное, понятно-то не очень. Обрывки какие-то складываются из важных и абсолютно неважных событий.

Вот сразу пример: лежу я маленький в кровати, лет пяти, кажется (потому что вижу, что дело

в старой квартире происходит). В комнате темно, но из-за двери пробиваются шум и полоска света. Там гуляют взрослые, отмечают что-то. А я лежу и слушаю этот привычный шум и периодические возгласы мамы: «Тише, тише!» Слушаю и потихонечку засыпаю. Вот и всё.

Хотя, может быть, и нет. Это ведь только сейчас мне кажется, что ничего не произошло. Но почему-то же именно этот момент отпечатался в памяти. А может, я тогда до чего-то вдруг додумался? До чего-то такого, что сейчас мне кажется элементарным и не заслуживающим внимания, а тогда вдруг поразило до глубины души. Или, может, это что-то такое настолько тонкое, что мой повзрослевший и огрубевший мозг уже не в состоянии воспринять и воспроизвести. А может, это я и не додумался вовсе, а дочувствовался до чего-то. Кто его знает, но не зря же я помню именно это.

И вспомню ли я когда-нибудь, как же было всё на самом деле?

В небесах овальных—солнышка квадрат.
Так рисует странно мой художник-брат.
А над облаками, где ручей звенит,
Розовая мама по небу летит.

Видите, какая вышла ерунда?
Так ведь не бывает в жизни никогда!
И тогда я брату крикнул сгоряча:
— Это всё неправда! Нету там ручья!

Всё из детства

Тот ребёнок, который внутри нас, он никуда, конечно, не пропадает. «А куда ты денешься с подводной лодки?» Не зря же дядя Фрейд так любил в детстве копать. Только вот присосабливается ребёнок к своему взрослому по-разному. Один в детстве мечтает летать, как птица. И становится лётчиком, или конструирует летательные аппараты, или хотя бы книжки про это пишет. Другой про детские мечты забыл напрочь, зато приёмчики детские остались: понуть, попсиховать, убежать, спрятаться, сдохнуть, наконец, чтоб все узнали...

А планы наши в детстве все были большими и практичными. «Практичными» в том смысле, что мы несколько не сомневались, что сумеем воплотить их в жизнь. Только вот дождёмся ка-никул, ну или накопим энную сумму денег, чуток подзакалимся—и... Различные там путешествия, экспедиции—это само собой. За них как раз мне первый раз очень сильно и влетело.

В принципе, и маршрут уже был проложен по имеющейся у нас политической карте мира (целью было, естественно, море!). И был у нас даже такой «Набор туриста» из пластмассовых тарелочек и стаканчиков, а также ложек и вилок разных,—так что экипированы мы были по полной. Что ещё надо двум придуркам одиннадцати лет от роду? Не хватало только денег на билет. Которые мы,

точнее, я и позаимствовал у бабушки. Не навсегда, конечно, а пока не заработаю и не отдам. Взятая было сто рублей (пенсия у бабушки была повышенная). Если совсем уж по-честному, то для нас это были даже и не деньги. Деньги—это бумажный рубль или трёшка. Десятка—это уже сверхкапитал. Ну а сто рублей—это пресловутый банковский билет в миллион фунтов стерлингов, фикция такая, игра, совершеннейшая условность. Для сравнения напомню, что мороженое можно было купить за десять копеек. Шесть копеек—стоил проезд на автобусе. Ну а вечно конвертируемую бутылку водки можно было взять за пять рублей сорок пять копеек (правда, об этом мы тогда не догадывались).

Как нас взрослые раскрыли—ума не приложу. Но очень быстро. Отобрали и деньги, и скопленную карманную мелочь, и даже столь полюбившийся нам «Набор туриста». Кроме того, я был больно отгаскан за уши и активно промассажирован ещё в одном месте. Что лишний раз подтвердило незыблемый закон: у настоящих героев и путешественников дорога к славе пролегает через разные тернии. Но это же не повод отказываться от своих мечт, верно?

Планов было много—больших и маленьких, простых и сложных. Вот один из самых простых: купить билет в спортлото и выиграть машину. Билет стоил двадцать пять копеек, кажется. То, что мы можем и не выиграть—в расчёт не принималось. Целых две недели мы ходили тихонечко, счастливые, в ожидании праздничного тиража. Целых две недели мы были богаты. Целых две недели мы составляли планы, как потратить деньги. Укого-то из нас был гэдээровский каталог товаров, и мы часами рассматривали его, выбирая себе машинки и машины, ножи, мячи и даже будущих жён, ласково улыбающихся нам со страниц каталога... И вдруг... Билет не выиграл... Это был страшный удар... Можно сказать, что он частично убил мою веру в чудо.

По крайней мере, через десяток лет, когда все (ну или многие) судорожно скупали акции МММ, у меня в душе даже ничего не затрепетало.

Всё из детства идёт, всё из детства.

...Все мы в детстве во что-то играли...

Леонид Филатов

Все мы в детстве во что-то играли, и дни
Пролетали стремительней мига.
А теперь затаились в глубокой тени,
Разглядеть их попробуй поди-ка.

Нет, у взрослых скучней и серьёзней игра,
И шалить несолидно давно нам.
Но когда ребятня мчится с воплем «ура»,
Руки дёрнутся к поясу, где кобура
И наган был с щелкучим пистолем.

Чёрный человек

Ну а вот что меня волнует, пугает и трогает на сегодня больше всего:

1. Глобальные катастрофы (там у них свой длинный список и своя иерархия).
2. Смысл жизни. Конкретно—моей, естественно. Как-то не дорос (и вряд ли дорасту) до того, чтобы раздавать смыслы другим людям (если это вообще возможно). Лишь так могу—языком немного потрепать, но всегда держу в голове анекдотическое: «Не блатуй—покажи пальцем». На Луну хотя бы. Ну а для личного пользования—список различных тело-, мысле- и духовных движений, через которые я этот пресловутый смысл ищу. Или создаю. Сам себе.
3. Семья, которая вообще-то входит в пункт 2, но требует особого внимания.

Карьера, работа, деньги и прочее (ничего не забыл?)—постольку поскольку. Они, скорее, относятся к средствам и по-настоящему волнуют, только когда начинают мешать нашей семейной идиллии или личным поискам смысла жизни.

И вот получается так, что относительно глобальных катастроф, которые стоят вроде как на первом месте, я ничего сделать-то и не могу. Насчёт смысла жизни—уже как-то немного трепыхаюсь с переменным успехом, но без гарантированного результата, а лишь в надежде когда-нибудь что-нибудь уяснить. С третьим же пунктом всё более-менее в порядке: цели конкретны, направления обозначены, потихоньку с боями продвигаемся вперёд.

Но переживаю-то я всё время насчёт катастроф. Потому что—ну никак мне с ними ничего не поделать. Более того—никому ничего не поделать. И они висят дамокловым мечом и над смыслом жизни, и над семьёй, то вгоняя в тоску, то придавая остроту ощущениям нынешнего дня.

Но вот всё больше кажется мне, что если совсем отменить столь широко разрекламированный апокалипсис, то я, наверное, быстренько сам себе что-нибудь отыщу взамен—такое большое, страшное, неодолимое, а главное—неизвестное и непонятое. «В чёрном-чёрном городе, в чёрном-чёрном доме жил чёрный-чёрный человек...»

Снулая рыба пронзает тьму—
Брызги мерцают вдаль.
Скоро наступит капец всему,
Что, несомненно, жаль.
Свет в коридоре, конец игры,
Жадный обрыв пути.
И мандариновой кожуры
Запах на конфетти.

Готовь сани летом

А Новый год уже, конечно, не тот. Не совсем тот. И ёлочка какая-то маленькая (даже если и дотягивается до потолка). Но раньше-то она была *до потолка!!!* И Дедушка Мороз в гости не заглядывал давно. И я ему давненько ничего не писал.

А когда-то у меня несколько лет подряд был костюм индейца. С синей бахромой по рукавам и краям брюк и перьями из какой-то папиросной разноцветной бумаги. Ну и, конечно, ещё томагавк был деревянный: куда ж индейцу без томагавка?

Потом перья порвались, из рубашки и брюк я вырос. А томагавк, кажется, сломался в дворовых войнушках. Я конечно, ужасно расстроился. Но тогда же, во дворе, мне открыли тайну, что никакого Деда Мороза на самом деле нет. А кто в него верит, тот дурак набитый. Дураком быть совсем не хотелось, и я стал умным.

А Дед Мороз, наверное, обиделся и уже перестал приходить.

Впрочем, мне кажется, всё ещё можно исправить. Вот подрастает сынок, самое время его с Дедушкой знакомить. А там, глядишь, расчувствуется старик от стихов и водочки да и простит меня, дурака. Тем паче у меня ещё ведь и дядюшка-эльф есть, который руководит установкой в нашем городе самой большой (кажется, даже в стране) Ёлки. В этом году они ёлку в сорок шесть метров высотой поставили. Получается, что если рядом с ней стоять и на верхушку смотреть—даже шапка свалиться может. Вот какой у меня дядя-волшебник есть. Да неужто он за меня словечко и не замолвит?

И сынок тоже пускай похнычет: простите, мол, папу, он хороший. И весь год вёл себя хорошо. Пил мало, курить бросил. Ну что ещё?

Рустаму Каранетьяну

Пока серпантин, мишура, канитель
Под стать театральной репризе,
Твой мудрый дитёныш не рвётся в постель:
Он ждёт новогодних сюрпризов.

Сияют гирлянды, петарды спелят,
Подарков—несметная залежь.
Несносный ребёнок упрямей тебя,
И ты, поворчав, отступаешь.

На праздничной ёлке мерцают шары.
Они начинают круженье
И, как батискафы, в иные миры
Уносят его отраженье.

Ему их рассматривать вплоть до утра
Сквозь плотно закрытые веки.
И ночь напролёт—серпантин, мишура,
Что в детстве—почти что навеки...

Куда он плывёт, твой упрямый малыш,
Вовсю налегая на вёсла?

Уснул... Только ты почему-то не спишь,
Но ты—непростительно взрослый.

Марина Генчикмахер

Демисезонное

Ну и что, что я живу в городе? Гены пращуров—они ж всё равно голосят во мне с неимоверной силою: мол, ты же самец! Охотник ты и собиратель корнеплодов. Просто у меня в городе, в отличие от тайги и джунглей, свои дары природы. Да, да, да! И это всё, «да простят меня мужчины»,—о них, то есть о женщинах.

По весне, например, я радуюсь, наблюдая, как, по мере таяния зимней одежды, появляется всё больше и больше юных цветочков, распускающихся прямо на глазах, в различных значениях этого слова. Сорты и формы—самые разнообразные. Они ещё только расцветают, но уже скоро войдут в силу, вспыхнут, взвоятся. Они это уже предчувствуют. И предчувствие это передаётся окружающим, кружа голову невидимым ароматом.

А вот по осени, которая в Сибири наступает резко, глаз радуется пышному разнообразию цветов плащей и курток, прикрывающих уже созревшие формы. Они с восторгом повторяют всю гамму и все формы осенних икебан из цветов и листьев: красные, жёлтые, бордовые, синие, гладкие, мятые, блестящие, острые. Они словно кричат: смотрите, какие мы яркие, торопитесь, скоро зима! Да, да, скоро опять зима, и всё опять покроется тусклой зимней одеждой. Но я-то знаю, что там, под серым плотным настом, таятся они, цветы нашей жизни (да простят меня дети).

По весне, согревшись под солнцем дерзким,
Залетали пчёлками смс-ки:

«Как тебя зовут?», «Ты пайдёшь на пати?».

Пальцы в кнопки тыкаются не глядя.

Через сто веков—или чуть пораньше—

Археолог опытный и уставший,

Откопав измызанную мобилу

Будет вслух читать излиянья милой.

И, проникнув в смысл о любви посланья,

Не сдержав в могучей груди рыданья,

Он скорей супруге и подружанке

Отобьёт признательные морзянки.

Трицатье

Я счастливый человек. Ну, не всегда, конечно, и не везде. Но за ночь я как минимум три раза успеваю испытать чувство эйфории.

Первое счастье—это проснуться непонятно отчего и обнаружить под боком уютное детское

тепло. Это сын перебрался к нам в кровать, прижался ко мне, обнял одной рукой и спокойно посапывает мне в ухо. И под его мерное дыхание или под беспокойные вздохи (тогда я шепчу: «Тш-тш-тш»,—и он успокаивается)—я опять проваливаюсь в липкий сон и отправляюсь навстречу своему второму счастью.

Второе счастье наступает через минуту или через несколько часов—сказать трудно, ведь время во сне течёт иначе, а за окном всё так же темно. Свой приход счастье предваряет мощными ударами и пинками, и когда я вынырываю из кошмара, где меня били землетрясениями, трясли вулканами и Николаями Валуевыми, то я вдруг понимаю, что это всего лишь сон,—и второе счастье окатывает меня волной. И я лежу, бессмысленно глядя в невидимый потолок и собираясь провалиться в новые сновидения.

Но тут мне наносит удар незаметно подкравшеся третье счастье. Причём наносит основательно—локтем, коленом, головой моего же родного ребёнка. И я вдруг пронзительно понимаю, откуда были эти землетрясения, вулканы и Валуевы. Я тяжело вздыхаю, набираюсь сил, получаю ещё пару вдохновляющих тычков, встаю и отношу ребёнка

в его кровать. Потом возвращаюсь назад, ныряю под одеяло—и третье счастье наваливается на меня: ну наконец-то можно спокойно уснуть.

В ватных сумерках сонным снусмурником выползает из-под одеяла голос жены: «Хорошо, что унёс, а то совсем изворочался уже».

Она тоже счастлива.

Моя Луна красна,
Распухла её десна,
Губы побиты ветром.
До неё тысячи километров
Или много лет пути.
Пока умудришься дойти—
Сотрёшь в песок и душу, и ноги.
Раньше на Луне жили боги,
А сейчас—только пыль да камень.
Раньше я выл с волками,
А сейчас подглядываю из окна,
Сев на подоконника паперть.
Красна моя Луна.
Любимая в скрипучей кровати
Видит десятые сны.
А рядом сопит мой сын.
И этого хватит.

ДиН стихи

Юрий Аврех У города Акко



Мы не свободны от печали,
Мне ночью вороны кричали.
И вместе с ними я кричал.
Слёз не было, и я молчал.
Я был в гармонии с природой.
И в дисгармонии с людьми.
Я был свободен и свободен.
От дружбы, службы и любви.
И, приходя ночами к морю,
На гальку падал и лежал.
А днём, когда там люди были,
На том же месте отдан силе,
Один в пустыне пребывал.



У города Акко, где крепость и вал.
Где зал тамплиеров и рыцарский зал.
Сан Жан де Акре¹ своим именем горд.
Гляди! Облака! Они прибыли в порт.
Они пришвартованы к стенам небес.
К причалу. К домам. У них свой интерес.
Они не в неволе, они уплывут.
И в Ор-Ха-Тора² из Туниса войдут.
И, выйдя над город. В назначенный срок.
Уйдут с кораблями на дальний восток.

-
1. Сан Жан де Акре—одно из имён города Акко, находящегося также в Галилее. Имя, данное ему рыцарями тамплиерами и госпитальерами.
 2. Ор-Ха-Тора—синагога, построенная в городе Акко выходцами из Туниса.

Лев Бердников

Блистательный князь

Как-то по вечернему Петербургу шли двое. Один в простом военном мундире, другой — в щегольском кафтане. Настроение у попутчиков было весёлое, они травили анекдоты, как вдруг тот, что в мундире, явственно различил голос: «Павел, бедный Павел, бедный князь!» Он невольно вздрогнул, остановился и оглянулся. Перед глазами предстал таинственный некто в испанском плаще, со шляпой, надвинутой на глаза. Сомнений быть не могло: орлиный взор, смуглый лоб и строгая улыбка выдавали великого прадеда Павла — Петра I. «Не особенно привязывайся к этому миру, Павел, — продолжал державный призрак с неким оттенком грусти, — потому что ты недолго останешься в нём».

«Видишь ли ты этого... идущего рядом? Слышишь ли его слова?» — обратился Павел к своему товарищу. «Вы идёте возле самой стены, — отвечивал тот, — и физически невозможно, чтобы кто-то был между вами и ею... Я ничего не слышу, решительно ничего!» — «Ах! Жаль, что ты не чувствуешь того, что чувствую я, — обронил Павел укоризненно. — Во мне происходит что-то особенное».

В этом ставшем хрестоматийным эпизоде, после которого Павел Петрович получил известное прозвание «Русский Гамлет», примечателен не только сам будущий монарх, но и сопровождавший его франт. Последнего за любовь к пышности и блеску именовали не иначе как «бриллиантовый князь». То был князь Александр Борисович Куракин (1752—1818), который действительно тогда ничего не слышал, ибо его никак нельзя было упрекнуть в нежелании понять мысли и чувства своего царственного друга.

Отпрыск древнего боярского рода, восходящего к легендарному литовскому Гедимину и Владимиру Красное Солнышко, Куракин ещё с молодых ногтей сблизился с великим князем, став неременным товарищем его детских забав. Дело в том, что обергофмейстером Павла был граф Никита Иванович Панин, родственник Куракина, ставший после смерти родителя мальчика (1764) его «вторым отцом». Как свидетельствовал С. А. Порошин, князь Александр Борисович «почти каждый день у его высочества и обедает, и ужинает»; они забавляются также игрой в карты, шахматы и волан.

Дружба Александра с Павлом не прерывалась и во время их пятилетней разлуки: Куракин, как и подобало родовитому отроку, получил образование за границей — сначала в Альбертинской академии (Киль), а затем в Лейденском университете. Между ним и цесаревичем завязывается оживлённая переписка. «Как мне приятно видеть, что Ваше высочество удостоивает меня своими милостями», — пишет Александр в мае 1767 года. Павел поддерживает контакты с Куракиным и когда тот путешествует по Речи Посполитой, Дании и Германии.

Учёба пошла впрок нашему князю (он овладел несколькими языками, приобрёл интерес к наукам и просветительской литературе, к тому же искусился в придворном политесе), но что до воспитания нравственного... Одно из правил академии, которое студиясы должны были неукоснительно выполнять, было следующим: «Соблюдайте в жизни целомудрие, умеренность и скромность, избегайте поводов к распутству... Избегайте роскоши, надменности и тщеславия и прочих язв душевных». А этим-то руководством Александр Борисович как раз открыто пренебрегал.

С 1773 года Куракин становится одним из самых преданных лиц великого князя. Они часто видятся. Причём их дружеские отношения постоянно крепнут. Привязанность Павла к Куракину тем более усиливается после того, как с позором изгнали другого ближайшего сподвижника цесаревича, графа А. К. Разумовского, оказавшегося соблазнителем его первой жены. В 1776 году именно Куракин сопровождал Павла в Берлин на встречу с его невестой Софией Доротеей (будущей императрицей Марией Фёдоровной). В 1778 году князь был пожалован чином действительного камергера, а в 1781 году избран предводителем дворянства Петербургской губернии. Многие через посредство Куракина ходатайствовали перед великим князем о своих делах и неизменно получали искомую помощь. Настроение таких благодетельствованных просителей выразил стихотворец Пётр Козловский:

Один ли я тебе обязан?
Тобою многие живут!
Тебе в сердцах мы зиждем троны —
Ах! благодарности законы
И самые злодеи чтут.

Во время путешествия по Европе в 1781–1782 годах Александр Борисович состоял в свите Павла Петровича. По единодушному мнению, Куракин был признан тогда наиболее изящным кавалером в окружении цесаревича. Так, герцог Тосканский Леопольд в письме к своему брату, императору Иосифу II, от 5 июня 1782 года говорит, что из всех русских вельмож считает князя самым «утончённым».

Однако по возвращении из этого путешествия Куракин подвергся опале со стороны императрицы и был отдалён от двора. Причинами сего называют казавшуюся Екатерине вредной масонскую деятельность князя (в 1779 году он был принят в главную Петербургскую масонскую ложу) и перлюстрированное письмо к Александру его приятеля, полковника Павла Бибикова, в котором тот будто бы злословил о монархине. Претила монархине «подозрительная» близость «бриллиантового князя» к наследнику престола. Она вообще ревниво и с опаской относилась к окружению сына; как об этом сказал в сердцах Павел: «Ах, как бы я жалел, имея в свите своей даже преданного мне пуделя; матушка велела бы утопить его».

Долгие четырнадцать лет Александр Борисович провёл в своём имении в саратовской глуши. Но и здесь он поддерживал переписку с великим князем, который испросил у матери разрешение видеться с князем два раза в год.

Свою усадьбу, получившую по его прихоти характерное название Надеждино (он имел в виду надежду, которую не оставлял даже в лихолетье екатерининской опалы), Куракин обустроил по образцу самых изысканных европейских дворов. Архитектором надеждинского особняка был известный Джакомо Кваренги, однако внутренние покои и три фасада были спроектированы самим князем. Его трёхэтажный дом-дворец с торжественным портиком включал в себя восемьдесят комнат, облицованных алебастровыми массаами различных цветов. Покои украшала дорогая, редкой красоты и изящества мебель. Богатая картинная галерея содержала несколько сот полотен первоклассных мастеров. Для её создания Куракин пригласил в Надеждино пейзажистов Якова Филимонова и Василия Причетникова. Обращала на себя внимание и коллекция великолепных гобеленов, и собранная хозяином обширная фундаментальная библиотека с книгами на нескольких языках.

Вокруг особняка был разбит английский сад, высились деревянные храмы Дружбы, Истины, Терпения, Благодарности, павильон-галерея «Вместилище чувствий вечных», памятники-obelisks монархам; в зелёной траве бежали тропинки, названные именами родственников и друзей князя.

Но более всего поражал воображение обслуживавший Куракина придворный штат. Самолюбие князя весьма льстило, что должности дворецких,

управителей, шталмейстеров, церемониймейстеров, секретарей, библиотекарей и капельмейстеров у него занимали исключительно дворяне (Куракин не скупился, платя им знатное жалование). Свиту его составляли и десятки других «любезников», без должностей, восхвалявших хозяина. Один историк сказал по этому поводу: «Как у него не кружилась голова в омуте лести, со всех сторон ему расточаемой!»

Александр щеголял и своими «открытыми столами», за которые обыкновенно усаживались разом несколько десятков человек, в том числе и едва знакомые князю лица. В распоряжении гостей всегда были экипажи и верховые лошади; а на надеждинских прудах желающих ждали шлюпки с разудальными гребцами. Князь напечатал специальную инструкцию, которая подавалась каждому посетителю Надеждино; в ней есть и такие пункты: «Хозяин почитает хлебосольство и гостеприимство основанием взаимственного удовольствия в общегитии... Всякое здесь деланное посещение хозяину будет им принято с удовольствием и признанием совершенным... Хозяин просит тех, кои могут пожаловать к нему, чтобы почитали себя сами хозяевами и распоряжались своим временем и своими упражнениями от самого утра, как каждый привык и как каждому угодно, отнюдь не снравливая в провозждении времени самого хозяина».

По инициативе Куракина при усадьбе была открыта школа живописи, а затем — музыкальная школа, в которой проводили занятия парижские музыканты; был создан домашний театр, роговой и балльный оркестры; учреждена богадельня.

«Роскошь, которую он так любил и среди коей всегда жил, и сладострастие, к коему имел всегдашнюю склонность, размягчали телесную и душевную его энергию, и эпикуреизм был виден во всех его движениях... — резюмирует мемуарист и добавляет: — Никто более князя Куракина не увлекался удовольствиями наружного тщеславия». И действительно, князь бахвалился не только своей баснословно дорогой одеждой, но и великолепными экипажами. Показательно, что во времена Александра I когда исчезли богатые экипажи, один только Куракин ездил цугом в вызолоченной карете о восьми стёклах, с одним форейтором, двумя лакеями и скороходом на запятках, двумя верховыми впереди и двумя скороходами, бежавшими за каретой.

Куракин создал в своём Надеждино своего рода культ цесаревича. Именем великого князя были названы аллеи и храмы; в покоях стояли бюсты и статуэтки, изображающие Павла; стены украшали его парадные портреты.

Но существовал один пункт, в котором князь и цесаревич решительно не сходились. Это их отношение к одежде и щегольству. Великого князя

аттестовали как противника мужской элегантности. Поначалу он вообще не придавал нарядам особого значения и не просиживал, как многие царедворцы, часами за уборным столом, а затем он стал ревнителем платья старого прусского образца. Не то Куракин, одежда для которого был вещь архиважной. «Каждое утро, когда он просыпался, — рассказывает историк-популяризатор Михаил Пыляев, — камердинер подавал ему книгу, вроде альбома, где находились образчики материй, из которых были шиты его великолепные костюмы, и образцы платья; при каждом платье были особенная шпага, пряжки, перстень, табакерка». По словам Пыляева, с Александром Борисовичем произошёл однажды трагикомический случай: «Играя в карты у императрицы, князь внезапно почувствовал дурноту: открывая табакерку, он увидел, что перстень, бывший у него на пальце, совсем не подходит к табакерке, а табакерка не соответствует остальному костюму. Волнение его было настолько сильно, что он с крупными картами проиграл игру». Комментируя этот эпизод, исследователь дендизма Ольга Вайнштейн отмечает, что «для него (Куракина. — Л. Б.) согласованность в деталях костюма — первое условие душевного спокойствия и основной способ самовыражения. Он ведёт себя как классический придворный, использующий моду как устойчивый семиотический код, знак своего высокого положения, богатства и умения распорядиться собственным имуществом. Поэтому невольная небрежность в мелочах для него равнозначна потере статуса или раздетости».

Однако Куракин, будучи щёголем, одевался по собственным, им же самим придуманным законам изящества, роскоши и великолепия. Он, по словам Филиппа Вигеля, не желал «легкомысленно и раболепно подчиняться моде, он хотел казаться не модником, а великим господином, и всегда в бархате или парче, всегда с алмазными пряжками и пуговицами, перстнями и табакерками». Его глазетовый кафтан, звёзды и кресты на шее из крупных солитеров, жемчужный эполет через правое плечо, ажурные кружева на груди и рукавах говорили о своеобразии его вкуса.

Александр был свойственен подчёркнутый нарциссизм. Чем иначе может быть объяснена его поистине маниакальная страсть заказывать свои портреты и раздаривать их своим знакомым?

А писали сии полотна живописцы недюжинные: П. Баттони и Р. Бромптон, Веже-Лебрен и А. Монье, А. Рослин и И.-Б. Лампи-младший, А. Ритт и Ж.-Л. Вуаль. Портреты копировались и размножались крепостными художниками, их повторяли в бесчисленных гравюрах. В письме к Куракину от 22 декабря 1790 года Ж.-Л. Вуаль сетует, что «чрезмерно светлый цвет одежды и вообще слишком блестящие детали» (на чём настаивал князь) «ослабили немного главную часть...

а именно голову, которой должно быть подчинено всё остальное». Однако такие «блестящие детали» были самоценными для Куракина, и он вовсе не желал ими поступиться. Именно таким, во всём блеске своего величия, предстаёт Александр на известном портрете кисти Владимира Боровиковского (1799). Достоинно внимания подобранное самим князем гармоничное сочетание цветов в костюме. «Яркие контрастирующие краски одежды — сверкающее золото и серебро, — описывает портрет искусствовед Татьяна Алексеева, — переливающееся синее и красное, голубовато-белое и чёрное — лишены резкости, сопоставлены близкими по цвету, но менее интенсивными оттенками малинового, тёмно-голубого, коричневатого и золотистого...» Кстати, впоследствии роскошный, залитый золотом мундир спас нашего князя от неминуемой гибели на пожаре, случившемся в Париже во дворце австрийского посла К. Ф. Шварценберга (1.07.1810). Золото на одежде Куракина тогда нагрелось, но не расплавилось и послужило своеобразной защитой от огня. А потому он, хотя и получил многочисленные ожоги и лишился бриллиантов на сумму семьдесят тысяч франков, всё же сохранил себе жизнь. На этом пожаре Александр Борисович, как истый кавалер, оставался последним в огромной объётой пламенем зале, выпроваживая особ прекрасного пола и не позволяя себе ни на шаг их опережать.

Надо сказать, что Александр Борисович думал о женитьбе озабочен довольно рано. «Что есть мне полезнее, — откровенничал он в письме Никите Панину 16 декабря 1773 года, — оставаться холостым или приступить к предприятию приобрести себе жену, почтенную, добродетельную и со всеми нашим желанием соответствующими качествами? Правда, что я ещё молод, что время от меня ещё не ушло, что всегда можно будет по сердечной страсти решиться; но сей страсти самой более всего опасаясь: ею, быв ослеплён, редко можно зло от блага отличать. А я предпочтительно желаю, чтобы столь важный выбор во мне единою силою рассудка... руководствован был и чтобы вместо жаркого любовного пламени между мною и будущей моею женою сильная, тесная, твёрдая и неразрушимая стояла дружба».

Показательно, что Куракин апеллирует здесь к рассудку, а не к чувству. Потому, надо полагать, он не женился на прелестной, но небогатой шведской графине Софии Ферзен, к которой испытывал сердечную склонность. Брак между влюблёнными не состоялся, но глубина и постоянство их взаимного чувства поражали современников. И каких только именитых барышень не прочили в жёны Александру Борисовичу! Среди них и графиня Варвара Петровна Шереметева, внучка государственного канцлера Алексея Черкасского и легендарного петровского фельдмаршала Бориса «Шереметева

благородного», и княжна Анастасия Михайловна Дашкова, дочь знаменитой «Екатерины Малой» (Екатерины Дашковой), и многие другие.

Друзья не оставляли попыток женить князя и тогда, когда его матримониальные планы терпели фиаско. «Новоподростлых здесь (в Москве. — Л. Б.) красавиц не есть конца, — ободрял его в 1777 году Павел Левашов, — невест тысячи, между коими есть и весьма богатых. Я одну из них для Вас заприметил, в которой соединены находятся красота, разум и богатство». Но, видно, и эта «запримеченная» кандидатура не приглянулась нашему князю. Он так и остался холостяком.

И как не обратиться здесь к любопытной классификации русских бобылей XVIII века, представленной современником Куракина, литератором-пародистом Николаем Ивановичем Страховым (1768–1825), в журнале «Сатирический вестник» (1790–1792): «Некто из отродья славных Пустомозговых говорит: «Будь хоть свинка, да только золотая щетинка»; а как ещё таковой из невест для него не выискалось, то по сей причине он и не женится... Г. Спесяга не иначе соглашается согнуть своё колено, как только перед тою, которой бы благородство простиралось за 20 или за 15 колен; но как девушки с толико многими поколениями не отыскивается, по тому самому он не женится... Г. Знатнов сочинил в воображении своём таковое новое положение о невестах, которое превышает силу ума человеческого, а именно: за чины свои, благородство, знатное родство, знатное знакомство положил он за премудрое правило требовать за невестами обычайно всегда вдвое, нежели сколько за ними дают, а как ни которая из невест не удовлетворила сих премудрых его ожиданий, то сей великий человек премалые имеет надежды к браку».

Оставив в стороне обидные «говорящие» фамилии Пустомозглова, Спесяги и Знатнова, следует признать, что наш князь чудным образом соединял в себе запросы всех этих трёх закоренелых холостяков. Родные нередко упрекали его и за боярскую спесь, и за погоню за богатым приданым.

Последняя по времени попытка обрести семью, казалось, сулила князю, перевалившему тогда за пятьдесят, удачу: двадцатилетняя богатая невеста, графиня Анна Алексеевна, дочь блистательного екатерининского «Алехана» — Алексея Орлова-Чесменского, была весьма к нему благосклонна, равно как и её отец. Но и тут жених оказался нерешительным, и брак расстроился.

Лучше всего об этом сказал сам Александр, который был не рад своему холостяцкому состоянию. «Рассмотрим, милостивый государь, несчастные и часто необходимые, от холостой жизни происходящие следствия, — писал он Петру Панину, — разврат нравов, удаление от добродетели, похищение невинности, забвение собственных

дел и собственного домостроительства и разные подобные тому неустройства».

Очень точно отношение Куракина к дамам охарактеризовал историк Пётр Дружинин: «Не сыщется в ту эпоху в России более известного, чем князь, *ферлакура* (вертопраха. — Л. Б.) — по примерным подсчётам он имел до семидесяти детей и при этом ни разу не был женат». В самом деле, не забавен ли этот феномен: обычно дерзкий и напористый с женщинами, он становился нерешительным и пассивным, как только речь заходила о браке! В этом князь походил на своего титулованного деда, графа Никиту Панина, который безбрачие соединял с самым утончённым распутством.

И холостяк Куракин слыл одним из самых искусных обольстителей XVIII века; астрономическая цифра прижитых им бастардов ничуть не преувеличена. Известна судьба лишь некоторых из них, получивших потом стараниями князя потомственное дворянское достоинство и величественные родовые гербы. Это дети Куракина от некой А. Д. Самойловой — Борис, Степан, Мария, а также единокровные (от других матерей) Павел, Ипполит и Александр, которым были пожалованы титулы баронов и фамилия Вревские (топоним села Александро-Врев Островского уезда Псковской губернии). Другие побочные чада Александра Борисовича — Александр (1), Александр (2), Алексей, Екатерина, Лукерья, София и Анна — стали баронами Сердобиными (от реки Сердобы Сердобского уезда Саратовской губернии, где находилось имение Куракино). Поговаривали, что сластолюбивый князь устроил на верхнем этаже своей фамильной усадьбы нечто вроде гарема. Судачили также, что Куракин не гнушался и связями с дамами самого низшего разбора — главным критерием служила здесь ему та же «сердечная страсть», которой он так опасался в делах брачных.

Конечно же, Куракин интересен не только своим щегольством и эпикурейством. Александр Борисович был плоть от плоти XVIII века с его глубокими контрастами и противоречиями. Ощущая себя представителем древней фамилии, он всемерно содействовал появлению в печати своего родословия и сотрудничал со знаменитыми Николаем Новиковым и Николаем Бантыш-Каменским. С последним его связывала сорокалетняя (!) переписка, в которой обсуждались преимущественно темы на злобу дня. Опальный князь даже в ссылке живо интересовался текущей политикой, о чём свидетельствует его обширное эпистолярное наследие. Говоря о политических взглядах Куракина, приходится признать, что он, подобно Павлу, ненавидел радикальных деятелей и Французскую революцию, бичуя в своих письмах «ехидно бредящих философов нынешнего столетия», Радищева прежде всего. Впрочем, он и сам грешил

сочинительством, издав несколько книг на русском и французском языках. Князь меценатствовал, и многие словесники обращались к нему за помощью, а некоторые даже посвящали ему свои книги. Куракин покровительствовал известному автору «Душеньки» Ипполиту Богдановичу, который, кстати, подражал князю и своим франтовством (этот поэт тоже «ходил всегда щеголем в французском кафтане с кошельком на спине, с тафтяной шляпой под мышкою»). Александр Борисович был также отменным агрономом, применяя на практике, в Надеждино, знания по сему предмету, и даже был принят в Вольное экономическое общество.

После смерти Екатерины II на Куракина словно пролился золотой дождь чинов, наград и прочих милостей от благоволившего к нему (теперь уже императора) Павла I: гофмаршал, действительный тайный советник, вице-канцлер, кавалер всех высших российских орденов и т. д. Ему были пожалованы дом в Санкт-Петербурге, 4300 душ в Псковской и Петербургской губерниях, а затем вместе с братом он получил 20 тысяч десятин земли в Тамбовской губернии, рыбные ловли и казённые участки в Астраханской губернии и т. д. И хотя этот головокружительный карьерный взлёт «бриллиантового князя» несколько омрачила кратковременная опала, наложенная на него в 1798 году взбалмошным другом-монархом (под давлением соперничавших с Куракиным царедворцев Ивана Кутайсова и Фёдора Ростопчина), положение его в начале 1801 года вновь упрочилось — Александр Борисович опять стал занимать все мыслимые и немыслимые высшие должности-синекуры.

Каковы же действительные заслуги сего мужа на государственной ниве? Вот что говорит об этом проницательный современник граф Фёдор Головкин: «Он любил блистать, не в силу заслуг или внушаемого им доверия, а своими бриллиантами и своим золотом, и стремился к высоким местам лишь как к удобному случаю, чтобы постоянно

выставлять их напоказ». Потому чины, титулы и награды служили ему, в сущности, такими же атрибутами щегольства, как пышный наряд или золочёная карета.

В период правления Александра I почётных должностей у Куракина не убавилось. Он стал членом Непременного совета и управляющим Коллегией иностранных дел, затем назначен Канцлером российских орденов. С июля 1806 года он — посол в Вене, после, с 1808 года, — в Париже. В 1812 году Александр Борисович, между прочим, предпринял попытку урегулировать русско-французские отношения и после неудачи сложил с себя обязанности посла.

В последние годы жизни он не играл заметной политической роли, оставаясь фигурой ушедшего века и — зенита своего величия — павловского царствования. И вовсе не случайно, что именно ему было поручено разбирать бумаги покойного Павла. В память о той эпохе на почётном месте в его Надеждино длительное время висело огромное живописное полотно М. Ф. Квадаля «Коронация Павла I и Марии Фёдоровны в Успенском соборе Московского Кремля 5 апреля 1797 года», где среди прочих сановников задорно щеголял своим роскошным платьем и сам «бриллиантовый князь». То, что некогда воспринималось как особый шик и блеск, в новое александровское царствование, с новыми идеями, дало повод сравнивать Куракина с павлином.

Возлюбивший роскошь, Александр Борисович был, однако, похоронен «без всякой пышности» в Павловске 29 августа 1818 года; на церемонии присутствовали только близкие. В их числе — благоволившая к князю вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, которая повелела поставить памятник с барельефом князя и скромной надписью: «Другу супруга моего». Эта эпитафия обладает известной точностью: ведь в историю Куракин вошёл прежде всего как сподвижник «Русского Гамлета».

Александр Торопцев

Раскинулось море широко

Осенний ландыш

В последний день лета к Ольге приехали сёстры, Настя и Вера. Суровые, однако. Пообедали. Похвалили картошку рассыпчатую и пирожки. Но хвалили скупо. Славка догадался, что не просто так они приехали, сказал:

— Я на улицу.

— Ты же с нами хотел! На природу. Пойдём!

— Пусть гуляет!—приказала тётя Настя, хотя до этого ни в чём не потакала племяннику.

Дверь за ним мягко щёлкнула. Сёстры, каждая на свой лад, вздохнули. Вера (она приехала в Москву на консультацию к врачам) не стремилась на улицу. У неё природы в саду и в огороде хватало. Настя жила в Москве, у Никитских ворот. Окно её длинной комнаты смотрело в стену старого дома, искривлённого многочисленными пристройками. Работала она в гуме рабочей на складе, в подвале. Ей хотелось на природу.

Русоволосые, голубоглазые, но в остальном очень разные, они спустились по деревянной мытой лестнице со второго этажа, пошли по посёлку. Ольга выдвинулась чуть вперёд.

— Тебя на расстрел, что ли, ведут?—крикнула вслед знакомая у колонки.

— Это же сёстры, гулять идём.

Она замедлила шаг, пыталась встать в линию с сёстрами, но те сблизилась, выдавливая её. Вышли за посёлок.

— Погода как в прошлый раз, когда мы ландыши собирали, правда?!—Ольга покорно уступила место ведущей Вере, а ведомой—Насте и вспомнила тот день три месяца назад.

Они, также втроём, Славку привезли из Москвы. С вещами, шахматами и со свидетельством об окончании четвёртого класса. Славка лично портфель нёс, пока на все сто не поверил, что теперь никто его в Москву не вывезет. А как поверил, бросил портфель на диван, достал из ведра на столе ватрушку и, на ходу жуя, у подъезда громко крикнул друзьям: — Пацаны, я из ссылки вернулся! Навсегда!

Настя скривила губы, Вера сказала:

— Хорошая комната. На втором этаже. Никто в окна не будет глаза пялить.

— Окна на север,—бросила Настя.—Сырость всегда.

— Не сахарные, не растают.

После обеда они гуляли.

Вера чувствовала себя прекрасно. Что-то детское, дерзкое было в ней. У оврага она остановилась, зажмурилась, взяла Ольгу за руку, и вдруг вырвалось из груди запретное:

— Помнишь, как мы бежали через наш овраг?

— Не смей молотить чепуху!—крикнула Настя.— Сколько раз говорить.

Старше Веры на двадцать лет, она имела право на строгий материнский тон. Со стороны могло показаться, что она и есть им мать.

— Будет тебе, тридцать лет прошло. И потом, отцато оправдали. Ещё тогда. Оль, помнишь, точно такой овраг был, да?

— Наш—в три раза больше, если не в пять. Ты забыла.

— Сколько раз говорить вам: молчите.

— У нас же документы.

— Дуры вы. Если бы оправдали...—Настя неожиданно разволновалась.—Мы бы с Зинкой и Дмитрием с Тимофеем институты бы закончили, а вы...

— А нам всё одно война дорогу переехала,—у Веры был характер непокорный.

— Ничего вы не знаете и не понимаете.

— Нашлась знаток. Ничего нам толком не говорили, да, Оль?—Вере надоела эта тема, и она нанесла Насте коварный удар.—Хватит злиться. Тебя Славка задел, а ты на нас обиду срываешь. Он же малой совсем, не понимает, что говорит. Ссылку какую-то придумал, а сам в такой школе, в центре Москвы, учился.

— Правда, Настя,—смирно выдохнула Ольга.— Ты для нас так много сделала.

Они спустились в овраг. Ольга подвела сестёр к своему картофельному участку, небольшому, у самого ручья, огибавшего ровные грядки, из которых тянулись ростки.

— Мешков пять собираешь?—спросила Вера.

— Шесть-восемь,—Ольга приосанилась.—А то и десять. Земля хорошая. До июля хватает.

— У нас палисад был в три раза больше,—хмыкнула Настя.

И они пошли в лес, чудом уцелевший в центре колхозного поля. Настя забыла о грустном, дышала

глубоко. А сёстры её младшенькие бросились в воспоминания. Впервые за тридцать лет говорили они громко о том, как бежали летним вечером под Верунькин плач в соседнюю деревню, как там, у большого дома, уткнулись они в широкий подол цветастой юбки и долго, как взрослые, плакали, накрытые тёплыми руками бабы Ксюши.

Им в тридцатом было на двоих восемь с половиной лет. Они на всю жизнь запомнили и тот бег, и тот плач, и два слова: «На живца». «Баба Ксюша! Нас на живца ловят!» И грубый окрик деда Ивана, вошедшего в избу: «Чтоб я больше не слышал этого слова!»

В лесу женщины стали меньше ростом ровно на высоту ландышей. Вера, будто на собственном огороде орудуя, нарвала толстый букет. Настя — букет небольшой.

Проводив сестёр до станции и возвращаясь на посёлок, Ольга рассуждала: «Войну надо было выиграть, без этого никак. Но как же хорошо было в тот день, когда на новоселье в наш дом приехали все братья и сёстры из своих институтов и заводов! Жаль, фотографа не дождались. Может быть, он услышал о ссоре отца с дядей Петей, председателем? Не знаю. Но лучшего дня у меня в жизни не было. Все весёлые, сильные, нас с Верунькой по очереди на руки брали. До сих пор тепло их тел чувствую, хотя некоторых уже в лицо не помню. А Верунька того дня не помнит. Было-то ей два с лишним годика. Как я её довела в тот вечер до бабы Ксюши, ума не приложу. «Не пойду дальше, — твердит своё, и хнычет, и повторяет при этом: — Пусть лучше меня на живца поймают, к маме хочу!» Еле-еле дотащила её».

— Не пойду дальше, — Вера остановилась у склона оврага. — Здесь поговорим. Ольга, ты подумай о сыне, о себе...

— Сын обут-одет, форму новую купила. Спасибо тебе, конечно, что он погостил у вас на море, загорелый приехал. Давайте спустимся к огороду. У меня там лопата припрятана, картошки накопаям. Настя, тебе же нравится картошка.

— Ты что дуру из себя строишь? — буркнула Вера. — Мы тебе Славку отдали три месяца назад, а ты сразу за своё!

— Я ему рубашку купила.

— Прекрати дурью маяться! — в разговор вступила Настя.

— На том пятачке он, видать, и ревел.

— О чём ты?

— Трёх дней не продержалась, как мы были здесь, и нажралась.

— Нет!

У Ольги дрогнуло внутри — сын им всё рассказал. Но про какой пятачок говорит Вера?

— Как же ты посмела?! — Настя злобно махнула рукой. — Неделю не могла подождать, чтобы он спокойно уехал на юг.

— Да я ждала! — сорвалось у Ольги. — Но подруга дочку родила, немного пришлось выпить. А он, чудак, расстроился.

— Совсем ты, что ли, с ума сошла? Знаешь, как он рассказывал об этом, как у него руки тряслись, глаза бегали, защиты просили? Ты знаешь это? — Веру уже трясло. — Он же боялся о тебе говорить, тебя, дуру, предавать не хотел, случайно вырвалось. А ты!

— Я два года с ним мучилась, — Настя говорила спокойно, но жёстко — так больней. — Думала, ты остепенишься, дала тебе возможность пожить одной. Обстирывала его, кормила. При живой-то матери! При том, что у меня сын студент

— Я вам картошку возила, капусту, пирожки...

— Ты тут водку пила!

— Я, говорит, пришёл домой, — Вера вздохнула, — пирожками пахнет, обрадовался, а мамка пьяная. Я в тот раз, говорит, даже кричать не стал, убежал в овраг и плакал там, пока не уснул.

— Кто лёг-то?

— Слушай, ты сегодня, случаем, не махнула? Чего глаза воротишь? А ну-ка дыхни!

— Да ты что, Господь с тобой! Неужели мне не верить? Мы же с тобой точно по такому оврагу...

— Перестань! Дыхни, говорю!

— Да не пила она сегодня, не кричи, — сказала Настя.

— Может, всё-таки накопать картошки-то? Я же один раз. За всё лето. А он разволновался.

— Не ври, — голос Насти был спокоен. — Я была здесь летом. Тебя не застала, в комнате бутылки.

— Дежурила, видать. А бутылки я на стройке собираю, сдаю.

— Хорошо, что он матери не рассказал. Она и так еле дышит. Когда узнала о смерти Тимофея, чуть Богу душу не отдала. Еле выходили. О тебе спрашивала, Славке в глаза смотрела. Но он ничего о тебе не сказал.

— Что он, совсем глупенький?

Сёстры устали от тяжёлой темы. Ольга поняла это и сказала с чувством:

— Всё. Больше в рот не возьму. Клянусь матерью и сыном. Я, я... пойду картошки накопая. А вы отдохните.

«Какой же ты глупенький, — думала Ольга, копая картошку. — Сам же из Москвы убежал, ссылкой её называл. И наговорил на меня. А они и рады-радешеньки, налетели. Тётя Настя и тётя Вера ладно, они родные какие-никакие. А если интернат или, ещё хуже, детдом. Думаешь, не отправляют? Ещё как. Да не бойся, сынок, я тебя никому не отдам. Просто на слова нужно быть осторожнее, даже с родными. Твой дедушка сказал на собрании колхоза всю правду-матку, и вот что получилось».

А ведь председателем был его двоюродный брат, дядя Петя. И вместо нашего дома огромного мы с тобой оказались в комнатке. И овраг здесь — овражек. И не соберёмся никак. После войны нас десять человек осталось, могли бы собраться. Маленький ты у меня ещё».

«Раскинулось море широко»

Они не понимали друг друга весь день. Рано утром, когда даже дворник бабка Васёна спала крепким сном, она включила свет, громко, чтобы он проснулся, оделась, тихо, чтобы не разбудить соседей, подогрела на кухне картошку, принесла сковородку в комнату, поставила её на стол, сказала упрямо: — Вставай, нам пора! Опоздаем — весь день на смарку!

Он не успел отреагировать на её упрямство своим, как услышал совсем уж вредные голоса из репродуктора:

На зарядку! На зарядку!
На зарядку, на зарядку
Становись!

— Поешь, — сказала она. — Там нас кормить никто не будет.

Ел он до водных процедур, медленно, будто бы на что-то надеясь. Она принесла чай, нервно покрутила ложкой в металлической чёрной кружке. — Пей, — сказала, а в репродукторе мощно загудело:

Распрягайте, хлопцы, кони!

Чай под песню выпил он быстро. Ей показалось, что они стали друг друга понимать.

— Вот молодец! — она взбодрилась. — Надевай ботинки и пиджак.

Мощь репродуктора угасла. Шнурки были длинные, не рваные ещё, без узелков. Вечером она вымыла и нагуталинила ботинки и теперь, одетая, обутая, стояла у двери, смотрела на неловкие его пальцы, дышала со вздохами.

А репродуктор опять стал набирать мощь:

Раскинулось море широко,
А волны бушуют вдали...

Эту песню на радио любили. И он её любил. Море всё-таки, коचेгары, мотив красивый.

— Долго ты ещё? — она не сдержалась, поторопила.

— Да всё, всё! — он поднялся, надел осеннее пальто, застрял у выхода, у репродуктора, хотел дослушать кочегарскую песню.

— Ну хватит, опоздаем! — поняла она, в чём дело.

Радио умолкло, свет погас.

— Переться на эту станцию! — огрызнулся он, не понимая её: «Песню не дала дослушать, как будто на поезд опаздывает».

На посёлке зажигались первые окна. Они высветили мокрые голые ветки деревьев, крути влажного звонкого асфальта и две тёмные фигурки

матери и сына, бредущих вразнобой, не в такт, не по-солдатски. За посёлком асфальт стал глуше, а небо светлее — они шли на восток.

— Может, срежем? — вслух подумала мать, но сама же себе ответила: — Нет, лучше по асфальту. Темно ещё. Испачкаемся. В контору придём как твои кочегары.

— Сама ты как кочегар, — брякнул он невпопад, крепко обиженный.

Она хотела что-то ответить, но услышала шум машины сзади, взяла сына за руку, шагнула на обочину, в тонкую грязь.

Машина была «чужая», водитель — незнакомый. Мать вздохнула, ускорила шаг. Ещё два грузовика пробежали мимо. Мать покорно уступала им дорогу и шла всё быстрее. Так же быстро светлело вокруг: облака, мокрая лента шоссе, деревья с каплями на ветках вместо почек.

В контору, двухэтажное здание за железной дорогой, они прибыли вовремя: ни один начальник ещё не явился. Даже начальник матери, который всегда приходит раньше всех. По коридорам снова ли они как на лунатиков. Но мать была довольна. «Лучше бы песню дослушали», — подумал Славка, поднимаясь на второй этаж кирпичной конторы.

Мать пыталась и здесь взять его за руку, но он огрызнулся, сунул руки в карманы и удивился: «Чего улыбаешься?! Как будто её в морское путешествие хотят отправить на боевом корабле!!» — Вот здесь!

Мать гордо показала на дверь с табличкой, но он не стал читать фамилию её начальника, сел на стул у окна, не вынимая рук из карманов осеннего пальто, будто бы боясь, как бы она его руки в свои не взяла...

С ней бывало такое и дома. Сядет рядом, возьмёт его ладошки в свои, в глаза посмотрит и начнёт оправдываться: «Вот премию дадут за квартал, тогда и поедем за велосипедом. В рассрочку купим, не волнуйся».

Он и не волновался всё лето. А чего волноваться, если велика нет и нет, нет и нет? Хорошо, что к бабушке на море уехал. Там у сестры велосипед был. Покатался по-человечески. А домой приехал — она опять за своё. Вот, говорит, за второй и третий квартал премию получу... Надоели ему эти кварталы!

— Ты здесь не спи, — шепнула она. — У нас начальник сонных тетерь не любит.

— Долго ещё? — спросил он и строго засопел.

— Да мы же только-только пришли! — воскликнула мать, чем-то гордясь — то ли начальником, который не любит сонных тетерь, то ли тем, что они явились в контору раньше всех, то ли — совсем уж непонятно, чем или кем гордилась мать.

За окном зашущукались мелкие капли дождя, убаюкивая сына, но мать была начеку. Она говорила ему что-то о плане, переработке, надбавке и велосипеде, отгоняя его сон. Вдруг мать встрепенулась, поднялась, поправила юбку, старый плащ, который по дешёвке уступила ей соседка, шагнула навстречу невысокому мужчине, коlobком катившемуся в свой кабинет.

— Здрасьте! Вот и мы,— сказала она неловко, а начальник, шустрый колобок, слегка замедлил движение, нахмурил брови, словно бы о чём-то вспоминая, быстро вспомнил, наградил работницу отеческим:

— Ценю!

Затем, уже в дверях, куда на радостях устремилась «награждённая», сказал:

— Ты подожди. У меня срочный разговор с директором.

И мягко захлопнул за собой дверь.

Ещё полчаса тюкал на улице дождь. Сын психовал, мать с гордостью повторяла:

— Директор у нас голова. Они сейчас поговорят, и наша очередь.

— Сколько можно ждать?— вдруг взмолился сын, и мать робко поднялась, подошла к кабинету, так же робко стукнула три раза, открыла дверь:

— Можно?

И тут же дверь закрыла: нельзя.

А уже люди загалдели во всех коридорах конторы, очередь пристроилась за матерью.

Ещё час за окном не лил дождь.

Они просидели в конторе до обеда. Мать уже устала гордиться своими начальниками, а сыну совсем расхотелось спать. Наконец начальник вышел из кабинета, хотел было по привычке покатиться по своим делам, но увидел женщину в старом плаще и сказал очень обидные для сына слова:

— Ну что там у тебя опять? Проходи!

Мать вдруг обмякла, развела руки в стороны, быстро их вернула в исходное положение—руки к груди, так просить легче, так просят все русские бабы у своих начальников свои же собственные деньги,—и провалилась за дверью кабинета.

Сын встал со стула, подумав почему-то, что пора идти домой. Его место тут же заняли посетители других кабинетов. За окном опять начался дождь. Он разбросал вокруг конторы небольшие лужи, похожие на пупырчатые шкурки неизвестных зверьков, расчертил на окнах короткие линии и, словно бы не зная, чем ещё ему заняться, совсем обмельчал и поднялся в облака.

— Сколько можно там торчать?!—кто-то грубо оскорбился.—Тут же люди ждут!

Сын не видел тихо вышедшую из кабинета мать, но почему-то оторвался от окна, повернулся к ней. Будто бы что-то внутри у него колыхнулось неосознанно, не понимаемо.

— Пойдём, сынок.

Он пошёл за ней, поймал пальцами её ладонь, уже влажную. Мать украдкой всхлипнула. Но сдержалась. На улице она ещё раз, громче, со вздохом, всхлипнула и, чтобы сбить накат из груди, вскрикнула:

— Ой, а дождь-то какой прошёл!

А потом, когда на душе чуток полегчало, она посмотрела на свои и сына грязные ботинки и сказала:

— Сейчас велосипед покупать ни к чему. Грязи по колено. Осень. Да и ты за зиму вырастешь. Весной мы тебе сразу большой купим. Не горюй!

— А я и не горюю,— сказал сын и сунул свои пальцы во влажную ладонь матери.

Лунный сорт

Непутёвая стояла осень в том году. Не то пасмурная, не то солнечная, не то тихая, не то ветреная—не поймёшь. С первого сентября не заладилась.

Славка школьные брюки порвал на коленке, на самом видном месте. Она дырку заштопала треугольником, нитки серые, под цвет брюк, не отличишь.

— Утебя никогда ничего не отличишь!— буркнул сын и убежал на улицу, дождя не побоялся.

Под детсадовской верандой ему никакой ливень не страшен, пусть носится до вечера, спать крепче будет. Но Ольге дождь осточертел. Как суббота-воскресенье—обязательно польёт. Нет чтобы с понедельника по пятницу лил, хоть бы передохнуть от зануды-прораба, надоел он со своим планом. Подъёмник починить не может, чего-то там у него не хватает, а носилки на второй этаж с утра до вечера таскай-надрывайся, руки оттягивай.

После первого сентября погода менялась раз десять. Как она умудрилась картошку выкопать, да просушить, да погреб подлатать и туда весь урожай, шесть мешков, картошка к картошке, высыпать,—это ей и самой в диковинку было. Но что такое шесть мешков до следующего урожая? Может быть, хватит, а то и маловато будет. Хоть с капустой, с салом (мать в декабре пришлёт), а ещё пару мешков свалить в погреб не мешало бы.

Но какая же вредная стояла осень! Будто кто-то специально там, на небе, всё просчитал. В будние дни шагом марш на стройку, план гони, а в выходные и вечерами штопай носки за телевизором «квн», к зиме готовься.

Сидела она за штопкой весь сентябрь, уже и привыкла, как в последнюю субботу месяца, после обеда (они только со стройки вернулись), рванул с юга ветер, разогнал облака и пошёл шуметь над Жилпосёлком, взмывая к небу, бросаясь оттуда со свистом, как мальчишки зимой на санках по склонам оврага.

Отложила она нитки и вздутый лампочкой носок на кровать, вспомнила брошенную утром фразу подруги: «Утром копалки елозили по полю»,—

и побежала к ней в соседний подъезд. Та будто ждала её:

— Пойдём, конечно! Поесть только дай. Заодно и стемнеет.

У неё на сковородке шваркала картошка, резанная в кружок.

— А может, на дорожку винца тяпнем, всё интереснее будет? Сходи.

Подруги выпили бутылку тридцать третьего портвейна под хруст румяного картофеля, а тут и затемнело: сначала на кухне—они включили свет, потом на улице—там, на столбах, фонари, похожие на шляпы длинноногих путников, загорелись.

— Разморило что-то,—сказала соседка.—Лучше посидим ещё, пока магазин не закрылся, споем. А?

— Надо идти. Погода хорошая.

— Извини, сбита тебя с панталыку.

Ольга вернулась домой, увидела сына.

— Ты куда собираешься?—спросил он глаза в глаза.

— Скоро приду.

— То штопала, то уходишь,—сказал сын недоверчиво, но на экране телевизора за круглой линзой уже начался фильм.

Она сунула в хозяйственную сумку мешок, надела сапоги.

По резиной сапог дерево ступенек скрипело сдержанно, шла она мягко, чтобы не всколыхнуть ненужные сплетни. За посёлком осмелела, шла спокойно по сухой, хорошо проветриваемой тропе. Справа оставила карьер, спустилась в овраг, услышала сдавленный говорок рядом, прислушалась. — Фу ты, ручья испугалась, трусиха!—рассмеялась вслух.

По деревянному мостку громко ударила сапогами: «Это я иду, ничего не боюсь!» Ручей, бессловесно журча, промолчал. Она поднялась по склону, взяла вправо, подальше от дач какой-то академии, и присела на корточки, огляделась.

Женщина в вигоневом свитере, в тёртой телогрейке, в чулках, в тёплом платье, в резиновых сапогах точно по размеру—ругалась из-за них с завскадом, не хотел, старый хрен, искать размер поменьше,—в шерстяном платке, не молодая и не старая, а ровным счётом тридцатипятилетняя, разнорабочая на стройке, недавно лимитчица, сидела на корточках у картофельных грядок, слушала назойливый шум ветра, ненужного сейчас, и внимательно осматривала картофельное поле. На небо и не глянула.

По спине глухой болью пошла носилковая тяжесть, затекли ноги. Она поднялась, уверенно пошла по долгому холму, зная по опыту, что близ оврага делать нечего, взобралась на самый горб и ахнула: — Какая картошка! Прямо тебе дыньки-колхозницы.

Непугливо щёлкнул замок сумки из кожзаменителя, выпал на вскопанные грядки мешок. Она подхватила его, расправила и стала укладывать

вовнутрь картошку, крупную, омытую дневным дождём, словно бы подсвеченную изнутри. Ветер уже не мешал, помогал, разгоняя по Вселенной шум её дыхания, шорох быстро тяжелеющего мешка по влажной земле.

— Всё, больше не донесу,—шептала она, но такая была хорошая картошка!—Хватит, тебе говорят!—приказала себе и вдруг замерла.—Где же сумка-то? Там же письмо с адресом.

Вот дурёха, взяла бы авоську, завернула бы мешок в газету, конспиратор несчастный. Отошла от мешка метра на два, он растаял в чёрном поле, вернулась. Потянула груз за собой, по спине пробежала мурашками боль. Вспотела, спустила на плечи платок. Из-под облака выполз на небо громадный диск луны, фонарище.

— Тебя тут не хватало!—сказала она и, увидев рядом сумку, обрадовалась, поправила платок.

В грязных сапогах, с рукавами, густо закращенными землёй, стояла женщина на вершине пологого холма, освещённого светом луны, и в этом тихом свете неохотно шевелились деревья дач, пики тополей, извилина реки и мрачная лукавица церкви. Идти под таким фонарём у всех объездчиков на виду, с мешком на плечах да с сумкой в руке, она побаивалась.

— Ну уж и не брошу я мешок!—крикнула она, не заметив подобравшуюся к горлу горечь, а ветер затих где-то за рекой, будто любуясь своим отражением в лунной воде.

Схватила женщина мешок за длинный чуб обими руками, изогнулась, взгромоздила его на спину, сумку подняла, повесила её на левый локоть, пошла вниз меж грядок, прищёптывая:

— На двадцать кило тянет. Что я, вино зря покупала? Донесу.

Спустилась к траве, мешок на землю поставила осторожно, чтобы не бить картошку, чтобы она хранилась лучше. А тут и ветер разгулялся над полями, а по небу из Москвы тронулись облака, закрывая яркие точки в бескрайнем чёрном поле, приближаясь к луне, хоть и коронованной, но беспомощной.

Вдруг она услышала неясные звуки и засуетилась:

— Неужели объездчики? Чёрт их на мою голову послал.

Однако пошла, шумно дыша, потя, сбивая руками платок. Скомкались в сапогах штопаные носки, сполз на макушку платок, вывернулись не пойми как чулки. Сумка врезалась в локоть, хоть и не тяжёлая совсем. Пугая шаг, она громко простучала по мостку.

— Неужели выследил?

Она шла быстро... всё медленнее всходила она по оврагу, а незнакомые звуки тянулись за ней, догоняя, а сумка всё назойливее блямбала по животу, впиваясь в руку.

Из оврага Ольга выбралась, но на большее сил не хватило. Опустила тяжёлый груз и крикнула, шлёпнув о бедра руками:

— Да берите вы свою картошку вместе с мешком в придачу, вот пристали.

Никто ей не ответил; она, отдыхая, подумала: «Мне бы только карьер пройти, там до посёлка рукой подать. Не будут же они переться за мной до дома?» Остыли пальцы от жара мешковины, Ольга сняла-передела носки (ногам стало так приятно!), расстегнула телогрейку, застегнула, привязала платок.

Объездчики её так и не догнали.

— Такой фильм, скажу тебе!—сын лежал в кровати, и пока она на кухне мыла сапоги, он уснул.

Когда он спал, она могла мыть полы, двигать стол и табуретки, открывать и закрывать двери шкафа—сын ничего не слышал, и это ей очень помогало в домашней работе.

Утром он посмотрел на шаровидную картошку и напугал Ольгу:

— Лунный какой-то сорт.

— Почему?!—с ножа, с картошки слетела в ведро пружинистая тонкая завитушка в три кольца.

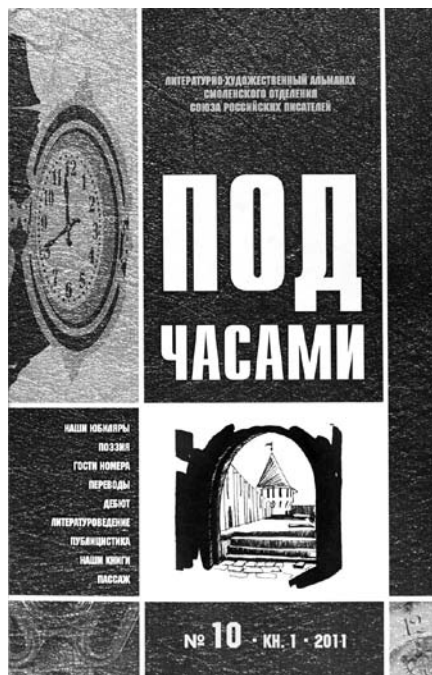
— Круглая, как луна с кратерами. На луне кратеры есть, нам учительница говорила.

— Выдумщик ты у меня!

После завтрака она отнесла лунную картошку в сарай, разложила её на просушку, удивилась: «Чего я испугалась, когда он «лунный сорт» сказал? Ой, хватит об этом, трусиха несчастная. Надо ещё пару раз сходить. Запас ухи не просит».

Непутёвая осень с неохотой уступила место зиме. А потом, уже в апреле,—на посёлке солнце стояло яркое—русский человек, Юрий Гагарин, полетел в космос, в то самое небо, которое так напугало подмосковную женщину, оказавшуюся не вдрут и не случайно на ночном колхозном поле.

ДиН РЕВЮ



Под часами

Литературно-художественный альманах
Смоленского отделения Союза российских писателей.

2011 г. №10. В двух томах.

Корабли

Дни спокойные. Ночи пустые.
И стоят во дворе за окном
Не деревья, а мачты кривые
Кораблей, обречённых на слом.

Вы зачем в эту гавань приплыли?
Вы же птицы свободных морей!
Не поднять вам из грязи и пыли
Проржавевших своих якорей.

Вы же знаете, знаете сами,
Что свобода не сон, не обман.
Посмотрите, как низко над вами
Бесконечный горит океан.

Игорь Мельников

Поэзия, проза, переводы, критика, публицистика.

Редакционная коллегия: Владимир Макаренко,
Светлана Романенко, Владимир Лавров.

Игорь Харичев

Ненужные хлопоты

Похоже, ему были предначертаны вечные неудачи в семейной жизни. Началось с того, что он полюбил девушку, самую красивую в их школе. Он ухаживал за ней четыре года. Боготворил её. Но она вышла замуж за другого. Михаил тогда в Строгановском учился. Мечтал стать художником. Добиться известности. Свадьба Ирины так потрясла его, что он будто потух. Забросил учёбу. Начал выпивать. Нина Павловна, его мать, ещё не забывшая, как пивал муж, в какие загулы ударялся, невероятно перепугалась. Уговаривала его бросить глущить тоску столь коварным способом.

И тут в его жизни появилась Галя. Она была сестрой Ирины. Той самой. На два года моложе. Раньше он не обращал на неё внимания. И не вспомнил бы о ней. Галя сама разыскала его. Ей хотелось увидеться с ним. Она встретила его около дома. Спросила:

— Можно, я буду тебе звонить.

— Да,— сказал Михаил.

Они стали встречаться. И очень скоро он понял, что Галя его любит.

Она была не столь красива, как сестра. Её лицо таило в себе нечто резкое, грубоватое. Но и сходство с Ириной было сильным. Наверно, это сыграло свою роль. Меньше чем через год они поженились. Он снова взялся за учёбу.

Жить они стали у Михаила. Квартира была большая, в центре Москвы. Самый первый писательский кооператив. Квартиру купил Мишин отец. Нина Павловна была довольна, что молодые останутся с ней. Что ей одной в такой просторной квартире?

Мишин отец был писатель. Из тех, кому судьба уготовила тяжёлое испытание. В послевоенное время, когда расстроились отношения Сталина и Тито, Мишин отец получил указание отразить в прозе тяжкую долю югославского народа. Роман был написан, отец народов воспринял его благоклонно, удостоив сей труд собственной, Сталинской, премии. Но когда настало время пожинать плоды успеха, отец народов умер. И очень скоро отношения с Югославией наладились. Для страны пришла другая пора—собирать камни. Роман был изъят из магазинов и библиотек. И будто пропал. Осталась лишь купленная на Сталинскую премию дача в Переделкино. Красивый домик

с башенками, принадлежавший прежде известному прозаику.

Когда Тито в новом блеске приехал в Москву, он попросил о встрече с писателем, написавшим про него злую книгу. Он хотел посмотреть ему в глаза. Странное желание. Но его постарались выполнить. К сожалению, выяснилось, что писатель отсутствует в Москве—находится в командировке на Дальнем Востоке, собирает материал для новой книги. И в самом деле, часа через два после неожиданной просьбы маршала Тито первый попутный поезд уносил Мишиного отца на восток.

Новой книги не получилось. Мишин отец начал пить. Сумрачно, безысходно. Прошлое, словно тяжкий камень, висело на нём. Прошлое мешало ему, как мешали бы путнику пудовые гири на ногах. Он пропивал всё, что удавалось ему заработать случайным образом. Он продал массу вещей, приобретённых ранее, в годы успеха. Если бы не пенсия, семье пришлось бы голодать.

Когда Мишин отец умер, мать не плакала. Она устала от той жизни, которая была у неё. Она сидела с потухшим взором и будто отдыхала. Михаил не осуждал её. Он, тогда ещё школьник, понял, что испытывала мать.

Строгановское Михаил так и не закончил. Довольно быстро он убедился, что художник из него вышел самый обыкновенный. Его не устраивало быть заурядностью. Зачем тогда учиться? Как потом зарабатывать на хлеб? Малевать афиши при кинотеатре или Доме культуры? Когда он представлял себе такую жизнь, ему становилось тошно. Мерзкая комната, заваленная старыми афишами, банками с краской. Ему приходилось бывать в такой.

Он бросил училище, на этот раз окончательно. И стал фотографом на «Мосфильме». Ездил по местам предстоящих съёмок, делал фотографии, в которые потом пристально вглядывались очередные режиссёр и оператор, словно желая увидеть там будущие призы или некое откровение. Работа Михаилу нравилась: колесишь по стране, смотришь себе на города, на природу, прикидываешь, снимаешь. Но потом родилась Даша. И он бросил «Мосфильм», безнадежно застрял в столице, устроившись в обычную фотомастерскую.

Дашу он любил невероятно. Всё нежное, таившееся в его душе, ждавшее долгие годы выхода,

воплотилось в этой любви. Он нянчился с ней, гулял в ближайшем скверике, помогал купать. Он тратил уйму времени на домашние дела, чего никогда не делал—это казалось ему невыносимо скучным.

К Гале Михаил стал относиться нежнее. Но это шло от разума, а не от сердца. Его любовь к Даше не перешла на ту, кто родила ему дочь. Слово существовала некая непреодолимая преграда.

Было у Михаила увлечение. Он пробовал писать. То, что осталось нереализовано в отце, похоже, искало выход в нём. Он сочинял странные повести и рассказы, в которых действовали потусторонние силы, бесы, происходила всяческая чертовщина. Он знал: это никогда не напечатают. Он работал для удовольствия. Для себя. Потом он стал показывать свои творения друзьям. И слышал восторженные оценки. Ему нравилось, что его хвалили. И возникло желание, которое живёт в каждом, садящемся за письменный стол, пытающемся конструировать реальность, используя только слово, лёгшее на бумагу,—желание печататься, быть читаемым, а значит, востребованным, удачливым, признанным. Михаил начал писать такие вещи, которые точно могли напечатать: по советски правильные, гладенькие, без заумностей. Он ринулся в редакции.

Один из новых его рассказов был одобрен. И не где-нибудь, а в очень солидном журнале. Михаил испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение: получилось, сработало. Потом началось томительное ожидание выхода номера, в котором суждено было появиться его творению. Издательское дело прокручивалось медленно. Восемь долгих месяцев разделяло первый звёздный день от второго. Когда он открыл свеженький журнал и увидел там свой рассказ, его охватил странный восторг. Слово что-то сдвинулось в небесных сферах, словно райская музыка полилась с небес. Он желал, чтобы это повторялось вновь и вновь.

То была непривычная для него пора везения. Пошёл ещё один рассказ. Михаила приняли в самую престижную литературную студию. Он ходил на занятия скорее как мэтр, чем как ученик. Он чувствовал своё превосходство, но не давил им. — Жизнь сложна и удивительна,—любил повторять он в разговорах со студийцами, делая при этом значительное и загадочное лицо.

Второй рассказ был опубликован. Настал черёд повести. А там уже стоило подумать об издании первой книги, о вступлении в Союз писателей. Всё это было осуществимо, реально.

Потом, как-то исподволь, боком, пришло ощущение странного неуюта. Он всё более сознавал призрачность своих достижений. И настал день, когда он прочитал опубликованные рассказы будто заново. И увидел: всё лживо, мертво, скучно. Он вдруг обозлился. На себя, на страну, в которой

выпало жить, на весь мир. И ощутил зудящее, безысходное чувство. И понял: нечто подобное испытывал отец, уходя в запой.

Он тоже запил. Мрачно, безутешно. Его выгнали из фотомастерской. Галя молчала, только смотрела на него с мучительным укором. Так, как мать давным-давно смотрела на его отца. — Жизнь сложна. И порой удивительна,—бормотал он, ёжась под её взглядом.

Будто эти слова могли что-то объяснить.

Галя прятала от него деньги—те, что зарабатывала сама. Он находил, крал трёшки, пятёрки. Злился на неё и переживал, чувствуя свою вину. Как-то он оставил семью без денег. Они голодали. Галя упрямо не желала залезать в долги. Даша просила поесть, и от её слов Михаила охватывала пронзительная тоска.

Он вновь пошёл фотомастером: скука смертная, а что делать? Жить-то надо. Вечерами, если не пьянствовал с друзьями, он писал повести, рассказы. С удовольствием, азартно. Он вернулся к потусторонним силам, к бесам. К той своей части, которую едва не потерял. Раз в неделю он ходил на занятия студии, скорее из желания общения с подобными себе, чем из стремления чему-то учиться. Михаил не сомневался: то, что он пишет, гениально.

Он ругал власть, пугая многих, имевших с ним дело. Ворчал в адрес одряхлевшего Брежнева, потом—грозного и быстро ушедшего Андропова, потом—беспомощного Черненко. Он делал это с особой язвительностью. Были и такие, кто видел в нём провокатора. А ему было наплевать. И проносило. Наверно, органы не слишком интересовались жалким фотографом, по совместительству неудачливым писателем.

Он по-прежнему обожал дочь, особая нежность наполняла его, когда он видел Дашу. И столь же равнодушен был к жене. Могло показаться, будто и Галя давно смирилась с тем, что муж не любит её. Это было не так. Её чувство к нему ничуть не ослабло. И она всё так же переживала холодность мужа. Только научилась это скрывать. Лишь глаза выдавали неизбывную тоску по невозможному, нежность, проглядывавшую сквозь невероятную усталость.

Потом появилась Настя. Михаил познакомился с ней в литературной студии. Она была с длинными волосами, плавная, задумчивая, удивляющаяся всему на свете. Наивное удивление звенело в её немелких рассказах. Михаил казался ей необычным, непостижимым, ярким. Он звал её Настей-разлучницей. Он её не любил, но ему было с ней хорошо. Несколько раз Михаил и Настя уезжали на дачу на выходные, Михаил говорил жене, что хочет поработать в одиночестве, реализовать творческий запал, и всё заканчивалось хорошо. Но однажды Галя поймала их—то ли что-то заподозрила, то ли

случайно, Михаил не знал. Она кричала громко, истошно, пока Настя, собравшись с духом, не сказала:

— Он вас не любит.

И Галя замолкла, закрыла руками лицо. Она сидела на стареньком диване и плакала. Михаилу стало жалко её.

— Перестань,— успокаивал он.— Всякое бывает. Перестань. Я тебя прошу.

А она всё плакала и плакала. Михаил сделал Насте знак, чтобы уходила, присел рядом, обнял жену. Она не воспротивилась его вынужденной ласке.

После этого раза Михаил не расстался с Настей, но стал осторожнее. Так продолжалось ещё до следующего лета, пока Настя не взбунтовалась. Она взволнованно говорила про потерянные годы, про то, что не в силах больше ждать, требовала, чтобы Михаил немедленно развёлся и женился на ней. Михаил слушал её с ленивым удивлением, он не предполагал такого натиска с её стороны, такой страстности речей. Ему было любопытно и скучно. Когда он сказал: «Нет»,—она плакала, но не так, как Галя. Настю ему было не жалко.

Все эти события происходили в стороне от матери. Нина Павловна жила своей, замкнутой жизнью. Она давно поняла, сколь далеки от идеальных отношения в семье сына, и старалась не вмешиваться в них. В меру своих сил она помогала по хозяйству, общаясь при этом с сыном и снохой в рамках необходимости: что приготовить? будет ли Михаил макароны? достаточно соли в супе? Единственным человеком, с которым она позволяла себе посторонние разговоры, была внучка. Её рассказы о школьных проблемах, о маленьких драмах возвращали Нине Павловне интерес к жизни, без которого она давно бы угасла.

— Серёжка опять дёргал за косички на перемене,— жаловалась Даша.

— Это он хочет обратить на себя внимание,— поясняла Нина Павловна.— А по-другому не умеет. Мальчишки—они такие.

Даша удерживала этих троих людей вместе: Михаила, Галю, Нину Павловну. Без неё семейство распалось бы.

Как-то Даша всерьёз разболелась. Это было время, когда Михаил, Галя, Нина Павловна каждый день разговаривали друг с другом: какая температура? самочувствие? принимала лекарства? как поела? что? Они жадно выслушивали мельчайшие подробности. Но едва исчезла совместная забота, сплывавшая их, вновь началась замкнутая жизнь, когда каждый сам по себе, когда вроде бы всё ясно—и непонятно.

Всё-таки Галя не могла смириться с тем, что муж не любит её. Сердце её не выдержало постоянной нагрузки. Как-то ей стало плохо. Давило в груди. Но она не пошла к врачу. А потом села отдохнуть. И умерла. Тихо. Как и жила. Оказалось—инфаркт.

Михаил у гроба заплакал. Он вдруг осознал, как много значила для него женщина, жившая рядом с ним, сносившая его причуды, странности. Родившая ему дочь. Дашу.

Два месяца был как пришибленный. Чувство вины перед Галей преследовало его. Ощущал пустоту там, где, казалось, пустоты не должно было быть. Он не предполагал, что Галя так много значила в его жизни. Осознание того, что ничего уже не поправить, рождало неизбывную, тягучую безысходность. словно кто-то не переставая водил гвоздём по стеклу, производя режущий, непереносимый звук.

Постепенно боль ушла. Жизнь взяла своё. Но некоторая сумрачность оставалась. И когда он повторял своё любимое: «Жизнь сложна и удивительна»,—это звучало теперь скорее печально, чем жизнеутверждающе.

К перестройке, нежданно-негаданно свалившейся на огромную, вконец запущенную страну, милостиво дарованной ей, Михаил отнёсся без особого интереса. Горбачёва он считал болтуном, а Советский Союз—безнадёжной страной. Нещадно ругал антиалкогольную кампанию, хотя сам выпивал редко, разве что с приятелями, для компании.

Свободное время он тратил на творчество. Много писал и даже стал братья за кисть, рисуя пейзажи, натюрморты. Продолжал ходить в литературную студию. Ему нравилось общение с людьми, похожими на него, безудержные споры, столкновение мнений, не оборачивающееся ненавистью. В тёплое время дача в Переделкино по-прежнему становилась желанным местом для студийцев, их летней резиденцией. В хорошую погоду располагались во дворе, под старыми яблонями, в плохую—на веранде. Слушали творения сотоварищей, пили вино, спорили, шутили, шумели.

Почувствовав, что времена переменялись, Михаил собрал свои странные повести, рассказы и понёс их в одно процветающее издательство. К нему отнеслись крайне внимательно, просили прийти недельки через три. Он ждал указанный срок со сладостным замиранием. Ему чудилась книга, его первая книга, выстраданная, долгожданная, прекрасная. Ровно через три недели он явился в издательство. Его провели в отдел маркетинга, и молоденькая красивая женщина в строгом костюме принялась объяснять ему, по какой причине Михаилу отказывают.

— Это интересно,—говорила она ровным холёным голосом.—Однако ваше имя неизвестно широкой публике. Мои сотрудники считают, что будут проблемы с реализацией. Вот если бы вы писали детективы или фантастику.

— Но у меня же фантастика,—тихо возразил он.— Поймите, у вас не та фантастика. Нет динамики...—у неё впервые появились затруднения со

словами.— Должно всё время что-то случаться. Понимаете? Читателя надо волочить по тексту.

— А думать ему не надо?— грустно спросил Михаил, уже понимая, что шансов у него никаких.

— Интеллектуалов не так много, поймите. Такие книги не пользуются массовым спросом,— и, немного смутившись, добавила:— Мы должны думать о реализации продукции. Без этого никак. Но знаете, если годика через три вы ещё раз к нам придёте— думаю, мы возьмём вашу книгу. Если наше финансовое положение упрочится.

Тихо улыбнувшись, он проговорил, то ли извиняя, то ли извиняясь:

— Жизнь сложна. И порой удивительна.

Он решил не ходить по редакциям. Что попусту тратить время? Проще было заработать денег и самому выпустить книгу. А потом торговать ею в каком-нибудь людном месте. Он видел несколько раз, как это делается: человек расхваливает своё творение, а люди равнодушно идут мимо. И всё-таки это вариант. Более-менее реальный.

Деньги нужны были не только на книгу— прежде всего на жизнь. Он стал подрабатывать уличным фотографом. С Красной площади его быстро выжили, ясно дав понять, что это место не для него, и в конце концов он осел в Парке культуры, который прежде был имени Горького. Снимал отдыхающих на фоне аллей, фонтана, около аттракционов, останавливал приятные мгновения жизни чужих людей. Деньги получал неплохие. И хотя ему приходилось делиться с бойкими смуглыми ребятами, не терпящими возражений, на жизнь хватало. Он даже купил себе машину, не новую, но на ходу.

С машиной была целая история. Михаил прилежно учился ездить, стараясь запомнить каждую мелочь. Инструктор хвалил его. И всё равно каждая самостоятельная поездка превращалась в пытку: он пугался прытких и нахальных водителей, заполонивших московские улицы, робел перед хмурыми гаишниками, норовившими содрать штраф за всякий пустяк. Потом привык, притёрся, начал чувствовать себя увереннее. И— попал в аварию. Побил задок чужой машины. Пришлось платить пострадавшему и за ремонт своей машины. Сумма вышла приличная. Михаил вновь начал ездить с опаской. Но без машины он уже не мыслил своего существования.

Чтобы не вкалывать по вечерам, проявляя плёнки, печатая фотографии, Михаил завёл напарника. С удовольствием отдавал ему половину дохода за свободные вечера. Парень был из той фотомастерской, где раньше работал Михаил. Уговаривать его пришлось долго: парень принадлежал к той подавляющей части населения, которая после семи десятков лет советской власти панически боялась ответственности за самого себя. С великими колебаниями он согласился; Михаил видел,

какой испуг торчит в нём. Помалу всё сладилось, опасения рассеялись. Их маленький коллектив заработал как добротные заграничные часы.

Со Светой Михаил познакомился в парке. Стоял прекрасный зимний денёк. Солнце было весёлое, щедрое. Она сразу привлекла его внимание: худенькая, с быстрыми глазами, вздёрнутым носиком, озорным лицом. Михаил предложил ей сфотографироваться. Она отказалась. Тогда он сказал, что снимет её бесплатно.

— Да?— удивилась она.— Если так, я согласна.

Он сделал несколько снимков, сначала на фоне зимней аллеи, потом— «чёртова колеса».

— Улыбнитесь,— говорил он.— Почему такое каменное лицо? Смотрите на меня. Прекрасно. А теперь чуть в сторону. И немножко обиженный вид. Чуть-чуть. Прекрасно.

— Когда будет готово?— осторожно поинтересовалась она.

— Завтра.

— Правда?

— Что же я, обманывать буду? Завтра.

Она не спешила уходить. Очень быстро выяснилось, что она циркачка. Наездница. Родом из Новосибирска. Колесит по России, бывает за границей, чаще в тех странах, которые называют ближним зарубежьем.

На следующий день Михаил отдал ей фотографии. Она долго рассматривала их, потом сказала, что ей нравится. Он был спокоен— работа профессионала.

Они вновь разговаривали. Она рассказала, что была замужем. Но разошлась с мужем. Слишком он увивался за другими. А в цирковых коллективах всё на виду, как в деревне. Потом Михаил отвёз её домой. Она жила у подруги, которая тоже работала в цирке. Света всегда останавливалась у неё, когда были гастроли в Москве.

Михаил простился с ней у подъезда. Смущённо поинтересовался, увидятся ли они ещё. Она глянула на него хитрыми глазами, произнесла загадочно:

— Может быть,— и скрылась за дверью.

Через день она появилась снова. И опять они разговаривали, пока ему не нужно было фотографировать. И опять он отвёз её домой.

Она проявляла к нему интерес. В этом нельзя было сомневаться. И его влекло к ней. Но он был умудрённый жизнью мужчина, перешедшийорокалетний рубеж. Она— молоденькая женщина. Старым он себя не чувствовал. Однако разница в возрасте была большая. В чём причина её интереса, он не знал.

Потом он ходил на представление. Михаил давно не был в цирке— пожалуй, с тех пор, как Даша пошла в школу. Подобные развлечения не интересовали его. Но тут он и не подумал отказываться. С благожелательностью смотрел номера,

ождая тот, в котором участвовала она. Когда с манежа сняли покрывало и появились лошади, Михаил ощутил волнение, быстрое, нетерпеливое. Словно ему предстояло показать публике своё умение. Их было восемь — пять мужчин и три женщины. Лёгкие, стройные, в коротких юбочках и ладных сапожках. Одна из них была Света. Он увидел, какие красивые у неё ноги. Мужчины лихо скакали, но Михаил не замечал этого. Он смотрел на неё. Он боялся разочароваться. Он боялся, что она сделает что-то не так или упадёт с лошади. И когда Света понеслась по манежу, он готов был зажмуриться, он хотел, чтобы всё быстрее кончилось. Но лошадь продолжала бежать, а Света встала на седло, покачиваясь в такт мерному бегу лошади. Потом сделала сальто. На ходу. Не промахнулась, не упала. Всё обошлось. Потом она легко соскочила с лошади. Михаил перевёл дух: обошлось. Подождав, когда Света сделает комплимент и покинет арену, Михаил поднялся, вышел из зала. Остальное было ему неинтересно.

На следующий день Света пригласила его в гости. Не туда, где жила с подругой. В цирк. Михаил заглянул в странный мир, прежде неведомый ему. Служебный вход; тренировочный ринг, на котором одновременно крутили сальто и жонглировали; клетки с медведями, с тиграми; лошади; люди с озабоченными лицами, спешащие по своим цирковым делам. В небольшой комнатке без окон было большое, в полстены, зеркало, стол, обшарпанный диван. Они пили вино — он, Света и две девушки из её номера. Потом девушки ушли. Света сидела рядом, красивая, обворожительная. Он обнял её. Он хотел многого. Всё, что она позволила, — поцеловать себя.

Эта женщина влекла его к себе невероятно. Он виделся с ней постоянно, это превратилось в потребность. Несколько раз она приходила к нему домой. Ему хотелось, чтобы она познакомилась с Дашей. И он был расстроен, узнав, что дочери она не понравилась.

Он давал ей почитать некоторые свои рассказы и понял: это ей не интересно. Лишь узнав, что он собирается выпустить книгу, она спросила:

— Денег за это много дадут?

— Нет. Сначала популярность надо заиметь, потом только деньги будут. А популярность — дело долгое. Особенно сейчас. Так что книга — для собственного удовольствия.

— А-а, — понимающе протянула она и больше к этой теме не возвращалась.

Михаил не был на неё в обиде. В конце концов, не критика он в ней искал. Он страстно желал жениться на Свете. И не знал, как ему быть. Сделать предложение? А вдруг она откажется? Вдруг она воспринимает его лишь как приятеля? Ведь он гораздо старше её.

Он посоветовался с Дашей. Та не раздумывая сказала:

— Не женись.

— Старый? — осторожно спросил он.

— Не выдумывай, ты не старый.

— Старый, — протянул он. — Ещё при Сталине родился. Сколько всего произошло с тех пор. Сколько было. Старый.

— Не выдумывай. Дело не в этом. Не надо тебе на ней жениться. Она плохая.

Михаил не поверил дочери. Как он мог поверить, если ему казалось, что вернулось дивное, напрочь забытое прошлое, что он вновь испытывает то ни с чем не сравнимое чувство, которое он испытывал к Ирине, сестре Гали?

Нину Павловну он не стал спрашивать. Он даже не подумал о таком. И она удивилась бы несказанно, если бы Михаил обратился к ней за советом. От Даши она знала, что происходит, но у неё и мысли не возникло говорить об этом с сыном. Некий барьер разделял их. Он был непреодолим.

Михаил решился. Он сделал предложение, панически опасаясь отказа.

— Понимаешь, жизнь сложна и удивительна, — одеревенелым голосом проговорил он. — В общем, я прошу тебя стать моей женой.

Она согласилась. Сразу и легко. Похоже, она была готова к этому.

Свадьбу они устроили в ресторане — так хотела Света. Михаил предлагал сделать всё дома, попростому, без помпезности, но уступил ей. Были все артисты из её номера, друзья Михаила по студии. Даша не хотела идти, но появилась ненадолго после настоятельных просьб отца.

Потом ещё раз для него началась семейная жизнь. Это были удивительные два месяца. Михаил превратился в счастливейшего человека. Он упреждал желания молодой жены и получал от этого несравненное удовольствие.

И тут замаячили гастроли в Испании. На всё лето. Узнав об этом, Михаил расстроился.

— Ну что ты? — укоряла его Света. — Какие-то три месяца. Они пролетят очень быстро. И я вернусь.

Она не могла понять, как это много — три месяца. Три! Не один, не два. Целое лето. Что он должен был делать? Запретить? Настоять на своём? Он чувствовал, что это невозможно. В их семье происходило то, чего хотела она. Так установилось само собой.

Она улетела. Он видел, как её самолёт пронёсся мимо, задрал нос и начал быстро, легко набирать высоту, а потом исчез в легкомысленном голубоватом небе.

Она улетела. И Михаил затосковал. Не ладилась работа. Не было настроения. Он с трудом заставлял себя ходить на работу — надо было зарабатывать деньги. Да и проще было что-то делать, чем не делать ничего.

Он считал дни до её возвращения. Как медленно тянулись они. Как лениво было время, не

желавшее нестись вперёд, время, за которым так часто невозможно угнаться.

Последние дни были самыми трудными, нетерпеливыми. Михаил знал это, но не мог совладать с собой.

Он поехал в Шереметьево-2 загодя. Сквозь решётку забора смотрел на отлетающие и прилетевшие самолёты, на привычную аэродромную суету.

Как только объявили о прибытии её самолета, Михаил бросился вниз, в зал прилёта. Он заглядывал за ограждение, надеясь увидеть Свету, и не видел её. Потом пассажиры начали выходить, таща за собой громоздкую поклажу. Но Свету он не видел.

Её не было среди прилетевших. Он недоумевал, начал волновался. Увидев девушек из её номера, бросился к ним. Немного смущаясь, они сказали, что Света осталась в том самом курортном городке, где они выступали. Зачем? Насколько они знают — подзаработать. Кажется, танцовщицей в ресторане.

Михаил вернулся домой растерянный. Он не понимал, что ему делать. Как поступить? Страшнее всего неопределённость, но что у него было, кроме неопределённости?

Он мучался, не зная, что с ней. Может быть, Света и в самом деле выступает в ресторане. Почему не передала весточку? Не позвонила?

Лучше всего было отправиться в Испанию. Увидеть Свету, услышать всё от неё самой. Он мог остаться там на время. Пока жена подрабатывает. Но поездка в Испанию казалась ему невозможной.

Через две недели пришло письмо в узеньком красивом конверте. От неё. Она писала, что получила хорошее предложение выступать танцовщицей в дорогом ресторане и приняла его: надо заработать на будущее, а потом жить в своё удовольствие — быть может, даже не в России. С деньгами везде можно бросить якорь. А дома в Испании дешевле, чем в Москве и её окрестностях. И климат хороший. Вполне можно неплохо существовать.

Михаил, прочтя письмо, почувствовал непонятную тревогу. Нечто смутное, чему пока не было названия. И это смутное не давало ему покоя. Он не желал думать об этом. И думал. Через неделю он решил ехать в Испанию.

Михаил никогда не бывал за границей. Он представления не имел, как попадают в другие страны, что для этого нужно. Друзья-литераторы были бедны, за границу не ездили, получить от них совет оказалось бесполезно. Кончилось тем, что он заглянул в одно туристическое агентство, на которое наткнулся по случайности. Там приняли его в высшей степени любезно, пытались растопить его недоверие, настороженность. Всё возможно — в любое место земного шара. И никаких забот. Всё берёт на себя агентство. Михаил сказал, что подумает. Были у него подозрения: вдруг надуют?

Время-то какое, кругом один обман, сплошное мошенничество. Как проверить? Кого спросить? Два дня он пребывал в сомнении, потом пришёл в агентство с деньгами — будь что будет.

Свету он не мог предупредить, что едет в Испанию, — она не прислала адреса. Лишь город и название ресторана: «Олимпия». «И хорошо, — подумал он. — Пусть будет сюрприз».

Даша была не в восторге от его затеи.

— Что же мне не съездить? — спрашивал он. — До таких лет дожил — и нигде не был. Испания — хорошая страна. Деньги на поездку есть. Что ещё надо? — Если бы ты на самом деле отдыхать ехал.

— А я разве не отдыхать?.. Зря ты её так не любишь.

Были сборы в дорогу, беготня про магазины. Была дорога в Шереметьево. Но лишь когда он занял место в самолёте, он почувствовал: путешествие состоится.

Мадрид обвалился на Михаила подобно допаду. Он сам удивлялся себе: что-то фантастическое, нереальное — другая страна, чистенькая, ухоженная, благополучная, другая природа, буйная, весёлая, другие люди. Другая жизнь. Он ходил как заворожённый. И снимал, снимал, испытывая странный азарт. Ему хотелось сохранить свой восторг, словно по полочкам разложив его на фотографиях.

На следующий день с помощью руководителя группы он сел в поезд, и потекли за окном непривычные пейзажи, яркие, наполненные щедрым, живительным солнцем. Тихое ликование наполнило Михаила. Он доброжелательно поглядывал на попутчиков, вслушивался в незнакомую речь, не столько пытаясь понять, о чём говорят, сколько наслаждаясь мелодикой чужого языка. К нему обращались, но скоро поняли, что он иностранец. Выяснили — из России. Приветливо улыбались.

Вечером он сошёл с поезда на старинном вокзале курортного городка. Пахло морем. Оно было где-то рядом, такое манящее к себе Средиземное море. Михаил непременно собирался сходить на море, искупаться в нём. Но всё это — позже. Главное — увидеть Свету.

— Hablar, donde restaurante «Olimpia»? — спрашивал он у прохожих, как научил его руководитель группы.

Ему пытались объяснить, бурно, с южным темпераментом. Он ничего не понимал. Он лишь схватывал первоначальное направление, а потом спрашивал снова. И снова.

Он ожидал увидеть шикарный ресторан в центре города, а это был вовсе не шикарный и вовсе не в центре. Удивлённый, он зашёл внутрь. Играла музыка, в полутьме виднелись столики, люди, сидящие за ними. На небольшой сцене, высвеченные прожекторами, танцевали три полуголые женщины. Эротический танец с весьма вызывающими позами. Михаил напрягся, глядя

на лица. Светы среди них не было. «Где она? Что делает в этом заведении?—лезли вопросы.—Что вообще здесь происходит?»

Михаил стоял в недоумении, пока перед ним не возник официант, худой, курчавый, в тёмной жилетке. Что он говорил, было непонятно,—Михаил в недоумении покачал головой. Тогда официант показал на большую дорожную сумку, которую Михаил держал в руке, и он сообразил, отдал её курчавому. Тот унёс сумку, а вернувшись через мгновение, указал Михаилу на ближайший столик, за которым никого не было.

Он занял место. Официант подал ему пухлую книжку с меню. Механически заглянув в неё и увидев слова на незнакомом языке, Михаил поднял глаза, стал смотреть на тех, кто сидел за соседними столиками. Все женщины были чем-то похожи друг на друга: молодые, в совсем коротких платьях, с очень смелыми декольте. И в лицах было что-то сходное, нарочито весёлое. Пугающая догадка поселилась в нём.

Тут перед ним возник официант, вновь зазвучала незнакомая речь.

— Нихт ферштейн,—неожиданно для себя по-немецки ответил Михаил, хотя на этом его познания в данном языке фактически заканчивались.

Официант моментально среагировал, подхватил меню, открыл те странички, на которых было написано по-немецки. Михаил понял: парень спрашивал про заказ.

— Meat,—проговорила она.—Understand? Meat.

Официант понимающе кивнул. Михаил пристально посмотрел на него, лихорадочно соображая, стоит или нет пустить пробный шар, и решился.

— And woman,—добавил он.

Лицо официанта выразило живейшее одобрение. И это расстроило Михаила.

В это мгновение он увидел Свету—она шла в обнимку с мужчиной, высоким, франтоватым. Михаил не удивился, он уже был готов к этому. Он спокойно смотрел, как они сели за накрытый столик, принялись выпивать. Она смеялась, что-то говорила ему. Когда она успела выучить язык? Что говорила тому, кто был рядом, кто слушал её не слишком-то внимательно?

Михаил поднялся, медленными шагами приблизился к ней. Она не сразу обратила внимание на него—слишком занимал её внимание сидевший рядом. Потом её взгляд зацепился за Михаила. Глаза стали удивлёнными, даже испуганными.

— Ты?!

— Я.

— Откуда?

— Приехал. Тебя увидеть.

Она отвела глаза, помолчала—и когда посмотрела на него снова, нечто ледяное светилось в её взгляде.

— Зря ты приехал,—проговорила она устало и равнодушно.

— Может быть,—согласился он.

— Мне с тобой не о чем говорить.

— Поехали домой.

— Никуда я не поеду.

— Зря.

Он повернулся и пошёл прочь, ничего не видя вокруг себя.

— Caballero!—раздалось позади, едва он вышел из «Олимпии».—Caballero!

Он машинально обернулся: у входа стоял официант, тот, курчавый, и держал в приподнятой руке его сумку. Незатейливая улыбка светилась на смуглом лице. Вернувшись, Михаил взял сумку, машинально сказав по-русски:

— Спасибо.

Он бесцельно бродил по городку, пока случайно не наткнулся на дешёвую гостиницу. Портье знал английское слово «room». Михаилу предложили небольшой чистенький номер, в котором он поселился на оставшиеся четыре дня. Единственное, что он делал до отъезда в Мадрид,—выходил на берег моря, подальше от людей, и часами смотрел вдаль. Словно ждал что-то, чему сам не знал названия.

Вернувшись в Мадрид, он просидел в отеле до самого отправления автобуса, который повёз их группу в аэропорт. Он сказался больным, чтобы его не беспокоили снадаемые впечатлениями соотечественники.

— Как Испания?—спросила Даша, когда он появился дома.

— Красивая страна,—тихо и как-то удивлённо произнёс он.—Я бы не отказался быть испанцем. Увы, мне суждено было родиться русским и жить в России.

— У тебя неприятности?

— У меня всё идеально.

— Не обманывай. Что случилось? Ты её не нашёл? Вы поссорились?

Лицо его отразило боль.

— Давай не будем об этом. Слышишь? Я тебя прошу.

Даша послушалась, оставила его в покое.

Он не пошёл на работу ни на следующий день, ни через день. Сидел в своей комнате. Перед ним лежала рукопись его книги—толстая стопка листов, которые пропустила через себя пишущая машинка. Для книги он отобрал самые лучшие, на его взгляд, повести и рассказы. Теперь он открывал наугад страницы, читал, с удивлением ощущая, что не понимает, хорошо это или плохо, нужно хоть кому-то или нет. Он закрывал рукопись, а через некоторое время открывал снова, и всё повторялось. Он походил на путника, потерявшего всякие ориентиры, заблудившегося вконец.

Вечером, в очередной раз открыв рукопись, Михаил наткнулся на свою любимую присказку: «Жизнь сложна и удивительна» — он подарил её одному из героев. Прочитав незатейливую мысль, Михаил усмехнулся, горько, чуть-чуть скривив губы, и прошептал:

— Полная чепуха. Жизнь примитивна. И удивляет лишь мерзостями, на которые способен человек.

И он впервые подумал о бессмысленности дальнейшего существования.

На следующий день Даша постучалась к нему. Он сидел за столом и смотрел в окно, за которым по-хозяйски устроилась осень, смахнувшая последние листья с деревьев, развесившая непогоду. — Папа, что с тобой? Я очень переживаю за тебя. Может, я могу чем-то помочь?

— Нет, — легко проговорил он. — Мы сами должны платить за свои ошибки.

— Что ты имеешь в виду?

— Я так... в общепhilософском смысле.

— Но что-то ведь случилось?

Он повернулся, ласково посмотрел на дочь, такую взрослую, красивую, сказал негромко:

— Лишь то, что должно было случиться. А всё потому, что я тебя не послушался. Ладно. Знаешь, что я подумал? Вся жизнь — это ненужные хлопоты. Ненужные. Впрочем, зачем тебе это? Ни к чему. Не обращай внимания.

— Всё из-за неё? — тихо спросила Даша.

— Я не хочу об этом говорить.

Он вновь повернулся к окну, а Даша немного постояла и вышла. Откуда ей было знать, что она видит отца живым в последний раз.

Он решил повеситься. Ему не хотелось больше жить. Он дождался, когда Нина Павловна и Даша ушли, взял в шкафу кусок бельевой верёвки. Стоя на табурете, не спеша привязал к трубе, сделал петлю, надел на шею. Спокойным взглядом посмотрел в окно. Ему не страшно было умирать.

ДиН стихи

Татьяна Яковлева

Былое и вещи



Двенадцать хрустальных бокалов
В шкафу, возле стенки зеркальной,
Сверкающий бликами ряд —
Двенадцать бокалов хрустальных
На полке красиво стоят.

Стоят горделиво, но праздно —
Никак их пора не пришла.
А думалось — будут на праздник
Венчать сервировку стола.

Прилежно протёрты от пыли,
Места занимают свои.
А некогда куплены были
С учётом прироста семьи.

Но времени жёсткая сила
Другое решенье дала:
На части семью разделила,
По разным краям развела.

Пустынно по праздникам в зале,
Печаль в полутёмных углах.
Вино не искрится в бокале,
Огонь не сверкает в глазах.

Старый диван

С высокой немодною спинкой,
С потёртой обивкой своей,
С любимой игрушкой в обнимку
Баюкавший малых детей.
Какие тут книги читали
Под шелест осенних дождей!
На нём обсуждали детали
Серьёзных и смелых идей.
Вели душевно беседы
В бессоннице долгих ночей.
Укрытые стареньким пледом,
В недуг дожидались врачей.
Свою выполнял он задачу:
Растил и лелеял семью, —
И скоро отбудет на дачу
В бессрочную ссылку свою.

Владимир Черенков

Вкус солёной горбуши

Вкус солёной горбуши помню ещё с тех пор, когда под стол пешком ходил. Бабушка ставила на стол в чашке круглую, горячую картошку, а в тарелке — тонко нарезанные оранжевые ломтики горбуши. Иногда горбуша попадалась круто солёная, поэтому предварительно её вымачивали в воде или в молоке. Об этом я вспомнил, будучи в командировке на курильском острове Итуруп.

На пятые сутки путешествия из Владивостока на Курилы белоснежный лайнер «Ольга Садовская» вошёл в бухту Ясная на острове Итуруп. На этот раз у съёмочной группы Красноярского телевидения было задание снять материал о трудовых буднях красноярских студентов, славно трудившихся на местном рыбозаводе.

Посёлок, видимый с моря, называется Китовый и своим видом производит далеко не радужное впечатление. Недалеко от берега лежит на боку полузатопленный, переломившийся пополам корабль с непонятным названием «Саломея». Старожилы, конечно, привыкли за двадцать лет к искалеченному судну и не замечают его, но на меня оно произвело тоскливое впечатление. Вблизи «Саломея» — это гора рыжего от ржавчины металла, загаженного чайками. Кроме этого остова, бывшего корабля, торчат из воды бухты ещё несколько затонувших судов, и если здесь оставить ещё пару затопленных судёнышек, то в бухту не войдёт даже катер. С «Ольги Садовской» пассажиров на плашкоуте перевезли к полуразрушенному причалу — и мы наконец на острове. Сознание того, что это Курилы, что это самый большой остров Курильской гряды, несколько утешало, невзирая на всю неприглядность фасада города Курильска. Кстати, надо отдать должное полёту фантазии того, кто придумывал названия курильским городам: итак, на острове Кунашир — город Южно-Курильск, на острове Шикотан — город Средне-Курильск, на острове Итуруп — город Курильск, на острове Парамушир — город Северо-Курильск. Вот так, остаётся только запомнить, какой Курильск на каком острове находится.

Посёлок Китовый, где нам предстоит временно жить, выглядит удручающе. Наверх, в посёлок, ведёт довольно длинная деревянная лестница со стёртыми, местами поломанными ступенями. В одном месте лестницу пересекает тихий, но

крепко вонючий ручеёк — видимо, «дитя» канализации. И вот эта деревянная тропа выводит нас к деревянным баракам, за которыми начинается посёлок. В одном из этих бараков жили наши земляки, студенты из Красноярска. Миша Подшибякин ушёл выяснять, где и как мы будем прозябать, а я тем временем сидел на скамейке и рассматривал окружающий меня мир. Вокруг во множестве валялись полусъеденные или испорченные рыбы тушки, бутылки, банки, рваные полиэтиленовые пакеты и — как драгоценное украшение помойки — красная икра, протухшая от неумелого хранения. Улица завалена строительным мусором. Жилой барак от столовой отделяют каких-нибудь сто метров, но пройти это расстояние стоит немало труда и определённой сноровки: рискуешь застрять в густой грязи. Пошёл Лёша Хлыбов, попутно приехавший с нами из Красноярска по своим делам, следом за ним подошли трое студентов. Узнав, что мы из Красноярска, они стали рассказывать нам о местных достопримечательностях. Время катилось к обеду, а солнца пока ещё не было видно. Над посёлком будто неба нет, а висит какая-то мокрая серятина. Студенты горячо убеждали нас в том, что буквально напротив нас находится гора-вулкан, называется Богдан Хмельницкий, и в солнечный день Богдана хорошо видно.

Вернулся Подшибякин с женщиной-комендантом, она-то нам и указала место нашего проживания. С комнатой нам повезло. Большая комната, как раз все и поместились. Грязное постельное бельё и спецодежду, хранившуюся здесь, переместили в угол, выгребли мусор, затащили койки, а матрасов и подушек было хоть отбавляй. Мне досталась койка с панцирной сеткой; когда я ложился, то сетка провисала до пола, как гамак; пришлось подложить ещё один матрас; всё равно спал в скрюченной позе. По утрам просыпаемся оттого, что барак дрожит, — это студенты собираются на работу. Не хочется вставать и идти в умывальник, где на полу грязная жижа, а в раковинах опять тухлая красная икра: живут же люди!

Раннее утро. Моросит дождь, море штормит. Прыгая по волнам и обдавая нас солёными брызгами, маленький мотобот доставил нашу съёмочную группу к борту плавзавода «Маршал Мерецков».

Мотобот зацепили тросами и подняли на палубу, на высоту примерно четырёхэтажного дома. В течение полусуток мы снимаем, как три десятка наших земляков-студентов среди сотен других рабочих здесь, на плавзаводе, делают горбушу солёной.

Последний день командировки. Сегодня туман отнесло в море, мелкие волны с белыми «барашками» бодаются с берегом. Взгляду открылась бухта со спящими сейнерами и катерами, с пунктирами кухтылей, поддерживающих рыболовные сети, и большими, неподвижно стоящими плавзаводами. Вокруг острова таких плавзаводов около тридцати, со всего Союза, из них только в бухте порядка десяти-двенадцати.

Подшибякин уезжает в Красноярск. У меня остаётся денег только на билет. В голову вдруг приходит шальная мысль: а не задержаться ли мне на острове? Хлыбов, сам желая остаться в Курильске, укрепил меня в этом стремлении. Вчера уехали студенты. Накануне вечером в общаге наблюдалось оживление, переросшее к ночи в бурное проявление различных чувств. Прощально звенели, но, увы, не бокалы, а разбитые стёкла окон. Тяжёлый топот по коридору не стихал до утра: наверное, студенты играли в догонялки. Возле нашей входной двери два юноши громко, украшая свою речь ненормативной лексикой, выясняли у барышни, почему некто «он» остался у неё на ночь. Барышня плаксиво оправдывалась. В соседней комнате кого-то били об стену, и вполне возможно — головой. В коридоре — хохот и грохот чего-то падающего. Трудно заснуть, когда стена рядом словно судорожно дышит, а пол испуганно дрожит. На втором этаже заспорили мальчишки, где лучше запустить ракету — в коридоре первого этажа или второго. На улице пинают мяч... Глухой удар, тонкий звон разбитого стекла, хохот, мат.

Меня и Хлыбова попросили из общаги. И пошли мы с ним в город Курильск. Желая всё-таки доехать до города, мы ждали автобус нестерпимо долго и напрасно. Жители Курильска чаще видят неопознанные летающие объекты, чем маршрутный автобус, в этом я стал убеждаться с первого дня пребывания в славном городе Курильске. Мы шли пешком по берегу моря, благо, что не так далеко, всего-то пять-шесть километров. Солнце уже коснулось моря и проложило через бухту багрово-красную дорогу. Над бухтой собрались чёрные тучи, снизу раскалённые докрасна заходящим солнцем, и плавбазы уже мерцают бортовыми огнями. Я обернулся в сторону посёлка Китовый и остановился, заворожённый дивной картиной, открытой испарившимся туманом. Над всем пространством внушительно возвышался вулкан Богдан Хмельницкий, освещённый последними лучами солнца, удерживающий над собой кучерявую шапку белого облака. Влево уходили островские, синие за дымкой сопки, к дороге

подступали зелёные заросли молодого бамбука, внизу шумно накатывали на берег волны Охотского моря. Так, глаза на всё вокруг, незаметно дошли до Курильска.

Город Курильск разделяется речкой Курилкой, через неё перекинут деревянный мост. На мосту можно остановиться и посмотреть в воду, кишашую рыбой. Косяки горбуши движутся вверх по течению, а над водой торчат чёрные её плавники. Мёртвая рыба валяется по берегам и устилает дно реки. В устье реки с несомккаемым и пронзительным писком мелькает туча чаек, выклёвывающих у рыб только глаза, — гурманы. По берегам бродят рыбаки и вылавливают рыбу сачками, здесь же, на берегу, приобретая лицензии на отлов горбуши: одна рыбина — один рубль. Выловив рыбу, рыбаки берут только икру. Потрошат её, тушки бросают на берегу, в лучшем случае закапывают в песок. Особенно много рыбы в устье реки. Плотным косяком горбуша устремляется в пресную воду Курилки, чтобы, пойдя в верховья, отметать икру и погибнуть. Бывают моменты, когда рыба «залегает» — она набивается в речке от поверхности воды до самого дна, продвижение останавливается, а нижние слои рыбы гибнут. У курильчан появляется возможность брать рыбу без лицензии и в любом количестве, о чём их уведомляет местное радио. Недалеко от устья речку перегораживают сетью, рыбу буквально черпают и загружают в подъезжающий один за другим транспорт. Гружённые рыбой машины тяжело поднимаются по Курильской улице. Живая рыба подпрыгивает в кузове и вываливается, пыльная дорога усеяна рыбинами разной давности и янтарной икрой из раздавленных тушек.

В рыбацком городе Курильске добрые люди подсказали нам с Хлыбовым, где можно найти работу. Но Алексей сначала решил зайти в местный отдел здравоохранения и попросить разрешения принимать и лечить при поликлинике людей, страдающих радикулитом и остеохондрозом. Алексей считал, что обратиться к медикам с таким предложением у него есть право, потому как он закончил курсы массажиста по системе шиацу и получил диплом, позволяющий практиковать. В другое время я тоже отнёсся бы к его диплому и способности лечить с недоверием, но мне довелось быть свидетелем, когда его благодарил исцелённый им человек.

Во время пути на океанском лайнере из Владивостока до острова Итуруп мы познакомились с молодым мужчиной — Сергеем, офицером пограничных войск. Однажды этот физически крепкий и цветущий парень пожаловался: «Ребята, всё прекрасно, но вот замучил меня радикулит». Хлыбов без промедления предложил ему сеанс лечения, и к концу нашего рейса Сергей заметно повеселел и был очень благодарен Алексею.

Работники здравоохранения категорически отказали Алексею Хлыбову в желании быть полезным больным курильчанам. Мне порекомендовали испытать себя на засолке горбуши.

Кооперативное предприятие по засолке рыбы—это здание типа «сарай», расположено на самом берегу Курилки, при впадении её в море. Процедура трудоустройства упрощена до предела. Приходишь и говоришь: «Я хочу работать». Тебе отвечают: «Работай, выходи сегодня в двадцать четыре ноль-ноль». И показывают тебе твоё рабочее место, в двух-трёх словах объясняя, что нужно делать.

Несколько сложнее получилось с жильём. В местной гостинице «Итуруп» свободных мест не было; правда, нам пообещали, как только освободится номер, поселить. Временно нас приютили ребята из нашей бригады, они жили в помещении ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), у них даже были кровати—правда, без матрасов и постельного белья. Работать мы должны были по двенадцать часов, за что главный кооператор Анатолий Барышка обещал платить семьдесят пять рублей за смену. Продолжительность смены зависела от разных причин: например, сломался мотор—смена короче, завезли много рыбы—смена длиннее. Несколько раз мне доставалось работать чанщиком—выбрасывать солёную рыбу из чана. Чан—это бетонная яма глубиной более трёх метров, в неё рядами укладывают рыбу, пересыпают солью и выдерживают двадцать дней, потом солёную горбушу извлекают из чана. Процесс таков. Сначала привозят рыбу, тонны три-четыре, выгружают в специальную телегу, откуда она поступает на разделочные столы, где её шкерят (потрошат) ножами. Все внутренности, кроме икры, идут в отбросы. Затем тушки поступают на мойку. У мойщика в руках шланг с прикреплённой к нему столовой ложкой. Из шланга бьёт струя воды, ложкой выскребают внутренности, а водой промывают брюшную полость. Вымытую горбушу бросают на засолочные столы, где ей солью засыпают внутреннюю сторону и жабры, при этом укладывая её аккуратными рядками на лоток. Лоточник несёт рыбу к чану и ловким движением сбрасывает на дно так, чтобы горбуша ложилась ровненько, ряд к ряду. Чанщик в это время, орудуя совковой лопатой, пересыпает ряды солью.

После первой же смены я заметил, что вся автоматизация здесь ручная. Начинать выбирать просолившуюся рыбу из чана несложно, но вот по мере углубления соль влажнеет, и выбрасывать теперь уже не товарного вида, словно пожёванную, горбушу приходится, задирая голову. Сверху в лицо сыплется соль, под ногами чавкает солёная жижа. Штаны уже намокли по самые плечи (спецодежда такая), к концу смены сам по степени

солёности от горбуши не отличаешься. Оставляя чан с рыбой следующей смене не принято, поэтому вместо двенадцати часов приходится работать все пятнадцать-шестнадцать часов. Через неделю вроде бы привыкли к работе и, чтобы зарабатывать побольше, стали оставаться на вторую смену—точнее, на полторы смены, с восьми утра до двух часов ночи. Отработав пятнадцать часов, тащились в досаафовскую комнату спать. Не раздеваясь, я падаю на голую сетку кровати, под голову кладу рюкзак, укрываюсь курткой, засыпаю сразу и крепко, но просыпаюсь, когда окончательно стынет спина, подкладываю куртку под себя... И так весь остаток ночи.

Дней через десять мы переселились в гостиницу. Гостиница «Итуруп» похожа на все советские гостиницы, прежде всего—отсутствием свободных мест, но, тем не менее, наше терпение было вознаграждено, нам выделили номер, хоть и не люкс, но достаточно приличный. Кроме столика, здесь даже стояли две кровати, и выдали постельное белье—правда, на третьи сутки. Приятно было, что в комплекте белья была наволочка, на ночь я надевал её на подушку, а утром пользовался ею как полотенцем. Жить стало лучше, жить стало веселее. Вот только как ни пытались купить в магазине продуктов—никак не удавалось: всё по талонам да по спискам. Зато в кооперативе нас кормили один раз в сутки: на первое—суп с рыбой, на второе—котлета из рыбы; хорошо, что чай был обычный.

В свой номер я притащил десятка полтора солёных рыбин и развесил их в шкафах. Эту горбушу мы ели в гостинице и запивали водичкой; слава Богу, хлеба иногда удавалось купить. Был у нас кипятильник, но не было заварки и сахара. На морских судах есть плоты спасательные надувные (ПСН), в случае крушения члены команды и пассажиры какое-то время могли на них держаться на воде. В комплект такого плота входит сухой паёк на неделю, это галеты и какой-то мясной брикет. Таким пайком нас угостили моряки, зная, что мы скромно питаемся. Галеты мы ели с водой, а брикет в кипятке размочишь—и с хлебом... Немного неприятный вкус, зато сытно.

В одну из вечерних смен сломалась лебёдка, и несколько тонн рыбы нам пришлось перетаскивать вручную, в пятидесятилитровых флягах. В гостиницу я притащился в два часа ночи и снопом рухнул на койку. Утром меня разбудила ноющая боль в пояснице. Алексей был ещё в номере. Я встал и начал заправлять постель, острая боль прострелила спину. Я стоял полусогнутый, не в состоянии разогнуться. Алексей осторожно посадил меня на табуретку и стал мять поясницу, минут десять колдовал он надо мной.

—Теперь посиди спокойно минут пятнадцать,—попросил он.—Что чувствуешь в пояснице?

Я сидел, боясь пошевелиться, но почувствовал, что боль постепенно проходит.

— Теперь аккуратненько вставай, — руководил Хлыбов, — потихонечку согнись...

Я опасливо стал нагибаться — боли не было.

— Вытяни руки вперёд и попробуй присесть.

Я осторожно присел, другой раз присел, третий...

— Слушай, Лёха, нету боли. Ну ты колдун! Спасибо, дружище!

На засолке я уже несколько раз побывал в чане и теперь, чувствуя, что сам просолился, как горбуша, старался избежать этой ямы с тузлуком. К тому же в гостинице не было душевой комнаты, да и в умывальнике не всегда была вода. Перед сном стало обязательным занятием удаление соли из ушей и из волос. Однажды с изумлением обнаружил кристаллы соли на животе и в известном углублении на нём. Джинсы стали твёрдыми, как пожарный рукав, гибли только в коленях, зато приобрели модный синевато-белёсый цвет и при ходьбе гремели, как два дерущихся скелета на железной крыше. На ночь я ставил джинсы в уголок, за шкаф. Хорошо, когда остаётся вода в графине, на случай отсутствия воды в умывальнике этой водой можно протереть глаза утром. Осень укутала остров сырým туманом, не давая солнцу прогреть, просушить землю. Брюки и рубашки не просыхали ни днём, ни ночью. По утрам жутко не хочется влезать во влажную и холодную одежду. Воздух в нашем номере напоён рыбным «ароматом», а сама рыба, болтаясь в шкафах, сохнуть и не думала. Хлыбов всё-таки решил лечить население. Он узнавал, где живут страждущие, приходил, представлялся и предлагал свои услуги. Каждого больного он навещал по три-четыре раза в неделю. В конце курса лечения его пациенты радостно сообщали, что они могут легко присесть или поднимать стул на вытянутых руках. Благодарные люди снабжали своего исцелителя продуктами, деньги он не брал.

В начале октября установилась солнечная, но ветреная погода. Уж решил, что наелся солёной горбуши на всю оставшуюся жизнь и пора собираться домой, но меня удерживало одно важное обстоятельство. Укооператива не было денег, чтобы рассчитаться с нами, и никто не знал, когда они будут, но обещали со дня на день. Чтобы не болтаться зря, решил ещё поработать.

Воскресным ранним утром мы сладко спали, когда за нами приехали в гостиницу; было только шесть часов утра. Нас посадили в машину

и повезли на тихоокеанскую сторону острова, по пути объясняя, что неожиданно появилась срочная работа. С машины пересадили на катер (здесь такой катер называется танковоз, во время боевых действий 1945 года на Курилах на этих катерах перевозили танки) и повезли к едва видневшейся в море плавбазе. В океане штормило, и катер круто шкивало (качало). Волны, перелетая через весь катер, обильно поливали нас холодной океанской водой. Наконец катер подошёл к плавбазе и долго пытался пришвартоваться к борту, прыгая, как мячик, перед неподвижной громадиной плавучего рыбозавода. С плавбазы опустили на катер железную клетку, из неё вышел мужик и назвался руководителем погрузки. Заскрипела лебёдка, стали подавать нам бочки, килограммов эдак по семьдесят каждая, и всего их четыреста штук. Бочки ставили «на попа», на первую — вторую, на вторую — третью... Первый ряд ставить легко, вторую бочку на первую ставить уже сложнее, чтобы третью поставить, нужно брать на пупок. Часа через два пупок уже трещит. К вечеру закончили погрузку. Но катер не уходит от плавбазы. Руководитель погрузки сказал, что ожидается ещё партия груза. Перекуров нам не устраивали, обедом покормить забыли, и теперь я мечтал о том, как приеду в гостиницу и наемся горбуши с хлебом. Очередную партию бочек мурыжили до трёх часов ночи и наконец, отвалив от плавбазы, пошли к берегу. Уханькавшись на погрузке, ребята сразу уснули, а я дремал и думал о том, как поем и завалюсь спать.

На берегу нас встретил директор кооператива и стал просить, чтобы мы разгрузили бочки с танковоза. Уставшие и голодные, мы стали отказываться. Тогда директор принёс водки, консервов и хлеба. Выпив и перекусив, ребята смягчились и согласились. С танковоза бочки перегрузили на машину, с машины катали в холодильник. На улице температура плюсовая, в холодильнике минусовая, и так ещё несколько часов мотаешься с бочками — из тепла в холод и обратно. Кайф ловишь, когда не спеша тащишься за очередной бочкой.

Часов в восемь утра, когда наконец разгрузка закончилась, я присел на краю причала перевести дух. Ныла поясница, в ногах мелкая дрожь. Посмотрел на море, перед глазами красная пелена — или показалось... Над морем занимался красный рассвет. Неподвижно висели алые клочья тумана, а на волнах покачивались розовые чайки. Теперь я в полной мере познал вкус солёной горбуши.

Владимир Савич Табуретка мира

Когда я появился на свет, отец мой уже окончил юридический курс местного университета и работал инспектором в областном отделе ОБХСС. И по сегодняшний день я не знаю расшифровки этой аббревиатуры. Что-то связанное со спекуляцией и хищениями.

Не знаю, был ли отец рад моему появлению на свет, но доподлинно известно, что на мою выписку из роддома он не явился. Спустя три десятилетия я также не явился в роддом за своей дочкой (по всей видимости, это у нас наследственное), но это вовсе не значит, что я не был рад её рождению. Напротив, рад и люблю свою дочь! Храни её Господь!

Ну да оставим это! Рассказ ведь не о любви, он о музыке, точнее о гитаре; нет, о табурете; а может быть, о жизни?! Решать тебе, читатель, а мне время рассказывать.

Итак, отец. Ну что отец? Отец постоянно был занят на службе: ловил, сажал, расследовал. Проводил облавы, выставлял пикеты, устраивал засады, называя это оперативной работой (оперативкой). Этой самой оперативкой он был занят с утра до вечера, прихватывая иногда и ночи. Всё своё детство я думал, что отец у меня какой-то очень засекреченный разведчик, где-то между Рихардом Зорге и Николаем Кузнецовым!

Наши жизни пересекались крайне редко. Временами мне казалось, что я люблю своего отца, а иногда я его, страшно сказать, ненавижу. Наши отношения напоминали мартовские колебания термометра.

— Не грызи ногти. Не ковыряй в носу. Зафиксируй этот момент. Закрой рот. Я дам тебе слово, — командным громким голосом требовал отец.

Ртутный столбик падал за отметку ниже нуля. — Опять со шкурами валялся! — кричала мать, стряхивая с его пальто сухую траву и хвойные иголки.

— Что ты мелешь? Я всю ночь провёл в засаде! — тихим усталым голосом отвечал отец.

Слово «засада», грозное и опасное само по себе, да ещё произнесённое таким утомлённым голосом, становилось просто героическим.

Я живо представлял себе, как отец лежит в мокром овраге в ожидании шкуры. Шкура — небритый угрюмый дядька — бродит по ночному лесу, трещит валежником, грязно ругается и замышляет

что-то гадкое, подлое, низкое, но тут выходит мой отец и с криком: «Попалась, шкура!» — валит детину на землю, крутит ему руки и везёт в отдел.

В такие моменты ртутная стрелка резко шла вверх.

Высшую отметку моего отношения к отцу термометр показал, когда он попал в автомобильную катастрофу. Ходили слухи, что в день аварии отец был со шкурой, но я верил в засаду. Врач дал ему всего одну ночь жизни. Но отец выжил и вскоре уже снова требовал, чтобы я не грыз ногти и не ковырял нос. Отметки абсолютного нуля и сожалений по поводу врачебной ошибки оно достигло, когда я стал битником. Я даже помню фразу, сказанную отцом на мой жизненный выбор:

— Лучше бы ты стал бандитом!

— Почему? — удивился я.

— Потому что в хипаках нет ничего человеческого!

— Поясни!

— А что тут пояснять? В человеке всё должно быть прекрасным. А у хипаков что? Патлы, буги-вуги и эпилептические припадки.

— Почему эпилептические?! — воскликнул я.

— Потому что видел ваши танцы, — ответил отец.

— Пусть в них нет ничего прекрасного. Зато у них интересная и насыщенная жизнь! — патетически воскликнул я.

— Жить нужно, как Павка Корчагин, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы!

— Корчагин — анахронизм. Слушай Ричи Блэкмора!

— Пройдёт пара десятков лет, и твой Блекмордов станет для твоих детей таким же анахронизмом!

Отец оказался прав. Для моей дочери Павкой Корчагиным служит Nick Carter из «Backstreet Boys».

— Ты напоминаешь мне изи дей херд найт (easy day hard night — тяжёлый вечер лёгкого дня), — ответил я отцу, перефразировав на свой лад название битловской песни.

— Не выражайся! — воскликнул отец, принимая, очевидно, английское «hard» за русское нецензурное слово.

Как всякий интеллигент во втором поколении, отец презирал жаргонизмы и крутые словечки.

— Пока не поздно, возьми за голову. Иначе тебя посадят, — сказал отец в заключение.

Но я не послушал (в моём кругу слушать предков выглядело таким же анахронизмом, как и читать Н. Островского) и по-прежнему слушал «Deep purple» и всякую свободную минуту проводил с гитарой, пытаюсь сдирать импровизации с Р. Блэкмора.

— И на такой доске, — сказал ведущий городской гитарист Ободов, — ты хочешь взлабнуть Блэкмора?!

Я промолчал.

— Хочешь Блэкмора лабать — страатакастер должен мать! — и Обод вытащил из шкафа кремового цвета «Фендер страатакастер».

— Можно? — попросил я.

— Уно моменто, — ответил Обод и врубил гитару в усилки.

Пальцы у меня задрожали, лоб покрылся испариной. Чуть успокоившись, я выдал гитарный импровиз композиции «Highway star». Клянусь, мне показалось, что она прозвучала лучше оригинала. — Нехило! — присвистнул Обод.

— Сколько тянет такой агрегат? — поинтересовался я, обводя взглядом музыкальное хозяйство Ободова.

Сумма, названная им, равнялась цене последней модели «Жигулей».

Тогда я стал мастерить гитару самолично. Кое-что я выпрашивал, кое-что воровал, кое-что покупал, а кое-что выменивал. Кроме того, стал ходить на разгрузку вагонов на местный силикатный (клеевой) комбинат. Комбинат «сыриловка», как называли его в городе, представлял собой вороха гниющих костей, армады наглых крыс и мириады жирных шитиков...

Лучше всего у меня получалась гитара. Корпус я смастерил из цельного куска морёного дуба, выменянного на деревообрабатывающем комбинате за пузырь «Лучистого». Гриф — от списанной школьной гитары. Фирменные звукосниматели я выменял на фарфоровую статуэтку. Статуэтка с моей фамилией всплыла на допросе фарцовщика Алика Кузькина.

— Покажи дневник, — попросил как-то удивительно рано вернувшийся со службы отец.

— Зачем? — спросил я.

— Я хочу знать, что у тебя по физике.

— Нормально у меня по физике!

— Почему по физике? — удивилась мать.

— Потому что он мастерит свои гитары из раскромсанных телефонов-автоматов! («Вот змей, а говорил, что фирменные», — ругнул я Алика Кузькина.) Понятно?

— Негодяй! — закричала мать. — Как ты мог?!

Было не совсем понятно, чем возмущена мать: воровством домашней статуэтки или распотрошением общественных телефонных автоматов.

— Сию же минуту вынеси весь этот битлизм из дома, — приказал отец.

— Я имею законную жилплощадь и право на ответственность!

— Ну, тогда на основании ответственного квартиросъёмщика вынесу я, — заявил отец и тронулся к моему музхозяйству.

— Не тронь, или я тебя урою, — мрачно пообещал я.

— Ах ты Махно! Японский городской, ах ты власовец! Хобот кручёный! Советская власть с Гитлером справилась, а с тобой, битлаком, в два счёта разберусь! — кричал отец, топча ногой записи «дипперполцев».

В книжном шкафу задрожали стёкла, с полки упал и сломал себе голову пластилиновый Ричи Блэкмор.

— Что ты делаешь? — закричала мать. — Я, между прочим, деньги на эти кассеты давала.

— Делают в штаны, а я перевоспитаваю твоё воспитание! Вырастила Махно!

Разобравшись с записями, отец приступил к гитаре. Я выпятил грудь и засучил рукава.

— Ты что — на меня, советского офицера, руку вздумал поднимать? Да... да... да я... я тебя... Да я з-з-з-знаешь... Да я таких... их... их... су... у... уб... бчиков крутил!

— Надорвёшься! — сопел я под тяжестью отцовского тела.

— Посмотрим, посмотрим, — заваливал меня в кресло.

Послышался хруст ломающейся гитары.

Казалось, это хрустит не гитара, а весь мир, да что там мир — хрустела и ломалась Вселенная. — Я тебе этого никогда не прощу, — плачущим голосом пообещал я отцу и сгрёб под кровать гитарные ошмётки.

— Ничего-ничего, — хорохорился победивший отец, — ещё будешь благодарить!

— Пусть тебя начальство благодарит, а я ухожу из твоего дома. Квартиросъёмствуй без меня! — и, громко хлопнув дверь, я выбежал на двор.

Неделю я не ночевал дома. Дни проводил на берегу лесного озера, примыкающего к нашему микрорайону: здесь пахло молодой листвой и озёрной тиной. Ночь коротал на чердаке: под ногами хрустел шлак, по ноздрям шибало птичьим помётом. Я осунулся, почернел, пропах костром, тиной и голубиным дерьмом. На восьмой день на меня был объявлен розыск. На девятый, как отца Фёдора с горы, меня сняли с крыши и привели домой.

— На кого ты похож! — воскликнула мать.

— Je me ne suis pas vu pendant sept jours, — ответил я («Я не видел себя семь дней»).

— Ты шутишь, а я все эти дни не сомкнула глаз.

На деле всё выглядело несколько иначе. Все эти дни между родителями возникал приблизительно такой диалог.

Отец: «Как ты можешь спать, когда твой ребёнок неизвестно где?»

Мать: «Нечего лезть в воспитание с такими нервами. Походит и вернётся!»

Отец: «Что значит походит? Где походит? Это же твой ребёнок!»

Мать: «Хорошенькое дело. Может, я поломала его гитару?! Может, я истоптала его записи?!»

Отец: «Я поломал — я и почию!»

Мать: «Он починит! Не смешите меня, у тебя ж руки не с того места растут!»

Отец: «У кого руки?! У меня руки?! Я, между прочим, слесарь четвёртого разряда!»

Мать: «Какой ты слесарь?! Сколько ты им был? Ты же, кроме как орать, сажать да валяться в за-садах, ничего не умеешь!»

Отец: «Ты напоминаешь хер дей найт».

Мать: «Сам ты хер, а ещё член партии!»

Но вернёмся в день моего возвращения.

— Отец все эти дни места себе не находил! — сообщила мать.

— Где, в засаде? — съязвил я.

— Зачем ты так? — мать грустно покачала головой. — Отец переживал, что так получилось. И гитару твою, между прочим, чинил.

В квартире и правда стоял тяжёлый запах столярного клея, живо напомнивший мне заваленный костями двор силикатного комбината. К нему примешивался хвойный канифольный дух.

— Сын, я был неправ, — сказал мне вечером отец.

— А с этим мне что делать? — я указал на гитарные ошмётки.

— Я почию, слово коммуниста — почию! — твёрдо заявил отец. — Я уже, между прочим, столярный клей заварил и канифоли достал. Склеим! У нас руки не с того места, что ли, растут? Спаяем!

В доме закипела работа. Возвращаясь с работы, отец быстро ужинал и говорил:

— Пошли делать нашу гитару.

Месяц мы кропотливо выпиливали, выстругивали, долбили и паяли. Пропахли стружкой, канифолью и столярным клеем. В наш с отцом лексикон вошли слова «долото», «рашпиль», «колок», «порожек», «мензура» и «струнодержатель». Консультантом выступал скрипичных дел мастер Смычков! Отец пошёл даже на служебное преступление, изъяв из вещественных доказательств, хранившихся в его рабочем сейфе, звукосниматель от болгарской гитары «Орфей». От этого звук нашего изделия получился мягкий, плавный, гладкий, примиряющий звук, совсем не роковый, но, добавляя фуза и пропуская гитару сквозь ревербератор, я добивался нужного звучания. Остатки фанерного шпона, шедшего на гитарный корпус, мы пустили на кухонный табурет.

— Табурет мира! — объявил отец.

Единожды взошедший на скользкую тропу русского рока (самобытного, как, собственно, всё русское) рискует сломать на ней свои конечности. Но таков уж наш русский путь — скользкий и опасный. Возможно, на этой тропе у него пробился родительский ген. Всё может быть, потому что отец пошёл на новое преступление и затребовал, якобы для расследования, из обэхээсовских за-гашников все наличные записи «диппёрполцев». Таким образом был восстановлен и даже расширен мой музыкальный архив. Вскоре настала очередь изготовления усилителя и звуковой колонки, ну и, соответственно, нового служебного преступления. Отец притащил из ведомственных подвалов лампы, транзисторы и пятидесятиваттный динамик. Добром этим, как утверждал отец, был забит весь ведомственный склад!

Через год отец мог запросто отличить «Битлов» от «Роллингов», гитару Р. Блэкмора от гитары Д. Пейджа. Через два — ездил со мной в качестве оператора на многочисленные халтуры, а ещё через год явился на партийное собрание в джинсах и заявлял, что рок есть прогрессивное течение, и потребовал реформации социалистической законности!

После такого заявления отец был срочно переведён из органов во вневедомственную охрану. Будучи начальником охраны мясокомбината, отец по следовательской привычке разоблачил группу злостных расхитителей колбас и был вынужден выйти по выслуге лет на пенсию. Последние два года своей жизни он не работал, хранил у себя мой халтурный аппарат и, сидя на «табурете мира», с надеждой глядел в окно в ожидании моего возвращения.

Завидев машину, отец оживал. Оперативно доставлял аппарат, доставал квашенную по особому рецепту капусту, маринованные огурцы, полученную по пенсионному пайку работника мвд тонко струганную китайскую ветчину и хрустальные тонконогие рюмки.

— Не мешай, — ворчал он на протестующую мать.

— Но тебе нельзя! У тебя же два инфаркта.

— Отойди, ты напоминаешь мне хер дэй найт.

— Сам ты хер, хоть уже и не член партии.

На одной из халтур у меня украли «нашу» гитару. В последнее время старой гитарой я почти не пользовался, ибо имел уже приличную японскую «доску», но в тот злополучный день с «японкой» что-то случилось, пришлось взять с собой старую самопальную гитару. Вечером, грузя аппарат в машину, я нигде её не нашёл. Как я ни увещевал работников общепита, чего только ни обещал за возвращение инструмента, всё было тщетно: общепитовцы непонимающе пожимали плечами и виновато улыбались.

Тогда на ноги был поднят весь городской музыкальный рынок, но это ничего не принесло. «Наша» гитара исчезла бесследно. А вскоре умер

отец. Вышел зачем-то на кухню, а вернулся на моих руках, уже мёртвым.

На дворе как раз свирепствовали ветры экономических реформ. Было пусто не только в магазинах, но и в бюро похоронных услуг. В канареечного цвета доме, где расположилась скорбная организация, кроме директора и нескольких не совсем трезвых личностей, не было решительно ничего: ни кистей, ни венков, ни лент, ни даже гробов.

— Надо позвонить в органы,— посоветовал я матери.

— О чём ты говоришь!— воскликнула она.— Ведь его, по существу, уволили оттуда.

— Но заметь: с ветеранским пайком,— привёл я весомый аргумент.

— Ты думаешь, может что-то получиться?

— Уверен! Тех, кого вчера увольняли, сегодня числят героями!

Я оказался прав! Органы выделили на изготовление гроба доски, красный обшивочный материал и даже ярко-малиновые кисти. Вновь в мой лексикон вошли слова «долото», «ножовка», «рашпиль» и «стамеска»...

Всё, что осталось у меня от отца,—несколько его чёрно-белых снимков да обшитый шпоном табурет. Однажды встретившиеся на хитро сплетённых дорогах человеческих судеб, свидимся ли мы вновь? Глядя на «табуретку мира», уверен, что встретимся.

130 лет со дня рождения .: ДиН АНТОЛОГИЯ

Корней Чуковский

Головастики

Федотка

Бедный Федотка—сиротка.
Плачет несчастный Федотка:
Нет у него никого,
Кто пожалел бы его.
Только мама, да дядя, да тётка,
Только папа да дедушка с бабушкой.

Свинки

Как на пишущей машинке
Две хорошенькие свинки:
Туки-туки-туки-тук!
Туки-туки-туки-тук!

И постукивают,
И похрюкивают:
«Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!
Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!»

Доктор

Лягушонок под тиною
Заболел scarлатиною.
Прилетел к нему грач,
Говорит:
«Я врач!
Полезай ко мне в рот,
Всё сейчас же пройдёт!»
Ам! И съел.

Головастики

Помнишь, Мурочка, на даче
В нашей лужице горячей
Головастики плясали,
Головастики плескались,
Головастики ныряли,
Баловались, кувыркались.
А старая жаба,
Как баба,
Сидела на кочке,
Вязала чулочки
И басом сказала:
— Спать!
— Ах, бабушка, милая бабушка,
Позволь нам ещё поиграть.

Поросёнок

Полосатые котята
Ползают, пищат.
Любит, любит наша Тата
Маленьких котят.

Но всего милее Татеньке
Не котёнок полосатенький,
Не утёнок,
Не цыплёнок,
А курносый поросёнок.

Елена Басалаева

ДЕСЯТЫЙ ДОЖДЬ

Апрель

Вы знаете, про апрель есть много примет.

Например, синие облака—это к теплу и дождю. Если апрель мокрый—будет хорошая пашня. Если днём жарко, а ночью прохладно—это к сухой погоде. Если долго ожидаемый вами троллейбус только что прошёл, но не в вашу сторону—значит, очень скоро, конечно, придёт и в вашу.

Вот люди на остановке, например, отлично знали последнюю приметку. Им всем был нужен троллейбус № N и только он. И хотя троллейбус шёл из года в год по одному и тому же маршруту, каждый из тех, кто стоял на остановке, надеялся доехать на нём до своего, особенного места.

Немолодая женщина в клетчатом пальто критически заметила:

— Уже, наверное, пять минут, как наш туда ушёл...

Приподнявшись на цыпочки, кудрявая девушка осматривала горизонт.

— Во-он какой-то вижу,—медленно произнесла она, щуря глаза с густо накрашенными ресницами.

Двое из ожидавших доверчиво вытянули шеи. Все приготовились к штурму.

В сырой апрельский вечер по широкой, но пустынной улице городской окраины мчался с шумом троллейбус.

И вдруг решил притормозить.

— К нам приехал, к нам приехал наш троллейбус дорогой!—никого не стесняясь, воскликнул пенсионер лет шестидесяти пяти, в кепке.

Тотчас же вся толпа, шесть или семь человек (я вам точно не скажу), будто река, прорвалась в открытые двери.

— За проезд оплачиваем, в середину проходим,—усталым голосом сказала стоявшая у входа кондукторша.

Она была милая и совсем молодая. Если представить её одетой в длинное кремовое—вы знаете, именно кремовое—платье, убрать голубоватые тени под глазами, появившиеся от недосыпания, и вдобавок поставить не возле поручня, а под какое-нибудь раскидистое дерево, то она была бы очень похожа на одну из девушек с полотен импрессионистов.

Пенсионер в кепке расположился прямо напротив входа.

— Пенсионное ваше где?—спросила у него девушка и выразительно повернула руку вверх ладонью.—Я говорю, давайте пенсионное!

Дед неожиданно резко повернулся к ней и сказал, усмехнувшись:

— А кто сказал, что у меня пенсионное? Что уж, такой старый?

— Ты мне, дядя, шутки не шути,—понижив ещё голос, заметила девушка предостерегающе.—Ты плати или корочки давай. А то пешком—и до свидания.

Половина пассажиров с интересом наблюдала за этими двумя. Гадали: заплатит—не заплатит. Маленький мальчишка слез с коленей матери, чтобы лучше всё видеть. Женщина в клетчатом пальто, наоборот, притворялась, что ищет у себя в сумке ключи.

— И что ты сердитая такая?—притворно вздохнул весёлый дед.—Что, уж и пошутить нельзя? А может, ты мне понравилась?

— Чего-о?—изумилась кондукторша.

— А что?—дед обвёл хитрым взглядом салон троллейбуса.—Весна! Апрель.

Девушка ругалась, запутавшись в словах:

— Я тебе дам—весна! Шутит он! Козёл ты старый... Как сразу, у меня... У меня вообще муж есть!

Она крикнула водителю:

— Коля! Ты ж мой муж, правда?

— Ага,—громко и радостно ответил тот в громкоговоритель.

Пожилой мужчина покачал головой—казалось, что сокрушённо,—и достал из внутреннего кармана тёмно-красное удостоверение.

— Да вот оно, моё... На, не ругайся.

Девушка не стала открывать документ и даже не взяла его. Она села на кресло, над которым было написано «Место кондуктора не занимать», и скрестила руки на груди.

— Вы... забудьте уж, а?—робко сказала она деду.—С пяти утра на ногах! Между прочим... Замоталась. Вот и это... злюсь.

— Ты не злилась, девочка,—от души посоветовала женщина в клетчатом пальто.—А то камни в почках образуются. А как злиться будем—раньше и помрём.

Троллейбус, лязгнув дверьми, тем временем выпустил ещё одного пассажира. Дверь почему-то

не закрывалась, и мальчик заметил, что всё-таки на улице уже очень темно.

Кондукторша поглядела на пол, грязный от занесённых с ног пассажиров земли и песка.

— А что... Может, там и лучше. Молодым — квартира, на которую за всю жизнь не накопишь. А старым — покой.

— А зачем нам покой? — сказал на это дед. — Не надо нам покоя, — и, чуть приподнявшись с места, крикнул: — Ну, поехали, муж!

Бабушка

Бабушка умерла внезапно. Ещё вечером она перелистывала тяжёлые мелованные листы старого альбома с видами Ленинграда. Мыла после ужина посуду, досуха вытирая тарелки с кружками и отводя каждой особое место в шкафу. Долго потом слушала в одиночестве тихо ворковавшее радио на кухне. А перед самым сном, как обычно, пошла к окну и, глядя на заснеженный пустырь с торчащей редкой щетиной сухой полыни, что-то шептала — то ли молилась, то ли разговаривала сама с собой. Изредка при этом она оборачивалась назад, в комнату, накладывала на себя крест и улыбалась какой-то странной мечтательной улыбкой. — С ума бабка наша съехала, — всегда говорил Юрин отец, глядя на эти вечерние тёщины обряды у окна.

Под утро Юра проснулся оттого, что кто-то рядом кашлял и хрипел. Сначала он подумал, что это у соседей. Какое-то время держал глаза закрытыми, надеясь, что неприятный хрип закончится и можно будет поспать ещё немножко, пока не разбудят в школу. Но заснуть больше не получилось, сколько он ни сжимал веки. Открыв глаза, Юра увидел, что на коленях у бабушкиной кровати стоит мама и дёргает бабушку за плечо. Тогда Юра поднялся со своей тахты и включил в комнате свет, чтобы посмотреть — что там такое делается странное.

— Господи! Ты не спишь! — закричала мама. — Спи давай... Спи!

Юра обиделся и не понял: почему он должен спать? А в комнату тем временем вошёл и папа. На нём почему-то был надет мамин бордовый халат, и Юра хихикнул.

— Да что ж ты стоишь?! — надрывно крикнула мама. Юра растерянно повертел головой, пока не понял, что это она говорит не ему, а папе. — Скорую, скорую!!

И стала плакать, уронив растрёпанную голову на грудь бабушке.

Юра тоже осторожно подошёл к бабушке — и тут же отшатнулся от неё. Она вдруг перестала хрипеть и кашлять, но её лицо было как маска из белой резины, а глаза смотрели неподвижно в потолок. Рот у неё приоткрылся и как-то немного скосился на сторону. Из него пахло каким-то противным

лекарством. И ещё было видно золотой зуб, а рядом с ним двух зубов не было — одни дёсны.

— Попрощайся... с бабушкой-то... о-ох! — мама всхлипывала, пытаясь положить Юрину руку на тёплое ватное одеяло, из угла которого торчала жёсткая толстая леска.

Он вывернулся. Решился спросить:

— Мам, а что, она сейчас умрёт, да?

— Да...

— А как она умрёт, насовсем?

Мать развернулась, посмотрела на него рассерженно и с отчаянием крикнула:

— Глупый, глупый ты! Ничего не понимаешь...

И, уже повернувшись снова к бабушке, трясла её руку с коричневой кожей в пятнышках, вытирала на щеках слёзы.

— Мамочка! Мама! О-ох...

А Юре стало страшно, потому что куда-то делась его добрая бабушка и вместо неё лежит восковая мумия с невидящими глазами.

Когда приехала скорая, осталось только засвидетельствовать смерть от инсульта. Потом вызвали милицию — наряд составил протокол и быстро уехал, а врач и медсестра не спешили уходить, считая, что должны как-то поддержать близких покойной.

— Повезло вашей... родственнице, — заколебался молодой врач, не зная, была умершая матерью мужа или жены, — совсем не мучилась. Мгновенная смерть. Кровоизлияние в мозг, и... А то — бывает, годами...

Врач заметил, что его не слушают. Но, выходя из квартиры, всё-таки сказал Юриному отцу с некоторым сочувствием:

— Да, а то, бывает, годами лежат... не ходячие... лежащие. С ложки кормить, и судно. Так что... да. Неизвестно, что лучше... Да.

Отец дважды кивнул, соглашаясь, закрыл дверь за врачом и медсестрой и вернулся в комнату, но внутрь не вошёл, а остался стоять в дверях. Тёщу он не особенно любил — какая будет любовь при совместном с ней житье годами в одной квартире, но и никаких явно недобрых чувств к ней тоже не испытывал. Уж смерти-то, по крайней мере, точно ей не желал. А она вот... как-то так неожиданно.

Ему было жалко жену. Но по опыту он знал, что когда той плохо, она до поры до времени никого к себе не подпустит, только ругается: мол, никто её не понимает. Так что он решил: пусть поплачет одна. Сама потом придёт, когда сострадания захочет.

Сейчас она уже рыдала так, что начала икать и задыхаться. Волосы у неё совсем растрепались, упали на покрасневшее и мокрое от слёз лицо.

— Родная моя-а-а...

Юра подумал, что к маме сейчас лучше не подходить. Вернее, почувствовал, что теперь ей не до него. Он дрогнувшим голосом, но довольно громко спросил у отца:

— Пап, а бабушки больше не будет?

— Не будет больше, сына. Умерла,— папина рука с холодными пальцами потрепала Юрины волосы.

Юра попытался понять, что это значит: умерла и не стало. «Не стало»,— он повторил эти слова про себя ещё раз, а потом ещё. Что значит— не стало? Теперь она не будет листать свои альбомы, не будет рассказывать ему истории из своей жизни— не поучительные, как у папы и мамы, а просто интересные. Не будет печь пироги со всякими начинками— капустной, грибной, с мясом и рисом, с луком и яйцом; и без начинки тоже не будет печь, и булочки печь не будет— ничего!

Если её не стало, значит, она не поедет с Юрой в лес в апреле, а ведь обещала. Говорила ведь, что, как только земля чуть-чуть отогреется, освободится ото льда, поедет с Юрой в берёзовый лес недалеко от города— показать, как разворачиваются маленькие листья и распускаются подснежники. Подснежники Юра видел сто раз, листья— тысячу, но с бабушкой было бы всё другое. Конечно, с такой бабушкой, как у него. Такая не должна была обмануть— но она обманула, потому что умерла! Взяла и предала его!

Юра сидел на своей кровати и плакал почти беззвучно, не всхлипывая, стиснув зубы. Его одолевала злость на бабушку. К Юре подошла мать, стиснула его плечи и тонким, жалостливым голосом протянула:

— Попла-а-ачь, сыночка-а, попла-а-ачь...

Это мамино «а» было тоскливым и таким морозным, что от него дрожать хотелось.

— Да ты сильнее плачь, не бойся,— говорила мама.— Подойди к бабушке-то, обними её... Ты её любил...

Мама взяла его за руку, попыталась подвести к покойнице.

— Я не хочу к ней!— резко воскликнул Юра, выдернув руку одним движением.— Пусть она там лежит. Чего она умерла?!

Папа тут же кинулся к нему:

— Ты что? Ты что несёшь? Это бабушка твоя! Бабушка, блин, твоя родная!— сорвался он на Юру.— Да глупый он... не кричи,— мама вздохнула, перекрестилась и жалостливо зашептала:— Господи, помилуй, Господи, помилуй... Родная моя... как же я без тебя, без тебя-а...

В школу Юра не пошёл. Небо за окном потихоньку бледнело: как будто тёмно-синюю ткань замочили в отбеливателе и она некрасиво вылиняла. Долго не выключали в комнатах свет— день был хмурый, бессолнечный. Лишь к вечеру оказалось, что весь день солнце было скрыто за неподвижной ватной массой облаков— и уже ко времени заката вдруг проявилось на горизонте чётко и почти целиком.

Все дома вокруг неожиданно стали двухцветными: верхняя часть у них была серой и тёмной,

а два нижних этажа оказались подсвеченными красноватым золотом, полоса которого уменьшалась наискось. Через несколько минут солнце свалилось за высокий оранжевый с белым дом на дальней улице, и все дома покрылись до утра тускло-серой мглой, как пылью, и опять везде зажгли электричество. А в воздухе падали мелкие серебристые снежинки, как блёстки с новой красивой открытки.

Юрины родители сидели на диване в комнате.— Гроб заказал,— вздохнул отец, поглаживая руку жены.— Хороший. Не дВП, сосна. Бархат бордовый, позумент... Памятник потом сделаем мраморный, фотографию крупную. Всё честь по чести, обеспечим старушку...

— Мраморный!— мать неожиданно и резко распрямилась, как согнутая и потом отпущенная полоска металла.— Что ей твой мрамор?! Она умерла! Что ей твоя тесьма? Что ты вообще понимаешь?!

Отец терпеливо вздохнул и, удерживаясь от того, чтобы тоже не сорваться в крик, принялся объяснять:

— Знаю я этих бабок,— он откинулся от спинки дивана, положил руку жене на колено,— притащатся плакать и всё обсмотрят... Всё-о... И какой гроб, и какой памятник, и поминки. Так что уж надо честь по чести. Для тебя же стараюсь, родная,— он снова поймал руку жены и поцеловал её.

— Кто она тебе!— воскликнула мать, вскочив и начав нервно ходить по комнате.— Она тебе чужой человек была. Тебе и всё равно, что она умерла. Маленько раньше, маленько позже— ну всё равно бы коньки отбросила! Ну...

— Маша!— оборвал её укором отец.

— Вот и Маша,— она вытерла набегавшие слёзы вытянутым рукавом кофты.— Ох! Вот когда у тебя родители умрут, меня поймёшь... Ох, Господи, что же я говорю-то... Мамочка, милая ты моя, родная, одна я только тебя любила! Одна я тебя любила,— произнесла мать со страстным убеждением в голосе; отцу добавить больше было нечего, и последнее слово осталось за ней.

Юра смотрел на родителей растерянно, понимая только, что они хотят унести бабушку далеко, на кладбище, где лежат все мёртвые, и засыпать её там землёй, насыпать на неё много-много земли, чтобы она уже обратно не встала и не вернулась к ним...

После этого разговора мама заставила его идти есть невкусные макароны, которые размякли и слиплись в комок.

— Я не хочу есть,— сказал Юра вежливо.

Мама ничего не ответила, и Юра подумал, что она, наверное, не услышала его. Он повторил погромче:

— Я не хочу есть!

Мама вдруг закричала ему в самое ухо:

— Ты ещё будешь мне нервы мотать! Быстро ешь!

Юра не понял, как это — мотать нервы. Куда и на что их мотают? Но маму сейчас точно нельзя было ни о чём спрашивать. Он вообще решил больше ничего не говорить и, поковыряв со вздохом вилкой, съел клейкий макаронный комок, запив его двумя кружками чая.

Юра сегодня должен был один ночевать в маленькой комнате, где он до вчерашнего жил вместе с бабушкой — прямо с того самого дня, как его, маленького, принесли в конверте из роддома. Вторую комнату занимали мама с папой.

Бабушку сегодня отнесли ночевать на кухню, на маленький диванчик, и укрыли её всю, кроме лица, стареньким, кое-где вытертым до белых ниток оранжевым покрывалом.

Юра накрылся одеялом с головой, чтобы не смотреть на кушетку, где раньше спала бабушка. Ему раньше рассказывали разные страшные истории про живых призраков и привидения. Но они его почти никогда не пугали. Скорее, он был бы рад сейчас увидеть какое-нибудь привидение в виде бабушки. Это было бы доброе привидение. Оно бы взбило ему подушку и улыбнулось, а потом и вообще могло сказать: пойдём варить картошку! Или: пойдём на улицу, посмотрим на облака... Но сейчас отчего-то ему казалось, что на кушетке кто-то есть. Кто-то чужой и плохой. И этот кто-то смотрит на него из тёмного угла комнаты.

Под одеялом скоро стало очень жарко и нечем дышать. Надо было глотнуть воздуха. Он отвернулся к стенке, босая нога его нащупала ковёр, и тут только он решился высвободиться из тёплого одеяльного кокона. Стиснув край одеяла в руке, Юра стал смотреть на угол между стенкой и потолком. Внизу пронеслась машина — на потолке и на обоях мелькнули жёлтые полосы света. Потом опять стало темно — точнее, не темно, а как-то серо. Так всегда бывает, когда долго смотришь ночью: сначала темнота совсем уж тёмная, а потом светлее и светлее.

Оттого ли, что колыхнулась штора, или от неожиданного скрипа, Юре почудилось, что кто-то стоит за его спиной, только не папа и не мама — те были на кухне, и Юра слышал, как они разговаривали. А стоящий за спиной не уходил — наоборот, он как будто наклонялся ниже. И был это кто-то страшный.

Юру пронзила мысль, от которой у него руки сразу стали липкими и холодными: это стоит за ним смерть! Та самая смерть, которая отняла у него бабушку. Бабушка вовсе не виновата в том, что умерла. Это её забрали...

Страх настолько сковал его, что он даже не мог уйти назад под одеяло, а тем более повернуться на другой бок, хотя нога у него затекла и стала совсем ватной. Юрка закрыл глаза и ухватился рукой за подушку. В голове у него проносился весь сегодняшний день, начиная с того момента,

как он проснулся. Мамин плач, скорая, милиция, соседи, закат, оранжевое покрывало... Впервые за день до него дошла мысль: бабушка умерла. Ему не хотелось плакать, совсем не хотелось плакать — только закрыть глаза от этого холодного ужаса за спиной.

Он помнил, что баба Аля говорила, будто хочет умереть весной, а вышло, что она умерла в феврале, когда мороз. Значит, даже умереть нельзя, когда захочется, — тебя придут и заберут, когда надо. Но если даже бабушка умерла, значит, он, Юра, тоже должен умереть. Он будет лежать неподвижно, и будет у него такое же страшное, гадкое резиновое лицо и холодные-холодные ноги и руки. А потом его возьмут и увезут далеко-далеко, положат в ящик, из которого не выбраться, потому что заколотят крышку. И его засыпят землёй, и будут плакать над ним. А ещё музыка будет играть, только он её уже не услышит. Он вообще ничего больше не услышит... А когда это всё будет?

И снова электротоком прошла по нему мысль: хоть когда, хоть завтра, хоть сейчас... Он не может знать.

Юра тихонько вскрикнул. Сердце у него билось быстро-быстро. Он решился открыть глаза и через открытую дверь увидел, что свет на кухне погас: значит, папа и мама ушли спать. А ведь их тоже засыпят, только они об этом не знают и не думают. О какие глупые!

В Юркиной душе шевельнулся спасительный лучик: может быть, если очень сильно попросить, то тебя не заберут, не заколотят, не засыпят. Он ухватился за эту идею. Не может быть, чтобы все умирали. Это, наверно, некоторые умирают, а другие всё время живут. Откуда же так много людей, если все умирают? Пускай новые рождаются, маленькие — всё равно получается очень уж много. А что значит умереть? Стать холодным, и лежать под землёй, и ничего не чувствовать. Как же можно ходить по земле?! Ведь под ней должны быть кругом покойники... Люди так много веков на земле живут. И если бы все умирали, под землёй были бы одни трупы. Им бы уже давно было некуда деться. Значит, умирают только некоторые. А он не умрёт, не умрёт...

Когда он утром проснулся, мама мыла пол. — Посиди на кровати, я пока под ней протру... — сказала она тихо. — Оденься потом... гости придут. Рубашку белую надень.

Юра послушно кивнул.

Через час какие-то чужие люди привезли гроб — огромный ящик, обтянутый тёмно-красной тряпкой с жёлтой ленточкой по краю. Его поставили на две табуретки в большой комнате.

Юра стал смотреть в окно. Сейчас ему больше всего хотелось бы залезть с ногами на подоконник, но он знал, что мама будет ругаться, и остался стоять, прислонившись к дверному косяку. На

балконе ходили голуби, оставляли в снегу, посыпанным крупной чёрной городской пылью, следы маленьких лапок. Бабушка любила голубей и частенько их прикармливала.

«Нате, нате вам,—приговаривала она, бросая птицам семечки или пшено,—угощайтесь». Голуби так яростно набрасывались на семечки, так сильно хлопали крыльями, что можно было подумать—не голуби это, а ястребы. Бабушка их порой урезонивала и пыталась воспитывать.

«Куда, куда ты полетел?! Чего крылья распустил, дай другим тоже поклевать! А вы чего драться полезли?—клюйте тут, хватит вам!—внушала она сизарям.—А ты что там притаилась? Не стесняйся, иди сюда. Поклюй, птичка, поклюй, деточка...»

Голуби часто садились ей на плечи, на ладонь, слегка щипали клювами пальцы, словно отвечая на её слова благодарностью. Иные гордо похаживали вокруг кормилицы, не оскорбляя своего птичьего достоинства излишним доверием к человеку. На Юрку голуби садились редко; лишь когда у него была полная пригоршня семечек, какой-нибудь смельчак присаживался на край его ладошки.

«Не привыкли ещё к тебе, погоди»,—успокаивала его бабушка с улыбкой.

А летом бабушка иногда пела—прямо на балконе. Пела негромко, но во дворе всё равно было слышно. Юрин папа ей говорил иногда: «Мама, вы бы хоть домой зашли. Не стыдно вам? Все слышат».

Но бабушке было ни капельки не стыдно, и Юрка выходил вместе с ней на балкон, когда она пела,—послушать. Песни у неё были старые, такие уже, наверное, никто на свете не пел. Эти песни всегда нравились Юре. Правда, в них были непонятные слова, но про них он всегда мог спросить бабушку, а она всегда объясняла, не то что мама или папа. Одну песню—про тонкую рябину—Юра сам выучил и пел вместе с бабушкой.

«Пить на улице можно, а пить почему нельзя? Это ж лучше»,—говорила бабушка и улыбалась хитровой улыбкой. Она всегда так улыбалась, будто знала что-то, чего не знали другие.

Мать уже помыла пол и теперь сидела рядом с покойницей, которую перенесли из кухни в дом. Какое-то время она была неподвижна, гладила волосы и щёки умершей и сама в этот момент казалась такой беззащитной и совсем молодой. На её лице, кроме искренней грусти, читался вопрос: «Как дальше жить?», недоумение и растерянность. — Ну, ну, Маша, не надо плакать, всю ночь проплакала,—утешал её Юркин отец и, зачем-то оглянувшись по сторонам, добавил:—Скоро весь подъезд придёт. Надо хоть убрать, чтобы прилично было.

—Какая разница...

—Большая,—отец не смог сдержать раздражения.—Не надо мне, чтобы про нас говорили, что живём хуже других. И поминки надо не самые

бедные. Рыбку надо купить, водочку там, блины состряпашь... Я скажу, всё что надо чтоб купили. Ты не волнуйся.

Отец стал ходить по комнате, беспокойно оглядывая расстановку вещей. Сначала его взгляд остановился на полке.

—Вазу эту страшную убрать,—пробормотал он про себя, взяв в руки тёмную зелёную вазу с отбитым краем, с которой та не расставалась уже лет двадцать, потому что этот подарок, по её словам, сделал ей какой-то «необыкновенный человек».

—Ничего в этот ящик не входит,—всё больше сердился отец, пытаясь засунуть второе одеяло в ящик для белья под диваном.—И подушки диванные, блин, какие-то страшные... линиялые!

Он открыл дверь в маленькую нишу и попытался запихнуть туда подушки. Но в нише и так было полным-полно вещей: там стояли этажерка с книгами, большой деревянный ящик с инструментами, сахар в мешках; висели зимние куртки и пальто, по большей части уже старые и редко носившиеся; в одном углу примостился пылесос, в другом—гладильная доска. Ниша и без того уже была забита вещами, подушки пришлось запихивать в неё силой. Всё-таки их удалось втиснуть, но если открыть дверь, они должны были неминуемо вывалиться на пол в прихожей.

—Ну что там, всё готово?—крикнул он жене.—Сама обмоешь, или бабок подъездных ждать?

—Сама,—горделиво, с вызовом отозвалась мать.—Никого мне не надо.

Юра тихонько фыркнул от удивления. Он где-то уже слышал это слово—«обмыть», и оно значило—выпить вина, чтобы что-нибудь отпраздновать. Так они радуются, что ли?!

Но оказалось, что это совсем другое, проще. Юра увидел, как мать вместе с отцом стала стаскивать с мёртвого тела одежду—сначала кофту, потом платье, чулки. Он весь напрягся, насторожился, ожидая, что вот-вот бабушка шевельнёт рукой или ногой. Но она совсем не двигалась. Тело у неё было жёлтое, как восковая свечка, только покрытое синеватыми пятнами, с отвисшими грудями, вялое и безжизненное. Тело это надо было унести в ванную. Юра почувствовал, что его начинает тошнить, и выбежал прочь из комнаты.

«Разве это бабушка?!»—не верилось ему.

Когда он вернулся, то увидел, что покойница уже была одета в шерстяную юбку и белую блузку с красивым отложным воротником. Мама натягивала на холодные ноги колготки и вытирала слёзы. —А баба Аля эту кофту не любила,—заметил Юра.—Баба говорила, что она колется. Вы её в платье чёрное одели бы.

—Ты указывать нам будешь?!—разозлился отец.—Не твоё это дело, во что надо, в то и оденем!

В дверь уже позвонили—пришли гости. Отец вдруг снова бросился к нише и, приговаривая:

«Забыл, забыл», — стал вытаскивать ковровую дорожку. Подушки вывалились в коридор, а сверху упала лампа синего света и шлёпнулся болоньевый плащик.

— Да брось ты! — крикнула ему мама.

Но отец достал дорожку, кое-как зачихал вещи назад в кладовку и, притворив дверь, стал раскатывать красный коврик в коридоре.

— Голливуд им тут устрой, — невесело усмехнулся он. — Давно надо было линолеум перестелить...

Скоро в большой комнате собрался народ. Была суббота, поэтому проститься с покойной пришли и те, кто работал. Пришли три пожилые женщины, считавшие себя близкими подругами умершей, соседи по площадке, с которыми Юрины родители то ругались, то мирились, да несколько родственников, обычно приезжавших к Никоновым раза три-четыре в год.

Гроб по-прежнему стоял на двух табуретках. В него осторожно опустили тело, на грудь умершей положили иконку Богородицы в оправе, надели венчик на лоб и накинули покрывало с какими-то вышитыми буквами.

— Свят, свят, свят, — закрестились все взрослые, кто тремя пальцами, кто пригоршней.

Ни один человек не подошёл слишком близко к гробу. Гости утешали хозяйку, разговаривали о поминках, расспрашивали, какое выбрали место на кладбище, вспоминали других покойников.

К Юре подошла соседка тётя Надя и стала приглаживать ему волосы так сильно, что у него голова чуть запрокидывалась назад, и повторяла:

— Всё будет хорошо.

Юра ей не верил, потому что видно было, что она это говорит просто так. Ему вдруг захотелось ещё раз посмотреть на умершую и проверить: точно ли это бабушка?

Однако сразу смотреть на лицо ему всё же показалось боязно. Юра сначала отвернул покрывало. Мёртвые руки были крест-накрест сложены на груди. Юра поднял одну, потом другую. В них не было никакой силы, они безвольно ложились туда, куда их опускал Юра. «Как будто кукла, — подумал он с удивлением, — у бабы Али совсем не такие были руки».

Лицо у покойницы уже не казалось по-вчерашнему страшным. Голова у неё была опущена, под шею подложили какой-то валик. Нос заострился и стал похож на клюв у вороны, кончик его побелел. Юре захотелось посмотреть, какие у неё теперь глаза. Но глаза у покойницы были закрыты веками — правда, один как будто не полностью. У бабушки были голубые глаза и ясный добрый взгляд.

«Это не она! — закричал он про себя от счастья. — Это не она, не она!»

Здесь, в ящике на двух табуретках, одна из которых шаталась, лежала совсем не его бабушка. Его

бабушка не могла обмануть, не могла бросить его и умереть. Она слишком мудрая для этого. И как она успела незаметно уйти и оставить вместо себя эту тряпичную ворону?.. Вот хитрая! А где же она сама теперь?

— Юра!!

Мать пронзительно крикнула, не на шутку испугавшись при виде сына, с любопытством трогавшего уши и щёки покойной.

— Отойди! — попросила она уже гораздо мягче, и, когда Юра покорно отодвинулся, вдруг заревела в голос: — Как мы теперь без тебя!!

— Убивается-то, сердечная, — сокрушённо показала головой одна из бабушкиных подруг.

Мать упала на колени рядом с гробом, причитала:

— Мама! Мамочка! Одна ты меня любила! Помру без тебя, помру! Кто меня пожалует?! Кто?! Одна я без тебя на всём белом свете-е-е...

Несколько человек вздохнули. Юра бестолково топтался на месте, пугливо смотря на маму, которая всё продолжала кричать, что она осталась одна. — Мальчишечку-то возьмёте на кладбище? — спросила у отца дальняя родственница.

— Возьмём, а как же, — отец притянул Юрку к себе за плечи. — Пускай с бабушкой простится.

— Ну, ну... Большой мальчик. В школу-то ходит? — продолжала любопытствовать женщина.

— Первый класс... Вот, осенью семь исполнилось.

На кладбище Юра поехал в машине, вместе с родителями и тёткой. Ему показалось в похоронной суете, что остальные гости куда-то внезапно подевались. Юра решил, что они просто незаметно разошлись по домам. Но уже возле самого кладбища большинство их вылезло из чёрного «уазика», и, держа в руках венки и цветы, они цепочкой потянулись по кладбищенской аллее.

Место для могилы было известно давно — в зелёной ограде рядом с почившим девять лет назад Юркиным дедушкой, мужем покойной. Пробираясь через высокие и низкие заборчики, отодвигая длинные ветви кладбищенских елей и клёнов, процессия шла к назначенному месту. Лица колот февральский порывистый ветер, и люди натягивали шапки на самые глаза и поднимали воротники своих курток и пальто.

Долго долбили лопатами мёрзлую землю; внутрь падал комьями белый-пребелый снег и не сразу растаивал там. Постепенно на скатах обнажалась глинистая почва с торчавшими из неё гнутыми тонкими корешками разных трав. Через несколько месяцев земля должна была оттаять, трава на могиле буйно зазеленеть, хотя сейчас, в мороз и колючий ветер, это казалось невероятным.

Юра закрыл лицо от колючего ветра воротником дублёнки. Потёр замёрзший нос грязной варежкой. Жалко, что баба Аля умерла всё-таки зимой, а не весной, как хотела. Он вспомнил, как

бабушка не один раз говорила: «Я в апреле умру, в апреле хочу. Чтобы тепло, чтобы травка, птички пели... Благодать». — «Мамочка, милая, что ты такое говоришь!! — закричала однажды Юрина мама, когда такое услышала. — Рано тебе о смерти думать, ты ещё с нами поживи, ты ещё нам вот как нужна! Кто мне сына-то будет помогать на ноги ставить? Тебе шестьдесят лет всего! О чём ты?!» — «А кто знает когда? Может, я ещё тридцать лет на земле проживу, а может, и на следующий год туда, — ответила в тот раз бабушка. — А бояться не надо. Это ведь мы только здесь умираем, а там... Вот Юрочка подрастёт и поймаёт». — «Господи! Чтобы я этих слов больше о смерти не слышала! Ты поняла меня?! — рассердилась тогда мама. — Ещё и ребёнка мне пугаешь!»

Последний раз откинули покрывало, чтобы попрощаться с покойной, и тут всех словно прорвало слезами. Плакали каждый о своём, и все плакали искренне. На бедную Юрину маму было жалко смотреть. Рванувшись вперёд, точно выпущенная из лука стрела, она упала головой на мёртвое тело, гладила безжизненные руки, и казалось, больше всего на свете ей хотелось унести труп домой, назад, чтобы никогда не разлучаться с ним.

Гроб закрыли, заколотили гвоздями крышку с четырёх сторон. Опять Юра вздрогнул от жуткой мысли о покойниках под землёй: а вдруг они ночью, когда все спят, потихоньку вылезают на поверхность, и пугают людей, и насылают им страшные сны?

Небо понемногу расчищалось. Заметно поутих злой ветер, и можно было почувствовать, как солнце гладит лучами закаменевшую землю и дарит улыбки людям.

Назад в город ехали долго, стояли в пробках. Когда наконец добрались до дома, Юре сказали уйти в маленькую комнату, и оттуда он слышал, как стучат на кухне ножи и как мама разговаривает с соседкой тётей Надей и ещё какой-то женщиной. Столовую для поминок отец решил не заказывать, обойтись домашним обрядом. Ему не хотелось видеть слишком многих людей.

Гости жевали блины и красную солёную рыбу, записывали это водкой и киселём, рассказывали истории о других покойниках — чьих-то отцах, матерях, бабках, дедах, сёстрах и братьях. Ругали машины скорой помощи, которые медленно едут на вызов к сердечникам, жаловались на высоченные цены, по которым продают лекарства больным. Потом речь пошла о теме более приятной: о еде. Гости хвалили кутью и мясной салат Юриной мамы, одна женщина записала рецепт её блинов. — Ох, яйца-то забыли, — вспомнил вдруг Юрин папа. — Обязательно ж надо на поминки яйца вкрутую!

— Да ладно, Олег, — успокоили его гости. — И так неплохо проводим.

Юра снова ушёл в ту комнату, где спал вместе с бабушкой. Там на открытой полке в шкафу стояла коллекция пластмассовых динозавров. Были у него диплодок, и бронтозавр, и птеродактиль, и стегозавр, и много ещё кого. Юра разложил их всех на кровати бабы Али, расправил покрывало... Ему хотелось поговорить с бабушкой, но он точно не знал, где она теперь. Может быть, она была в берёзе на кладбище, или в густом облаке, которое неподвижно висит над бело-оранжевым домом, или даже в том альбоме с Ленинградом, который она любила смотреть. Она была во всём этом и в то же время где-то в другом месте.

В комнату вошла тётя Надя.

— Что, Юрочка, на кровать прилёг? Спать хочешь или по бабушке скучаешь? — тётя Надя наклонила голову набок и ласково улыбнулась.

Юра внимательно посмотрел на неё, решая — сказать правду или нет. На тёте Наде была надетая толстая тёмно-зелёная кофта, из-под неё выглядывал воротник другой кофты, тонкой и тоже зелёной, только светлее. Волосы у тёти Нади были белые. Вся она вдруг показалась Юре похожей на капусту.

Тётя Надя достала для него из кармана конфетку:

— На.

Юра конфету взял, а потом твёрдо, внятно выговорил:

— Спать хочу.

И для убедительности потёр глаз кулаком.

Тётя Надя пожала плечами и выскользнула за дверь.

Слышно было, как взрослые в большой комнате говорят и говорят без конца на разные свои взрослые темы. Им, наверное, вместе было весело: один раз кто-то даже засмеялся. Ни мама, ни папа давно не вспоминали про Юру. Он обрадовался, что ему никто не помешает, и закрыл дверь на задвижку, чтоб надёжней.

Усаживаясь на край кровати, Юра взял в руку одного из своих динозавров и шёпотом заговорил: — Баба Аля, ты здесь? Смотри — вот это орнитопад. Я его ещё тебе не показывал. Он хищный, ходит на двух ногах...

За окном садилось уставшее после трудного дня февральское солнце, чтобы завтра утром засиять в полную силу.

Десятый дождь

Ему было тринадцать лет, и ей тринадцать; но старше был, конечно, он: какие тут могут быть вопросы?! Он родился в ноябре, а она вообще — в январе, да и то шестнадцатого. Он уже ходить научился, когда она родилась. Ну, может, не ходить — но, всяко, уже научился что-нибудь делать, а она до сих пор... до сих пор не умеет, это... через козла прыгать!

Они шли по городской улице, то немного приближаясь друг к другу, то снова расходясь, так что со стороны выглядело, будто их чутьчку шатает.

Пашка нервно дёрнул вверх молнию на куртке и сказал хриплым голосом:

— Руку давай.

— А?—Света даже вздрогнула, так неожиданно пришлось оторвать взгляд от витрины с мороженым.

— Руку, говорю, дай,—повторил Пашка.

— А-а...

— Бэ... Пошли...

Из подвала старого кирпичного дома, мимо которого они проходили, тянуло захлабостью и зимней сыростью. Тусклая, серая ледяная глыба прижалась вплотную к бордюру, как будто ища у него защиты и возможности спрятаться от набравшего силу солнца. Но бордюр успел нагреться, а вдоль дороги бежал вертлявый ручеек, и он тоже подтачивал глыбу, только не сверху, как солнце, а снизу.

Было ещё не так тепло, чтобы ходить без куртки, но и не так холодно, чтобы не хотелось мороженого.

— Ты бы купил морожки,—Светка вытащила волосы из капюшона бледно-розового пуховика и аккуратно переложила длинный «хвост» на грудь.

Она вообще сегодня выглядела стильно: зелёные тени как раз подходили к синей туши, а вышивка на карманах куртки великолепно сочеталась с рисунком на колготках.

— Угу,—с готовностью, но невесело отозвался Пашка.

На кой чёрт он взял с собой эту дуру из седьмого «Б»? Что теперь с ней делать? А всё пацаны виноваты: «Светка в тебя втюрилась, Светка с тобой мутить хочет». Откуда они-то знают? Ну да, им Ксюхин брат сказал... Мало ли что он там прогнал... Хотя, вот,—пошла же с ним сейчас гулять. А только вдруг она просто, ради прикола... А потом вдруг скажет какую-нибудь гадость—они, девчонки, это могут!

Пашка ухватился пальцами за подкладку кармана, нащупывая мелочь на мороженое. С собой у него было ещё сто рублей, выданных отцом, которые он хотел потратить на колесо обозрения. Поэтому Пашка надеялся ещё полчаса поводить Светку по улицам, потом благополучно проводить её до подъезда и со спокойной душой отправиться в парк кататься на колесе. Ну а завтра, конечно, рассказывать пацанам, как они классно погуляли и целовались взакос.

«Да, взакос...—размышлял Пашка.—И скажу, что на плече ей поставил... Ей Серый в пятницу на физре мячом попал, там синяк должен быть—поверят...»

— Отойди!—услышал он вдруг Светкин истошный визг.—Шифер!—крикнула девочка.

Пашка поднял голову: на краю крыши действительно лежал кусок шифера, клетчатый, как вафля. Лежал, пылился, но падать совсем не собирался. — Ну и что ты орёшь?—он строго посмотрел на Свету.

— Они падают!—взвизгнула та.

Пашка хмыкнул, побрякал зажатой в кулаке мелочью:

— А мы что, прямо под него идём? Мы идём себе мимо...

«Дурак,—подумала Светка.—Все мальчишки дураки. Вот свалится на него доска или кирпич, голову проломит, и будет знать! Хотя,—она внимательно посмотрела на Пашкину вихрастую макушку,—там у него и ломать-то нечего. Дурак». — Дай мне твоё попробовать?—довольно вежливо попросил Пашка, когда в руках у каждого было по мороженому.—Мне кажется, твоё вкуснее...

Света презрительно передёрнула плечами:

— Можешь хоть всё забирать, мне не надо, если ты такой жадный.

— Я не жадный!—обиженно воскликнул Пашка.— Я же это... Наоборот, спрашиваю—какое вкуснее, чтобы самое вкусное тебе отдать!

Светка поглядела на него недоверчиво, но спорить не стала. Уселась на скамейку и стала дальше есть мороженое.

— А чё ты не куришь? Мы долго гуляем,—неожиданно заметила она.

«Бли-ин»,—пронеслось в голове у Пашки.

— Ты знаешь,—замаялся он,—я редко курю... Ну, короче... Я вообще почти не курю.

— А все говорят,—Светины глаза на несколько секунд стали в пол-лица, как у марсианина.

— Да мало ли что говорят,—вздохнул Пашка. И вдруг, спохватившись, сменил тон:—Щас это вообще немодно—курить. Это детством заниматься—сигареты курить.

— А что, чай курить надо?—Света хихикнула.

— Не чай, а план,—строго поправил Пашка.— Слыхала про такой?

Светка снова уставилась на него изумлённо:

— Ты чё, реально траву куришь?..

— Угу,—кивнул Пашка, надеясь произвести впечатление.

— Да пошёл ты! Наркоман фигов!—она дёрнулась со скамейки, собираясь убежать.

— Стой!—позвал Пашка.—Стой! Пошутил я...

Светка остановилась и упёрла руки в бока.

— Ну?—вызывающе спросила она.

— Пошутил, говорю!—хрипло крикнул Пашка.— Не курил я ничего...

— Ну debil,—покачала головой девочка.—Как я с тобой гулять ещё пошла...

— А за дебила ответишь!—завёлся Пашка по новой.—Сама лахудра крашенная!

— Я-а?! А у твоей мамы, кроме тебя, выкидышей не было?

— Не было!!
 — Ха-а, попался!
 — Дура! Зачем я с тобой пошёл только?!
 — Ой, ой! На фиг надо мне! Я сейчас домой пойду!
 — Да вали... Нет, стой! — Пашка схватил её за рукав. — Ты у меня учебник заныкала, по биологии. Не забыла? Зайдём к тебе домой — отдашь!
 — Я тебе завтра принесу...
 — Да ты забудешь завтра!
 — А ты позвони!
 — Очень надо мне звонить тебе... Ещё родители подумают, что мы с тобой мутим...

Света чуточку скривила губы и тихонько фыркнула, бросив на Пашку быстрый взгляд из-под накрашенных синей тушью ресниц. Он сильнее сжал её руку.

«Пусть не вырывается», — подумал он про себя. Светиных родителей дома не оказалось.
 — А ключа у меня нет, — сказала девочка.
 — Прикольно...
 — Вообще, они меня только через два часа ждут, — призналась Светка. — Я же сказала, что с тобой пойду гулять...
 — Прико-ольно, — повторился Пашка, засовывая руки в карманы новых джинсов. — Это ты три часа гулять со мной собралась?!
 — Блин, собралась! — вспыхнула Светка. — Я не думала, что ты такой дурак!

— Ладно, — Пашка неожиданно подобрел, почувствовав себя хозяином положения. — Чё бы сразу не сказать? — он поддел ногтем отваливающийся кусок штукатурки, отчего извёстка осыпалась на пол. — И в подъезд бы не заходили...

Он заметил у Светки на шею какие-то самодельные бусы — зелёные, из крупного бисера. Хорошо, что она не готичка, — а то навешала бы на себя всяких, блин, крестов да цепей. И в чёрное бы выкрасилась, а у неё глаза голубые и веснушки. И хорошо, что не эмо. Наташка вон эмо — у неё чёлка аж до колен, и розовой тушью крашенная. И ноет всё время: а-а, меня не понимают. Нет, эмо — фигня-война.

А вот всё-таки интересно: она целованная или нет? Ну, по-настоящему? Пацаны говорили, надо подойти сзади и за плечо ущипнуть, чтоб узнать... Если не целованная — то крикнет «ой», а целованная — «ай»... Но плечо-то у неё в пуховике, вот в чём фишка-то...

— Давай поцелуемся? — предложил Пашка.

Света всегда думала: как это люди не боятся целоваться, ведь можно вдохнуть слишком сильно и забрать весь воздух у того, кого целуешь... Тогда наступит кислородное голодание. Пашка, конечно, чокнутый, но было бы жалко, если бы он задохнулся... Иногда он очень, очень милый.

Света посмотрела на него с сожалением, а потом выдала:
 — Ты не умеешь...

— Кто, я? — возмутился Пашка. — Я не умею? Давай сюда...

Он целовал Светку старательно, придерживал её ладонями за уши — на всякий случай, чтоб не вырвалась. Спустия целую вечность она наконец-то сообразила, что надо разжать зубы, и Пашка почувствовал сладковатый вкус её девчоночьего дыхания. Коленки у Пашки начали дрожать. Стало немного страшно: почему-то показалось, что Светка ускользает от него; вот он поцелует её — и растворится она в воздухе. Пашка осторожно подглядел, чтобы проверить, здесь ли она ещё. Не понял и подглядел решительнее.

Света смотрела на него в упор широко открытыми глазами.

— Зачем глаза-то открыла? — рассердился Пашка и выпустил её голову.

Целоваться больше не хотелось.

— Слюней напускал, — девочка вытерлась рукавом. — Пошли ещё гулять.

«Ну, всё хорошо, — подумала Света. — И дышала неглубоко. И нос не мешает, оказывается...»

Она крепко сжала Пашкину руку и сказала:

— Вообще-то ты такой классный...

— Я-то? — смущённо хмыкнул Пашка. — Ну да... Пошли в парк.

Он, конечно, заметил, как Светка посмотрела на колесо обозрения. У неё даже шаг замедлился. Даже во рту, наверное, пересохло... Как у него.
 — Чё, вижу, покататься хочешь? — спросил он развязно.

— Хочу, — Света кивнула и для большего убеждения закрыла глаза.

Веки у неё были густо намазаны блестящими светло-зелёными тенями.

— На, — Пашка легко протянул ей сотню. — Езжай на этом колесе оборз... тьфу, блин!.. обозрения.

Светка звонко захохотала, запрокинув голову — безо всяких ужимок:

— Колесо обозрения! Ха-а!

— Ну, хватит уже, — утихомирил её Пашка. — Иди катайся. Детство вспомнишь.

— А ты что, не пойдёшь? — в Светином голосе было искреннее удивление.

— Я эту стадию прошёл, — Пашка уверенно выставил вперёд ладонь. — Хватит уже детством страдать. Но ты девочка, тебе ещё можно...

Он смотрел, как Светка прошла через турникет, как забралась в новенькую кабинку, аккуратно захлопнула дверцу... Как поднималась в этой кабинке всё выше и выше...

«Лахудра белобрысая, — подумал Пашка с тоской. — Катается там вместо меня теперь...»

Почти на самой вершине подул ветер, растрепал Светкины волосы, которые она для пушей красоты распустила по плечам. Внизу виднелись сплетения ветвей клёнов и черёмух, похожие на сложенные

сучья для костра. Деревья вот-вот были готовы вспыхнуть зелёным весенним пламенем.

Пашке снизу почудилось, что Света замёрзла — она застегнула куртку до самого верха, обхватила руками колени. На самой вершине колеса она казалась какой-то хрупкой конфетой из бело-розового сахара, которая могла растаять от солнца и рассыпаться от ветра. Пашке захотелось крикнуть ей что-нибудь, позвать, но он совершенно не знал, что сказать, и только вяло махнул пару раз рукой. Света радостно помахала ему в ответ.

Когда она сошла на землю, ветер усилился. — Портится погода, — вздохнул Пашка, посмотрев на внезапно разбухшие и потемневшие облака.

Света робко кивнула. — Обязательно дождь будет, — заметила она. — Это уже четвёртый... А я считала: после десятого дождя лето наступает...

— А-а-а, — с уважением протянул Пашка. — Считала?

— Да... И потом ранетки цветут — тоже десять дней...

Пашка удивился: откуда Светка знает такие вещи? Умные. Нет, не умные то есть, а мудрые...

Ему хотелось прижать её к себе крепко, но почему-то страшно было даже дотронуться. Он осторожно заправил прядь волос ей за ухо.

— Ну... — выдавил из себя Пашка. — Пора бы это... домой. А то скоро дождь пойдёт...

— Угу, — слабо улыбнулась Света. — А биологию у меня зайдёшь заберёшь?

— Да ладно... Завтра приноси, — Пашка рассеянно посмотрел куда-то сквозь деревья. — Только ты это... завтра мне самому не отдавай, ко мне не приходи, а так, скажи, чтоб передали...

— Почему?

— Да так... — Пашка снова посмотрел на Свету, на её зелёные бусы. Непривычно было видеть её такой серьёзной. Даже не серьёзной, а задумчивой... — Нет, вообще, можешь сама...

Порча

Студентка второго курса Светка Марченко вечером шла из института. Человеку, незнакомому с теми улочками и переходами, по которым она всегда возвращалась домой, легко было бы запутаться в этом неправильном узоре дорог и дорожек. Вообще-то говоря, можно было прийти домой и другим путём — по проспекту, но так ведь дольше, а главное, скучнее. Мать не раз ругала Светку за её любовь к обходным маршрутам, но той казалось: что же тут страшного, если теперь почти в каждом дворе свет и везде ходят люди?

Но то, что увидела Светка, подойдя к своему дому, чуть не заставило её отшатнуться. Вдоль улицы тянулась целая вереница детей с фонариками в руках. Фонарики были бумажные, самодельные, стыки их аккуратно обклеены чёрными полосками.

Дети держали свои маленькие светильники за прикрепленные ручки: кто поднял над собой, кто нёс опущенными.

«На какой-то детский фильм похоже. Старый», — подумалось Светке.

Не сразу она заметила между детьми нескольких взрослых — те были без фонариков и просто держали ребятишек за руки. Таинственная процессия продолжалась. Над домами протянулось похожее на экран в кинотеатре светло-серое матовое, чуть выпуклое, небо, летал в мятном морозном воздухе мелкий-мелкий невесомый снег. Светка подумала: чего-то в этом зрелище не хватает.

«Музыки!» — догадалась она.

От детской толпы отделился мальчик лет семи-восьми, подошёл к Светлане.

— Это вам. Всего вам хорошего, — выпалил мальчишка и вложил в руку девушки две конфетки.

Светка не запомнила — успела она улыбнуться или нет, но спасибо, кажется, сказала.

Одну из конфет она съела тут же, хотела умять и вторую, но, передумав, решила отнести неожиданный подарок матери.

— Мусор, хлеб, молоко? Что требуется? — как обычно, пошутила Светлана, заходя в квартиру. — Ты что, с ума сошла? — огорошила та дочку с порога.

«Она мысли читает», — ахнула про себя Светка. — Зачем ты эту шапку напялила? На дворе мороз — она в осеннюю шапку вырядилась! Последние мозги заморозишь!

— Мам, слышь...

— Вон лежит меховая, так нет — она эту достала! Да ты её уж с десятого класса носишь! Мозги заморозишь...

— Смотри! — крикнула Светка и, чтобы уж точно быть услышанной, для эффектности подкинула и поймала конфетку.

— Что такое? — удивилась мать.

— Конфета, что! — она фыркнула. — Просто так угостили, прикинь! Я к дому иду, смотрю — дети. С фонариками такие идут, знаешь, красиво! Вот один ко мне подошёл и конфетки дал.

— И ты взяла?! — вскрикнула мать с возмущением. — Конечно...

— Выкинь сейчас же! Выкинь!

Светка в растерянности затолкала у порога. От выплюнутой в руку жвачки ладонь сделалась липкой.

— Чё выкинь-то?.. Я одну уже съела, другую тебе...

— Ох, дура, — сказала мать, искренне сокрушаясь. — Там ведь порча была!

— Чего-о? — девочка покатила со смеху.

— Тебе бы всё ха-ха, — строго заметила мать, забирая волосы дешёвой пластмассовой заколкой. — Не понимаешь ты в таких вещах. На деньги порчу сводят, оставляют на дороге, чтобы кто-нибудь подобрал да на себя порчу принял. Поэтому деньги

найденные — не надо брать, — мать помахала пальцем. — Ни в коем случае.

— Да я денег-то не находила ни разу, — сказала Светка, свободной рукой разматывая с себя шарф. — Да где ж ты найдёшь, раззява! Себя-то не видишь, — беззлобно проворчала мать и продолжала: — Нельзя брать. А вот ещё бухгалтерша наша рассказывала, что платок носовой кидают на дорожку, чтобы сопли прошли. Кто подберёт — тот и засопливеет. Махом! Вот у нас Татьяна без конца простывает, так теперь говорит: «Хоть бы платок подкинуть, что ли!»

— Так то сопли, — робко вставила Светка, опять положив жвачку в рот. — А меня ребёнок угостил. — Ещё хуже, — мать, похоже, знала, о чём говорит, — это нарочно детей подучивают. Те людям дают, а кто-то от порчи избавляется. Дай сюда конфету. Выкину.

Мать прошла на кухню, ступая по линолеуму мягко, беззвучно, словно кошка. Так же неслышно шлёпнулась в мусорное ведро конфета. Аккуратно наложив на себя крест, мать громко, внятно прочитала:

— Прости, Господи, грехи наши — меня и моей девочки, аминь. Отошли от нас порчу, аминь.

Светка закрылась у себя в комнате, решила немного послушать плеер. Надо было читать к завтрашнему дню статьи, но читать не хотелось. Однако и музыка почему-то «не шла».

— Картошку сварить или пожарить? — услышала Светка мамин голос за стенкой.

— Пожарь. А давай-ка я сама почищу, — сказала девушка.

Кухню она любила, хотя та была совсем маленькой и с неудобной планировкой. Трудно сказать за что. Может быть, за тепло; ещё — за вид из окна. — Вот где ты видела, чтобы кого-то просто так угощали? — мать продолжала тему, нарезая хлеб. — Вот где?

— Видела, — уверенно сказала Светка. — Нам с Катюхой недавно один мужик вечером выпить предлагал, — она засмеялась.

— Во-о! — поддакнула мать, кивнув. — Вот разве так! Что хохочешь-то?

Светка не сказала, что тот мужик был отец её лучшей подруги и выпить предлагал кофе. Просто ей нравилось раззадоривать мать. Она чувствовала, что, наверное, поступает неправильно — но зато ведь как весело получалось.

— Симпатичный был, — заметила Светлана, кокетливо щурясь.

— Пора посерьёзнеть, замуж выходить, а у неё всё какие-то мужики на уме...

— А давай я объявление напишу: «Выйду замуж. Интим не предлагать».

Светка от смеха чуть не поранила себя ножом.

После ужина мать включила телевизор. Новостям она верила, как ни одному человеку на земле,

и каждый вечер для объективности смотрела не один, а два, когда и три выпуска — на разных каналах, естественно. Слово с экрана казалось ей магическим: сомневаться в нём было не просто глупо, но даже грешно.

— Света! Свет! — позвала вдруг мать взволнованным голосом.

— Что?

В сюжете показывали тех самых детей с фонариками, которых увидела Светлана по дороге домой. Серьёзный молодой корреспондент объяснял, что сегодня школа №... завершила акцию «Неделя добра».

— Смотри-ка, — сказала мать Светке, выразительно кивнув на телевизор.

На экране появилась учительница — женщина средних лет, довольно милая. Коротко объяснила, что её ученики целую неделю помогали чем могли родителям, учителям, товарищам.

«Наша «Неделя добра» завершилась таким необычным мероприятием, — сказала учительница. — Дети вместе с родителями вышли на улицу и дарили сюрпризы прохожим».

Мать зачарованно кивала телевизору, не произнося уже ни слова.

— Да-а, — протянула она наконец, и голос её заметно потеплел. — Редко где теперь такое встретишь. Педагоги вон какие хорошие! Приучают к добру ребятшек...

— Педагоги хорошие, а ты конфету выкинула, — напомнила Светка.

— И правда, — спохватилась мать. — Достать надо...

Она быстрыми шагами прошла на кухню, наклонила ведро, сильно потрясла его. Это не помогло. Тогда она переворошила картофельные очистки, скорлупки от яиц с клейкими остатками белка и луковую шелуху. Конфетная обёртка блеснула золотом.

Новогодний подарок

Я училась на первом курсе. В самом конце декабря, перед зимней сессией, нам поставили консультацию по предмету «Устное народное творчество». Несмотря на то, что тогда это был мой любимый предмет и мне хотелось просто послушать что-нибудь о циклах новгородских былин, о балладах и загадках, я опоздала на пятнадцать минут. Дома не могла оторваться от фильма «Двенадцать месяцев», а потом ещё попала в автомобильную пробку: снег в тот день валил и валил, его не успевали убирать, и машинам, автобусам, троллейбусам приходилось подолгу стоять без движения.

Когда я наконец зашла в аудиторию, стараясь быть незаметной, то поняла, что консультация уже фактически кончилась. Преподаватель пожелал нам удачи на экзамене и поздравил с наступающим Новым годом.

Я немного поболтала с однокурсницами, забрала у одной из них свою тетрадку с конспектами лекций, с двумя или тремя обменялась подарками. Точнее сказать — подарочками, потому что это были, кажется, брелки, орехи в шоколаде, какие-то аляповатые «символы года» в обнимку со свечками — словом, всякая мелочь.

Снег на улице вкусно хрустел. Может быть, я и не слышала этот хруст из-за того, что сигналили и скрипели тормозами машины, но отчётливо угадывала его, потому что знала: такой восхитительный снег не может не хрустеть. Какой это был снег! Привычными словами вроде «лёгкий», «пушистый» и «ослепительно белый» его не опишешь. Он совсем не казался холодным; наоборот, нежным, очень приятным на ощупь. Он густо покрывал деревянные скамейки возле университета, шапкой с леденистой бахромой лежал на козырьке крыши, заставлял провисать под своей тяжестью гибкие ветви тополя и ранеток.

Я купила в ларьке пачку жевательной резинки с сильным мятным вкусом (в такую погоду именно её хотелось пожевать), а потом поехала домой на автобусе.

Удивительно, что народу в нём было немного. Кажется, оставались свободными несколько мест. Я заняла боковое сиденье, удобно поставила на колени рюкзак и приготовилась к недолгому, но всё же путешествию — мне тогда любые поездки казались путешествиями, и порой я даже просто так, ради удовольствия, каталась на автобусах.

Окна в салоне сильно запотели, а по кроме обледенели. Можно было представить, что едешь куда-то в незнакомое чудесное место, и в предновогоднюю пору это казалось особенно интересным.

На следующей остановке в маршрутку зашёл молодой широкоплечий парень, одетый как многие в городе: чёрный пуховик с капюшоном, чёрная трикотажная шапка, потёртые на коленях джинсы, массивные ботинки со шнурками. Необычным было только то, что парень нёс большую дорожную сумку — из самых дешёвых, китайскую, в красно-белую клетку. Он зашёл через заднюю дверь и плюхнулся на свободное сиденье рядом со мной.

Парень снял шапку и попытался откинуть со лба мокрую прядь тёмных, почти чёрных волос, которая тут же упала снова. Потопал ботинками, чтобы стряхнуть с них комья налипшего мокрого снега. Потом вытянул вперёд руки и с наслаждением потянулся.

Он заметил, что я за ним наблюдаю, и, развернувшись ко мне, спросил:

— Чё, вот и Новый год скоро?

Я уверенно кивнула.

— Сама-то куда едешь?

— Домой в роде, — сказала я. — А ты куда же?

— Я? — переспросил парень. — А чёт знает...

— Как же ты не знаешь, поздно уж...

Парень качнул головой и невесело улыбнулся:

— Ой, смешная ты.

— Да знаю, — легко согласилась я и зачем-то сообщила: — А вообще из института еду.

— Учишься? — решил уточнить мой спутник.

И, не дожидаясь ответа, по слогам, растянуто произнёс:

— Ма-ла-де-ец...

В автобус тем временем зашли женщина с девочкой лет шести и встали у горизонтального поручня, совсем рядом с нами.

Парень посмотрел себе под ноги, снова потопал ботинками, хотя теперь в этом не было никакой необходимости, и сказал довольно громко:

— А вот я, например, три года отсидел.

Я от неожиданности выпрямилась — и не знала, как реагировать. Кроме меня, слов парня, казалось, никто не услышал. Или, услышав, не придавал им значения, погружённый, наверное, в мысли о скором празднике.

Я посмотрела на парня внимательнее и теперь заметила, что лицо у него было совсем молодое — лет двадцать, не больше. Светлые серые глаза с длинными, как у телёнка, ресницами, старались уйти от моего прямого взгляда.

— Д-да. Вот сейчас недавно вышел.

— За что сидел-то? — спросила я уже спокойно и тоже, как он, сняла шапку.

Парень поглядел на меня искоса и как-то изучающе, словно решая — стоит ли рассказывать.

— Из деревни приехал... ну — как все, думал учиться. Не прошёл... Ну и стал работать, это, грузчиком... А ты разве вот знаешь, что это такое? — сказал он мне почти осуждающе. — Это — тяжело!

— Понимаю, что тяжело, — оправдывалась я.

— Да-а... Целый день на ногах, — парень сильно выругался.

О том, что делают грузчики, я имела понятие отдалённое. Представила, как он каждый день рано встаёт, уходит пешком на работу и там целый день разгружает бесчисленные коробки и ящики, ящики и коробки... Они всё прибывают и прибывают откуда-то на машинах. В любую погоду, в ветер, жару и дождь. Их много. А он такой молодой и сильный.

— Придешь домой, — он опять вставил крепкое слово, — упасть охота, больше ничего! Вот однажды выпили с ребятами, ну, типа, дай-ка, думаем, отдохнём. Погуляем щас... — парень вытянул ноги в проходе и продолжал: — Сидим бухие уже, тут один говорит: пойдём в винный?.. Я бы разве по трезвянке на такое согласился?! А тут... Ну и пошли. А я-то с двери стоял, они мне только пару бутылок в руки сунули. А сами потом сдрейфили и смылись.

Осмыслив то, что он мне поведал, я спросила:

— А где они теперь?

— Где! — усмехнулся парень и опять добавил, как в начале нашего разговора: — Смешная ты. Там свидетели были — потом оказалось. Видели, что не я и грабил. А всё равно на меня повесили.

— Как же... свидетелям-то не поверили? — взволнованно сказала я.

— Это счастье моё было, что не поверили, — возразил мой спутник.

— Почему?..

— А мне бы шесть лет дали за групповое преступление.

Теперь за нами наблюдал, наверное, уже весь автобус — кто с любопытством, кто с осторожностью. Старик, сидевший напротив, окинул нас полным презрения взглядом и поторопился к выходу, протискиваясь через невесть когда появившуюся в салоне толпу народа.

— Домой, в деревню, не хочу ехать. У меня родители такого позора не переживут. Они у меня оба молодцы. Пусть гордятся мной там. Я им писал, что в армии служу по контракту. Они и поверили.

— Но у тебя же ещё кто-нибудь... брат есть, — предложила я, но интонация получилась скорее утверждающая.

Парень посмотрел на меня с глубоким удивлением:

— Откуда ты знаешь?.. Есть, в городе живёт.

— И квартиру снимает. С девушкой. На правом берегу, — выдала я с ходу.

В моей догадке не было ровным счётом ничего удивительного: где же было жить молодому парню из деревни, как не в арендованной квартире; где же было её снимать, как не на правом берегу, ведь там цены дешевле; и как же ему было скучать в этой квартире одному, без девушки?

Но мой спутник был ошеломлён и только прошептал:

— Да...

— А тебя он пускать не хочет. Потому что, говорит, места нет.

Он медленно покачал головой, словно пытаясь избавиться от какого-то наваждения, потом уставился на меня, будто на музейный экспонат: — Ты откуда всё знаешь-то?

— Да я волшебница. Экстрасенс я.

Это была, разумеется, шутка, но мой спутник даже не улыбнулся; наоборот, вздохнул и кивнул как бы понимающе:

— А-а... Понятно всё с тобой. Да, знаешь, я сам к брату не хочу. На фиг я ему нужен. У него Алина. Шас вообще время такое, что все друг друга забывают. Не хочу я на шею ни у кого сидеть. Как-нибудь сам вылезу, — и, вздохнув, прибавил: — Только грустно вот, что Новый год на носу. Ты, поди, уже подарки получила, — укорительно заметил он. — А мне-то ждать нечего.

Я призналась, что и впрямь получила: ведь как же было отказаться, если они лежали у меня с собой, в красном рюкзаке?

— Ну а куда ты пойдёшь?

— Не знаю, — очень просто сказал парень. — Пойду куда-нибудь.

Мне вдруг захотелось открыть рюкзак, высунуть между нами на сиденье всё его содержимое — китайскую керамическую собачку, свечку, орехи, ручку, — всё это барахло, которое там лежало. Тогда у меня всё ещё сохранялась детская, перенятая у мальчишек привычка постоянно носить с собой разные полезные вещи: складной ножичек, верёвочку, сложенный кусок фольги, фонарик и тому подобное. И эти вещи я бы тоже вытряхнула. И всё, всё подарила ему.

Мои пальцы теребили шнурок рюкзака, но я боялась выглядеть глупо — не перед всеми, кто ехал в автобусе; нет, я боялась, что он будет смеяться.

Тогда я достала из кармана свою почти новую пачку жевательной резинки и сказала парню:

— Возьми... вот, я тебе дарю! Я тебя поздравляю с Новым годом.

Он взял жвачку, немного повертел её в руках и насмешливо поблагодарил:

— Хороший у тебя подарок. Весь год буду жевать, вспоминать.

Я вдруг почувствовала себя неприятно — и потому, что мне есть куда ехать, и потому, что сказала, наверное, что-то не так. Потерев варежкой автобусное стекло, я увидела, что совсем скоро мне надо выходить.

— Ну ладно, — выдохнула я. — Мне идти надо. Моя остановка.

— Что, пойдёшь? — спросил он таким тоном, как будто не мог или не хотел в это поверить.

— Ну... а как? — пожалала я плечами.

Он ничего не ответил и даже не посмотрел на меня больше.

Я расплатилась за проезд, вышла на свою остановку, а автобус всё стоял и не трогался с места — мне показалось, что очень долго. И вообще хотелось думать, что так он и будет стоять всегда. А когда маршрутка наконец поехала, мне захотелось побежать за ней. Но всё-таки, преодолев себя, я осталась стоять и просто глядела ей вслед. Заднее окно в салоне было плотно задрнуто синими шторками, да и без шторок я бы ничего не увидела из-за тонкой ледяной корочки, покрывающей стекло.

Я ещё тогда не знала, как много их в городе — людей, таящих в своём сердце глубокую обиду на судьбу, — старых и средних лет, совсем молодых, как мой спутник, и даже подростков.

Отвёртка

Димка никогда не видел отца. Если не считать, конечно, маленькой, три на четыре сантиметра,

чёрно-белой фотографии. Прошёл уже год с тех пор, как мама, перебирая в ящиках альбомы и документы, впервые показала ему эту фотокарточку. Он как раз готовился пойти в первый класс.

— А это, Димочка, знаешь кто? — каким-то неестественно высоким голосом спросила она тогда у сына.

Димка честно и равнодушно ответил, что не знает.

— Папаша твой, вот кто! — выпалила мать в Димку четырьмя сердитыми словами. И добавила уже спокойнее: — Полюбуйся вот, посмотри. . .

Димка сразу потянул руку, чтобы достать фотографию. На маленьком кусочке картона запечатлено было мужское лицо с некрупными правильными чертами.

— Красивый, — оценил Димка. — Жалко, фотка не цветная. А какие у него глаза?

— Голубые.

— А волосы? — Димка безошибочно почувствовал, что в этот раз мама может наконец кое-что рассказать, и обрадовался.

— Ну, обычные такие. . . русые.

— А не толстый он был?

— Почему толстый-то? — мать как будто даже оскорбилась. — Стройный он был, красивый. . .

— А высокий?

— Среднего роста.

— А. . . — Димка думал, о чём бы ещё спросить — а то забудет. — А он умный?

— Да, наверное, не дурак, — хмыкнула мать.

— А он на коньках любил кататься? — Димка научился в минувшую зиму немного ходить на коньках и потому спрашивал.

— Не помню я что-то. Не знаю.

— А что он любил?

— Что! Водку пить да по бабам ходить! — внезапно взвилась мать. — Зачем он тебе вообще? Нет его, и ладно!

Она замолчала и стала убирать фотографии под плёнки в большой альбом.

— А ты. . . точно не знаешь, где он? — не унимался Димка.

— Не знаю я, где этот козёл, — мать старалась не смотреть на сына. — Как семь лет назад пропал, так ни слуху ни духу.

— Может, потерялся? — предположил Димка. — Ушёл в магазин и не вернулся. По телевизору же такое показывают. Ты в милицию бы заявила, — наставительно посоветовал он.

Мать неожиданно закатилась смехом:

— О-ой, ну и глупый ты ещё. Ну и глупый.

Димка немного обиделся: что это он глупого сказал? — но расспросы на время прекратил. Об отце он только и знал, что того должны звать Вадимом, ведь он, Димка, взрослым станет Дмитрием Вадимовичем. Мать никогда ему об отце раньше не рассказывала, когда он спрашивал, — только

ругалась или ограничивалась фразой: «Нет у тебя папы». Димка не очень понимал: как же нет, когда у других есть, и некоторые папы у его одноклассников даже приходят в школу. Правда, про Никиту рыжего тоже взрослые говорили, будто у него отца нет, но и с Никитой стало со временем всё ясно, он сам Димке рассказал: «Мой отец на другой улице живёт, в другом районе. Там тётка у него кудрявая, мама видела. Она туда ездила и ругалась». Глупый у Никиты папка, подумалось тогда Димке: уехать от жены и сына к какой-то тётке, пусть она и кудрявая. Но хотя бы глупый, да есть, а у него, Димки, говорят, совсем нет. Как же так?

Димка не говорил маме об этом, но решил, что когда ему будет уже шестнадцать лет или, лучше, восемнадцать, он обязательно найдёт отца. По правде говоря, у Дмитрия появилась одна гипотеза насчёт папы: может быть, он — агент секретных спецслужб, и ему пришлось семь лет назад срочно уйти на задание государственной важности. Правда, мама сказала, что никакой отец не агент, даже не милиционер и не военный, что просто техник-механик, и ещё смеялась. Но Димка начал догадываться, что мама-то, наверное, тоже не всё знает. Техник техником, а задание никому раскрывать нельзя.

Стояли последние дни лета. Давно пожухли и покрылись некрасивой ржавчиной листья тополей, но остальные деревья ещё зеленели пышно и сочно, не желая пока признавать, что не за горами холода и неуютные осенние ветры. Только с балконов, с верхних этажей было видно, как отметились жёлтым самые верхушки раскидистых клёнов. Во дворе астры, посаженные местными бабушками, развернули белые, розовые и фиолетовые махровые звёзды, и буйно зацвёл за домом на пустыре жёлто-оранжевый топинамбур, крепко державшийся на своих толстых тёмно-зелёных стеблях. Димка очень его любил и называл «шоколадные цветы» за тёплый маслянисто-ванильный запах, и впрямь напоминающий аромат хорошей плитки шоколада.

Комнату ярко освещало вечернее летнее солнце. На улице, похоже, ничуть ещё не похолодало, и Димка подумывал уже, не выйти ли ему погулять. Правда, с утра он уже был на улице, но к обеду, как и его приятели, проголодался, разогрел дома приготовленный мамой суп, а потом включил телевизор — да так и засиделся возле него. Не то чтобы все передачи казались Димке очень уж интересными, однако от себя почему-то не отпускали уже несколько часов.

Всё же, решив только досмотреть начавшихся «Смешариков», Димка принял решение идти гулять. Тем более скоро осень и школа, а там не очень-то разгуляешься — сиди дома да пиши, мама строго смотреть будет. . .

От мыслей о школе Димку отвлек стук в дверь. — Мам, ты? — спросил он на всякий случай, хотя и так был уверен, что это мама. Наверное, ключи утром забыла.

За дверью молчали.

— Кто? — деловито спросил Димка, давно наученный и дома, и в школе осведомляться, кто пришёл. — Дима, ты? — спросил его в ответ чей-то мужской незнакомый голос.

Димка отчего-то заволновался. Встал на цыпочки, чтобы хорошо было видно в глазок.

— Я! — крикнул он погромче, чтобы за дверью точно услышали, не ушли.

— А я, это... Папа твой. Открой.

Дрожащими руками Димка повернул колёсико замка — один оборот, ещё один! Ручка вдруг показалась ему тяжёлой — так хотелось, чтобы дверь распахнулась сама собой, а она открывалась уж слишком медленно.

За дверью стоял человек лет тридцати пяти, широкоплечий, одетый в серую рубашку не первой свежести и выдавшие виды джинсы, с заметной щетиной на вспотевшем лице. В руках у него были полупустая чёрная сумка и пластиковый пакет. — Привет, малый, — небрежно-ласковым тоном обратился он к Димке и, проходя прямо в кедах на кухню, потрепал мальчишку по тёмным волосам.

Димка даже не улыбался, только смотрел зачарованно, заботливо следя за каждым шагом долгожданного гостя. Гость же тем временем плеснул себе в чашку кипяточку из чайника, попробовал лежащее в большой стеклянной вазе песочное печенье.

— Это мама пекла, — сообщил Димка. — Вкусно, да? — Мама умница, это однозначно, — согласился гость, энергично жуя и прихлёбывая чай.

Димка так много хотел спросить и сказать, так многим поделиться, но в горле у него словно засел какой-то комок, мешавший говорить, и только одно пришло на язык:

— Папа, а ты где раньше был? На задании?

— А? — не понял вначале гость. — Чего?

Димка решил, что, может быть, отец не хочет рассказывать, но ведь он-то, Димка, всё уже знает, догадался.

— Ну, ты ведь не просто ушёл... тогда, а тебе надо было на задание?

Гость внимательным, умным взглядом посмотрел на застывшее в ожидании лицо мальчишки, потом улыбнулся какой-то скользкой улыбкой и подтвердил:

— Конечно. По работе нужно было.

— Я так и решил, — у Димки стало легко на сердце, и говорить получалось уже проще. — А мама думает, что ты потерялся... А ты её видел?

Гость внезапно замаялся и перевёл разговор на другую тему:

— Ну, ты как живёшь-то вообще?

Димка, сбиваясь с одного на другое, поведал, что он скоро пойдёт во второй класс, что в их классе девочек больше, чем мальчишек, а учительница очень хорошая — добрая и всё знает, что он больше всего любит урок, который называется «Окружающий мир», и ещё в школе любит столовую. Рассказал про рыжего Никиту, про других своих приятелей, про то, что умеет кататься на коньках и варить пельмени, и какие любит мультики... А гость слушал всё это и время от времени кивал, и Димка чувствовал себя счастливым.

— Папа, — остановил он наконец свой бесконечный рассказ и попытался взять отца за руку, но тот руки убрал. — Ты же теперь к нам совсем пришёл, да? Насовсем, да?

— Да нет... видишь, насовсем не получится. Мне идти надо.

Димка недоверчиво и еле слышно протянул:

— Почему опять?..

Гость неожиданно встал, окинул взглядом всю маленькую кухню, в которой, кроме покрытого свежей клеёнкой стола, стоял ещё старенький зеленатоватый гарнитур, плита да холодильник, и пробормотал что-то вроде:

— Плита знакомая...

Потом повернулся к Димке и продолжал уверенным уже тоном:

— Ты слышь, малый, я в ваши края по делам забежал. Ты скажи, у вас отвёртка есть?

Димка послушно кивнул. Он знал, где мама хранила инструменты, и, качнувшись пару раз от тяжести, принёс отцу на кухню большой деревянный ящик, в котором лежали и молоток, и плоскогубцы, и дрель, и даже маленькая пила. Отвёртки были аккуратно завёрнуты в отдельный пакет.

Димка молча глядел на отца, на его руки, развернувшие этот пакет и перебирывавшие теперь отвёртки. Слишком большие были сразу отложены в сторону, затем убраны плоские... Димке казалось, что время начало течь тихо-тихо, и руки отца двигались чересчур медленно; странной была и просьба отца, которого он так долго ждал, — странной, потому что слишком уж обыкновенной, будничной.

— Пап, а зачем тебе отвёртка?

Гость ничего не ответил на это, убрал нужную ему отвёртку в карман — маленькую, крестовую, — и Димка понял, что он сейчас уже уйдёт и, наверное, больше ничего не скажет.

Но почти перед самой дверью он спросил:

— Ну, как вы тут вообще живёте-то, нормально?

— Нормально, — пожал плечами Димка.

— Ну и славно, — гость немного замешкался, шарил по карманам джинсов и достал оттуда полпачки каких-то жевательных конфеток. — На, это тебе.

Димка машинально взял конфетки и, уставившись в стену, снова задал тот же вопрос:

— Зачем тебе отвёртка?

Гость подхватил свою чёрную сумку и коротко попрощался:

— Ну, бывай.

Димка сел в коридоре на тумбочку. Время по-прежнему текло медленно, а он не двигался, так и сидел и не знал, сколько уже прошло — две минуты или, может быть, двадцать. Скоро должна была вернуться с работы мама, и тогда, наверное, время опять станет обычным. А пока...

Димка съел уже почти все конфеты из пачки, осталась только одна, которую он поначалу хотел сохранить на память. Но, подумав немного, решил, что это ни к чему, — съел и последнюю. Она оказалась со вкусом винограда.

Всё похоже на то, как мама говорила: роста среднего, не худой и не толстый, и что умный — тоже правда. И глаза...

Димку внезапно кольнуло что-то изнутри. Как же это он забыл посмотреть, какие у отца глаза? Карие, как у них с мамой, или всё-таки голубые? Забыл, забыл!

Он корил себя за такую оплошность: запаматовал, не посмотрел, а теперь следующей встречи долго ждать — может быть, до тех пор, пока он не вырастет. Шевельнулась в Димке мысль: да будет ли она, эта следующая встреча? — и тут же, словно ящерица под камень, ускользнула, пропала.

В дверь постучали. Димка открыл, ничего уже не спрашивая, и удивился, снова увидев на пороге отца.

— Пакет забыл, — пояснил тот своё возвращение, растерянно улыбнувшись.

Димка всё-таки ухватил его за руку, чтобы легче было поймать взгляд. Глаза у отца оказались вправду ярко-голубыми, только белки были какие-то изжелта, будто у старика, да само лицо — красное, одутловатое.

— Ты что это, малый?

— Ничего, — спохватился Димка. — Ты приходи ещё.

— А... Приду, приду...

Мать вернулась на час позже обычного — заходила в магазин за продуктами. Сбросив тяжёлые сумки у порога, она облегчённо выдохнула:

— Ф-фу. Донесла.

— Тяжело? — спросил Димка. — Ты бы не носила много.

— Да? — усмехнулась мать. — А кто мне носить будет, ты?

— Я, — ответил Димка.

— Ну, давай, давай... Я тебе список напишу в следующий раз, отправлю... Как день прошёл?

— Я отца видел.

— Кого?!

Димка потупился, повторил ещё раз:

— Отца видел. Он приходил. Отвёртку забрал.

Мать заголосила, запричитала. Первым делом забежала в комнату, посмотрела, всё ли цело. Но компьютер и телевизор — всё их нехитрое богатство — стояли на своих местах. Мать метнулась на кухню, проверила серебряные ложки; загрохотав кастрюлями, посмотрела, лежат ли ещё под ними спрятанные в коробочку деньги. Всё было сохранно.

— Ой, о-ой, — продолжала стонать она. — Так это он, может, проверить приходил. Теперь адрес знает. Теперь выследит, когда никого дома не будет. О-ой. — Кто выследит? — не понял ничего Димка.

Мать закричала, заругалась уже на Димку, сокрушаясь, что сын у неё такой глупый, открывает дверь кому попало, и когда же, наконец, даст Бог побольше ума ему, чтобы соображал хоть что-нибудь.

— Привёл вора в квартиру, ну что за ребёнок-то, что за безмозглый!

— Это не вор! — выкрикнул Димка отчаянно.

— А кто же? — горько усмехнулась мать.

— Это не вор, — твёрдо повторил сын. — Это отец. Он меня по имени назвал. И тебя он знал. И плитку сказал, что помнит. И ещё... — Димка подыскивал главный козырь. — Он прямо как тот, на фотке. Глаза голубые.

Мать посмотрела на него со страхом и растерянностью:

— А что он тебе сказал? Когда пришёл? Как ты понял?

— Как, как, — хмыкнул Димка. — Он же сам сказал: «Это я, твой отец».

Мать внезапно засмеялась каким-то неестественным, диким смехом:

— Ну неужели... Неужели правда, а? Как таких козлов земля носит? Да что же он не сдох ещё где-нибудь под забором? Что же он ходит-то ещё, сволочь? Сгнить бы ему где-нибудь побыстрее от своей водки!

Димка испуганно слушал её. Мать и раньше говорила похожие слова в адрес отца, но тогда было отчего-то нестрашно, а теперь вот страшно. Казалось, что всё напророченное в самом деле может сбыться. Да и взгляд у матери был до того дикий, недобрый, что поневоле становилось не по себе.

— Не говори больше, — дёрнул он её за рукав. — Мама, не говори!

Она не послушалась, а Димке хотелось сделать всё что угодно, лишь бы она замолчала. Неожиданно для самого себя он заплакал.

— Сынок, да ты что? — встревожилась мать. — Да забудь ты про этого урода. Ишь, приходил он... Забудь, сынок! — она прижала мальчишку к себе. — А может, всё-таки это и не он?..

Часов уже в девять мать позвала к себе соседку, тётю Валию, как называл её Димка, — поделиться накипевшим. Пока они сидели на кухне, Димка

в комнате возился с конструктором, и до него долетали обрывки их разговора.

— ...А он мне как бухнет: «Отец приходил». Ну ты что, ты представляешь, я ж в осадок выпала!

— Напугаешься тут. Мои девки большие, а ума тоже нет. Тоже бы вот кому попало открыли, — поддакнула тётя Валя, у которой были две дочери старше Димки — одной двенадцать, другой четырнадцать лет.

— Твои-то хоть не поверили бы, что отец. Знают, какой отец... У них есть...

Тётя Валя посчитала нужным как-нибудь поругать своего мужа, чтобы поддержать разговор: — Да что он там! Сам как ребёнок. Только и ухаживай за ним. Всю жизнь я с ним вожусь... Денег от него не дождёшься...

Димкина мать соглашалась, чувствуя себя как-то лучше от этих, пусть и не очень искренних, жалоб своей приятельницы.

— Слушай, я думаю, это правда твой бывший приходил, — вдруг серьёзно сказала тётя Валя.

— Думаешь?

— Да я тут слышала... бабы говорили, будто он квартиру хочет продавать. Помнишь, там же долг у него был.

— Мне ли его дела не помнить? — громко сказала мать.

Димка в комнате насторожился.

— Так, может, засудили за какие долги, — предположила тётя Валя. — Вот и приехал квартирёнку свою продать.

— Чтоб ему под забором где-нибудь валяться! — воскликнула мать с такой нескрываемой радостью,

что Димка опять испуганно вздрогнул. — Пришёл, сволочь, попроведовать ребёнка. Ребёнок его ждал, ждал! А он, подлюга, конфетку ему принёс. Не подавился же своей конфеткой!

— Ой, да ладно тебе, — попыталась унять соседку тётя Валя. Видимо, ей тоже было не очень приятно слушать эти пожелания. — Интересно только, зачем отвёртка ему понадобилась?

— А хрен знает. И отвёртку-то хорошую унёс. Ну, Валя, не сволочь ли? Ребёнок-то теперь не простит его никогда, подрастёт — проклянёт... Это же надо таким козлом быть, забыть про родное дитя... — мать понемногу успокаивалась, говорила тише.

— Да ну его на фиг. Что ты всё про него вспоминаешь? Любишь ещё, что ли? — хохотнула тётя Валя.

«Ну вот, мама теперь больше рассердится», — огорчённо подумал Димка.

Но она, к удивлению Димки, тоже засмеялась, правда, невесело:

— И не говори. Ну его к чёрту. Ты по Первому кино-то новое смотришь? Вчера третья серия была...

Димка убрал конструктор, забрался с ногами на диван. Совсем скоро закончится лето, он пойдёт в школу и там сможет всем рассказать, что видел отца. Хоть один раз, но видел. Мама говорила, что он никогда не придёт, но он всё-таки пришёл. И пусть все говорят что хотят. Всё-таки он приходил, и это точно был он — глаза голубые. Он пришёл, а значит, не забыл, и он, Димка, от этого был счастлив.

Он был счастлив.

Кирилл Анкудинов

Бег горносталя

В пространстве современной поэзии нескончаемо длится потешный бой между Простотой и Сложностью.

Я и сам поучаствовал в нём, но теперь он стал меня раздражать.

Почему-то принято по умолчанию считать, что Простота неотделима от *кондовости*. Что Простота—это кондовость. Пускай даже красивая, грамотная, благородная, лаконичная—но кондовость (а чаще всего кондовость уродливая, безграмотная, косноязычная, примитивная—кондовая кондовость).

Пользуясь этим удобным обстоятельством, Сложность отводит глаза от себя; в её сторону не глядят—и не замечают, что сама-то Сложность ныне тоже какая-то сомнительная—то ли шарланская, то ли по-епискодовски нелепая.

Между тем Сложность и Простота в хороших стихах—вовсе не взаимопротиворечат.

Стихотворение может быть каким угодно сложным, закрученным, навороченным, изысканным, тончайшим, ультрасовременным—важно, чтобы в своей основе оно было нормальным. То есть *простым*—первой, изначальной простотой.

Сложность в форме, простота в корне—вот оптимальное для меня сочетание.

Именно поэтому я так люблю стихи Алексея Корецкого.

Алексей Корецкий—на мой взгляд—входит в тройку лучших поэтов моего поколения («поколения сорокалетних»).

Между тем для «актуальной поэзии» (и для критики о поэзии) его почти нет.

При том, что он—в определённой мере—ставил на крыло всю нынешнюю «актуальную поэзию» (и критику о поэзии тоже).

Судите сами. Я открываю оглавление третьего номера альманаха «Окрестности», составившегося Корецким и его друзьями (этот номер вышел в 1999 году). Дмитрий Воденников, Данила Давыдов, Ольга Зондберг, Евгения Воробьёва, Станислав Львовский, Григорий Дашевский, Дарья Суховей, Татьяна Милова, Наталья Черных, Юлий Гуголев, Илья Кукулин, Яна Токарева. А в следующем, четвёртом номере «Окрестностей» (2000 год) к ним прибавляются Мария Степанова, Николай Байтов, Лев Усыкин, Санджар Янышев, Фаина Гримберг, Андрей Поляков, Олег Дарк...

Это я ещё многие имена не назвал.

И никто сейчас Корецкого даже не упоминает—за исключением благородной Натальи Черных и сверхактивного Данилы Давыдова.

Вопиющая несправедливость и неблагодарность!

Конечно, этот поэт—«тихий лирик» и принципиально не раскручивает себя (до меня доходят слухи, что он намеренно порвал с «литературным цехом»; не знаю, так ли это). Ну и что?

Как дать читателю представление о личности и о поэзии Алексея Корецкого?

Указываю три ориентира: аристократизм, хиппизм и «тихая лирика»—маргинально-советская (точнее, внесоветская)—Георгий Оболдуев, Виктор Соснора.

Начну с аристократизма: Алексей Корецкий—московский аристократ.

(Нет, это—не то, о чём подумал читатель: пресловутые «ма-а-асквичи» с их бессердечным самодовольством—преимущественно отпрыски «понаехавших» в третьем или в четвёртом поколении).

Алёша Корецкий же—из древнего шляхетского рода, переселившегося в Москву очень давно; он—прямой потомок (если я не ошибаюсь, правнук) малоизвестного поэта начала XX века Николая Владимировича Корецкого (об этом поэте бегло упоминают Блок и Розанов). У Алёши Корецкого на полке—настоящая кружка, которую раздавали москвичам на Ходынском поле в 1896 году (фамильная). Сокровище поценнее бриллиантов (бриллианты сейчас сплошь и рядом фальшивы, но честная глина ходынских кружек—недоступна для подделок).

Хиппизм? Да, и он тоже. Корецкий прошёл через «систему», впервые опубликовался в журнале «Хиппилэнд» (помнит ли кто этот журнал?); я познакомился с Корецким в знаменитом хиппийском «Лавстрите», доживавшем последний сезон (1994–1995 годы).

(Нет, я—не хиппи; просто тогда, в середине девяностых, я старался посетить все литературные тусовки Москвы.)

Хиппизм—опыт, важный для моего поколения. Слабых он погубил, сильных закалил, аристократов снабдил впечатлениями.

Ну и литературные влияния. В первую очередь — Соснора. Но не ранний (древнерусско-авангардный) и не поздний (закрученно-громыхающий, жестяной), а — «средний». Был у Сосноры период, когда он писал тишайшие стихи (вроде «Овечьей баллады», «Не гаси, не гаси наш треног...») или «Ты уходишь, как уходят в небо звёзды...»).

Неотразимо-сентябрьская буро-золотистая сухо-усталая травянистость ранних стихов Корецкого — от него, от Сосноры.

Припомнишь и свет, и урон
в каком-то давнишнем знакомстве,
где церкви, пугая ворон,
дробят тишину в пустозвонстве,
да листья — летят под уклон
в осеннем своём вероломстве,
с каких ни посмотришь сторон.

(«В предвиденье зимних застав...»)

Впрочем, и «плотность стихового ряда» других ранних стихов Корецкого — тоже от Сосноры (а не от Пастернака, как может показаться; Пастернака Корецкий не любит, он любит Мандельштама, Оболдуева и Соснору).

Плавная, где и куда
в тёмном своём переходе,
славная эта вода,
словно — срывая поводья
полуистлевшего льда,
злостью шального отродья
овладевает, когда
полем ведёт половодье.

(«Притчи зимней реки»)

«Плотность стихового ряда», накладывающаяся на пейзажную тему, в русской поэзии — далеко не новость; когда она сопрягается с социальным анализом (не с политагитацией!) — вот это новость (ну, всё же не вполне новость — достаточно вспомнить того же Оболдуева, — но кто ж читал Оболдуева?).

Алексей Корецкий — поэт социальный. Но не «агитатор, горлан, главарь», а историкософ и социософ. Тихий социальный лирик.

Так ли уж он тих?

Вот ещё одно раннее стихотворение Корецкого, некогда потрясшее меня (теперь я вижу, что оно сыровато, что в нём есть и неточно употреблённые слова, и наивности, и непереваренный хиппийский сычуг, и демонстративно-отроческий романтический антиклерикализм; но всё равно это стихотворение до сих пор продолжает меня изумлять).

Есть ручной инородец и те, кто его обманули.
Есть дарённый народец, и есть одарённые пули.

Есть плачевная радость растратить пещерную силу —
петь баллады увечному стаду, извечному илу.

Ведь стеклянный колпак лаборанта —
сродни шутовскому;
ведь вакантное место ваганта меняют на кому.

Впредь сменяются лишь имена, но пронзают, как вертел,
игры в карты на местности сна с применением смерти.

Эти игры — играют в людей, ставки делают ставки.
Эти циркули очередей циркулируют в лавки.

Золочёные главки церковей смотрят в рот —
родовому отродью,
где гиперболы Брейгеля лоснятся кровью и плотью;

где мешает стоять на ногах постоянная планка, —
до последнего бьётся в висках окаянная Янка.

(«Есть ручной инородец...»)

То, на что добросовестному политологу потребовалось бы двести страниц, уложено в две строки: «Эти игры играют в людей, ставки делают ставки. Эти циркули очередей циркулируют в лавки» — самовзводящийся, самовоспроизводящийся, самопорождающийся кризис как коллективная эрик-бёрновская игра. И так всё это подано: с водоворотным драйвом, с лихими внутренними рифмами, с умопомрачительными омонимами и паронимами, с тонкими интонационными соответствиями — и с едва ли не физическим ощущением ужаса...

Ведь может быть и такая поэтическая сложность — информативно нагруженная, точнейшая во всём, трагическая, ответственная, взрослая. Не шарлатанская (как у Аркадия Драгомощенко или как у Алексея Цветкова-старшего). И не геллертерская, схоластически-начётническая (как у Александра Скидана).

Поздняя поэзия Алексея Корецкого — суше, подбористее ранней, спокойнее (на внешнем плане). Но она столь же социально точна.

Как за ширмой прищуренных век,
Марракотовой бездной
над погасшей страной полыхает неведомый век —
не серебряный и не железный.
(«Как за ширмой прищуренных век...»)

А вот — убийственный вердикт пресловутому «постмодернизму»...

ни малейших напрягов
ни малейших разборок
ни малейшего флага
ни малейшего в гору

ни малейшего крика
ни малейшего в ногу

ни малейшего лика
ни малейшего бога

(«ни малейших напрягов...»)

Алексей Корецкий — консерватор (как оно должно быть аристократу). Не коммунист, не националист, не расист, не монархист, не клерикал, не евразиец — а именно консерватор в стиле Черчилля или Константина Леонтьева.

Алексей Корецкий не выносит «всеразъезжающую щёлочь — демократическую сволочь»; но и в отношении «простого народа» не питает различинских иллюзий. Это не значит, что он склонен ненавидеть, презирать или клеймить «простой народ» — нет; он всего лишь не питает иллюзий в отношении народа. И говорит об этом легко и изящно, никого не обижая, — через аллегорию и с очаровательно-хрустальной «карамзинской» иронией.

Как ни вталдычится в народе
любовь к природе —
она останется навреде
любви к свободе:

они прекрасны на словах
и уши нежат...
На практике ж полнейший швах:
инструментует этот крах
зубовный скрежет —
флиртуют слепни в воздушях,
да травы режут
стопы доверчивых нерях.
(«Как ни вталдычится в народе...»)

В самом деле: интеллигентское умиление перед «простым народом» — всё равно что руссоистское умиление перед природой (или либертарианское умиление перед свободой). Народ, свобода, природа — ведь это стихии, да и опасные притом. Умиляться народу — всё равно что умиляться шаровой молнии или амурскому тигру, спешить к ним с поцелуями. Впрочем, клеймить народ — всё равно что бить палкой шаровую молнию или амурского тигра; так ещё хуже.

Алексей Корецкий и к самоё человеческой природе относится без иллюзий («Человек по природе — отнюдь не бобр, человек по природе — ничуть не бобр, человек по природе — подл...»; «Человек по природе — лох. Человек по природе — плох»). Ключевое слово тут — «по природе». Всё, что «по природе», — сомнительно, если не отвратно. Хорошо то, что *сверх природы*, выше природы.

Если это — мизантропия, то пускай такой мизантропии будет побольше. «По плодам их — узнаете их». Много человеколюбцев, рядом с которыми жить невыносимо, душно, тошно; хочется убежать на край света от их «човеколюбия». Алексей Корецкий — (как бы) мизантроп, но и от него самого, и от его стихов — тепло.

И природу он любит — бесконечно (видя в ней именно природу, а не абстрактно-руссоистский объект поклонения): коллекционирует богомоллов,

обожает собак, черепах, аквариумных рыбок, боготворит котов и кошек.

Грустной песенкой вибрирует колонка,
льётся из окошка пыльный свет.
Только что погибшего котёнка
я пишу портрет.

Ручкой шариковой на тетради в клетку,
синей линией — а был он бел,
и хотя бы тёмную какую метку
он имел бы — нет ведь, не имел.
(«Сашенька»)

К слову, девять из десяти поэтов выдали бы: не «я пишу портрет», а «тй-та-та-та я пишу портрет» («на тетради я пишу портрет», «очень долго я пишу портрет...») — по инерции размера.

Алексей Корецкий — поэт с индивидуальным звучанием, с тем, что принято называть «авторской просодией» (редкий случай в современной поэзии).

Но ведь просодия — это не только «звуки», не только «фонетическая инструментовка», не только аллитерации и ассонансы, паронимы и паронимазии.

Просодия — это ещё и *ритм* — вкуче с размерами, интонациями и т. д.

Вот, к примеру, в первой строфе «Сашеньки» — чистый (но разностопный) хорей: первая строка — пятистопный хорей, вторая и третья строки — четырёхстопный, четвёртая строка — крутая воздушная яма двустопного хоря. А во второй строфе хорейская канва задрожала, растянулась в дольник — словно губы человека, сдерживающего слёзы.

Современная русская поэзия переживает кризис ритмики. С одной стороны, интернационально-глобалистский верлибр русскому стиху — почти не нужен (за редчайшими исключениями). С другой стороны, «квадратики-коробочки» ямбов-хореев-дактилей — устали, больше не могут выдерживать лирическую нагрузку. С третьей же стороны, «разрыхление силлабо-тоники» — чаще всего — приводит к «просодическому целлюлиту», к стиховым вялостям и проседаниям. Куда ни кинь — всюду проблемы.

Выход из кризиса — в умелом применении разностопности и вариаций в междуударных интервалах-иктах (то есть в использовании дольников и тактовиков). В сочетании с соответствующими строфическими, интонационными и синтаксическими решениями (сверхдлинными предложениями, анжамбеманами и т. д.) всё это может стать сверхмощным версификационным инструментарием.

Алексей Корецкий — виртуоз такого инструментария; его стихи — не «тупо-квадратные», не «рыхлые» и не «бесформенные»; они — рельефные; эти стихи играют мускулатурой.

Совпадая с одними,
но с другими совпав не вполне,
это странное имя
что-то мне обещало вдвойне,
что-то явно сулило,
подводило к чему-то, — и вот
умолчанием говорило:
не подведёт.

Надвигается осень,
крупным планом на десять недель,
к ритмизованной прозе
провоцируя. Медленный хмель
тянет усики к тучке-толстушке...
До чего бессюжетно-длина,
достигая какой-нибудь Кушки, —
тишина.
(«Совпадая с одними...»)

Я ловлю себя на том, что испытываю почти физическое удовольствие от этой твёрдой и гибкой ритмики — словно от езды по высокой изгибающейся насыпи на стремительной электричке. А здесь ещё и образные находки: «медленный хмель», который «тянет усики к тучке-толстушке», безразмерная тишина, «достигающая какой-нибудь Кушки»...

Привыкнув делить всех поэтов на «колористов» и «графиков», я недавно понял, что эта моя типология недостаточна. Алексей Корецкий — не «колорист», не «поэт красок» (может быть, единственная недостаточность его поздней поэзии — бескрасочность); но он — и не «график», не «поэт линий» (как, например, Юрий Кузнецов).

Алексей Корецкий — это поэт-скульптор. Добавлю: скульптор-абстракционист. Он — поэт рельефов и контррельефов, фактур и ритмов, состояний и концепций, впечатанных-впечатлённых в единой строке. Стихи Корецкого могут показаться чересчур абстрагированными, слишком интеллектуальными (если понимать интеллектуальность не как модничанье, а как тягу к «чистому умозрению»; как интеллектуальность Канта и Гегеля, а не как (псевдо)интеллектуальность Бегбедера и Тарантино). Корецкого выручают огромный словарный арсенал и умелая цепкость мысли.

Восхождение рассвета
совершенно чужого неба.
Был разорван на Да и Нет,
а теперь — один.
И не вымолить вето,
так мгновенно разгадан ребус.
Где стекается столько Лет —
не бывает глубин.

Глубина никогда
не одно и то же, что — бездна;
и слова «измерить» и «верить»

рифмовались не зря.
Но такая вода
возвращает любому трезвость,
как бесценный опыт империй —
обращает рабов в князя.
(«Стихи о смерти»)

Кстати сказать, *такими* стихами Корецкого я восторгаюсь — но они не относятся к числу самых моих любимых. В этих стихах Корецкий — чересчур интеллектуал (в ущерб себе-лирику).
Ведь он — в первую очередь лирик...

Ну и что же, что не спится?!
Не грусти, не свиристи.
Это время мокрой птицей
умещается в горсти.

Не разнять чужие розни
беспробудных голосов
потому, что слишком поздний
век на чашечке весов.

Так сворачивай скорее ж:
хватит лесенки плести,
если всё, что ты имеешь,
никому не унести;
если всё, что ты жалеешь,
умещается в горсти.
(«Ну и что же, что не спится?!»)

Стихотворение это, между прочим, «с историей», да ещё и с «исторической историей» (прошу извинения за тавтологию). Оно было написано в начале октября 1993 года, во время штурма «Останкино». Алексей живёт недалеко от «Останкино» (в районе Преображенской площади). Он видел в окно, как летали разноцветные трассёры боевых очередей (по его словам, «это было похоже на новогодний фейерверк»); вдруг ему стало невероятно грустно — и написался стишок.

Но даже если бы я не знал об этом...

Я часто думал о том, что этот стишок... не скажу «шедевр» (на меня все зашикают), выражусь мягче — лирический эталон. Такой же, как «В горнице моей светло...» Николая Рубцова или «Полюбил бы я зиму...» Иннокентия Анненского.

Напоследок вспомню ещё одно раннее стихотворение Корецкого — не только самое моё любимое, но ещё и знаковое (я бы даже сказал, тотемное). Кстати, автор его исправлял — и, на мой взгляд, портил исправлениями. Я приведу это стихотворение в первоначальном, неисправленном варианте...

Захваченный стайкой несладких снов,
Бежал горностайка по складкам снегов,
как будто ища кого-то,
чью хлёсткую власть на себе ощутив,
хотел он упасть, навсегда забыв,
что тенью неслась охота.

Болотные кочки низки и мертвы.
Здесь хочешь не хочешь—будь ниже травы
и тише—даже чем падаль...
Всего лишь зверушка, но вдруг—поймёт:
ловушка не в том, и Охотник—не тот,—
и—скажет... А только—надо ль?!

Мы с ясностью знали на вечность вперёд,
что пуля едва ли с пути повернёт:
Земля не кругла—полога...
но нервы—не невод, а верный аркан,
и Крест—не чета телеграфным столбам,—
отвесная ввысь дорога.

А дробь на излёте провалится в снег—
и к новой заботе зелёный побег
взовьётся в весеннем бегстве...
Пусть к Чёрной Субботе не ждёт и меня
хоть что-нибудь, вроде воскресного дня—
трамплина из смерти—в детство.

Почти без утайки застыв под кустом,
грусти, горностайка, о самом простом,
дыши—никудашной волей!..
А жизнь—на ущербе: скулу свело.
А чёрствое небо—белым-бело—
и снег завершает поле.

(«Охота на горностая»)

Говорят, что аллегория отличается от символа тем, что в аллегории на одно означающее приходится одно и только одно означаемое, а в символе—означаемых может быть бесконечно много. В этом стихотворении—пронзительное означающее и неисчерпаемый потенциал возможных означаемых. «Горностайка»—это кто? Человек? А «Охотник»—кто? Рок? Бог? Что же такое—«охота на горностая»? И что значит это: «пусть к Чёрной Субботе не ждёт и меня хоть что-нибудь,

вроде воскресного дня—трамплина из смерти—в детство»? Неприятие посмертной реинкарнации («трамплина в детство»)? А «хоть что-нибудь»?.. Неприятие хоть чего-нибудь вроде воскрешения? Пожелание «пусть»—в модальности ли неприятия? К чему здесь частица «и»? «Не ждёт и меня»: других (горностайку?) воскрешение не ждёт, так пускай оно не ждёт «и меня». Но одно дело, если оно даровано,—тогда отказ от воскрешения носит характер сознательного этически-экзистенциального выбора («не желаю воскресать ценой чужих невоскрешений!»). Совсем другое дело, если не даровано («не знаю, воскреснет ли другой (горностайка?); может, и я не воскресну, ну, пускай...»).

Вот какая бездна смыслов встаёт из трёх строчек Корецкого.

И она естественна: ведь каждый смертный переживал в уме то, о чём сказано в гениальном двустишии Евгения Харитонова:

Слава Богу, Бога нет.
Слава Богу, есть опять.

Современной поэзии недостаёт метафизического измерения. Пускай даже в каждой строфе этой поэзии по ангелу; ангелы налицо, а живого, изменчивого, колеблющегося сквозняка метафизики—нет. Но где отсутствует метафизика—там «ни малейшего лика ни малейшего бога».

Алексей Корецкий—исключение. Он—поэт метафизичный в каждом своём слове, в каждой своей букве.

И потому его поэзия—не искусственная, а естественная, жизненная и непредсказуемая.

Она—не волочение тяжёлого шкафа и не проезд автомобиля.

Она—лёгкий бег горностая.

Денис Безносков

Отражение

Сдвигология—термин, появившийся в результате дискуссий «буки русской литературы» Алексея Кручёных с искусствоведом Антоном Шемшуриным ещё в 10-е годы прошлого века. Ну и мы сейчас уже попали в 10-е годы нового века. Надо сказать, что почти сто лет к этому термину относились как к чему-то несерьёзному. Например, я помню смех академической аудитории над самим словом, которое я осмеливался в качестве термина поэтики произносить в начале 90-х годов прошлого века.

Мне возражали изящно: «Как вы изволили выразиться, „сдвигология“...»

Вообще, первоначально Кручёных и Шемшурин имели в виду такое известное явление, как стыки в стихотворных строках, часто не замечаемые поэтами, в результате которых рождаются непредусмотренные слова, а следовательно, и смыслы. Наиболее известный пример из Пушкина: «Слыхали ль вы...» Непредусмотренные поэтом «львы» вторгаются в текст и... Но Кручёных, заметивший немало сдвигов у классиков и современников и вдоволь поиздевавшийся, берёт сдвиг на вооружение как приём новейшей поэтики.

Например, он предлагает его использовать для создания новых слов внутри текста, желательно заумных. Естественно, это даёт сдвиг смысла, чем Кручёных и был знаменит. Кроме того, Кручёных практиковал и синтаксические, и сюжетные сдвиги в своих произведениях, а также в литографских изданиях книжек, таких как «МирскОнца». Развивая идеи Кручёных, мы решили придать этому термину бóльшую легитимность и широту. И с этой целью выносим его в обозначение рубрики. Под этой рубрикой мы намереваемся публиковать тексты, которые несколько более, чем другие, сдвигают наши представления о литературе в различных её видах и жанрах. Хотя современного читателя уже вроде бы и ничем особенно не удивишь, тем не менее тексты сдвигологические всё-таки появляются.

Открываем рубрику пьесой московского поэта, драматического писателя, переводчика и литературоведа Дениса Безноскова.

Сергей Бирюков,
президент Академии Зауми

отражение

процесс рождения (и) обратно

it is not

s.beckett

1. сюда

на зелёном потолке между лестницей и лестницей сидит существо с рыбьей головой (она). на большом чёрном кубе. вдруг загоревшись. прожектор задумчиво переводит световектор из угла. в угол. и наоборот.

и опять наоборот.

из угла в угол.

и наоборот.

пауза

вдох

пауза

выдох

пауза

СУЩЕСТВО:

я создаю целлофановый пакет
отграничиваю несколько стопок от
других материй но меня пакуют
эти другие вне покоя
вро де норм
от дель но

ОНТ КРУМ (который всё это время был.

но претворялся):

мне бросили корм

в собачий клюв

я рад я крум

колючий клоп

лип кий клуб

ды ы ыыма

СУЩЕСТВО (*ослепнув теперь окончательно*):
я вижу только половину
твоего лица я слышу
только половину твоего
рта на моих языках по лимону
я выпрашиваю у ослá шум
если прогуливаются двое у
моего медленного кашля
я заметила: у виска шла
пара—парам—пар—

ОНТ КРУМ (*расстроено*):
текст икс тоска искал
таскает такс скат

онт крум разделяется надвое.

*существо с рыбьей головой вытирает левой рукой
слюну. смотрит слепыми зрачками в сердцевину
прожектора. молча приводит доводы за.*

СУЩЕСТВО (*молча*): язык строит мир мне нравится
пункт А по сравнению. поезд с пунктом Б он
пригласил я на ужин в вагон. ресторан моя.
кожа жонглирует позвонками. я. выходит из
утробы отруби в отрешьях требуя воздуха. хотя
бы на полмензурки.

ОНТ КР (*почти разделившись*): не так. не так по-
другому ещё 70. возможно 80. сомневаюсь что
так долго.

УМ: осталось кр. кр. кр! кр.

ОНТ: держи. только помни за болотом—

КРУМ: можно болтать

ОНТ: быть болтом.

СУЩЕСТВО (*монотонно*): ветки оно кркричит. и
дышит дышит дышит и дышит дышит.

пауза

вдох (хором)

пауза

выдох (хором)

пауза

СУЩЕСТВО (*монотонно*): альвеолы. хорда стала
твёрдой. зарос зарос. зарос. пуповина перегрызи
перегрызи. пригрози ножницы. бесстрастной
молитв мне. в коробке. я обещал(а) поджечь
картон. но мне приходилось быть (и) женского.
потолка. ободрал коленки. пахнет не коробка
оно. крикрикричит кручит и дышит дышит
дышит дышит дышит и дышит дышит

ОНТ: я автор

КРУМ: я со автор
авто мобиль.

ОНТ: perpetuumobile

СУЩЕСТВО (*монотонно*): дышит и дышит ды-
шит дышит и пьёт. зелёное молоко слюнные
железы отрастают. я вырастаю в образ. кукла.
кокон. заболевает этим этим. потом аллергия
на. и. головой внутрь некоего простран-
ства ствол дерева. того дерева из которого.
нет клетчатое пространство. одну стопку в
целлофановый пакет.

КРУМ: но как дышать в целлофане?

СУЩЕСТВО (*замешкавшись*): верно. верно. как?
(*молчит*)

ОНТ (*воспользовавшись молчанием*): это брешь
между кругом и квадратом.

крум удивлённо смотрит на него.

*существо с рыбьей головой суетливо что-то бор-
мочет.*

ОНТ: круг может расширяться. я знаю это как
дважды два. уверен. квадрат весь строг. ему
нельзя иначе. у него нет внутреннего потенци-
ала. он уже изначально не рождён. или рождён.
но никуда.

СУЩЕСТВО:
я создавала комнату из стекла
населила её живыми существами

2. отсюда

СУЩЕСТВО (*теперь он*):
но моя комната истекла
кроватю и другими веществами.

КРУМ: круг не может расширяться. это как дважды
два. я уверен. квадрат только строг. и ему нельзя
иначе. у круга нет внутреннего потенциала. он
уже изначально рождён никуда. или не рождён.

онт смотрит удивлённо на него.

существо с рыбьей головой суетливо плачет.

ОНТ (*воспользовавшись плачем*): видите эту брешь.
между кругом и квадратом.

СУЩЕСТВО (*глухонемая*): верно. верно. я превра-
щаюсь в не/ичто.

крум надевает себе на голову целлофановый пакет.

КРУМ: дышу и дышу дышу дышу (*смеётся*)

СУЩЕСТВО (*монотонно*): одна стопка в. простран-
ство клетчатое. нет. из которого дерева. ствол
дерева некоего пространства внутрь головой.
и. на аллергию потом это это заболевает. кокон
с куклой. вырастаю я из образа. отрастают в
грязь слюнные железы. молоко зелёное. пьёт и
дышит дышит дышит и дышит дышит

КРУМ: perpetuumobile дышу.

ОНТ: я со автор

КРУМ: авто
мобиль

ОНТ: я был
автор

КРУМ (*довольно*): автор.

СУЩЕСТВО (*плача. монотонно*): дышит дышит дышит дышит и дышит кричит. крикрикр умно оно онто. коробка не это. несколько стопок. пахнет. колени ободрал потолок. женский. я был. была. иначе приходилось но. картон поджечь. я обещал. в коробке мне молитв ножницы бесстрастно пригрози. перегрызи перегрызи пуповину сам. зарос. зарос зарос. твёрдой стала хорда. альвеолы.

пауза
вдох (хором)
пауза
выдох (хором)
пауза

ОНТ: стал болт.

КРУМ: можно болтать.

ОНТ: только. за болотом помни. держи

ум: кр.кр.кр!кр. осталось (*в панике*) мало меня.

ОНТ КР (*срастаясь*): долго. так что. сомневаюсь 80 возможно 70 лет уже. ещё по-другому так не. так и не

СУЩЕСТВО (*откусывает свои ноги*): хотя бы на полмензурки. воздух. требуя а в отрепьях отрубей утробы из. я выходит позвонками. жонглирует кожа моя ресторан. вагоны я на ужин. в пункт Б он пригласил поезд. по сравнению с пунктом А. мне нравится строить мир языком.

существо с рыбьей головой отворачивается от прожектора. вытирает правой рукой слюну.

онт крум окончательно срастается. нет времени для доводов.

ОНТ КРУМ: таскает скат так
тоска текст икс искал

СУЩЕСТВО (*откусывая свои руки*):
пара—парам—пар—
я вижу только половину
моего лица я слышу
только половину моего
рта на твоих языках по лимону
ты выпросил у ослá шум
если мой воздух моет гость
ты мой медленный кашель
я заметил: ты у виска шёл

ОНТ КРУМ (*которого всё это время не было. но он претворялся*):

я бросил тебе корм
в собачий клюв
я умер я крум
колючий клуб
ды ыы ыма
липкий клоп
(*задыхается в целлофановом пакете. умирает*)

СУЩЕСТВО:

от дель но
вро де ноль—
я вне покоя
материи пакую
несколько стопок от
и целлофановый пакет
я создаю мир.
(*откусывает свой язык*)

пауза
вдох
пауза
выдох
пауза

звук разбитого стекла.

(*кто-то разбил прожектор.*
темно.)

Светлана Чернышова

Тронешь лёгкую свирельку души...



тронешь лёгкую свирельку души
дырки чёрные с обоих боков
три на правом—ночь зима тишина
три на левом—смерть бессмертие жизнь
ночь закроешь—светел голос и свеж
зиму—ласково лепечет журчит
тишину—то смех услышишь то плач
а другие мне не надо боюсь
потому моя свирелька поёт
незатейливые песенки три
однобокие не знает других
неумеха я... но терпит она
ведь не вечность ей со мной коротать



Речные боги знают, где река
рождается.
Горячими руками
берут её под крохотную спинку,
ощупывают тело осторожно,
прохладный лоб, биенье родничка,
бормочут нежно, взгляд её поймав,
бессмысленный и чистый.
Что сейчас?
То не река—лишь будущность реки,
неведомая даже для всемогущих
речных богов... играя, лепеча,
куда она направится?
Откуда
возьмётся чернота водоворотов,
меланхоличность плёсов,
бездна пойм и топляков безжизненные
груды?..
Но если повзрослевшая река
из берегов
в неистовстве выходит,
речные боги всё прощают ей—
неверье, вероломство, святотатство...
Бежит речушка, радостно щебечет.
Качается, сплетённый из осок,
на детской шее золочёный крестик.



в бутылку костями улётся виноград
последних дней осенний шелкопряд
из виноградных лоз свивает кокон
дух винограда бродит по ночам
в его глазах мускатная печаль
и чистота к зиме отмытых окон
он не спеша обходит двор и дом
записывая галочьим пером
в амбарной книге всё что в долг отпишет
зиме:
скамейка стол беседка сад
тропинка к дому бочка самокат
качели
гнезда ласточек под крышей
из погребка дыханье винограда
и опустевший кокон шелкопряда

Кормчий

свершилось не из хаоса из снега
снег вырезал из тьмы квадрат ковчега
и старика что бросил в море невод
и тёмных птиц на белой тверди неба
снег высветлил подобьем маяка
среди зарослей осклизлых и тягучих
стада морских коров в телах их тучных
на мягких рёбрах капли молока
снег перебрал старателем усталым
из ничего песок ракушки скалы
меж скал тропу деревья в стружьях пала
долину где под тёмными холмами
спят боги что не помнят старика
который сотни лет бросает невод
и сотни лет улыбка коркой хлеба
черствеет на губах у старика
а снегопада влажная рука
из мглы ещё не созданного рая
ваяет смерть его
и женщину ваяет

● ● ●
ты бы уснула матушка что нам век по нему горевать
смотришь в окно детки не кормлены стынет печь
молодо-зелено озимь смотрите озимь цинковая опять
будто безумная повторяешь страшно в холодную койку лечь
ты бы нас в подполе матушка спрятала живеньких сберегла
чтобы не слышать как он из нависших над домом небес
хрипло кричит день и ночь кандагар кандагар кандагар
братик во сне шепчет в ответ гудермес гудермес

● ● ●
когда молчаливей стану вымерзшего ручья
льда холодней и глуше на молчаливом ручье
тоньше и бестелесней утреннего луча
зыбче радужки света на падающем луче
инея пагод китайских невесомее и белей
хрупче и безнадежней свечи догорающего огня
не из ребра адамова повтори меня на земле
из адамова яблока Господь сотвори меня

Яблоки

Той осенью был яблоневый Спас...
Антоновка. От яблок гнулись ветки.
И баба Катя угощала нас.
Мать говорила: повезло с соседкой.
Хоть горя в жизни видела с лихвой—
войну прошла, похоронила дочку,
одна как перст, а ведь не стала злой,
и сердце—без гнильцы и червоточин.

Какие пироги она пекла!
Как баба Катя утешать умела!

— А баба Катя утром померла,—
сосед сказал, и мамка стала белой.

Поплакали. Заколотили дом.
Забрали на житьё дворняжку Раю.
Да вот случилась после похорон
ночь звёздная и тихая такая,
как будто враз, почувствовав беду,
и ветер, и собаки замолчали,
и слышно было, как в её саду
о землю глухо яблоки стучали,
срываясь с веток. Мы без сна в кровати
лежали, и в сентябрьской ночи
казалось: это—сердце бабы Кати
неровно, глухо, но ещё стучит.

● ● ●
не люблю когда встречаются
часто выходит нарочито радостно
не люблю когда провожают
часто выходит неподдельно грустно
мой поезд прибыл с опозданием
никто не встречает
глупо стоять на перроне полгода

● ● ●
раз два три четыре пять
кто-то вышел подсчитать
всё что прячет в рукавок
безымянный городок:

вяз в испарине дождя
площадь статуя вождя
детский сад с замком
домá
церковь лазарет тюрьма

парк качели колесо
перья ангельские
всё
прячась от пытливых глаз
чичиков считает нас

● ● ●
шел к неблизко-недалече
не братан, не аксакал.
лес ему залез на плечи
и, постанывая, спал—
весь в испарине хворобой,
в мелкой дрожи кедрача,
в колком инее озноба,
руку свесивши с плеча.
а неблизко-недалече
путника звало к реке;
звать устав, брело навстречу,
но без леса, налегке.
а когда случилась встреча,
что-то не срослось чуть-чуть—
и неблизко-недалече
нож ему воткнуло в грудь.
ойкнув горестно и тихо,
человече обмер, лёг.
лес упал, подмял бруснику,
зашкворчал брусничный сок.
а неблизко-недалече
на закорки лес взяло
и пошло опять на встречу...
ну... кому теперь свезло?

● ● ●
придёт под утро нервный Гоголь
в альков плацкартный, буркнет мне:
— получше вроде бы дороги,
да больше дураков вдвойне.
вернее, дур... к нему, родная,
ведёт беспутная звезда?
а я болванчиком киваю:
— да, дядя Гоголь. да. да. да.
проснусь... и за окном морозным
увидю сквозь щемящий свет
не километры... вёрсты, вёрсты.
не рельсы... а полозьев след

Юлия Елина

Дерево, бредущее по воде



посиди со мной
здесь ещё можно дышать
но совсем не выйдет поговорить
только капать в чашку кордиамин
здесь пока разрешают вдох
разрешают взгляд
запрещают взлёт
не молчи
рассказывай хоть про что
ничего только в голову не идёт
не приходит свет
туда где вечно сырая тень
так глаза закрою
и чудится что ты здесь
что ты всё же есть
подержи меня за руку
левая не болит
просто не сжимается
провисает
это только кажется
будто солнышко светит всем
из последних сил
для тебя
а потом
глаза закрывает

Поющему

Мелодия.
Гармония.
Гортань
и мягкие
податливые связки.
Да, эта плоть
сама рождает звук!
Трёхслойный ряд
из рыхлых алых тканей
становится волшебным инструментом.
Поющий сам является органом
и органом.
Так дух его и плоть
совместно резонируют друг в друга,
осваивая эту тайну тайн.
Мелодия.
Гармония.
Гортань.



Дерево, бредущее по воде
В никуда из своего убежищного нигде.
Дерево, куда же ты? Погоди.
Чей топор торчит из твоей груди?
Дерево, как река тебя не взяла?
На спине—огонь. На ресницах—слеза-смола.
Безголосое? Молчаливое? Не тревожь...
У него три сотни годичных слоёных кож.
Но зато в реке совсем не видны следы.
Как захочешь пить, так вдоволь её, воды.
Впереди—волна, позади—кильватерный след.
Вот оно бредёт,
Вот едва виднó,
Вот его и нет.



Непроизносимо имя твоё: нараспев,
На длинный вдох, на выдох земной короткой.
Имя твоё—выдавленный рельеф
Брайля на сердечной перегородке.



Береги меня
От чужого косога взгляда,
Неосторожного слова,
От колючего снегопада,
От зла людского,
Обращённого в мою сторону.
Чёрны вóроны
Кланяются ведунье.
Ты не кланяйся, но склонись
К моему плечу—губами.
Не знали сами,
Как бросает кости судьба.
У неё в рабах
Не положено нам по рангам.
Не будь подранком,
Волочащим крыло по стылой грязной земле.
Сбережёшь—буду рядом я много лет—
Дочка Воздуха и Земли, хранительница Огня.
Береги меня.
Береги меня.
Береги меня.

● ● ●
 Врач был очень похож на старого рудокопа.
 Это не датчик вены выискивал и артерии.
 Это шёл рудознатец и в разных штольнях
 Показывал драгоценные камни мне и металлы:
 «Тут вот золото. Тут серебро. Здесь алмазы.
 Здесь ничего не найдено — пустая порода.
 Этот пласт весь выработан — было много сапфиров.
 Здесь есть изумруды, а также залежи меди».
 На самом деле я слышала: «Вот она, яремная вена.
 Скорость кровотока... Танечка, пиши: диаметр в миллиметрах...
 Вдохните, задержите дыхание. У вас редукция слева.
 Не иначе — наследственное. Лежите уже спокойно».
 Это было странно — слышать звук своей токующей крови.
 Словно цепь трассирующих снарядов,
 Выпущенных в цель, до самого сердца.
 Это было не больно — себя ощущать живой.
 Это будет немного страшно:
 Снова
 Сюда
 Вернуться.

● ● ●
 Я ведь всё понимаю, это же дежа вю.
 Мы уже это прожили в жизнях других, ты знаешь.
 А запретную память сокрыть бы — не то взломаешь
 И пойдёшь «во все тяжкие» бредить-шептать: «Люблю».
 После сыгранной пьесы останется тот же ад
 Послевкусия — запахов, нот, поцелуев, реплик.
 Были молоды мои крылья, да вот — окрепли.
 И наивность слов, хоть молись, хоть плачь, не вернуть назад.
 Я же чувствую тоньше, как жаркий несёт июль
 Из динамика голос, вибрирующий в мембранах.
 Для меня моё имя звучит почему-то странно,
 Так в твоём исполнении трогательно: «Да, Юль...»
 Как улавливаю суть разговора я на лету
 Из всего того, что ты расскажешь до половины
 Потому, что вторую — знаю. И так невинно,
 Так нелепо всё это помножено на суету.
 Ту, в которой мы видимся, дышим, хранимся, ждём.
 Жжём себя, свои жизни деля пополам с другими.
 Я одумаюсь, охну — и всё, дай-то Бог, остынет,
 Окропится таким долгожданным июльским дождём.
 Не смотри мне в глаза, пожалуйста, не смотри.
 Не развязывай узел на сердце — под ним дымится.
 Я хотела обнять тебя крыльями так, как птица
 Обнимает небо, боюсь — не выдержу. Там, внутри,
 Расширяется нечто без признанного глагола,
 Прорисованное на манер де-франс: дежа вю.
 Замурюю живую в вечность нежность свою,
 Чтобы ни следа от неё, как от взорванного атолла.

Мария Лихоманова

Отворение слова



Не преисполнясь восторгом, не вознамерясь
Плывать по чуждым водам, бежать, смеяться,
Плону дождём ленивым на вашу ересь,
Не попытавшись выглядеть беспристрастной.

Всякое «при», наверное, в чём-то «пере».
Всякая жизнь проходит, не зная [б]рода:
Нечем сказать и нечем себя измерить.
Стой на своём, как знаешь—без перевода.



То ничего не жаль—то ужасно жалко
Каждой бросовой вещи, линялой тряпки:
Мне эту ткань когда-то дарила бабка
И помогала платью кроить и шить.
Бабку мою хоронили—не отпевали.
«Всех отпустила!»—сказали, не зарыдали;
Плошки, одежду, прочее—пораздали...
Только совсем не это напоминали
Старый фасон, застиранный крепдешин.

Что есть уход?—когда остаётся рядом
Лишь оболочка над непонятным адом—
С лепетом злым, с непримиримым взглядом...
«Только уход»,—доктор неумолим.
Можно сейчас, не переврав ни слова,
Навспоминать всякого и любого—
И лишь крепдешин в руках неопровержим.



Отворение слова—
Так кровь отворяли прежде,
Так распахнутой двери
Лязгал засов железный—
Отворение словом;
Зреют сезамы те же,
Назовёт их заново
Знающий: бесполезно
Откровение слова—
Ибо слышно немногим,
Приноси же снова—
Выложи на ладони—
Неразменное слово твоё...

Питер. Проездом (12.09.09)

Впитывать воздух—так, что не упрекнёшь,
Будто бы духом здешним не пропитался;
В Питере сухо нынче—а лучше б дождь
Стуком, шуршаньем, привкусом оставался
В памяти о куске составного дня—
Из ожиданий, спешки и перелётов,—
Чтобы потом, растерянную, меня
Ты по зонту узнал на случайном фото...



Хорошо быть мальчиком, хорошо!
Презирают мальчишки игры «в дом»,
Можно мяч гонять, допоздна гулять.
Рассчитались тут же на «свой-чужой»,
Отложили скучное на потом,
Принялись в войнушку играть-стрелять...

Вот и девочкам дело:
Чёрное примерять.



Плачь, девочка, плачь!
Пой, малая, пой!
Купят тебе калач,
Съешь—станешь большой.
Станешь варить обед,
Станешь растить детей,
Станешь себя жалеть
И говорить себе:
«Бедная девочка,
как же ты постарела!»



Круглая подставка—
Зеркало-зеро.
Выпадает справа
Зрелое зерно.

Те, кто понимает,—
Делят мир на три.
Небо раздвигает
Сердце изнутри.

1.

Будут спущены шкуры, курки, псы с цепи
 Будут выданы сучие зрячим в поводыри.
 Но ты не плачься — прячься, не майся, не лайся, спи:
 До полуночной полыньи, до полынной зари.

2.

Эта река — длинная, как рука,
 В вены впадали впалые облака,
 К пальцам пристыли выпавшие листья,
 Эта река рассыпалась на мосты.

Тянется переходом который год,
 Ждёт, кто из нас скорей до неё дойдёт,
 На травяные катятся берега
 Волны пустые; каменная река.

Если — белее белых, темнее злых —
 Ангелы прилетели чинить живых —
 Время часы считать и часы читать,
 Глядя на лица, чистые, как печать.

● ● ●

Пересчитай дозволенные речи
 И говори по числам наугад.
 Бесчеловечность мысли человеческой
 Заметней неосмысленных преград.
 Но будет день забытости и жути,
 Пустынных окон, устремлённых вниз, —
 И только тень, без умысла и сути,
 И женщина, жестокая, как жизнь.

1. Крым

Пейзаж глубок и обречён ветрам:
 Стволы кривы, и судорожны корни,
 Но этих не- и внесезонных драм
 Не замечает медленный курортник,
 Поскольку совершает променады,
 Скользя меж процедурами и пляжем,
 А ветки пиний, *простираясь над*
Его главою, кажутся плюмажем...
 Сбивает речь на устарелый штиль,
 Сдвигает мысль потоком впечатлений.
 И только солнце, море, небо, штиль —
 И склоны населяющая зелень:
 Упрямая опасливость ветвей,
 Живущих здесь от *покоренья Крыма*,
 И узловатых, скрученных корней
Привязанность к обветренным обрывам.

2. Гаспра. Вечер...

Здесь «посумерничать» вряд ли поймут и скажут —
 Камнем по склону дни упали в темень.
 Шли кипарисы стройной готичной стражей —
 Остановились в приступе летней лени.
 Замок диснейный ласточкой угнездился
 На продувном высквоженном отроге.
 Над головой изредка проискрится
 Еле заметный светлый пунктир дороги...
 Фон саксофонный, небо оттенка сажи,
 Каменный парус — без рыбака и лодки,
 А над притихшим морем, пустынным пляжем —
 Лунного света полная сковородка.

Андрей Сальников

Разговор с Сизифом

Нашествие

Говорящие словом бледны пред нашествием знака,
Он велик и могуч и везде подменяет язык,
И строка за строкой полегли в бесполезной атаке,
Только слово—не штык!

Санникову

Поэты прижимаются сердцами,
Рождаются на выдохе стихи,
И, антре ну¹, ну, то есть между нами,
Не по размеру маска и хитин.

Дышать им очень больно «Прустяками»,
Но их тропа выводит в хронотоп,
И, в общем, ну, ты помнишь, между нами,
Пегасы эти часто возят гроб.

И часто нет ни памяти, ни дани
Не через двести лет, а через год,
Ты знаешь, но, опять же, между нами,
Наверно, нужен новый пароход.

Вот только иммиграция ногами
Возможна, как аллюзия войны,
И, в общем, ну, ты понял, между нами,
Поэта нет без страсти и страны....

Разговор с Сизифом

Ну, как тебе твой камушек, Сизиф?
Поди, измаял, словно камни в почках?!
Наплюй на Зевса—забастовка, точка.
Пусть люди сочиняют новый миф.

Постой, не ёрзай, некуда спешить.
Ты оглянись: смотри, какие бабы!
Пойди попробуй вермута испить,
Ведь пожалеешь, если бы да кабы...

А может, ты халтурщик, а, Сизиф?!
Пока катаешь, Стикса не боишься,
Не кружат вóроны, не целит гриф,
Ну, да за камушком ты тут и отсидишься!

Тебя не предоставят палачу,
Нет старости, нет нищеты, болезни.
А хочешь, я твой камень покачу?
А ты беги, беги, беги, исчезни!

1. Entre nous—между нами (фр.).

Звонок

Твой голос, грея, взял за горло
Объятыем,
Натуго повязанным платком,
Не позволяя разрыдаться.
Стёрло
Невнятицу несказанного слова,
Ударило о сердце, как о дом.
Не ново?!
Но равнодушия поднапускаю пыль я,
Смех и печаль почти пустопорожни,
Но поломало ангелу все крылья,
Не извлекаемую радость узнаванья
Оставив в ранах—
Уха, сердца, кожи—
Пришедшее из прошлого страданье.

Царские дни

Июль мне большой собакой
Так нежно лизал лицо.
А я всё разыскивал знаки
На улице подлецов...

Я с виваипатьевским городом
Знаком был, но не любил,
А этот мой город, он с норовом,
Хотя я ему простил.

Не слишком ли покаяния?..
Наотмашь, на публику, блин.
Ни годы, ни расстояния,
Не разгибают спин...

Свет в окне

С распуценною косою
У дома стоит судьба.
Казалось бы, что ей стоит—
До дома-то два шага...

Она не идёт, но медлит,
А в доме живёт поэт,
И бесятся в доме дети,
И долгий в окошке свет.

Не взлётною полосую
Работа и худоба.
С отточенной косою
К поэту пришла судьба...

Катина осень

Обнищавшие деревья рвут когтями драпчик неба,
Прогуляв, пропив наряды из парчи и серебра.
Правит ветер в храмах парков многочисленных требы,
В чёрном зеркале Исети плавится ночное бра.

Гепатитными глазами смотрит город в карту неба,
Ждёт, когда присыплет тальком воспалённые места.
Изменило нам Ярило, став беспечным греком, Фебом,
И сбежало в карнавалы от сурового поста.

Вот период, когда Пушкин оживал душой и телом.
Что же нам так грустно нынче? Где былая благодать?
А давай напишем мелом на снегу на белом-белом
Про тоску свою и мýку—чтоб самим не прочитать...

Дед

Охает снег под неторопливым шагом,
Вот захрустел сухариком тонкий лёд.
Слышу, как жизнь его плачет, а то поёт;
Звуки, иссохнув, сыплются на бумагу.

Вновь выплавляю смальту из разных слов,
Жду, что опять услышу шаги по снегу.
Вроде готово, но это следы побега,
А дед шёл хозяином леса из детских снов.

Вновь изорву бумагу, рассыплю звуки,
Мучиться буду, неделю ни спать, ни есть,
Всё ж допишу тот текст, уж какой ни есть.
Пусть обо мне то плачут, то шепчут буки.

Почти

Природа балансирует на лезвии ноля,
И не зима ещё, уже не осень,
И мнётся день, то зля, то веселя,
И даже в небесах по пряди проседей.

И сыплются пушистые слова,
Чтобы опять растаять на асфальте.
Боль в голове перелистнёт глава
Из книги о кресте и о расплате.

И если губы произносят слово
Из нашей крови с мясом пополам,
Да, Господи, бери! На всё готовы,
Мы нашей плотью платим по счетам.

Семь лет назад умер Решетов

Вельми странная, величальная,
Не судьба совсем, а печаль моя.
И тетради нет, и ворона в грай;
Жаль, Пегаса нет, запрягай...

А какая статья, а каков рысак?
На виду у всех пропадай, просак.
Жалко, водки нет, да и пить-то с кем?
А любить—как бить, а за что—не вем...

Колокольный звон—дискотеки грай,
А стихи—как стон, когда жутко—край,
А глаза в глаза—через семь годов,
Разразись, гроза, водопадом слов...

Дмитрий Мурзин

Музыки для...



Граф де ля Фер читает Бродского на «Культуре»,
Я в гастрономе разжился сухим вином,
Жизнь замерла в предошущенье бури,
Лишь за окном режутся в домино.

Время течёт, ты больше не юный дурень,
До пожилого дурня ещё не дорос,
Граф де ля Фер читает Бродского на «Культуре»,
Николая Рубцова читает старый Атос.



Памяти Д. Ш.

В доме поэта о верёвке не говорят.
Редко поэт имеет товарный вид.
Предпочитает ходить по бровке, у края стоять,
Быть не в себе, лелеять свой суицид.

Кончилась «прима», кончится «беломор» —
Из мелочей и обид жизнь состоит.
Мало того, что плавает как топор,
Там, где накурено, он как топор — висит.

В доме поэта о верёвке не говорят,
Хлеб наш насущный, Господи, даждь нам днесь...
Может, он умер не весь — и висит не весь.
Но время стоит. А рукописи горят.



Максиму Уколову

мы пьём из незнакомых пузырьков
нам налито с эпохи неолита
пусть наша ставка, карта, морда бита
и не сносить башки и башмаков

а ля аля-улю, а ля альков
не подавать руки, примера, вида
попутать ноту «си» и ноту мида
кто был таков — останется таков

абсурдная сурдинка серенады
под шорохи шарады листопада
задрипанное наше «дрип-ца-ца»

и больше ничего уже не надо
ни льда и ни присяжных, ни парада,
ни тельца золочёного тельца



не западайте на западных женщин,
в западных женщинах есть западня,
наши — не мёд, ну а те — ещё хлеще,
не западайте на западных женщин,
слушайтесь, братцы, меня.

сколько на сердце и шрамов, и трещин,
но снова хочется в плен,
к этой — побольше, а к этой — поменьше,
не западайте на западных женщин,
всех этих софий лорен.

снова и снова пакуются вещи,
к маме — маршрут всем знаком...
что ж, разберёмся, бывало и хлеще,
не западайте на западных женщин,
русским твержу языком.



Когда ты скажешь: «Так вот ты какой», —
Я буду уже иным.
Я буду На Всё Махнувшим Рукой,
Сказавшим: «Тыгдым-тыгдым».

Я буду тем, который забыл,
И тем, который забыт.
И тем, к которому шестикрыл
Послан, но не долетит.

Я буду изъятою буквой «ять»,
Исправленным букварём.
Поскольку мне нужно на чём-то стоять,
Я буду стоять на своём.

Я буду тем, который бежит
По ниточке бытия,
И тем, который не говорит:
«Делайте так, как я!»

Я буду ушедшим из всех систем,
Без вёсел и без ветрил.
А чуть попозже я буду тем,
Которому хватит сил.

Который смешает во рту слово «смерть»
С бессмертием пополам.
А что я с этого буду иметь —
Того не ведаю сам.



Нынче непечатные слова
Все до одного ушли в печать;
Растревя экспрессию, едва
Помнят, что должны обозначать.

Крайние настали времена,
И конец истории видать,
Остаётся только пойти на...
Иль иную рифму подобрать...

Двигаем по жизни с матерком,
Без него ни встать уже, ни лечь.
Долбанёшь по пальцу молотком —
И звучит обыденная речь.



Эта музыка — музыки для,
Для того, чтоб вращалась Земля,

Для того, чтобы розы цвели,
Чтоб хмелели, смелели шмели,

Чтоб прозрачный и призрачный весь
За деревьями прятался лес,

Чтоб, пробившись меж сосен и туч,
В паутине запутался луч...

А диктует мне весь этот свет —
Афанасий. Не факт, что не Фет.

Сон о переходе на латиницу с 1 января нового года

Грёзы праздничные и праздные.
Снег идёт, под ногой скрипит.
Несогласные и негласные
Собираются в алфавит.

Не добдели твои *tovarischi*,
Да и ты жил, не слишком *bdja*.
С Новым годом, с новым кошмарием,
С новой письменностью тебя!



Почеши мою тень.
Остальное уже не щекотно.
Пробралась мне в башку
Трудовым иммигрантом мигрень.
Ах, как суетно всё.
Как бесцельно и бесповоротно...
Почеши мою тень...
Почеши мою тень...
Почеши мою тень...



человек, пойманный на *i-Воблер*,
не заходит в *Рамблер*.

у него на сердце *i-Боль*,
как от деленья на ноль.

лечится от душевных ран,
предпочитает *i-Ран*.

пишет в блог: «Эпл останется на плаву!»
Из фруктов знает яблоко и *i-Ву*.

Пишет в чат: «Вай!»
Открывай приложение, *Гюльчат-i*,
Купи домой руконожку *i-i*.
Верь, что все собаки *Стив Джобс* попадает в *p-i!*»

А когда вместо сети выходит в сад —
Там всегда осень, листо-*i-Pad*.



— да ты что, не видишь?

— нет...

— ты что, не слышал?

— нет...

— да ты что, не обращал внимания?

— нет...

— ну ты даёшь!

я стал смотреть,
слушать,
обращать внимание.

и растерял дар
не замечать чужих грехов.



Мама, мне снилось поле,
В поле гуляла пуля.
Было ей там раздолье,
Было ей там июлье.

Было ей там раздолье,
Было чем поживиться.
Птицы ушли в подполье.
Люди стали как птицы.

Мама, мне снилось лето,
Пчёлы, солнце в зените,
Первая сигарета,
Прожжённый свитер.

Старая радиоло.
Бал выпускной и танцы...
Мама, мне снилась школа...
К чему покойники снятся?

Карлсон, который живёт в подвале

Мужчина в самом закате сил
Милостыню просил.

Дело житейское, пустяки,
Мимо руки пятаки.

Нет Малыша, негде жить,
Некого низводить.

Что-то он совсем изнемог.
Где же ты, его Фрекен Бок?

Некуда бежать молоку.
Некуда идти старику.

Нужно последить за мыслью,
Запретить налево шастать...
Водолаз отбросит листья.
Дерево отбросит ласты.

В октябре, в десятых числах,
Озираюсь я с опаской:
Ящер хвост отбросит лисий.
Фантомас отбросит маски.

А под утро воскресенья,
В октябре, в начале века,
Человек не дружит с тенью...
Тень отбросит человека.



я сослан к музе на галеры...

Леонид Губанов

1.

Принять с утра две полумеры,
Потом сварганить бутерброд.
Я твой навек, моя галера,
Зашей мне рот.

2.

Стихи меня не прокормили:
С паршивой музы—рифмы клок,
Но чтоб меня не отпустили—
Внеси страдательный залог.



Я помню чудное... Беспечен,
И два не чудных я забыл...
Придёт февраль, наступит вечер,
И серафимый шестикрыл
Нас разберёт на чёт и нечет.
А февраля и след простыл...
И нам оправдываться нечем,
И незачем. Я Вас любил
И (даже!) обнимал за плечи...

Сергей Круглов

Земною плотностью венчая неземное...



Река в феврале, как рубец шва белёсого,
 Взбухшее чрево города обезобразила.
 Шубы неба облезли, всё голо.
 На всеобщей запели «Покаяния отвержи ми».

Глухой водою набряк снег венозный.
 Осторожно ногу ставь! Утробный треск.
 Отчуждённая ворона поодаль:
 Батюшка на трубу идёт через лёд.

Боязно по льду, но так короче.
 Батюшка в мёрзлый шарф молитв надышал.
 Зима почернела, ввалилась, рычит, скалит зубы.
 На том берегу деревья черны.

Это не к смерти, это зима болеет родами,—
 Бодрит себя батюшка, прибавляет шаг;
 Не так ли и наша болезнь грехов, смертей—
 Роды и роды, тесным путём?

Сумерки стылы. Зяблые руки
 Батюшка о парчовую сумочку греет:
 Это, как второе сердце, дароносица
 Пульсирует на груди тяжестью и теплом.



Ты этой ночью претворил в святыню
 Всё бессловесное, всё косное донныне:
 Простую воду, хлеб, вино.
 Монах-молитвенник, поёт огонь в камине,
 Как очи мученика, в ночь глядит окно,
 И скатерть-исповедница легла
 На грудь дубового апостола-стола.

О вещный мир, творение святое!
 О дом, сияющий Божественным покоем!
 Единство кладки и стропил,
 Земною плотностью венчая неземное,
 Для сына блудного в ночи Ты возводил.
 С конька петух вдогонку пропоёт—
 И сердце беглое навскидку полоснёт.

Рыдающей, завшивевшей мразью
 Вернусь в ночи, найду тебя, со страстью
 Отринутый когда-то кров.
 Как смею наследить житейской грязью
 На девственной тиши половиков?
 Но где я был, не спросят у меня,
 Лишь передвинут кресло у огня.

К 90-летию убиения Григория Распутина

1.

Раденье крови, правды кровотоков,
 Дух-голубица, мать-сыра калека,—
 Пророк в России больше чем пророк,
 Но уязвимее и смертней человека.

На персях крест, в устах смертельный мёд:
 Русь кончена, прикончена, пропнута,
 Огромной шубой втянута под лёд
 И никогда не выплывет оттуда.

Как маятник, небес качнулся груз,
 Над полярной комета повисает,
 И чёрных льдин неправильный прикус
 От плоти душу отстригает.

2.

Так Церковь Божию отстригли от земли.
 И се сиротствует, плывёт в межзвёздном дыме
 И плачет о России, о вдали
 Покинутом, как труп, Ерусалиме,

А Церковь изрыгнувшая земля
 Недвижна, непроходна и безводна,
 Самой себе равна, с собой несходна,
 Господня вся, и исполнение ея.

И Кто родил тебя, и Кто оплакал— Тот
 Суставы рвёт твои, хребта ломает звенья,
 И, в смертный шар тебя катая, мнёт,
 И месит глину нового творенья.

На исповедь солнечным ранним утром

Они идут сдавать пустую стеклянную тару—
бутылки до дна выхлебаны, ими заполнен дом,
не повернуться в кухне, балкон подобен кошмару—
надо сдавать. За прилавком—приёмщик в епитрахили с крестом.

Тремор, стенокардия, брыла в щетине колючей;
отчёт о проделанной пьянке очередной;
перед прилавком искренен всяк и плачет слезой горючей,
твёрдой морскою клятвой в скрип завязав запой.

Идут как на виселицу, трясущиеся, никакие,
отходят—сморкаясь слёзно в занюханный свой рукав,
потом—вздыхают от счастья, лёгкие и прямые,
златые монетки милости в потных ладонях зажав.

Выйду и Я за вами, возлюбленные, родные!
Так Я и думал: только с паперти шаг—и вот
налево к пивному ларьку несёте монетки златые,
ведь надо вам кружечкой пива обмыть удачный поход...

Ну что же—значит, Я с вами. И водка, и правда до воя,
и снова Меня убьёте... но Мне иначе нельзя.
Я вытираю слёзы, глаза прикрывая рукою,
и вижу низкое солнце сквозь дырочку от гвоздя.

Весна

«Кто отвалит мне камень от гроба?»—воскликнула
горестно ты,

И, хрустя, остеклила хрусталик слезою зима,
Но понтифик-ниссан надо льдами содвинул мосты,
Смерть ребёнка баюкала, пока не уснула сама.

Ты потрогай меня: мы на санках, в луче, на лету,
Я и дети; и смерть—не кончина, а только
причина; гурьбой;

Под сугробом—багульник и примула, посмотри—
наши дети в цветут!

И я буду стремительно двигаться, чтобы остаться
с тобой.

Левченко

Философская лирика



Словно сияющий жемчуг роса на паутинке,
По нитям искрящимся паучки суетливые бегают.
Замер я, потрясён красотой этой чистой,
Восточных поэтов строки изящные вспомнились.
Но ветер подул и облепил всё лицо паутиной,
С холодной росой, пауками и мухами дохлыми.
И, в луже вонючей умывшись, пошёл я домой,
Стихи свои сочинять про водку
Да жизнь хреновую.



Цветочек у края дороги—
Грязью покрыт, истоптан, оплёван.
Сколько гадости повидал
На веку своём кратком!
И на меня он с немой укоризной взглянул,
Слегка отшатнувшись,
Когда мимо я полз,
Перегаром сивушным
Всё на пути опалая.



Скучно, одиноко...
На окне, узором морозным покрытом,
Иероглиф матерный нацарапал.
Скучно опять...

Но слышу шаги на крыльце—
Друг стоит на пороге,
Окутан клубами морозного пара,
Иней серебрит телогрейку,
В руках трёхлитровая банка с мутным сакэ,
За голенищем меч короткий самурайский.
В роще сакур за околицею воеет волк,
Мороз и снег... А за столом— тепло
Душевное.
И ночь проходит за нескорым разговором
О вечности, сакэ и бабах.



Всегда так: выпью—
И в небо душой устремлюсь,
А тело забытое валяется где попало.



Проснувшись утром, прочитал
Астрологический прогноз
На день грядущий.
И с потрясением узнал,
Что суждена мне перемена взглядов
И однополая любовь,
Взаимная и долгая.
И разрыдался я в объятиях супруги.
За что угодно высшим силам
Разрушить брак наш,
Долгий и счастливый?..
Теперь вот у окна сижу,
Смотрю на мужиков
И, с подозрением и страхом,
К мыслям собственным
Прислушиваюсь...



Обречены на поражение попытки
Воссоздать на холсте подобие жизни.
Вечернее солнце освещает
Мои мертвенно вросшие в задницу руки.
Я пишу пейзаж.



В зеркало смотрю и вижу
Суровую реальность
Во всей её неприглядности.



Луна—
Кажется близко,
А никак не доплунуть...



Муху, мешавшую спать,
Насмерть зашиб!
Всех наслаждений земных
Эта минута слаще...

Лео Бутнару

По счастливой случайности

Авторский перевод с румынского

Мотивы в унисоне

1.

после Слова
которое было вначале
сразу же появилось и
неимоверно много мотивов
для Молчания

2.

я перечитал Писания
констатируя
что совсем не стало меньше
мотивов о которых
я мог бы молчать
а только мотивов из-за которых
мог бы молчать
всё это
создавая впечатление псалма в котором
сущность псалма проявляется
как новый псалом
в этом мире (и в том) в котором
единственная дилемма это
сама дилемма

3.

Вселенная может молчать
в унисон
с собой

Но как...

Старому поэту как будто
не на что сетовать—его
любят близкие,
его читают,
ему пишут поклонники,
председатель земного шара
поздравляет его с каждым
межконтинентальным праздником...

Но

как старому поэту вынести
всё очевидное равнодушие
Природы?..

Африканская любовная песня

не могу сказать
что твой облик светился
но
после твоего ухода
день—чёрный как ночь

Дождь, женщины

1. без какого-то удовольствия

создаётся впечатление что
не без какого-то удовольствия
дождь колет
садически
себе глаза в
шипах роз
сада

2. кажется

в летний дождь
лопатки слабеньких женщин
мне видятся
как пары
слепых камбал

Потому что

...потому что
если бы ты
вырезал эпитафию
на айсберге севера
она смогла бы сохраниться
столько же времени
сколько
и эпитафия вырезанная на
граните юга...

Чёрный квадрат

послушай дьявол
конечно
квадрат Малевича
не такой уж чёрный
как тебе кажется

Три египетские миниатюры

1.
среди иероглифов—рыбы Нила
мечутся на папирусе
как
на суше
2.
осень
бледные лепестки роз наслоённые
как губы мумии
3.
из пирамиды слышно эхо
треска—
трещат
морщины мумий

Открой книгу

Открой книгу
на волю случая.

На волю случая
читай что-нибудь.

По счастливой случайности
ты смог бы спасти что-нибудь.

В том числе
из себя самого.

Сверх

Гомер—слепой
Бетховен—глухой

но какие
гении!

Сверхлюди
может быть...

но
если один из них
или Ницше скажем
был бы
и невидящий
и глухой
не исключено что
так была бы достигнута
сверхгениальность

Пытаемся узнать

перед нашими лицами
нескончаемо проходят лица
среди которых есть и лицо
которому нужно поклониться

некоторые из нас
пытаются угадать
какое именно...

ДиН РЕВЮ

ОНИ УШЛИ

Геннадий	АЙГИ
Игорь	АЛЕКСЕЕВ
Лидия	АЛЕКСЕЕВА
Анна	АЛЬЧУК
Белла	АХМАДУЛИНА
Татьяна	БЕК
Виталий	ВЛАДИМИРОВ
Юрий	ВЛОДОВ
Андрей	ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Алексей	ДАЕН
Михаил	КРЕПС
Олег	ПОПОВ
Валерий	ПРОКОШИН
Александр	ТКАЧЕНКО
Алексей	ХВОСТЕНКО

ОНИ ОСТАЛИСЬ

Они ушли, они остались

Антология ушедших поэтов

Составитель *Евгений Степанов*

Москва, Союз писателей XXI века, журнал «Дети Ра»,
издательство «Вест-Консалтинг», 2011 г.

В первом томе Антологии ушедших поэтов представлены 15 авторов. Со многими из них составителя книги, поэта и редактора Евгения Степанова, связывали годы личного дружеского общения. Эта книга—дань любви ушедшим поэтам, дань любви их стихам. О каждом авторе и его творчестве составитель написал небольшое эссе. Стихи ушедших поэтов начинают новую жизнь. Поэты не уходят навсегда.

БАБУШКА (*хватает очки*). Спасибо большое, доктор. Даже не знаю, как вас благодарить. Дайте я вас поцелую!

РЕНТГЕНОЛОГ (*вертит в руках кошелёк*). Не надо. А вот кошелёк, если можно, я оставлю себе на память.

БАБУШКА. Это не наш, не наш, нам чужого не надо.

Бабушка и внук выходят из кабинета.

РЕНТГЕНОЛОГ (*громко*). Следующий!

Кабинет психиатра

Действующие лица

ПСИХИАТР, мальчик, МАМА мальчика.

Кабинет психиатра: стол, стул, огромный платяной шкаф. На стене портрет Наполеона. За столом ВРАЧ — пишет. В кабинет заходят МАЛЬЧИК и его МАМА.

ПСИХИАТР. Здравствуйте. На что жалуетесь?

МАМА. Вот, сын заболел. У него путаница в голове.

ПСИХИАТР (*бодро*). Ничего, бывает. (*Ласково обращается к мальчику*.) Как тебя зовут?

МАЛЬЧИК. Коля. Коля Зимин.

ПСИХИАТР. Ну и хорошо. А сколько тебе лет?

А где ты живёшь?

МАЛЬЧИК. Тринадцать. Улица Большая Тульская, дом два.

ПСИХИАТР (*смотрит на маму*). По-моему, с вашим сыном всё в порядке.

МАМА (*нервно*). Как же в порядке, доктор? Вы разве не видите, что он не Зимин?

ПСИХИАТР (*внимательно смотрит на мальчика, потом на маму*). А у вас есть его документы?

МАМА (*ухмыляется, протягивает Колино «Свидетельство о рождении»*). Пожалуйста. Ха-ха-ха-ха.

ПСИХИАТР (*читает вслух*). Ко-ля Зи-мин. (*Удивлённо смотрит на маму*.) Здесь написано: Коля Зимин.

МАМА. Фальшивое.

ПСИХИАТР. А настоящее есть?

МАМА. Нет. Сразу выдали фальшивое. Вы посмотрите внимательно, я там тоже Зимина. Ха-ха. Это в октябре-то!

ПСИХИАТР. Правильно: Зи-ми-на. А вы кто?

МАМА. Пока ещё не наступила.

ПСИХИАТР. Что?

МАМА. Зима.

ПСИХИАТР. Ну?

МАМА. Значит, Осенева. И сын — Осенев, и муж — Осенев!.. А никакой не Зимин!

ПСИХИАТР. Но ведь фамилии-то не меняются вместе с временами года!

МАМА. Меняются!

ПСИХИАТР. Не меняются!

МАМА. Меняются!!

ПСИХИАТР. Не меняются!!

МАМА. Меняются!!!

ПСИХИАТР. Не меняются!!!

МАМА. Меняются!!!!

ПСИХИАТР. Не меняются!!!!

МАМА. Так вы дадите нам какие-нибудь таблетки или нет?

ПСИХИАТР (*устало машет рукой*). А, берите что хотите. Там, в платяном шкафу.

Мама подбегает к шкафу, открывает дверцу, на неё вываливаются упаковки с таблетками. Мама и Коля набивают карманы.

МАМА (*врачу, заискивающе*). Сразу видно, что вы очень хороший врач. Вон у вас сколько таблеток!

ПСИХИАТР (*делая безразличный вид*). У меня дома в сто раз больше.

Мама и Коля задом, улыбаясь и часто кланяясь, выходят из кабинета.

ПСИХИАТР. Следующий!

Валерий Роньшин

Наша Маша и её ушедшее Детство

Проснулась как-то раз наша Маша утром; и вроде бы всё хорошо — как написано в одной старинной книжке, — да что-то не хорошо. Вроде бы всё есть — а чего-то явно не хватает.

И тут наша Маша поняла, чего не хватает. Детства не хватает. Детство её куда-то пропало.

Наша Маша тут же начала его везде искать. Искала-искала по всей квартире, но так нигде и не нашла. Ни под столом не нашла, ни в шкафу, ни на кухне, ни в ванной, ни даже в туалете... Как будто наше-Машино Детство ветром сдуло. «А может, и вправду ветром сдуло?» — подумала наша Маша и вышла на балкон. Нет, и ветром не могло Машино Детство сдуть, потому что на улице было полное безветрие.

Спрыгнула тогда наша Маша с балкона — не пугайтесь, её балкон был на первом этаже, — и пошла искать своё Детство по улицам и переулкам, площадям и подворотням...

Искала-искала по всему городу, но тоже так и не нашла. Домá — стоят, машины — едут, прохожие — идут, а Машино Детство — не стоит, не едет и не идёт. И даже не летит. Его вообще в городе нет.

Вышла тогда наша Маша за город. Смотрит — кладбище. «А вдруг моё Детство умерло, — пронзило Машу ужасное предположение, — и сейчас оно лежит в могиле на этом кладбище?» Прошла Маша на кладбище. И стала здесь искать своё Детство.

А на кладбище жизнь просто-таки кипит: кто-то свой талант в землю зарывает, кто-то совесть свою хоронит, кто-то со своей первой любовью навсегда прощается... Но, к счастью, своего Детства наша Маша и на кладбище не обнаружила.

Пошла она дальше. Шла-шла, шла-шла и пришла на берег лесного озера.

И здесь её опять пронзило ужааааасное предположение. «А что, если моё Детство — утонуло, — со страхом подумала наша Маша, — и сейчас лежит на дне этого озера?»

А на берегу озера сидит рыбак, рыбу в озере ловит и на берег её бросает. И столько он уже её наловил и набросал, что берег прямо-таки ходуном ходит. Рыба-то задыхается на берегу и от этого хвостом по земле бьёт.

— А ну-ка перестаньте рыбу ловить! — требовательно говорит наша Маша рыбаку. — А если бы вам в губу рыболовный крючок воткнуть?! А потом порезать вас на кусочки и на сковородке поджарить? Приятно бы вам было?

— Да я как-то об этом не думал, — смутился рыбак. — А надо бы думать. Думалка-то вам для чего дана? — постучала наша Маша рыбака по голове. — Кепку, что ли, носить?..

Рыбак ещё больше смутился и тотчас же отпустил всю пойманную рыбёшку обратно в озеро, предварительно перед ней извинившись за своё недопонимание.

— Спасибо, Маша, — сказали из воды отпущенные рыбки.

А Маша, в свою очередь, спросила у них: — А не лежит ли на дне озера моё Детство?

— Нет, — ответили рыбки, — там только водоросли растут да раки ползают.

Пошла наша Маша дальше своё Детство искать. Шла-шла, шла-шла и пришла на вокзал. И вдруг видит: её Детство! Быстренько так шагает. По платформе. К поезду.

— Детство, постой! — закричала наша Маша и бросилась вслед за своим Детством.

— Я тороплюсь, — ответило ей Детство, не оставиваясь. — Мой поезд отходит через минуту.

— Ну почему ты уезжаешь?!

— Нипочему, — на ходу сказала Детство.

— Но разве тебе было со мной плохо? — торопливо говорила наша Маша, едва поспевая за убегающим Детством. — Мы же играли, веселились... Ведь нам же было хорошо!..

— Да, замечательно было, — согласилось с нашей Машей её Детство, подбегая к своему вагону.

— Зачем же ты тогда уезжаешь? — недоумевала Маша.

— Низачем, — сказала Детство.

— Я тебя не понимаю, — чуть не плакала Маша.

— А тебе сейчас и не надо меня понимать, — ответило Детство уже из вагона. — Потом когда-нибудь поймёшь.

Ту-ту-уууууу... — закричал локомотив.

Тудух-тудух, тудух-тудух... — застучали колёса вагонов.

И Машино Детство уехало.

А наша Маша пошла домой и легла спать, ведь уже наступила ночь и выглянули звёзды. Маша смотрела на эти звёзды и плакала. Слёзы катились у неё не вниз—по щекам, а вверх—по вискам. Поэтому что она плакала не стоя, а лёжа...

«Ах, какая грустная история»,—вздохнёт какой-нибудь мой маленький читатель, а в особенности какая-нибудь моя маленькая читательница. Ну что ж, вот и погрустите немножко. Не всё же вам играть и веселиться.

В ГОСТЯХ У «ЖЁЛТОЙ ГУСЕНИЦЫ»

Анастасия Орлова

Мы едем на море

Море спит

Море от бурь и волнений устало
И без кровати, без одеяла
И даже без мягкой подушки
Свернулось клубочком в ракушке.

Как рассердить море

Консервную банку
Вы в море забросьте—
И море коричневым
Станет от злости,
И море зайдётся
От возмущенья,
И станет понятно,
Что нет вам прощенья!
И тотчас же на берег
Выплюнет банку,
А также бутылку,
Бумажку и склянку,
Помятый стаканчик
И рванный пакет—
И рейсом ближайшим
Обратный билет!



Мы едем на море,
Мы едем на море,
Мы с морем любимым
Увидимся вскоре.
И море волною
Навстречу рванётся,
Да как заискрится!
Да как засмеётся!
Я брошусь в объятия
Зелёной волне!
Ах, море, ты тоже
Скучало по мне!

Белое море

Белое море
Жутко холодное
И до купальщиков
Жутко голодное!
Но смелости всё же
Мне хватит вполне,
Чтоб руку пожать
Набежавшей волне!



То ли небо,
То ли море,
В облаках ли,
На волне.
Я плыву
Или летаю?
В высоте ли?
В глубине?
Всё смешалось!
Всё слепилось!
Альбатрос я
Или хек?
Птицерыба?
Рыбоптица?
Моренебочеловек!



Я бегу!
Я бегу!
По морскому
Берегу!
Силы брызжут
Через край!
Ветер,
Ветер!
Догоняй!



Пришла я на море
Купаться,
И что же?
Море само на себя
Не похоже:
С силой вздымает
Громадную тушу,
Волна за волной
Выбираясь на сушу.
Лезет на берег,
Шипит и клокочет.
А вдруг оно здесь
Поселиться захочет?
Бегу от него я
Домой без оглядки,
А море вот-вот
Меня схватит за пятки!

Песочница

Морскими песками
Песочницы полны,
Я глажу руками
Песочные волны.
Песочные воды
Заманчиво зыбки,
Там плавают плавно
Песочные рыбки.
В песочных волнах
Провести я готов
Немало счастливых
Песочных часов!
И, может, услышу,
Как где-то на дне
Солёное море
Дышит во сне...

Елена Липатова

Шёл по городу медведь

Прогулка

Под зонтиком Шляпа гуляла,
 Под дождиком Зонтик гулял.
 — Я—Шляпа!—
 Шляпа сказала.
 — Я—Зонтик!—
 Зонтик сказал.

— Я где-то вас раньше встречала...
 — И я вас где-то встречал...
 — Я рада,—
 Шляпа сказала.
 — Я тоже...—
 Зонтик сказал.

Под зонтиком Шляпа гуляла,
 Под дождиком Зонтик гулял...
 — Мы с вами знакомы так мало!—
 Застенчиво Зонтик сказал.—

Мы с вами знакомы так мало,
 Но кажется—дружим сто лет!
 — Спасибо,—
 Шляпа сказала.—
 Вам очень к лицу ваш цвет.

Вы так хорошо говорите!
 Но, кажется, дождь перестал,
 И вы, наверно, спешите?..

— Ах, что вы!..—
 Зонтик сказал.

Под зонтиком Шляпа гуляла,
 Под дождиком Зонтик вздыхал...
 — До встречи,—
 Шляпа сказала.
 — До дождика,—
 Зонтик сказал.

Желание

У соседа есть дома собака!
 Вот такая
 большая собака!
 Мы вчера с ней играли полдня!..

Раз нельзя подарить *мне* собаку,
 Подарите собаке *меня*.



Шёл по городу медведь
 косолапый,
 Мы залезли на забор—
 я и папа.
 — Ой!—
 Кричим.—
 Медведь! Медведь!
 Помогите!..

Я ботинок сбросил вниз,
 Папа—свитер.

А медведь к забору—
Топ!
 Нас не слыша...
 И, смущаясь, написал:
Здесь был Миша!

Из жизни
воздушного
шарика

Дуем,
 Дуем,
 Надува!..—
 Надуваем
 Щёки!
 Вырастает,
 Выраста!..—
 Круглый,
 Краснобокий!

Дуем,
 Дуем,
 Надува!..—
 Вот сейчас он
Хлоп!—и...
 Улетает!
 Улета!..

Ни за что не
 Лоп...
 нет!!!

стр. 171
Аврех Юрий Леонидович
 Екатеринбург, 1977 г. р.

Родился в Уфе. По специальности — переводчик-референт. Работает преподавателем английского языка в музыкальном училище. Публиковался в журналах «Урал» и «Уральская новь». Автор книги стихов «Девятнадцать стихотворений» (Уральский университет, Екатеринбург, 2002).

стр. 140
Азер Абдулла
 Баку, Азербайджан, 1940 г. р.

Выпускник филологического факультета Азербайджанского государственного университета. Кандидат филологических наук. Автор более десяти книг, некоторые переведены на русский, французский и турецкий языки. В настоящее время — главный редактор литературной газеты «Огуз эли».

стр. 216
Анкудинов Кирилл Николаевич
 Майкоп, 1970 г. р.

Поэт, литературный критик, эссеист. Родился в Златоусте Челябинской области. В 1993 году окончил филологический факультет Адыгейского государственного университета. Служил в армии. Окончил аспирантуру Московского педагогического государственного университета им. В. И. Ленина. Кандидат филологических наук. Преподаёт на филологическом факультете Адыгейского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Москва», в «Литературной газете», в газетах «Литературная Россия», «День литературы», «Ex libris нг», во многих центральных и региональных изданиях. Постоянный автор журнала «Бельские просторы» (Уфа), сайтов «Взгляд» и «ЧасКор». Автор поэтических сборников «Магнит» (1994, Майкоп) и «Пёстрая лента» (1996, Москва), участник и составитель многих центральных и региональных поэтических сборников. Составитель трёх изданий антологии-справочника «Современные русские поэты» (в соавторстве с академиком В. В. Агеносовым).

стр. 65
Астафьева Анастасия Викторовна
 Санкт-Петербург, 1975 г. р.

Родилась в Вологде. Писать начала с пятнадцати лет. Автор многих сказок, повестей, рассказов и статей; участник семинаров и совещаний молодых писателей Вологодчины и Северо-Запада.

Печаталась в местной прессе, в «Литературной России», в журналах «Нева», «Очаг», «Мир женщины», «День и ночь», «Невский альманах». По детективу «Сети Арахны» в 1998 году на вологодском областном радио был поставлен одноимённый спектакль. Член Союза российских писателей с 2000 года. В 2003 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького (Москва).

стр. 199
Басалаева Елена
 Красноярск, 1987 г. р.

Выпускница Красноярского литературного лицея. В 2009 году с отличием окончила филологический факультет Сибирского федерального университета. Публикации на сайтах «Добрая лира», «Город детства» и др. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Большой финал» (Мурманская область).

стр. 45
Бахарев-Чернёнок Антон
 1980 г. р.

Поэт, журналист. Живёт то на берегах реки Вишеры в деревне Бахари, то в Таганроге. Автор книги «Живи сюда», вышедшей в 2011 году в Перми.

стр. 221
Безнос Денис
 Москва, 1988 г. р.

Поэт, переводчик. Автор книги стихов «Клетка черепахи» (2011) и книги пьес «Околопесье» (2011). Публиковался в журналах «Футурум ART», «Другое полушарие», «Крещатик», «Окно», «Топос», «Журнал поэтов», альманахе «День открытых окон — 3, 4» и др. Переводит стихи с английского (Д. Гаскойн, Д. Томас, Х. С. Дэвис) и с испанского (Ф. Лорка, Х. Инохоса) языков.

стр. 32
Беликов Юрий Александрович
 Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. В 1980-м окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор трёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008) за свод избранных стихотворений «Не такой» (московское

издательство «Вест-Консалтинг»). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность», где учредил и вёл две рубрики: «Письма государственного человека» и «Русская провинция». Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век». Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр.
172

Бердников Лев Иосифович
Лос-Анжелес, США, 1956 г. р.

Выпускник МОПИ. Кандидат филологических наук. Автор историко-публицистических монографий и более трёхсот пятидесяти публикаций в разных странах мира. Член Русского пен-центра и Союза писателей Москвы. Член редколлегии журнала «Новый берег» (Дания). Лауреат Горьковской литературной премии. Почётный дипломант Всеамериканского культурного фонда Булата Окуджавы.

стр.
238

Бутнару Лео
Румыния, 1949 г. р.

Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Дебютировал книгой стихов «Крыло на свету» в 1976 году. Издал в Молдове и Румынии около шестидесяти книг разных жанров. Составитель и издатель ряда антологий, в том числе антологии «Русский авангард» (поэзия — 2007; проза — 2008; драматургия — 2011), «Авангард — жертва Гулага» (2011), «Русская поэтическая миниатюра» (2005, в 2 т.). Отдельными книгами в своих переводах выпустил произведения Хлебникова, Кручёных, Маяковского, Цветаевой, Добычина, Бахтерева, Сатуновского, Айги. На русском вышла его книга стихов «Песчинка — жемчужина — пустыня» (Москва, 2010). Лауреат литературных премий Союзов писателей Молдовы (многократно) и Румынии (1998; 2008), Национальной премии Республики Молдова (2002). Является членом Директората Союза писателей Румынии.

стр.
57

Власенко Юрий Юрьевич
1949 г. р.

Родился в Перми, в семье служащих. Окончил филологический факультет Пермского государственного университета им. Горького. Работал учителем литературы в школе, сторожем в библиотеке. Автор книги стихов «Классика», вышедшей

в Перми в 1999 году. Член Союза российских писателей с 1999 года. Стихи и проза публиковались в газете «Дети stronция», журналах «День и ночь», «Урал» и «Уральская новь». В 2003 году пропал без вести.

стр.
240

Гиваргизов Артур Александрович
Москва, 1965 г. р.

Родился в Киеве. С 1968 года живёт в Москве. Окончил музыкальное училище при Московской консерватории, преподаватель в музыкальной школе. Первая публикация — в 1998 году в журнале «Сатирикон». Первая книга — «Со шкафом на велосипеде» — вышла в свет в 2003 году. Пишет прозу, стихи, пьесы и сказки для детей. Публиковался в журналах «Сатирикон», «Куча-мала», «Магазин», «Миша», «Ералаш», «Мурзилка», «Кукумбер», «Колобок и Два Жирафа», «Вовочка», «Тошка», «Простоквашино», «Костёр», «Фонтан» и в газетах «Семья» (в приложении «Маленькая тележка»), «Жили-были», «Независимая газета» (в приложении «Ex libris»). Произведения входят в серию для детей «Город мастеров» в сборнике «Маме дорогой», «Большой подарок Почемучке». Вошёл в сборники «Классики» (лучшие рассказы современных детских писателей), М., Детская литература, Эгмонт (2002); «Классики» (стихи), М., Детская литература, Эгмонт (2003).

стр.
160

Гиневский Александр Михайлович
Санкт-Петербург, 1936 г. р.

Родился в Москве. Во время войны жил в блокадном Ленинграде. С матерью был эвакуирован в Ташкент. Из-за болезни матери оказался в детском доме. После скитаний по разным детским домам чудом воссоединился с родителями, и с 1946 года — в Питере. После окончания школы служил в армии, был радистом. После армии — завод «Красный Октябрь». Работал наладчиком токарных автоматов. Затем переучился на наладчика автоматики и приборов теплоконтроля. В новом качестве работал на больших и малых стройках Северо-Запада страны и Прибалтики. Поработал радистом в геологии: Восточная Сибирь — притоки Енисея, Камчатка. Между экспедициями — электрик на стройках, осветитель в театре, дежурный на автостоянках и т. д., и т. п. Печататься начал в 70-е годы. С благословения Л. К. Чуковской, В. Драгунского и К. Кузьминского в 1977-м вышла первая книжка рассказов для детей «Парусам нужен ветер». Автор семи изданных книг для детей и взрослых, множества журнальных публикаций. Член Союза российских писателей.

стр.
226

Елина Юлия
Тобольск, 1978 г. р.

Родилась в посёлке Крутогоровский Соболевского района Камчатской области, в возрасте трёх лет

переехала в Тобольск. Публиковалась в альманахах «Три желания» (Рязань), «Автограф», «Дорога», «Окно», «Зелёная Среда» (все четыре издаются в Санкт-Петербурге), в «Литературной газете». Автор евразийского журнального портала «Мегалит». Серебряный призёр Тюменского областного поэтического конкурса «Голоса поколений — 2010» в номинации «Молодёжная поэзия». Финалист международного поэтического конкурса «Золотая строфа — 2010». Диплом 1 степени 3-го межрегионального поэтического фестиваля «Глубина» (2011).

стр.
53

Ёлтышев Александр Владимирович
Красноярск, 1950 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил филологический факультет педагогического института, работал в сельской и городской школах, служил в армии. Стал журналистом. Сотрудничал со многими красноярскими сми. Автор изданного сборника стихов. Участник движения «дикороссов». Печатался в журналах «День и ночь», «Предлог», «Енисей», коллективных сборниках. Лауреат литературной премии им. И. Д. Рождественского (2010).

стр.
49

Иванов Константин Константинович
Новосибирск, 1949 г. р.

Родился в Кузбассе, в Прокопьевске. В 1972 году окончил гуманитарный (филология) факультет Новосибирского университета. В 70-е годы — редактор издательства «Наука», армейский репортёр, корреспондент еженедельника сибирского отделения Академии наук. Далее была пёстрая смена множества работ и более чем десятилетнее бытие в сторожах, дворниках. Со времён перестройки в местной периодике появляются его стихи и эссе, в 1993 году отдельной книжкой издаётся публицистика («Интелефобия»). В 1996–97 годах выпускает принтерный литературный журнал «Верхняя Зона». В 1998 году в Новосибирске выходят в свет «Избранные стихотворения», в 2000-м — книга прозы «Примечания к вечности».

стр.
47

Исаченко Ольга Юрьевна
Краснотурьинск, 1953 г. р.

Родилась в Верхотурье. Окончила химический факультет Уральского государственного университета. Долгое время работала в природоохранных органах города Краснотурьинска. Стихи публиковались на сайте www.dikoross.ru, в журналах «Дети Ра», «Уральская новь», в антологии «Современная уральская поэзия». В 2006 году на средства, собранные в складчину участниками местного литобъединения «Диалог», издала книгу стихотворений «И человеку, и листу», куда, кроме оригинальных текстов, вошли переводы стихов американской поэтессы Эмили Дикинсон.

стр.
29

Канавщиков Андрей Борисович
Великие Луки Псковской области, 1968 г. р.

По образованию — журналист. Член Союза писателей России. Автор книг поэзии и прозы «Иней», «Призвание Рюрика», «Русло», «Красный рассвет» и многих других. Публиковался в коллективных сборниках и альманахах Москвы, Твери, Перми, Нижнего Новгорода, Тулы, в журналах, среди которых — «Север», «Смена», «Пульс», «Даугава», «Аврора», «День и ночь», «Дон», «Работница», «Наука и жизнь». Один из авторов книги «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)». Победитель и дипломант различных литературных конкурсов и фестивалей, лауреат Всероссийской литературной премии им. М. Н. Алексева. Директор — главный редактор муп «Издательство „Великолукская правда“». Председатель литературно-художественной творческой группы «Рубеж».

стр.
162

Карапетьян Рустам
Красноярск, 1972 г. р.

Окончил Красноярский государственный университет: 1–2 курсы математического, 3–5 курсы психолого-педагогического факультетов. Несколько лет посещал литературный семинар А. Лазарчука. Участник красноярского литературного объединения «Диалог» при Государственном центре народного творчества, с 2010 года — руководитель объединения. Член Союза русскоязычных писателей Армении и диаспоры. Член Международного Союза писателей «Новый современник». Публикации в журналах «День и ночь», «Контр@банда», «Литературный MIX», «Огни Кузбасса». Лауреат премии им. В. П. Астафьева за 2007 год (номинация «Поэзия»). Финалист Илья-Премии (2008). Победитель конкурса «Король поэтов» (2008, Красноярск). Лауреат премии «Золотое перо Руси — 2010» (в номинации на лучшее произведение для детей).

стр.
43

Кондратьев Константин Сергеевич
Воронеж, 1961 г. р.

Писать начал ещё в школьные годы и делал это на первых порах, по его собственному признанию, не гусиным, а утиным пером. По окончании школы всё сжёг. Но сочинять не бросил. Однако учиться пошёл на экономиста в Воронежский госуниверситет. После университета работал в этом статусе на авиазаводе. Но, по словам автора, «душу тяготил режим не столько политический, сколько пропускной». Поэтому экономист «свернул на кривую, но утоптанную дорожку — ушёл в котельную, потом — дежурным электриком на подстанцию». Творил, но больше «думал поступками»: например, в октябре 1993 года, накануне расстрела Ельциным здания российского парламента, пробивался с приятелем в «блокпостную» Москву с фурой воронежских

яиц. Стихи публиковались в основном в местной прессе, на сайте www.dikogross.ru, но в 2009-м увидели свет на страницах «Литературной газеты».

стр.
235

Круглов Сергей Геннадьевич
Минусинск, 1966 г. р.

Родился в Красноярске, служит православным священником в Минусинске Красноярского края. Стихи пишет более четверти века. Написанное издавалось в различных российских и зарубежных журналах и антологиях. Вышли в свет книги стихов «Снятие змия со креста» (Москва, 2003), «Приношение» (Абакан, 2007), «Зеркальце» (Москва, 2007), «Переписчик» (Москва, 2008), «Народные песни» (Москва, 2010), «Лазарева весна» (Самара, 2010). Стихи переведены на английский, французский, итальянский, польский, болгарский, словацкий языки. Лауреат премий Андрея Белого (2008), «Московский счёт» (2009). Член жюри премии «Дебют» (2010) в номинации «Поэзия». Колумнист сайта «Православие и мир».

стр.
55

Кузнечихин Сергей Данилович
Красноярск, 1946 г. р.

Родился в посёлке Космынино Костромской области, в семье служащего. Окончил Калининский политехнический институт (1969). Работал инженером в Свирске Иркутской области и в Красноярске, а затем — сторожем (с 1989). Печатается как поэт с 1977 года. Автор книг стихов «Жёсткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», «Неприкаянность» и др. Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация. Повести и рассказы», «Омудёвая бочка» и др. Многочисленные публикации в журналах, альманахах, антологиях России, ближнего и дальнего зарубежья. Член СП СССР (1991). Награждён медалью «За трудовое отличие» (1981). Зам. главного редактора журнала «День и ночь». Член Международного Союза писателей XXI века.

стр.
237

Левченко (Александр Левченко)
Красноярск, 1966 г. р.

Родился в городе Гулькевичи (Краснодарский край, Россия). Окончил курсы художников-оформителей в Краснодаре (1984) и Красноярское художественное училище им. Сурикова (1991). С 1996 года — свободный художник. Печатался в журналах «Енисей», «День и ночь», «Арион» и др. Автор книги «Валенки самурая».

стр.
244

Липатова Елена
Салем, Массачусетс, США

Детский поэт и переводчик с английского, автор пяти книг для детей. Финалист конкурса «Алые паруса» (2005) — сборник стихов для детей «Выворот-нашиворот». Дипломант премии имени Сергея Михалкова (2008) — повесть «Девочки»;

дипломант премии Сергея Михалкова (2010) — рукопись повести «Первокурсница». Публиковалась в журналах «Кукумбер», «Мурзилка», «Костёр». Окончила Горьковский институт иностранных языков. Несколько лет работала учителем на Алтае, потом — преподавателем английского в техническом вузе в Арзамасе. С 1997 года живёт в США.

стр.
228

Лихоманова Марина
Екатеринбург, 1961 г. р.

Родилась в Свердловске. Окончила механико-математический факультет Уральского университета. Публиковалась в журналах «Уральский следопыт» и «Урал», в альманахе «Воскресенье», в коллективных сборниках. Автор книг «Городской пейзаж» (2005), «Городские стихи» (2008). Лауреат фестиваля «Ад либитум» 2007 года и фестиваля «Свезар — 2007».

стр.
156

Лыткин Сергей Григорьевич
Красноярск, 1953 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил Красноярский государственный университет. Служил в Советской Армии. В 1975 году пришёл на телевидение, работал режиссёром, редактором и продюсером телевизионных программ. Был редактором и заместителем директора Красноярского отделения издательства «Стройиздат». Как журналист и поэт печатался в краевых газетах «Красноярский рабочий» и «Красноярский комсомолец», альманахе «Енисей», журнале «День и ночь», ежегодниках «Поэзия на Енисее». Более десяти лет в репертуаре Красноярского театра кукол шёл спектакль «Золотой ключик» с песнями на его стихи. Член Союза журналистов России.

стр.
60

Мамонтов Роман Анатольевич
Пермь, 1971 г. р.

Поэт, прозаик, эссеист. Окончил строительный факультет Пермского политехнического института. Входил в качестве гитариста в рок-группу «Музыка Народов Нагорья». Финалист Всероссийского литературного конкурса памяти Ильи Тюриня. Печатался в альманахах «Илья» (Москва) и «Литературная Пермь», международном журнале поэзии «Дети Ра». Как прозаик дебютировал в «Дне и ноци» с рассказом «Леса достославные». Затем в нашем же журнале была опубликована его острая молодёжная повесть о рок-тусовке «Сукибуги-дэнс». Участник движения «дикороссов». Член Союза российских писателей с 2004 года. С 2010-го — член Союза писателей XXI века.

стр.
158

Минин Евгений Аронович
Иерусалим, 1949 г. р.

Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках ПВО. После службы в армии окончил Ленинградский политехнический

институт и четыре курса Витебского педагогического института. Работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах, а также вошли в альманахи и журналы «Знамя», «Дети Ра», «Иерусалимский журнал», «Семья и школа», «Зарубежные записки», «Слово / Word», «День и ночь», «Дон», «День поэзии—2009», «Кольцо „А“», «Побережье», «Галилея», «Литературная учёба», «Литературный Иерусалим», «Флорида», «22», «Литературная газета» — издаваемые в США, России, Израиле и Европе. Ведущий пародийных рубрик в журналах «Литературная учёба» (Россия) и «Флорида» (США), а также в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета» (Россия) и «Секрет» (Израиль). Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманахам «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного Союза литераторов и журналистов (АРИА) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта (Израиль), лауреат премии «Поэт года» (2007) Международного Союза литераторов и журналистов (АРИА). Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр.
59

Мошников Олег Эдуардович
Петрозаводск, 1964 г. р.

Родился в Петрозаводске. В 1988 году окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. В органах мвд с 1991 года, на данный момент — заместитель начальника отдела пропаганды Главного управления МЧС России по Республике Карелия, подполковник внутренней службы. В 1996 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище (заочно). Автор двух книг стихов и книги прозы. Член Союза писателей России.

стр.
232

Мурзин Дмитрий Владимирович
Кемерово, 1971 г. р.

Поэт, выпускник Литинститута им. Горького (семинар Игоря Волгина). Автор книг «Ангелопад» (1997), «Белое тело стиха» (1998), «Клиническая жизнь» (2010). Публикации в журналах «Москва», «Наш современник», «Дети Ра», «День и ночь». Ответственный секретарь журнала «Огни Кузбасса». Член Союза писателей России. Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр.
105

Оранская Софья
Париж, Франция, 1966 г. р.

Поэт, писатель, сценарист. Родилась в Орехово-Зуево Московской области. Окончила литературный факультет Орехово-Зуевского педагогического института. Работала в школе, затем на киностудии «Мосфильм». Училась также на вечерних сценарных курсах (вгик, мастерская В. Черных) и, позже, в Сорбонне (факультет Славянской Цивилизации). С 1992 года живёт в Париже. Автор четырнадцати сборников поэзии, культурно-социологического эссе «Франция: семь лет размышлений», двух сценариев полнометражных художественных фильмов, рассказов, литературных эссе, романа на французском языке «Исповедь женщины нового тысячелетия». Член литературной Ассоциации МААП. Член Парижской литературной ассоциации «Анна Ярославна».

стр.
243

Орлова Анастасия
1981 г. р.

Родилась в Волжском Волгоградской области. Окончила Хакасский государственный университет — Институт экономики и управления по специальности «Финансы и кредит». Работала бухгалтером. Стихи для детей пишет с 2009 года. Автор литературного портала «Жёлтая гусеница».

стр.
51

Павловская Анна Славомировна
Москва, 1977 г. р.

Родилась в Минске. Студентка института журналистики и литературного творчества (Москва). Публиковалась в журналах «Континент», «Сибирские огни», «День и ночь», «На любителя» (Атланта) и др. Лауреат конкурсов «Сады лица», Илья-Премия (с последующим выходом книги «Анна и Павел»), им. С. Есенина и пр. Участник Форума молодых писателей России в Липках, Третьего Международного фестиваля поэзии на Байкале.

стр.
3

Пырьх Виталий Петрович
Красноярск, 1944 г. р.

Выпускник Запорожского металлургического техникума и Уральского государственного университета. Журналист с 45-летним стажем. Автор нескольких книг стихов и пародий.

стр.
242

Роньшин Валерий Михайлович
Санкт-Петербург, 1958 г. р.

Окончил Петрозаводский государственный университет по специальности «История» и Литературный институт им. Горького по специальности «Литературное творчество». Сменил много работ: электрик, слесарь, радиотелеграфист, преподаватель и т. д. Дебютировал как прозаик в журнале «Континент» (1992). Пишет как для детей, так и для взрослых. Автор более тридцати книг.

Основные жанры — детский детектив и «ужасстики». Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Огонёк», «Нева», «Юность»; «Трамвай», «Жили-были», «Костёр», «Ералаш», «Кукумбер», «Миша» и пр. Его произведения переведены на английский, французский, немецкий, китайский и др. языки. На основе нескольких детских сказок сняты анимационные фильмы. Автор сценария телевизионного сериала «Как стать звездой—2», снятого на Санкт-Петербургском телевидении. Дважды номинирован на премию «Национальный бестселлер». Премия им. В. П. Катаева (за книги для взрослых), Орден Кота Учёного (за книги для детей). Живёт в Санкт-Петербурге. Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

стр.
230

Сальников Андрей
Екатеринбург, 1964 г. р.

Родился в Свердловске. Публиковался в журналах «Урал», «Урал-транзит» и др.

стр.
148

Смертина Татьяна Ивановна
Москва, 1948 г. р.

Родилась в селе Сорвижи Арбажского района Кировской области. Стихи начала создавать и читать с деревенской сцены с пяти лет. Окончила Сорвижскую среднюю школу и Литературный институт им. А. М. Горького. Член СП СССР с 1979 года. Член правления СПР. Член-корреспондент Академии поэзии. Автор около семисот публикаций в центральной периодике и более тридцати книг поэзии: «Брусничный огонь», «Анемоны», «Лунная ящерка», «Жемчужная душа», «За обманутых помолось» и т. д. Автор книг переводов поэзии с персидского, таджикского, башкирского, марийского языков. Лауреат Всероссийской Есенинской премии; лауреат Всероссийской премии Н. Заболоцкого; лауреат премии Ленинского комсомола; лауреат премий «Литературной газеты», «Литературной России», журналов «Смена», «Крестьянка», «Мир женщины» и других. Стихи звучали на радио и телевидении в авторском исполнении. Переведена на иные языки.

стр.
139

Страхов Максим Александрович
Тверь

Родился в городе Бишкеке (Фрунзе). Врач, сердечно-сосудистый хирург. Преподаватель Тверской медакадемии. Член Союза журналистов России. Член Тверского союза литераторов. Автор двух книг. Составитель и редактор нескольких коллективных литературных сборников. Соорганизатор и соучредитель Общероссийских литературных встреч «Берновская осень», которые традиционно проходят на базе знаменитого Дома-музея имени А. С. Пушкина в селе Берново Тверской области (2004–2010 годы), член редакционного совета одноимённого альманаха (Москва, 2008, 2009,

2010). Автор проекта и руководитель конкурса-марафона молодых авторов «Пишу в Твери...» и молодёжной литературной премии «Омоним». Печатался в городской, областной и центральной прессе, а также в коллективных сборниках поэтов и прозаиков. Лауреат литературной премии имени М. А. Булгакова

стр.
177

Торопцев Александр Петрович
Москва

Доцент Литературного института им. А. М. Горького, руководитель семинара по детской литературе. Окончил МИЭМ в 1976 году, работал мастером на радиозаводе, инженером на телецентре в Останкино, заместителем главного редактора в журнале «Школьный вестник» для слепых и слабослышащих детей. В 1994 году экстерном окончил Литературный институт им. Горького. Писать начал в 1971 году. Первую публикацию получил в 1991 году. Первая книга — в конце 1994 года. К апрелю 2011 года вышли из печати: сорок одна книга историологического содержания для детей и взрослых, четыре книги прозы, а также книга «Лесков и Ницше. Сравнительное описание двух параллельных творческих миров».

стр.
154

Третьяков Анатолий Иванович
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Минусинске Красноярского края. Путь в поэзию начал с учёбы на сценарном факультете вгика (Всесоюзный государственный институт кинематографии), а до этого окончил Красноярское речное училище, служил в армии, работал судовым механиком, помощником машиниста теплового вагона. С 4-го курса вгика ушёл и начал всё сначала, но теперь уже в Литературном институте им. А. М. Горького. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Молодая гвардия», «Сельская молодёжь», «Енисей», в коллективных сборниках и газетах. Член Союза писателей России. Лауреат Пушкинской премии Красноярского края за 1999 год, трёх премий города Красноярска за тексты к песням. Автор гимна города Красноярска (музыка О. Проститова). За вклад в развитие города Красноярска и за развитие литературного творчества в Красноярском крае награждался дипломами и почётными грамотами.

стр.
183

Харичев Игорь Александрович
Москва, 1947 г. р.

Родился в Куйбышеве (ныне Самара). В 1971 году окончил физический факультет Латвийского государственного университета, в 1975-м — аспирантуру в Астрономическом совете АН СССР (Москва). В 1975–79 годах работал во внии стройматериалов. До 1989 года, кроме научной деятельности, занимался публицистикой: статьи о культуре, науке публиковались в «Литературной газете»,

«Неделе» и других изданиях. С ноября 1991 года — специалист-эксперт Службы государственного советника РФ по политическим вопросам. В 1993–94 годах — сотрудник Администрации Президента РФ. С 1996 года — генеральный директор Центра прикладных избирательных технологий. Генеральный директор журнала «Знание — сила».

стр.
191

Черенков Владимир Константинович
Красноярск, 1948 г. р.

Выпускник филологического факультета Красноярского педагогического института. С 1974 года работал кинооператором на Красноярском телевидении и киностудии «Ростелефильм». В 1988 и 1990 годах принимал участие в съёмках экспедиций Д. Шпаро и Ф. Конюхова на Северный полюс. В 1997 году снимал высадку парашютистов на Северный полюс. За время работы на телевидении бывал в командировках во многих регионах СССР, России и за границей. Посетил мировую кинофабрику Голливуд. С 2000 по 2008 годы работал специальным корреспондентом по Северо-Енисейскому району.

стр.
224

Чернышова Светлана Борисовна
Приморский край, 1972 г. р.

Родилась в городе Большой Камень Приморского края. Выпускница Дальневосточного государственного университета по специальности «Социальная психология, преподаватель психологии». Работает на скорой помощи в городе Большой Камень. Участник литературного объединения «Мост» (Владивосток). Публиковалась в журналах и альманахах «Новая реальность», «Цепелины над Троицком», «Аврора», «Бег», «Окна» (Ганновер) и в других периодических изданиях.

стр.
151

Чмыхало Анатолий Иванович
Красноярск, 1924 г. р.

Родился в селе Вострово Волчихинского района Алтайского края. Воевал на фронте (1942–1943), был артистом республиканского театра в Алма-Ате (1943–1944), корреспондентом газеты «Красноярский рабочий» (1946–1947). С 1947 года — писатель.

Ответственный секретарь Красноярской писательской организации, главный редактор журнала «Енисей» (1962–1976). Автор романов «Половодье», «Нужно верить», «Три весны», «Дикая кровь», «Отложенный выстрел» и др. Член Союза писателей (с 1963). Почётный гражданин города Красноярска, заслуженный работник культуры РСФСР, почётный профессор КГПУ. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак Почёта», знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском», двадцатью медалями.

стр.
9

Щербаков Александр Илларионович
Красноярск, 1939 г. р.

Родился на юге Красноярского края, в селе Таскино, в старообрядческой крестьянской семье. В различных вузах окончил факультеты истории и филологии, экономики и журналистики. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики. Печатался во многих журналах СССР и России («Наш современник», «Молодая гвардия», «Огонёк», «Уральский следопыт», «Сибирские огни» и др.). Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

стр.
190

Яковлева Татьяна Алексеевна
Омск, 1956 г. р.

Окончила Омский политехнический институт (специальность «Информационно-измерительная техника»). Инженер-программист. Стихи и эссе публиковались в периодической печати с 1973 года, в еженедельниках Омска, в журналах «Виктория», «Преодоление», «Омская муза», в альманахах «Складчина», «Тарские ворота», «Точка зрения», в сборниках «Омские имена». Автор двух книг стихов. Член Международной ассоциации «Искусство народов мира» (Москва). Призёр поэтического конкурса «Омские мотивы» (2009, 2011). Дипломант 4-го Международного конкурса хайку (2011).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

по поэзии

Александр Щербаков

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков

Набережные Челны

Юрий Беликов

Пермь

Светлана Василенко

Москва

Валентин Курбатов

Псков

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Александр Лейфер

Омск

Марина Москалюк

Красноярск

Дмитрий Мурзин

Кемерово

Марина Переяслова

Москва

Евгений Попов

Москва

Лев Роднов

Ижевск

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Евгений Степанов

Москва

Михаил Тарковский

Бахта

Владимир Токмаков

Барнаул

Вероника Шелленберг

Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

О. А. Карлова

Заместитель председателя
правительства Красноярского края

А. М. Клешко

Заместитель председателя
Законодательного собрания
Красноярского края

Е. Г. Пазд니кова

Министр культуры
Красноярского края

Т. Л. Савельева

Директор Государственной
универсальной научной
библиотеки Красноярского края

Издание осуществляется при поддержке
Агентства печати и массовых коммуникаций
Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Меж-
дународное сообщество писательских союзов.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании
принимал участие В. П. Астафьев. Пер-
вым главным редактором с 1993 по 2007 гг.
был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о реги-
страции средства массовой информации
ПИ № ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано
Министерством Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использована картина
Сергея Форостовского «Огонь четырёх сестёр».

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не ре-
цензируются и не возвращаются. Ответственность
за достоверность фактов несут авторы материалов.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов. При перепечатке материалов ссылка
на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ооо «Редакция литературного журнала для
семейного чтения „День и ночь“».

ИНН 246 304 27 49

Расчётный счёт 407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы»
в г. Красноярске.

БИК 040 407 967

Корреспондентский счёт 301 018 100 000 000 967

Рукописи принимаются по электронной почте:
dayandnight@bk.ru или по адресу: 66 00 28, Красноярск,
а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:

ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 5.03.2012

Отпечатано в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 294 15 77



Утро в Севастополе | 70×70



Старый Севастополь | 70×70

В следующем номере

«В конце концов, ничего между ними не было. Никто никому ничем не обязан. И по большому счету—никто ни в чём не виноват. Так сложилось. А значит, всё к лучшему... Хотя многое осталось ей непонятно в их странных, не совсем здоровых отношениях. Зачем её чувства дали такой трудно-объяснимый зигзаг: от неприязни к человеку до его обожания и дальше—к горькому недоумению? Насколько всё произошедшее было красиво, а насколько ужасно? Трагедия это была или фарс?»

Анастасия Астафьева

«То, чего не было». Окончание

«Особенно интересным для девчонок оставался таинственный подземный ход. Ходили в него, как к себе домой. Ходили, рискуя никогда не увидеть света белого, погибнуть от страха, голода и жажды, задохнуться, заблудившись в хитромудром лабиринте подземелья. Всё их снаряжение состояло из спичек, огарков свечей, мела да мотка шпагата. Фитилёк свечи еле тлел—мало было кислорода, на поворотах пламя кренилось, огарок угрожал догореть. Ну, естественно, никто из взрослых понятия не имел, где дети, и случись беда—кроме летучих мышей, которые водились там в изобилии, никто и никогда не узнал бы об их местонахождении».

Нина Шалыгина. «Саров»

Посмертная публикация
рассказов *Анатолия Старухина*.

«Тени Байкала»

Профессор *Александр Михайлович Дыхно*
в воспоминаниях коллег, друзей, учеников
и родных. К 100-летию со дня рождения.

Стихи немецких поэтов
в переводах *Бориса Марковского*.

Новые рассказы *Ланы Райберг, Евгения
Степанова, Марины Переясловой*.

А также поэты *Елена Фельдман, Сергей Шабалин,
Борис Панкин, Варвара Юшманова*
и многие другие...